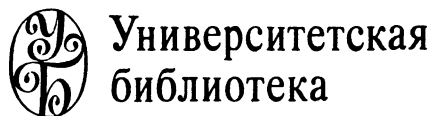


ДЕКАБРИСТЫ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ







Редакционная коллегия:

В. Л. Янин (*председатель*),
Л. Г. Андреев, С. С. Дмитриев,
Я. Н. Засурский, А. Ч. Козаржевский,
Ю. С. Кукушкин, В. И. Кулешов,
В. В. Кусков, П. А. Николаев,
В. И. Семанов, А. А. Тахо-Годи, Н. С. Тимофеев,
А. С. Хорошев, А. Л. Хорошкевич

ДЕКАБРИСТЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ

Составление, общая редакция,
вступительная статья и комментарии
профессора В. А. Федорова

Рецензенты:

доктор исторических наук *В. А. Дьяков*,
доктор исторических наук *Н. И. Цимбаев*

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

В настоящее издание включены воспоминания о декабристах. Их авторы — современники декабристов: их товарищи и близкие, знакомые, политические противники, свидетели событий и непосредственные участники. В мемуарах запечатлены декабристская эпоха, восстание 14 декабря 1825 г. и восстание Черниговского полка, следствие по делу декабристов, суд над ними и казнь, годы декабристской каторги и ссылки.

Д $\frac{4700000000-019}{077(02)-88}$ 184—88

ПРЕДИСЛОВИЕ

Декабристы составляют целую эпоху в революционном движении в России, в истории общественной мысли и русской культуры. Влияние декабристов на все стороны общественно-политической жизни было исключительно велико, причем не только в пору их активного действия на исторической арене, но и в последующие годы. Декабристы, по сути, воспитали новые поколения русских революционеров 30—50-х годов XIX в. Участники студенческих кружков Московского университета конца 20-х — начала 30-х годов, А. И. Герцен и Н. П. Огарев, петрашевцы видели себя наследниками и продолжателями дела декабристов. Глубоко жизненные лозунги и традиции революционной борьбы декабристов против самодержавно-крепостнических порядков в России были подхвачены, развиты и обогащены. Брошенные «в каторжные норы» Сибири после поражения восстания 14 декабря 1825 г., сами декабристы не изменили своим благородным идеалам. Их мемуары и публицистические сочинения, написанные во время сибирской ссылки, широкая просветительская деятельность явились органичным продолжением той борьбы за свободу и справедливость, которую они вели до 1825 г. Хорошо известны и акты открытого протеста против самодержавия сосланных в Сибирь декабристов: прежде всего предпринятая в 1828 г. И. И. Сухиновым попытка поднять восстание ссыльно-каторжных в Нерчинских рудниках; «действия наступательные» М. С. Лунина, вызвавшие в составлении и распространении им в конце 30-х годов политических писем и серии публицистических статей, обращенных против царизма. Эти наиболее яркие проявления благородного мятежного духа декабристов были пресечены беспощадно. Приговоренный военным судом к смертной казни, Сухинов предварил исполнение приговора, покончив жизнь самоубийством. По доносу провокатора ссыльный Лунин подвергся вторичному заточению — на этот раз в самую страшную тюрьму того времени, Акатуй, где в 1845 г. погиб при неясных обстоятельствах. Имело место и другое — факты протеста ссыльных декабристов против несправедливости и произвола местной администрации. Именно этим, кстати, объясняется в иных случаях неожиданное на

первый взгляд усиление гонений. Декабристов переводят в более отдаленные и глухие места сибирской ссылки: например, А. Ф. Бриггена — из Кургана в Туринск, В. И. Штейнгеля — из Тобольска в Тару.

Те декабристы, которым довелось дожить до амнистии, явились участниками бурных событий «переломной» эпохи — общественно-политического подъема на рубеже 50—60-х годов XIX в. и отмены крепостного права; некоторые сотрудничали в тогдашних газетах и журналах, иные были корреспондентами вольной русской прессы Герцена за границей, многие стали членами губернских комитетов по крестьянскому делу, мировыми посредниками, присяжными заседателями в новых судах, земскими гласными. Так что «декабристская тема» не ограничивается собственно «движением декабристов» и далеко выходит за рамки 1825 г.

Декабристская страница истории включает в себе особый нравственный смысл. Нам дороги те нравственные ценности, которые были поистине взращены этими защитниками вольности и завещаны ими последующим поколениям революционеров: это подлинный патриотизм и чувство интернационального братства, нетерпимость ко всем проявлениям деспотизма, сознание высокого гражданского долга и готовность на беззаветное, бескорыстное служение отечеству. Истинное рыцарство, душевная чистота и благородство, высоко развитое чувство чести и товарищества — отличительные черты декабристов. Декабристы с решительностью шли на жертву — они жертвовали всем своим достоинством и привилегиями, которые давали им их происхождение и положение, и даже самой жизнью во имя великого, святого дела. «Не для наград, не для приобретения почестей хотим освободить Россию, — говорили декабристы, — сражаться до последней капли крови: вот наша награда»¹. Симптоматично ироническое удивление известного русского вельможи московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина: «Во Франции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями, у нас же графы и князья хотели сделаться сапожниками и тряпичниками»². «Дело» декабристов, революционеров-дворян, само по себе было великим нравственным подвигом, казавшимся, естественно, странным и непонятым остальной, консервативно настроенной и преданной престолу части дворянства. Следует особо подчеркнуть значение высоких нравственных принципов декабристов, в силу которых они выступили против привилегий собственного сословия, сознательно шли на гибель ради утверждения высоких идеалов свободы и справедливости. В. И. Ленин считал декабристов национальной гордостью³.

Все возрастающий интерес к декабристам и их эпохе в наши дни вполне естествен, и характерен он не только для специалиста-иссле-

¹ Горбачевский И. И. Записки. Письма. М., 1963. С. 28.

² Русский архив. 1893. № 5. С. 119.

³ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 107.

дователя, но и для широкого читателя, увлекающегося историей нашей страны.

Декабристам посвящена обширная литература. Много уже изучено, выяснено, но остается еще очень широкое поле для открытий, находок, исследований. И здесь первостепенное значение приобретает издание источников по истории декабристского движения, по биографиям отдельных декабристов. Хорошо известна многотомная капитальная серия «Восстание декабристов. Документы. Материалы» (М.; Л., 1925—1985. Далее — ВД.). К настоящему времени приведены в известность, изданы и переизданы практически все мемуары декабристов. С 1979 г. Восточно-Сибирское книжное издательство приступило к публикации серии «Полярная звезда» — многотомного издания сочинений и писем декабристов (к настоящему времени издано 12 томов этой серии). На наш взгляд, назрела необходимость издания воспоминаний современников о декабристах.

Само появление таких воспоминаний и устных рассказов и преданий, записываемых уже позднее, отвечало жизненной общественной потребности и непосредственно связано с тем нравственным аспектом декабризма, о котором говорилось выше.

Эти воспоминания демонстрируют круг и степень влияния, которое оказывали декабристы на русское общество, они довольно точно очерчивают то место, которое занимали декабристы в духовной жизни России. В них воплощена и действительная эмоциональная нравственная «гражданская» реакция России на декабристское восстание. Нет, не приняло русское общество официальной версии, не поверило в то, что люди 14 декабря — «злоумышленники гнусного вида, частью пьяные», как о них говорило первое правительственное сообщение о восстании на Сенатской площади. Не поверили русские люди, что декабристы — «безумные честолюбцы», готовые из тщеславия играть судьбою своего народа и Родины. Чистое нравственное излучение, характерное для декабристов, было столь несомненно, венец мученичества столь притягателен, что современники (в том числе и младшие) очень рано осознали их как избранников, людей особого типа, героев. Отсюда и естественное стремление до деталей, до мельчайшего штриха сохранить и восстановить все то, что связано с декабристами, с их судьбами и характерами: их поступки, слова, жесты, пристрастия. Примечательно и закономерно в то же время, что это стремление пробуждается не только в душах единомышленников и соратников или просто людей, близких декабристам, но и в сердцах и мыслях людей «посторонних», оказавшихся в случайных контактах с декабристами, в эпизодическом знакомстве с ними. Наконец, о дне 14 декабря и об участниках восстания, членах тайных обществ, оставляют заметки и враги декабристов, люди «с той стороны» баррикады. И они чувствуют, что происшедшие события — из разряда самых крупных и громких в истории. И эти «мемуаристы» знают, что те, кого они по убеждению ли, по традиции или по необходимости называют «злоумышленниками», «убийцами», «мерзкими бунтовщиками»,

на самом деле люди достойные, противники настоящие, исполненные подлинной значительности.

Мемуарная литература о декабристах велика и многообразна. В первую очередь это воспоминания и рассказы ближайших родственников декабристов (жен, детей, братьев, сестер, племянников и др.). Другую группу составляют воспоминания лиц, непосредственно общавшихся с декабристами (сотрудничавших вместе с ними в журналах и альманахах, сослуживцев и пр.). Очень интересны сохранившиеся записи мемуарного характера, сделанные со слов людей, служивших у декабристов по найму, лиц «простого звания», тем более что таких воспоминаний немного. Особенно богато представлена мемуаристика о дне 14 декабря 1825 г.; авторы этих воспоминаний, в большинстве своем очевидцы и даже прямые участники событий, представляют собой необычайно пеструю галерею лиц всех рангов и социальных положений — от чиновников министерского департамента и низшего духовного чина до представителей царствующего дома, включая и самого императора Николая I. Сюда же, с точки зрения содержания, следует отнести и воспоминания очевидцев восстания Черниговского полка, а также тех, кто участвовал в его подавлении. Мемуаристика о судебно-следственной расправе над декабристами представлена немногими сохранившимися воспоминаниями членов Следственной комиссии и Верховного уголовного суда, «распорядителей» и очевидцев казни декабристов. Наконец, весьма значительную группу представляют воспоминания и рассказы друзей и воспитанников декабристов в Сибири. Вся эта мемуарная литература разбросана по многочисленным, преимущественно старым, периодическим изданиям, давно уже ставшим библиографической редкостью. Как правило, оригиналы этих мемуаров не сохранились, поэтому тексты мемуаров воспроизводились и воспроизводятся по их первым публикациям.

В нашей литературе давно уже утвердился жанр публикаций «воспоминаний современников» о каком-либо выдающемся писателе, художнике, ученом или общественно-политическом деятеле. К настоящему времени издано уже много таких научно прокомментированных сборников мемуарных свидетельств, посвященных крупным историческим личностям. Как исторические и литературные памятники они представляют собой в целом важное научное и культурное явление. Вот к типу таковых изданий и относится публикуемый том «Декабристы в воспоминаниях современников». Заметим, что свод, именно свод, мемуарных свидетельств «недекабристов» о декабристах издается впервые.

В данную книгу включены воспоминания и извлечения из мемуаров, дневников, отдельные письма, содержащие наиболее ценную информацию о декабристах. Весь документальный материал распределен по следующим четырем разделам: I. Декабристы и их эпоха; II. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка; III. Следствие. Суд. Казнь; IV. Декабристы на каторге, в ссылке и после амнистии. Скажем сразу, что такое распределение материала по главам относительно. Содержание материалов, включенных

в тот или иной раздел, иногда выходит за рамки этого раздела. Так, некоторые из помещенных в первом разделе «Декабристы и их эпоха» воспоминания содержат сведения не только о жизни и деятельности декабристов во время существования тайных декабристских обществ, но и о судебной расправе над декабристами и их последующем пребывании на каторге и в ссылке. С другой стороны, некоторые воспоминания друзей и воспитанников декабристов в Сибири содержат помимо данных о сибирской ссылке декабристов и биографические экскурсы, относящиеся ко времени до 1825 г. На наш взгляд, не стоило дробить воспоминания, распределяя фрагментами строго по соответствующим разделам, дабы не нарушить цельность мемуарного текста.

Здесь нужно, пожалуй, сказать и о некоторой относительности самого названия настоящего тома «Декабристы в воспоминаниях современников». Дело в том, что ряд мемуарных материалов в книге принадлежит перу потомков декабристов, людям совершенно иного, нежели декабристы, времени, иных поколений. И все же они по праву, таково наше мнение, включены в издание и не требуют изменения названия книги. Ведь и эти мемуары — не плод фантазии потомков, и они в конечном счете восходят к свидетельству современника, переданному по наследству или сохранившемуся в семейной легенде.

В воспоминаниях и рассказах о декабристах, по вполне понятным причинам, содержится крайне мало сведений о конспиративной деятельности декабристов, об их непосредственном участии в тайных обществах, разработке планов восстания и пр. Все эти сведения присутствуют в других источниках — в следственных делах и мемуарах самих декабристов. Зато воспоминания «недекабристов» содержат иную, тоже весьма важную информацию: они вводят нас в атмосферу времени, горючат об окружении и связях декабристов, их служебной и литературно-публицистической деятельности, взглядах, настроениях, вкусах, привычках, симпатиях и антипатиях. Это позволяет более полно, разносторонне, «объемно» представить себе портреты декабристов. Ведь для нас действительно драгоценны каждая деталь, каждый штрих из жизни декабристов, тем более что еще крайне недостаточно исследована тема «Декабрист в его повседневной жизни»⁴.

Анализ мемуаристики о декабристах показывает, что по отношению к ним и к их «делу» не было (и не могло быть) совершенно беспристрастных «свидетелей» и «летописцев». Во всех этих воспоминаниях и заметках так или иначе отразилась идейная борьба — столкновение поколения чацких, носителей передовых взглядов, и старого поколения ретроградов фамусовых. Сам сюжет мемуаров, как правило, исполненный особой политической остроты,

⁴ В огромной декабристоведческой литературе этому сюжету посвящена всего лишь одна статья Ю. М. Лотмана «Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)» (Литературное наследство декабристов. Л., 1975).

заставлял мемуаристов занять ту или иную позицию. Наиболее отчетливо столкновение взглядов и позиций выявляется в оценке главного события в движении декабристов — вооруженного восстания 14 декабря 1825 г. Здесь, в разноликой, пестрой массе мемуаристов — современников декабристов, совершенно определенно выделяются, с одной стороны, их друзья и восторженные почитатели и, с другой, их недруги и разъяренные хулители.

Наш сборник открывается извлечением из большой статьи А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России». Приводится та часть статьи, которая посвящена декабристам и их эпохе. Нужно заметить, что данная статья Герцена вообще носит не только исследовательски публицистический, но и в известной мере мемуарный характер. Герцен как продолжатель декабристского дела был первым историком декабристов и, пожалуй, первым их мемуаристом. Хорошо известны и личные контакты Герцена с некоторыми из декабристов. Так что включение фрагмента из названного произведения Герцена, где с революционно-демократических позиций дана цельная, обобщенная оценка общественного движения в России, в сборник мемуаров о декабристах, на наш взгляд, вполне оправдано. Здесь Герцен наиболее четко выразил свою идею закономерности возникновения революционного движения в России, подчеркнул историческое значение декабристов для прогресса России и роль их в формировании нового поколения русских революционеров.

В первый раздел тома включены в основном воспоминания лиц, близких к декабристам, как правило, связанных с ними дружескими и семейными узами.

Небольшие по объему, но емкие по содержанию мемуары А. И. Кошелева (известного впоследствии славянофила), младшего современника декабристов и человека, тогда близкого им по духу, непосредственно вводят нас в атмосферу «околодекабристской среды» — т. е. лиц, связанных с декабристами и разделявших их взгляды (хотя и не посвященных в их тайны). В мемуарах Кошелева зафиксированы живые впечатления восторженного 18-летнего юноши о вечере у его знакомого — декабриста М. М. Нарышкина, где были К. Ф. Рылеев, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин и другие декабристы. Это было одно из «литературных собраний». На нем Рылеев читал свои патриотические «Думы», но, как свидетельствует Кошелев, дело не ограничивалось только литературным чтением — «все довольно свободно говорили о необходимости покончить с этим правительством». Приводимый Кошелевым факт интересен как свидетельство того, что «политические разговоры» декабристов не ограничивались рамками конспиративных совещаний тайных обществ. Характерны и слова Кошелева, что в Москве в тревожные декабрьские дни 1825 г. «толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе управления». Передовая московская молодежь в эти дни ждала «благоприятных известий из Петербурга». В случае «благоприятных известий» адъютант командующего московским гарнизоном молодой офицер кн. Н. И. Трубецкой

(не состоявший даже членом тайного общества декабристов) «брался доставить своего начальника связанным по рукам и ногам». Из этих заметок и сведений можно сделать вывод, что надежды петербургских декабристов на поддержку Москвы имели реальные основания.

Небезызвестный Н. И. Греч, бывший до 14 декабря близко связанным с декабристами и считавший себя «отчаянным либералом» (впоследствии реакционный журналист и публицист, прославившийся вместе с Ф. В. Булгариным своими доносами в III отделение на Пушкина, Белинского и других прогрессивных писателей), в достаточно откровенных «Записках о моей жизни» много места уделяет декабристам. Записки Греча, несмотря на их тенденциозность, содержат меткие наблюдения и ценные фактические данные о наиболее видных декабристах, которых он хорошо знал (о Пестеле, Рылееве, братьях Бестужевых, И. И. Пущине, Н. И. Тургеневе, Г. С. Батенькове, А. И. Якубовиче, В. И. Штейнгеле, С. И. Муравьеве-Апостоле). Греч не мог не отдать должного таланту, благородству и твердости этих деятелей декабристского движения. «Ума он был необыкновенного, поведения безукоризненного, служил усердно и честно, был храбр в сражениях и человеколюбив после боя», — говорит Греч о Пестеле. «Сергей Муравьев действовал решительно, твердо, по внутренним убеждениям, и остался им верен до конца», — напишет он о другом выдающемся руководителе Южного общества. Об Александре Бестужеве Греч отзывался как «о добром, откровенном, благородном, преисполненном ума и талантов, красавце собою». О его брате Николае говорит как о «человеке редких качеств ума, рассудка и сердца». Немало лестных слов Гречем было сказано в адрес Е. П. Оболенского, И. И. Пущина, Н. И. Тургенева, Г. С. Батенькова, с которыми он был особенно близок. Пущин — «благородный, милый, добрый молодой человек, истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель неправды». «Память о его уме, сердце и характере и глубокое сожаление о его несчастье останутся навеки в глубине души моей». Характеризуя Н. И. Тургенева как «самого умного и солидного, а к тому и наиболее знающего», Греч писал: «Жаль, что Россия не воспользовалась умом, дарованиями и познаниями этого необыкновенного человека. Он сделался бы превосходным министром финансов или юстиции». О Г. С. Батенькове Греч свидетельствует, что он «приобрел славу умного, знающего, но беспокойного человека — титул, даваемый всякому, кто не терпит дураков». Арест «честнейшего» Батенькова «изумил до крайности» Греча. 20-летнее одиночное заключение Батенькова в крепости Греч рассматривает как «верх беззакония». «Не понимаю, — пишет он, — как могли поступить с ним так несправедливо и жестоко!» Заметим, что это было написано Гречем не в эпоху его близости к декабристам, а на склоне лет, когда он стоял на иных, крайне ретроградных, по сути, позициях. Осведомленность Греча удивительна. Он знал, кто как вел себя на следствии, знал всю механику следствия и суда. Он расспрашивал пастора Рейнбота о последнем его свидании в крепости с Пестелем.

Пастор передал Гречу, что «нашел его [Пестеля] не упавшим в духе», но осуждающим «несправедливость суда и приговора». И не случайно Герцен опубликовал эту часть «Записок» Греча в «Полярной звезде» как важный материал о декабристах.

Большой интерес для характеристики декабриста Н. И. Тургенева представляет включенная в настоящий сборник статья великого русского писателя И. С. Тургенева «Николай Иванович Тургенев». Статья носит характер некролога и одновременно воспоминаний автора, который долгие годы был связан с декабристом тесной дружбой.

Ценные сведения об Н. И. Тургеневе и С. М. Семенове приводит в своих воспоминаниях Д. Н. Свербеев, в молодости хорошо знавший этих декабристов. Любопытен следующий факт из биографии Н. И. Тургенева, сообщаемый Свербеевым: когда в начале 40-х годов в Петербурге стало известно, что Тургенев «возымел намерение писать о России», то со стороны русского правительства последовали «довольно явные намеки оставить этот труд», даже «дали почувствовать» автору, что «за такое молчание может последовать прощение» (Тургенев был заочно приговорен к пожизненной каторге). Характерен и ответ Тургенева, а именно что он «в прощении не нуждается». Книга, о которой шла речь, «Россия и русские», была опубликована в 1847 г. на французском языке в Брюсселе, Париже и Гааге. В воспоминаниях о декабристе старшего поколения С. М. Семенове, «магистре этико-политических наук», Свербеев сообщает интересные данные, связанные со знаменитым диспутом «о форме правления», имевшим место в 1815 г. в Московском университете. В воспоминаниях ярко отражена та вольнолюбивая атмосфера, которая царила тогда в Московском университете. Напомним, что из Московского университета и его Благородного пансиона вышли 60 будущих декабристов.

Особый интерес и у современников, и у потомков вызывала личность М. С. Лунина. К ней обращались и читатель, и историк-исследователь, и писатель. Отчаянная храбрость, острый ум, безупречная честность и многочисленные экстравагантные поступки Лунина породили немало легенд и анекдотов. В нашем томе воспроизводятся опубликованные Герценом в «Колоколе» воспоминания неизвестного автора о Луине и извлечения из воспоминаний близкого знакомого Лунина французского писателя Ипполита Оже. Их дружба завязалась в 1814 г. Они служили в одном полку (когда И. Оже находился на русской службе), затем вместе до 1817 г. жили во Франции. Для нас чрезвычайно ценны содержащиеся в мемуарах И. Оже сведения о занятиях Лунина в эти годы, изложение его высказываний о политике, литературе, музыке, свидетельства о фактах встреч Лунина со знаменитым французским социалистом-утопистом Сен-Симоном. (Сведения о сибирской жизни Лунина читатель найдет в мемуарах других лиц в соответствующем разделе книги.)

Цикл воспоминаний о К. Ф. Рылееве представлен записками преподавателя Первого кадетского корпуса (где учился Рылеев) Д. А. Кропотова (человека, близкого к семье Рылеева), сослуживца по полку А. И. Косовского, профессора Петербургского университета А. В. Никитенко. В предлагаемом цикле воспоминаний содержатся интересные сведения о личной жизни и характере поэта-декабриста, его окружении, литературных занятиях. Так, Косовский приводит данные, важные для характеристики формирования мировоззрения Рылеева, не скрывавшего, как оказывается, своих мыслей и планов от сослуживцев. Весьма любопытны записанные М. И. Семевским «рассказы» служившего у Рылеева «рассыльным» псковского крестьянина Агапа Иванова. В этих рассказах очерчиваются обстановка в доме Рылеева, режим его занятий, круг знакомых и посетителей.

О другом поэте-декабристе В. К. Кюхельбекере рассказывает в своих воспоминаниях ученик Кюхельбекера по Петербургскому университетскому пансиону (Кюхельбекер преподавал там русскую словесность) Н. А. Маркевич. Мемуарные свидетельства о Кюхельбекере невелики по объему, но ценны тем, что содержат ряд примечательных и неизвестных доселе фактов из биографии декабриста.

Исследователи располагают весьма скудными сведениями о замечательном декабристе А. О. Корниловиче, историке-бытописателе и издателе, авторе многих, написанных им в каземате Петропавловской крепости, политических и экономических трактатов (к сожалению, безвозвратно исчезнувших). Тем драгоценнее любой факт, любая деталь его судьбы. Несомненный интерес составит для читателя публикуемый здесь рассказ генерала Шумкова о Корниловиче.

Среди судеб декабристов, может быть, наибольшим трагизмом проникнута судьба Г. С. Батенькова, понесшего более тяжкое наказание, чем было определено даже приговором Верховного уголовного суда (он провел 20 лет в одиночном заключении и был сослан затем в Сибирь). В первый раздел настоящего сборника включены воспоминания «старого сибиряка» А. И. Иванова, содержащие важные сведения о воспитании Батенькова, его службе в армии во время заграничного похода в 1813—1814 гг., об административной деятельности Батенькова в Сибири до переезда его в Петербург в 1821 г., а также некоторые данные о последующей судьбе декабриста. (В четвертом разделе тома помещены мемуарные свидетельства, относящиеся ко времени сибирской ссылки Батенькова и его жизни в Калуге после амнистии.)

Сведения о декабристах «еще до бунта 1825 года» содержатся в помещенных в первом разделе сборника воспоминаниях профессора архитектуры, писателя и поэта А. И. Штукенберга. О жизни декабристов братьев Бестужевых до восстания на Сенатской площади рассказывают «Заметки» неизвестного мемуариста. В воспоминаниях А. В. Никитенко о декабристе В. С. Норове приводятся интересные данные о столкновении в 1822 г. В. С. Норова с вел. кн. Николаем Павловичем (командовавшим тогда гвардейским егерским полком). В защиту чести В. С. Норова выступили

остальные офицеры полка. В литературе это событие (коллективный протест офицеров против произвола и грубости великого князя) получило название «норовской истории».

В первый раздел тома включен ряд мемуаров и записей мемуарного характера родственников декабристов. Это дневниковые записи, рассказы и статьи Е. И. и В. Е. Якушкиных (сына и внука И. Д. Якушкина), А. Бибиковой (правнучки Н. М. Муравьева), З. И. Лебцельтерн (сестры жены С. П. Трубецкого), С. Ф. Уварова (племянника М. С. Лунина) и А. М. Булатова (сводного брата А. М. Булатова).

Статья В. Е. Якушкина «Матвей Иванович Муравьев-Апостол» представляет собой биографический очерк о декабристе. Хотя в ее основе известные автобиографические записки М. И. Муравьева-Апостола, однако В. Е. Якушкин приводит и ряд новых данных, почерпнутых им из бесед с декабристом и его товарищами. В. Е. Якушкин свидетельствует, что М. И. Муравьев-Апостол особенно любил вспоминать 1812 год, рассматривая эту дату как исходный пункт формирования декабризма. Ставшие хрестоматийными слова М. И. Муравьева-Апостола «мы — дети 1812 года» здесь получают более развернутое толкование в устах самого декабриста. Большой интерес представляет запись личных впечатлений В. Е. Якушкина о встречах и беседах с М. И. Муравьевым-Апостолом в последние годы его жизни.

Аналогичный характер имеют помещаемые в сборнике записки Е. И. Якушкина о И. И. Пущине. И здесь опорой послужили пушкинские «Записки о Пушкине», но существенным дополнением опять же явились впечатления самого Якушкина, обретенные во время неоднократных личных встреч с этим декабристом. Е. И. Якушкин дважды, в 1854 и 1855 г., приезжал в Ялutorовск, где находились в ссылке его отец, И. И. Пущин, Е. П. Оболенский и другие декабристы. Е. И. Якушкин вел долгие беседы со многими из них. Он был неутомимый собиратель и хранитель документального наследия о декабристах. Именно по его настойчивой просьбе были написаны воспоминания Е. П. Оболенского, «Записки о Пушкине» Пущина. Е. И. Якушкин был корреспондентом Герцена. Многие декабристские материалы, изданные Герценом за границей, присланы Е. И. Якушкиным. В настоящий том включены и воспоминания Е. И. Якушкина о своей семье, интересные описанием ее нравственных устоев, того морального климата, в котором росли и воспитывались дети декабриста.

Умная и наблюдательная З. И. Лебцельтерн оставила содержательные воспоминания о Е. И. Трубецкой и ее муже — декабристе С. П. Трубецком. В центре внимания мемуаристки — дни декабря 1825 г., которые круто изменили судьбу Е. И. и С. П. Трубецких, а также отразились и на положении мужа самой мемуаристки — графа Л. Лебцельтерна, австрийского посланника при русском дворе. Мемуаристка сообщает интересные подробности об аресте Трубецкого (он был взят в доме Л. Лебцельтерна), о его первых допросах, о подозрениях русского правительства относительно

связей австрийского посла и его советников с декабристами и о разговорах посла с русским министром иностранных дел К. В. Несельроде по поводу этих подозрений. Мы узнаем, что Л. Лебцельтерн, оказывается, еще за три недели до 14 декабря предупреждал русское правительство о готовившемся политическом перевороте, однако это не спасло его от высылки из России, ибо Николай I счел «неудобным» дальнейшее пребывание в Петербурге австрийского посла, близкий родственник которого, С. П. Трубецкой, был в числе главных «заговорщиков».

Большую ценность представляют воспоминания о декабристе А. М. Булатове (чья жизнь трагически оборвалась в казематах Петропавловской крепости). Автор воспоминаний, сводный брат А. М. Булатова, описывает поведение декабриста накануне и в день восстания, рассказывает о его добровольной сдаче властям, об обстоятельствах его смерти. Интересен следующий факт, сообщаемый мемуаристом. Сдавшийся властям, А. М. Булатов сумел передать брату записку с просьбой уничтожить его конспиративные бумаги, и компрометирующие документы были уничтожены буквально за час до того, как за этими бумагами явились жандармы. «Ручной мешок, в виде портфеля, весь был набит бумагами, масса писем Пестеля, Рылеева, Бестужева, Панова, Каховского, Трубецкого и других, разные проекты реформ, списки участвующих лиц — все это было тут же брошено в камин и предано огню. Также все, что было в бюро, было сожжено». Этот факт (как и аналогичные ему) объясняет, почему в руки следствия попало крайне мало конспиративных документов декабристов. Предупрежденные заранее об арестах или в предвидении предстоящих арестов декабристы заблаговременно уничтожали эти документы. Как верно заметил М. К. Азадовский, Николай I «проиграл битву за бумаги декабристов»⁵. Правда, к сожалению, в результате оказались навсегда утраченными ценнейшие документы о декабристском движении.

Дневниковые записи племянника М. С. Лунина С. Ф. Уварова (сына сестры Лунина — Е. С. Уваровой), под названием «Мемуары для истории оппозиции в России», основаны на рассказах о М. С. Луние его друга М. М. Нарышкина. В записях С. Ф. Уварова читатель найдет также сведения о самом Нарышкине и его семье.

Записки А. Бибиковой «Из семейной хроники» опираются на семейные предания о декабристе Никите Муравьеве, его жене Александре Григорьевне, их дочери Софье Никитичне («Нонушке»), а также посещавших семью Муравьевых (уже впоследствии в Москве) Н. Н. Муравьеве и М. И. Муравьеве-Апостоле.

В качестве приложений к данному разделу мы сочли целесообразным включить два официальных документа: Записку о Союзе благоденствия, представленную А. Х. Бенкендорфом в мае 1821 г. Александру I, и составленное по указанию Николая I в 1826 г.

⁵ Азадовский М. К. Затерянные и утраченные произведения декабристов // Литературное наследство. М., 1954. Т. 59 (Декабристы-литераторы). Вып. 1. С. 604.

правителем дел Следственного комитета А. Д. Боровковым «Краткое описание различных тайных обществ, коих действительное или мнимое существование обнаружено Следственною комиссиею». Автором представленной царю Бенкендорфом записки был библиотекарь гвардейского штаба М. К. Грибовский. Следует отметить, что, несмотря на одиозный характер, эта записка является одним из важнейших документов по истории Союза благоденствия. Записка Боровкова представляет собой некий итоговый документ следствия. Она содержит краткую сводку данных о всех выявленных следствием тайных обществах, с официальной оценкой характера и деятельности этих обществ. Записка Боровкова публикуется здесь впервые, по ее архивному оригиналу.

Восстания 14 декабря 1825 г. в Петербурге и 29 декабря 1825 г. — 3 января 1826 г. на Украине — кульминационные события в движении декабристов. «В 1825 году,— писал В. И. Ленин, — Россия впервые видела революционное движение против царизма...»⁶. 1825 год В. И. Ленин рассматривает как отправную точку истории русского освободительного движения. Восстание декабристов отражено в воспоминаниях, дневниках и письмах, составляющих второй раздел настоящего документального издания. Эти источники позволяют увидеть события дня 14 декабря 1825 г. с разных «точек обозрения». Они переносят читателя и на главное место действия — Сенатскую площадь, заполненную каре восставших солдат и матросов, окруженных бурлящей и сочувствующей им толпой петербургского люда, и в Зимний дворец, где пребывали в страхе царская семья и придворная камарилья, и в солдатскую казарму, где противятся присяге новому царю, и в министерский департамент, в котором чиновники горячо обсуждали происходящие события. Читатель присутствует при «уговорах» восставших генерал-губернатором столицы М. А. Милорадовичем и митрополитом Серафимом, видит конногвардейцев, атакующих каре восставших, наконец звучат орудийные выстрелы и наступает трагический финал. Здесь и общая панорама восстания, и представленные «крупным планом» ее отдельные детали. Описание одних и тех же эпизодов восстания разными людьми и в разных ракурсах делает его картину «многомерной» и не создает ощущения повтора.

Подчеркнем, что подобная «многомерность», сопряжение различных точек зрения необходимы для более глубокого понимания того или иного исторического факта и события.

Публикуемые материалы вводят читателя в напряженную атмосферу кануна выступления на Сенатской площади.

Вот 12 декабря в Зимний дворец является молодой подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Я. И. Ростовцев и доносит Николаю, пока еще великому князю, о готовящемся восстании в день его восшествия на престол. Несколько ранее Николай получил от начальника Главного штаба И. И. Дибича из Таганрога донесение о крупном антиправительственном заговоре; к донесению был при-

⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 315.

ложен список 46 наиболее видных заговорщиков. Это ускорило решение Николая, не дожидаясь официального отречения цесаревича Константина от престола, объявить себя императором. Спешно был составлен манифест о восшествии Николая на престол, назначен был и день присяги — 14 декабря. Ростовцев в своих воспоминаниях весьма откровенно и *правдиво*⁷ рассказывает о своем доносе на декабристов, приводит и полный текст доноса.

А вот свидетельства тех, кто 14 декабря находился на Сенатской площади и был не только «зрителем», но и в известной мере участником событий того дня. Актер И. П. Пустошкин (по сцене Борецкий), близкий к декабристам и подвергшийся в тот день аресту по подозрению в непосредственной причастности к заговору, рассказывает, как он видел царя, окруженного своим штабом, уговаривавшего народ разойтись, слышал, «как беснующаяся толпа кричала в ответ: «Вишь, какой мяконький стал! Не пойдем, умрем вместе с ними!» (т. е. с теми, кто стоял в каре восставших), видел и две атаки конной гвардии на каре, «видел, с каким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров». Пустошкин не остался безучастным очевидцем. «И я, грешный человек, метнул одно полено в бок кавалеристу», — признается он. Вместе с «толпой» в самой гуще событий оказался молодой прапорщик Генерального штаба Н. С. Голицын. «Я слышал свист пуль над нашими головами, мятежники стреляли, кажется, большею частью вверх, чтобы не стрелять в своих», — вспоминает он об отражении атак конногвардейцев восставшими. По его словам, и атакующая конница действовала вяло и нерешительно, тоже видя в «мятежниках» «своих». Это — важное свидетельство существовавшей товарищеской солидарности между восставшими и правительственными войсками, объясняющее, почему Николай I, располагая четырехкратным превосходством в вооруженной силе, вначале был нерешителен, затем не смог разогнать восставших прямыми атаками и в конечном счете прибегнул к картечи.

Интересные факты приводит в своих воспоминаниях о дне 14 декабря отличающийся наблюдательностью и точностью Л. П. Бутенев — член Государственного совета и дипломат, друг декабриста Н. А. Бестужева. Он хорошо запомнил, кто где находился во время событий, кто как был одет, кто что сказал. Он подходил к солдатам, вслушивался в их «суждения», «наблюдал» действия знакомых ему офицеров. «Побуждаемый neodолимым любопытством непосредственно удостовериться» в настроениях восставших солдат, он спросил одного из них, «кому желают они присягнуть». Солдат ответил, что Константину, и добавил «угрюмо, резким голосом: «Не хотим Николая... мы испытали его!» и, продолжает Бутенев, «воображая во мне противника, с бранью требовал отойти прочь, угрожая попотчевать штыком». Бутенев слышал, как в адрес уговаривавшего восставших митрополита Серафима раздавались

⁷ Содержание воспоминаний Я. И. Ростовцева полностью подтверждается показаниями и мемуарами самих декабристов.

«дерзкие насмешки, срамные ругательства, угрозы солдат, в цепи находившихся». Эти свидетельства Бутенева важны, они опровергают официальную версию о том, что солдаты и матросы якобы лишь «обманом» были увлечены декабристами на площадь и будто бы не понимали сути происходящего.

Любопытные сведения о поведении на Сенатской площади царской свиты и простого люда сообщает в своих воспоминаниях чиновник министерства финансов И. Я. Телешов. «Лицо каждого [из царской свиты. — В. Ф.] перед глазами государя имело принужденную на себе улыбку, — вспоминает Телешов, — но как скоро государь не мог их видеть, то все их движения выражали не только скорбь, но даже отчаяние, чувства которого они знаками передавали друг другу». Телешов был свидетелем того, как один мужик при приближении царя попытался закричать: «Да здравствует Нико...», но в этот миг сосед «зажал рот мужику и с сердцем насмешливо сказал ему: «Погоди, брат, погоди! Еще рано кричать! Что-то будет». Все это происходило на глазах самого царя. Ужас овладел Телешовым, но «государь показал, что ничего не приметил».

О поведении петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича в день 14 декабря рассказывает в своих воспоминаниях его адъютант А. П. Башуцкий. Башуцкий свидетельствует, что еще утром Милорадович, пробиваясь к Зимнему дворцу, был основательно «помят» толпой и в растерзанном виде предстал перед царем. Характерно, что Николай I сначала надеялся разогнать вышедший на Сенатскую площадь Московский полк вооруженной силой, а не путем уговоров, и приказал для этого Милорадовичу двинуть лейб-гвардии Конный полк. Но, вспоминает Башуцкий, Милорадович тщетно пытался вывести этот полк из казарм, а затем принял решение сам, один, явиться перед восставшими и силой своего красноречия попытаться склонить их к повиновению. Башуцкий хорошо запомнил и речь Милорадовича, и все подробности происшедших затем событий. Башуцкий пишет, что, когда выстрелом Каховского Милорадович был повержен на землю, никто не пришел к нему на помощь. «Я не знал, что делать, звал, манил рукою людей из толпы, требовал. Ни один человек не подходил. С силою отчаяния я схватил тогда графа под плечи и, пятясь, повлек его буквально ногами по земле к стороне манежа... Тут, наткнувшись на группу людей, я положил его на минуту прямо на снег и, воспламененный, остервенелый, криком, ругательством, кулаками, пинками, побоями принудил четырех человек поднять его». Пишет Башуцкий и о полном равнодушии царя и придворных к судьбе генерал-губернатора столицы, героя войны 1812 г. Смертельно раненный, он был предоставлен сам себе. «В голых стенах, на солдатской койке суждено было умереть графу Милорадовичу!» — с горечью заключает Башуцкий. Смерть Милорадовича — в забвенье, в одиночестве, «на солдатской койке» — один из эпизодов трагедии 14 декабря. И он не случаен. Мы знаем, что когда 27 ноября в Петербург пришла весть о смерти Александра I в Таганроге, то именно Милорадович, «имея в своем кармане» 60 тысяч солдат столицы, принудил Николая

отказаться от притязаний на престол и первым присягнуть Константину. Николай I, как известно, не забывал нанесенных ему обид.

Колоритные подробности о «миссии» митрополита Серафима на Сенатской площади сообщает сопровождавший его иподъякон Прохор Иванов в своем бесхитростном и откровенном рассказе. Мемуарист зафиксировал не только слова «увещевания» митрополита Серафима, обращенные к восставшим, но и крайне нелестные «ответы» восставших духовному владыке: «Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягал, ты изменник, ты дезертир, николаевский калугер [приспешник.— В. Ф.], знай свою церковь!» Иванов вспоминает, как Серафим и сопровождавший его другой митрополит (Евгений) в страхе удалились «в разломанный забор к Исаакиевскому собору (<...> сели на двух простых извозчиков и таким образом возвратились в Зимний дворец». На вопрос императрицы Марии Федоровны (матери Николая I): «Чем нас утешите?» — Серафим ответил кратко: «Обругали и прочь отослали».

Об обстановке страха и растерянности, царивших в тот день в Зимнем дворце, свидетельствуют в своих воспоминаниях лицейский друг Пушкина князь А. М. Горчаков (впоследствии выдающийся русский дипломат) и статс-секретарь Государственного совета В. Р. Марченко. «Помню весьма живо, — вспоминает Горчаков, — как в то утро 14 декабря во дворце императрица Александра Федоровна прошла мимо меня торопливыми шагами одеваться к церемонии, видел ее потом трепещущую, видел и то, как она при первом пушечном выстреле нервно затрясла головою. Эти нервные припадки сохранились у нее на всю жизнь. Видел я митрополита Серафима, возвратившегося во дворец с Петровской площади и тяжело опустившегося в кресло, трепещущего всем телом. Он полагал, что был весьма близок к гибели, и дрожал при первом воспоминании об опасности, которой избег, как он думал, совершенно случайно». Горчаков хорошо запомнил находившегося в мрачном смятении Аракчеева.

Помещенные в данном разделе материалы содержат богатую и ценную информацию о поведении и действиях противников декабристов, особенно о мерах, предпринимаемых для подавления восстания. В воспоминаниях царских генералов В. Р. Каульбарса, И. О. Сухозанета и Е. Ф. Комаровского, непосредственно участвовавших в подавлении восстания, детально описаны передвижения правительственных войск с целью блокирования всех путей к отступлению восставших. Интересны сообщаемые этими мемуаристами сведения о колебаниях в тот день в правительственных войсках: например, о «замешательстве» при принесении присяги Николаю I в конной гвардии, конной артиллерии, в гвардейских Измайловском и Финляндском полках. Несомненно, что декабристы в значительной мере могли рассчитывать на эти полки, и если бы восставшие проявили больше инициативы, организованности, а главное, «наступательности» в действиях, дело могло бы принять иной оборот. Характерно, что царские генералы, члены царской

семьи и сам Николай I вполне осознавали реальность такого опасного поворота событий в день 14 декабря. «Нельзя не признать, — писал родственник царя, принц Евгений Вюртембергский, — что возможность осуществления полного переворота в России, благодаря совершенно исключительным обстоятельствам, зависела от одной счастливой случайности». Даже Н. М. Карамзин, несколько не склонный к преувеличениям, допускал возможность успеха декабристов. «Смелые действия злодеев могли бы иметь успех самый блистательный», — записал слова Карамзина в своих воспоминаниях И. Я. Телешов. В литературе детально проанализированы все просчеты и промахи, допущенные в тот день декабристами, которые не сумели овладеть положением, не смогли воспользоваться первоначальной растерянностью властей, лишены были твердого военного руководства. И на наш взгляд, правомерен вывод, что фатальной неизбежности неудачи декабристов 14 декабря не было.

В официальных газетных сообщениях, в подписанных царем манифестах и в Донесении Следственной комиссии откровенно преследовалась цель всячески принизить и извратить сущность «дела» декабристов, которое было представлено как «зараза, извне к нам принесенная», декабристы трактовались как «злодеи» и «изверги», а само восстание — как явление «случайное», «минутная вспышка», при «всеобщей преданности России престолу». Однако в своих мемуарах и дневниках, предназначенных для узкого круга царской семьи, Николай I иначе оценивает события. Он вполне отдает себе отчет в политической значительности 14 декабря 1825 г. Прочной опоры под ногами царь не чувствовал. Характерно его признание, что в тот день (14 декабря) около него не было ни одного преданного человека, «кроме жены». Николай вспоминает, как он доказывал свои права на престол окружавшей его толпе народа ...читал свой манифест о восшествии на престол — «тихо и протяжно, толкуя каждое слово; но сердце замирало, признаю, и единый бог меня поддерживал». Страх царя имел все основания: «чернь вся была на стороне мятежников», «рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями» (несомненно, они не могли не видеть и не понимать, о какой «цели» шла речь). Одновременно в царя и его свиту стреляли восставшие солдаты. «В то время сделали по мне залп, — вспоминает Николай I, — пули просвистали мне через голову». Позже он признается Евгению Вюртембергскому: «Что непонятно во всем этом, Евгений, так это то, что нас обоих тогда не пристрелили». И вполне логично объяснение царя — почему он не задержал роту восставших лейб-гренадер, предводительствуемую поручиком Н. А. Пановым, и дал ей возможность пройти сквозь построения правительственных войск и присоединиться к своим товарищам. «К счастью, что сие так было, — вспоминает Николай I, — ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца и участь наша была бы более чем сомнительна». Атмосферу страха в царской семье в тот день живо передает и публикуемая в данном разделе настоящего сборника дневни-

ковая запись (от 15 декабря 1825 г.) жены Николая I — императрицы Александры Федоровны.

Характерно, что даже верноподданнически настроенные мемуаристы зафиксировали растерянность царя и знати в день восстания 14 декабря. Свидетельства этих мемуаристов развенчивают ореол «геройства» Николая I, который создали официальные историки, начиная с М. А. Корфа.

Важные факты и детали трагической развязки дня 14 декабря приводит в своих воспоминаниях учитель М. М. Попов. Он свидетельствует о бесчеловечных поступках полиции, которая трусливо вела себя в момент восстания и проявила «храбрость», когда оно было разгромлено. «Полиция и помощники ее, — пишет Попов, — в ночь с 14 на 15 пустились в грабеж: не говоря уже, что с мертвых и раненых, которых опускали в проруби, снимали платье и отбирали у них вещи, даже убежавших ловили и грабили». Попов сообщает, что по распоряжению петербургского обер-полицеймейстера А. С. Шульгина на Неве «сделано было множество прорубей величиною, как можно опустить человека, и в эти проруби к утру опустили не только все трупы, но (ужасное дело) и раненых, которые не могли уйти от этой кровавой ловли. Другие ушедшие раненые таили свои раны, боясь открыться медикам и правительству, и умирали, не получив помощи. От этого-то в Петербурге почти не осталось в живых из тех, которые были ранены 14 декабря».

Разгром восстания на Сенатской площади не погасил страха Николая I и его придворных, опасавшихся повторения «бунта», и на этот раз, возможно, «бунта черни». Выше уже приводились мемуарные свидетельства разных лиц, в том числе и самого царя, показывающие, что «чернь» целиком была на стороне восставших. Мемуаристы сообщают о том, что народ просил у восставших оружия, обещая им «перевернуть вверх дном» весь Петербург. Отсюда понятны те судорожные чрезвычайные меры, которые приняты были Николаем I в ночь с 14 на 15 декабря.

Большой интерес представляет включенное во второй раздел данного документального сборника письмо Н. М. Карамзина к его другу писателю И. И. Дмитриеву (известному тогда поэту). Письмо написано 19 декабря 1825 г. под свежим впечатлением «тревоги 14 декабря». В тот день Карамзин был и в Зимнем дворце и «выходил на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало» к его ногам. Он был свидетелем величайшего смятения в Зимнем дворце. Реакция Карамзина на происшедшее вытекает из его мировоззрения. Свое отношение к «мятежу» Карамзин совершенно откровенно выразил словами: «Я, мирный историкограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятежа».

О восстании Черниговского полка сохранилось сравнительно немного воспоминаний. В настоящий том включены воспоминания польского помещика Иосифа Руликовского, обширные владения которого оказались зоной действия восставших (сам И. Руликовский жил в то время в местечке Мотовиловке, ставшем центром восстания

Черниговского полка); рассказ гусарского полковника И. И. Левенштерна, принимавшего в составе отряда правительственных войск прямое участие в подавлении восстания.

И. Руликовский непосредственно в дни восстания вел дневниковые записи, беседовал с руководителями восставших — С. И. Муравьевым-Апостолом и М. И. Бестужевым-Рюминым, расспрашивал и других участников восстания; он был памятьливым свидетелем того, как относились к событиям различные социальные группы населения: чиновники, окрестные помещики, крестьяне и пр. На основе сделанных в самый разгар событий, но потом утраченных записей Руликовский составил подробное и довольно точное описание восстания декабристов на Украине. При этом Руликовский пытался сохранить позицию «беспристрастного» и «стороннего» наблюдателя (не выказывая сочувствия восставшим и не осуждая их поступков), однако клерикально-консервативные взгляды, присутствующие мемуаристу, наложили свой отпечаток на тон мемуаров — чувствуются некоторая заданность, стремление охарактеризовать все виденное и слышанное тогда с точки зрения «христианской морали». По содержательности и ценности сведений мемуары Руликовского можно поставить в ряд с воспоминаниями самих декабристов об этом восстании (И. И. Горбачевского и Ф. Ф. Вадковского).

Рассказ И. И. Левенштерна представляет собой откровенное и доверительное письмо к своему другу (личность которого установить не удалось). Здесь по горячим следам описывается сам момент подавления восстания. Автор хотя и состоял в карательном отряде, но с сочувствием относится и к С. И. Муравьеву-Апостолу и к его товарищам. Сам И. И. Левенштерн в свое время подозревался в причастности к тайному обществу декабристов, и следствие собирало о нем сведения.

Мемуаристика о следствии и суде над декабристами, чему посвящен третий раздел сборника, ограничена воспоминаниями весьма узкого круга лиц. Это вполне объяснимо: следствие и суд над декабристами носили строго секретный характер, авторами мемуаров могли быть здесь лишь члены Следственной комиссии и Верховного уголовного суда.

Политический процесс, вернее, следствие над декабристами берет свое начало непосредственно с их арестов. Поэтому в данный раздел мы включили и мемуарные свидетельства об арестах декабристов. Это — дневниковые записи флигель-адъютанта Н. Д. Дурново, которому было поручено производить аресты в Петербурге, и рассказ Е. А. Бестужевой, которая живо и колоритно повествует о том, как были взяты под арест ее братья-декабристы Александр, Михаил, Николай и Петр Бестужевы. В дневниковых записях Н. Д. Дурново содержится весьма характерный штрих, свидетельствующий о том, что начавшиеся массовые аресты создали атмосферу нервозности и страха даже среди верных царских сановников. 4 января 1826 г. Дурново записывает в дневнике: «Рано утром приехал за мной фельдъегерь барона Дибича. Я думал, что буду отправлен в места отдаленные, но страх был напрасен —

дело шло о поручении поехать к князю Левенштейну, баварскому генералу, чтобы пригласить его от имени императора присутствовать, если ему угодно, на параде». Н. Д. Дурново, сам производивший по приказу царя аресты «заговорщиков», опасался, что и его могут схватить и отправить «в места отдаленные»!

Ценным мемуарным источником о следствии над декабристами являются «Записки» правителя дел Следственного комитета А. Д. Боровкова, человека весьма осведомленного. В руках Боровкова находилось все делопроизводство следствия, он был связан с дополнительными и совершенно тайными мерами, предпринимаемыми организаторами процесса, например со сверхсекретным расследованием о причастности к заговору декабристов М. М. Сперанского, Н. С. Мордвинова и других «высших государственных лиц». Об этом расследовании не знали даже члены официального Следственного комитета. «Изыскание в отношении этих лиц к злоумышленному обществу было произведено с такою тайною, что даже чиновники [Следственного] Комитета не знали, — пишет Боровков, — я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело». Как мы знаем, эти материалы сверхсекретного расследования были впоследствии уничтожены по приказу Николая I. Боровков был в курсе всех деталей следствия: разработывал опросные анкеты, предъявляемые подследственным декабристам, систематизировал материалы следствия, составлял сводки показаний на каждого декабриста, записки о «силе вины», наконец, он подготовил итоговые документы следствия, в том числе хорошо известные «Алфавит» декабристов и «Свод» их мнений о внутреннем состоянии государства. В своих воспоминаниях Боровков пишет: «Главное упорство большей части допрашиваемых состояло в сокрытии соумышленников; но когда им показали бывшие в Комитете списки членов их обществ [уже известных по доносам. — В. Ф.], когда сказали им, что они почти все уже забраны, тогда стали они чистосердечнее». Эти слова Боровкова, на наш взгляд, позволяют критически отнестись к давно сложившемуся и, к сожалению, весьма распространенному суждению, будто бы декабристы вообще вели себя на следствии «не должным образом» и чуть ли не с первых допросов выдавали своих товарищей. В воспоминаниях члена Верховного уголовного суда графа Е. Ф. Комаровского приводятся важные данные о подготовке приговора декабристам так называемой Разрядной комиссией суда, о ведущей роли в суде М. М. Сперанского. Читатель в этом разделе с интересом прочтет воспоминания сенатора П. Г. Дивова, духовника декабристов в Петропавловской крепости протоиерея П. Н. Мысловского и характерный фрагмент из воспоминаний П. Е. Анненковой (Полины Гебль) о ее свидании с будущим мужем И. А. Анненковым в Петропавловской крепости.

Мемуарные свидетельства о казни декабристов противоречивы. Само трагическое событие обросло массой легенд, и это отразилось и на мемуаристике. В данный том включены мемуары только тех лиц, которые непосредственно присутствовали при исполнении казни. И надо сказать, что их описания казни в целом

совпадают. Так, все они единодушно свидетельствуют о мужестве и самообладании идущих на казнь декабристов, одинаково описывают и сам ритуал казни. Разночтения, особенно касающиеся деталей, остаются, конечно, и здесь, на что есть свои причины. Лица осужденных на казнь были закрыты белыми колпаками, во время исполнения казни били барабаны и играла военная музыка, естественно, что даже присутствовавшие при казни могли ошибиться в показаниях о том, кто сорвался с виселицы и испытал «вторую смерть», кто и что сказал в эти страшные минуты.

В отличие от событий следствия и казни мемуарная литература о пребывании декабристов на каторге и в ссылке в Сибири представлена среди отечественных источников достаточно богато. В четвертый раздел сборника, посвященный этой теме, включены извлечения из воспоминаний жен декабристов М. Н. Волконской и П. Е. Анненковой, дочери декабриста И. А. Анненкова О. И. Ивановой, его внуки М. В. Брызгаловой, сибирских воспитанников декабристов — Н. А. Белоголового, О. Н. Балаксиной, М. Д. Францевой, А. П. Созонович и М. С. Знаменского, друзей и знакомых декабристов — П. И. Першина-Каракарсарского, С. Семенова, И. Е. Ефимова, А. И. Лучшева, Б. В. Струве, В. А. Обручева, С. В. Максимова. В данный раздел включена запись рассказа Жигмыт Анаевой (служившей няней в семье Бестужевых).

Воспоминания М. Н. Волконской и П. Е. Анненковой относятся к лучшим образцам мемуаристики о декабристах. Они содержат богатую и правдивую информацию о режиме каторги и ссылки, о повседневном быте и занятиях декабристов, о их взаимной товарищеской поддержке друг друга, об отношении к ним местного населения.

Воспоминания М. Н. Волконской созданы в форме письма к ее старшему сыну Михаилу. Это, по сути, проникновенное наставление и завещание Волконской своим детям. Мария Николаевна объясняет им, почему их отец пошел против царя и стал «государственным преступником», раскрывает благородство целей и идеалов своего мужа и его товарищей. Исполненные горячей веры, звучат слова замечательной женщины: «Если даже смотреть на убеждения декабристов как на безумие и на политический бред, все же справедливость требует сказать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслужить уважения соотечественников. Кто кладет голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество». Отъезд в Сибирь, пребывание в Иркутске, жизнь в Чите и на Петровском заводе — эти события составляют основное содержание мемуаров Волконской. Читатель с интересом прочтет описание «прощального вечера» в Москве у Зинаиды Александровны Волконской (свояченицы М. Н. Волконской), на котором присутствовал А. С. Пушкин и читал свое знаменитое «Послание в Сибирь». Волконская сообщает ценные сведения о «заговоре в Зерентуйском руднике» И. И. Сухинова (1828 г.), о вторичной ссылке М. С. Лунина (близкого друга семьи Волконских), о тяготах, выпавших на долю декабристов И. В. Поджио и Г. С. Батенькова.

Живой и содержательный рассказ представляют собой «Записки Полины Анненковой» — француженки Полины Гебль из Нанси. В 1825 г. судьба свела эту обаятельную, жизнерадостную и остроумную женщину, служившую в модном магазине Дюманси в Москве, с блестящим офицером-кавалергардом И. А. Анненковым. Страстная взаимная любовь соединила молодых людей, которые не подозревали, что скоро им суждено тяжкое испытание: арест И. А. Анненкова, долгое следствие, суд и приговор «сослать вечно в каторжную работу». Энергичная и смелая женщина, не терявшаяся в самых сложных жизненных ситуациях, Полина Гебль добилась у самого царя разрешения следовать в Сибирь к своему жениху. Приезд ее в Сибирь явился настоящим спасением для Анненкова, который, по свидетельству его товарищей, находился в состоянии тяжелой душевной депрессии и был готов на самый отчаянный и безрассудный поступок. Нельзя без волнения читать описание сцены венчания Ивана Анненкова и Полины Гебль в деревянной читинской церкви (она сохранилась и до сих пор): «Веселое настроение исчезло, шутки замолкли, когда привели в оковах жениха и его двух товарищей, Петра Николаевича Свистунова и Александра Михайловича Муравьева, которые были нашими шаферами. Оковы сняли им на паперти. Церемония продолжалась недолго, священник торопился, певчих не было. По окончании церемонии всем трем, т. е. жениху и шаферам, надели снова оковы и отвели в острог. Дамы все проводили меня домой».

Волконская и Анненкова в своих воспоминаниях воспроизводят тексты официальных бумаг, которые подписывала каждая из жен декабристов, следовавшая за своим мужем в Сибирь. Эти бумаги, лишая жен декабристов в Сибири всех прав состояния, утверждали целый ряд беспощадных ограничений и запретов, регламентирующих даже их личную жизнь. Жена находившегося на каторге декабриста обязывалась ничего не передавать мужу и ничего не принимать от него. Категорически, под страхом сурового наказания, запрещалось писать письма за мужей и их товарищей. Жена декабриста должна была иметь «реестр» всем своим вещам, которые не имела права «ни продавать, ни передавать, ни уничтожать». Она должна была также иметь «приходо-расходную книгу», в которой фиксировались все осуществляемые только с разрешения коменданта «приходы» и «расходы». Возможность каждого шага была строго очерчена. Например, в числе «пунктов» обязательств значилось: «не должна я сама никуда отлучаться с места того, где пребывание мое будет назначено», «обязуюсь иметь свидание с мужем моим не иначе, как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера, и не говорить с ним ничего излишнего <...> вообще же иметь с ним дозволенный разговор на одном русском языке». Эти документы, по сути дела, обвинительные акты против самодержавия, так как они воплощают его жестокость и мстительность по отношению к декабристам, их женам и даже детям, которые рождались в Сибири и попадали под подобные же ограничения и запреты. Как бы продолжением «Записок Полины Анненковой» являются воспоминания

ее дочери О. И. Ивановой. Дочь Анненковой родилась в 1830 г. в Петровской тюрьме. Ее детство прошло среди декабристов, которые были ее первыми учителями и воспитателями. О. И. Иванова живо помнит и период своей жизни на Петровском заводе, и жизнь вместе с родителями на поселении.

Ценнейший материал о жизни декабристов на поселении содержится в воспоминаниях сибирских воспитанников и друзей декабристов. Все мемуаристы единодушно свидетельствуют об исключительной гуманности и самоотверженности, любви к простому народу и благородстве декабристов. Мемуары сибирских друзей декабристов подробно повествуют об их просветительской деятельности. Мемуаристы отмечают активное нравственное воздействие ссыльных декабристов на сибирское общество. «Благотворное влияние их на окружающую среду было глубоко», — вспоминает видный общественный деятель врач Н. А. Белоголовый. М. Д. Францева (воспитанница семьи Фонвизиных) пишет, что общение сибиряков с декабристами «развило в них [сибиряках. — В. Ф.] высокое понимание человеческой личности». В мемуарах сибиряков подробно описаны быт и хозяйство ссыльных декабристов, их занятия медицинской практикой и обучением местных детей, причем, как отмечают мемуаристы, даже бедно жившие ссыльные декабристы отказывались от какого-либо вознаграждения за эти труды.

Заметим, что мемуаристы, пишущие о сибирском периоде в судьбе деятелей тайных обществ, мало касаются политических взглядов и настроений ссыльных декабристов, иногда объясняя такое умалчивание тем, что «еще не пришло время свободно разрабатывать эту страницу истории» (Н. А. Белоголовый). Да и сами декабристы, как свидетельствуют авторы мемуаров, неохотно делились своими мыслями об этом и зачастую явственно старались уклониться от воспоминаний о прошлом. «Декабристы не любили вспоминать былого, — пишет М. Д. Францева, — больше говорили о своей частной жизни, политических же волнений и прежней политической деятельности декабристы касались очень редко, вскользь и то тогда, когда оставались с испытанными, преданными друзьями». Здесь, несомненно, сказывалось само положение декабристов как ссыльнопоселенцев; они были людьми, находившимися под неусыпным полицейским надзором (о поведении и настроениях их регулярно посылались донесения в III отделение), и всякое неосторожно сказанное слово могло иметь роковые последствия. Характерно, что после амнистии, когда суровый полицейский надзор был снят и статус декабристов существенно изменился, оставшиеся в то время в Сибири декабристы (И. И. Горбачевский, Д. И. Завалишин, М. А. Бестужев, М. К. Кюхельбекер) куда более свободно рассуждали о «политике». Сибирский писатель и публицист П. И. Першин-Караксарский вспоминает, как во время своих встреч в 1859 г. с М. А. Бестужевым они вели «оживленную беседу о современной политике». Декабристы знали тогдашнюю запрещенную литературу, которая проникала и в далекую Сибирь. «Лондонская печать Герцена, — пишет тот же мемуарист, — возбуждала живейший интерес. Издаваемые им «Ко-

локол» и «Полярная звезда» читались с жадностью и комментировались на все лады».

Мемуаристов-сибиряков восхищал самоотверженный подвиг жен декабристов. Н. А. Белоголовый вспоминает о «благоговейном изумлении» и «преклонении» сибиряков «перед этими молоденькими и слабенькими женщинами», которые выросли в атмосфере столетнего света и покинули, по большей части наперекор своим родителям, «весь окружающий их блеск и богатство, порвали со всем своим прошлым, с родными, дружескими связями и бросились, как в пропасть, в далекую Сибирь, чтобы разыскать своих несчастных мужей в каторжных рудниках, похоронив в сибирских тундрах свою молодость и красоту».

...В заключение необходимо сказать несколько слов о специфике читательского и научного восприятия мемуарной литературы вообще и о том, как должна «читаться» наша книга. Мемуары — литература принципиально личного свойства. В них более, чем в каком-либо другом источнике, отражаются индивидуальные черты характера мемуариста, его нравственное кредо. Мемуарам изначально присуща субъективность оценок и суждений. Но сама эта субъективность, исключительность мнения, даже неточность, наконец, доля иллюзии и наложившейся позднее легенды тоже относятся к области исторического факта, так как помогают понять те или иные стороны общественного сознания, общественно-исторический резонанс явления.

Обращаясь к мемуарам, нужно учитывать, что они зачастую создаются много лет спустя после описываемых в них событий; отсюда естественные временные и событийные смещения, ошибки в передаче некоторых деталей. С годами меняется и позиция мемуариста, и на многие факты и события он уже смотрит иначе, нежели когда был их свидетелем и участником. И вместе с тем мемуаристика — важный исторический источник и ценный литературный памятник. Недаром мемуары «недекабристов» широко используются в декабристоведении: они существенно дополняют мемуары самих декабристов, официальные документы, а при изучении некоторых сторон декабристского движения и биографий декабристов в иных случаях попросту незаменимы. Наша книга рассчитана и на специалиста, и на широкого читателя. Естественно, что ее важной составной частью являются комментарии и именной указатель. Однако научный аппарат книги создавался с учетом целого ряда предшествующих публикаций, поэтому и было решено не комментировать имена декабристов как таковые — ведь в нашей литературе представлен подробный «Алфавит декабристов» (Восстание декабристов. Материалы. М.; Л., 1925. Т. VIII); нужные сведения читатель может найти и в изданных нами несколько лет назад мемуарах декабристов (Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981; Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982; совместно с И. В. Порохом).

Составитель будет благодарен всем тем, кто выскажет свои замечания, внесет поправки и уточнения.

В. А. Федоров

I. ДЕКАБРИСТЫ И ИХ ЭПОХА

А. И. Герцен

О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ

⟨...⟩ Первая часть петербургского периода закончилась войною 1812 года. До этого времени во главе общественного движения стояло правительство; отныне рядом с ним идет дворянство. До 1812 года сомневались в силе народа и питали несокрушимую веру во всемогущество правительства: Аустерлиц был далеко, Эйлау принимали за победу, а Тильзит — за славное событие¹. В 1812 году неприятель вошел в Мемель и, пройдя через всю Литву, очутился под Смоленском, этим «ключом» России. Объятый ужасом, Александр примчался в Москву молить о помощи дворянство и купечество. Он пригласил их в заброшенный Кремлевский дворец, чтобы обсудить, как помочь отечеству. Со времен Петра I русские государи не говорили с народом; надо думать, велика была опасность, если император Александр во дворце, а митрополит Платон² в соборе заговорили об угрозе, которая нависла над Россней.

Дворяне и купцы протянули руку помощи правительству и выручили его из затруднения. А народ, забытый даже в это время всеобщего несчастья или слишком презираемый, чтобы просить его крови, которую считали вправе проливать и без его согласия, — народ этот, не дожидаясь призыва, поднимался всей массой за свое собственное дело.

Впервые со времени восшествия на престол Петра I имело место это безмолвное единение всех классов. Крестьяне безропотно вступали в ряды ополчения, дворяне давали каждого десятого из своих крепостных и сами брались за оружие; купцы жертвовали десятую часть своих доходов. Народное волнение охватило всю империю; спустя шесть месяцев после оставления Москвы на границах Азии появились толпы вооруженных людей, спешащих из глубины Сибири на защиту столицы. Вест о ее взятии и пожаре потрясла всю Россию, ибо для народа подлинной столицей была Москва. Она искупила, пожертвовав собою, усыпляющий царский строй; она вновь поднималась в ореоле славы; сила врага сломилась в ее стенах; в Кремле началось отступление завоевателя, которому предстояло закончиться лишь на острове св. Елены³. При первом же пробуждении народа Петербург затмился, а Москва,

столица без императора, принеся себя в жертву для общего отечества, приобрела новое значение.

Впрочем, после этого кровавого крещения вся Россия вступила в новую фазу.

Невозможно было сразу перейти от волнений национальной войны, от славной прогулки по всей Европе, от взятия Парижа к мертвому штилю петербургского деспотизма. Само правительство не смогло сразу же вернуться к своим старым замашкам. Александр, тайком от князя Меттерниха⁴, притворялся либералом, высмеивал ультрамонархические проекты Бурбонов⁵ и разыгрывал роль конституционного короля Польши⁶.

Что же до нищего крестьянина, то он возвратился в свою общину, к своей сохе, к своему рабству. Ничего для него не изменилось, ему не пожаловали никаких льгот в благодарность за победу, купленную его кровью. Александр подготавливал ему в награду чудовищный проект военных поселений⁷.

Большая перемена. Гвардейские и армейские офицеры, храбро подставлявшие грудь под неприятельские пули, были уже не так покорны, как прежде. В обществе стали чаще проявляться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей⁸. В то же время дурное управление, продажность чиновников, полицейский гнет стали вызывать всеобщий ропот. Было ясно, что правительство, организованное подобным образом, не могло, при всей его доброй воле, ограждать от этих злоупотреблений, что нечего было ждать справедливости от богачей для стариков, которую торжественно именовали Правительствующим сенатом, — от этого собрания смиренных невежд, игравшего роль кладовой, куда правительство убирало старых чиновников, не заслуживавших ни быть оставленными в аппарате управления, ни быть оттуда изгнанными. Государственные люди, пользующиеся большим авторитетом, как, например, старик адмирал Мордвинов⁹, говорили вслух о крайней необходимости многих реформ. Сам Александр желал улучшений, но не знал, как приступить к ним. Историк-абсолютист Карамзин¹⁰ и Сперанский, составитель Свода законов Николая I¹¹, работали по его приказу над проектом конституции.

Люди энергичные и серьезные не стали ждать окончания этих несбыточных проектов, они удовлетворились смутным недовольством и постарались воспользоваться им по-иному. Они задумали создать большое тайное общество. Это общество должно было заниматься политическим воспитанием молодого поколения, распространять идеи свободы и тщательно изучать сложный вопрос радикальной и полной реформы образа правления в России. Не удовлетвовавшись одной лишь теорией, они в то же время организовали свое общество таким образом, чтобы воспользоваться первым удобным случаем и поколебать императорскую власть. Все самое благородное среди русской молодежи — молодые воен-

ные, как Пестель, Фонвизин, Нарышкин, Юшневский, Муравьев, Орлов, самые любимые литераторы, как Рылеев и Бестужев, потомки самых славных родов, как князь Оболенский, Трубецкой, Одоевский, Волконский, граф Чернышев, — поспешили вступить в ряды этой первой фаланги русского освобождения. Вначале общество приняло название «Союза благоденствия»¹².

Как ни странно, но в то самое время, когда эти пылкие молодые люди, полные веры и сил, давали клятву ниспровергнуть петербургский абсолютизм, Александр давал клятву накрепко связать Россию с неограниченными монархиями Европы. Он только что создал знаменитый Священный союз¹³ — союз мистический, бесполезный, невозможный, нечто вроде абсолютистского Грютли¹⁴, Тугендбунда¹⁵, образованного тремя коронованными студентами, среди которых Александр играл роль горячей головы.

Те и другие сдержали клятву: одни — идя умирать за свои идеи на виселицу или на каторгу, а Александр — оставив корону своему брату Николаю.

Десять лет, со времени возвращения войск и до 1825 года, являются апогеем петербургского периода. Россия Петра I чувствовала себя сильной, юной, полной надежд. Она полагала, что свобода способна привиться с такою же легкостью, как цивилизация, забывая, что цивилизация не проникла дальше поверхности и является достоянием лишь очень незначительного меньшинства. Но меньшинство это действительно обладало таким развитием, что не могло мириться с провизорными* условиями царского строя.

Это была первая поистине революционная оппозиция, создававшаяся в России. Оппозиция, встреченная цивилизацией в начале XVIII столетия, была консервативной¹⁶. И даже та, которую образовали в царствование Екатерины II несколько вельмож, подобно графу Панину¹⁷, не выходила из круга строго монархических идей: порою она была энергичной, но всегда оставалась покорной и почтительной. Направление умов после 1812 года было совершенно иным. <...>

Время для тайного политического общества было выбрано прекрасно во всех отношениях. Литературная пропаганда велась очень деятельно. Душой ее был знаменитый Рылеев; он и его друзья придали русской литературе энергию и воодушевление, которыми она никогда не обладала ни раньше, ни позже. То были не только слова, то были дела. Знали, что принято решение, что есть определенная цель, и, не заблуждаясь относительно опасности, шли твердым шагом, с высоко поднятой головой, к неотвратимой развязке.

У народа, лишённого общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести.

Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы. Революционные

* Временными (лат.). — Сост.

стихи Рылеева и Пушкина можно найти в руках у молодых людей в самых отдаленных областях империи. Нет ни одной благовоспитанной барышни, которая не знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей полевой сумке, ни одного поповича, который не снял бы с них дюжину копий. В последние годы пыл этот значительно охладел, ибо они уже сделали свое дело: целое поколение подверглось влиянию этой пылкой юношеской пропаганды.

Заговор с необычайной быстротой распространился в Петербурге, Москве и Малороссии, среди офицеров гвардии и 2-й армии... Вначале он имел конституционную и либеральную тенденцию в английском смысле. Но стоило этому воззрению получить поддержку, как Союз преобразился: он стал более радикальным, вследствие чего многие его покинули. Ядро заговорщиков стало республиканским и не пожелало более довольствоваться представительной монархией. Они справедливо считали, что если хватит у них силы ограничить самодержавие, то ее хватит и на то, чтобы его уничтожить. Главари Южного общества имели в виду республиканскую федерацию славян, подготавливали революционную диктатуру, которая должна была установить республиканские формы.

Более того, когда полковник Пестель посетил Северное общество¹⁸, то он там поставил вопрос по-иному. Он полагал, что провозглашение республики ни к чему не приведет, если не вовлечь в революцию поземельную собственность. Не будем забывать, что дело идет о событиях, которые произошли между 1817 и 1825 годами. Социальные вопросы никого тогда не занимали в Европе, «безумец и дикарь» Гракх Бабёф¹⁹ был уже забыт, Сен-Симон²⁰ писал свои трактаты, но никто не читал их, в том же положении был Фурье²¹, не больше интересовались и опытами Оуэна²². Самые видные либералы того времени — Бенжамен Констан²³, П. Л. Курье²⁴ — встретили бы негодующими криками предложения Пестеля, предложения, сделанные не в клубе, членами которого были пролетарии, но перед большим обществом, целиком состоявшим из самых богатых дворян. Пестель предлагал этим дворянам добиваться, пусть даже ценою жизни, экспроприации их собственных имений. С ним не соглашались, его убеждения ниспровергали только что усвоенные принципы политической экономии. Но ему не приписывали желаний грабить и убивать; Пестель все же оставался истинным вождем Южного общества, и весьма вероятно, что в случае успеха он бы стал диктатором, — он, который был социалистом прежде, чем появился социализм²⁵.

Пестель не был ни мечтателем, ни утопистом: совсем напротив, он весь принадлежал действительности, он знал дух своей нации. Оставить землю дворянам значило бы создать олигархию; народ даже не понял бы своего освобождения, ибо русский крестьянин хочет быть свободным не иначе, как владея собственной землей.

Именно Пестель первый задумал привлечь народ к участию в революции. Он соглашался с друзьями, что восстание не может

иметь успеха без поддержки армии, но во что бы то ни стало хотел также увлечь за собой раскольников²⁶ — глубокий замысел, правильность и дальновидность которого докажет будущее.

После всех событий мы можем сказать, что Пестель заблуждался: ни друзья его не могли подготовить социальную революцию, ни народ — участвовать в общем деле с дворянством; но только великим людям дано ошибаться подобным образом, предвосхищая развитие народных масс.

Он ошибался практически, в сроке, теоретически же это было откровением. Он был пророком, а все общество — огромной школой для нынешнего поколения.

14 (26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания, и — что может показаться странным — причиной огромного влияния, которое приобрело это дело и которое сказалось на обществе больше, чем пропаганда, и больше, чем теория, было само восстание, геройское поведение заговорщиков на площади, на суде, в кандалах, перед лицом императора Николая, в сибирских рудниках. Русским недоставало отнюдь не либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений: им недоставало случая, который дал бы им смелость инициативы. Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий. Подобный пример всего необходимей там, где человек не привык осуществлять свою волю, выступать открыто, полагаться на себя и чувствовать свои силы, где, напротив, он всегда был несовершеннолетним, не имел ни голоса, ни своего мнения, хоронился за общиной, будто за неприступной стеной, и был поглощен государством, как бы затерявшись в нем. Вместе с цивилизацией, естественно, развивались также идеи свободы, но пассивное недовольство слишком вошло в привычку, — от деспотизма хотели избавиться, но никто не хотел взяться за дело первым.

И вот эти первые пришли, явив такое величие души, такую силу характера, что правительство не посмело в своем официальном донесении²⁷ ни унижить их, ни заклеить позором; Николай ограничился жестоким наказанием. Безмолвию, немому бездействию был положен конец; с высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз (...).

ИЗ «ЗАПИСОК» А. И. КОШЕЛЕВА

<...> Смутно вспоминаю я о либеральных толках, бывших в 1818—1822 годах, особенно между военными, возвратившимися из Франции после событий 1812—1815 годов; но очень положительно и ясно сохранились в моей памяти жалобы на слабость императора Александра I в его отношениях к Меттерниху и Аракчееву¹. И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности

молодежь — словом, чуть-чуть не все беспрестанно и без умолку осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношей, у внучатого брата моего Мих[аила] Мих[айловича] Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года². На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические «Думы», а все свободно говорили о необходимости *d'en finir avec ce gouvernement**. Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление; и я на другой же день утром сообщил все слышанное Ив[ану] Киреевскому³, и с ним вместе мы отправились к Дм[итрию] Веневитинову⁴, у которого тогда жил Рожалин⁵, только что окончивший университетский курс со степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Ройе-Колара⁶ и других французских политических писателей; и на это время немецкая философия сошла у нас с первого плана.

Никогда не забуду того потрясающего действия, которое произвели на нас первые известия о 14 декабря. Хотя уже знали, что император Александр I скончался, что скрывали его смерть, что в Петербурге, в правительственной сфере, происходили толки и разговоры и что в обществе было сильное волнение, однако известия об этом бунте меня сильно поразили: слова стали переходить уже в дела.

В этот промежуток времени, т. е. между получением известий о кончине императора Александра и о происшествиях 14-го декабря, мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных известий из Петербурга. Один из присутствовавших на этих беседах, кн. Николай Иванович Трубецкой⁷ (точно он, а не иной кто-либо, хотя это и невероятно, однако верно — вот как люди меняются!), адъютант гр[афа] П. А. Толстого⁸, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника связанного по рукам и по ногам (*avec les mains et les jambes liées*). Предположениям и прениям не было конца; а мне, юноше, казалось, что для России уже наступал великий 1789 год.

В первых числах декабря по указу Сената присягнули в Москве императору Константину Павловичу, и целые *десять дней* все просьбы подавались на его имя и указы писались от его имени. Эта присяга принесена была совершенно просто — без всяких особенных обстоятельств. Не таковая была присяга императору

* Покончить с этим правительством (*фр.*). — *Сост.*

Николаю Павловичу. Тут сочли нужным принять разные чрезвычайные меры. В соборе присягали одни сенаторы и высшие сановники, а прочие чиновники присягали особо по каждому ведомству.

Ночью разосланы были повестки насчет присяги. Меня разбудили в 4-м часу; я не мог более заснуть и до рассвета ходил по своей комнате. В 8 часов я поехал к Ив[ану] Киреевскому и вместе с ним к Веневитинову. Много мы толковали и были крайне взволнованы; но, несмотря на то, в 11 часов собрались в Архиве коллегии иностранных дел для принесения присяги. Наш добрый начальник А. Ф. Малиновский⁹ был в крайнем смущении и испуге. По распоряжению свыше военный караул при Архиве был утроен и солдаты снабжены патронами. Командовал не унтер-офицер, даже не простой офицер, а целый майор. Воображали, кажется, что архивные юноши произведут подражание петербургскому возмущению. Но у нас все прошло самым спокойным образом, и только Соболевский в шутку, вполголоса, при попарном нашем шествии в церковь, пропел Марсельезу.

Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречащие. То говорили, что там все спокойно и дела пошли обычным порядком, то рассказывали, что открыт огромный заговор, что 2-я армия (тогда армия состояла из двух отделов, один находился под начальством Остен-Сакена, а другой — гр[афа] Витгенштейна¹⁰) не присягает, идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов¹¹ также не присягает и со своими войсками идет с Кавказа на Москву. Эти слухи были так живы и положительны и казались так правдоподобными, что Москва, или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, «немецкие философы», забыли Шеллинга¹² и комп[анию], ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали.

Вскоре начали в Москве, по ночам, хватать некоторых лиц и отправлять их в Петербург. Очень памятно мне арестование внучатого моего брата и коротко мне знакомого Вас[илия] Серг[еевича] Норова*; лично при этом я находился, и это событие меня очень поразило. Сидим мы у Норова и беседуем. Вдруг, около полуночи, без доклада входит полицеймейстер и спрашивает, кто из нас Вас[илий] Серг[еевич] Норов. Когда хозяин встал и спросил, что ему нужно, тогда полицеймейстер объявил, что имеет

* В. С. Норов, старший брат А. С. Норова, бывшего впоследствии министром народного просвещения, служил прежде в лейб-егерском полку, считался отличным служакою, страстно любил военное дело и вышел в отставку по особому случаю. В[еликий] к[нязь] Николай Павлович при фронте разругал его и, ступнувши ногою по земле, обрызнул его грязью. Норов подал в отставку, и все офицеры полка сделали то же. Это было сочтено за бунт. Норов и многие из офицеров были переведены тем же чином в армейские полки. Несколько времени спустя Норов получил отставку и поселился у матери в Москве.

надобность переговорить с ним наедине. Норов попросил нас уйти на время наверх к его матери. Опечатали все бумаги Норова, позволили ему только, в сопровождении полицеймейстера, взойти к старухе матери, чтобы с нею проститься, и повезли его в Петербург. Этот увоз произвел на мать ужасное действие — она словно рехнулась. Вскоре, также ночью, увезли в Петербург Нарышкина, Фонвизина и многих других. Это навело всюду и на всех такой ужас, что почти всякий ожидал быть схваченным и отправленным в Петербург. Рассказы из Петербурга о том, кого там брали и сажали в крепость, как содержали и допрашивали арестованных и пр., еще более увеличивали всеобщую тревогу. Матушка очень за меня боялась, положила меня спать подле своей комнаты; ей постоянно чудилось, что за мною ночью приехали, и потому, на всякий случай, она приготовила в моей комнате теплую фуфайку, теплые сапоги, дорожную шубу и пр. Этих дней, или, вернее сказать, этих месяцев (ибо такое положение продолжалось до назначения Верховного суда, т. е., кажется, до апреля¹³), кто их пережил, тот, конечно, никогда их не забудет. Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас, между собою знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня¹⁴.

Я было забыл рассказать об одном, хотя в самом себе и неважном событии, однако вполне характеризующем то прожитое время. В январе, во время ежедневных новых арестов, объявляется, что тело покойного императора будет провезено через Москву и что по этому поводу имеет быть торжественная встреча. Всех нас, архивных юношей, нарядили в мундиры и отправили к Серпуховской заставе, откуда мы пешком попарно вместе с другими ведомствами должны были торжественно следовать до Кремля. Между тем прошел слух, что в Москве готовится манифестация против покойного и царствующего императоров. В Петербурге думали, что в «крамольной» Москве предполагается выбросить из гроба тело покойного императора и таскать его по улицам в знак общего негодования за назначение Николая Павловича наследником императорского престола. Войска под предлогом большей торжественности, а действительно из опасения манифестации, были в усиленных рядах расставлены по обеим сторонам улиц от Серпуховских ворот до Кремля и в самом Кремле, и сверх того велено было солдатам иметь заряженные ружья. Таким образом, церемония грозила превратиться в событие, но таковым оно являлось только Петербургу, а здесь никто и не думал воспользоваться этим случаем, чтобы произвести возмущение. Все прошло совершенно спокойно и чинно. Тело императора было поставлено в Архангельском соборе, тут оно простояло три дня; мы по очереди дежурили, а народ усердно приходил поклониться праху; а на четвертый день так же спокойно и чинно проводили тело до Петровской заставы.

Наконец, дожили мы до мая и думали разъехаться по деревням; но наш начальник Малиновский получил приказание из Петербурга по случаю предстоящей коронации никого не увольнять в отпуск. Следовательно, приходилось нам жить в Москве, и мы положили ознакомиться с московскими окрестностями. Вследствие этого нашего решения мы постепенно посетили пешком все приближенные местности белокаменной, и как все эти прогулки совершенно были нами вместе, то они также сильно содействовали к скреплению нашей дружбы. Я вспоминаю о них с особенным чувством и знаю, что я им весьма многим обязан.

Слухи о предстоящих приговорах Верховного суда не переставали волновать Москву; но никто не ожидал смертной казни лиц, признанных главными виновниками возмущения. Во все царствование Александра I не было ни одной смертной казни, и ее считали вполне отмененною. С легкой руки Николая I смертные казни вошли у нас как-то в обычай, и при благодушном Александре II они совершались не раз и уже не производили того потрясающего действия, какое произведено было известием о казни Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Пестеля и Каховского¹⁵. Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, нет возможности; словно каждый лишился своего отца или брата.

Вслед за этим известием пришло другое — о назначении дня коронавания императора Николая Павловича¹⁶. Его въезд в Москву, сама коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых московских вельможей, — все происходило под тяжким впечатлением совершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях, и принимали участие в упомянутых торжествах только люди, к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен; вид его на всех производил отталкивающее действие; будущее являлось более чем грустным и тревожным. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. И. ГРЕЧА О ДЕКАБРИСТАХ

<...> Павел Иванович Пестель, полковник и командир Вятского пехотного полка. Достоинно замечания, что первенствующим из заговорщиков был сын жестокосердного проконсула, врага всякой свободной идеи, всякого благородного порыва. Отец его, Иван Борисович Пестель, был человек очень умный, хорошо образованный, может быть и честный, но суровый, жестокий, неутомимый! При императоре Павле он был почт-директором в Петербурге, а брат его в той же должности в Москве <...>. Впоследствии Пестель был генерал-губернатором в Сибири и затмил собою подвиги Клейва, Гастина² и им подобных тиранов. Сибирь стонала под жесточайшим игом. <...> Пестель долго управлял Сибирью из

Петербурга, для того чтоб ему не подсидели у двора. Жил он на Фонтанке, насупротив Михайловского замка. <...>

Старый Пестель был малорослый толстяк. Жена его, урожденная фон Крок (дочь сочинительницы «Писем об Италии и Швейцарии», урожденной фон Диц), была женщина умная, и не только образованная, но и ученая. Не знаю, как она уживалась с своим тираном, но детям своим, особенно старшему, Павлу, внушала она высокомерие и непомерное честолюбие. <...> Ума он был необыкновенного, поведения безукоризненного. Он и брат его Владимир³ воспитывались в Дрездене, под руководством умной и просвещенной бабки. <...>

Возвращение Павла Пестеля в Россию и поступление его на службу сопровождалось замечательными обстоятельствами. Он был камер-пажем и по прибытии в Петербург явился в корпус на выпускной экзамен. Это было в марте 1812 года. До явки его кончен был общий экзамен, и камер-паж Владимир Адлерберг⁴ (ныне министр двора) удостоен был первого номера. Это было в то время очень важно. Первый по экзамену получал чин поручика гвардии и дорогую дорожную шкатулку; второй — чин подпоручика; прочие выпускались прапорщиками. Приказано было сделать экзамен Пестеля. Оказалось, что он был по наукам и языкам несравненно выше Адлерберга. Ему следовал первый приз. Пошли хлопоты и интриги. Мать Адлерберга (начальница Смольного монастыря) бросилась с просьбою к императрице Марии Федоровне: «Мой-де сын учился с успехом всему, что преподается в корпусе, получил прилежанием и успехами первое место. Приехал Пестель — и моего Владимира ставят на второе. Да виноват ли он, что его не учили тому, что учат в Дрездене? Теперь приедет еще какой-нибудь профессор, и ему должны будут уступить наши бедные дети. Где тут справедливость? Вступитесь за моего сына». С другой стороны, старик Пестель чрез соседку Пукалову искал помощи у верховного судьи. Аракчеев доложил государю, что Адлерберг награжден уже казенным содержанием и обучением, а Пестель не получил от казны ничего, образовался сам собою и на свой счет и потому заслуживает преимущества. Государь отвечал и своей матушке и другу, что поступит по всей справедливости, и когда кандидаты в герои явились к нему на смотр, сказал им: «Господа, поздравляю вас всех прапорщиками нового гвардейского Литовского (ныне Московского) полка». <...>

Пестель служил усердно и честно, был храбр в сражениях и человеколюбив после боя <...>. Впоследствии Пестель дослужился до полковника и был комендантом в Подолии. При начале греческого восстания его посылали в Молдавию и Валахию, чтобы узнать о причинах этого восстания⁵. В донесении своем он развил ту мысль, что греческое движение есть то же самое, что освобождение России от татарского ига. Эта мысль очень понравилась Александру. Он принял донесение благосклонно, но грекам, как известно, не помогал. Лица, замыслившие заговор, не могли не принять Пестеля, и он вскоре сделался главным действующим

лицом его. Он приехал в Петербург. Я видал его в собраниях масонских лож. Он молчал и наблюдал за другими. Роста был невысокого, имел умное, приятное, но серьезное лицо. Особенно отличался он высоким лбом и длинными передними зубами. Умен и зубаст. Участие его в замыслах революции явствует из официальных бумаг. <...> При следствии и суде он вел себя твердо и решительно. <...> Есть слухи, что он пред смертью не хотел исповедаться и причаститься. Это неправда: его не было в списках особ причащавшихся потому, что он был лютеранин. Его приобщал тогдашний пастор и суперинтендант Рейнбот, живший в то время подле меня на Черной речке. В первом часу ночи приехал к нему адъютант генерал-губернатора, разбудил его и просил приехать в крепость для напутствия приговоренных к смерти преступников. Рейнбот впоследствии рассказывал мне о последнем своем свидании с Пестелем. Он нашел его не упавшим в духе, но в тревожном состоянии. После первых слов о поводе к этому свиданию Пестель начал говорить о своем деле, стал оправдываться, жаловаться на несправедливость суда и приговора, причем беспрестанно хватался за галстух. Рейнбот, выслушав его снисходительно, сказал ему: «Теперь вам не до света и не до его мнения, вы должны помнить о том, что вскоре явитесь пред богом». В дальнейшей беседе Пестель еще порывался оправдываться, но Рейнбот наводил его на предмет своего посещения. Наконец Пестель покорился, исполнил обряд с благоговением и просил пастора передать последнее «прости» его родным. Вообще он показался Рейнботу неоткровенным даже в эту великую минуту.

Кондратий Федорович Рылеев, соучастник Пестеля, но самая резкая ему противоположность. Небогатый дворянин, он воспитывался в 1-м кадетском корпусе, выказывал с детства большую любознательность, учился хорошо, чему учили в корпусе, вел себя порядочно, но был непокорен и дерзок с начальниками и с намерением подвергался наказаниям. Его секли нещадно. Он старался выдержать характер, не произносил ни жалоб, ни малейшего стога и, став на ноги, опять начинал грубить офицеру. Он был выпущен в артиллерию, потом вышел в отставку и был избран дворянством в заседатели Петербургской уголовной палаты. Здесь он служил усердно и честно, всячески старался о смягчении судьбы подсудимых, особенно простых беззащитных людей. В то же время он был правителем дел правления Российской американской компании⁶. <...>

Рылеев сделался двигателем и душою тайного общества, набирал членов, внушал им свои революционные идеи, писал сатирические и возмутительные стихи. <...> 12 декабря на бывшем у него в квартире собрании заговорщиков он вынудил у них согласие взбунтовать войска и народ 14 числа и потом при следствии сам объявил, что был главным двигателем и если бы хотел, то мог бы все остановить. 14 декабря Рылеев сам не сражался на площади, но разъезжал повсюду, поощрял своих товарищей, призывал народ к восстанию. <...> По окончании сражения Рылеев скитался,

не знаю где, но к вечеру пришел домой. У него собралось несколько заговорщиков, действовавших на площади, между прочими барон Штейнгель. Они сели за стол и закурили сигары. Булгарин⁷, жестоко ошеломленный взрывом, о котором он имел темное предчувствие, пришел к нему часов в восемь и нашел всю компанию, преспокойно сидящую за чаем. Рылеев встал, отвел его в переднюю и сказал: «Тебе здесь не место. Ступай домой. Я погиб. Прости! Не оставляй жены моей и ребенка!» Поцеловал его и выпроводил из дому. Он не только не устрасался смерти, но даже встречал ее с гордою радостью. <...> Он был из числа тех несчастных, которые сорвались с петли и были повешены вторично. Говорят, он сказал при том: «И в этом неудача!»

Сергей Иванович Муравьев-Апостол, сын бывшего в Мадриде русским посланником Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола⁸ (человека необыкновенного ума, познаний, учености и талантов), получил воспитание в Париже, в Политехническом училище, служил в Семеновском полку и был во время так называемой семеновской истории (в 1820 году) командиром одной из рот, оказавших неповиновение⁹. Он был любим и уважаем своими солдатами, употреблял все средства, чтобы удержать их, но не успел в том. Его перевели в армию подполковником в Черниговский полк. Я видал Сергей Ивановича в доме Алексея Николаевича Оленина¹⁰. Он был не очень общителен, но учтив, приветлив и приятен в обращении. В тесном кругу приятелей он был весел и остер. <...>

Нравом он казался очень кроток, и в нем никак нельзя было подозревать того иступленного революционера, того отчаянного предводителя бунтовщиков, каким он явился впоследствии. <...> По всему видно, что Сергей Муравьев действовал решительно, твердо, по внутренним убеждениям и остался им верен до конца. Он привезен был в Петропавловскую крепость в конце января. Когда его посадили в каземат, он написал на обороте оловянных тарелок, на которых подавалось арестантам кушанье: «Сергей Муравьев здесь!» С тех пор им стали давать посуду глиняную. Отцу позволили посетить его в тюрьме. Старый дипломат огорчился, увидев сына своего в изодранном мундирном скрутке, обрызганном кровью (Сергей Муравьев был ранен, когда его взяли), и сказал, что пришлет ему другое платье. «Не нужно, — отвечал сын, — я умру с пятнами крови, пролитой за благо отечества!..». <...>

<...> Александр Иванович Якубович, капитан знаменитого Нижегородского драгунского полка, был человек умный и образованный, но самый коварный из всех участников заговора и мятежа. В молодости служил в гвардии и был сослан на Кавказ за участие в поединке гр[афа] А. В. Завадовского с Шереметевым (который в нем был убит). Грибоедов, бывший секундантом Завадовского, отправился туда на службу и поступил в канцелярию Ермолова, приобрел его уважение и дружбу. Якубович, недовольный Грибоедовым по случаю этой дуэли, вызвал его в Тифлисе и, говорят, нарочно ранил его в правую руку, чтобы лишить Грибоедова

удовольствия играть на фортепьяно. К счастью, рана не была опасна, и Грибоедов, излечившись, мог играть по-прежнему. Якубович сражался храбро с горцами, был ранен в голову и приехал в Петербург летом 1825 года. Он ходил с повязкою на голове, говорил громко, свободно, весьма умно и красноречиво и вошел в сношение с Рылеевым. В нем заговорщики видели нечто идеальное, возвышенное. Это был Дантон¹¹ новой революции. 23 ноября был я на именинах Александра Бестужева. Беседа была приятельская, веселая, живая, но довольно скромная. В одиннадцатом часу приехал из театра Якубович и начал говорить очень дельно об обязанности офицера, отряженного на отдельный пост. Он утверждал, что такой офицер не должен связываться словами данной ему инструкции, а обязан действовать по своим соображениям. Из донесения Следственной комиссии видно, что Якубович собственно не вступал в заговор, но обещал заговорщикам свои услуги. <...>

Александр Александрович Бестужев, характер совершенно противоположный предыдущему, добрый, откровенный, благородный, преисполненный ума и талантов, красавец собою. Отец Бестужева, Александр Федосеевич, умерший рано, был, как я слышал, человек умный и почтенный. Он издал две книги о воспитании военного юношества. Мать была женщина простого звания. Александр Бестужев учился в Горном корпусе, был адъютантом главноуправляющего путями сообщения генерала Бетанкура¹², а потом поступившего в ту же должность герцога Александра Виртембергского, брата императрицы Марии Федоровны. Он влюбился было в прелестную дочь Бетанкура, успел снискать и ее благоволение, но отец не соглашался на брак его. Бестужев впал в уныние и искал развлечений. Познакомился и подружился с Рылеевым. <...> Мало ему было славы и чести в русской литературе, в которой он явился с блистательным успехом и с некоторыми особенностями в мыслях и оборотах, которые один приятель назвал бестужевскими каплями; повесть «Амалак Бек»¹³ и другие, написанные им под гнетом тяжелых обстоятельств, среди тундр якутских или под солдатскою шинелью в ущелиях Кавказа, свидетельствуют о его неотъемлемых, своеобразных талантах, которые, созревая в жизни благоприятной, дали бы ему почетное место в первом ряду русских писателей. Он просил меня из Якутска о присылке ему книг. Дело было щекотливое. Благонамеренные книги — глупы или по крайней мере скучны. Других нельзя было отправить. Что же я сделал? Послал ему несколько латинских классиков с переводом en parallèle* и пособия к изучению латинского языка. Он этим воспользовался и через несколько времени стал понимать и читать римлян, которым прежде того вздумал было подражать. В мятеж действовал он в Московском полку, но не он, а капитан князь Щепин-Ростовский переранил несколько человек из начальников, старавшихся остановить солдат¹⁴. Потом отправился он на площадь впереди увлеченного батальона, размахивая саблею и крича: «Ура, Константин! Долой Николая! Извести карто-

* Параллельно (фр.). — Сост.

фельницу!» (разумея Александру Федоровну). Он был главным действующим лицом на площади и по окончании сражения успел куда-то скрыться. На другой день, услышав, что забирают людей невинных, он явился вечером на гауптвахту Зимнего дворца и сказал дежурному по караулам полковнику: «Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам!» Это было произнесено спокойно, просто. Его повели к государю. Бестужев просто и правдиво изложил пред ним все как было. Слова Бестужева принимаемы были без малейшего сомнения. Государь спросил у него: «Скажите правду, участвовали ли в вашем деле журналисты?» — «Нет, ваше величество! Они не имели о нем ни малейшего понятия». — «Как же это? Вы были с ними в постоянных сношениях?» — «Булгарину мы не могли ввериться. Он поляк, а дело России ему чуждо, Греча мы не хотели запутывать, он не одного с нами мнения; притом он отец семейства, да еще и болтун». Когда допрос кончился и Бестужева повели в крепость, великий кн [язь] Михаил Павлович нагнал его на крыльце и просил убедительно: «Скажите правду, Бестужев, знали ли Греч и Булгарин о вашем замысле?» — «Ваше высочество, — сказал Бестужев, — клянусь вам, — они были чужды всему этому делу и понятия о нем не имели». Вследствие этого все наветы и доносы на них были отвергаемы государем, и их не тронули. Таков был Бестужев, и во все продолжение производства дела говорил прямо и щадил других. Его не сослали на так называемую каторгу, а отправили на жительство в русский Сорренто — Якутск, а оттуда перевели в Кавказский корпус солдатом. Бестужев нес службу безропотно и усердно, получил чин унтер-офицера, георгиевский крест, был произведен в прапорщики и погиб в деле с горцами в лесу. Тело не было найдено. <...> Николай Александрович Бестужев, капитан-лейтенант, старший брат Александра, человек редких качеств, ума, рассудка и сердца, искренний мне друг, уступал Александру в талантах и в пылкости характера, но заменял эти качества другими, не столь блестящими, но тем не менее достойными обратить внимание и уважение людей. Он был воспитан в Морском корпусе и уже гардемаринном был в действительном сражении; при взятии англичанами 14 августа 1808 года корабля «Всеволод»¹⁵ Бестужев был на одном из катеров, которые завозили канат. Я познакомился с ним в 1817 году, отправляясь во Францию на корабле «Не тронь меня», на котором он был лейтенантом. Мы с ним подружились и оставались в неразрывных сношениях до несчастной эпохи 14-го декабря. Бестужев занимался и литературою, писал умно и приятно. В «Сыне Отечества» напечатано любопытное его описание гибели брига «Фальк»¹⁶, взятое Головиным в собрание статей важнейших кораблекрушений. В последнее время находился он при начальнике маяков в Балтийском море вице-адмирале Стафирьеве¹⁷ и лично содействовал улучшению этой части морского управления, но скучал и искал развлечения. <...> Он был человек умный, рассудительный; направлению его ума содействовало много следующее обстоятельство. В 1821 году ходил он, как говорят моряки, на эскадре в Средиземное море и несколько дней пробыл в Гиб-

ралтаре. Там видел он с высоты утеса, как испанцы королевской стороны расстреливали на перешейке взятых ими безоружных либералов, сообщников Риего¹⁸; расстреливали, как воров и разбойников, сзади. Это зрелище зародило в душу его ненависть к деспотизму. (<...> 14 декабря он вывел на площадь Гвардейский экипаж. В нем было несколько матросов, служивших под командою Бестужева на походе в Средиземное море. «Ребята! знаете ли вы меня? пойдём же!» И они пошли. Я видел, как экипаж мимо конногвардейских казарм шел бегом на площадь. Впереди бежали в расстегнутых сюртуках офицеры и что-то кричали, размахивая саблями. Я не узнал в числе их Бестужева, да и в такой степени был уверен в неучастии его, что, услышав о действиях Александра, сказал с сердечным унынием: «Бедный Николай Александрович! как он будет жалеть брата!» По прекращении волнения Николай Бестужев уехал в извозничьих санях в Кронштадт; переночевал у одной знакомой старушки; на другой день сбрил себе бакенбарды, подстриг волосы, подрисовал лицо, оделся матросом и пошел на Толбухин маяк, лежащий в западной оконечности Котлина-острова. Там он предъявил командовавшему унтер-офицеру предписание вице-адмирала Стафирьева о принятии такого-то матроса в команду на маяк. «Ну, а что ты умеешь делать?» — спросил грозный командир. — «А что прикажете», — отвечал Бестужев, прикинувшись совершенным олухом. «Вот картофель, очисти его». — «Слушаю», — отвечал тот, взял нож и принялся за работу. Полиция, не найдя Бестужева в Петербурге, догадалась, что он в Кронштадте, и туда послано было предписание искать его. Это было поручено одному полицейскому офицеру, который, лично зная Бестужева, заключил, что он, конечно, отправился на маяк, чтоб оттуда пробраться за границу. Прискакав туда, он просто вошел в казарму и сделал переключку всем людям. «Вот этот явился сегодня», — сказал унтер-офицер, указывая на Бестужева. Полицейский посмотрел на него и увидел самое дурацкое лицо в мире. Все сомнения исчезли, Бестужева здесь не было, следовало искать его в другом месте. Когда полицейский вышел из казарм, провожавший его денщик (бывший прежде того денщиком у Бестужева) сказал ему: «Ведь новый-то матрос — господин Бестужев, я узнал его по следам золотого кольца, которое он всегда носил на мизинце». Полицейский воротился, подошел к мнимому матросу, который опять принялся за работу, ударил его по плечу и сказал: «Перестаньте притворяться, Николай Александрович! Я вас узнал». — «Узнали? — сказал Бестужев, — так поедём». Военный губернатор отправил его в Петербург под арестом в санях на тройке. Когда приостановились перед гауптвахтой при выезде, он сказал случившимся там офицерам: «Прощайте, братцы! Еду в Петербург, там ждут меня двенадцать пуль». Дорогою по заливу, поравнявшись с полыньей, он хотел было выскочить из саней, чтобы броситься в воду, но был удержан. В Петербурге привезли его к морскому министру фон Моллеру, который, как все дураки, ненавидел в Бестужеве умного человека. Он велел скрутить ему на спине руки и отправил в таком виде днем

по Английской набережной и Адмиралтейскому бульвару в Зимний дворец. Один из адъютантов накинул на него шинель. Во дворце развязали ему руки и привели к императору. «Вы бледны, вы дрожите», — сказал ему Николай. — «Ваше величество, — отвечал Бестужев, — я двое суток не спал и ничего не ел». — «Дать ему обедать», — сказал государь. Бестужева привели в маленькую комнату Эрмитажа, посадили на диване за стол и дали придворный обед. «Я не пью красного вина, — сказал он офицеру, — подайте белого». Он преспокойно пообедал, потом приклонился к подушке дивана и крепко заснул. Пробудясь часа через два, встал и сказал: «Теперь я готов отвечать». <...> Его ввели в кабинет государя. Он не только отвечал смело и решительно на все вопросы, но и сам начинал говорить. Изобразил государю положение России, исчислил неисполненные обещания, несбывшиеся надежды и объяснил поводы и ход замыслов¹⁹.

Бестужев скоро нашелся в ссылке: занимался чтением, живописью. В первые годы нарисовал он несколько акварельных портретов; в том числе и свой, очень похожий, только на лбу шла глубокая морщина, проведенная страданиями. Потом занялся он механическими работами: придумал какую-то повозку, удобную для того края, и вообще старался быть сколько возможно полезным в своем кругу. Он скончался в 1855 году, не дождавшись своего освобождения. <...>

Иван Иванович Пущин, один из воспитанников Царскосельского лицея, первого блистательного выпуска, благородный, милый, добрый молодой человек, истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель неправды. В добродетельных порывах для благотворения человечеству вступил он в службу безвозмездно, по выбору, в Уголовную палату, где познакомился и сблизился с Рылевым... Он выстрадал с лишком тридцать лет в Сибири, был освобожден с прочими, женился и умер в 1859 г. в Петербурге. Я не имел случая видеть его по возвращении. Память о его уме, сердце и характере и глубокое сожаление о его несчастье останутся навеки в глубине души моей. <...>

Николай Иванович Тургенев. Достойна замечания судьба этого семейства. Отец их, Иван Петрович Тургенев, бывший куратор Московского университета, друг и товарищ Новикова, поплатился и пострадал за эту дружбу при гонении, воздвигнутом на мартинистов в конце царствования Екатерины II²⁰. <...> У Ивана Петровича были четыре сына: Андрей, Александр, Николай и Сергей. Все они получили основательное и блистательное воспитание, сначала в Московском, потом в Геттингенском университетах и обещали принести своему отечеству большую пользу своими дарованиями, умом, познаниями и характером. <...> Братья Тургеневы были связаны между собою самою нежною любовью и жили все вместе: все они были холостые. <...>

Самым умным и солидным, а к тому наиболее знающим, был младший, Николай, хромою на одну ногу. И он учился в Геттингене, и он шел по службе быстро и счастливо; но он заслуживал это

добросовестным исполнением своих обязанностей, примерною деятельностью и благородным бескорыстием. Он был правителем дел у знаменитого барона Штейна²¹ и пользовался его искреннею дружбою и доверенностью, впоследствии помощником статс-секретаря в Государственном совете. Он имел глубокие познания в финансовой науке (чему доказательством служит его «Опыт теории налогов»²²). <...> Живя и служа долго в чужих краях, он увлекся очень легко понятиями о законности, свободе и равенстве людей и точно помешался на мысли, впрочем вполне справедливой, о необходимости уничтожения рабства в России и о введении в ней благоустроенного правления. В Совете он был верным последователем и приверженцем мнений благородного, но пылкого мечтателя графа Николая Семеновича Мордвинова, одного из достойнейших людей, родившегося на небогатой ими русской почве. Неудивительно, что его пригласили к вступлению в Союз благоденствия, что он участвовал в его собраниях, трудах и планах. <...> Тургенев был в отъезде из России с весны 1824 года, следовательно, не мог участвовать в делах, происходивших в 1825 году, и вообще не мог быть уличен ни в каком преступлении. Брат его Александр употреблял все средства к его спасению, но напрасно. Дело кончилось осуждением Николая Тургенева к смертной казни за преступление, которого он не мог сделать. Его обвиняли в словах, произнесенных им будто бы в 1825 году²³, когда он был в чужих краях. Винили Тургенева за то, что он не явился к суду, когда его приглашали. Я никак не виню его в том. Если бы суд был справедливый, благородный, правильный, беспристрастный, гласный, он непременно бы ему подвергся. А кто явится добровольно на шемякин суд??

Жаль, что Россия не [вос]пользовалась умом, дарованиями и познаниями этого необыкновенного человека. Он сделался бы превосходным министром финансов или юстиции. <...>

Василий Петрович Ивашев, ротмистр гвардии, адъютант графа Витгенштейна, сын богатого симбирского помещика, пользовался во второй армии репутациею самого благородного человека. Он был в дружбе с Пестелем, Муравьевыми и другими заговорщиками и был членом тайного общества. Во время следствия вел себя твердо и благородно и постоянно отказывался от всяких обвинений на своих бывших товарищей. Жестокая судьба постигла его. Он был приговорен к вечной каторге и безмолвно подвергся своей участи. До того времени бывал он в отпуску в своей деревне, у замужней сестры своей Елизаветы Петровны Языковой, которая имела при детях француженку гувернантку, женщину пожилую, с дочерью. Молодая девушка почувствовала весьма приятное влечение к блестящему, любезному и красивому молодому человеку, но, чувствуя, какое пространство их разделяет, затаила рождающуюся страсть в глубине своего сердца. Вдруг этот блестящий гвардейский офицер, будущий генерал, превратился в бедного каторжника, отверженного обществом. Не размышляя долго, она объявила матери своей и госпоже Языковой, что намерена разделить участь любимого ею человека, ехать в Сибирь, выйти за него замуж

и стараться нежною, благородною любовью смягчить его страдания. Написали к Ивашеву. Он принял предложение с восторгом, потому что и сам питал к этой девице глубокое уважение и сердечную склонность. По испрошении соизволения государя девушка отправилась в Сибирь и обвенчалась с избранным другом. Брак был самый счастливый, но, как всякое счастье в жизни, недолгий. Они имели троих детей. Мать скончалась в родах последним. Ровно через год и он последовал за нею. <...>

Гавриил Степанович Батеньков, сын бедного офицера, служившего в Сибири, воспитывался в 1-м кадетском корпусе, учился с большим прилежанием и был выпущен в артиллерию. В 1814 году, на походе во Францию, командовал он в одном сражении двумя орудиями, был окружен многочисленным французским отрядом, защищался отчаянно, не хотел сдаваться и пал со всею командою. В донесении сказано было: «Потеряны две пушки со всею прислугою от чрезмерной храбрости командовавшего ими подпоручика Батенькова». Французы, убирая мертвые тела, заметили в одном из них признаки жизни, привели израненного в чувство и отправили в лазарет. Это был Батеньков. Его вылечили и вскоре разменяли. По возвращении в Россию, не чувствуя охоты к гарнизонной службе, ограничивающейся караулами и парадами, Батеньков перешел в ведомство путей сообщения: там охотно приняли хорошего математика. Он принялся за дело усердно и внимательно и вскоре приобрел славу умного, знающего, полезного, но беспокойного человека, — титул, даваемый всякому, кто не терпит дураков и мошенников. Его не выгнали, а командировали в Иркутск, где он не мог мешать никому, потому что там по части путей сообщения ровно ничего не делалось. В 1816 году происходила знаменитая ревизия России²⁴. Сперанский был послан туда для исследования злоупотреблений, притеснений и тиранств Пестеля, Трескина и других коршунов, терзавших много лет эту несчастную страну. Сперанский очутился там как в лесу среди диких зверей и подлых скотов, не знал, на кого положиться, кого избрать себе в сотрудники. В числе представившихся ему лиц заметил он инженер-майора путей сообщения, явившегося к нему с прочими чиновниками Иркутской губернии. Молодой человек говорил умно, свободно, без раболепства и показывал совершенное знание тамошнего края и лиц. Сперанский взял его в свою канцелярию и вскоре убедился, что не ошибся. Батеньков понял дело в совершенстве и вскоре сделался правою рукою Сперанского. Он владел пером в высокой степени и написал много проектов, и в том числе замечательный «Устав о ссыльных»²⁵. По возвращении Сперанского в Петербург и по представлении им донесений и списков своих в Государственный совет все знающие люди изумились скорой и тщательной их обработке. Граф Аракчеев, искавший людей способных, спрашивал Сперанского, кто помогал ему. Сперанский назвал Батенькова и, по просьбе Аракчеева, предложил ему вступить в службу по военным поселениям. Батеньков принял предложение с тем, чтобы ему не давали ни чинов, ни крестов, а только положили

хорошее содержание. Его назначили членом Совета военных поселений с десятью тысячами рублей (ассигнациями) жалованья. Он работал усердно и неутомимо. Аракчеев был им доволен, называл его «мой математик», но мало-помалу охладил к нему, стал им пренебрегать, обременял работою, не давая никакого поощрения. Батеньков жил в Петербурге у Сперанского (в доме армянской церкви), занимался науками, например изъяснением египетских иероглифов, и исследованием разных отраслей государственного управления. Однажды он прочитал мне прекрасный проект устройства гражданской и уголовной части, в котором было много ума, начитанности, наблюдательности и ни малейшей собственно политической идеи, которая заставила бы подозревать его в либерализме. Все знали, что он приближен к Аракчееву и пользуется его доверенностью, и потому многие боялись и остерегались его. <...> 21-го ноября 1825 года обедал я с ним у П. В. Прокофьева²⁶ и до обеда беседовал. Он сообщил мне, что ему надоело служить у гадины Аракчеева, что он выходит в отставку и хочет посвятить себя наукам, заняв где-нибудь место профессора математики. Все это было сказано просто, равнодушно, без злобы и огорчения. С тех пор до декабрьских дней мы с ним не виделись. Я простудился на похоронах графа Милорадовича и слег в постель. Ко мне пришел не помню кто-то из канцелярии генерал-губернатора и сказал между прочим, что взяли Батенькова. Это меня изумило до крайности. «Таким образом, — сказал я, — доберутся и до графа Аракчеева». Оказалось потом, что Батеньков завербован был в число заговорщиков Рылеевым и увлекся несбыточною мечтою преобразований в государственном составе. Он не был на сходбищах и суждениях у Рылеева и весь день 12 декабря, когда заговорщики рассуждали об исполнении своих замыслов, просидел в гостях у Александры Ивановны Ростовцевой, матери Якова Ивановича. Его обвинили в законопротивных замыслах, в знании умысла на цареубийство и в приготовлении товарищей к мятежу планами и советами. Судом был он приговорен к вечной каторжной работе, но на деле наказан гораздо строже, могу сказать с соболезнованием. Его продержали два года в крепости Шварцгольм (близ Ловизы, в Финляндии) и потом осмнадцать лет в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. До вступления в должность шефа жандармов графа Орлова²⁷ не давали ему ни бумаги, ни книг. Он видел только тюремщиков, приносящих кушанье, всегда по двое, чтобы кто-нибудь с ним не заговорил. В первые четыре года он несказанно мучился, а потом по привычке и в немногие часы, которые проводил на воздухе в маленьком садике, разведенном по распоряжению человеколюбивого М. А. фон-Фока²⁸ среди Алексеевского равелина, копался в земле, как-то добыл росток яблони, посадил его в грунт и дождал до того, что снял с него яблоки. В 1844 году дали ему газеты. Он бросился на них с жадностью и вдруг прочел в них «граф Клейнмихель»²⁹! Изумление его возросло еще более, когда он на следующей странице увидел: «министр финансов Вронченко»³⁰. И в самом деле, каково должны идти дела в государстве, где Николай

Тургенев в изгнании, Батеньков в душевной темнице, другие опытные, умные и даровитые люди в Сибири, а Клейнмихель и Вронченко — министры. Диво ли, что у нас дела идут наперекор уму и совести! Кто помог Батенькову в его ужасном положении? Комендант крепости Иван Никитич Скобелев³¹, простой русский человек, выслужившийся из солдат, даже не говоривший по-французски, он при всяком случае напоминал государю о бедном Батенькове и наконец добился, что его освободили из крепости и отослали на жительство в Томскую губернию. В заключении своем он разучился даже говорить, хотя и привык мыслить вслух. Он забыл некоторые обыкновенные слова, например, «таракан». В 1856 году он был прощен вместе с прочими и поселился в Калуге. В 1859 году приезжал он в Петербург, и я имел несказанное удовольствие с ним свидеться. Он сохранил свой ум, прямой и твердый, но сделался тише и молчаливее; о несчастьи своем говорил скромно и великодушно и ни на кого не жаловался, видя во всем неисповедимую волю провидения. Не понимаю, как могли поступить с ним так несправедливо и жестоко! (<...>)

Барон Владимир Иванович Штейнгель был человек умный, образованный, любезный. Он в течение нескольких лет служил правителем канцелярии московского военного генерал-губернатора Тормасова и пользовался его доверенностью. По смерти графа был уволен от службы и потом никак не мог добиться определения куда-либо³². Он попал в разряд тех, при имени которых в тайном государевом реестре помечено было «не давать ходу». Напрасны были все его старания и хлопоты, напрасны все ходатайства и представления. Негодование и безнадежность довели Штейнгеля до отчаяния. Познакомившись около этого времени с Рылевым и узнав о замыслах либералов, он с радостью пристал к ним, участвовал в движении 14 декабря и был сослан в Сибирь. Он выжил время своего заточения и теперь живет в Петербурге.

Князь Евгений Петрович Оболенский, адъютант Карла Ивановича Бистрома³³, молодой человек, благородный, умный, образованный, любезный, пылкого характера и добрейшего сердца, увлечен был в разговор Рылевым — и погиб.

Он выжил срок заточения в Сибири, получил прощение и живет теперь в Калуге. Я не знал его хорошо, но встречал его в обществе и не мог им налюбоваться. По словам лиц, знавших его, Россия лишилась в нем героя. (<...>)

И. С. Тургенев

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ

(<...> Николай Иванович родился не в 1787 и не в 1790 году, как было ошибочно показано в нескольких биографиях, — а 11 (22) октября 1789 года — от Ивана Петровича Тургенева и Екатерины

Александровны, урожденной Качаловой. Родился он в Симбирске, где и провел свое детство, но воспитывался в Москве, на Маросейке, в доме, принадлежавшем его семейству (ныне этот дом — собственность гг. Боткиных). У него было три старших брата: Иван, умерший в детстве, Андрей, скончавшийся в 1803, Александр, скончавшийся в 1845, и один младший, Сергей, скончавшийся в 1827 году¹. Отец, Иван Петрович, недолго пережил своего любимца, Андрея, друга Жуковского²; мать скончалась гораздо позже. Значение всего этого семейства Тургеневых достаточно известно: оно не раз служило предметом литературных и критических изысканий. Можно без преувеличения сказать, что они сами принадлежали к числу лучших людей и тесно соприкасались с другими лучшими людьми того времени. Их деятельность оставила заметный и небесславный след. Николай Иванович по примеру брата своего Александра, учившегося в Геттингенском университете, в 1810 и 1811 году слушал в том же университете лекции у тогдашний знаменитейших профессоров — Шлецера, Геерена, Гёде³ и других; он занимался преимущественно политической экономией, финансовыми и камеральными науками. Посетив в 1811 году Париж, он видел Наполеона на вершине своей славы, но уже предчувствовал его падение, 12-й год он провел в России, а в 13-м году был, как известно, прикомандирован к знаменитому Штейну, память которого он до старости чтит, как святыню; сам Штейн питал чувство дружелюбия к молодому своему помощнику: имя Николая Тургенева, по его словам, было «равносильно с именем честности и чести». Николай Иванович сопровождал в качестве комиссара от правительства нашу армию в кампании 14-го и 15-го годов и в начале 1816 года вернулся в Россию, несмотря на убеждения Штейна, который хотел удержать его при себе. Скоро потом он издал свой «Опыт теории налогов». В этом сочинении, доставившем ему немедленно почетную известность, он, говоря его собственными словами, пользовался всякой представлявшейся ему возможностью для нападения, с государственной и финансовой точки зрения, на крепостное право или бесправие, на этого врага, с которым он боролся целую жизнь — боролся дольше всех и, быть может, раньше всех своих современников. Назначенный статс-секретарем при Государственном совете, Николай Иванович в 1819 году представил императору Александру, через графа Милорадовича, записку, озаглавленную: «Нечто о крепостном состоянии в России». Мысль, проведенная им в этой записке, состояла в том, что конец рабству может положить одно самодержавие, что оно одно может избавить Россию от подобного позора. Мысль эта поразила императора, и он сказал графу, что возьмет лучшее из этой записки, благородная откровенность которой не прибегала ни к каким уловкам и оттенкам, и «непременно сделает что-нибудь для крестьян». Истории ведомы причины, почему это обещание осталось без исполнения. <...> Мы не станем вдаваться в них. Н. И. Тургенев занимал должность статс-секретаря до 1824 года. Выехав из России для поправления своего здоровья в апреле месяце того же года, он увидел ее только в 1857

году — уже старцем. Известны также причины, превратившие человека, которому, казалось, все сулило блестящую карьеру, которого ожидал министерский портфель, о котором сам император Александр не однажды выражался, что он один может заменить ему Сперанского, — превратившие, говорим мы, этого человека в государственного преступника, осужденного на смертную казнь. Известна также та настойчивость, с которою Н. Тургенев, опровергая доводы доклада Следственной комиссии, утверждал свою невиновность в деле 14 декабря. Его неявка на вызов из-за границы решила его судьбу, хотя в наших законах в то время за неявку не существовало определенного наказания. Несчастье Н. Тургенева было велико, силен был удар, обрушившийся на него; но и в самом своем несчастье он мог утешиться тем, что Штейн, друг и наставник его молодости, решительно и постоянно отказывался допускать легальность его осуждения. <...> То же думал и так же высказывался Гумбольдт⁴. <...>

Николай Тургенев, лишившись за границей нежно любимого им брата Сергея (глубокая привязанность всех членов тургеневского семейства друг к другу составляет как бы отличительную их черту), удалился сперва в Англию, потом в Швейцарию, где он познакомился с будущей своей супругой, Кларой, дочерью сардинца, маркиза Виарис, храброго офицера наполеоновских войск, которому товарищи на поле сражения при Прейсш-Эйлау единогласно присудили представленный их дивизии титул барона империи. Н. Тургенев женился на девице Виарис в Женеве, в 1833 году, и прижил с нею двух сыновей и дочь. В 1857 году он в первый раз, в 1859 году во второй раз посетил Россию, а в 1864 увидел ее снова с чувством Симеона, взывающего: «Ныне отпускаеши!»⁵ <...> Ненавистное рабство наконец прекратилось! <...>

В 1871 году Н. Тургенев скончался тихо, почти внезапно, без предварительной болезни. Два дня перед тем он еще, несмотря на свои восемьдесят два года, делал прогулку верхом.

Н. И. Тургенев безустанно, со всем жаром юноши, со всем постоянством мужа, следил за всем, что совершалось в России хорошего и дурного, радостного и печального, — и отзывался живым словом и печатной речью на все жизненные вопросы нашего быта. <...>

Скажем теперь несколько слов о нем самом, об его характере. Есть отличное английское выражение: «A singleminded man, singleness of mind»*, которое как нельзя лучше определяет самую сущность Н. И. Тургенева. В устах англичан эти выражения звучат с особой похвалой: они обозначают ими не одну лишь неизменяемость, одинаковость убеждений, но и правдивость и искренность их. Сам Н. Тургенев говорил о себе — и с полным на то правом: «Я остался верен своим убеждениям. Мнения мои никогда не переменялись». <...> Существует французское изре-

* «У прямодушного человека и ум прямой» (англ.). — Сост.

чение: «L'homme absurde est celui qui ne change jamais»*.., но Н. Тургенев не страшился быть этим «homme absurde». Впрочем, не должно думать, что он оставался глух и слеп перед истиной; не отступая ни на шаг от своих принципов, он готов был допустить различность способов к их применению. Он слишком был добросовестен, в нем слишком было мало личного эгоизма и самомнения, чтобы не признать превосходства способа чужого перед придуманным им самим, когда это превосходство было ему доказано. <...>

Эта «одинаковость» и всецелость убеждений придавала, конечно, Николаю Ивановичу некоторую если не исключительность, то односторонность. <...> Но все почти дельные умы — односторонни. Беллетристика и искусство его интересовали мало: он был человек по преимуществу политический, государственный; в высокой степени одаренный чувством равновесия и меры. Граф Каподистриа⁶, хороший судья, отзывался о нем, что он был бы государственным человеком даже в Англии. Вместе с твердостью и неизменяемостью убеждений в душе Николая Ивановича жила несокрушимая любовь к правосудию, к справедливости, к разумной свободе — такая же ненависть к угнетению и кривосудию. Человек с сердцем мягким и нежным, он презирал слабость, дряблость, страх перед ответственностью. Грубость, неуважение человеческой личности, жестокость возмущали его несказанно. «Je hais cruellement la cruauté»** — мог он сказать вместе с Монтенем⁷. Сострадание ко всякому несчастью было тоже выдающеюся чертою его характера, и не пассивное сострадание, а деятельное, почти ретивое; не было человека, который бы давал охотнее, щедрее и скорее. Он действительно, в точном смысле слова, приносил жертвы с радостью, почти с благодарностью тому, кто доставлял ему случай приносить эти жертвы. На все великое великодушное сердце его откликалось с той силой чувства, с тем порывом и пылом, которых в нашу эпоху как-то уже не встречаешь! Подобно многим своим сверстникам, этот старик остался юноша душою, и трогательна и изумительна для всех нас, столь рано устающих и столь слабо увлекающихся, была свежесть и яркость впечатлений этого неутомимого борца! <...>

Несмотря на многолетнее пребывание за границей, Н. И. Тургенев остался русским человеком с ног до головы — и не только русским, московским человеком. Эта коренная русская суть выражалась во всем: в приеме, во всех движениях, во всей повадке, в самом выговоре французского языка — о русском языке уже и упоминать нечего. Бывало, находясь под кровом этого радушного, гостеприимного хозяина-хлебосола (он жил на большую ногу — известно, что брат его, Александр Иванович, сохранил ему все его состояние), слушая его несколько тяжеловатую, но всегда искреннюю, толковую и честную речь, ты невольно удивлялся, что почему ты сидишь перед камином в убранном по-иностранному

* «Глупец тот, кто никогда не изменяется» (фр.). — Сост.

** «Я жестоко ненавижу жестокость» (фр.). — Сост.

кабинете, а не в теплой и просторной гостиной старозаветного московского дома где-нибудь на Арбате, или на Пречистенке, или на той же Маросейке, где Н. Тургенев провел свою первую молодость? Он говорил охотно; но все мысли его до того были обращены на современное или на будущее, что о прошедшем он распространялся мало; а о своем собственном прошедшем — уже вовсе никогда. Никогда из уст его не выходило жалобы; отсутствие личной озабоченности, личной требовательности привлекало к нему сердца домашних, друзей, самих слуг. Вот уж про кого нельзя было сказать, что он «хвалитель старины» — *laudatur temporis acti*. Всякое известие с родины подхватывалось им на лету: он слушал рассказы о ней с жадностью, с страстным увлечением; он верил в нее, в наш народ, в наши силы, в наше будущее, в наши дарования. (...) Зато ничто так не возмущало его, как известие о несправедливости, совершенной в нашем просторном отечестве. Она ему казалась анахронизмом в царствование Александра Второго. Он не допускал ее, он волновался, он горячился, он гневался «праведным гневом» — *his right literous anger* — как выразилась про него одна знакомая англичанка; он негодовал, быть может, даже более, чем те, которых эта несправедливость самих постигла. Изгнанник, постоянный житель Франции, он был патриотом по преимуществу. (...)

И такому-то вполне русскому человеку суждено было и жить и умереть за границей!

Но не будем слишком жалеть о нем. (...) Воодушевимся скорей его примером! Пример человека, неуклонно преданного тому, что он признал за правду, полезен и нужен нам, русским! Из возможных благ, доступных людям, многие достались на его долю: он вкусил вполне счастье семейной жизни, преданной дружбы; он узрел, он осязал исполнение своих заветнейших дум. (...) Будем надеяться, что и для тех из них, которые еще не исполнились и которым он посвятил свой последний труд⁸, со временем так же настанет черед и что свершение их обрадует его хотя в могиле новою зарею счастья, которое оно принесет столь любимому им русскому народу!

Память его останется навсегда драгоценной для всех, кто знал его; но и Россия не забудет одного из лучших своих сынов!

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Н. СВЕРБЕЕВА О Н. И. ТУРГЕНЕВЕ

(...) Я встретился с ним в первый раз осенью 1833 г. в Женеве, за неделю перед его женитьбой. Тургенев знал меня по рассказам и письмам брата своего Александра. Я нашел в нем человека с небольшим лет под 40, слегка прихрамывающего, но гораздо менее светского, блистательного, симпатичного, каким был всегда старший его брат Александр, и в то же время более серьезного, глубже

ученого, редко веселого, иногда пасмурного и задумчивого. Таким представился он мне в счастливую минуту своей жизни, за несколько дней до свадьбы на дочери пьемонтского изгнанника генерала Виариса. <...>

<...> Все время следствия и суда над ним Н. Тургенев прожил в Париже. На свидание с ним ехал туда меньшей брат Сергей; старший, Александр, подозревал в Сергее признаки помешательства, что видно из письма Жуковского к Е. Г. Пушкиной из Лейпцига в апреле 1827 года. В том же 1827 г. 2-го июня Сергей Тургенев умер в Париже на руках Жуковского и братьев. Убитого горем Александра утешали Свечина и графиня Разумовская. Оба брата Тургеневы в начале 1828 года были в Англии и посещали в Эдинбурге Вальтер-Скотта в его историческом замке. Сколько нам известно, Николай Тургенев остался в Англии до Июльской революции и возвратился в Париж на постоянное житье вскоре по изгнании из Франции законного его короля, после которого (*par des circonstances à jamais déplorables**, как сказано было в автографическом письме императора Николая к новому королю) начал царствовать Луи Филипп¹. <...>

Будущность, так много сулившая обоим братьям, была уничтожена. Один жил в изгнании, другой страдал за него, невинно осужденного.

Александр Тургенев вел ежедневную борьбу с правительственными лицами и обществом, всеми средствами домогаясь оправдания брата перед современниками и потомством. Все еще обольщая себя надеждами, он оставил на время службу, на которой имел столько успехов; половину года он жил в Париже с Николаем, отдавая другую хлопотам за него по их имени, ибо постоянную заботу его о брате, уже семейном, было устроить ему независимое состояние.

Нашему просвещенному обществу необходимо иметь подробную и полную биографию обоих братьев, соединенных такою нежною неразрывною дружбою, несмотря на то что их разлучила судьба и так часто отдаляло друг от друга обширное пространство. Из жизнеописания Александра, составленного по его журналу, могли бы мы узнать берлинское, лондонское, венское и особенно парижское общество годов реставрации и Луи Филиппа. Из сего журнала, ежедневно веденного, открылись бы нам подробные сведения о библейских обществах, о тогдашних мистиках, Лабзине, Голицыне, г-же Крюднер и Татариновой, равно как и о смертной борьбе с ними изуверов Шишкова и Фотия, и т. д.² Ознакомившись с бумагами Н. Тургенева, которых, как известно мне, осталось множество, мы еще короче и еще подробнее, чем из его книг, узнали бы отношения его к декабристам и его мнения о их действиях. <...>

Когда последний луч надежды на оправдание и возврат в отечество угас, Николай Иванович начал собирать материалы для издания известного своего сочинения «*La Russie et les Rus-*

* Благодаря обстоятельствам, навсегда печальным (*фр.*). — *Сост.*

ses»*. В Петербурге скоро узнали, что он возымел намерение писать о России, и вслед затем дошли до него от влиятельных лиц довольно ясные намеки оставить этот труд. Ему давали почувствовать, что по всем вероятностям за такое молчание может последовать прощение. Он отвечал внушительницам, что, считая себя правым, в прощении не нуждается, а труда своего при жизни брата Александра и без того печатать не будет, чтобы не повредить ему, состоящему на службе (при главном начальнике почт князе А. Н. Голицыне). Александр Тургенев и служил и жил по временам в России только потому, чтобы иметь возможность превратить в деньги недвижимое свое состояние и перевести на имя брата все капиталы. <...>

В конце 1845 г. А. И. Тургенев умер в Москве, в тесном, загроможденном портфелями и книгами мезонине небольшого дома двоюродной своей сестры Нефедьевой. Он был чрезмерно скуп для себя и сберегал каждый рубль семье брата, которому и успел передать в Париже все свои капиталы. Николай Иванович променял их с большою, как опытный финансист, для себя выгодою на иностранные фонды, приобрел покупкою за 600 000 франков дом, жил в нем довольно широко, а лето проводил на прехорошенькой своей даче в окрестностях Парижа. <...>

Много жертв Александр Иванович принес своему милому изгнаннику, отдал ему всю свою жизнь, лишая себя в летах уже преклонных всех удобств, необходимых для старости. Материальные лишения переносил он смеючись, но нелегко доставались впечатлительному его сердцу часто встречаемые им оскорбления самолюбия. Он отстранился почти от всех своих современников и товарищей по прежней службе, которые в звании членов Государственного совета или сенаторов должны были подписать смертный приговор его брату, и неизбежность с ними встречи в петербургских салонах (без которых он нигде не мог жить) поневоле заставляла его предпочитать первопрестольный город первостолличному. Чтобы не совсем бездействовать на служебном поприще, чтобы не состоять только при особе достойно уважаемого государем князя А. Н. Голицына, измыслил он себе занятие по сердцу за границею: поручение открывать в библиотеках и музеях драгоценные для России письменные памятники. <...>

Считаю лишним упоминать о капитальном труде Николая Ивановича «*La Russie et les Russes*», он, всем известный, издан был им вскоре по кончине брата Александра³.

Посещавшие Николая Ивановича в Париже немногие близкие мне земляки по кончине императора Николая, когда на нашем горизонте только начинала занимать заря освобождения, сообщали мне то напряженное настроение, которого он не мог рассеять и из которого не мог почти выходить ни на один час. <...> При радушной встрече с кем-либо из русских, мало-мальски способных вести дельную и серьезную беседу, русская речь Николая Ивановича так и разливалась в его небольшой, уютной гостиной от самого

* «Россия и русские» (фр.). — Сост.

обеда до полуночи. И напрасно достойная его супруга, не усвоившая себе нашего языка, поневоле выслушивая непонятные ей звуки, умоляла мужа обратиться к французскому языку, которым почти всегда владел и собеседник. У Николая Ивановича была, просто сказать, непомерная страсть ко всему русскому. По-французски говорил он свободно, по-русски превосходно, увлекательно, страстно, с каким-то строгим, всегда логическим красноречием. Французская его речь, несмотря на 30 лет, проведенных в Париже, сохранила оттенок какого-то прирожденного нам русского акцента; в ней тоже слышались руссизмы. Да и сам он сознавался в том, что никогда не старался, лучше сказать, никогда не хотел, блистать на их языке в разговорах с парижанами, а, напротив, всегда желал, чтобы ни один из них не забывал, что он истинный русский. <...>

Когда в 1856 г. прибыл на мирный конгресс в Париж⁴ полномочный наш посол *ad hoc** князь А. Ф. Орлов, Николай Иванович, некогда знавший его в Петербурге и бывший в близких связях с братом его Михаилом Орловым, объяснил ему подробно прежние сношения свои с тайными обществами и убедил его в окончательном разрыве своем с ними еще в 1824 году. Князь Орлов представил все это императору, и вскоре Тургенев восстановлен был во всех правах, как вполне оправданный: ему возвращен был прежний его чин действительного статского советника, вместе с знаками отличия. Весною 1857 года воспользовался он возможностью вступить в первый раз на русскую землю после долгого изгнания. Я пробыл с ним в это время несколько дней в Петербурге и был свидетелем его счастья. Пробыв не более недели на берегах Невы, вместе с сыном и дочерью отправился он в любимое им по воспоминаниям сердце России (Тургенев сочувственно признал за Москвою это новое прозвание) и там вступил в законные права наследства доставшегося ему родового тургеневского имения по смерти двоюродной своей сестры Нефедьевой, мать коей была урожденная Тургенева, родная его тетка. При разделе с наследниками он получил по желанию своему небольшое родовое имение сестры в Каширском уезде Тульской губернии, душ около 200 с землею менее 1000 десятин, село Стародуб, где был обветшалый господский дом со старинной усадьбой и близ него церковь. Первой заботой его было проявить на деле беспредельную любовь свою к русскому крестьянину. Об эмансипации ходили тогда уже слухи, но известных рескриптов генерал-адъютанту Назимову⁵ еще не было. Николай Иванович, желая немедленно освободить крестьян, конечно с землею, предложил им на месте всевозможные уступки, но, кажется, не получил их согласия. В то же время, желая иметь там оседлость, а может быть, и мечтая о возможности в ней поселиться, начал строить себе, вместо полуразрушенного, новый дом, не забыв, впрочем, устроить для крестьян тут же около церкви школу,

* Для данного случая (лат.). — Сост.

больницу и богадельню и вместе обеспечить безбедное существование церковного причта. Таким устройством новой, никогда не бывалой у него собственности радовался он как ребенок и, возвратясь в Париж, преимущественно одною ею занимался. <...>

Из письма вдовы Н. И. Тургенева, полученного здесь 8-го ноября (20 н. с.) [1871], выписываю подробности его кончины. За два дня до смерти сделал он обыкновенную свою 2-часовую прогулку верхом, занемог изжогой и потребовал меду, говоря, что это лекарство русское, а когда врач предложил заменить это средство молоком, вспомнил, что им в Москве обыкновенно лечится одна его приятельница (жена моя). За несколько часов до смерти с жаром беседовал он с доктором о предстоящей реформе во Франции народного просвещения. После такого разговора доктор успокоил старшего сына тем, что в больном нашел он изумительную для 82-летнего старика энергию, крепость духа и всю полноту умственных способностей. Разговор врача кончился в 9 ч. вечера. В полночь с 9-го на 10-е ноября н. с. Н. И. скончался тихо, окруженный своими. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Н. СВЕРБЕЕВА

О С. М. СЕМЕНОВЕ

<...> Перебрав по именам всех профессоров [Московского университета. — *Сост.*], я должен помянуть и товарищей. Во главе их были так называемые *patres-conscripti**, слава и краса студенчества если не изящностью форм и облачения, то духом премудрости и разума и глубиной познаний (разумеется, относительно нас). Между сими патрициями выше всех стоял для меня выдержавший в скором времени экзамен кандидат, а через год и магистр этико-политического отделения (по-нынешнему философского и юридического вместе), к которому принадлежал и я, Степан Михайлович Семенов. Он замечателен был, кроме познаний, строгою диалектикою и неумолимым анализом всех, по его мнению, предрассудков, обладал классическою латынью и не чужд был древней философии. Он всею душою предан был энциклопедистам XVIII века; Спиноза и Гоббес¹ были любимыми его писателями. Лет семь-восемь после этот Семенов сделался душою тайного политического общества, подготовившего мятеж декабристов. Он содержался в крепости и был под следствием как секретарь общества, но ответы его пред следователями были до того преисполнены осторожной, хитрой и при всем том строго честной и юридической мудрости, что как ни хотели предать его суду вместе с прочими, исполнить этого не могли, и он без суда, вместо всех других наказаний, подвергся отправлению на службу в Томскую, а потом в Тобольскую губернии, где и кончил жизнь. <...>

* Отцы-сенаторы (*лат.*). — *Сост.*

Являясь на лекции особняком от нас, юношей, почти отроков, эта фаланга патрициев отличалась особенно на диспутах на нашем факультете и часто отчаянно боролась и побеждала стоящего на кафедре для защиты своей диссертации какого-либо товарища магистранта, защищающего свою магистерскую или докторскую диссертацию. Чтобы дать понятие, как проходили при мне подобные диспуты, сообщаю один случай. Кандидат нашего отделения, если не ошибаюсь, Бекетов, сам ли выбрал тему для своей магистерской диссертации или задана она была ему факультетом, но выбор был весьма опасный и скользкий, даже для того времени. Тема была следующая: «Монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений». В первом тезисе этой диссертации было прибавлено к монархическому *неограниченное*, к превосходному — *в России необходимое и единственно возможное*. Деканом факультета был Сандунов², а потому он и управлял диспутом кандидата также из *patres-conscripti*. Товарищи его, патриции, его недолюбливали: он был, говорят, подловат и, по их выражению, *электничал**. По этой причине вся старшая братия готовилась возражать магистранту, особливо на первый задорный тезис его диссертации. Диспуты походили тогда на кулачные бои; на них, как и на этой площадной забаве, зачинщиками в первых рядах являлись бойкие мальчишки, т. е. мы, молоденькие студенты, с какими-нибудь подсказанными от стариков вопросами или возражениями диспутанту. Так было и на диспуте у Бекетова. Мы открыли сражение восторженными речами за греческие республики и за величие свободного Рима до порабощения его Юлием Кесарем и Августом³. После нескольких слов в отпор нашим преувеличенным похвалам свободе,— слов, брошенных с высоты кафедры с презрительною насмешкою, вступила в бой фаланга наших передовых мужей, и тяжкие удары из арсенала философов XVIII века посыпались на защитника монархии самодержавной. Бекетов оробел, смущение его, наконец, дошло до безмолвия; тут за него вступился декан Сандунов, явно недовольный ходом нашего диспута. «Господа,— сказал он, обращаясь к оппонентам,— вы выставляете нам, как пример, римскую республику; вы забываете, что она не один раз учредила диктаторство». Мерною, спокойною, холодною речью отвечал ему Семенов: «Медицина часто прибегает к кровопусканиям и еще чаще к лечению рвотным, из этого нисколько не следует, чтобы людей здоровых, а в массе, без сомнения, здоровых более, чем больных, необходимо нужно было подвергать постоянному кровопусканию или употреблению рвотного». На такой щекотливый ответ декан Сандунов, еще на конференции своего отделения противившийся выбору темы, с негодованием вскрикнул: «На такие возражения всего бы лучше мог отвечать московский обер-полицеймейстер, но как университету приглашать его сюда было бы неприлично, то я, как декан, закрываю диспут». В этот день я в первый раз в жизни познакомился с либеральными мыслями и с публичным их выражением и в то же время понял, что они иногда могут

* Т. е. наушничал. — *Сост.*

быть неприличны, неуместны и опасны. Все, однако, обошлось благополучно, и наш вольнолюбивый диспут ⁴ не произвел никакой молвы в городе: в таком отдалении от общества стоял тогда наш университет. <...>

Живя вместе с Никольским на квартире довольно вместительной и в самом центре города, еженедельно собирали мы разный народ к себе обедать. <...> Обед был у нас не ахти роскошный, но вина много. После обеда и небольшой беседы садился я за винт часов до 9 или до 10. Никольский же, в игре необыкновенно раздражительный, сидел до поздних петухов или ранних обедов... Не таков был ближайший ему и мне, общий нам приятель Семенов, мудрейший и хладнокровный из всех тех отцов-студентов, которых я в описании университетской своей жизни называл патрициями, конечно, не по знаменитости рода, а по успехам в познаниях, вынесенных им сперва из семинарии, а потом и из самого университета. Но вся эта мудрость, все это ничем не возмутимое хладнокровие, все это глубокое изучение энциклопедистов XVIII столетия, равно как и современных германских философов, начиная с Канта, не могли спасти Семенова от гибели. На основании почерпнутых им из книг сведений о политических утопиях, увлекаемый всеми наглядными обольщениями представительных правлений, так еще недавно введенных во Францию и вводимых не без крови в Испании, Германии и Италии, он стремился к исполнению одной задушевной мысли — учредить каким бы то ни было путем, мирным или кровавым, представительное правление и у нас в России; сошелся со всеми тогдашними заговорщиками против самодержавия и старался более многих из них приобретать новых членов тайному обществу 14 декабря 1825 г. В 1818 году Семенов жил в доме роскошного и впоследствии промотавшегося графа Сергея Павловича Потемкина⁵, женатого на великолепнейшей из красавиц, нынешней все еще изящной, элегантной старушке, Елизавете Петровне Почадской. Он был наставником меньшого ее брата, князя Никиты, коротко познакомился со старшим ее братом, князем Сергеем Петровичем, а, вероятно, через него со всеми находившимися тогда в Петербурге членами тайного общества. Искренно и с давних уже пор любя меня, с первой нашей университетской встречи желал он ввести и меня в это общество, но в Никольском уже отчаивался. Часто, очень часто говаривал он нам, Никольскому, Александру Языкову и мне, о своих великих надеждах на будущее и, не разоблачая всех своих тайн, красноречиво приглашал всех троих стремиться всеми силами к этому идеалу России, который он, подобно многим, себе создал. Меня особенно, как более из всех троих толкавшегося в обществе, непременно и упорно желал он познакомиться с князем Сергеем Петровичем Трубецким, Е. П. Оболенским и Федором Шаховским, равно с офицером штаба Корниловичем и с Федором Николаевичем Глинкой, который, несмотря на то что был адъютантом Милорадовича, тоже принадлежал к этому обществу. Семенов в это время служил в департаменте духовных дел, коего директором был Александр

Иванович Тургенев, и был очень коротко знаком с братом его Николаем, с коим также предлагал мне познакомиться, как с одним из главных деятелей замышляемого преобразования России. Юношу своего, Никиту, приводил он иногда к нам, и я встречал его у Семенова, когда последний зазывал нас к себе. Потемкины жили тогда на Миллионной рядом с канцелярией Кикина, и я заходил бывало оттуда к нему со службы, но быть представленным им в доме Потемкиных по непобедимой моей дикости я решительно отказался. От всех же других знакомств, предлагаемых мне с известною политическою целью Семеновым, отрекся уже не по дикости, а по частным и серьезным внушениям Никольского. «Это их к добру не поведет, — говаривал он мне с искренним ко мне участием, — за что же нам из одних пустяков гибнуть с ними?» Семенов никогда вполне весь нам не высказывался, но раз на возражение ему Никольского против неодолимых трудностей достигнуть их желанной цели невольно проговорился. Никольский задал ему вопрос, состоявший в том: «Положим, вам удастся склонить императора Александра к отречению от престола, хотя и это немислимо, но что же вы сделаете с другими членами императорской фамилии? Они, подобно царствующей над нами главе, не согласятся ни на какую конституцию». — «Мы, — отвечал он, — удалим их из России, или — вы понимаете — у нас есть много людей, готовых пожертвовать жизнью; они уверены, и не напрасно, что оставшиеся после принесения ими себя в жертву не останутся в крайности. Им поможет и будет им покровительствовать все наше общество».

Никольский и я, мы часто толковали наедине о сообщаемых нам Семеновым предположениях. Думаю, что и осторожный мой quasi-наставник решительно ничего не знал о существовании тогдашних политических тайных обществ, а тем менее верил, чтобы неизвестные или предугадываемые члены оных когда бы то ни было решились привести в исполнение свои замыслы; но он все-таки боялся за меня, моей молодости, способной увлекаться всем, что с первого взгляда может показаться молодым людям и великим и благородным. Оберегая меня внимательно в этом отношении, он не только отсоветовал мне вступить в знакомство с теми лицами, на которых указывал нам Семенов, но и убеждал во всех случаях быть сколько возможно осторожнее, чтобы невинно не подвергнуться зоркой политической полиции. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЛУНИНЕ

Когда в 1814 году Александр I делал смотр гвардии в присутствии союзных монархов, в. к. Константин Павлович, шеф конногвардейского полка, разругал самым грубым образом офицеров, как это с ним случалось¹. Все офицеры подали в отставку. Император,

боясь огласки, велел ему уладить дело и уговорить офицеров остаться. Великий князь извинился перед собранными офицерами и после разных любезностей прибавил, что если всего этого им мало, то он готов каждому из них дать удовлетворение. Все почтительно поклонились, но из рядов выступил один молодой офицер и сказал: «В. в., честь слишком велика, чтоб отказаться от нее, я принимаю». Цесаревич, по странному противоречию в его характере, пришел в восхищение от Лунина, осыпал его учтивостями, и дело тем покончилось². Но Александр не забыл этой проделки и по возвращении в Петербург за какой-то бездельный проступок перевел его тем же чином из гвардии в армейские уланы. Встретив его перед отъездом на улице в новом мундире, государь спросил его: «Что же, ты доволен?» — «Еще, в[аше] в[еличество], — отвечал Лунин, — две такие милости, и я буду будочником».

Мучимый своим полковником, имевшим на то особые инструкции, он вышел в отставку, но, теснимый полицейским надзором, снова поступил на службу у цесаревича³. Великий князь вскоре сделал его подполковником во вновь сформированном гвардейском гусарском полку.

Цесаревич долго не хотел его арестовать после 14 декабря, делал вид, будто не верит изветам на него, и под рукою предупреждал его. Но показания были так ясны, что наконец великий князь велел его арестовать и послал в Петербург⁴. Там, на очной ставке с товарищами, показавшими, что он был членом общества, и другие очень важные обстоятельства, Лунин увидел, что всякое заперительство невозможно, и потому сказал: «Я слишком уважаю честь этих господ, чтобы дать им *démenti**, что же касается до подробностей, которые они сочли нужными вам передать, я их не помню, может, они и в самом деле были».

На месте казни, одетый в кафтан каторжного и притом в красных гусарских рейтузах, Лунин, заметив графа А. И. Чернышева⁵, закричал ему: «Да вы подойдите поближе порадоваться зрелищу!»

Когда всех осужденных отправили в Читу, Лунина заперли в Шлиссельбурге, в каземате, где он оставался до конца 1829 года. Комендант, взойдя раз в его каземат, который был так сыр, что вода капала со свода, изъявил Лунину свое сожаление и сказал, что он готов сделать все, что не противно его обязанности, для облегчения его судьбы. Лунин отвечал ему: «Я ничего не желаю, генерал, кроме зонтика».

Когда он прибыл в Читу (в 1830), он был болен от шлиссельбургской жизни и растерял почти все зубы от скорбута. Встретясь со своими товарищами в Чите, он им говорил: «Вот, дети мои, у меня остался только один зуб против правительства».

Одаренный этой необычайной твердостью характера, он сделался на работе утешителем и опорой слабевших под гнетом несчастья товарищей, никогда не негодуя на кого-либо из них за слабость.

* Опровержение (фр.). — Сост.

По окончании каторжной работы он был поселен в Урике (Иркутской губернии); там он завел себе небольшую библиотеку, занимался и, несмотря на то что денег было у него немного, помогал товарищам и новым приезжим, которыми прошлое царствование населяло Сибирь. Иркутский губернатор, объезжавший губернию, посетил Лунина. Лунин, показывая ему у себя 15 томов Свода Законов да томов 25 Полного собрания, и потом французский уютный Кодекс⁶, прибавил: «Вот, ваше превосходительство, посмотрите, какие смешные эти французы. Представьте, это у них только-то и есть законов. То ли дело у нас, как взглянет человек на эти сорок томов, как тут не уважать наше законодательство!»

В 1840—1842 [так в тексте. — *Сост.*] гг., возмущенный преследованиями религиозными и политическими, которые шли, быстро возрастая, при Николае, он написал записку о его царствовании с разными документами. Цель его была обличить действия николаевского управления в Европе; записка была напечатана в Англии или в Нью-Йорке⁷.

Говорят, что, сличая его письма к его сестре Уваровой⁸, которой он писал, зная, что они проходят через III отделение, о политических предметах, — узнали слог и наконец добрались, что брошюра писана Луниным. Сначала Николай хотел его расстрелять, но одумался и сыскал ему другой род смерти. Его схватили в 1841 г. и отправили, его велено было свести в Акатуев рудник и там заточить в совершенном одиночестве⁹. Сенатор, объезжавший Восточную Сибирь, был последний человек, видевший Лунина в живых. Он и тут остался верен своему характеру, и когда тот входил к нему, он с видом светского человека сказал ему: «Permettez moi de vous faire les honneurs de mon tombeau».*

Да, славен и велик был наш авангард! Такие личности не вырабатываются у народов даром. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИППОЛИТА ОЖЕ О М. С. ЛУНИНЕ

Когда я познакомился с Луниным, ему было лет 26. Рана, которую он получил на дуэли, была довольно опасна¹: пуля засела в паху, и он должен был перенести трудную операцию. Его бледное лицо, с красивыми, правильными чертами, носило следы страданий. Спокойно-насмешливое, оно иногда внезапно оживлялось и также быстро снова принимало выражение невозмутимого равнодушия; но изменчивая физиономия выдавала его больше, чем он желал. В нем чувствовалась сильная воля, но она не проявлялась с отталкивающей суровостью, как это бывает у людей дюжинных, которые непременно хотят повелевать другими. Голос у него был резкий, пронзительный; слова точно сами собой срывались с насмеш-

* «Позвольте мне вас принять в моем гробу!» (фр.). — *Сост.*

ливых губ и всегда попадали в цель. В спорах он побивал противника, нанося раны, которые никогда не заживали; логика его доводов была так же неотразима, как и колкость шуток. Он нередко говорил с предвзятым намерением; обыкновенно же мысли, и серьезные и веселые, лились свободной неиссякаемой струей; выражения являлись сами собой, непридуманные, изящные и замечательно точные. Он был высокого роста, стройно и тонко сложен, но худоба его происходила не от болезни: усиленная умственная деятельность рано истощала его силы. Во всем его существе, в осанке, в разговоре сказывались врожденные благородство и искренность. При положительном направлении ума он не был лишен некоторой сентиментальности, жившей в нем помимо его ведома: он не старался ее вызвать, но и не мешал ее проявлению. Это был мечтатель, рыцарь, как Дон-Кихот, всегда готовый сразиться с ветряною мельницею, чему доказательством могла служить последняя дуэль.

Хотя я с первого раза не мог оценить этого замечательного человека, но наружность его произвела на меня чарующее впечатление. Рука, которую он мне протянул, была маленькая, мускулистая, аристократическая; глаза неопределенного цвета, с бархатистым блеском, казались черными; мягкий взгляд обладал притягательною силою. Я не чувствовал ни страха, ни смущения, но он сильно возбудил мое любопытство. Обращался он со мной с ласковой снисходительностию; но разговор, начавшийся шуткой, оживил нас и сразу сблизил: не высказываясь еще вполне, мы невольно почувствовали, что в нас много общего, несмотря на его очевидное превосходство. Мы оба отличались отважным характером, понимали и чувствовали одинаково. <...>

Нам было хорошо вместе, и я был счастлив, что мог доставить ему развлечение. Впрочем, он не оставался в одиночестве: офицеры часто навещали его, но я чувствовал по особенному тону, который он принимал в таких случаях, что он покорялся своей участи, выслушивая их пустую, шумливую болтовню. Не то чтобы он хотел казаться лучше их; напротив, он старался держать себя, как и все, но самобытная натура брала верх и прорывалась ежеминутно, помимо его желания. Ему и в голову не приходило, чтоб я мог наблюдать за ним. У него этой способности не было; он не тратил времени на размышление; мысли у него являлись по вдохновению огненного воображения; он бесстрашно покидал мир известного, стремясь к новому, неизведанному; он смело шел вперед, веря, как Колумб, что земля кругла и что, плывя, можно куда-нибудь доплыть. Вот отчет и происходили все его эксцентрические выходки, кончившиеся плохо для него. Когда я во второй раз приехал в Россию в надежде найти средства к независимому существованию, я должен был явиться к графу Бенкендорфу², бывшему тогда шефом жандармов. Первый вопрос, с которым он обратился ко мне, был:

— Вы, кажется, хорошо были знакомы с Луниным?

— Да, ваше сиятельство. Мы жили вместе в Париже, но с тех пор я не имел от него никаких известий, так что мне казалось, что он забыл меня, и я обвиняю его за то.

— Это доказательство, что он вас уважал.

— Я узнал, что он был замешан в возмущении 14 декабря.

— Точнее сказать, он замешал туда других.

— Будьте так добры, скажите мне, какая участь постигла его?

— Он умер... в рудниках... И там он продолжал предаваться безумным надеждам... Он был неисправим.

— Ваше сиятельство, могу вас уверить, что я ничего не знал о его планах.

— Не тревожьтесь: нам все известно. Можете жить спокойно. Возвращаюсь к прерванному рассказу.

Лунин выздоравливал; он уже мог садиться и вставать. Я ухаживал за ним, поддерживал его слабые шаги, но самое главное — я служил для него развлечением: со мной он мог говорить обо всем. Он был в Париже в 1814 году и воспользовался этим, чтобы изучить социальное положение, или, лучше сказать, организацию Франции, сравнительно с Россией. В то время как другие наслаждались парижской жизнью, он изучал ее, стараясь все понять и отдать себе отчет в том, что зовется цивилизацией. Внимание его равно привлекали как лица, стоявшие во главе правления, так и низшие управляемые классы народа. Ему все хотелось видеть, знать, понимать, чтоб потом рассказывать на родине. Видя, как он интересуется моим детством и юностью, о которых он заставлял меня рассказывать, я понял, что для него мелкие житейские подробности казались так же существенными, как и крупные стороны жизни. <...> Он заставлял меня также прочесть ему мои стихи, предупредив, впрочем, что он хотя любит поэзию, но враг стихов. В рассуждениях его по этому поводу была своя доля правды. Он говорил: «Стихи — большие мошенники: проза гораздо лучше выражает те идеи, которые составляют поэзию жизни; она больше говорит сердцу развитых и умных людей, чем плохо рифмованные строчки, в которые хотят заковать мысль в угоду придуманным правилам и в ущерб смыслу: двигаются бедные мысли по команде, точно солдаты на параде, но на войну не годятся; победы одерживает только проза. Наполеон побеждал и писал прозой; мы же, к несчастью, любим стихи. Наша гвардия — это отлично переплетенная поэма, дорогая и непригодная. Я знаком со всеми замечательными произведениями французской литературы, но люблю только стихи Корнеля и Мольера³ за их трезвость; рифма у них не служит помехою. В прозе же Шатобриана⁴, наоборот, я все ищу рифмы и не нахожу, конечно; оттого я и не люблю ее. То, что называют поэзией, т. е. стихи, годится как забава для народов, находящихся в младенчестве. У нас, русских, поэты играют еще большую роль: нам нужны образы, картины; Франция уже не довольствуется созерцанием, она рассуждает. Впрочем, — продолжал он, — я человек справедливый и не требую невозможного...»

Я должен предупредить читателя, что, как бы подробно я ни описывал Лунина, все-таки я не в состоянии дать о нем полного понятия: эта многосторонняя, причудливая натура была неуловима в своих проявлениях, хотя в глубине ее лежала одна неизменная мысль. Он нарочно казался пустым, ветреным, чтоб скрыть ото всех тайную душевную работу и цель, к которой он неуклонно стремился. <...>

Две недели, проведенные с Луниным, имели на меня сильное влияние: стал я трезвее смотреть на жизнь, и это было к лучшему, потому что мечты иногда мешают жить. Я ясно почувствовал неопределенность своего положения, и мне вспоминался стих: «Теперь свет идет с Севера». Молодой наставник, в котором никто не мог предполагать педагогических способностей, нанес жестокий удар моим стихотворным наклонностям, но поэтическое чувство продолжало жить во мне, хотя уже не на прежних основаниях: я понял, что способ выражения и отделка не составляют гениальности, хотя и необходимы ей как орудия труда. Парадоксы Лунина, в противоположность его поэтической натуре, еще рельефнее обрисовывали его оригинальную личность. Я все продолжал думать о нем, о его словах. В мои лета, при легковесности моей натуры, всякая новая идея находила для себя готовую почву и быстро пускала ростки. <...>

Вернувшись в Петербург, я скоро почувствовал свое одиночество... Воспоминание о Луине не покидало меня; чем более видел я людей, тем более начинал ценить его оригинальность и зрелость мысли. В разлуке его влияние, подкрепляемое собственным размышлением, получало еще большую силу. С величайшим нетерпением ожидал я его приезда, расспрашивал всех и каждого, и никто не мог мне ничего сказать. Наконец я решился осведомиться о нем чрез письмо к сестре его, Уваровой, горячо любившей брата. Она пригласила меня приехать к ней. Прежде всего она меня поблагодарила за брата.

— Миша писал мне, как вы ухаживали за ним и как полезно было для него ваше общество. Я вам очень благодарна и весьма рада, что могу это высказать.

— Напротив, я должен быть благодарен вашему брату; с нетерпением жду его приезда. Здоров он?

— Да, рана его совсем зажила, но ему советовали проехаться. Мы его ждем каждый день.

В эту минуту вошел ее муж.

— Вот кто так хорошо ухаживал за моим братом, — сказала она, обращаясь к нему. <...>

Что касается до Уваровой, то она была лучше, чем красавица: умная, милая, изящная, вся в брата.

Я был вполне счастлив, когда они пригласили меня бывать у них почаще. Неделью спустя Лунин известил меня о своем приезде. <...>

Зиму я провел под руководством двух людей, диаметрально противоположных один другому, так что их влияние, взаимно

уравновешиваясь, поддерживало меня в переходном состоянии. В разговорах с Вигелем⁵ мы выходили из сфер действительности; но он, с необычайным коварством переходя от одного вопроса к другому и остроумно обсуждая мелочи жизни, мешал составить мнение о чем бы то ни было. Все-таки он был очень мил. Лунин же поражал своею оригинальностью и искренностью. Его огненная фантазия, стремившаяся за пределы существующего, неудержимо увлекала и меня в мир призраков, к цветущим берегам неведомой страны: мы носились в пространстве, то поднимаясь под небеса, то опускаясь в самую глубину земли.

Способности его были блестящи и разнообразны: он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политикоэконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями. Таков был этот необыкновенный человек. <...>

Лунина все побаивались за его смелые поступки и слова. Он не щадил порока, и иногда его меткие остроты бывали направлены против высокопоставленных лиц. Они никогда не заходили так далеко, чтоб навлечь на него наказание; они возбуждали смех, но иногда могли оскорбить. Его решение выйти в отставку было принято с затаенным удовольствием; препятствий не оказалось никаких; напротив, спешили все уладить поскорее.

Доложили государю, что кавалергардский полковник Лунин желает выйти в отставку.

— Это самое лучшее, что он может сделать, — отозвался император.

— Он просит позволения ехать за границу.

— Позволяю: с богом!

Эти резкие ответы государя объясняются небольшим происшествием, случившимся в 1812 году, до нашествия французов. Лунину вздумалось нанять в Кронштадте лодку и ехать одному в море, чтобы снимать планы укреплений. Его заметили в зрительную трубу, нагнали и арестовали. Государь потребовал у него объяснения этого дерзкого поступка.

— Ваше величество, — отвечал он, — я серьезно интересуюсь военным искусством, а так как в настоящее время я изучаю Вобана⁶, то мне хотелось сравнить его систему с системой наших инженеров.

— Но вы могли бы достать себе позволение; вам бы не отказали в просьбе.

— Виноват, государь, мне не хотелось получить отказ.

— Вы отправляетесь один в лодке, в бурную погоду, вы подвергались опасности.

— Ваше величество, предок ваш Петр Великий умел бороться со стихиями. А вдруг бы я открыл в Финском заливе неизвестную землю? Я бы водрузил знамя вашего величества.

— Говорят, что вы не совсем в своем уме, Лунин.

— Ваше величество, про Колумба говорили то же самое.

— Я прощаю сумасшедших, но прошу, чтоб в другой раз этого не было.

⟨...⟩ Лунин обладал большою чувствительностию. Воспитание развило в нем ум, который и преобладал в обыкновенное время над воображением; условия общественной жизни, как она сложилась в Петербурге, приучили его ко многому относиться с насмешкою и недоверием, и бывали минуты, когда природное чувство, вступая в свои права, всецело овладевало им; тогда в нем и следа не оставалось обычной сухости и насмешливости.

Михаил Лунин не имел притязаний Вигеля, но он хорошо был знаком с историей своей родины и особенно любил останавливаться на выдающихся событиях новейшей истории. С Карамзиным он не был дружен, но ценил его достоинства как историка и добросовестного исследователя. Иногда по праздникам мы вмешивались в толпу, и Лунин сообщал мне исторические, часто полные глубокого смысла, замечания насчет народа, его нравов, качеств и недостатков. Мы были и на гулянье 1-го мая, и тут он не пощадил своими сарказмами высших классов. Он не пропускал ни одного лица: о каждом была у него в запасе история, и большею частию скандальная; но он так мастерски рассказывал, так метко умел охарактеризовать одним словом своих героев, что поневоле приходилось прощать ему его цинизм. Если бы не скупость отца, он бы мог быть одним из самых замечательных людей в высшем обществе, а теперь ему приходилось стоять в толпе глупых зевак и довольствоваться обществом иностранца, у которого было только то достоинство, что он умел его понимать и ценить. Чтоб не быть предметом сострадания или презрения для своих соотечественников, он решился вести скромную жизнь на чужой стороне и теперь заранее приучал себя к лишениям. Но он был весел и не жаловался на свою судьбу. Он бодро шел с гордо поднятой головой, думая, как Фигаро, что для того, кто должен ходить пешком, стыд — лишнее бремя. ⟨...⟩

Лето уже было на исходе; наступала пора подумать об отъезде. Мы отправились в Кронштадт осведомиться о судах, отходивших во Францию или в Англию.

Трехмачтовый корабль «Верность» из Дьеппа, нагруженный салом, готовился к отплытию в Гавр. Мы условились в цене и два дня спустя покинули Петербург. Уваров с женой провожали нас до парохода, который и перевез нас через Финский залив. До тех пор не было пароходов в России: первые появились на Финском заливе. Лунин-отец в приливе родительской нежности захотел проводить нас до корабля. 10 (22) сентября 1816 г., в два часа пополудни, мы вышли из гавани в хорошую погоду и с попутным ветром. ⟨...⟩

Наше скучное, опасное плавание продолжалось уже две недели, но это было только начало наших несчастий. Едва только прошли мы Зунд, как поднялась буря. Матросы выбились из сил, в корабле оказались повреждения, и мы принуждены были искать убежища в одной из природных бухт, образуемых утесистыми берегами Норвегии. Здесь мы были в безопасности от бурь, но могли умереть от скуки, если б не Лунин с его неистощимым запасом остроумия

и веселости. Не находя в окружающих его предметах пищи для сарказма, он обращался к своим воспоминаниям и там отыскивал что-нибудь, достойное осмеяния. Когда же наступал серьезный стих, тогда начиналась отважная работа мысли, стремившейся к развитию и усовершенствованию понимания. Его образование благодаря разнообразию элементов, вошедших в его состав, было довольноно поверхностно; но он дополнял его собственным размышлением. Его философский ум обладал способностью на лету схватывать полувысказанную мысль, с первого взгляда проникать [в] сущность вещей, понимать настоящий смысл и связь явлений как в природе, так и в жизни общества и, восходя сам собою до коренных начал всего существующего, приводить все в стройный порядок. Он был самостоятельный мыслитель, доходивший большею частию до поразительных по своей смелости выводов. Впрочем, меня они не смущали; напротив, они давали опору моим собственным воззрениям, которые не всегда были согласны с его мнением. Местечко, где нам пришлось жить, называлось на карте городом, но в действительности в нем было не более десятка невзрачных домиков, построенных на берегу в уровень с морем. Мы поместились в лучшем из них. Хозяева наши понимали немного по-английски. Люди тут родились, жили и умирали, нисколько не подозревая о существовании других обширных стран. На клочках возделанной земли росли только овощи, но зато на утесах водилось много дичи, а в заливе устрицы и омары в огромном количестве. Охота и ловля занимала целые дни; кроме того, мы часто катались на лодке. Раз даже доехали до Христианштадта⁷, старинного города, где в целости сбереглась жизнь прошлого столетия. После Парижа и Петербурга контраст был поразительный! Наконец корабль починили, мы снова пустились в путь и после многих препятствий наконец увидели Гавр при свете заходящего солнца. <...>

Дорогою из Гавра в Париж мы с Луниным переговорили, как устроить нашу жизнь на первое время, пока обстоятельства не внесут в нее каких-нибудь перемен.

— Где же мы остановимся? — спросил Лунин. — Мы должны сообразоваться со своими средствами, чтоб не очутиться в безвыходном положении. Вы лучше меня знаете Париж: подумайте, как бы нам устроиться поскромнее, а потом мы себя вознаградим. Мне нужна только комната, кровать, стол и стул; табаку и свеч хватит еще на несколько месяцев. Я буду работать, примусь за своего «Лже-Дмитрия». Может быть, я и в состоянии зарабатывать пером насущный хлеб.

Надо заметить, что во все время путешествия Лунин, кавалергардский полковник, принадлежавший к высшему обществу, наследник большого состояния, постоянно думал о том, каким способом он будет добывать себе насущный хлеб на чужой стороне. «Если я сделаюсь писателем, — сказал он мне однажды, — найдется ли покупатель на мои произведения?» — «Как же вы будете писать, по-русски?» — спросил я. — «По-русски? — переспросил он. — Да разве я знаю русский язык? Да и кто же его знает даже

в России, не говоря уже о Франции? Конечно, по моему мнению, наш язык первый между всеми языками, или по крайней мере должен быть первым, когда он установится наконец, но для этого требуется много условий: наши писатели, в особенности поэты, должны обработать его, приготовить для принятия идей, идеи должны пустить корни в наших умах, при этом нужны известные события <...>. Карамзин, Батюшков⁸, Жуковский и другие уже сделали некоторые попытки, <...> также и наше восходящее светило — юноша Пушкин. Все это много обещает в будущем, но для меня важно настоящее. В будущем писательство должно отойти на второй план: его заменит живое слово, оно будет двигать вперед дело цивилизации и патриотизма. Писать я, конечно, буду по-французски, потому что этот язык я знаю лучше других, да и потом это язык науки и общий для всех европейцев. Английский употребляется в торговых делах, немецкий — это туман, годный для мечтателей. Все полезные сведения нам сообщаются на французском языке <...>. Я, конечно, не ученый, но, может быть, меня хватит на то, чтобы сделаться беллетристом-литератором. Я задумал исторический роман из времен междоусобицы: это самая интересная эпоха в наших летописях, и я поставил себе задачей уяснить ее. Хотя история Лже-Дмитрия и носит легендарный характер, но все-таки это пролог к нашей теперешней жизни. И сколько тут драматизма! Я все обдумал во время бури!»

Когда он изложил мне план романа, я пришел в восторг. С тех пор мы всякий день говорили о его произведении, и когда ему случалось задуматься, я всегда спрашивал: «А что делает монах Отрепьев?» Естественно, что, приехав в Париж, он только и помышлял о том, чтоб устроиться поспокойнее и приняться скорей за работу. Это намерение встретило во мне полное сочувствие, так как я возвращался на родину с серьезными целями. <...>

Мы решились жить так, чтоб не мешать друг другу, не требовать доверенности и вообще предоставить один другому полную свободу, так как дружба и доверие могут быть прочны только при таких условиях. Заключивши договор, мы уже не стали говорить о материальных подробностях жизни, это были вещи второстепенной важности, и думать о них не стоило. На другой же день мы наняли две меблированные комнаты в улице Гальон. Лунин тотчас принялся за работу, а я отправился разыскивать своих прежних друзей, чтобы возобновить сношения с некоторыми из них: за эти два года я сделался опычнее и осмотрительнее в выборе знакомств; я еще не знал, что буду делать, но зато я твердо знал, чего не должен делать.

Квартира наша состояла из двух комнат — большой гостиной и спальни. Последнюю я предоставил Лунину, к его немалому удовольствию, сам же устроился в гостиной: в углу поставили кровать, отгородили ширмами, у окна поместили письменный стол. Обедать мы ходили за общий стол в том же доме. Больше нам ничего не требовалось. <...>

⟨...⟩ Мною овладело неудержимое желание, ехать повидаться со своими. Я уже жил десять дней дома, как вдруг пришло письмо от Лунина, которым я и воспользовался как предлогом, чтобы вернуться в Париж, куда притягивали меня и любовь к независимости, и умственные интересы, и привычка к образованному обществу. ⟨...⟩

В мое отсутствие «Лже-Дмитрий» значительно увеличился в объеме, и мы поспешили прочесть его вслух, чтоб судить о впечатлении. Слушая произведение своего друга, я принял твердое решение сделаться сочинителем и посвятить всю жизнь литературе. В то время было легче добиться известности, чем теперь: и публика, и критика были снисходительнее. Я вспомнил о друзьях, которые так одобрительно относились к моим первым литературным опытам, возобновил с ними сношения, а через них сделал новые знакомства в том же кругу. Один из моих новых знакомых, Андрей Каррион Низас, представил меня и Лунина (который сразу ему понравился, как бы в оправдание предсказаний его сестры) своей тетке, баронессе Лидии Роже, прелестной, еще молодой женщине. ⟨...⟩ Она принимала только мужчин, и так как она была очень умна (настоящий Лунин в юбке), то у нее собиралось всегда очень веселое, интересное общество. Софья Гэль, женщина-художник, часто бывала там и исполняла свои музыкальные произведения, приводившие меня в восторг и казавшиеся мне верхом совершенства и учености. Но Лунин был о них другого мнения. Однажды, когда мы возвратились от мадам Гэль, где этот вечер пел знаменитый Гара⁹, русский высказал свое мнение о нашей музыке:

— Это все легкая музыка, хотя и довольно приятная; но вы, французы, и не знаете настоящей музыки: вы довольствуетесь миленькими вещицами. Конечно, я никогда не слыхал, кто бы пел с таким совершенством, как Гара, хотя он уже без голоса; но ведь он пел немецкие, итальянские арии на французские слова; арию Глюка¹⁰ «*J'ai perdu mon Evridice*»*, романс Мартелли¹¹ «*Plaisir d'amour ne dure qu'un moment*»**; в них выражается истинное чувство; нет ничего лишнего, вычурного, что бы било на эффект. Как ничтожны и ребячливы перед ними произведения хозяйки дома!

Лунин сел за фортепиано и, припоминая и повторяя все романсы, слышанные нами в этот вечер, критически разобрал их. Замечания его были столь же остроумны и забавны, сколько и верны.

Потом он продолжал серьезно:

— Вот чего я не понимаю. Были вы в России, слышали там хорошую музыку. Я говорю не о нашей национальной музыке, потому что мы поем как птицы, но слышали тоже немецкую музыку, и несмотря на это вам нравятся эти сентиментальности, нагоняющие сон! Раз вечером я был у сестры. Уварову нездоровилось. Приехали два брата Виельгорские, графы Михаил и Матвей¹². Матвей играет

* «Я потерял мою Эвридику» (фр.). — Сост.

** «Радость любви длится лишь мгновение» (фр.). — Сост.

на виолончели так, как, должно быть, играют в концертах у господ бога в раю. Заговорили о музыке. Они оба были в восторге от произведений одного немецкого композитора, которого мы еще совсем не знали. Чтобы развлечь моего зятя, Матвей послал за своим инструментом и стал играть. Жаль, что вас тогда не было! Вот это была музыка! Мы не знали, где мы, на небе или на земле; мы забыли все на свете. Сочинитель этот еще не пользуется большою известностью; многие даже не признают в нем таланта. Зовут его Бетховен. Музыка его напоминает Моцарта, но он гораздо серьезнее. И какое неисчерпаемое вдохновение! Какое богатство замысла, какое удивительное разнообразие, несмотря на повторения! Он так могущественно овладевает вами, что вы не в состоянии даже удивляться ему. Такова сила гения; но чтоб понимать его, надо его изучить. Вы же во Франции еще не доросли до серьезной музыки. На вас даже итальянцы наводят скуку: вам понятны только их комические оперы. Вы до сих пор еще сидите на ариях из трех ноток, которые вам написал Жан-Жак Руссо¹³. При вашем легкомыслии вам нужно только все легкое, игровое. Ну а мы, жители севера, любим все, что трогает душу, заставляет задумываться.

— Я не могу вам противоречить, вы сами знаете это очень хорошо; к чему же вы мне все это говорите? Хотите, лучше пойдемте как-нибудь к мадам Гэль, в которой вы все-таки признаете музыкальный талант, и там под предлогом, что вы желаете ее познакомить с русскими напевами, выучите ее понимать настоящую музыку; конечно, для примера вам самому придется также играть.

— Пожалуй, — гордо отвечал Лунин, — силу свою только тогда и узнаешь, когда испробуешь ее над другими. Можно сделать опыт.

— Вот оттого-то мне и хочется, чтобы кто-нибудь, знающий толк, прочел и оценил первую часть вашего «Лже-Дмитрия».

— И на это согласен, только не давайте его в руки ученому. Слог мой не отличается математическою точностию: мысль моя любит выражаться образами. Доказывать, что дважды два четыре, я не берусь, но я хочу действовать на чувство читателя и думаю, что сумею. Поэзия истории должна предшествовать философскому пониманию. Прежде изучите внешность и тогда пускайтесь вглубь.

Я отнес рукопись к Шарлю Брифо¹⁴, бывшему впоследствии членом Академии, как человеку, более всех способному беспристрастно оценить произведение моего друга. Когда я пришел к нему, чтоб узнать его мнение, он сказал:

— Ваш Лунин — чародей! Мне кажется, даже Шатобриан не написал бы лучше. <...>

Между тем, как я продолжал беззаботно пользоваться настоящим, не забывая, впрочем, и о будущем и стараясь подготовиться к нему, Лунин вел тревожно-деятельную жизнь. Он сделался несообщителен. Я даже не решался его расспрашивать, хотя и подозревал его в тайных замыслах, судя по тем личностям, которые начали его посещать. «Лже-Дмитрий» отошел на второй план. Лунин много писал и всякий раз тщательно запирал написанное в стол.

Я думал, что он, повинуясь влечению своей природы, примкнул к одному из тайных обществ, которых в то время было очень много. Я начинал бояться за него. Наедине со мной он делал вид, будто его чрезвычайно интересует магнетизм, опять входивший тогда в моду. <...>

Однажды утром он вошел ко мне с таким расстроенным серьезным лицом, как я никогда его не видел. В руках у него было письмо.

— Письмо от сестры, — сказал он, — вот читайте: предвечный отец умер!

Даже в эту торжественную минуту он не мог удержать саркастической улыбки. Я прочел письмо и молча пожал ему руку. Так как в письме были обозначены день и час смерти его отца, то он стал припоминать, что он делал в ту минуту, когда свершилось это событие, так неожиданно изменявшее его судьбу.

С самого приезда в Париж он взял себе за правило каждое утро записывать все, что случилось накануне: это было вроде исповеди, и когда я ему говорил по поводу какого-нибудь происшествия: «Вы, конечно, запишете это?» — он всегда отвечал: «Я должен все записывать, иначе я не могу дать себе точного отчета в своих поступках и мыслях: жизнь — счетная книга, приход с расходом должны стоять один против другого».

Дневника этого я никогда не читал. <...>

Лунин сидел в кресле бледный, неподвижный. Он долго молчал, погруженный в свои думы, и я не решался заговорить с ним. Вдруг он вскочил с места <...>.

— Друг мой, подарите мне этот день; мне хочется, чтоб вы были со мной. Хотя вы мало знали моего отца, но вы его видели, говорили с ним; в Кронштадте он так ласково с вами обошелся. Я на вас смотрю как на родного, да и Катенька просит вас не оставлять меня. Бедная сестра! Как ей теперь трудно одной! Она умоляет меня вернуться поскорей. Ну, следует призвать всю силу и ободриться. Странно, что никогда не помышлял, чтоб это могло случиться: смерть отца никогда не входила в мои соображения. Вы ведь знаете, как понимать мои шутки, и знаете, что я способен на серьезное чувство, хотя из моих слов можно заключить противное. Пойдемте, займемся моими делами. Это самое лучшее средство немного забыть горе; нужно мне быть благоразумным. Теперь я богат, но это богатство не радует меня. Другое дело, если б я сам разбогател своими трудами, своим умом: тогда бы я гордился собою. Конечно, деньги дают во всяком случае точку опоры.

Мы стали молча одеваться, и каждый раздумывал про себя о неожиданной перемене, которая неминуемо должна была отразиться на жизни обоих.

— Что же вы думаете делать? — спросил я его за завтраком.

— Это я вам скажу завтра, — отвечал он.

— Вы, конечно, скоро уедете отсюда.

— Если дела позволят. Какие это дела, вы не спрашивайте лучше, все равно я вам не скажу правды. Лучше поговоримте о вас. Хотя мне это и грустно, но мы должны расстаться. В России

вам делать нечего: жить на мой счет вы не захотите. Пробовать опять счастья? Это было бы неблагоприятно с вашими понятиями о независимости. Я же не могу быть вам полезен ни в каком отношении. Я вас знаю лучше, чем вы себя, и уверен, что из вас ничего не выйдет и вы ничего не сделаете, хотя способности у вас есть ко всему.

— Не слишком ли вы строги, милый Мишель? Мне кажется, ваше суждение грешит поспешностью.

— О нет! С тех пор, как вы вернулись на родину, вы занимаетесь только пустяками, а между тем вам открыты все пути, и вы бы могли, употребив свои способности на пользу отечества, подготовить в то же время и для себя хорошую будущность.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, мой друг! Вы уже не в первый раз стараетесь вразумить меня насчет политики, но это напрасный труд, из меня никогда не выйдет политического деятеля.

— Тем хуже для вас. Ваше отечество теперь в таком положении, что именно на этом поприще можно приносить пользу.

— Кроме этой есть еще другие дороги.

— Большая дорога и короче, и безопасней. Не думайте, что мое пребывание во Франции останется без пользы для России. Если бы вы были таким человеком, каких мне надо, то есть если бы при ваших способностях и добром сердце у вас была известная доля честолюбия, я бы силою увез вас с собою, конечно, не с тою целию, чтоб вы занимались всяким вздором в петербургских гостиных. Но мы могли бы с вами положить основание взаимному обучению, а это бы нас подвинуло вперед на пути цивилизации, на котором мы отстали от Европы.

— Лунин, вы теперь независимы благодаря богатству, вы могли бы так счастливо прожить, но честолюбие погубит вас. Да, вы правы, что расстаетесь со мной: я бы только помешал вам. Но я всегда с благодарностью буду вспоминать о прежних планах, которые теперь невыполнимы. Уезжайте один, и если вам когда-нибудь будет угрожать опасность, вспомните обо мне.

Объяснение с Луниным не очень поразило меня и не возбудило неприятного чувства: обижаться я не мог, тем более что в последнее время поведение его было загадочно для меня. Я подозревал, что он вошел в сношения с вождями какой-нибудь партии, оценившими его способности, и сделался одним из деятельных членов, что было совершенно согласно с его характером. Если бы он остался во Франции, то с его умом и честолюбием он бы, наверно, стал во главе какого-нибудь тайного общества, был бы ярим приверженцем карбонаризма, этого предшественника интернационалки. Десять лет спустя Бюше¹⁵, один из главных деятелей, сказал мне, что в их совещаниях участвовал какой-то русский; я думал, что это был Лунин.

Перемена в положении не осталась без влияния на моего друга: к его обычной самоуверенности прибавилась какая-то важность, но меня это не поражало: я его так любил, что находил избыток его самомнения вполне естественным.

Прежде всего мы отправились к банкиру, который уже получил предписание открыть Лунину неограниченный кредит, но в конторе потребовали, чтобы он представил от русского посольства удостоверение в своей личности.

Уварова еще прежде советовала брату побывать у Поццо-ди-Борго¹⁶ и у некоторых из соотечественников, живших в Париже, но он этого не сделал, думая, что подобные знакомства могут только стеснить его свободу. Теперь же ему пришлось подчиниться скучным формальностям. Он отложил это до другого дня и вернулся домой.

Написавши несколько писем, он послал за извозчицей каретой и уехал один; я же остался дома и стал прилежно заниматься работою, как всегда. После обеда мы хотели сделать прощальные визиты знакомым. В этот день был концерт у мадам Гэль, но мы отправились к баронессе Роже. Вскоре после нашего прихода приехал Сен-Симон. Он был ее старинный знакомый, но бывал нечасто, потому что не любил тратить времени по пустякам. Узнав же о ее знакомстве с Луниным, он приезжал, чтобы хорошенько расспросить о нем. Незадолго до этого он познакомился с Луниным, не знаю, где и через кого, сразу оценил его живой ум и внутренние качества, не говоря уже об его изяществе, и думал употребить его в дело для распространения своих идей. Но прежде чем довериться окончательно, он желал получше узнать его. Сам он вел чрезвычайно деятельную, тревожную жизнь, постоянно отыскивал себе способных помощников. Приезд его не произвел ни малейшего стеснения; напротив, тотчас же начался разговор, важный и интересный по своему содержанию. Философ излагал свое учение, говорил о своих планах, о своей успешной деятельности, радовался, что ему удалось дать хорошее направление многим способным личностям: он назвал Огюстена Тьерри¹⁷, как будущего замечательного историка, потом Огюста Конта¹⁸, философа, которому он предрекал огромное значение в будущем. Он говорил, что будущность всего человечества зависит от совокупного развития трех двигателей: чувства, науки и промышленности; они должны быть доведены до простейшей формы, сделаться достоянием всех и каждого, и тогда, при их совокупном действии, начнется новая жизнь для всего мира. Узнав о скором отъезде нового адепта, он выразил свое сожаление.

— Опять умный человек ускользает от меня! — сказал он. — Через вас я бы завязал сношения с молодым народом, еще не искушенным скептицизмом. Там хорошая почва для принятия нового учения.

— Но, граф, — отвечал Лунин, — мы можем переписываться: разговор и переписка в одинаковой мере могут служить для нашей цели.

— Это, конечно, так, но только в изустном споре возможно договориться до полного понимания. Всякое возражение есть залог победы. Да и потом, когда вы приедете к себе, вы тотчас приметесь за бестолковое, бесполезное занятие, где не нужно ни

системы, ни принципов, одним словом, вы непременно в ваши лета увлечетесь политикой.

— Но, любезный Сен-Симон, — вскричала баронесса, — да вы сами-то чем же занимаетесь, как не политикой?

— Я это делаю поневоле, но я смотрю на политику как на неизбежное зло, как на тормоз, замедляющий прогресс человечества.

— Но политика освещает прогресс.

— Вы называете прогрессом беспрерывную смену заблуждений: вчера были одни, сегодня другие, завтра еще будут третьи. Старые обычаи и верования еще живы. Суеверие считает, что золотой век когда-то был в далеком прошлом, тогда как он еще только будет со временем. Тогда опять народятся великаны, но они будут велики и сильны не телом, а духом. Машины тогда будут работать вместо людей; у всех будут семимильные сапоги, о которых говорится в сказках; они уже заготавливаются теперь по приказанию великого вождя, другого Наполеона, который станет во главе армии рабочих. Развитие промышленности — вот задача мирной политики, а другой политики и не может быть у народов. Что же касается до политики правительств, то ее отвратительные результаты еще не исчезнут так скоро, но они будут служить доказательством, как пагубны средства, пускаемые ею в ход для достижения своих целей.

Сен-Симон говорил с убедительным красноречием; при знакомстве с его системой выводы его казались неопровержимы, несмотря на эксцентричность основных положений. Он был некрасив собою, дурно сложен, но удивительно вежлив. Только одна вежливость и служила в нем признаком его происхождения от Сен-Симонов, которые, по уверению знаменитого автора «Мемуаров»¹⁹, вели свое происхождение от Карла Великого. Он вскоре простился, прося Лунина писать ему.

— Если вы меня забудете, — сказал он ему, — то не забывайте по крайней мере пословицы: «погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь». Со времени Петра Великого вы все более и более расширяете свои пределы, не потеряйтесь в безграничном пространстве. Рим сгубили его победы; учение Христа возшло на почве, удобренной кровью. Война поддерживает рабство; мирный труд положит основание свободе, которая есть неотъемлемое право каждого.

Когда он ушел, Лунин сделался молчалив: размышлял ли он о сказанном или, может быть, думал об умершем отце, но мы не решились заговорить с ним.

Прошло десять дней в приготовлениях к отъезду. Мы почти не расставались; я старался быть ему полезным в чем только мог, но мы ни разу не говорили о будущих своих отношениях, и для меня было ясно, что он уже начертал себе план действий, но не считал нужным сообщить его мне. Он был по-прежнему ласков и мил со мной, но все-таки чувствовалась перемена: у него уже были другие цели, которым, по его мнению, я не мог сочувствовать: я не был честолюбив, а в его глазах это было величайшим недостатком.

Он купил себе удобную коляску для путешествия, нанял лакея, и наконец в одно прекрасное утро я проводил его до заставы, где мы со слезами на глазах обнялись в последний раз. Тем и кончилась наша дружба!

Теперь мне все понятно: я не мог следовать за ним, он принужден был оставить меня на дороге. После нашей разлуки прошло шестьдесят лет, и вот я дожил до глубокой старости, а ему пришлось еще в молодых годах окончить свое поприще в сибирских рудниках. <...>

Д. А. Кропотов

НЕСКОЛЬКО СВЕДЕНИЙ О РЫЛЕЕВЕ

<...> Отец Рылеева¹, бригадир екатерининского времени, был человек суровый, крутой и властолюбивый в высшей степени. От его непреклонной воли терпели все домашние, не исключая членов его семейства. Кондратий Федорович, родившийся 18-го сентября 1789 г.², терпел от отца едва ли не более всех. За неуспех в науках или за малейшую детскую шалость отец сек его лозою нещадно. Впрочем, снисхождения он не имел даже к матери его, Настасье Матвеевне³, с которою обходился весьма дурно. В бытность мою с Натальей Михайловной Рылеевой⁴ в деревне Батовой, она мне показывала погреб, в который этот жестокосердный человек запирал мать Рылеева, женщину добродетельную и весьма умную. Желая избавить сына от сурового отцовского обращения, она отдала его в [Кадетский. — *Сост.*] корпус 23-го января 1801 года⁵. Но и тут несчастье преследовало бедную мать. Это учебное заведение, пользовавшееся заслуженною славой во время блистательного управления корпусом графа Ангальта, в феврале месяце этого года поступило в заведывание генерал-майора Клингера. <...> После кроткого и истинно отеческого обращения графа Ангальта время клингеровского управления корпусом можно без преувеличений назвать временем террора. Обищие и жестокость введенных им телесных наказаний в настоящее время могут показаться невероятными. Неразборчивость его и немилосердие выходили из всех границ справедливости и благоразумия: довольно сказать, что за самые невинные детские шалости он определял от 30-ти до 50-ти ударов, но при более важных число это им утраивалось. Других наказаний, кроме розог, по-видимому, он и не знал. Утром, почти ежедневно, в каждой роте раздавались раздирающие вопли и крик детей. Удивительно ли, что при такой системе воспитания ожесточались юные сердца? Рылеев был пылкий, славолубивый и в высшей степени предприимчивый сорванец. Беспреданно повторяемые наказания так освоили его с ними, что он переносил их с необыкновенным хладнокровием и стоицизмом. Часто случалось, что вину товарищей он принимал на себя и созна-

вался в проступках, сделанных другими. Подобное самоотвержение приобрело ему множество друзей и почитателей, вырученных им из беды и потому питавших к Рылееву безграничное доверие. Он был зачинщиком всех заговоров против учителей и офицеров. Года за три до выпуска он был жестоко наказан, и начальство, выведенное, наконец, из терпения, уже собиралось исключить его из заведения, как вдруг обнаружилось, что Рылеев был наказан безвинно. Это обстоятельство и послужило ему в пользу. Обращение с ним после того было изменено: его убедили попризняться математическими науками и обещали при малейшем в них успехе выпустить в офицеры. Рылеев после того вдруг смирился, сделался скромным и прилежным до такой степени, что был удостоен выпуска в артиллерию. По математическим наукам он принадлежал, однако ж, к числу посредственных учеников, но в словесных постоянно был одним из отличнейших. Поэтический талант Рылеева обнаружился еще в корпусе. <...>

Рылеев был выпущен из корпуса, как уже упомянуто, в артиллерию прапорщиком, следовательно, принадлежал к числу воспитанников первого разряда. Из языков он основательно знал французский и польский. <...> Недостатки образования, полученного Рылеевым в юности, не составляли для него тайны. Он понимал их очень хорошо и старался пополнить чтением и беседами с людьми, стоявшими тогда во главе нашего просвещения. Вероятно, с этой целью, по приезде в Петербург, он познакомился со многими тогдашними учеными. Из числа их я назову профессора Петербургского университета Моисея Гордеевича Плисова⁶, который часто бывал у него и целые вечера проводил в беседах о политической экономии. На эти беседы собиралось слушателей иногда человек до десяти. Очень может быть, что и сама дружба его с известным Строевым⁷ основана была на подобном же побуждении ознакомиться с темными местами нашей истории. Но, не вдаваясь в произвольные догадки, можно, однако же, каждому убедиться самому в основательных знаниях Рылеева по части отечественной истории: они свидетельствуются изданными в 1825 году «Думами», патристическое содержание которых почерпнуто им из старинных наших преданий и летописей. <...>

Занятия Рылеева по Американской компании доставили ему возможность сблизиться со многими лицами, имевшими влияние на государственные дела и известными по своему высокому просвещению. Таким образом, по случаю передачи, на основании заключенного тогда трактата, основанной нами в Калифорнии колонии Росс Северо-Американским Штатам Рылеев познакомился с членами Государственного совета Н. С. Мордвиновым и М. М. Сперанским и приобрел их благосклонность к нему. Первому из них он даже посвятил свои «Думы». <...> Отношения этих двух сановников к Рылееву до такой степени выходили из разряда официальных, что в то время разнеслась в обществе молва, будто Мординов и Сперанский задолго до 14-го декабря знали о политических замыслах декабристов.

Рылеев был членом основанного в 1816 году Общества соревнователей просвещения и благотворения⁸, издававшего в продолжение нескольких лет свой журнал. В заседаниях этого Общества он читал свои произведения до появления их в печати. <...>

По выпуске из корпуса в офицеры Рылеев поступил на службу <...> в 1-ю резервную артиллерийскую бригаду, квартировавшую в 1818-м и последующих годах в Острогском уезде Воронежской губернии. Рылеев стоял со своей батареей в селе Подгорном, часть которого принадлежала помещику М. Г. Тевяшеву, весьма уважаемому своими соседями. Познакомившись в доме сего последнего, Рылеев не мог не обратить внимания на его дочь, девицу Наталью Михайловну. Необыкновенная красота девушки и превосходные свойства ее души произвели на молодого артиллериста сильное впечатление. Года через два после первой встречи молодые высказали друг другу свои чувства. Так как оба были еще довольно молоды, да и чин Рылеева был очень невелик, то трудно было ожидать со стороны отца девицы согласия на брак. Но Рылеев решился во что бы то ни стало достигнуть предполагаемой цели и в одно утро вошел к старику в кабинет и откровенно высказал ему волновавшие его чувства. Старик, усадив его в кресла, благодарил за честь, оказанную его дому, но с тем вместе представил ему ряд препятствий, не допускавших этого союза: Рылеев ответил, что все эти препятствия уже были им предвидены, и, в свою очередь, развернул весь план устройства своей будущности. Старик, однако же, не удовольствовался этим планом и присовокупил новые доводы, окончательно разрушавшие сладкие мечты влюбленного артиллериста. Наконец, Рылеев встал, медленно поднялся и старик, полагавший, что дело уже окончено. «Я люблю вашу дочь, — снова начал Рылеев, — и я решился не выходить из этой комнаты, не получив вашего согласия на брак...» — «Что вы хотите этим сказать?» — «Что я не выйду отсюда живой». При этих словах Рылеев вынул из кармана пистолет. Кроткий и миролюбивый Тевяшев питал крайнее отвращение к всякому оружию, особенно огнестрельному, и потому при виде пистолета бросился к Рылееву и схватил его за руку. «Да подумали ли вы о том, что если б я и согласился на ваш брак, то не могу же принудить к тому мою дочь», — проговорил взволнованный старик. <...> В эту минуту двери распахнулись, и любимая дочь с рыданиями бросилась на шею своего отца: «Папенька, отдайте за Кондратия Федоровича или в монастырь!» — и с этими словами упала без чувств. Старик, не ожидавший с этой стороны нападения, был застигнут врасплох. Спротивляться более взаимному влечению молодых людей едва ли ему было и возможно. Старик закрепил их чувства своим благословением. Обряд бракосочетания был совершен 22-го января 1820 года⁹.

Вскоре затем Рылеев вышел в отставку подпоручиком и отправился на жительство в Петербург. По приезде в столицу он поселился с молодою женой на Васильевском острове, в 16-й линии, между Большим и Средним проспектами, в деревянном одноэтажном доме Безобразова. В угловой комнате этого дома, выходившего

окнами на улицу, он дал помещение незаконной дочери своего отца, Анне Федоровне¹⁰, девушке немолодой, но ветреной и наделавшей ему много хлопот. Из-за нее он стрелялся с полковником князем Ш. и был ранен в ступню. Я помню, как после этой дуэли он долго лежал в постели и потом некоторое время ходил прихрамывая. <...> Анна Федоровна пользовалась в доме Рылеева всеми правами родной сестры и потом, когда он переехал в здание Американской компании, что у Синего моста, получала от него средства для безбедного существования. В доме Безобразова он лишился единственного своего сына, младенца Александра, схороненного на Смоленском кладбище.

В известной и наделавшей в свое время много шума дуэли Чернова с Новосильцовым Рылеев принимал участие в качестве секунданта Чернова, которому он приходился двоюродным братом, ибо матери их были родными сестрами. Эта дуэль произошла таким образом: штабс-капитан квартирмейстерской части Галямин, производивший съемку окрестностей села Рождествена, по окончании ее много рассказывал о дивной красоте дочери генерал-майора Чернова, Аграфены Пахомовны, жившей со своею матерью неподалеку от Рождествена в своем поместье. Воспламененный рассказами Галямина кавалергардский поручик Владимир Новосильцов отправился в имение Черновых и там познакомился в их семействе. Девушка Чернова действительно была красоты необыкновенной. Через несколько недель знакомства Новосильцов сделал ей предложение и, получив согласие родителей ее на брак, уговорил мать переехать в Петербург, где, поселившись в одном доме с ними, бывал у них ежедневно и, как жених, даже выезжал в своем экипаже вдвоем с невестой. Но потом, когда он обратился к своей матери за дозволением ему жениться, то мать его, Екатерина Владимировна, урожденная графиня Орлова, решительно воспротивилась этому браку. Гордая аристократка не могла помириться с мыслью, чтоб единственный сын ее женился на девушке из небогатой фамилии. Носился слух, будто ее в особенности смущало неблагозвучное имя будущей невестки. Как бы то ни было, но Новосильцов, не желая ссориться со своей матушкой, а может быть, и вследствие охлаждения, почел за лучшее покориться ее воле и отложить брак на неопределенное время. Прекратив затем свои посещения в дом Черновых, он неосмотрительно тщеславился в обществе прежними отношениями своими к этому семейству. Рылеев знал о щекотливом положении своей двоюродной сестры от одного из братьев ее, подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка Чернова. Сей последний, по совещании с Рылеевым, написал Новосильцову письмо, требуя объяснений в его поведении. Получив уклончивый и несколько резкий ответ, он отправил Рылеева к Новосильцову с вызовом на поединок. В определенный час противники съехались за заставой, по Муринской дороге, в парке Лесного института. Секунданты развели их по местам и подали пистолеты. По команде Рылеева они выстрелили друг в друга и оба пали, смертельно раненные. Новосильцов был ранен в живот, перенесен был в ближайший трактир, где и умер через

сутки на бильярде. Впоследствии неутешная мать построила на этом месте церковь. Должно заметить, что он стрелялся, уже имея согласие своей матери на вступление в брак. Чернов умер через неделю и погребен на Волковом кладбище. Огромное стечение народа, шедшего пешком за его гробом, имело вид громкого заявления сочувствия к молодому человеку, павшему жертвой общественных предрассудков¹¹. Поединок Чернова с Новосильцовым до настоящего времени приводится некоторыми юристами в пример неразрешимости легальным путем некоторых случаев из частной жизни. Должно, однако ж, надеяться, что со временем здравый смысл положит предел варварскому предрассудку и закон восторжествует над самоуправством, ничего не разрешающим, и всего менее вопросы чести.

Вечеру 14-го декабря Рылеев явился домой пасмурным и молчаливым. Напившись чаю, сказал жене: «Худо, мой друг; всех моих друзей берут под стражу, вероятно, не избежать и мне общей участи». Отправившись в свой кабинет, он улегся на диване¹². После полуночи приехал обер-полицеймейстер и объявил ему повеление об арестовании его. Рылеев оделся наскоро, благословил дочь свою Настеньку, крепко сжал в объятиях жену, изнемогавшую под бременем горести, и, поцеловав ее в последний раз, быстро направился к двери.

Пред Следственной комиссией он принес полное раскаяние, нисколько не увлекаясь надеждой избежать тяжкой, но заслуженной кары. На все вопросы комиссии он отвечал со всею откровенностью, о которой можно судить по последнему его показанию: «Впрочем, я признаю себя главным виновником происшествий 14-го декабря: я мог все остановить и, напротив, был для других пагубным примером преступной ревности. Если кто заслужил казнь, вероятно, нужную для блага России, то, конечно, я, несмотря на мое раскаяние и совершенную перемену образа мыслей». В начале июня дозволено было Рылееву даже иметь свидание с семейством, то есть с женой и дочерью. На этом свидании довелось быть и мне. Мы отправились в Петропавловскую крепость в коляске. Наталья Михайловна с бабушкой, Прасковьей Васильевной, сидели рядом, Настенька и я сидели напротив. Проехав Иоанновские ворота, мы сейчас же остановились, не доезжая палисадника. Наталья Михайловна с Настенькой отправились в каземат, а мы с бабушкой остались в экипаже. Спустя три четверти часа Наталья Михайловна и Настенька возвратились в слезах, беспрестанно оглядываясь на одно окно. На окне, за железною решеткой, стоял Рылеев, в белой одежде, слегка потрясая воздетыми к небу руками. Кучер Петр, сняв свою шляпу, громко рыдал и причитывал, как это водится в деревнях по умершим. Наконец мы тронулись. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О К. Ф. РЫЛЕЕВЕ ЕГО СОСЛУЖИВЦА ПО ПОЛКУ А. И. КОСОВСКОГО (1814—1818 гг.)

Рылеев воспитывался в Первом кадетском корпусе, а по окончании наук поступил на службу в 1813 году в конно-артиллерийскую № 1 роту, имел от роду с небольшим 20 лет. Роста он был среднего, телосложения хорошего, лицо круглое, чистое, голова пропорциональна, но верхняя часть оной несколько шире; глаза карие, несколько навывкате, всегда овлажнены и приятные, в особенности когда он читал стихи или хорошую прозу из лучших сочинений, отчего он делался как бы вдохновенным; будучи несколько близорук, он носил очки (но более во время занятий за письменным столом своим). <...>

<...> Иногда выпадали дни, в месяц раза три или четыре, Рылеев, наскучив сидеть один в деревне, приезжал в батарейный штаб и читал нам из лучших сочинений прозу и стихи, к чему он имел большую способность и дар слова! Но Державина и Дмитриева¹ предпочитал прочим. Мы охотно слушали его и оставались довольны; а в заключение всей беседы иногда прочитывал свои мелкие сочинения, которые иногда находил слабыми, тут же уничтожал, а их было довольно.

Состоя на службе в конной артиллерии, чего бы кажется лучше желать в его лета, красоваться на хорошем коне, в нарядном мундире, батарея с тремя отличиями за сражения (золотые петлицы на воротниках мундира, бляхи на киверах за отличия и серебряные трубы); но он не полюбил службы, даже возненавидел ее и только по необходимости подчинялся иногда своему начальству. Он с большим отвращением выезжал на одно только конно-артиллерийское учение, но и то весьма редко, а в пеший фронт никогда не выходил; остальное же время всей службы своей он состоял как бы на пенсии, уклоняясь от обязанностей своих под разными предлогами. Часто издевался над нами, зачем служим с таким усердием, называя это унижительным для человека, понимающего самого себя, т. е. подчиняться подобному себе и быть постоянно в прямой зависимости к начальнику; говорил — вы представляете из себя кукол, что доказывают все фрунты, в особенности пеший фрунт. Он много раз осыпал нас едкими эпиграммами и не хотел слушать дельных возражений со стороны всех товарищей его.

Такого рода замечания со стороны Рылеева мы всегда относили к одной болтовне, беспокойному его характеру и настроению, с коими так он освоился ко вреду службы и к собственной гибели; да и к чему же иному могло повести его отчуждение от нашего общества? Сидевши постоянно один в мужицкой хате, не думая быть полезным по службе и избегая сотрудничества товарищей своих <...> он явно считал нас слишком слабыми, чтобы понять его. Увещевания же со стороны батарейного командира не имели на него

никакого влияния, над чем он всегда смеялся и даже считал себя обиженным. <...>

С производством Рылеева в офицеры в 1813 году он отправился прямо за границу, к батарее, которая в то время находилась в авангарде графа Чернышева противу французских войск. Рылеев был несколько раз в сражениях, но особых отличий в делах не сумел оказать. По заключении же мира в Париже в 1814 году и до возвращения в Россию никто из нас в Ры[лееве] ничего особенного не замечал; он держал себя осторожно. <...>

С наступлением же 1815 года, когда российские войска вторично вступили в пределы Франции 18 марта и батарея поступила в авангард генер[ала] Чернышева², Рылеев назначен был от батареи за квартирмейстера с юнкером, который говорил по-немецки. С этого времени Рылеев сделался к службе подеятельнее и собственно для себя полезным; со вниманием следил он за благоустройством тех мест, чрез которые следовала батарея, иногда передавал нам свои неважные замечания по разным предметам. А с переходом через реку Рейн батарея расположилась квартирами в границах Франции в [гор]оде Васси и окрестностях оною. Здесь в течение 2¹/₂ месяцев, когда батарея готовилась к высочайшему смотру близ г. Вертю, Рылеев успел составить несколько записок того края, в коих старался изложить свой взгляд³. Зародилась в нем мысль, что в Р[оссии] все дурно, для чего необходимо изменить все законы и восстановить к[онституцию?] .

А на возвратном пути в отечество записки его значительно увеличились: с приходом же в Виленск[ую] губ[ернию] Россиенского уезда, в м[естечко] Ретово (на самой границе Пруссии, принадле [жащее] князю Огинскому), Рылееву пришлось стоять в д[еревне] Вижайцы, тоже недалеко [от] прус[ской] грани[цы], в 8 вер[стах] от г. Мемель, а от батарейного штаба — в расстоянии 7 миль. Здесь-то Рылеев, будучи на свободе, начал трудиться собственно для себя и без малейшего стеснения занялся приведением в порядок своих записок; с этого же времени он старался приобрести все лучшие сочинения русских авторов, часть коих получил из Петербурга от матери и дяди своего; постоянно читал, завел обширную переписку с некоторыми из товарищей своих по корпусу, из коих один служил шта [бс]-кап[итаном], в гренадерс[ком] полку, кажется, Асосков, коему ежедневно посылал исписанных несколько листов почтовой бумаги; но в чем состояла эта переписка, из нас никто не знал и не любопытствовал. А между тем, находясь поблизости границы, он часто посещал приморский город Мемель, где проводил дня по два и по три без позволения батар[ейного] командира. Вскорости после сего Р[ылеев] начал дарить нас своего сочинения посланиями, а иногда и элегиями, из коих большая часть расходилась по рукам и уничтожалась как неинтересного содержания, оставшиеся же у меня некоторые из них и отысканные недавно в старых бумагах при сем прилагаются в копиях, для соображения о постепенном развитии таланта молодого поэта, раввавшегося на простор.

В том же году, будучи тяжело болен в продолжение четырех месяцев, он не оставлял своих занятий, а по выздоровлении однажды сказал:

— Хотя недуг меня и сломил, но время золотого я не терял; чем мне нужно было заняться, я успел передумать и сообразить; вижу, что мне предстоит множество трудов! Жаль только, что не имею сотрудника.

— Да в чем же именно будут состоять эти занятия? — спросил один из товарищей.

— В том, что для вас покажется ново, странно и непонятно! Да, на это потребуется много силы воли, чего ни в одном из вас я не замечаю!

Слышавши такие суждения, прикрываемые такими ничтожными посланиями, коими он дарил нас, мы сделали заключение: не задумал ли Ры[лее]в основать масонскую ложу подобно ложе С[вято]го Георгия, от которой незадолго пред сим правительство наше требовало отречения и взяло от каждого подписку о непринадлежности ни к каким тайным обществам⁴.

В то время Р[ылее]в в глазах наших сделался более сомнительным; его скрытный характер, осторожность в речах ясно показывали, что этот новый гений озабочен чем-то необыкновенным (...) а потому часто приходилось заводить спор и слышать уклончивые суждения Рылеева, из которых ничего дельного мы не понимали и снова советовали бросить несбыточные предположения его, но он твердо стоял в своих убеждениях и не думал измениться.

По выздоровлении своем Рылеева можно было видеть по большей части в мужицкой избе с полусветом, за простым рабочим столом, на коем были нагромождены разные книги, даже на лавках занимаемой им комнаты множество разбросанных бумаг, тетрадей, свертков, разного хлама и в особенности пыли. Сам же он постоянно носил двубортный сюртук светло-коричневого сукна под названием *пиштинского*, самим им придуманного, длина коего до колен, с широкими рукавами, с двумя на груди карманами, с несколькими шнурами и кистями, а воротник маленький, отложной, так что вся шея открыта. Панталоны светло-серого сукна, но без красной выпушки и без штриф, в коих по рассеянности один раз выехал во фронт, за что и был арестован. Шапка или картуз черного сукна особого покроя. Сапоги носил без подборов, по большей части стоптанные, нечищенные; туфлей и галош он не имел. (...)

Простоявши на этих квартирах год и четыре меся[ца], батарея выступила из Виленс[кой] губернии в Орловс[кую] губ[ернию] в г. Мценск. На время похода Рылеев был назначен за квартирера и в течение пяти недель обязанность сию исполнял весьма добросовестно. (...)

Во Мценске батарея простояла не более 2¹/₂ меся[цев] и после отдыха двинулась далее в Воронежс[кую] губ[ернию] Острогожского уезда в мес[течко] Белогорье на берегу тихого Дона. Здесь при общем размещении 6 взводов Рылееву пришлось идти за 30 верст, в глухой степи, состоя в дивизионе другого офицера, где он и осно-

вал себе верный приют на два года. Вскорости он приобрел знакомство в том же огромном казенном селении с помещиком, отставным майором Михайлом Тевяшевым, человеком прошлого столетия времен Екатерины, преисполненного доброты сердца, но прожившего в глуши более 30 лет, с плохим здоровьем; он решительно отстал от тамошнего общества. У него были две дочери 11 и 12 лет, но без всякого образования, даже не знали русской грамоты; между тем отец их имел весьма хорошее состояние. Управлением хозяйства ни он, ни жена-старушка не занимались, все шло по воле мужика Артамона, а они, дряхлая свой век, молились богу!

Рылеев первый принял живейшее участие в этих двух девицах и с позволения родителей принял на себя образование их, чтобы по возможности вывести их из тьмы, ибо, живши в степной глуши, от уез [дногo] гор [ода] Острогoжска в 60 верст [ах], где ни жена, ни дочери Тевяшева никогда не бывали, светского обращения нигде не имели случая видеть и почти ни с кем знакомства не водили, следовательно, оставались на произвол судьбы. Смотревши на семейство Тевяшевых, мы удивлялись и сердечно сожалели, что русский дворянин, хорошей фамилии, с состоянием, прослуживши на военной службе более 20 лет, мог отстать от современности до такой степени и не озаботился о воспитании двух дочерей. В ихнем кругу или обществе «Московские ведомости» читались по выходе в свет спустя две-три недели, а иногда и месяц, потому что выписывали их 4 или 5 помещиков, живших один от другого на весьма значительном расстоянии.

Взявши на себя столь важную обязанность, Рылеев употребил все усилия оправдать себя пред своею совестью: постоянно занимался с каждой из учениц, постепенно раскрыл их способности; он требовал, чтобы объясняли ему прочитанное, и тем изошрился их память; одним словом, в два года усиленных занятий обе дочери оказали большие успехи в чтении, грамматике, арифметике, истории и даже законе божием, так что они могли хвалиться своим образованием противу многих девиц соседей своих, гораздо богаче их состоянием, в особенности старшая дочь, Наталья Михайловна, сделалась премилая уменькая девица. <...>

Кончая науки, товарищ наш и не заметил, что увлекся тихим характером старшей ученицы своей, Н. М.! Прежде Рылеев был тех мнений и старался всегда доказывать в своем сочинении в стихах (после им самим уничтоженное), что брачная жизнь «ни к чему не ведет, а тем более для человека, постоянно озабоченного серьезным делом и не имевшего средств к жизни», но когда влюбился в Наталью Михайловну, он не мог уже владеть собою, а когда узнал о взаимности Н. М., то начал писать в честь ее многое множество, из коих отыскались в старых моих бумагах «Акrostихи» и «Триолет», писанные рукою Рылеева.

В исходе 1818 года Рылеев решился сделать предложение, которое и было принято стариками с радостью, но с условием, чтобы свадьбу отложить до будущего года, а к тому времени Кондратий

Федорович должен был подать в отставку по настоянию батальонного командира. <...>

Посвятивши себя на доброе дело — образовать двух девиц, Рылеев не оставлял и постоянных своих занятий. В течение [1] 817 и 1818 годов он написал бумаги целые горы; брался за многое, не жалея сил и умственных напряжений, но зато же многое уничтожено им самим, чему и нам случалось быть свидетелями неоднократно: бывало, прочтет что новенькое и тут же рвал или сжигал, а некоторые отрывки расходились по рукам; но записок под названием (как он говаривал) деловых никогда никому не показывал.

При стольких заботах своих он крепко дорожил временем и редко показывался между товарищами, а если и являлся, то на короткое время, часто уверяя, что один трудится за всех нас.

Почти в это время он успел сделать некоторые очерки для «Дум» своих, которые впоследствии были изданы в свет. «Дмитрий Донской», «Богдан Хмельницкий», «Курбский и Наталья Долгорукая» нам были уже знакомы в 1818 году, равно и поэма «Войнаровский», коими мы также любовались. Но все это впоследствии много исправлено и дополнено им. Похвальное слово Мордвинову (бывшему министру) также начато при нас, которого ум и правду Рылеев ценил высоко. <...>

Мы замечали, что в нашем обществе ему становилось душно. Однажды он проговорился: «Нет, нет! надо ехать туда, где люди живут и дышат свободно!» — «А куда бы, например, ехать?» — спросили товарищи. — «В Америку, непременно в Америку! — где куплю часть земли, положу основание колонии независимости, и тогда, кто захочет из вас жить по произволу, не быть в зависимости от подобных себе, не слышать о лихоимстве и беззакониях нашей страны, тех я приму с распростертыми объятиями, и мы заживем так, как немногие из смертных!» На это заключение был сделан ему вопрос: «Где же возьмем средства к оному?» — «Я выйду в отставку, — отвечал он, — и буду служить в Американской компании секретарем, с жалованием в 12 т [тысяч] в год и готовая квартира; место это уже давно предлагают мне, и я займу его непременно, чтобы этим путем достигнуть цели своей!»

Слушая такие повествования со стороны Рылеева, мы невольно смеялись от души. Однажды в такой беседе, когда распалили его воображение и проговорили, что все предположения его есть вздор и ни к чему доброму привести не могут, а другой из товарищей прибавил: «Да и Пугачев затевал много! но чем же все кончилось? — злодея четвертовали». На это Рылеев отвечал, принявши более серьезный вид: «Вы не знаете моих мыслей и, конечно, не поймете всего того, если бы я и объяснил; по моему мнению, вы жалкие и умрете в неизвестности, тогда как мое имя займет в истории несколько страниц; кто переживет из вас, тот убедится!» <...>

А как часто он говаривал нам: «Г [оспода], вы или не в состоянии, или не хотите понять, куда стремятся мои помышления! Умоляю вас, поймите Рылеева! Отечество ожидает от нас общих усилий для блага страны! Души с благороднейшими чувствами постоянно

должны стремиться ко всему новому, лучшему, а не пресмыкаться во тьме. Вы видите, сколько у нас зла на каждом шагу; так будем же стараться уничтожать [зло] и переменить на лучшее!»

Слушая эти речи из уст такого мечтателя, каков был Рылеев, мы и этот раз посмеялись от души и пожалели, что он не оставляет своих *убеждений*, которые со временем могли расстроить умственные его понятия.

Однажды после случившегося с ним неприятного происшествия и болезни он приехал в штаб батареи и навестил общество гг. офицеров, где в разговоре один из них обратился к Рылееву:

— Скажите, пожалуйста, Кондратий Федорович, довольны ли вы своею судьбою, которая, как кажется, лелеет и хранит вас на каждом шагу? Мы завидуем вам!

— Что же тут мудреного, когда она так милостива ко мне! Я убежден, что она никогда не перестанет покровительствовать гению, который ведет меня к славной цели!

— Но в чем же заключается эта цель? Пожалуйста, откройте нам или одному, по выбору вашему, из товарищей. Но вы молчите? Следовательно, тоже скрытность и недоверие, а может, только испытание, лишь бы выведать? Дурно же вы разумеете нас! А может, и нашелся бы такой, который умел бы обсудить не хуже вас самих, лишь бы идеи действительно клонились к существенной пользе.

При этом сказал 2-й товарищ:

— Я не хочу верить, чтобы Кондратий Федорович попал на счастливую мысль; в противном случае он как благородный человек не скрывал бы от нас того, в чем каждый готов принять живейшее участие, и сочувствие ему во всем полезном, без поездки в Америку! К тому же он в течение 6 лет всегда был скрытным, удалялся от товарищей, службы никогда никакой не нес и часто издевается еще над нами: зачем каждый нес службу вдвойне — и за себя и за его благородие. Так можно ли в чем положиться на него? Он увлекается и силится доказать нам правоту своих убеждений, нисколько не открывая цели их! По моему мнению, это мечта и пустословие, ни к чему не ведущие! Пускай лучше решит эту задачу, например: из нас каждый чист совестью! а он чем может похвалиться? Пускай поверит себя и раскается, пока не ушло время! — он много виноват противу каждого из нас!

За сим добавил 3-й товарищ:

— Итак, Кондратий Федорович, вы все-таки остаетесь при своем мнении, чтобы стремиться к чему-то необыкновенному, великому!? Мысль эта прекрасная, благороднейшая! Но чтобы понять, освоить ее себе, надо же и ума и много усилий, чего по сей час мы в вас не замечаем еще (...) так зачем же идти на явные неприятности, с одними тайными убеждениями, и желать, чтобы другие сочувствовали вам без всякой цели? Я думаю так: если предопределение судьбы до сего времени не совершилось еще над вами, то вы обязаны счастливому случаю; может быть, та же судьба ожидает, чтобы вы поверили себя! Если вас миновали две пули и спаслись от потопления в реке⁵, то это не дает еще права идти слепо на авось! Ведь

редко кому приходится отделаться так счастливо, как вам! Должно думать, что вам предназначается другая, лучшая, смерть, как избраннику судьбы!.. не правда ли?

— Вижу, господа, что вы остаетесь о сю пору в том же заблуждении, — сказал Рылеев, — я повторяю вам, что для меня решительно все равно, какую смертью ни умереть, хотя бы быть повешенным; но я знаю и твердо убежден, что имя мое займет в истории несколько страниц!

Вот правила, мысли и убеждения, коими постоянно руководствовался Рылеев, в особенности в последнее время, находясь еще на службе, т. е. по день подания им прошения об увольнении в отставку в [1] 818 году в декабре месяце. Будучи в таком настроении, нельзя было не заметить, что большая часть его помышлений клонилась к безумию: чтобы передать имя свое потомству, он заранее обрек себя на все смерти! И поэтому-то наш мир для его несообразных идей казался слишком тесен, что впоследствии и оправдалось на деле!..

К исходу этого года он, можно сказать, помешан был на равенстве и свободомыслии; часто говаривал: как бы скорее пережить тьму, в коей, по мнению его, тогда находилась наша Россия! Он предсказывал ей в будущности величие и счастье подданных, но не иначе как с изменением законов, уничтожением лихоимства, а самое главное — удалить всех подобных Аракчееву, а на место их посадить Мордвиновых!

Будучи постоянными свидетелями нескольких лет образа жизни и суждений Рылеева, могли ли мы когда думать, чтобы прапорщик конной артиллерии, без средств к жизни, с такими наклонностями, непостоянным характером, мог затевать что-либо, похожее на дело серьезное?

Предаваясь всегда недельным своим занятиям в уединении, никто из товарищей с ним не разделял [так в тексте. — *Сост.*], да и посторонних лиц, кто бы водил дружбу с Рылеевым, не было; даже друг его, прапорщик Миллер⁶, не был посвящен в эти тайны, так он вел дела свои скрытно!

Случалось временами, когда Рылеев начинал говорить о предметах, клонящихся до будущего счастья России, он говорил увлекательно, даже с жаром (причем возражений не терпел). В это время речь его лилась плавно, он казался проникнутым благородными чувствами и твердостью убеждений своих предположений. Он жестоко нападал на наше судопроизводство, карал лихоимство, доказывал, сколько зла в администрации!.. и много кое-чего говорил подобного!! Нам же завещал свою мысль: не подчиняться никому, стремиться к равенству вообще и идти путем здравого рассудка, в чем, по его мнению, состояло все счастье каждого. <...>

Так как с 1-го января 1819 года батарея должна была перейти в Курскую губернию в Рыльский уезд на новые квартиры, то дня

за три Рылеев, оставя невесту свою, приехал в штаб-квартиру проститься с товарищами, но и, тут не обошлось без шумных разговоров, споров, доказательств; наконец началось прощание и обоюдное желание, причем Рылеев просил позволения сказать несколько слов прежде и начал с того: «Г [оспода], я считался несколько лет вашим сослуживцем, но был скверным слугою царю; вы поделом не любили меня как ленивца, но, признаюсь, я любил вас всех, кроме двух, — показал на них, — мы не сошлись с самого начала, следовательно, — и довольно! К тому же я никогда не замечал со стороны их желания сойтись со мною». Потом, обратясь ко всем, сказал: «Г., я надеюсь, что при встрече со мною у вас не откажется никто подать мне руку как старому камрату; объятия мои всегда отверсты для каждого из вас. Жалею сердечно, что вы не хотели понять меня (чему, однако ж, я не верю), впрочем, пусть оно и так! По крайней мере, не забывайте тех слов, которые много раз мною были высказаны перед вами как залог будущего счастья того, что для нас дороже всего! (здесь он подразумевал Россию) — легко может статься, что спустя лет пять все изменится к лучшему! — я не теряю надежды видеть кого-либо из вас в благополучной Америке, в моей колонии независимости, куда приглашаю вас!!» А мы пожелали ему скорее соединиться навсегда с бывшею своею ученицей и наслаждаться семейным счастьем, бросить неверные идеи свои, не полагаться на судьбу, которая так немилосердна и часто играет участью смертных! Но Рылеев заключил так: «Я не сойду с избранного мною пути, ибо твердо уверен в предприятии своем, и вы увидите скоро! Это время не за горами; кто переживет из вас, тот оправдает меня, а до того, господа,— прощайте, не забывайте ленивца Рылеева».

Мы обнялись, поцеловались и расстались навсегда!

Впоследствии же времени, как мне известно, никто из сослуживцев его переписки с ним не имел, кроме меня, да и то раза два-три в год. На письма же мои отвечал всегда шутливо и уклончиво, между тем каждый раз уговаривал переехать в Петербург, служить вместе, уверяя, что раскаиваться не буду; не переставал твердить и убеждать, что пора нам поверить себя, взглянуть попристальнее на все окружающее нас, ибо, кроме зла, несправедливостей и неслыханного лихоимства, ничего у нас нет, — а потому необходимо думать, дорожить каждым днем и трудиться для будущего счастья России! Чтобы потомство не проклинало нас. «Вот тебе дружеский совет,— писал Рылеев,— приезжай сюда (в Петербург), ты узнаешь много хорошего, а до того подумай и передай мне свои мысли...»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОФЕССОРА А. В. НИКИТЕНКО О К. Ф. РЫЛЕЕВЕ

⟨...⟩ Рылеев в то время управлял канцелярией нашей Американской торговой компании и жил в компанейском доме у Синего

моста. Квартира Кондратия Федоровича помещалась в нижнем этаже. Окна ее со стороны улицы были защищены выпуклою решеткою. Теперь дом этот перестроен, но он долго был для меня предметом скорбных воспоминаний, и я не мог пройти мимо без сердечного волнения. Было одно окно особенно: оно выходило из кабинета, где я, познакомясь ближе с хозяином, слушал, как он декламировал свою только что оконченную поэму «Войнаровский». Со мною вместе слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире — Баратынский¹.

Я не знал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом, он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем, безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня. <...>

РАССКАЗЫ О РЫЛЕЕВЕ РАССЫЛЬНОГО «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

(записи М. И. Семевского в 1869 г.)

Случай свел нас недавно с Агапом Ивановичем. Это еще крепкий бодрый старик 71 года, так что на вид ему можно дать развс с небольшим 50 лет. Женат с небольшим десять только лет и поныне еще находится в услужении.

«Родом я из Великих Лук, — рассказывал Агап Иванович, — отец мой был крепостным Филимонова, который потом, бывши уже генералом, убит в Польскую кампанию 1831 года. За услуги отца г. Филимонов позволил ему отдать меня в учение, а потом я служил у разных господ, платя барину оброк по 120 рублей асс. в год. Служил я сначала у Брискорна, потом у Сенявина. <...> В июле или августе, в тот год как было наводнение, поступил к Кондратию Федоровичу Рылееву.

Кондратий Федорович жил у Синего моста, в доме Северо-Американской компании, занимаясь ее делами. Жалованья получал он от Компании 1400 рублей асс., но жил более для квартиры — ему давали хорошую квартиру. <...>

Квартира у него была большая, мебель в двух комнатах от Егорова, придворного столяра, а в прочих — похуже. До наводнения еще ништо было, нарядно, а после наводнения плохо; ведь нонче шегольская мебель — зато и ломается, вся распускается она. <...>

Рылеев не любил крепостной прислуги, и в доме его была только одна горничная из дворовых жены. Нянька тоже была

наемная. Женатых людей он отпускал по паспортам¹. <...> Имел он пару лошадей и наемного кучера. <...>

Любил Кондратий Федорович заниматься хозяйством, держал при доме корову, а в последнее время у него была даже свинья... Помню, как в наводнение мы лошадей перевели в присутственное место в верхнем этаже. Лошади пошли охотно, но с коровой было много хлопот.

С прислугой он был очень добр, не бранился, не дрался. Все молчит, редко что и спросит; правду любил — возьми, что хочешь, только скажи; ложится спать — тут ему и говори, а вот утро — не ходи; когда запрется с колктурами (корректурами) — не мешай. В обращении прост и охотник прислушиваться на улице к народным речам. Бывало, подслушает какое слово и, как воротится домой, запишет его на бумаге. Говорил всегда тихо и вежливо, но горячился в спорах и с книгопродавцами о неплатеже.

Росту он был высокого, не худ, на вид, в последнее время, около 30 лет; носил бакенбарды черные, узенькие, как занузанные поводья; усы не носил, тогда мало усы носили. Из портретов его я знал рисованный с него Уткиным², красками. Куда девался портрет, не знаю, но написан портрет хорошо, в пояс; еще какой-то Дерпату приходил, рисовал. Был еще портрет, писанный на кости.

Жена Рылеева была тоже высокая ростом, смугла, худенькая, не из богатой фамилии. Жила она с дочкой по большей части за Петергофом, в Утайце, небольшом имении мужа (перешло подарком или по купчей от Малютиной). Когда жена бывала в Петербурге, то к ней ездили из дам: Малютины, Бестужева-старуха с некрасивыми дочерьми, Черновы (две сестры были). Рылеева была как-то нелюдима и уклонялась от знакомств, а дочь очень хороша была, совсем на него похожа, очень хорошенькая.

Рылеев казался холоден к семье, не любил, чтоб его отрывали от занятий, и, предаваясь делу, он часто жену и дочь отсылал от себя. То же делал, когда к нему приходил кто-нибудь.

В большом кабинете его (во всей квартире 8 комнат, кроме кухни; кабинет на двор выходил) были разложены три доски, обтянутые холстом. На них раскладывались разные бумаги, колктуры и книги нужные. И тут К. Ф. занимался стоя, большею частью по ночам (а днем ему некогда — то в коллегии³, то к цензору, то к наборщикам). Переходя по длине доски к расположенной на ней работе, он затруднялся переставлять свечу. Для этого над доскою вдоль ее протянута была проволока, по которой двигался подсвечник. От него другая проволока прикреплялась к поясу К. Ф., и таким образом свечка двигалась по проволоке вслед за ним. За работою он обыкновенно пил воду через сахар с лимоном. Кружка самая простая была. Вино вообще употреблял неохотно. В карты играл мало, я не видал его, чтоб играл. <...>

Рылеев с Александром Бестужевым издавали тогда «Полярную звезду», которая давала хороший доход. Между тем все более ценные и жалованные вещи были заложены в ломбарде. <...>

Исполняя обязанности рассыльного, за что получал по 15 р. асс. в месяц, я носил колектуры и сдавал книги книгопродавцам: Гаврилову, Заикину, Шленину (Слѣнину⁴). Приемные квитанции их были у меня, и по этим квитанциям приходилось получать с книгопродавцев по 11 тысяч. Записные книжки — что и с какого числа сдал — все у меня были, даже оберточная бумага — и та на квитанции.

Александр Бестужев хотя и имел квартиру у Юсупова сада как адъютант принца [Вюртембергского], но по большей части находился у нас и работал вместе с К[ондратием] Ф[едоровичем]. Молодцеватый из себя был, красивый... У Р[ылеева] голос мягче, и все сильно с усмешечкой говорил, а у Бестужева поглубже. У Бестужева была привычка складывать при работе ноги на стул, так что приходившие иногда, из шутки, роняли его, опрокидывая стул сзади. Особливо же Михаил Александрович [Бестужев] придет — шутки были. Николай Александрович [Бестужев] был строгий из себя. <...>

Сомов⁵ (тут же во дворе жил) часто переписывал для них обоих. Добрый был, румяный, простая душа, простак. Ростовцев⁶ тоже раньше участвовал с ними в работе и был с ними дружен. (Однажды) Ростовцев принес что-то; Рылеев исправил, заплатил, а Ростовцев... передал Булгарину с Гречем. Рылеев поссорился [с ним]. Булгарина почему-то не любили и передразнивали его слова, выговариваемые на польский лад. Бывало, как Рылеев рассердится, начнет по-польски с ним ругаться. Греч и начнет их улаживать — был [он] обходителен, высок, сутуловат немножко. Греч больше молчал и смеялся, но имел привычку заглядывать в работы. Потому при входе его в комнаты писанные бумаги всегда перевортывались белой стороной.

Александр и Николай Бестужевы, Аладьин⁷, а также два брата, Александр и Петр Одоевские⁸, были короткими друзьями Рылеева. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. А. МАРКЕВИЧА О В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРЕ

Кюхельбекер Вильгельм Карлович, учитель русской словесности и один из друзей Александра Пушкина, Дельвига¹ и Баратынского... Благороднейшее, добрейшее, чистейшее существо. <...>

Мое сближение с ним началось в 1817 г. на уроках российской словесности в пансионе при Главном педагогическом институте². <...>

Кюхельбекер был очень любим и уважаем всеми воспитанниками. Это был человек длинный, тощий, слабогрудый; говоря, задыхался, читая лекцию, пил сахарную воду. В его стихах было много мысли и чувства, но много и приторности. Пушкин этого не любил; когда кто писал стихи мечтательные, в которых слог

не был слог [ом] Жуковского, Пушкин говорил: и кюхельбекерно, и тошно³.

Весьма часто я у него пил чай, иногда и завтракал; я наслаждался, вечером сидя у его окон, видом на пылающее в лучах заходящего солнца море. Когда он перешел в Конюшенную, я у него бывал и там; и ни одна минута неудовольствия не бросила тени на нашу приятельскую связь.

Он подарил мне «Füg Wenige»* Жуковского... В то же время подарил мне и «Грамматику» Жуковского, напечатанную в числе 10 экземпляров⁴. Галич⁵ взял у меня на прочет эти драгоценности и не возвратил... Потом еще подарил он мне собственноручную тетрадку Жуковского, словарь немецко-русский, по которой великая княгиня Александра Федоровна училась русскому языку; часть этой тетрадки я после подарил моей свояченице Наде, а два листочка вклеил в альбом, над стихами Кюхельбекера к его брату Михаилу Карловичу. <...>

Милонова сатиры⁶, проза и еще более стихи Батюшкова, проза Муравьева и Тургенева⁷, Кириша Данилов⁸, сатиры Кантемира⁹ были любимым его чтением. Державина не позволял никому, кроме меня, читать. «Этот гений образует большие таланты и убивает небольшие». Катенину¹⁰ не отказывал в большом даровании, но говорил, что этот писатель лишен всякого эстетического чувства. Жуковского изучал и давал изучать. Карамзина ставил недостижимым совершенством слога. Являлось ли что-нибудь новое, он приносил в класс и заставлял меня громко читать. <...>

Кюхельбекер был превосходный ценитель литературных произведений. Это была школа очищенного вкуса. Сам писал очень посредственно; Пушкин любил его, был дружен с ним, но не любил его стихов; об этом я сказал выше. <...>

Кюхельбекер читал свои стихи очень дурно, хуже, нежели Пушкин. <...> Обыкновенно, когда он, бывало, приносит нам что-нибудь свое, я читал, и он был очень доволен.

У Кюхельбекера я бывал и после, когда он квартировал в Конюшенной, когда я был уже не школьник, между днями моего выхода из пансиона и моего выезда из Петербурга. Дельвиг, Баратынский, А. Пушкин съезжались к нему по вечерам, и это были прелестные часы. В прелестных стихах и умных критиках недостатка не было. Чай с московскими сухарями услаждал поэтов, и эти сухари, которые по лавочкам в банках продаются, мне всегда напоминают вечера в Конюшенной у Кюхельбекера. Кроме нас приезжали к Кюхельбекеру Фед. Ник. Глинка¹¹, Нащокин¹² — мой соученик, Пушин, Чаадаев¹³ и другие лицеисты, которых я мало помню или вовсе не помню, да Михайло Карлович Кюхельбекер, моряк. Около того времени невеста его умерла, Вильг [ельм] Карл [ович] написал к нему на этот счет послание, довольно немецкое, которое мне подарил для альбома на прощанье; оно и теперь в альбоме у меня.

* «Для немногих» (нем.). — Сост.

Александр Сергеевич Пушкин жил в доме своего отца над Фонтанкою. К нему и прежде выхода моего из пансиона ходил я иногда тайком, ускользнув во время классов пения. В дни моей свободы, т. е. от 1 февраля по 20-е 1820 года, я бывал у него почти ежедневно. Он был болен, никуда не выезжал, обрабатывал пятую песнь «Руслана и Людмилы», дописывал шестую. <...>

Старик Сергей Львович меня полюбил; он часто к нам приходил и вмешивался в литературные наши толки. Левик¹⁴ с необыкновенно критическим талантом, доходящим до какого-то ясновидения в поэзии, критиковал тирады и отдельные выражения в стихах брата своего, Баратынского, Дельвига, Глинки, Кюхельбекера и моих. Кюхельбекер, которого за ум и ангельскую доброту мы все вполне чтили и любили, был наш конек; на водяных его стихах мы часто выезжали. При прощании с Пушкиным я получил от него в подарок на память несколько пьес в стихах, он вырвал их для меня из своей красной книги. На одной из станций, едуци в Малороссию, опрокинувшись, я часть бумаг потерял; там погибли списки его сочинений, не могущих быть напечатанными. Две пьесы из красной книги, подарок Пушкина, уцелели. Они вклеены мною в альбом.

Один из последних моих прощальных визитов в П[етер]бурге был к Пушкину и к Кюхельбекеру.

А. О. КОРНИЛОВИЧ, ИЗДАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СБОРНИКА «РУССКАЯ СТАРИНА» в 1824 и 1825 гг. (рассказ генерала Шумкова)

Замечательна судьба А. О. Корниловича. Получивши образование, кажется, в знаменитой Муравьевской школе колонновожатых¹, он обладал обширными сведениями, чему много помогло его знание почти всех европейских языков, а потому он стоял на отличной служебной дороге по Генеральному штабу или, как тогда называли, свитским гвардейским офицером. Сосланный потом за участие в событиях 14-го декабря 1825 г. в каторжные работы, он вскоре [был] возвращен секретно в Петербургскую крепость, в казематах которой прожил около пяти лет, то есть до 1832 года, когда был перевезен в Грузию и зачислен на службу в пехотный полк солдатом². Рассказ его пишущему эти строки о своей жизни в крепости чрезвычайно интересен. Здесь приводятся лишь главные черты его.

Из Сибири его везли с фельдъегерем со всеми предосторожностями, вероятно, наблюдаемыми при таких случаях. Ему неизвестно было, куда его везут в закрытом экипаже. По приезде к месту назначения его ввели с завязанными глазами и тут только сняли повязку с его глаз. Он увидел себя в каком-то каземате со сводами. Его тут же предварили, чтобы он не пробовал говорить

со сторожем, который приносил ему пищу. Спустя несколько времени вошел к нему в каземат генерал Бенкендорф, прежде весьма хорошо ему знакомый. Тут только для него стало ясно, что он в Петербурге. Бенкендорф обратился к нему со следующими словами: «Любезный Корнилович! Государь император, зная ваш ум, ваши обширные познания и вашу горячую любовь к общественному благу, пожелал предоставить вам возможность быть полезным отечеству. Его величеству благоугодно, чтобы вы излагали на бумаге ваши мнения, по каким вы найдете нужным предметам государственного благоустройства. Записки ваши вы будете предназначать мне для представления его величеству». Потом просил его назначить, что ему нужно для исполнения воли государя. На него был тогда же наложен завет — не пытаться даже входить с кем бы то ни было в какие-либо сношения, ни даже разговоры со сторожем, который назначен служить ему. Кроме того, вся домашняя обстановка его была сформирована по его указанию, но с самою внимательною предусмотрительностью. У него со временем составила порядочная библиотека и все, что нужно для прихотливого человека, чего он, по своему ограниченному состоянию, не мог иметь на собственные средства. Легко понять, с каким рвением и с какой горячностью принялся он за любимые свои занятия. Пишущему эти строки Корнилович показывал <...> все рукописные копии мнений, переданных им Бенкендорфу. Многие из работ Корниловича обращали особенное внимание государя императора, что видно из сохранившихся у него собственноручных записок Бенкендорфа, которыми он объявляет «каторжному Корниловичу благоволение его величества» за какую-нибудь работу.

По прошествии почти пятилетней жизни в казематах Корнилович был доставлен в Тифлис и зачислен в Ширванский пехотный полк, расположенный в Царских Колодцах, где тогда стояла Донская № 3 батарея, в которой служил пишущий эти строки. В это же время, при возобновлении знакомства с сим последним, также возобновились сношения Корниловича и с известным донским писателем Сухоруковым³, проживавшим тогда в Новочеркасске, по возвращении из Финляндии.

Корниловича сначала поставили в ряд с солдатами и поместили в общую казарму, но когда вскоре было получено письмо на имя Корниловича от Бенкендорфа и за печатью III отделения канцелярии его величества, тогда уже дали ему свободу поместиться на вольной квартире в одном из домов поселенной женатой роты того же полка. Товарищем его по квартире был тоже декабрист князь Валериан Мих[айлович] Голицын. (Умер в СПб в 1859 г.) Корнилович прожил недолго; он умер в Грузии от горячки в сентябре 1833 года.

ЗАМЕТКИ НЕИЗВЕСТНОГО О ДЕКАБРИСТАХ

(воспоминания о братьях Бестужевых)

⟨...⟩ Н. Бестужев менее известен публике, чем брат его Александр, потому что последний сделался особенно известен изданием вместе с К. Ф. Рылевым альманаха «Полярной звезды» (три книжки на 1823-й, 1824-й и 1825-й годы), повестями и обзорами русской литературы, помещенными в этом альманахе, и впоследствии повестями и романами, писанными на Кавказе в тридцатых годах под именем Марлинского. Старший же брат сначала пробовал себя над небольшими повестями и рассказами и занимался более серьезным трудом — составлением истории русского флота, а потом, будучи до 1839 года в каторжной работе в Нерчинских рудниках, долго не имел возможности посвящать время свое литературе. Впрочем, сравнение трудов обоих братьев должно, мне кажется, послужить в пользу старшего, хотя и оставившего гораздо менее литературных произведений, чем второй брат.

Оба брата, Николай и Александр, были люди с несомненными дарованиями, и оба могли одинаково блистать в обществе своими талантами, но между тем были совершенно несходных характеров.

Старший, Николай, писал стихи для забавы, прекрасно рисовал, также легко танцевал и был чрезвычайно и притом умно любезен в обществе. Он имел еще артистический дар для сцены, и когда играл на постоянном театре в Кронштадте до 1818 года, то известный в свое время прекрасным тенором и прекрасной игрой своей на петербургской сцене оперный актер Василий Михайлович Самойлов¹ приезжал нарочно в Кронштадт любоваться игрой Николая Александровича и говорил, что следовало бы и многим записным петербургским актерам приезжать в Кронштадт и учиться у него. Николай Александрович исполнял и драматические роли в пьесах, подобных «Сыну любви» и «Ненависти к людям и раскаянию», и веселые в комедиях. Были в привычке у него и насмешка, а иногда и едкость, но все протерлось ему за его ум и любезность. Его любили и отличали все, и дамы, и мужчины. ⟨...⟩

Я сказал, что он писал стихи для забавы; ему приписывали стихотворение «Кронштадтский сад», написанное юмористически на разные личности, посещавшие сад, и в подражание известному когда-то стихотворению «Московский бульвар». Но в занятиях литературных, для печати, Николай Александрович являлся человеком, владевшим пером серьезно, благородно и вместе с тем свободно, и кроме того еще посвящал свое время и на вполне серьезные труды, как описание морских путешествий и истории русского флота. Словом сказать, как он был умен и любезен в обществе, так был вполне способен предаваться и серьезному делу, и вообще был человек с сознательными убеждениями и верен слову. Дело он понимал как дело, забаву как забаву. Прочитав его «Повести и рассказы старого моряка»², всякий видит, что это только пробы писателя в разных родах, но пробы, обещавшие писателя не односто-

ронного, не пристрастного, не отличавшегося каким-нибудь наружным способом выражения, а писателя умного, дельного, наблюдательного, которого произведения могли бы долго жить в литературе и долго пользоваться уважением критики. В нем вырабатывался писатель, которым бы гордилась русская литература, но в одно время с писателем в нем вырабатывался и человек, и при этом все таланты его, все дарования, знания, ум, сердце шли дружно и согласнo вперед и сделали бы его одним из замечательных русских людей, если бы не известное пагубное обстоятельство, или, лучше сказать, завлекший его круг приятелей — не уничтожил всего его поприща жизни.

Александр Александрович Бестужев, воспитывавшийся в Горном кадетском корпусе, служивший в лейб-гвардии Драгунском полку и состоявший в чине штабс-капитана адъютантом при его королевском высочестве герцоге Александре Вюртембергском, брате вдовствующей императрицы Марии Федоровны³ и главноуправляющем путями сообщения, — в противоположность брату если и был весел и непринужден в мужской компании, в тесном давно ему знакомом кружке, зато в большом обществе, на балах, был весьма тяжел, не покидал шляпы, не снимал кавалерийской сабли, не танцевал, и или молча сидел где-нибудь, не вставая со стула, и раньше других уезжал, или пускался в разговоры, в которых проглядывала претензия блеснуть своими знаниями, начитанностью, умом, образованностью. В литературных же своих произведениях он сыпал остротами и разливался веселостью; многие его повести исполнены не только блеском, но и истинного фейерверка остроумия. Иные называли это остроумие мишурным; при таком беспрерывном потоке его невозможно, чтобы не было чего-нибудь и действительно неудачного; но в некоторых его произведениях, как, например, в письме к доктору Эрдману⁴ (напечатанному в его сочинениях), нельзя не отдать справедливости живости его ума и неподдельности юмора светского человека, обращающегося, не с уроном для себя, к известному ученому. Серьезными сочинениями он не занимался.

Чтобы провести сравнение со старшим братом, то к словам о привычке старшего к насмешке и едкости приведем и о втором следующее. Раз в маскараде Кронштадтского клуба появилась, разумеется ненадолго, маска во фраке, с владимирским крестом в петлице и с пустою из пузыря головою, над которой вертелись крылья ветряной мельницы. Это был Александр Бестужев, тогда еще выпускник Горного корпуса или только что выпущенный из него. Орден Владимира попал тут потому, что тогда для гражданских чиновников другого петличного ордена не было. Которому брату принадлежала мысль этой маски — не знаю, но надо полагать, второму, потому что в характере старшего не было привычки навязывать свои взгляды, мнения и поступки другим, и если бы это была его мысль, то он сам бы и выполнил ее. <...>

Итак, чтобы заключить параллель, повторяю — оба брата были люди с дарованиями и обладали способностями к искус-

ствам. Старший, Николай, был, может быть, несколько холоднее сердцем, но выше умом, что и давало ему возможность лучше сохранять равновесие. Обстоятельства светской жизни скользили по нем, а вместе воспитывали и образовывали его; спокойствие сердца предохраняло его от слишком сильного увлечения и участия в нем душою; но зато ум писателя и человека в нем вырабатывался, и если бы он остался на службе царю и отечеству, то из него мог выйти замечательный или писатель, или государственный человек. Второй брат, Александр, может быть, в душе был и добрее первого, но тревожное самолюбие, увлечение и сильное участие в обстоятельствах жизни заставляли его терять равновесие. Несмотря на это, однако же, он всегда остался бы писателем, хотя и не верным природе, но способным сильно увлекать массу публики, потому что в нем было больше поэзии.

У них было еще три брата: Михаил, Петр и Павел. О Михаиле я ничего не знаю, кроме того, что он служил сперва во флоте, а потом перешел в гвардию и в 1825 году был штабс-капитаном Московского полка. Правда, говорилось тогда, что он перешел в гвардию из-за красоты мундира, но теперь пишут, что это было для ближайшего участия в тайном обществе. Петр в 1825 году был молодым мичманом 27-го флотского экипажа. Братья, жалея его молодость, не посвящали его в свои преступные замыслы, но он случайно был 14 декабря в Петербурге и не отстал от братьев, пошел на Петровскую площадь. Он был наказан только записанием в рядовые с выслугою, но в 1832 году лишился рассудка. Павел в 1825-м и 1826-м годах учился еще в юнкерском Артиллерийском училище, вовсе не участвовал ни в замыслах братьев, ни в происшествии 14 декабря, но был, однако же, сослан на Кавказ по особому делу — за найденные у него в училище какие-то стихи тайной литературы, а по другим слухам, — за пение Марсельезы на улице во время гулянья по случаю всеобщей городской иллюминации в честь коронации государя. Прослужив сколько-то времени на Кавказе, он был уволен в отставку. <...>

Вот подробности участи первых четырех братьев после 1825 года. Николай и Михаил по высочайшей конфирмации 10 июля 1826 года были присуждены к вечной каторжной работе, но по все милостивейшему указу того же года 22 августа вечная каторжная работа заменена им 20-летней, с обращением потом на поселение. Затем такими же указами 8 мая 1832 года и 14 декабря 1835 года эта каторжная работа сокращена им сперва до 15, а потом до 13 лет. Оба они поступили в каторжную работу в Нерчинские рудники 13 декабря 1827 г., и оба, по окончании срока содержания в ней, по высочайшему повелению, состоявшемуся 10 июля 1839 года, обращены были на поселение в город Селенгинск Иркутской губернии. Старший, Николай, там и умер, прожив, однако же, довольно долго, а Михаил дождался всепрощения в 1856 году и был возвращен из Сибири.

Александр по высочайшей конфирмации 10 июля 1826 г. был присужден к 20-летней каторжной работе и потом на поселение,

а по указу того же года 22 августа каторжная работа сокращена ему до 15 лет. <...> Он по высочайшему повелению был в 1827 году прямо обращен на поселение в город Якутск, потом по высочайшему же повелению определен рядовым в 41-й Егерский полк 18 сентября 1829 г., переведен в Грузинский линейный № 2 батальон 9 декабря 1832 г., произведен в унтер-офицеры с переводом в один из Черноморских линейных батальонов, находившихся в экспедиции против горцев 4 июня 1835 г., за отличие в сражении против горцев произведен в прапорщики в Черноморский № 5 батальон 3 мая 1836 г., высочайшим приказом 18 октября 1836 г. переведен в Черноморский № 10 линейный батальон и убит, или, лучше сказать, без вести пропал, потому что тело его не было найдено, 7 июня 1837 г., при занятии мыса Адлера, на восточном берегу Черного моря, десантом с морских судов, в котором он участвовал. Вероятно, горцы унесли его еще с признаками жизни, и он вскоре умер у них же. <...>

Петр по высочайшей конфирмации 10 июля 1826 года был лишен чина, назначен в солдаты в дальние гарнизоны с выслугою и определен рядовым в Кизильский гарнизонный батальон 10 августа 1826 года, но все милостивейшим указом того же года 22 августа переведен в полки Кавказского корпуса, дабы, как было сказано при этом, мог заслужить вину свою, и потому 1 февраля 1827 г. назначен в пехотный фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского полк⁵; а 21 мая 1828 года произведен в унтер-офицеры; 9 ноября 1829 года переведен в Куринский пехотный полк и 9 мая 1832 г. уволен со службы по болезни (расстройству рассудка) унтер-офицером, с тем чтобы жил в деревне на попечении матери его, статской советницы Прасковьи Бестужевой, в Новоладожском уезде, с воспрещением въезда в столицу и с учреждением над ним надзора. Он умер 22 августа 1840 года. После смерти Петра Бестужева, если не ошибаюсь, мать и сестры отправились в город Селенгинск к Николаю и Михаилу и жили вместе с ними. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. И. ШТУКЕНБЕРГА

<...> Более всего я сошелся с Николаем Александровичем Бестужевым и Якубовичем, или, вернее, они более всего рассказывали: Якубович про Кавказ, а Бестужев — про Петербург. Странно и крайне занимательно было слушать этих людей, вырванных из общества, но столь еще полных жизни <...>.

Николай Александрович имел, можно сказать, золотые руки и гениальную голову. Не было ремесла или искусства, которого бы он не знал и не изучил почти в совершенстве и, главное, не по одной теории, но и на деле.

Начать со смешного — он превосходно шил башмаки, делал серьги, кольца и пр., как лучший ювелир, делал ружья и придумал даже свое — пистонное, на манер детских ружей, имеющих винтовую

пружину на продолжении ствола, с затравкой, винченной в казенник, так что снаружи никакого замка не видно, и ружье било в полтора раза далее, так как воспламенение и удар пороху и всего взрыва происходил прямо по направлению дула, а не сбоку. Ружье это было сделано превосходно. Он также превосходно рисовал миниатюрные портреты, которые нельзя было отличить от работы знаменитого Изабе¹.

Все эти разнообразные произведения его таланта я видел сам и удивлялся им вдвойне. Все это делалось в каземате казармы Петровского завода кое-какими инструментами у окна с железной решеткой — и я думал: что бы мог сделать этот человек на свободе! Всем приезжавшим к ним дарились железные кольца из оков, опрарвленные золотом. Гениальный Николай Александрович рассказал мне для шутки, что в Петербурге сестра его, большая модница, выписала из Варшавы башмаки, считавшиеся тогда лучшими, и один дорогой попортился. Николай Александрович взялся сделать новый; все смеялись его самохвальству, но когда он принес готовый башмак и его сложили вместе с другим, то никто не мог отличить, который подделан Бестужевым. Но, кроме всего этого, будучи двадцати пяти лет, он был сделан историографом русского флота, — что, верно, произошло недаром.

В 1838 г., занимаясь в Селенгинске проектом Кругобайкальской дороги, я ездил урывками в гости в Верхнеудинск и в один из таких приездов нашел здесь всех декабристов, которым закончился срок заключения, и их развозили на поселения. Все они через Персина² познакомились с Орловым³ и не раз у него обедали. Здесь показал мне Николай Александрович портреты своей работы со всех своих товарищей по заключению, сделанные на бristolской бумаге: лица длиною дюйма два. Я еще посоветовал их все разложить вместе на столе. «Вот сейчас видно знатока!» — сказал он мне. Работа была выполнена акварелью с удивительной тонкостью.

Очень любопытна история, как после 14 декабря 1825 г. захватили Николая Александровича, помешав ему улизнуть за границу. Перед тем по его рассказу.

«Как только несчастный день прошел столь для нас неудачно, я тотчас же удалился в Кронштадт, где служил и имел свое жилище, — говорил мне Николай Александрович. — Дело было окончательно проиграно, и оставалось одно — спастись: я задумал бежать за границу и для того отправиться сперва в Ревель, а оттуда на купеческом корабле в Любек и т. д. Сообразив, что скоро будет известно мое участие в заговоре и что здесь меня (в Кронштадте) все знали, я задумал преобразиться и нарядиться — кем бы вы думали? — старушкой; мастерски нарисовал морщины и приняв новый, хотя вместе и старый вид, я отправился в контору за получением паспорта, которые раздавал хорошо меня знавший чиновник. Но я был в больших хлопотах и, не узнав меня, выдал мне паспорт. Получив таким образом отпускную, с сильным затаенным волнением в душе и биением сердца я спешил к пристани, чтобы переехать в лодке на корабль и таким образом оторваться от родной

земли, за которую должен был погибнуть. И тут в ожидании, когда лодка наполнится должным числом седоков, я совершенно забыл новую роль и принял свое настоящее лицо. На беду мою в ту же лодку попала одна женщина — жена служившего у меня матроса, которому я еще вдобавок покровительствовал. Узнав меня, она вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Батюшка ты наш, Николай Александрович! Тебя ли это вижу? Что с тобой, родимый?» Я был ужасно испуган ее возгласом и не знал что делать; а в это время уже было дано знать о моем побеге и приказе схватить меня, где найдут, и доставить в Петербург. Поэтому сыщики бродили тут по пристани и, слыша мое имя, поспешили ко мне. В одну минуту я был выведен из лодки и окружен и, кроме досады на неудачу, был страшно смущен своим новым одеянием.

— Куда вы поведете меня теперь? — было моим первым вопросом.

— Прямо в Зимний дворец к государю, — отвечали мне. (Бедный Бестужев! Один раз в жизни, может быть, он был бабой — и тут же попался!)

— Насилу-то умолил я, — продолжал Николай Александрович, — чтобы меня завели домой и дозволили переодеться в настоящее платье. На это согласились, и меня, уже в капитан-лейтенантском мундире, но со связанными руками, в тот же день к вечеру представили пред лицо грозного царя.

— И ты в комплекте? — закричал он мне.

— Да, — отвечал я.

— Ну, рассказывай, как у вас было? — продолжал император.

— Прежде, чем буду рассказывать, прикажите, ваше величество, меня накормить: я два дня не ел.

Меня отвели в другую комнату, и мигом явился поднос с разными вкусными закусками, и два генерала прислуживали, не давая мне самому есть, а резали и клали мне в рот куски, опасаясь вооружить меня вилкой и ножом, тем более что руки мои были связаны. Когда я насытился, то снова привели меня пред царицы грозные очи.

— Ну, теперь говори!

— Прежде чем буду говорить, прикажите развязать мне руки, ведь я не в полиции, — смело сказал я.

Руки развязали, и разговор начался и долго продолжался. <...>

Лицо у Николая Александровича было чрезвычайно выразительное, особенно профиль, что он хорошо знал, и потому свой портрет сделал так, что он срисовывает себя в зеркало, в котором виднелся и профиль, а рисовался в три четверти оборота. Он имел отчасти орлиный нос, высокий лоб, тонкие губы, выдающийся подбородок и чрезвычайно подвижные черты лица, придававшие ему особенную занимательность и вполне выражавшие его многосторонние способности, которыми он умел услаждать свое заключение и сохранить себя морально и физически. На поселении он жил вместе с братом Михаилом в Посольске у Байкала, где я у них также бывал. Позднее его перевели в Селенгинск, где он и скончался за два месяца до

прощения, т. е. 15 лет после того, как я его знал. Вот опять сюжет для трагедии!

И пока на Руси такие люди будут изнывать в темной неизвестности, окруженные или крепостными стенами, или пустынею, а бездарные — всем двигать, — не идти ей, родимой, вперед, а только сидеть сиднем — как Илье Муромцу, в ожидании, что бог даст ноги.

Якубович был совсем другая личность. Хоть не такой людоед, каким его выставляли как в современном описании бунта по донесению следственной комиссии, так и в недавно вышедшем (1860 г.) сочинении барона Корфа⁴, но все же, можно сказать, он был страшен на вид, хотя имел не совсем черствую душу.

Ростом высокий, худощавый, бодрый мужчина, с большим открытым лицом, загорелым и огрубелым, как у цыгана, с большими совершенно навывкате глазами, налитыми кровью, подбородком, необыкновенно выдававшимся вперед и раздвоенным, как рукоятка у черкесского ятагана, которым он так хорошо владел на Кавказе, — говорил он увлекательно и в один час мог заставить рассмеяться и расплакаться. Каламбуры и остроты сыпались у него изо рта, как батальный огонь. Служил он прежде уланским ротмистром и был сослан на Кавказ за дуэль⁵; там своей отчаянной храбростью скоро сделался он известным и даже любимцем Ермолова, который держал его при себе и называл «моя собственность». На черкесов он наводил такой ужас, что они в горах пугали им детей, говоря: «Якуб идет». (...)

На Кавказе он имел еще дуэль со знаменитым Грибоедовым, которая так похожа на известный рассказ Пушкина «Выстрел», что не знаю, что было чему основанием, и боюсь, не выдумал ли Якубович. Подобная же история есть на немецком языке.

Только вот рассказ самого Якубовича:

«Мы с Грибоедовым жестоко поссорились — и я вызвал его на дуэль, которая и состоялась. Но когда Грибоедов, стреляя первый, дал промах, я отложил свой выстрел, сказав, что приду за ним в другое время, когда узнаю, что он будет более дорожить жизнью, нежели теперь. Мы расстались. Я ждал с год, следя за Грибоедовым издали, и наконец узнал, что он женился и наслаждался полным счастьем. Теперь, думал я, настала моя очередь послать противнику свой выстрел, который должен быть роковым, так как все знали, что я не делаю промаху. Боясь, что меня не примут или назовут настоящим именем, я оделся черкесом и назвал себя каким-то князем из кунаков Грибоедова. Явившись к нему в дом, велел о себе доложить, зная, что он в это время был дома и занимается в своем кабинете один. Велено меня просить. Я вошел в кабинет, и первым моим делом было замкнуть за собою на ключ дверь и ключ спрятать в карман. Хозяин был чрезвычайно изумлен, но все понял, когда я обратился к нему лицом и он пристально взглянул мне в глаза и когда я ему сказал, что пришел за своим выстрелом. Делать было нечего, мы стали по концам комнаты — и я начал медленно наводить свой пистолет, желая этим помучить и подразнить своего про-

тивника, так что он пришел в сильное волнение и просил скорее покончить. Но вдруг я понизил пистолет, раздался выстрел, Грибоедов вскрикнул, и, когда рассеялся дым, я увидел, что попал, куда хотел: я раздробил ему два большие пальца на правой руке, зная, что он страстно любил играть на фортепьяно и что лишение этого будет для него ужасно.— Вот Вам на память! — воскликнул я, отмыкая дверь и выходя из дому.

На выстрел и крик сбежались жена и люди; но я свободно вышел, пользуясь общим замешательством, своим костюмом и блестящими за поясом кинжалом и пистолетами»⁶.

Якубович уверял меня, что когда потом Грибоедова убили в Тегеране, то изувеченное тело его только и узнали по двум отшибленным им, Якубовичем, пальцам. Правда или нет — не могу заверить.

На лбу у Якубовича был глубокий шрам после раны, полученной на Кавказе. Эта рана отчасти была виновата, что он попал в заговор. На Кавказ он был удален с тем, чтобы его не производить в чины и не увольнять в отпуск; но после этой раны он получил крест св. Владимира с бантом и дозволение ехать лечиться в Петербург (что, наоборот, делают раненые в Петербурге, приезжая лечиться на Кавказ). Возвратясь в столицу, он нашел в молодежи новое настроение и даже тайное общество и попал в заговор.

Он мне рассказывал про свою двуличную роль в самый день 14 декабря, когда император поймал его на площади и, считая в числе подданных, велел состоять при себе. Государь беспрестанно посылал Якубовича к толпе бунтовщиков, чтобы их уговаривать. Якубович носился по воле царя, но не для воли его, на своем коне, в фуражке, по праву раненого, и с черной повязкой через лоб, но вместо исполнения приказания, наоборот, уговаривал и подстрекал бунтовщиков не сдаваться. «Смелее, ребята!» — кричал он им вполголоса. Вот это-то именно и было причиной того озлобления и омерзения к Якубовичу, которое почувствовал государь, когда узнал о фальшивости своего случайного ординарца. Якубович воспитывался в Московском университете и очень бойко и мило писал, а еще лучше рисовал акварелью — более всего черкесов и из кавказского быта.

От раны у него часто болела голова; тогда он часто тосковал и никто не смел к нему подступить. «Теперь не троньте меня, — говорил он, — я герцог Тосканский!» Каламбуры сыпались у него, как я уже сказал; впрочем, часто видясь с ним, можно было встретить между ними старых знакомых. <...>

В. Е. Якушкин

МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ

I

Матвей Иванович Муравьев-Апостол, скончавшийся в 1886 г. в Москве почти столетним старцем, был замечателен не только

своим преклонным возрастом; но и по тому, что он видел, что испытал в течение своей долгой жизни, и по своему характеру.

Родившийся при Екатерине II, хорошо помнивший себя в царствовании Павла I, участник Отечественной войны и заграничных походов, член Союза благоденствия, сосланный в 1826 году в Сибирь, где он и оставался во все время царствования Николая I, но не безучастным его зрителем, вернувшийся в Россию в 1856 году и проживший затем еще 30 лет, продолжая сочувственно следить за ходом русской общественной жизни, он до самого конца сохранял неизменными свои гуманные убеждения, до самой смерти своей являлся достойным представителем того кружка, к которому принадлежал в своей молодости.

Отец Матвея Ивановича был сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1762—1851), а мать его, Анна Семеновна (ум. 1810 г.) — дочь серба генерал-лейтенанта Черноевича. Когда родился Матвей Иванович, отец его еще не имел фамилии Апостол, которую он получил с высочайшего соизволения лишь в 1800 году, по смерти Мих[аила] Даниловича Апостола, его двоюродного брата.

Иван Матвеевич Апостол был человек очень образованный, получивший воспитание в одном из лучших тогдашних пансионов, отлично знавший языки, классические и новые. Служа в гвардии, он своими литературными трудами обратил на себя внимание Екатерины, которая и назначила его состоять кавалером при своих старших внуках, в. кн. Александре и Константине Павловичах¹. Иван Матвеевич пользовался большим расположением Александра Павловича: Матвей Иванович помнил у своего отца целую кипу писем великого князя к нему. При Павле I И. М. Муравьев-Апостол был назначен нашим посланником в Гамбург, где и жил с семьей до 1800 г., когда вернулся в Петербург, чтобы занять пост вице-президента иностранной коллегии. С воцарением Александра I Иван Матвеевич мог, казалось, рассчитывать на особое расположение императора во имя прежних отношений. Но дело вышло не так. Когда составлялся заговор (против Павла I), Иван Матвеевич тоже получил было от кого-то из заговорщиков приглашение принять в нем участие и отказался; потом участники заговора сумели восстановить Александра I против Ивана Матвеевича, который так никогда не пользовался его милостью. Назначенный вскоре посланником в Мадрид, Иван Матвеевич оставался в Испании до 1805 года, когда при перемене нашей политики, при сближении с Наполеоном², он был замещен бароном Строгановым (Григ[орий] Ив[анович]³, потом граф) и вернулся в Петербург. После этого он уже не занимал никакой видной и ответственной должности и умер в старости сенатором. Своим невольным досугом он воспользовался, чтобы возобновить свои литературные занятия. Из его трудов особенно известны: перевод «Облаков» Аристофана и «Путешествие по Тавриде».

Краткие сведения о личности и жизни И. М. Муравьева-Апостола приведены мною для того, чтобы показать, в какой среде и в какой обстановке пришлось расти его детям.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол, старший из детей Ивана Матвеевича, родился 25-го апреля 1793 года в Петербурге. Несколько лет от роду он был перевезен родителями в Гамбург, куда, как сказано, отец его был назначен посланником. Матвей Иванович стал себя помнить именно со времени пребывания в Гамбурге. Известно, какое покровительство оказывал Павел I французским эмигрантам. В доме его гамбургского посланника часто бывали эмигранты; от них маленький Матвей наслушался об ужасах революционной Франции, набрался роялистических убеждений. В 1799 году, после голландской экспедиции⁴, Ивану Матвеевичу было поручено переговорить с Дюмурье⁵, обещать ему убежище в России. Дюмурье бывал в доме Муравьева. Желая быть любезным с семейством представителя покровительствующей державы, он как-то с ласкою приподнял шестилетнего Матвея, чтобы поцеловать его, но маленький роялист вырвался, воскликнув: «Je déteste le traître de son roi et de son patrie!»*

В 1800 году Муравьевы переехали в Петербург. Матвей Иванович помнил, что он в том же году видел Павла I: встреча эта особенно запечатлелась в его памяти по случайному обстоятельству. Дело было 16-го ноября 1800 года, в день именин Матвея Ивановича. Анна Семеновна возвращалась в карете со своим сыном от обедни. На Литейной они встретили императора, и им пришлось, согласно с существовавшим тогда правилом, выйти для поклона из кареты, несмотря на сырость и грязь. По возвращении домой оказалось, что маленький Матвей потерял в грязи свой башмак. Матвей Иванович нередко вспоминал этот случай в последние годы своей жизни или в день своих именин, или когда заходил разговор о погоде, о поздней или ранней зиме.

Следующее воспоминание Матвея Ивановича относится уже к 1801 году. 12-го марта утром, после чаю, он подошел к окну и вдруг спрашивает у своей матери: «Разве сегодня пасха?» — «Нет, что ты?» — «Да вон же солдаты на улицах христосуются!» — Оказалось, что солдаты поздравляли друг друга с воцарением Александра I.

Матвей Иванович был с матерью на поклонении праху покойного императора. Он помнил, что гроб был поставлен очень высоко, так что лица никто не видел.

Вскоре после этого, как мы знаем, И. М. Муравьев-Апостол переехал с семьею в Мадрид. Матвей Иванович сохранил некоторые воспоминания о своей жизни в Испании, где, впрочем, он оставался недолго. Испанская столица не представляла никаких средств для хорошего воспитания, и Муравьевы решились отправить двух старших сыновей, Матвея и Сергея, учиться в Париж, где они и были в école secondaire⁷ (средней школе) до 1808 года. Тут, между прочим, Матвею Ивановичу пришлось видеть коронацию Наполеона I. Новый император посетил как-то их школу, причем обратил внимание на то, что Сергей Муравьев был похож на него лицом: это

* «Я ненавижу предателя своего короля и своего отечества»⁶ (фр.). — Сост.

сходство действительно можно заметить даже на одном из поздних портретов Сергея Ивановича.

В 1808 году Анна Семеновна приехала в Париж за сыновьями и вместе с ними отправилась оттуда в Россию в 1809 г. Когда после долгого и не совсем безопасного путешествия (Германия была тогда во власти французов, которые вели борьбу с немецкими партизанами⁸) они подъехали наконец к русской границе, оба брата Муравьевы кинулись обнимать сторожевого казака: после многолетнего пребывания за границей они возвращались в Россию, преисполненные любви к родине. Когда они уселись снова в карету, они услышали от матери поразительную для себя новость:

— Я очень рада, — сказала им мать, — что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к родине, но готовьтесь, дети, я вам должна сообщить ужасную весть; вы найдете то, чего не знаете: в России вы найдете рабов!

Эти слова хорошо показывают то направление, в каком Муравьевы старались вести воспитание сыновей. Они боялись растлевающего влияния рабства и воспользовались пребыванием за границей, чтобы скрыть от сыновей до времени даже существование в России крепостного права! Сделанное открытие должно было произвести сильное впечатление на юных братьев, и для нас понятно, почему мысль об освобождении крестьян, вообще забота о забитом простом народе, сделалась основой всей последующей деятельности обоих братьев. Матвей Иванович до конца дней своих считал, совершенно правильно, крестьянский вопрос основным в русской жизни, считал реформу 19-го февраля 1861 года краеугольным камнем обновленной России, видел в ней исполнение надежд и мечтаний своей юности, высоко чтил Александра II. Он всегда говорил о том, как счастливо молодое поколение, что не знает, что такое крепостное право, всегда с трепетом вспоминал о тех проявлениях этого права, каких он был свидетелем в своей молодости.

По приезде в Петербург братья Муравьевы вступили вскоре в Корпус путей сообщения, но им не пришлось там кончить курса. Готовившаяся борьба с Наполеоном заставила их обоих поступить в ряды войск. В начале 1812 г. Матвей Иванович определен подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк, с которым он и делал все последующие походы против Наполеона. Первый раз он был в деле при Бородине; во время битвы он стоял под одним из знамен 3-го батальона. За Бородино он был произведен в прапорщики и, кроме того, по выбору солдат получил знак отличия военного ордена⁹.

Матвей Иванович всегда с особенным жаром вспоминал о двенадцатом годе. Он придавал ему особенное значение в нашем общественном развитии. Матвей Иванович любил рассказывать об отдельных подробностях 1812 года, о том, какая сначала была погожая осень, позволявшая им купаться еще в октябре, о внезапной перемене погоды и т. д. Он сам перенес на себе потом всю тяжесть зимнего похода, так как сделал его в одной солдатской шинели, ночуя на снегу, и пр. Вспоминая об этом, он не раз высказывал убеждение,

что только глубокое патриотическое чувство помогло ему и его товарищам, из которых иные были слабого здоровья, безболезненно перенести все труды этого похода.

Не буду подробно говорить ни о походе 1812-го года, ни о заграничных походах. Упомяну только, что Матвей Иванович был ранен под Кульмом пулею навылет в правое бедро. По излечении от раны, которая оказалась неопасною, но потом, однако, давала себя чувствовать Матвею Ивановичу в течение всей его жизни, он участвовал в блестящем конце похода — в занятии Парижа.

В 1814 году Матвей Иванович вернулся с полком в Петербург. С этого времени в жизни Матвея Ивановича, как и в жизни его полка и в жизни всего русского общества, начинается новая эпоха, полная общего оживления, основанная на стремлениях к лучшему. Эти стремления к лучшему должны были резко столкнуться с действительностью, завершиться кризисом. Эпоха эта для Семеновского полка кончилась известною «семеновской историей» в 1820 году¹⁰; для русского общества она кончилась 14-го декабря 1825 г. Матвей Иванович был тесно связан и с жизнью своего полка, и с общественным движением. Уже удар, разразившийся над дорогим Семеновским полком, болезненно отозвался на Матвее Ивановиче как первое предостережение, как указание на приближающуюся бурю. Когда она разразилась в 1825—1826 году над русским обществом, она лишила Матвея Ивановича двух горячо любимых братьев, а самого его кинула в далекую сибирскую ссылку.

II

Известно, какое громадное влияние на развитие русского общества имели военные походы 1812—1814 годов. Обыкновенно, когда говорят о важном значении этой эпохи, главным образом имеют в виду заграничные походы, соприкосновение нашей армии с европейскими порядками, с новыми людьми и новыми идеями. Обращаясь собственно к развившимся у нас затем тайным обществам, обыкновенно тоже ставят их в близкую, иногда непосредственную, связь с европейскими, особенно немецкими, тайными обществами, приписывают последним решающее влияние и т. д. Матвей Иванович смотрел иначе на это дело. Он самым положительным образом приписывал 1812 году все последующее возбуждение в нашем общественном сознании, так же как он отрицал особенную важность влияния заграничных походов, а тем более заимствования от немецких тайных обществ. Записки одного из декабристов, особенно близкого к Матвею Ивановичу, начинаются словами: «Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании»¹¹.

Матвей Иванович любил припоминать эти слова и часто говорил: «И. Д. совершенно прав, начиная свои записки с указания на влияние 1812 года; именно 1812 год, а вовсе не заграничный поход, создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто

русским»*. Конечно, в таком взгляде Матвея Ивановича была доля преувеличения. Конечно, в записках того же декабриста дальше отмечено сильное влияние заграничных походов, прямо указано, что устав Тугендбунда послужил образцом для второго устава — Союза благоденствия¹² и пр.; но все-таки взгляд Матвея Ивановича на этот вопрос заключает в себе много правды, очень понятен лично для Матвея Ивановича и вообще очень интересен и характерен.

1812 год несомненно имел очень сильное влияние на современников; для Матвея Ивановича влияние это и осталось господствующим. Если дальнейшие заграничные походы в свою очередь повлияли на товарищей Матвея Ивановича, на русскую молодежь (да и на всю армию), показали им непривычные порядки, открыли им новые горизонты, то лично для Матвея Ивановича, воспитанного за границей, походы в Германию и Францию не могли иметь такого значения; поэтому понятно, что он сохранил с особой свежестью силу первого впечатления, полученного в 1812 году. Наконец, ведь 1812 год важен еще и потому, что он создал то возбуждение, которое сделало нашу армию восприимчивою к европейскому влиянию во время заграничных походов.

Матвей Иванович был, может быть, еще более прав, считая наше общественное движение 1820 годов чисто русским. Во-первых, иностранные заимствования в программах тайных обществ и пр. были незначительны и несущественны, а во-вторых, и это главное, как исходная точка этого движения, так и поставленная конечная цель, так, наконец, и подробности в его развитии — все это было прямо русским, своим, а не заимствованным. Насколько бы сильным мы ни признавали европейское влияние в этом вопросе, нельзя не видеть, что указанное общественное движение исходило из данных русской жизни, основывалось на тех русских условиях, которые вызывали против себя естественный протест, имело целью изменить и уничтожить эти условия.

Наше общественное движение 1820 годов нельзя объяснить одним европейским влиянием, напротив того, оно может быть ясно понято лишь в связи со всеми условиями русской жизни того времени. Матвей Иванович был, конечно, достоверным и сознательным свидетелем в этом вопросе, и он постоянно указывал на зависимость современного ему движения от жизненных условий. Я помню, например, следующую случай. Когда гр[аф] Л. Н. Толстой собирался несколько лет тому назад писать роман о декабристах — (намерение это было потом, как известно, им оставлено, и написано, или по крайней мере напечатано, — только несколько первоначальных очерков), — он приходил к Матвею Ивановичу для того, чтобы расспрашивать его, брать у него записки его товарищей и т. д. И Матвей Иванович неоднократно тогда высказывал уверенность, что гр[аф] Толстой не сможет изобразить избранное им время, избранных им

* Передаю по памяти слова эти, много раз слышанные мною от Матвея Ивановича. После одного разговора я их как-то записал, но, к сожалению, этой тетради у меня нет сейчас под руками.

людей: «Для того чтобы понять наше время, понять наши стремления, необходимо вникнуть в истинное положение тогдашней России; чтобы представить в истинном свете общественное движение того времени, нужно в точности изобразить все страшные бедствия, которые тяготели тогда над русским народом; наше движение нельзя понять, нельзя объяснить вне связи с этими бедствиями, которые его и вызвали; а изобразить вполне эти бедствия гр[афу] Л. Н. Толстому будет нельзя, не позволят, если бы он даже и захотел. Я ему говорил это». И Матвей Иванович, по-видимому, не рассчитывал, чтобы знаменитый романист обратил достаточное внимание на указываемую сторону дела, как он обвинял автора «Войны и мира» и в совершенном непонимании 1812 года, сильные впечатления которого были так свежи для Матвея Ивановича до самого конца.

Отношение Матвея Ивановича к 1812 году, значение, которое он приписывал Отечественной войне, очень характерно. На это особенно интересно указать ввиду того, что в нашей исторической литературе недостаточно выяснено и оттенено влияние этого знаменитого года. Во всяком случае важно первое начало; двенадцатый год положил действительное начало последующим важным общественным явлениям. Сильное возбуждение патриотизма естественно вызвало и вообще усиление общественных интересов и общественных стремлений. Люди были выбиты из своей узкой колеи, оторваны от своих мелких личных интересов, как бы освобождены от прежней своей придавленности, сразу поставлены в средину широкого и важного общественного, государственного, народного дела, и они были тогда в этом деле не слепыми орудиями, не пешками, а сознательными и одушевленными работниками. Сильное патриотическое одушевление охватило тогда наших предков. Матвей Иванович рассказывал, что еще до торжественного заявления Александра I не класть оружия, «доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве»¹³, молодые гвардейские офицеры уже дали себе такую же клятву: знаменитый рескрипт не внес ничего нового в господствующее одушевление, он только царским словом освятил общее настроение. Раз любовь к родине была разбуждена, она, конечно, не могла уничтожиться и по миновании военных обстоятельств; она должна была лишь видоизмениться, должна была обратиться от внешних врагов к внутренним бедствиям, ясно осозанным во время самой войны. Возбуждение, созданное 1812 годом, не могло улечься, даже не будь затем заграничных походов. Любовь к родине, любовь к народу, сближение с ним не могли пройти бесследно. 1812 год был делом народным, и в этом деле в дружной работе встретились и так называемое общество и простой народ. Любопытны слова какого-то солдата, передаваемые одним современником: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» Действительно, поход 1812 года был походом всей России. Если его начальное значение для развития нашего общества не вполне оценено в литературе, то, быть может, еще менее выяснено его значение для народного сознания, для последовавшего затем народного движения, для волнений среди крепостных. 1812 год был общим делом народа и общества и не мог не отра-

зяться на том и на другом. Народ единодушным восстанием в 1812 году сильным порывом спас родину, спас русское государство от гибели, от политического порабощения; и вот после этой торжественной победы значительной части народа приходилось вернуться в прежнее крепостное рабство. Одного уже этого достаточно, чтобы создать общественное движение.

В записной тетради Матвея Ивановича, относящейся к началу 1870-х годов, сохранилась такая заметка: «Toutes les fois que je me retire du présent, que je retourne au passé, j'y trouve bien plus de chaleur... La différence des deux temps se résume d'un mot: „on aimait“. Nous étions les enfans de 1812. Sacrifier tous, même sa vie, pour l'amour de la patrie était l'impulsion du cœur. Il n'y avait pas d'égoïsme dans nos sentiments. J'en appelle Dieu en témoin!»*. Эта заметка очень характерна и для Матвея Ивановича и для его времени.

Таким образом, повторяю, что значение, которое Матвей Иванович приписывал 1812-му году, для нас совершенно понятно и с его личной точки зрения, и с точки зрения общей исторической.

Как бы то ни было, события 1812—1814 годов внесли небывалое оживление в русскую жизнь, вызвали в ней ряд перемен. Понятно, что прежде всего и больше всего эта перемена отразилась на армии — главной и непосредственной участнице всех предшествующих событий. Известно изречение старых фронтовиков: «война портит солдата». И тем более она должна была повлиять на армию, «испортить» ее, такая возбуждающая война, какая была наша борьба с Наполеоном, не говоря уже о сближении наших солдат с иностранными войсками, где они привыкли видеть иные порядки, чем у себя. Трудно было после походов 1812—1814 годов восстановить в русской армии сразу прежнюю дисциплину, и тем более, что указанные обстоятельства «испортили» не одних солдат, но и офицеров. Во многих полках положение солдат, обращение с ними офицеров совершенно изменилось: строгость ослабела, телесные наказания стали реже и т. д. Такая перемена была всего заметнее, конечно, в гвардии, а из гвардейских полков первое место тут занимал Семеновский полк, где служил Матвей Иванович Муравьев-Апостол с 1812 года и куда с 1815-го года перешел и его брат Сергей Иванович.

По возвращении в 1814-м году из похода в обществе офицеров Семеновского полка обнаружилась поразительная перемена; место прежних кутежей и карт заняли серьезные разговоры, чтение книг и газет; офицеры постоянно собирались или в библиотеке, или в устроенной при полку офицерской артели. Отношение офицеров к солдатам совершенно переменялось. Они старались сблизиться с вверенными им солдатами, войти в их нужды, своим влиянием, а не строгостью, поддерживать дисциплину. Успех был полный и несомненный. Хотя не только битье солдат, но и всякие телесные наказания были

* «Каждый раз, когда я уйду от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается одним словом — мы тогда «любили». Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Призываю бога в свидетели тому!» (фр.) — *Сост.*

совершенно не в употреблении, Семеновский полк, по отношению к дисциплине и к фронтальной службе, не оставлял ничего желать и получал на смотрах высочайшие благодарности.

Но заведенные в полку порядки все-таки не нравились сторонникам жестокой дисциплины (например, Аракчееву), и под их влиянием вместо прежнего полкового командира Потемкина, назначенного начальником первой гвардейской дивизии, в Семеновский полк был переведен полковник Шварц¹⁴. Не буду входить в дальнейшие подробности последовавшей семеновской истории, которая в общем хорошо известна: этой истории посвящено несколько статей, рассказов и воспоминаний на страницах «Русской старины». Независимо от этого даже такие официальные и полуофициальные историки, как М. И. Богданович, а за последнее время г. Дишин, вполне показали, что истинными причинами происшедших в полку в 1820-м году беспорядков были непомерные требования и притеснения со стороны полковника Шварца, введение им жестоких и несправедливых наказаний, наконец, его возмутительное обращение с солдатами¹⁵. Следствие показало, что офицеры были совершенно не причастны к происшедшим беспорядкам, которые вообще были усилены и раздуты неумелыми действиями главных начальников.

Матвея Ивановича во время беспорядков не было в полку: он был откомандирован в адъютанты к малороссийскому генерал-губернатору кн [язю] Репнину. Но он хорошо знал все подробности всего происшествия от товарищей и особенно от брата, который тогда же сообщил ему письменно обо всем. Во время следовавшего позднее (1826 г.) ареста бумаги Матвея Ивановича были тоже взяты, но после приговора вся личная переписка братьев Муравьевых была возвращена из Верховного уголовного суда сестре их, Е. И. Бибиковой, муж которой из непонятного страха затем ее уничтожил. Матвей Иванович всегда с ужасным сожалением вспоминал о погибших тут письмах его покойного брата, но всего больше он жалел о письме, которое передавало подробности семеновской истории. Тут была, между прочим, сохранена характерная подробность.

Сергею Ивановичу было поручено выводить из крепости семеновцев поротно, и когда он по выводе последней роты явился к полковнику Шварцу, то этот, растроганный, подвел Сергея Ивановича к образу и сказал ему приблизительно следующее:

— Бог свидетель, я не виноват, что лишил Россию такого полка, я его не знал: мне говорили, что это полк бунтовщиков, и я поверил, а я не стою последнего солдата этого полка.

Матвей Иванович был вообще недоволен существующими в литературе рассказами о Семеновской истории. По поводу последнего из них в «Истории л.-гв. Семеновского полка» г. Дишина Матвей Иванович продиктовал свои воспоминания о происшествиях 1820-го года в Семеновском полку и рукопись эту передал в полковую библиотеку*.

* М. И. был также или еще больше недоволен нашими историями об Отечественной войне, даже прямо говорил: «У нас нет истории 12-го года!» Упомянутый рассказ, им продиктованный, отчасти касается также и походов 1812—1814 годов.

Удар, разразившийся над Старо-Семеновским полком, был очень чувствителен для Матвея Ивановича, хотя его в то время уже не было в полку. Он был горячо привязан к своему полку. Он всегда с чувством вспоминал о нем, приговаривая: «Ах, какой это был полк, какой был полк!», — и любил рассказывать о порядках, существовавших в полку. И действительно, этот полк представлял нечто вполне особенное: не говоря уже о духе полка, он отличался совершенством своего фронта, и это при всей трудности тогдашних уставов было достигнуто без всякой строгости; телесных наказаний не было, солдата буквально не смел никто ударить. Даже теперь, через 60—70 лет, много ли найдем военных частей с таким образцовым порядком?

Матвей Иванович любил вспоминать один случай. Он ехал по Сибири узником, сосланным на поселение. При остановке в каком-то городе часовой вдруг кинулся его обнимать: оказалось, что это был семеновский солдат из числа сосланных после истории 1820-го года в сибирские гарнизоны. Матвею Ивановичу пришлось еще позднее встретиться со старо-семеновским солдатом: лет десять тому назад к нему неожиданно явился бывший случайно проездом в Москве старик, который служил при нем в Старо-Семеновском полку, и девяностолетний солдат опять обнимал своего восьмидесятилетнего офицера.

Перед этим я упомянул, что Матвей Иванович служил адъютантом у князя Репнина. Кстати будет передать случай, который припомнился мне из рассказов Матвея Ивановича и который характерен и для начальника, и для подчиненного, вообще для своего времени. Вскоре по назначении Матвея Ивановича адъютантом кн. Репнин как-то обратился к нему с распоряжением подавать лошадей; Матвей Иванович позвонил и сказал вошедшему слуге, что князь хочет ему что-то приказать; Репнин повторил слуге свое приказание. Несмотря на это маленькое столкновение, кн. Репнин всегда оставался очень расположенным к Муравьеву, хотя, конечно, никогда уже не давал ему лакейских поручений.

Обращаясь к общественному движению, ознаменовавшему вторую половину царствования Александра I, я сделаю лишь краткие указания на участие, какое в нем принимал Матвей Иванович. Замечания, сделанные выше о смысле и характере движения, достаточны для его общей оценки.

III

Матвей Иванович, как и брат его Сергей, был в числе основателей первого тайного общества, составившегося в Петербурге в 1816 году — будущего «Союза благоденствия». С тех пор, в течение почти 10 лет, Матвей Иванович оставался деятельным членом тайного общества, несмотря на разные перемены, в нем происходившие. Если он и не занимал в тайном обществе такого выдающегося места, как брат его Сергей, но все-таки он был в самых близких отношениях с главнейшими деятелями тайного общества, был посвященным участником всех его дел и планов. Будучи один из основа-

телей «Союза благоденствия» и стоя в прямой связи с Северным обществом, Матвей Иванович, живя затем на юге России, был близок и со многими членами Южного общества.

Декабрьская катастрофа 1825 г. застала Матвея Ивановича, тогда уже отставного подполковника, на юге. Он гостил у своего брата Сергея и принял участие в возмущении Черниговского полка. В кратких воспоминаниях он сам рассказывал о ходе этого возмущения. 3-го января 1826 года произошла встреча возмущившихся черниговцев с посланным против него отрядом. Видя невозможность неравной борьбы, Сергей Муравьев хотел остановить начавшуюся перестрелку, чтобы прекратить бесполезное кровопролитие, но в это время он упал, раненный картечью. С Муравьевыми был их третий брат, Ипполит, которому еще не было 20 лет. Только что после блестящего экзамена произведенный в офицеры и назначенный в штаб 2-й армии, он по дороге заехал повидаться с братьями, но застал их уже во главе возмущения. Несмотря на их убеждения, Ипполит остался с ними, желая разделить их участь. Когда он увидел падение брата Сергея, он застрелился из пистолета. Арестованные Матвей и Сергей Муравьевы насилу добились затем позволения проститься с трупом младшего брата. После ареста Матвей Иванович не был сначала разлучен с братом Сергеем и мог за ним ухаживать, как того требовала его рана. Но их скоро разлучили. После допросов в главном штабе 2-й армии они были отправлены в Петербург и заключены в Петропавловскую крепость. Их со всеми декабристами судили в Верховном уголовном суде. Сергей Муравьев отнесен был к первой категории без разряда и с другими четырьмя товарищами приговорен к четвертованию. Матвей Иванович отнесен к 1-му разряду, приговоренному к смертной казни отсечением головы. Известно, что по высочайшему повелению четвертование безразрядных было заменено повешением, а первому разряду смертная казнь — вечною каторгою.

Таким образом, И. М. Муравьев-Апостол сразу лишился трех сыновей. <...>

Первый разряд декабристов, как упомянуто, подлежал согласно высочайшему повелению ссылке на вечные каторжные работы. Для Матвея Ивановича этот приговор был смягчен: ему вместе с пятью другими декабристами 1-го разряда была назначена 20-летняя каторга, но и этому наказанию Матвей Иванович не подвергся. Дело в том, что в бумагах его брата Сергея было найдено письмо Матвея Ивановича, где последний умолял брата употребить все свое влияние, чтобы сдерживать порывы своих товарищей по тайному обществу, не допускать кровопролития или покушения против высочайших особ*. За это письмо участь Матвея Ивановича была смягчена, и он, по лишении всех прав состояния, был сослан в Сибирь на поселение.

* Письмо это потом тоже с другими бумагами было возвращено Ек. И. Бибицкой и вместе с ними подверглось уничтожению, как об этом уже было сказано выше¹⁶.

На самом деле оказалось, что участь Матвея Ивановича была тяжелее, чем участь его товарищей, осужденных на каторгу. Хотя те, обязанные известными работами, жили в казематах Читы, а затем в нарочно для них выстроеном помещении в Петровском заводе под довольно строгим надзором, но они были все вместе, они имели возможность читать, заниматься, получали книги, газеты и т. д. В известном смысле Петровский завод был для декабристов школою взаимного обучения. Они жили артелью, и тут-то и образовалась между ними живая, неразрывная связь (до ссылки далеко не все они были знакомы друг с другом). Между тем Матвей Иванович был в Вилюйске, расположенном под 33°45' с. ш., состоявшем всего из трех десятков домов и нескольких юрт, в одной из которых Матвей Иванович и прожил три года. Одиноким, и в такой обстановке, Матвей Иванович, конечно, страдал больше, чем его товарищи, заключенные в Петровском заводе.

В 1829 году Матвей Иванович по ходатайству сестры своей, Е. И. Бибиковой, был переведен в Бухтарминск Семипалатинской области; тут его положение было гораздо лучше. В 1832 г. он здесь женился на племяннице таможенного начальника М. К. Носовой.

В 1836 г. Матвей Иванович был переведен на жительство в Ялуторовск, где встретился с несколькими товарищами-декабристами. Отбыв каторгу (срок которой им был сокращен высочайшим манифестом), декабристы были поселяемы в разных местах Сибири по несколько человек вместе. В Ялуторовске кроме Муравьева оказались: его однополчанин и товарищ с 1812 года И. Д. Якушкин, затем кн. Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, В. К. Тизенгаузен, Н. В. Басаргин, А. В. Ентальцев. Тут жизнь Матвея Ивановича потекла тихо и приятно. Он особенно любил вспоминать двадцать лет, проведенные в Ялуторовске.

Декабристы не были похоронены в Сибири. Я только что говорил о том, что их жизнь была чрезвычайно содержательна и в каторжной артели. Разъехавшись на поселение, они во многих городах Сибири явились умственным оживляющим элементом. Они не были оторваны от жизни, они продолжали пристально следить за событиями в Европе и в России, обсуждали их, отзывались о них. Благодаря этому они не застыли в своих взглядах и убеждениях и не пошли назад. Поэтому-то по возвращении в 1856 году в Россию декабристы явились в русском обществе не как нечто чуждое и отжившее, а как сила живая, оригинальная и — прибавлю — полезная. Не говорю уже о тех из них, которые имели возможность и силы еще принимать самостоятельное участие в общественной жизни, как, например, Ал[ександр] Н[иколаевич] Муравьев, назначенный нижегородским губернатором и оказавший большие услуги крестьянскому делу, или как те из декабристов, которые послужили тому же делу в качестве первых мировых посредников или членов губернских по крестьянским делам присутствий. Вернувшиеся декабристы большею частью носили на себе ясный отпечаток двадцатых годов, сохраняли свои широкие гуманные идеи, но это не мешало им любить и понимать новое время.

Обращаюсь к Ялutorовску. Кружок декабристов, тут поселенных, был особенно дружен, особенно жизнен и деятелен.

В Ялutorовске декабристы не жили замкнутым кружком; напротив того, они привлекали к своему обществу всех, кого было можно. Они старались сблизиться с ялutorовцами, влиять на них, заботиться о них; один из декабристов устроил школу¹⁷ и т. д. Насколько им удалось оживить в свое время Ялutorовск, можно видеть из следующего обстоятельства. Один молодой медик, попавший в 1880 году городовым врачом в Ялutorовск, писал оттуда своему московскому приятелю, что в тихой и однообразной ялutorовской жизни наиболее живым элементом являются воспоминания о времени пребывания в нем декабристов, память о которых до сих пор там свято хранится.

Немудрено, что Матвей Иванович так любил ялutorовский период своей жизни. Он вообще вынес о Сибири самое отрадное воспоминание и любил ее, как ее любят обыкновенно только сибирские уроженцы, называл ее не иначе, как «наша Сибирь». Он, как и другие декабристы, по возможности поддерживал свои отношения с сибирскими знакомыми, следил за известиями о сибирской жизни. Как все старики, он часто вспоминал прошлое, и любимейшими его воспоминаниями были: 1812-й год, Семеновский полк, люди и отношения двадцатых годов, а затем Сибирь и Ялutorовск.

IV

В 1856-м году декабристам было разрешено вернуться в Россию, им возвращены права и состояния. Матвей Иванович поселился сначала в Твери. В 1860 году он переехал в Москву, где и оставался жить до самой смерти¹⁸.

Как уже было сказано вначале, Матвей Иванович до кончины сохранял поразительную свежесть душевную и телесную.

Матвей Иванович много читал, покупая себе новые книги или доставая их из библиотеки. Любимейшее его чтение составляли исторические сочинения, особенно, конечно, по новой русской истории. Семейными преданиями и личными воспоминаниями связанный с царствованиями Екатерины II и Павла I, участник в главных событиях александровской эпохи, внимательный и чуткий свидетель царствования Николая I и Александра II, он с глубоким, живым интересом читал исторические материалы и исследования, которые касались русской истории за последние сто лет. В оставшейся после него довольно обширной библиотеке в книгах до половины 1870-х годов часто встречаются на полях его замечания и поправки. Позднее ему стало трудно писать, а за последние годы он перестал видеть одним глазом и уже не мог сам читать. Тогда ему постоянно читали вслух. Целый день проходил в чтении. С утра прочитывалась газета, а затем принимались за книги.

Кроме исторического чтения Матвей Иванович не переставал следить и за текущими общественными явлениями, читал выдаю-

щиеся новые сочинения по общественным вопросам. Хотя, конечно, за последние годы для него главный интерес был уже в прошедшем, но он все-таки не был оторван от настоящего и с горячею любовью к России следил за интересами дня.

В то время, когда он еще мог писать, он делал иногда в записной тетради наброски воспоминаний о далеком прошлом. Наряду с этими воспоминаниями тут же встречаются и заметки по современным вопросам, выписки из статей, его заинтересовавших, и т. д. В этой тетради мы встречаем характерную заметку: когда в 1872-м году были изданы новые цензурные правила¹⁹, Матвей Иванович не остался равнодушен к судьбам нашей печати; он сделал большую выписку из газетной статьи об этом законе и в конце записал: «2-го июля смотрел выставку (политехническую)... под впечатлением нового закона о печати, изданного в юбилейный год Петра I». (<...>)

Матвей Иванович, понятно, любил вспоминать про старое. Память его на прошлое была изумительна. Что она его не обманывала, это можно было судить по тому, что, рассказывая в разное время об одном и том же, он одинаково передавал подробности рассказа; притом же воспоминания Матвея Ивановича касались часто таких исторических событий, в которых годы, имена можно было проверить несомненными справками.

Несмотря на физическую слабость последних лет, отражавшуюся на общем состоянии, Матвей Иванович еще поражал свежестью своей памяти на прошлое. Не дальше как в январе 1886-го года он продиктовал поправку относительно Бородина к запискам Н. Н. Муравьева-Карского, напечатанным в «Русском архиве», и затем объяснялся о ней лично с приехавшим для того к нему г. Бартевым²⁰.

Матвей Иванович до самого конца оставался верен своему прошлому, не только по свежему о нем воспоминанию и по горячей любви к этому прошлому и к своим товарищам, но также и по верности своим высоким и гуманным принципам, которые нередко сказывались даже в мелочах.

Матвей Иванович был большой любитель музыки и до последних дней с удовольствием слушал игру на фортепиано, верно оценивая ее достоинство, постоянно узнавая пьесы знакомых композиторов.

Матвей Иванович долго сохранял и физическую крепость. Он постоянно гулял пешком много и без усталости. Я помню, еще в 1872-м году мы провели с ним буквально целый день на политехнической выставке, с утра до вечера, почти не переставая ходить по ее раскиданным отделам. Еще во второй половине 1870-х годов его обыкновенно ежедневно прогулкою было пройти по крайней мере от своей квартиры на Триумфальной Садовой по Тверской или по Малой Дмитровке и затем по Тверскому бульвару до конца и обратно. Последние годы его ноги ему стали изменять, он уже не мог гулять пешком, а последние два года он и по комнате ходил мало и то не иначе, как при чужой помощи. Кроме его преклонных лет тут сказывалась еще кульмская рана в ногу: у него прежде

всего стала отказывать именно раненая правая нога. Как уже упомянуто, Матвей Иванович стал в то же время плохо видеть, а по конец он уже и слышал нехорошо. Тяжесть этого положения была по возможности всячески облегчена ему постоянными заботами его воспитанницы А. П. Созонович, которую он еще маленькой девочкой взял к себе в дом.

В 1883-м году Матвей Иванович принимал некоторое участие в двухсотлетнем юбилее Семеновского полка, столь им любимого, причем ему по этому случаю был возвращен бородинский георгиевский крест... В тот же день князь Черногорский надел на Матвея Ивановича крест св. Даниила. Боязнь усталости не позволила Матвею Ивановичу присутствовать на освящении храма Спасителя²¹, как он бы желал. Он был счастлив, что дожил до юбилея Семеновского полка, до торжества в память 1812-го года.

К сделанной выше характеристике Матвея Ивановича надо еще добавить одну черту: его необыкновенную доброту, его желание всякому помочь. Эта доброта, между прочим, определенно выражалась в помощи, которую он оказывал многим недостаточным учащимся для достижения ими среднего, высшего и научного образования. Его заботливость об учащихся выразилась и в его духовной, по которой он завещал Московскому университету весьма значительный капитал, имея в виду учебные цели университета, желая оказать помощь недостаточным студентам в окончании курса и в дальнейшем продолжении научных занятий.

В начале февраля 1886 г. в положении Матвея Ивановича сделалось заметно сильное ухудшение. Можно уж было бояться, что ему остается жить недолго. В половине февраля его положение еще осложнилось острыми явлениями со стороны легких и почек. Он скончался рано утром 21-го февраля, сохраняя полную память, хотя по слабости он уже накануне почти не мог говорить, и не дожив только двух месяцев до своей 93-й годовщины.

Матвей Иванович был похоронен, согласно своему желанию, в Новодевичьем монастыре, рядом с его горячо любимой матерью. На том же кладбище лежат еще два декабриста, близкие товарищи Матвея Ивановича, — князь С. П. Трубецкой (ум. 1860) и Ал[ександр] Н[иколаевич] Муравьев (ум. 1864). <...>

Все знавшие Матвея Ивановича, даже за последние его годы, сохраняют, конечно, о нем самое отрадное и чистое воспоминание.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. В. КАПНИСТ-СКАЛОН О ДЕКАБРИСТАХ

<...> У [И. М.] Муравьева-Апостола, жившего от нас в 15 верстах, мы проводили время очень приятно. Так как по смерти Апостола настоящие наследники с досады сожгли дом его и вырубили лучшую в саду столетнюю липовую аллею, то Муравьев помещался в то время в небольшом экономическом доме, стоявшем на плоском

и низком месте, окруженном небольшим фруктовым садом¹. Он жил, можно сказать, роскошно. Несмотря на скромное помещение свое, роскошь его состояла в изящном столе. Он как отличный гастроном ничего не жалел для стола своего. Дородный и франтовски одетый испанец, *maître d'hôtel**, ловко подносил блюда, предлагая лучшие куски и объясняя то на французском, то на немецком языке, из чего они составлены, — с хозяином же говорил по-испански.

Довольно обширная гостиная Муравьева вмещала в себе кабинет и его обширную библиотеку, и рояль, и разные игры, и камин, вокруг которого усаживались обыкновенно и гости, и хозяйева, беседуя или читая вслух, а большею частью слушая чудное пение самого хозяина и дуэты с прекрасной его дочерью². Меньшие его дочери меня очень любили и много рассказывали мне о чужих краях и о жизни их в Париже.

Братья их, Матвей Иванович и Сергей Иванович, поступили в то время на службу, определяясь в лейб-гвардии Семеновский полк. Сергей Иванович был любимцем отца и имел большое влияние на него. Так как старик был некоторым образом и эгоист и деспот и часто несправедлив против старших детей своих, вообще не любил и не ласкал их после второй женитьбы своей³, то приезд в дом Сергея Ивановича был всегда благодетельный.

Его в семействе все обожали и не называли иначе, как *génie de bienfaisance***⁴, он всегда все улаживал и всех примирял, давал хорошие советы; меньшие сестры называли его вторым отцом своим. <...>

В 1819 году, в июне месяце, мы были очень обрадованы приездом из Петербурга тетки нашей Дарьи Алексеевны Державиной, с ее племянницей и нашей двоюродной сестрой Александрой Николаевной Дьяковой и со старшим братом моим Семеном, сопровождавшим их; в то же время приехали к нам два брата Муравьевых: Никита Михайлович и Александр Михайлович вместе с другом своим М. С. Луниным.

Не стану говорить, сколько удовольствия доставил нам и приезд доброй тетки нашей и общество этих умных и образованных молодых людей, как незаметно улетели часы в приятных беседах с ними.

Особенно увлекал нас своим умом и ясностью суждений по всем предметам Никита Михайлович Муравьев, которого репутация известна была в Петербурге как человека с большими способностями и которого лично знал государь Александр Павлович и отдавал полную справедливость его уму и отличному образованию. Брат его, Александр Михайлович, был в то время еще слишком молод, но нетрудно изобразить экзальтацию и оригинальность ума Лунина, который живостью своего характера, увлекательным красноречием и чудным талантом в музыке очаровал всех нас.

Сестра моя Александра Николаевна Дьякова, будучи сама большой музыкантшей и первой ученицей Фильда⁴ и зная по

* Дворецкий (фр.). — Сост.

** Гений добродетели (фр.). — Сост.

репутации Лунина как человека опасного для девиц и вообще для всех особ, будучи сама чрезвычайно как скромна, убегала его и никак не решалась играть при нем, а его слушала всегда из другой комнаты. Она до того была нервна, что с ней раз сделалось дурно, когда она увидела меня, сидящую одну с ним за фортепиано и беспечно разыгрывающую любимую пьесу.

К этому обществу нашему часто присоединялся Матвей Иванович Муравьев-Апостол, который, живя в двадцати верстах от нас, приезжал к нам и веселым и любезным характером своим еще более оживлял деревенское уединение наше.

Зная хорошо этих молодых людей и отдавая полную справедливость их уму, благородству и добрым качествам, я истинно могу сказать, что, к сожалению, впоследствии, в жизнь мою в городах и столицах наших, до старости я не встречала подобных молодых людей!

Они прожили у нас недели две, восхищались Обуховкой, с беспечною наслаждались всеми удовольствиями деревенской жизни, не предвидя и не предчувствуя в то время, какая злая участь ожидала их в будущем.

Вскоре мы с теткой нашей Дарьей Алексеевной предприняли вояж в Крым и в Одессу; заехав по дороге в деревню ее Гавриловку (Херсонской губернии), мы остановились там на несколько дней.

В Одессе мы застали уже все семейство Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола и с ними вместе Н. М. и А. М. Муравьевых с матерью Екатериной Михайловной и с М. С. Луниным.

Добрый Николай Иванович Лорер отправился туда вперед, приготовил нам прекрасную квартиру и все нужное для пребывания нашего в Одессе. Зная хорошо этот город, он сопутствовал нам везде и показывал все, что было в нем интересного. <...>

Мы часто виделись там с Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, у которого была прекрасная квартира над самым морем. Я никогда не забуду, как один раз отец мой, сидя у них на балконе и видя молодых людей наших, ходивших взад и вперед по двору, споривших горячо и толковавших о политических делах и о разных предположениях и преобразованиях, в самом жару их разговоров внезапно остановил их вопросом:

— Знаете ли, господа, как далеко простираются ваши политические предположения?

Лунин первый воскликнул:

— Ах, скажите, ради бога!

— Не далее, как от конюшни до сарая! — сказал мой отец, и эта неожиданная ирония смутила и сконфузила их совершенно. <...>

Между тем меньшей брат мой Алексей⁵ продолжал службу свою в гвардии; он был всеми любим и считался в полку отличным офицером, но, чтобы быть поближе к нам, он поступил в адъютанты к генералу Н. Н. Раевскому, который любил его как сына и в семействе которого он был истинно как самый родной.

Живя в Киеве, он, к большой отраде нашей, мог часто приезжать к нам, и приезд его обыкновенно оживлял и утешал всех, особенно мать, которая чрезвычайно как любила его.

Он умел развеселить разными рассказами и добрым открытым характером своим.

В то же время брат, Петр Николаевич Капнист⁶, после смерти отца своего, и Матвей Иванович Муравьев-Апостол поступили адъютантами к генерал-губернатору Полтавской губернии князю Репнину, который всегда был в дружеских отношениях с моим отцом и вместе работал для блага Малороссии.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол недолго оставался адъютантом, вскоре вышел в отставку и жил совершенно один в своей деревне, как отшельник; он никуда не выезжал, кроме Обуховки, и, несмотря на большое состояние отца своего, жил очень скромно, довольствуясь малым, любя все делать своими руками: он сам копал землю для огорода и для цветников, сам ходил за водою для поливки оных и не имел почти никакой прислуги. В то время, конечно, он не предчувствовал, что вскоре жестокая судьба бросит его в мрачную и холодную Сибирь и что там-то он будет истинным тружеником и страдальцем в лучшие годы своей жизни.

Брат его, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, иногда приезжал к нему из Бобруйска, куда после несчастной истории лейб-гвардии Семеновского полка в 20-м году был сослан за излишнее стремление его к добру, за человеколюбивые поступки его с солдатами, вверенными ему правительством, и, конечно, более еще за преданность и любовь их к нему, как к доброму начальнику своему.

Несмотря на то что он, будучи в Бобруйске, лишен был права не только выйти в отставку, но и проситься в отпуск, он тем не менее довольно часто приезжал к нам и к брату своему, с которым с детства был очень дружен.

Вот в это-то время я и имела случай узнать этого достойного человека и в полной мере оценить и ум, и благородство, и возвышенные чувства его. Я и теперь с ужасом представляю себе его жестокое в то время положение.

После службы в гвардии, где умели узнать его достоинства, где все его любили, отдавая полную справедливость его уму и добрым качествам души его, он брошен был в Бобруйск, в страшную глушь, в полк к необразованному и почти всегда пьяному полковому командиру, которого никак не мог уважать, и потому в отпуск даже ездил без его ведома.

В Бобруйске он был совершенно один, без родных, без товарищей, окруженный каторжными в цепях и в диких нарядах, получерных и полубелых, с головами, наполовину обритыми, народом несчастным и угнетенным, на который нельзя смотреть без ужаса и без страдания.

После этого немудрено, что он всегда был в каком-то раздражительном положении; все его томило, все казалось ему в черном виде, и все ожидал он чего-то ужасного в будущем.

Но несмотря на это, когда он бывал в нашем кругу, то сердце его как бы отдыхало, он оживлялся, и тогда разговор и суждения его

были до того увлекательны и поучительны, что когда он умолкал, то все хотелось бы еще его слушать.

Обыкновенно он был серьезен и более молчалив, но когда говорил, то лицо его оживлялось, глаза блестели, и в те минуты он был истинно прекрасен. Ростом он был не очень велик, но довольно толст; чертами лица, и в особенности в профиль, он так походил на Наполеона I, что этот последний, увидев его раз в Париже в Политехнической школе, где он воспитывался, сказал одному из своих приближенных: «*Qui dirait, que ce n'est pas mon fils!*»*.

Пылкость благородного характера его и желание добра, быть может и ошибочное, погубили человека, который по уму и сердцу своему мог бы быть истинно полезным отечеству.

Жалею душевно, что не могу поместить здесь писем его из Петропавловской крепости к отцу своему, особенно же чрезвычайно интересное письмо, писанное им накануне своей смерти к брату Матвею Ивановичу. Копии с этих писем долго сохранялись у меня как драгоценность, но, к большому моему сожалению, кто-то похитил их у меня.

Характер брата его, Матвея Ивановича, был совсем другой. Всегда живой, веселый и разговорчивый, он обыкновенно присутствием своим оживлял общество. Но будучи немного легкомыслен, он не имел твердости характера брата своего, увлекался мнением других и потому часто менял свое собственное. Сергей Иванович имел над ним большое влияние, и он-то увлек его в несчастную историю 1825 года, в чем и сознался, для оправдания брата своего, в последнем письме своем к отцу из Петропавловской крепости.

Матвей Иванович любил страстно брата своего, гордился им и всегда сердился на то, что он был молчалив и не любил выказывать себя. Приезд Матвея Ивановича в Обуховку был для меня всегда истинно праздником. Он обыкновенно привозил мне читать что-нибудь интересное, в беседах с ним пролетали незаметно часы, и приятные минуты, проведенные с ним в нашем уединении, сохраняются всегда в памяти моей.

С Сергеем Ивановичем приезжал иногда к нам и друг его, Бестужев-Рюмин, образованный молодой человек с пылкой душою, но с головою до того экзальтированную, что иногда он казался нам даже странным и непонятным в своих мечтах и предположениях. Дружба его с Сергеем Ивановичем была истинно примерная, за него он готов был броситься в огонь и воду, но впоследствии время доказало, что дружба эта была вредна как для одного, так и для другого и, можно сказать, довела обоих до гибели.

Меньшой брат Муравьевых, Ипполит Иванович Муравьев-Апостол, воспитывавшийся в Одесском лицее и только что определившийся в то время в Петербурге в гвардию, узнав об участии брата своего Сергея Ивановича в 1825 году, немедленно поскакал к нему в Бобруйск, чтобы разделить с ним его участь⁷, и пожертвовал, так сказать, братской любви жизнью своею, будучи убит в известном сражении под Васильковым. <...>

* Кто скажет, что это не мой сын! (фр.). — Сост.

В 1824 году старший брат мой приехал к нам с молодой женою своею (я, кажется, писала, что он женился на дочери Муравьева-Апостола⁸). Присутствие их оживило несколько добрую мать нашу и наше уединение. Частые приезды сестры, невестки нашей, А. И. Хрущевой, и умных образованных братьев ее, Матвея Ивановича и Сергея Ивановича, о коих я писала выше, были истинно целебным бальзамом для скорбных душ наших.

В особенности беседы и суждения последнего были так умны, так ясны, нравственны и увлекательны, что оставляли после всегда самые приятные и полезные впечатления. Я всякий почти раз, пришед к себе, записывала их в мою памятную книгу, которую, к большому сожалению, по некоторым обстоятельствам в 1824 году должна была сжечь. <...>

В начале ноября 1824 года нас обрадовал нечаянным приездом Николай Иванович Лорер. Он был всегда все тот же милый, веселый и разговорчивый, но нельзя было не заметить, что его проникала в то время какая-то таинственная мысль, которую, казалось, ему было тяжело скрывать от меня, друга его детства. Он был озабочен, говорил, что у него есть некоторые поручения от полкового командира Пестеля к Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу.

Вынимая при мне письма и бумаги из своего портфеля, он показал мне разные переписанные им конституции. Взяв в руки письмо Пестеля, я невольно обратила внимание на печать, где изображен был улей пчел с надписью: «*Nous travaillons pour la même cause*»*.

Я спросила у него, что это за печать. Он улыбнулся и сказал: «Это теперь общий наш девиз».

Все это казалось подозрительно, и я без всякой особенной мысли пеняла Николаю Ивановичу за его неосторожность и легкомыслие, как бы предчувствуя несчастье, ожидающее его в будущем.

Съездив к Муравьеву-Апостолу и проживя у него несколько дней, он с каким-то особенно грустным чувством простился с нами, как бы на долгую-долгую разлуку. <...>

В ноябре 1825 года мы отправились, не помню к какому празднику, к Д. П. Трошинскому⁹. Съезд был большой, обед великолепный, все готовились веселиться вечером. Музыка загремела: старик по обыкновению открыл бал польским. Все пустились в танцы. В числе молодых людей были там Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы и друг их Бестужев-Рюмин.

Все трое собирались приехать к нам на несколько дней в Обуховку к 26 ноября, ко дню рождения матери нашей, и именно в ту минуту, как они говорили мне об этом их намерении, дверь кабинета Трошинского растворилась, старик вышел в залу с каким-то тревожным, таинственным видом и тихо объявил некоторым особам известие о внезапной смерти государя Александра I.

Музыка утихла, все замолкло. Потом начался всеобщий говор,

* «Мы работаем для одной цели» (фр.). — Сост.

разные толки: от чего он умер? что за болезнь? Кто сожалел, кто радовался.

Но трудно описать положение братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина при этом известии: они как бы сошли с ума, не говорили ни слова, но страшное отчаяние было на их лицах; они в смущении ходили из угла в угол по комнате, говоря шепотом между собой; казалось, не знали, что делать. Бестужев-Рюмин, более всех встревоженный, рыдал как ребенок, подходил ко всем нам и прощался с нами как бы навеки.

В таком положении все разошлись по своим комнатам, и только утром мы узнали, что в эту ночь Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин поспешно уехали, но неизвестно куда.

В непродолжительном времени мы поражены были известием, что братья нашей невестки, Елены Ивановны, Матвей и Сергей Ивановичи Муравьевы-Апостолы, были схвачены и в цепях отправлены в Петропавловскую крепость вследствие возмущения целого полка, в котором батальоном командовал Сергей Иванович, и вследствие известного сражения под Васильковым, на котором пал жертвою братской любви и самоотвержения младший брат их Ипполит.

Итак, бедная невестка наша потеряла разом трех братьев своих. О, как тяжело, как горько было нам ее видеть, страдать вместе с нею! Но этого испытания, верно, мало было для нас. <...>

Младший брат мой Алексей, служивший адъютантом у Н. Н. Раевского, получив впоследствии батальон в одном из армейских полков, и стоявший в то время со своим батальоном в Глухове, приехал к нам в 1825 году, накануне 1826 года. Но на этот раз, против обыкновения, он был задумчив и мрачен. Его думы меня сильно беспокоили; я несколько раз спрашивала о причине его тоски, но он скрытничал и, прожив у нас самое короткое время, поспешил в Киев к генералу Раевскому, который любил его как сына и принимал всегда живое участие во всем, что до него касалось. Вскоре после его отъезда я узнала от одного молодого человека, Менгеса, жившего у нас, что ночью приезжал чиновник от генерал-губернатора князя Репнина отыскивать с жандармами брата Алексея, с строгим, однако ж, приказанием не тревожить нашу мать, исполнив поручение как можно тише и осторожнее.

Не нашед его в доме и испугав страшно Менгеса, который в страхе на вопрос: кто он? — старался произнести фамилию свою сквозь зубы так, чтобы они никак ее не поняли, они отправились обратно, а мы, с ужасом узнав об этом утром на другой день, старались всячески скрыть от матери это страшное происшествие. Легко представить, с каким ужасом ожидали мы вследствие этого вестей от брата Алексея. Вскоре дошла до нас роковая весть, что 14 января он был взят в Киеве и отправлен в Петербург.

Как описать, что происходило тогда в душах наших? Мысль, что он, как преступник, отправлен, может быть, в цепях, пешком и с куском ржаного хлеба в руках, не давала мне покою ни день, ни ночь. К тому еще надо было скрывать это несчастье от матери нашей, которая, будучи в преклонных летах, болезненна и слаба,

конечно, не могла бы перенести этого удара. Она нежно любила брата Алексея и беспрестанно спрашивала, где он и что значит, что она не имеет от него никакого известия. Мы иногда не знали, что ей отвечать и чем ее успокоить, к тому же вид несчастной невестки нашей, Елены Ивановны, потерявшей в одно время трех любящих ее братьев, раздирал душу мою. Часто, сидя за обедом и вспоминая, что несчастный брат мой, быть может, нуждается в куске хлеба, я ничего не могла есть, слезы катились у меня градом, и, когда нежная и добрая мать спрашивала меня, отчего я плачу, я только и отговаривалась тем, что не могу равнодушно смотреть на бедную сестру Елену Ивановну, которой несчастье истинно ни с чем было не сравнимо.

Мы узнали, что брат, к счастью, был отправлен не пешком и не в цепях, но с фельдъегерем и в сопровождении знакомого и приятеля Егора Петровича Врангеля, бывшего в то время адъютантом у генерала Красовского¹⁰. Этот добрый человек, вовсе не зная нас, единственно из дружбы к несчастному Алексею, а еще более из сострадания, писал о нем с дороги и из Петербурга.

Через несколько времени к нам возвратился из Петербурга слуга брата Алексея, служивший ему несколько лет, столь любивший его и привязанный к нему, что от душевной тревоги в это несчастное происшествие он в одни сутки совершенно поседел. О, как тяжело нам было видеть этого доброго человека! Сколько горечи, сколько отчаяния было в его рассказах! Хотя он был уволен от всех работ, награжден нашей матерью как нельзя больше, но недолго жил и вскорости умер.

Обуховка сделалась для нас каким-то мрачным и горестным жилищем. В эту страшную эпоху все как бы чуждалось нас; никто нас не навещал, вероятно, чтобы не навлечь на себя подозрения.

Все знали, что брат Алексей был взят, что Елена Ивановна разом лишилась троих братьев и что мой старший брат Семен, как зять Муравьева-Апостола, был под тайным присмотром полиции. Немудрено, что все близкие нам люди и добрые знакомые страшились, посещая нас, себя компрометировать.

Брату было позволено из крепости писать к нам, конечно, открытые письма и получать от нас такие же. Из писем его мы могли видеть только, что он жив. Но и за это мы благодарили бога.

Мать наша наконец до того начала тревожиться неизвестностью о нем (нужно заметить, что ей не говорили об аресте Алексея), что все более стала слабеть и падать духом; часто, не веря уже нам, с горечью спрашивала любимую собаку: «Орест, скажи хоть ты мне, где твой барин?»

Видя ее страдания и опасаясь за ее жизнь, мы решились просить несчастного брата, чтобы он для утешения своей матери испросил позволения написать к ней письмо из крепости, как из города Глухова, где стоял его полк; ему позволили, и он написал длинное и самое веселое письмо, совершенно успокоившее мать. <...>

Брат Иван, живший в то время с нами в Обуховке, возвратясь из Полтавы, куда ездил по своим делам, сказал по секрету, что, быть может, и он будет взят, ибо князь Репнин, показав ему зашнурованную уже переписку братьев Муравьевых, найденную в деревне их Хомутце, указал в ней то место, где они, говоря о брате Иване, назначали его, в случае удачи своего дела, членом временного правительства¹¹. Поэтому князь Репнин и предупредил брата Ивана, что и его, может быть, потребуют в Петербург. Это не слишком тревожило брата, как человека вовсе не причастного к тайному обществу и никогда не имевшего с его членами никаких сношений; он просил только нас, чтобы мы не тревожились, если это случится, и берегли нашу мать.

Известие это нас страшно поразило и прибавило горечи к горькому уже и без того нашему положению. Как часто, проснувшись утром и спрашивая у людей, где брат Иван, я верить не хотела, когда мне говорили, что он уехал на охоту, полагая, что от меня скрывают и что он, конечно, уже взят и отправлен в Петербург. В таком тревожном расположении духа тяжело и горько было показывать иногда спокойный и веселый вид в присутствии бедной матери нашей. Как часто в это тяжкое для нас время мы радовались, что отца нашего, которого смерть мы так сильно оплакивали, не было уже с нами и что он избавился от тяжкого испытания, которое перенесли мы в течение этих трех месяцев.

14 апреля 1826 года мы были обрадованы известием, что брат Алексей наконец оправдан, освобожден и что вскоре возвратится. В конце месяца разбудили меня рано утром известием, что он приехал, и когда я спросила, где он, то мне сказали, что он, встав из экипажа, побежал на могилу отца нашего. Я без памяти, надев только один чулок, башмаки и пудермантель, полетела к нему, и тут же на могиле отца совершилось радостное свидание после тяжелой разлуки и горького трехмесячного заключения.

Как описать радость матери, ее страх, ужас и слезы при известии, что он был в Петропавловской крепости в числе государственных преступников. Подобной сцены я в жизни моей, конечно, никогда не встречала. Мать и плакала и смеялась в одно время, повторяя всем и каждому: «Вообразите, Алеша был в крепости», крепко прижимая его при этом к своему сердцу. Когда все утихло и все успокоилось, он, по нашему желанию, рассказал нам следующую историю своего заточения.

Будучи взят 14 января 1826 года в Киеве, из дому генерала Раевского, он через несколько дней был привезен в Петербург на главную гауптвахту. Здесь было уже так много привезенных, что все комнаты были заняты, и его ввели в большую залу, где он встретил многих знакомых, также привезенных. Когда они начали было разговаривать, бывший комендант дворца Башуцкий, потеряв совсем голову, страшась ответственности за сношения между ними, не зная, что делать, в страхе и суете ставил в поспешности между одними стол, между другими диван, приговаривая: «Между вами нет никакого сообщения!» При этой сцене, говорил брат, он не помнит,

чтобы когда-нибудь в жизни столько смеялся. Через сутки его с жандармами перевели на дворцовую гауптвахту, где он просидел больше трех дней под стражею солдат с обнаженным оружием. Тут хотя хорошо кормили, но не давали ему ни ножей, ни вилок. На четвертый день, посадив его в сани с теми же вооруженными солдатами, быстро повезли его через Неву в Петропавловскую крепость.

Тут у него сердце сжалось. Он явился к коменданту, который пошел его по серым и мрачным коридорам казематов, то спускаясь вниз, то поднимаясь наверх. Наконец, поднявшись выше, комендант остановился у двери одного каземата и, отомкнув со скрипом замок, ввел в довольно большую комнату с двумя забеленными и под железной решеткой окнами на Неву и, указав на печь, сказал: «Вот вам и печь». Брат подумал: что за радость ты мне сулишь? «Кажется, вам будет хорошо, — продолжал он, — вы можете, когда захотите, звать к себе сторожа». Сказав это, он раскланялся и ушел.

Сначала, оставшись один, он ходил, как безумный, скорыми шагами по пустой комнате, где, кроме бедной соломенной постели, стола и стула, ничего не было; у него при входе в каземат отобран был и чемодан, и все его вещи.

В отчаянии и тоске он звал несколько раз в течение дня часового, единственно только затем, чтобы видеть, что дверь отворится и что к нему входит живое существо. Обедать ему давали щи, кашу, кусок жаркого и рюмку простой водки. От скуки он вымерил шагами каземат и ходил в нем всякий день по семь верст.

Печь ему служила тоже большим развлечением; он сушил сырые дрова, потом сам топил ее, тогда только поняв выражение коменданта о печи и мысленно благодаря его за нее. Целые часы сидел он перед огнем, размышляя о всем, что с ним случилось, о матери своей, о нас всех и о горьком своем положении.

Хотя в душе своей он был уверен в своей невинности, но по ходу дела не мог угадать, чем оно кончится. Впоследствии он узнал, что при допросах Матвей Муравьев-Апостол наделал ему много вреда, что, напротив, Сергей Муравьев-Апостол совершенно его оправдал и что, быть может, ему он и обязан своим освобождением¹².

Сколько тяжких бессонных ночей проводил он в своем заточении! Как страшился, чтобы в ответах своих на заданные ему комиссией письменные вопросы не замешать и не повредить кому-либо! В самые затруднительные минуты он, не зная, что сказать, и не полагаясь на себя, прибегал к Евангелию и, открыв его, писал свои ответы, почти всегда с большой удачею. Сколько раз в самые тягостные и затруднительные минуты, засыпая от утомления, он бывал разбужен утешительными словами отца, коего голос слышался ему и по пробуждении, и как благословлял он его в эти сладостные минуты!

Обыкновенно, не спав целую ночь от разных дум и душевных тревог, он крепко засыпал утром; его будил всегда несносный голос сторожа, стучавшего в дверь и спрашивавшего, здоров ли он, т. е. жив ли он. <...> Таким образом он просидел три месяца в разных

казематах, ибо его переводили из одного в другой, что мы видели из его писем.

В конце третьего месяца дела запутались: отвечать на вопросы день ото дня становилось труднее, и он начал страшиться за свою будущность, как вдруг в ночь 14 апреля к нему явился часовой с приказом идти к коменданту. Это его встревожило, он был уверен, что его засадят еще куда подальше, и потому не совсем равнодушно явился к коменданту.

Каково же было его удивление и вместе с тем радость, когда комендант сказал ему: «Капнист, поздравляю тебя, ты свободен!»

Брат говорил, что нельзя объяснить, что происходило в его душе. Сначала он не хотел верить, но, когда комендант повторил ему радостную весть, он бросился бежать из крепости, несмотря на то что это было в 12 часов ночи и что комендант предлагал ему переночевать у себя.

Он ничего не хотел слушать, прибежал к Неве, сел в лодку и не хотел верить, что он точно свободен и может ехать куда хочет. Переехав реку, он спешил в дом тетки своей, Державиной; пройдя несколько пустых комнат, он остановился у дверей маленького кабинета, где она сидела; увидав его, она испугалась и закричала: «Алеша, это ты?» Он, будучи всегда веселого характера и любя пошутить, и тут не мог удержаться и поспешно отвечал ей: «Тетенька, я бежал». Она в первую минуту испугалась, но потом несказанно обрадовалась, от души благодаря бога за его освобождение.

Через два дня он должен был явиться к государю Николаю Павловичу, и тот, увидевши его, весьма хладнокровно спросил: «Что, Капнист, не правда ли, что здесь лучше, чем там?»

Холодный вопрос этот доказывает одну жестокость души его. Ибо, зная, что он оправдан, что невинно страдал три месяца в заточении, что этим самым заставил страдать всех близких его сердцу и рисковал жизнью нежно любившей его матери, он мог бы, смягчив сердце свое, сказать ему что-нибудь более утешительное.

Таким же образом были взяты и оправданы сыновья генерала Раевского¹³, да и сколько было невинно пострадавших и пожертвовавших или своей жизнью, или жизнью близких сердцу их в эту ужасную эпоху!

Не стану говорить об ужасном положении семейства Муравьева-Апостола. Всякий легко может понять его. Кому не известна страшная участь, постигшая несчастных декабристов! Чья душа не содрогнулась от негодования при известии о кончине некоторых из них! И как описать, что происходило в семействе нашем в течение почти целого года, в какой страшной неизвестности находилась бедная невестка наша об участи несчастных братьев своих, сколько пролитых слез, сколько томления!..

Не зная совершенно, чем кончится несчастная история эта, именно в день смерти несчастного Сергея Ивановича рано утром я видела во сне, что стою у какой-то балюстрады, держась обеими руками за нее, и внезапно проснулась от прикосновения к ним двух холодных мертвых рук его. Этот странный сон так сильно поразил

меня, что долго я была в нервной лихорадке, с судорогами в руках, но сна моего никому не сказала, записав только час и число, которое и было роковым числом его страдальческой смерти.

Долго бедная Елена Ивановна не знала о настоящей смерти несчастного брата своего Сергея Ивановича и только в одном обществе нечаянно услышала роковое слово: «Повешен!» Пораженная ужасом, она упала без чувств, и ее долго не могли привести в память.

Спустя несколько времени после смерти брата она получила письмо от своей сестры Е. И. Бибиковой, которая писала, что с соизволения государя она была у несчастного брата накануне его смерти; он знал уже, что его ожидало, и, несмотря на это, был совершенно готов на все и показал в последнее свидание с нею столько твердости, столько религии и столько самоотвержения, что не только не нуждался в утешении, но сам поселил в ней твердость для перенесения этого несчастья¹⁴.

Духовник его тоже был поражен твердостью его характера; когда он пришел к нему для того, чтобы приготовить его к смерти, С. И. в ту минуту писал последнее письмо свое к старшему брату своему Матвею Ивановичу. Увидя священника, он с спокойным видом просил его сесть и с твердостью духа продолжал оканчивать письмо свое.

Этот священник говорил после, что во всю жизнь не встречал человека с такими возвышенными религиозными чувствами и с такою твердостью духа ожидающего минуты смерти своей. Тут же Екатерина Ивановна описывала и трагическую сцену последнего свидания и прощания отца с несчастными сыновьями. Получив дозволение выехать за границу, он тотчас же испросил позволение увидеть сыновей своих и проститься с ними.

С ужасом ожидал он их прихода в присутственной зале. Матвей Иванович, первый явившийся к нему, выбритый и прилично одетый, бросился со слезами обнимать его; не будучи в числе первых преступников и надеясь на милость царя, он старался утешить отца надеждою скорого свидания. Но когда явился любимец отца, несчастный Сергей Иванович, обросший бородою, в изношенном и изорванном платье, старику сделалось дурно; он, весь дрожащий, подошел к нему и, обнимая его с отчаянием, сказал: «В каком ужасном положении я тебя вижу! Зачем ты, как брат твой, не написал, чтобы прислать тебе все, что нужно?» Он со свойственной ему твердостью духа отвечал, указывая на свое изношенное платье: «*Mon pègre, cela me suffira!*», т. е. что «для жизни моей этого достаточно будет!» Неизвестно, чем и как кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощания навеки отца в преклонных летах с сыновьями, которых он нежно любил и достоинствами коих так справедливо гордился!..

⟨...⟩ Я почти ничего не сказала о несчастной судьбе доброго друга и товарища детства моего Николая Ивановича Лорера и, считая за грех не изложить на бумагу хоть часть тех интересных событий, которые отравляли всю жизнь его и сколько-нибудь оста-

лись в памяти моей из его рассказов, постараюсь изложить их здесь, пока худое зрение мое мне еще это позволяет.

Я выше, кажется, говорила, что в молодости Лорер служил в гвардии, в Московском полку, потом он переведен был в Варшаву к великому князю Константину Павловичу; впоследствии, перешедши в армию майором, служил в полку Пестеля, которого любил и единственно из доверия к нему и к другим товарищам своим попал в известную историю 14 декабря.

В 1825 году он был еще у нас в Обуховке, как я уже писала; потом в числе декабристов был схвачен и посажен в Петропавловскую крепость, где и оставался целый год. Это его заточение, как он говорил нам после, было для него самое тяжкое в продолжение восемнадцатилетнего изгнания. Каземат его был не более трех аршин в длину и ширину, слабо освещенный сверху; от сырости одежда была всегда холодная и мокрая, постель жесткая и пища самая скудная; один благодетельный сон облегчал его тяжкое положение: он спал с утра до ночи и, просыпаясь, с изумлением сбрасывал обыкновенно с себя несчетное множество крыс, которые разбегались в ту же минуту по углам каземата. Он говорил, что в течение этого тяжкого года он жил только одними воспоминаниями прошедшего; часто мыслями переносился на родину свою и к нам в Обуховку; читал наизусть стихи покойного отца моего и часто даже пел те романсы, которые в прошедшее время любил слушать. Проживя таким образом целый год и будучи осужден как государственный преступник к ссылке в Сибирь на 10 лет в каторжную работу, он был отправлен в цепях с другими преступниками, вместе с товарищем и другом своим Нарышкиным, в главный город Забайкальской области Читы¹⁵, где и оставался два года в весьма тесной и дурной крепости, откуда всякий день водили преступников на разные земляные работы. <...>

Таким образом прошли два года; преступников (коих числом было 120) перевели в Петровский острог Иркутской губернии¹⁶, который был выстроен для них, где Н. И. Лорер прожил шесть лет, где для каждого «преступника» была особенная комната с окном в общий коридор, куда все сходились и обедали вместе; тут у них была общая артель и хороший стол.

Занимались они, кто чем хотел. Так как правительством позволено было родным присылать преступникам все, чего они пожелают, то в течение года приходило туда несколько обозов со всеми возможными вещами: целые библиотеки книг, всевозможные журналы, фортепианы и другие музыкальные инструменты и проч., так что было занятие для каждого из них. Но тут же были назначены и часы для работ; в летнее время водили их на земляные работы: чистить дороги, копать рвы, а впоследствии и делать шоссе, отличная работа которого в протяжении на версту и теперь служит памятником несчастных изгнанников. В зимнее же время их заставляли несколько часов в день молоть муку на жерновах, поставив двух к каждому жернову. Тут некоторые из них отличались тем, что мололи самую тонкую конфетную муку, и этим хвастались;

Лорер молот вместе с Луниным, с которым был постоянно в дружбе, самую крутую муку, лишь бы поскорее, на квас, и это их забавляло; несколько не утомляя.

В свободные же часы каждый из них занимался каким-нибудь ремеслом; у них были сапожники и слесаря, портные и столяры, живописцы и музыканты, и так как у них был большой двор, то они разводили сад, сажали деревья, сеяли цветы, устроили оранжереи и занимались огородами, для чего были у них и садовники, и огородники. Зимой же во дворе устроены были снежные горы. <...>

Лорер нам рассказывал много про Лунина, которого он очень любил и к которому часто ходил единственно для развлечения в самые грустные для него минуты. Он находил его всегда в веселом расположении духа, всегда довольным, счастливым и занятым то чтением, то письмом, то иногда чисткою своего самовара или комнаты, которая, будучи украшена большим распятием Спасителя в высоту комнаты до самого потолка, отличалась изящною чистотою и даже некоторою роскошью. Он всегда встречал Лорера словами: «Eh bien, cher ami, tout va bien! Nous sommes heureux et plus heureux, que Nicolas lui même!» — Иногда прибавляя: «Dommage pourtant, q'il ne me reste qu'une seule dent contre lui»*.

Этот замечательный умом своим и оригинальностью Лунин, говорят, написал какую-то статью насчет истории декабристов, с описанием жизни каждого из них, и успел переслать посредством какого-то миссионера за границу, где она была напечатана и за которую он был вскорости сослан еще в строжайшее заточение, где, говорят, умер с голоду¹⁷.

Не могу без ужаса вспомнить об этом, тем более что я лично знала этого умного и во всех отношениях отличного человека.

По прошествии двух или трех лет в Сибири скончалась жена Никиты Муравьева¹⁸, которую любили и уважали все изгнанники, считая ее своей благодетельницей за искреннее участие ко всем несчастным, за пособие, которое она делала каждому, кто только в чем нуждался, и за то, что она была всегда их единственным корреспондентом, писала и отправляла письма к их родным.

Можно легко себе представить и отчаяние бедного мужа, и общее горе изгнанников, которые в память и из признательности к ней собственноручно сделали для нее гроб изящной работы и с воплем и рыданием отнесли на руках своих прах ее к вечному ее жилищу в снегах страшной и холодной Сибири.

Проживя таким образом шесть лет в Петровском остроге, Лорер в числе пяти преступников, где находился и его друг Нарышкин с женою, должен был отправиться на поселение, о чем объявил им добрый Лепарский¹⁹, который в продолжение шести лет был чрезвычайно ласков и снисходителен ко всем преступникам и о ко-

* «Ну, что ж, дорогой друг, все идет хорошо! Мы счастливы и даже более счастливы, чем сам Николай! Досадно, однако, что у меня остался только один зуб против него» (фр.). — *Сост.*

тором память с признательностью сохранили в душе своей все декабристы.

Губернатор в свою очередь объявил им высочайшее повеление поселить каждого особенно в самых отдаленных местах края. Так как в числе этих мест находилось одно почти необитаемое, куда еще никого не отправляли и где жизнь должна быть самая ужасная, то он, не решаясь сам назначить там жительство кому-нибудь из них, советовал им бросить жребий, что они и сделали; к несчастью, судьбе угодно было, чтобы бедный друг наш Лорер попал в это ужасное место изгнания и, что еще хуже, должен был расстаться в первый раз с другом своим Нарышкиным и с его женою, коих дружба одна улаживала его тяжкое положение. Но нечего делать, надо было покориться злой участи своей. Начальник губернии принял в нем искреннее участие, помог ему запастись всем, чем возможно, до последнего гвоздя, ибо говорил он, что в стране изгнания своего он не найдет ничего нужного для жизни. Нарышкин и другие товарищи тоже помогли ему, снабдив его всеми возможными запасами.

Между тем он грустный и отчаянный и, ходя по городу, встретил немца пожилых лет, который, подойдя к нему, спросил: не он ли тот преступник, которого отправляют на поселение в Мертвый Кулгук; узнав, что это он, стал просить, чтобы он взял его с собою, что, будучи двадцать лет невинно изгнан, он рад куда-нибудь выехать из этого страшного для него места.

Тут он рассказал ему, что, когда он служил в России ктиторм при какой-то лютеранской церкви, которая была обкрадена, подозрение совершенно несправедливо пало на него, вследствие чего он и сослан был на вечное поселение в Сибирь.

Н. И. Лорер из одной жалости согласен был взять его с собою, не говоря уже о том, что самому ему как-то легче было разделить с кем-нибудь свое тяжкое положение. Он объявил об этом начальнику, который сказал, что он может взять его с собою как товарища, но не как слугу, ибо это запрещено, что он сам почти уверен в невинности этого несчастного и рекомендует его как доброго и честного человека.

Легко можно себе представить, как отрадно это было для бедного друга нашего, который, в отчаянии протаясь с друзьями своими, с сердцем, преисполненным горечи, в сопровождении фельдъегеря отправился в страшное место нового своего изгнания. Дорогою фельдъегерь с участием смотрел на него и не переставал жалеть о нем, говоря, что еще никто не был отправлен туда, куда его везут. Несколько суток ехал он по узкой дороге, между стенами глубокого снега. Наконец спросил, где же это селение, куда его везут? Но фельдъегерь отвечал, что трудно его увидеть, ибо маленькое селение это лежит при Байкальском озере, в ущелье гор, что построек там никаких нет и что семейства тунгусов живут там в землянках. Наконец вечером подъехали они к тому ужасному месту, где несчастный друг наш должен был похоронить себя живым. Звук колокольчика вызвал навстречу к ним несколько тунгусов, которые

с ужасом и сожалением на лице смотрели на несчастного изгнанника. Он, страшась сырости, просил их об одном, чтобы дали ему хоть маленький уголок, но только на поверхности земли, а не в землянке. Ему предложили самую маленькую комнатку в каком-то деревянном строении, чему он был очень рад и начал с товарищем своим вносить туда все свои запасы, коих было так много, что половина маленькой комнатки его была заложена ими от низу до верху.

Когда все устроилось и когда он с признательностью в сердце и наградив деньгами доброго фельдъегеря, простился с ним, он, изнеможенный, упал на жесткую постель свою и горько-горько заплакал. Потом велел товарищу своему зажечь восковые свечи, которые были с ним, поставить для себя самовар, ибо сам он не хотел и не мог ничего есть.

Когда комнатка его осветилась, то он увидел у дверей своих несколько человек русских [и] тунгусов с женами и детьми, которые с любопытством и сожалением на лице смотрели на него, и когда он их спросил, отчего они о нем так жалеют, они отвечали, что ужас ожидает его здесь, что обыкновенно в летнее время набегают на жилища их шайки, которые убивают жителей и, ограбив все их имущество, скрываются опять в ущелья гор, что вследствие этого, чтобы спасти свою жизнь, все население отправляется обыкновенно летом в леса, где и занимается ловлей зверей, что если эти разбойники увидят его здесь с его имуществом, то, конечно, не оставят в живых. Можете себе представить, с каким ужасом слушал их бедный наш Лорер!

Когда он решительно объявил им, что он в летнее время отправится с ними в леса, то они с горестью отвечали, что это невозможно, что он не в силах будет выдержать ту жизнь, которую они ведут там, скитаясь по лесам и проводя большую часть ночи в болотах, где никак не могут укрыться от множества комаров и других насекомых, которые невыносимо их терзают.

Слушая их, бедный наш друг погрузился в тяжкую задумчивость и, видя безысходное положение свое, с горем в душе готов был уже со смирением покориться воле божией и жестокой участи своей, как вдруг услышал звук колокольчика. С изумлением вскочил он с постели, полагая и страшась, что не пришло ли повеление усласть его еще куда-нибудь. Но в вошедшем человеке он узнал бывшего своего доброго фельдъегеря, спасителя своего, который подал ему пакет и объявил, что он должен ехать обратно в Иркутск. С восторгом распечатав пакет, он узнал, что по просьбе племянницы своей Розетти, ныне Смирновой²⁰, которая была в то время фрейлиной при дворе, государь император согласился, чтобы он не был разлучен с другом своим Нарышкиным и чтобы их отправили вместе на поселение.

Легко можно представить радость и восторг бедного Лорера! Он впоследствии говорил нам, что подобная радость не может существовать на этой земле и что он истинно в ту минуту сам себя не помнил. Обратясь же к дверям, он тронут был до глубины души, увидев добрых тунгусов с женами и детьми, стоявших на коленях

и благодаривших бога за его спасение! Он, от сердца поблагодарив их и отдав им все свое имущество, простился с ними и немедля с радостью в душе поскакал обратно. <...>

По возвращении в Иркутск он отправлен был с Нарышкиным и другими товарищами на поселение в город Курган, Тобольской губернии, близ границы Европейской России, где они жили на квартирах почти свободные, могли даже отлучаться из города верст за двадцать, с тем только, чтобы к ночи возвращаться.

Начальник города их любил и ласкал; они везде были приняты как нельзя лучше, начали привыкать к новой жизни и некоторым образом мирились со своей участью. Так как им каждому назначен был небольшой надел земли, то некоторые из них, выстроив себе дома, занимались хлебопашеством и садами, совершенно свыкшись и помирившись со своим положением. Прожив там четыре года, они отосланы были на Кавказ²¹. <...>

Привыкши почти к жизни своей в Кургане, трудный переход на Кавказ и тяжкая служба там рядовым казались Лореру невыносимостью. Он говорил, что часто от усталости и от страшного зноя, стоя под ружьем, кровь лилась у него носом и ушами. Таким образом прослужил он там тяжелых шесть лет. <...>

На Кавказе начальники любили Лорера²² и старались всячески облегчить его участь, посылали в разные экспедиции, где он впоследствии за отличие был произведен в офицеры, вышел в отставку и возвратился на родину в Херсонскую губернию к родному брату своему.

Легко можно представить себе радость нашу, узнавши, что наконец старый друг наш возвратился и что он теперь в тихом уголке своем отдыхает от тяжелых восемнадцатилетних страданий.

Так как вначале ему никуда не было дозволено выезжать из своей губернии, то мы и не видели его несколько лет и довольствовались одной мыслию, что он более не страдает, что он на родине, в кругу своих родных.

В 1849 году, ехавши в Крым и проезжая станцию Водяную близ Николаева, вспомнила, что это селение принадлежит Лорерам, и, проезжая мимо их дома, велела остановить экипаж и послала человека своего отыскать Николая Ивановича и сказать ему, что проезжая дама желает его видеть, строго запретив человеку называть меня. Хотелось мне видеть, узнает ли он меня после 24-летней разлуки нашей, и крайне удивилась, когда, подойдя к экипажу, он с восторгом назвал меня по имени. Он с радостью в душе убедил нас заехать к нему хоть на несколько часов; мы вошли в маленький его флигелек в саду, где нас встретила милая и красивая жена его, которую он мне представил, а также и трех прелестных малюток своих: двух дочерей лет трех и четырех и маленького сына.

Возвратясь из Сибири, он женился на воспитаннице своей сестры, прекрасной и отлично образованной девушке, с которою, впрочем, жил недолго; злая участь и тут его преследовала, жена его после четырех лет замужества впала в чахотку, от которой через три месяца

после нашего свидания с ними скончалась, повергнув Лорера в отчаяние и оставив на руках его трех малолетних детей, из коих вторая дочь, прелестное существо, и маленький сын вскоре умерли.

Между тем выезд из Херсонской губернии был позволен Лореру, и тогда он с оставшейся старшей малюткой своей приехал к нам в Обуховку, где и встречен был с искренней дружбой, любовью и живым участием людьми, которые с детства привыкли его любить и не переставали горевать о нем во все тяжкие годы его изгнания.

В это-то время он рассказал нам историю жизни своей, которой подробности я старалась описать здесь, сколько память моя мне позволила.

Впоследствии мы часто виделись с ним и в деревне нашей, и в Полтаве, и в Москве, и здесь, в Петербурге, когда ему въезд в столицу был уже позволен.

Теперь он живет в деревне с дочерью своею, которую нежно любит, и в полной мере отдыхает от страшных страданий и тревог прошедшей жизни. Наслаждаясь совершенным здоровьем, будучи несколькими годами старше брата своего, Дмитрия Ивановича, он на вид кажется теперь моложе его, несмотря на то, что тот жил в роскоши и в совершенном спокойствии в деревне своей во время его восемнадцатилетнего изгнания. Не служит ли это доказательством, что каких тяжелых испытаний не перенесет человек, если совесть его чиста и если он убежден в невинности своей? Лорер же был истинно невинен и пострадал единственно из дружбы и преданности к друзьям, которые умели увлечь его с собою в свои, быть может, и истинно благодетельные для России предприятия.

Тут оканчиваются несчастные события его жизни и вместе с ними записки мои. Я старалась изложить их единственно в память детям моим, по их желанию. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Е. И. ЯКУШКИНА О СВОЕЙ СЕМЬЕ

Я родился, когда отец уже был заключен в Алексеевский рavelин¹. Мать не могла меня кормить, у нее пропало молоко, кормилицы найти не могли — и меня принуждены были питать коровьим молоком с кашкой из сухарей, потому что мне было два месяца, когда мать моя поехала в Петербург и взяла меня с собой. Дорогой не везде можно было достать свежего молока, и его поневоле должны были заменять сухарями. Я был ребенок хилый, больной и вследствие этого страшно избалованный. Хотя и потом мать очень баловала, и это едва ли не входило в систему воспитания, как впоследствии у меня. После поездки в Петербург меня повезли зимой в Ярославль, когда мне было с небольшим год. Словом, в молодости самым маленьким ребенком я натерпелся так, как другому не приходилось терпеть во всю жизнь.

Все это я знаю по рассказам, но с 4-х лет я все помню сам очень хорошо. <...>

Семья наша была невелика. Старушка бабушка², мать моей матери, сын ее, Алексей Васильевич Шереметев³, и моя мать с братом моим и мною.

Бабушка Надежда Николаевна была человек довольно оригинальный. Маленького роста, с совершенно белыми волосами, картавая старушка, она всегда была одета в черный капот, только причащалась и в светлое воскресенье⁴ была в белом — тоже капоте. Волосы у нее были острижены в кружок, и только, когда выезжала, она надевала тюлевый чепец с черными и белыми лентами. Ни закрытых экипажей, ни шляпок она не любила, и даже в Москве, где было у нее пропасть знакомых, она выезжала в дрожках, когда появились пролетки, то в пролетке — в том же тюлевом чепце на голове, который снимала, как только входила в гостиную. Она не получила хорошего образования и даже по-французски говорила плохо, но у нее был природный ум и между друзьями своими она считала Жуковского, Гоголя, Киреевских⁵ и Аксаковых⁶. С первыми двумя она была в постоянной переписке.

Набожная до чрезвычайности, она соблюдала все постные дни, никогда не пропускала ни одной службы и читала книги только религиозного содержания, и в то же время у нее было какое-то поклонение к моему отцу, хотя она знала, что он человек неверующий. Зная это, она считала его едва ли не лучшим христианином во всем мире. До самой смерти она писала ему непременно раз в неделю. Она была очень добра, готова объехать весь город, чтобы похлопотать о нуждающемся, хотя и мало известном человеке, но о сделанном ею добре она никогда не говорила никому ни слова. <...>

Гораздо труднее мне очертить лицо моей матери. Она мне всегда казалась совершенством, и я без глубокого умиления и горячей любви не могу и теперь вспоминать об ней. Может быть, моя любовь, мое благоговение перед ней преувеличивают ее достоинства, но я не встречал женщины лучше ее.

Она была совершенная красавица, замечательно умна и превосходно образованна. Ее разговор просто блистал, несмотря на чрезвычайную простоту ее речи. Но все это было ничего в сравнении с ее душевною красотой. Я не встречал женщины, которая была бы добрее ее. Она готова была отдать все, что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся, нередко просиживала ночи у больных, иногда почти ей неизвестных (у нас в доме нередко находили приют бедные, бесприютные женщины), но требующих тщательного присмотра, сама перевязывала раны, до такой степени отвратительные, что я не мог даже на них и смотреть. Но были несчастья, не требовавшие ни денежной помощи, ни присмотра; она являлась и здесь утешительницей и действительно умела поднять человека, упавшего духом и близкого к отчаянию.

500 душ и 400 десятин было в то время состояние, при котором можно было жить хорошо. Кроме того, брат моей матери присылал ей деньги, когда она в них очень нуждалась; однако же очень часто

случалось, что полученные деньги все раздавались и в доме не оставалось ни гроша. Никакие лишения, впрочем, не были тяжелы моей матери.

Она любила изящную обстановку: ей нужно было все или ничего. Она могла долго носить одно и то же платье, но если заказывала новое, то всегда в лучшем и поэтому самом дорогом магазине. Ежели она покупала для дома какую бы то ни было безделицу, эта безделица была всегда артистическая вещь. Ежели она хотела кому что-нибудь подарить на память, то она не покупала подарка, а заказывала его и дарила такую изящную вещь, какой не бывает в продаже. Все добро, которое она делала, делала не потому, что этого требует религия или по убеждению, что хорошо делать добро, но просто без всяких рассуждений, потому что не могла видеть человека в нужде и не помочь ему.

Она была религиозна, но без всякого ханжества, без особого уважения к обрядам, выше которых она ставила истинное христианское чувство, чувство любви к ближнему. Все люди для нее были равны, все были ближние. И действительно, она одинаково обращалась со всеми; был ли это богач, знатный человек или нищий, ко всем она относилась одинаково. С независимым характером, какие встречаются редко, она при всей своей снисходительности и мягкости никому не позволяла наступать себе на ногу, да редко кто на это и отваживался, потому что ее тонкая, но острая насмешка сейчас же заставляла человека отступить в должные границы.

В то время произвола ее глубоко возмущало всякое насилие, она высказывалась прямо и горячо, с кем бы ей ни приходилось говорить. Очень веселого характера, она любила удовольствия и общество и оживляла самых скучных людей своей веселостью. Прислуга и простой народ любили ее чуть не до обожания, но я думаю, что в обществе ее многие не любили. Превосходство никогда не прощается, оно подавляет и поэтому не может нравиться посредственным людям. Притом высказываемое прямо мнение, хоть, например, об истязаниях, которым подвергались нередко крестьяне, могло многим казаться просто обидой.

Мой дядя⁷, дорогую память которого я сохраняю до сих пор, был человек очень добрый, честный, но несколько запуганный.

Он кончил курс в Школе колонновожатых, поступил оттуда офицером в гвардейскую конную артиллерию, был принят в тайное общество товарищем своим по школе Колошиным⁸, но в делах общества принимал очень мало участия. В 1825 году он был адъютантом у Толстого, корпус которого был расположен в Москве и ее окрестностях. Когда пришло известие о восстании, готовившемся 14 декабря, отец мой пригласил моего дядю возмутить войска, стоявшие в Москве⁹. Дядя мой испугался и скрылся, так что он не видел моего отца до самого его ареста, который был произведен через несколько дней.

Во время следствия и суда имя моего дяди не было никем произнесено. Участие его, как и многих других, в тайном обществе осталось тайной для правительства, но висело над ним постоянной

угрозой. Он вышел в отставку, уехал за границу и, возвратившись, поселился в деревне. Страх его вначале был понятен, но потом он, кажется, обратился в привычку. Я не слыхал от него никогда ни одного свободного слова. Когда я был уже в университете и после, по выходе моем оттуда дядя с видимым удовольствием слушал вольнолюбивые речи, высказываемые с молодым увлечением, он никогда не возражал на них, но и никогда не высказывал прямо, что он с ними согласен, только после каждого такого разговора он становился еще нежнее со мною. Чтобы описание нашей семьи было полнее, мне надо сказать несколько слов о двух лицах, которые, несомненно, к ней принадлежали. В Покровском был управляющий Яков Игнатьевич Соловьев и жена его Настасья Матвеевна. В моих глазах это были самые близкие мне родные. По чувствам моим, по моим всегдашним отношениям к ним они мне так же близки, как моя мать или мой дядя.

У деда был театр с труппою крепостных и оркестр. Дворовые мальчики отдавались с большою платою к лучшим музыкантам в Москве. Яков Игнатьевич был отдан к Фильду, знаменитому музыканту того времени. Музыкальных способностей у него не оказалось, но вышел прекрасный и образованный для того времени молодой человек. Ему дали вольную и поместили его на службу в Сенат, где он дослужился до первого офицерского чина. В 1812 году, когда дед мой умер, бабушка вызвала Якова Игнатьевича и поручила ему управление имением. Здесь он влюбился в дворовую девушку, получившую, как и он, музыкальное образование в Москве, и женился на ней. Она была близким другом моей матери. Замечательно добрая, она была любима всеми, даже своими бывшими подругами, оставшимися в дворовых, хотя ее положение и значение в доме могло возбуждать в них зависть. Держала она себя с необыкновенным тактом, не унижаясь перед бывшими господами, которых любила всей душой, и не гордясь перед бывшими своими подругами... Она была добра до самоотвержения, детей любила без памяти, зато и мы любили ее тоже без памяти. Притом с душою чистой, как у младенца, она имела большое на нас влияние, и к моим воспоминаниям о ней, исполненным любви и признательности, не примешивается ничего горького.

Яков Игнатьевич пользовался во всей семье большим уважением. Человек простой в обращении, умный и безусловно честный, он его вполне заслуживал. Даже бабушка, вспыльчивая как порох, никогда на него не сердилась или, по крайней мере, не показывала, что сердится. Он вместе с женой своей разделял и семейную радость, и семейное горе. От него не скрывалось никакой семейной тайны. Когда мой отец был арестован в Москве, бабушка послала верного человека в смоленские наше имение привезти оттуда бумаги отца. Когда там сделали обыск, бумаги были уже в деревне у бабушки, которая, зная их опасную важность, хранила их под полом своего кабинета, чтобы передать их отцу, когда он вернется из ссылки. Незадолго до смерти, боясь, что бумаги эти попадут кому-нибудь в руки, она сожгла их. Никто этой тайны не знал, кроме Якова Игнатьевича. Мне он рассказал об этом только после смерти

бабушки. Яков Игнатьевич был управляющим у Шереметевых более 50 лет и ничего не оставил своим детям, несмотря на чрезвычайно скромный образ жизни. <...>

ВОСПОМИНАНИЯ Е. И. ЯКУШКИНА ОБ И. И. ПУЩИНЕ

I

В 1853 г. я познакомился с Иваном Ивановичем Пущиным, жившим в то время в Ялуторовске. Имя Пущина было давно мне известно из стихотворений Пушкина. Некоторые рассказы лиц, знавших его до ссылки, вызвали во мне глубокое к нему сочувствие: личное знакомство с этим «первым другом» великого поэта еще более усилило то чувство уважения, которое я имел к нему ранее. Он производил на меня сильное впечатление. Когда я с ним познакомился, ему было 55 лет, но он сохранил и твердость своих молодых убеждений, и такую теплоту чувств, какая встречается редко в пожилом человеке. Его демократические понятия вошли в его плоть и кровь: в какое бы положение его ни ставили обстоятельства, с какими бы людьми ни сталкивала его судьба, он был всегда верен самому себе, всегда был одинаков со всеми. Люди самых противоположных с ним убеждений относились к нему с глубоким уважением.

Сблизиться с таким человеком мне было тем более легко, что он был очень дружен с моим отцом. С первого же дня знакомства между мною и им установилась тесная связь, не прерывавшаяся до самой его смерти. Во время пребывания моего в Ялуторовске я виделся с ним каждый день. Большой интерес для меня представляли его рассказы, особенно о его лицейской жизни и об отношениях его к А. С. Пушкину. Часть всех рассказов я записал тогда же, но эта краткая запись казалась мне очень бледной в сравнении с живой речью Пущина, поэтому я не один раз просил его написать его воспоминания о Пушкине.

Пущин, несмотря на то что ему теперь 57—58 лет, до такой степени живой и веселый человек, как будто он только что вышел из Лицея. Он любит посмеяться, любит заметить и подтрунить над чужой слабостью и имеет привычку мигнуть, да такую привычку, что один раз, когда ему не на кого было мигнуть, то он долго осматривался и, наконец, мигнул на висевший на стене образ. В то же время это человек до высочайшей степени гуманный (я, право, не знаю, как выразить это иначе) — он готов для всякого сделать все, что может, он одинаково обращается со всеми: и с губернатором, когда тот бывает в Ялуторовске, и с мужиком, который у него служит, и с чиновниками, которые иногда посещают его. Никогда он не возвысит голоса более с одним, чем с другим.

Он переписывается со всеми частями Сибири, и когда надо что-нибудь узнать или сделать, то обращаются обыкновенно к нему. Он столько оказывал услуг лицам разного рода, что в Сибири, я думаю, нет человека, который бы не знал Ивана Ивановича хоть по имени.

Он один из немногих, отзывающихся с полным уважением о деле, за которое они живут в Сибири, и не делающих в этом отношении ни малейшей уступки; я даже не удивился бы, ежели бы он, возвратясь в Россию, завел, как он называется, маленькое общество. <...>

С Иваном Ивановичем заговорить о Пушкине было нетрудно; я приступил к нему прямо с выговором, что он до сих пор не написал замечаний на биографию, составленную Анненковым¹.

— Послушайте, что же я буду писать, — перебил он меня, — кого могут интересовать мои отношения к Пушкину?

— Как кого? Я думаю, всех; вы Пушкина знали в Лицее, знали после до 26 года, — он был с вами дружен, и, разумеется, есть много таких подробностей об нем, которые только вы и можете рассказать и которые вы, как товарищ его, обязаны даже рассказать.

— Да, ежели бы я мог написать что-нибудь интересное, я бы написал, но, во-первых, я не умею писать, хоть Пушкин и уверял всегда, что у меня большой литературный талант, да я, слава богу, ему не поверил и хорошо сделал, потому что, точно, не умею писать, а во-вторых, я могу сообщить только такие мелкие подробности, которые никого не могут интересовать, а писать для того, чтобы все знали, что я был знаком с Пушкиным, согласитесь сами, было бы очень смешно.

— Так вы просто скажите: я не хочу писать, потому что я самолюбив; но согласитесь сами, что, как бы ни были мелки подробности, которые вы можете рассказать, они все-таки будут интересны уже потому, что будут рассказаны о Пушкине; да иногда случай вовсе незначительный обрисовывает совершенно характер человека, и вы хоть побожитесь, так я вам не поверю, чтобы вы не могли рассказать ни одного подобного случая.

— Ну, есть и такие вещи, которых я, как товарищ, не хотел бы рассказывать про Пушкина. Например, я помню: мы были раз вместе в театре, Пушкин сидел в первом ряду и во время антрактов вертелся около Волконского [П. М.] и Киселева², как собачонка какая-нибудь, и это для того, чтобы сказать с ними несколько слов, а они не обращали на него никакого внимания; мне на него мерзко было смотреть. Когда он подошел ко мне, я ему говорю: «Что ты делаешь, Пушкин? можно ли себя так срамить — ведь над тобою все смеются!»

Ну что ж, я мог бы описать мою поездку к нему в деревню в 1825 г. Как я заехал в Опочку поздно вечером — целый час стучался в каком-то погребке, чтобы купить несколько бутылок шампанского, — нельзя же ехать к Пушкину без вина. Ну, разумеется, он мне был ужасно рад; только на другой день утром мы сидим с ним, разговариваем, как вдруг Пушкин вскакивает, бросается

к столу и разворачивает книгу. Я смотрю — что за книга? Библия. «Что с тобой, Пушкин?» — «Архимандрит едет». — Он был сослан в деревню и отдан под присмотр архимандриту. Архимандрит узнал, что к Пушкину кто-то приехал, и, по обязанности своей, явился узнать, кто такой. Ну, что же, это для вас любопытно?

— Разумеется, любопытно.

— Для вас-то, может быть, потому что вы меня знаете.

— Да и для всех любопытно.

— Ну хорошо, я для вас напишу все, что припомню.

— Даете слово?

— Даю и приготовлю к вашему возвращению...

Итак, одно дело было сделано.

Вечер просидел я с Пушиным — разумеется, разговор большей частью шел о войне.

— Успеха нечего ждать, — сказал Ив[ан] Ив[анович], — но и неуспех будет нам полезнее самого блестящего успеха, ежели он откроет нам, наконец, глаза³. <...>

Вечером, напившись чаю, я простился со всеми у Ивана Ивановича и отправился в Тобольск. <...>

II

Следующий очерк из жизни Пушина составлен мною на основании рассказов как его, так и его товарищей по ссылке, а также на основании его записок, заключающих в себе и некоторый автобиографический материал.

Пушин родился 4 мая 1798 г. В августе месяце 1811 г. дед его, адмирал Пушин, отвез его к министру народного просвещения графу Разумовскому⁴, в присутствии которого мальчики, записанные кандидатами в Лицей, должны были держать экзамен. Здесь Пушин увидел в первый раз своего будущего товарища Пушкина, с которым он тут же и познакомился. По поступлении в Лицей Пушкин всего ближе сошелся с Пушиным, отличавшимся в молодости большим тактом. Сближению ж друзей содействовало и то, что они были соседями по отведенным комнатам. Часто ночью, когда все уже засыпало, Пушин вполголоса через перегородку толковал с Пушкиным о каком-нибудь вздорном случае того дня, его волновавшем... Скоро между ними установилась та горячая дружба, о которой не раз упоминал Пушкин в своих стихотворениях.

По выходе из Лицея в 1817 г. Пушин поступил в гвардейскую конную артиллерию и 29 октября того же года был произведен в офицеры. Еще в лицейском мундире он начал часто посещать кружок знакомых, состоявших из Муравьевых (Александра и Михайлы), Бурцова, Павла Колошина и Семенова⁵. Постоянные беседы об общественных вопросах сблизили Пушина с этим кружком членов тайного общества, в которое вскоре он и был принят Бурцовым. Вступление в тайное общество имело сильное влияние на Пушина⁶. <...>

Первою мыслью Пушкина по вступлении в тайное общество было открыться Пушкину, разделявшему его политические убеждения, но Пушкина не было в это время в Петербурге. Впоследствии он не решился уже вверить ему тайну, так как малейшая неосторожность могла быть пагубна для дела. Его пугала и пылкость поэта, и сближение его с ненадежными людьми. Пушкин, увидя своего друга после первой с ним разлуки, заметил в нем некоторую перемену и начал подозревать, что он что-то от него скрывает. Он затруднял Пушкина своими расспросами, но тот ничего ему не открыл⁷.

⟨...⟩ В январе 1820 года Пущин должен был уехать в Бессарабию к больной своей сестре. Возвратясь в мае в Петербург, он не застал уже там Пушкина, высланного из столицы за его вольные стихотворения и командированного от коллегии иностранных дел к генералу Инзову⁸ — начальнику колоний южного края.

Около 1823 года Пущин познакомился с Рылеевым и принял его в тайное общество прямо в члены Верховной думы. Рылеев относился к Пущину с глубоким уважением; в письме к одному из своих друзей он говорит: «Спасибо, что полюбил Пушкина, я еще от этого ближе к тебе. Кто любит Пушкина, тот непременно сам редкий человек».

В 1823 году однажды во дворце на выходе великий князь Михаил Павлович очень резко заметил Пущину, что у того не по форме был повязан темляк на сабле. Пущин тотчас же подал прошение об отставке. Желая показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно бы считать унизительною, он хотел занять одну из низших полицейских должностей — должность квартального надзирателя. Своим примером он хотел доказать, каким уважением может и должна пользоваться та должность, к которой общество относилось в то время с крайним презрением. Намерение Пущина возмутило его родных. Сестра его на коленях, в слезах, умоляла отказаться от мысли занять полицейскую должность; он уступил ее просьбам и, выйдя в отставку, поступил сверхштатным членом в Петербургскую палату уголовного суда, где в то время служил и Рылеев.

В 1824 году Пущин перешел на службу в Москву судьей в Уголовный департамент надворного суда. Служба в надворном суде бывшего гвардейского офицера, образованного человека, с обеспеченным состоянием и с большими связями, имела в то время свое значение. Князь Н. Б. Юсупов⁹, видя на бале у московского генерал-губернатора князя Голицына¹⁰ неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью, спросил Зубкова¹¹, кто этот молодой человек. Зубков ответил, что это надворный судья Пущин. «Как, — сказал кн. Юсупов, — надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это ведь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное!»

Пущин, человек крайне скромный, ни слова не говорит в своих записках о своей судебной деятельности, между тем она гораздо более удивила современников, чем присутствие его на генерал-губернаторском бале. Особенное внимание общества обратило на себя решение надворного суда по делу известного любителя музыки и

композитора Алябьева, обвинявшегося в совершении убийства¹². Сначала, чтобы замять это дело, потом, чтобы добиться оправдательного приговора, были пущены в ход и подкуп, и усиленные просьбы, и вмешательство влиятельных лиц. Но ничто не помогло; в деле были несомненные доказательства виновности Алябьева, и Пушкин после долгой, упорной борьбы настоял на обвинительном приговоре. На это решение смотрели как на гражданский подвиг, и Пушкин имел полное право сказать своему другу:

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в глазах общественного мнения
Завоевал почтение граждан.

Когда в конце 1824-го года Пушкин узнал, что Пушкин из Одессы сослан на безвыездное жительство в псковскую деревню его отца, то он решился непременно навестить его и для этого взял отпуск на 28 дней. Перед отъездом на вечере у генерал-губернатора кн. Голицына он встретил А. И. Тургенева и спросил его, не имеет ли он каких-либо поручений к Пушкину, так как он будет у него в январе. «Как, вы хотите к нему ехать», — сказал Тургенев, — разве не знаете, что он под двойным надзором — политическим и духовным?» — «Все это я знаю», — отвечал Пушкин, — но знаю тоже, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах». — «Не советовал бы. Впрочем, делайте как знаете», — прибавил Тургенев. Почти такие же предостережения высказал и дядя поэта В. Л. Пушкин¹³.

Проведя праздники у отца в Петербурге, Пушкин после Крещенья поехал к сестре в Псков и оттуда в Михайловское. (...) После первых волнений свидания началась живая беседа между друзьями; каждому из них надо было о многом расспросить и многое рассказать. Из слов Пушкина можно было заключить, что ему как будто наскучила прежняя шумная жизнь. Он заставил Пушкина рассказать о всех лицейских товарищах и потребовал объяснения, каким образом он из артиллериста преобразился в судью. Объяснения его друга были ему по сердцу, он гордился им и за него. «Незаметно коснулись опять», — рассказывает Пушкин, — подозрений насчет Общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, то он вскочил со стула и воскликнул: верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать,¹⁴ — потом, успокоившись, продолжал: впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пушкин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, по многим моим глупостям. — Молча я крепко расцеловал его, мы обнялись и пошли ходить; обоим нужно было вздохнуть».

Пушкин привез Пушкину в подарок «Горе от ума». Пушкин был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему почти неизвестной. (...)

Поздно ночью Пушкин выехал из Михайловского. Это было последнее его свидание с Пушкиным, самым близким ему из друзей.

Пушин 8 декабря 1825 года приехал из Москвы в Петербург. Он присутствовал на последних совещаниях членов тайного общества и 14 декабря был на Сенатской площади, где собрались заговорщики и возмущенные ими войска. Когда восстание было подавлено, Пушин одним из последних ушел с площади, в шинели, пробитой во многих местах картечью.

Рано утром 15 декабря к нему приехал его лицейский товарищ князь [А. М.] Горчаков¹⁵. Он привез ему заграничный паспорт и умолял его ехать немедленно за границу, обещаясь доставить его на иностранный корабль, готовый к отплытию. Пушин не согласился уехать; он считал постыдным избавиться бегством от той участи, которая ожидает других членов тайного общества: действуя вместе с ними, он хотел разделить и их судьбу. В то же утро заехал к Пушину кн. П. А. Вяземский¹⁶ и спросил его: не может ли он быть ему чем-нибудь полезен? Пушин просил его взять на сохранение портфель с бумагами; в портфеле этом было несколько стихотворений Пушкина, Дельвига и Рылеева, а также несколько записок по разным общественным вопросам. Все эти бумаги, если бы они и были взяты при обыске, не могли служить к отягчению участи Пушина. Он потому только отдал их кн. Вяземскому, что желал сохранить их, так как они были связаны с дорогами для него воспоминаниями. Князь Вяземский обещал сберечь этот портфель и возвратить его Пушину при первом же с ним свидании. И действительно, в 1857 году, в первый же день приезда Пушина в Петербург, кн. Вяземский привез ему портфель, взятый им на сохранение 32 года тому назад.

15 декабря Пушин был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Во время следствия он не выдал никого из своих товарищей, и поэтому в «Донесении Следственной комиссии» вовсе не встречается ссылок на его показания. Верховный уголовный суд отнес его к первому разряду государственных преступников и приговорил к смертной казни отсечением головы. Указом, данным Верховному суду 22 августа 1826 года, он всемилостивейше освобожден от смертной казни, с заменою ее ссылкой в вечные каторжные работы¹⁷. После произнесения приговора Пушин был отвезен в Шлиссельбургскую крепость, откуда только через полтора года был отправлен в Сибирь в каторжные работы. <...>

По освобождении от каторжных работ Пушин в конце 1839 г. был послан на поселение в Туринск. Северный сибирский климат вредно подействовал на его здоровье; в Туринске он постоянно хворал. Поэтому по его просьбе он в 1843 г. был переведен в Ялуторовск, город с несколько лучшими условиями для жизни. Здесь в кругу нескольких близких ему товарищей по ссылке его время проходило в частых откровенных с ними беседах и в чтении книг, в которых не было недостатка, так как жившие в Ялуторовске декабристы получали все сколько-нибудь замечательные литературные произведения. Кроме того, он вел обширную переписку с родными, прежними петербургскими и московскими знакомыми и со своими товарищами по ссылке, рассеянными по Сибири. Большой интерес представляет его переписка с бывшим директором Царскосельского

лица Е. А. Энгельгардтом¹⁸, который с большою нежностью и глубоким уважением относился всегда к своему бывшему воспитаннику. Из писем Пущина к Энгельгардту можно видеть, какое настроение и какие взгляды были у него во время ссылки. Так, в письме от 26 февраля 1845 г. он говорит: «Скоро минет двадцать лет сибирского разного рода существования. В итоге, может быть, окажется что-нибудь дельное: цель освящает и облегчает заточение и ссылку». «Горько слышать, что наше 19 октября¹⁹ пустеет: видно, и чугунное кольцо стирается временем*. Трудная задача так устроить, чтобы оно не имело влияние на здешнее хорошее. Досадно мне на наших звездноосцев²⁰; кажется, можно бы сбросить эти пустые регалии и явиться запросто в свой прежний круг. Мысленно я часто в вашем тесном кругу, с прежними верными воспоминаниями. У меня как-то они не стареют».

По обнаружении всеилостивейшего манифеста 26 августа 1856 г. Пущин выехал из Ялуторовска сначала в Москву, затем в Петербург, где с горячим сочувствием был встречен своими лицейскими товарищами и прежними знакомыми. Он виделся там с К. Данзасом²¹, который передал ему, что Пушкин во время последней своей болезни сказал: «Как жаль, что нет теперь ни Пущина, ни Малиновского»²²

В 1858 году Пущин женился на вдове своего товарища по ссылке Н. Д. Фонвизиной, урожденной Апухтиной. Он поселился в ее имении с. Марьине Бронницкого уезда, где и кончил начатые еще в Сибири свои записки о Пушкине. Здоровье его все более и более приходило в упадок. Пущин скончался 3 апреля 1859 года.

А. Бибикова

ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

I

Дом бабушки Софьи Никитичны Бибиковой¹ был настоящим музеем, и особая прелесть этого музея была в том, что у него была душа, что все эти картины и миниатюры, старинная тяжелая мебель и огромные книжные шкафы, мраморный бюст прадеда в большой двусветной зале — все это жило, все было полно воспоминаний. Каждая вещь имела свою историю и сохраняла в себе тепло семейной обстановки, печать привычек, вкусов, мыслей своих обладателей. Это все были живые свидетели прошлого, блестящего и трагического, прошлого в шитых мундирах и арестантской шинели, свидетели, связывавшие его с настоящим и неразрывно с самой бабушкой. <...>

* Е. А. Энгельгардт роздал чугунные кольца воспитанникам Лицея 1-го выпуска в знак прочности лицейского союза.

Бабушка была дочерью декабриста Никиты Михайловича Муравьева, родилась в Сибири на Петровском заводе и до тринадцати лет, т. е. до самой смерти отца, прожила с ним в ссылке. (<...>)

Никита Муравьев, фактический глава, вдохновитель и основатель сначала «Союза истинных и верных сынов отечества», а позже «Северного союза», автор «Конституции Российского государства»², был, правда, человеком очень образованным, любившим и увлекавшимся наукой, но книга не была для него сухой материей: она была его жизнью, из нее он почерпнул тот идеал, которым жил, которому не боялся служить на деле, а не на одних словах, которого не потерял за девятнадцать лет каторги и ссылки и за который там же в ссылке и умер. Не увлекающееся воображение, восторженность и горячие речи привлекли Никиту Михайловича в кружок блестящей светской, по большей части богатой молодежи, которую давил окружающий мрак, не смогшей равнодушно пройти мимо стольких страданий и «положившей душу свою за други своя». Но, с другой стороны, и не холодные выкладки и не логические рассуждения привели его в «Северный союз». Это был естественный результат и семейной обстановки и разговоров людей, среди которых он вырос. Он не мог иначе думать, иначе говорить, и как честный и благородный человек не мог [не] бороться за то, что считал своим долгом и единой правдой.

Никита Михайлович родился и вырос в семье, где Карамзин, Жуковский, И. П. Тургенев были лучшими друзьями и постоянными посетителями. Не мог не оказать большого влияния на него и отец его, Михаил Никитич Муравьев³, ученый, страстный библиофил, поэт и царедворец, впоследствии государственный деятель; он был призван императрицей Екатериной состоять кавалером, как тогда говорили, при великих князьях Александре и Константине Павловичах, т. е. читал им «Наставления в российском языке, в нравственности и словесности». Для своих воспитанников он написал «Краткое начертание российской истории», являющееся первой книгой в этом направлении, про которую современная критика писала, что она «написана пером ученого, политика и философа». Перу Михаила Никитича принадлежат многие труды по отечественной истории и географии. Что же касается его философии, то это была философия Руссо, перед которой он преклонялся, которой увлекался, воспевал ее и в прозе, и в стихах, изданных Жуковским уже после его смерти. Еще императрицей Екатериной он был пожалован сенатором, что в то время имело не только почетное, но и государственное значение. Правда, эта философия Руссо, заставившая почтенного сенатора отпустить на волю своих крепостных, не помешала ему быть государственным деятелем, товарищем министра народного просвещения, веселым и милым светским человеком; но та же философия, пересаженная на душу сына, привела последнего к каторге и ссылке. Различные поколения воспринимали ее различно. Михаил Никитич за свои труды по русской истории и географии был избран членом императорской Академии наук и разных других ученых обществ и назначен попечителем Московского университета.

Профессора относились к нему с уважением и большой любовью, что видно из предисловия к посмертному изданию его сочинений. Михаил Никитич, женившись на Екатерине Федоровне Колокольцевой, наследнице огромных имений в разных губерниях и миллионного состояния, всецело отдался своей любви к книгам и искусству. Он и всегда очень любил живопись и постоянно посещал студии художников, но после женитьбы он мог помогать им материально, что делал в широких размерах. Собранную им великолепную и обширную библиотеку он после смерти своей завещал Московскому университету.

С женой Михаил Никитич жил любовно и дружно. Их большой дом на Караванной улице был всегда открыт для друзей и родственников, которые, по тогдашнему обычаю, приезжая из провинции, иногда целыми семьями, подолгу жили у гостеприимной и бесконечно доброй Екатерины Федоровны. По воскресеньям были у них семейные обеды, и случалось, что за стол садились человек семьдесят. Тут были и военные генералы, и сенаторы, и безусая молодежь, блестящие кавалергарды и скромные провинциалы, и все это были родственники, близкие и дальние. Был тут и старик Николай Муравьев, заслуженный генерал, основатель школы колонновожатых, т. е. нынешней Академии Генерального штаба. Государь недолюбливал его за то, что он у себя в имении устроил не только школу грамотности для своих крепостных, но обучал их ремеслам и всячески старался облегчить жизнь. Был тут и сын его, Николай Николаевич, получивший наименование Карского, впоследствии наместник Кавказа, который восемнадцать лет читал уже блестящие лекции в школе колонновожатых. <...>

II

Особенно частым гостем бывал в доме Муравьевых Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, большой друг Михаила Никитича. Блестящий собеседник, умный, образованный, говоривший на нескольких языках, любивший и понимавший музыку, Иван Матвеевич в то же время был большим эгоистом и большим гастрономом. В качестве русского посла в Испании он долго жил за границей, и дети его воспитывались в Париже, где двое старших сыновей, Сергей и Матвей, учились сначала в лицее St. Loui (святого Людовика), а потом в политехникуме. Прожив, вернее, проев, все свое состояние, Иван Матвеевич поселился в оставшемся у жены его небольшом имении в 500 душ в Малороссии, куда взял с собой своего метрдотеля-испанца, которого всюду возил с собой и с которым никогда не расставался.

Сергей и Матвей Ивановичи Муравьевы-Апостолы, вернувшись из-за границы, поступили в лейб-гвардии Семеновский полк. Отец их после смерти первой жены вторично женился на Грушецкой и был не только равнодушен, но прямо-таки не любил детей своих от первого брака и был часто к ним несправедлив. Но старший брат

Сергей, благодаря своему уму и прекрасному сердцу имевший влияние не только на братьев и сестер своих, но и на отца, улаживал всегда раздоры в семье, где все его обожали. <...> Старшая дочь Ивана Матвеевича была за графом Ожаровским, вторая, Екатерина Ивановна, очень красивая собой, была сделана фрейлиной, принята при дворе и потом вышла замуж за Иллариона Михайловича Бибикова. (Старший сын их Михаил впоследствии женился на дочери Никиты Михайловича Муравьева, бабушке Софье Никитичне.)

Оба брата, Сергей и Матвей, делали поход четырнадцатого года вместе с Семеновским полком. Им приходилось очень плохо, потому что отец не посылал им ни гроша. Особенно трудно приходилось Матвею Ивановичу, который не был еще офицером, а только подпрапорщиком, и не получал жалованья. Под Кульмом он был тяжело ранен и оставлен на излечение в доме богатого бюргера, который очень заботливо ухаживал за ним и за другим раненым офицером-казаком. <...> Вступив в Париж вместе с русскими войсками, Матвей Иванович пошел навестить своего бывшего профессора из политехникума, который встретил его очень радушно и все не мог прийти в себя от изумления, что «русские варвары» никого не режут и не грабят. Он показывал ему при этом ружье и пистолеты, приготовленные им для своей защиты. Матвей Иванович боготворил брата, гордился им и, бывало, сердился, когда Сергей, не любивший показывать свой блестящий ум, держался в обществе в стороне и молчал. <...>

Матвей Иванович вышел из Семеновского полка еще до истории 1820 года, за которую Сергей Иванович был переведен в Бобруйск. Он был адъютантом князя Репнина в Киеве, когда на одном обеде, в то время как стали пить здоровье государя, отказался присоединиться к тосту и, не притрагиваясь, вылил на пол содержимое своего бокала. Историю удалось замять, но Матвею Ивановичу пришлось выйти в отставку. В сражении под Белой Церковью он участвовал уже в штатском платье и вместе с братом Сергеем Ивановичем был схвачен с оружием в руках, за что жестоко и поплатился. Младший брат Ипполит, узнав о неудачном конце сражения и о том, что старший брат Сергей тяжело ранен, тут же выстрелом покончил с собой. Старик Муравьев-Апостол потерял сразу всех трех сыновей, и ему самому было приказано выехать за границу. Матвей Иванович был отвезен в форт «Славу»⁴, откуда потом с фельдъегерем его повезли в Петропавловскую крепость на допрос. Везли на простой ямщицкой тройке. Подъезжая к Петербургу, подвязали колокольчик, затянули кузов кибитки простой рогожей и в таком виде повезли по Невскому проспекту в крепость. Перед этим фельдъегерь умолял Матвея Ивановича не губить его и не выглядывать из-за рогожи, что тот и исполнил, как это ни было трудно. Долго пришлось ему сидеть в одиночной сырой камере Алексеевского равелина, а потом несколько лет в Свеаборге. Свиданья разрешались с трудом, да и родных у него в Петербурге не было, кроме сестры Екатерины Ивановны Бибиковой, которой к нему не допустили. На прогулки водили очень редко, да и то в сопровож-

дении вооруженного конвоя и с завязанными глазами. Всегда на одном и том же месте какая-то таинственная, незримая личность накидывала заключенному мешок на голову, который снимался лишь по приходе на место. На обратном пути повторялась та же история. Как ни старался Матвей Иванович увидеть, кто проделывал эту процедуру, но она происходила так быстро, что ему не удавалось. В садике Алексеевского рavelина сторож показывал ему могли так трагически погибшей княжны Таракановой⁵. Чтобы иметь хоть какое-нибудь движение, заключенный выпросил себе щетку и кусок воску и каждый день усердно натирал пол своей камеры, доведя его до такого совершенства, что он стал гладок, как зеркало, и входившие к нему тюремщики и комендант скользили и падали, что доставляло ему много радости. Из крепости Матвея Ивановича повезли не в острог к товарищам, а в далекую Якутскую область, где поселили в юрте, в которой он жил совершенно одиноко в течение трех лет. Лишь раз в месяц казак привозил ему мясо и хлеб. Впрочем, его однажды навестила ученая экспедиция, отыскивавшая магнитный полюс⁶. Впоследствии на поселении он женился на дочери местного мелкого бедного чиновника⁷. Не имея детей, он удочерил двух девочек-сироток. (...) Хотя манифестом государя Александра II и было разрешено ему вернуться и жить в Европейской России⁸, но въезд в столицу был запрещен, так что дедушка Михаил Илларионович Бибииков, его родной племянник, брал его на поруки и ездил просить за него московского генерал-губернатора Закревского⁹ каждый раз, что ему надо было по делам приезжать в Москву. Во все свои приезды он всегда останавливался у своего племянника, дедушки Михаила Илларионовича, и бабушки Софьи Никитичны. Когда же наконец получил право жительства в столице, то окончательно поселился у них. Стальной организм и стальные нервы Матвея Ивановича выдержали все нравственные потрясения, голодовку, годы полного одиночества в сибирской тайге, и до глубокой старости он был очень бодр, много ходил и обладал завидным аппетитом. Говорили про него, что в старости он сделался большим эгоистом, но я думаю, что слишком много у него тяжелого и страшного в прошлом, о котором он не любил вспоминать. Говорил он с удовольствием о походах двенадцатого и четырнадцатого годов, о своей жизни в Париже, когда он учился в колледже (Collège de France). Отлично помнил коронацию Наполеона I и рассказывал о сказочной роскоши и блеске мундиров и карет коронационного шествия, на которое он смотрел, вскарабавшись на фонарный столб. О деятельности тайного общества, о восстании и жизни в Сибири он говорил очень неохотно. Но впечатления детства и молодости, самые для него радостные, он сохранил в памяти лучше всех. (...)

III

В 1807 году скончался Михаил Никитич Муравьев. Жена его Екатерина Федоровна бросила светскую жизнь и большую часть

времени стала проводить на своей даче на Каменном острове. Дача эта еще недавно принадлежала купцу Утину. Здесь навещали ее друзья и, между прочим, довольно часто бывший воспитанник ее мужа — государь Александр Павлович. Тут она, продолжая дело мужа, занялась тщательно образованием и воспитанием своих двух сыновей, Никиты и Александра, которых безгранично обожала и ни за что не соглашалась отпустить на военную службу. Никита Михайлович, кроме иностранных, в совершенстве владел латинским и древнегреческим языками, читая классиков в подлиннике совершенно свободно. Он увлекался историей, философией и математикой. Еще во время Отечественной войны он убежал потихоньку из дома и отправился в Москву, чтобы вступить в ряды ее защитников. Но этот побег едва не кончился для него весьма печально. Брѣдя пешком в окрестностях Москвы, он был схвачен и обыскан казачьим разъездом. На нем нашли географическую карту и путевые записки на французском языке. Этого было вполне достаточно, чтобы принять его за шпиона, и с ним собирались уже покончить, когда проезжавший мимо профессор Московского университета, часто бывавший в доме его отца, узнал его и спас. Но уже поход 1814 года Никита Михайлович, которому было в то время всего семнадцать лет, делал колонновожатым офицером и из Парижа обратно шел с гвардейским корпусом. Об этом походе он составил записку с чертежами и планом, представляющую большой интерес в военном отношении и хранящуюся в настоящее время у моего отца. После вступления русских войск в Париж молодежь, чтобы вознаградить себя за трудности длинного похода, бросилась веселиться и кутить. Но Никита Михайлович, заняв себе тихую комнату, читал и занимался целыми днями, ходил слушать лекции в Парижский университет и все свои деньги тратил на покупку книг. Вернувшись в Россию, он еще совсем молодым человеком женился по любви на молоденькой красавице графине Александре Григорьевне Чернышевой.

Четырнадцатое декабря жестоким ударом поразило семью Муравьевых. Семь членов ее было арестовано: Никита Михайлович и младший брат его Александр, корнет Кавалергардского полка, Сергей, Матвей и Ипполит Муравьевы-Апостолы, Артамон Захарович Муравьев и Александр Николаевич Муравьев. Началось следствие. Ипполит Иванович застрелился под Белой Церковью, Сергей Иванович был повешен, Никита Михайлович приговорен к повешению, но в последнюю минуту помилован и сослан на каторжные работы, где и умер, Артамон Захарович тоже скончался в Сибири, там же умер и Александр Михайлович. Из ссылки вернулись только Матвей Иванович да Александр Николаевич. Несчастливая Екатерина Федоровна Муравьева сразу же потеряла обоих сыновей. Она чуть с ума не сошла от горя и целые дни и ночи молилась. От долгого стояния на коленях у нее образовались на них мозоли, так что она не могла ходить, и совершенно ослепла от слез. Прабабка Александра Григорьевна Муравьева, рожденная Чернышева, потеряла не только мужа, которого обожала, но и единственного любимого брата своего Захара Григорьевича Чернышева, участвовавшего тоже в восстании

и сосланного в Сибирь. Александра Григорьевна решила ехать за мужем, хотя сердце ее разрывалось при мысли о разлуке с детьми, которых было трое, и младшему всего несколько месяцев. Но оставив их на попечение свекрови, она отправилась за мужем. Волконская, Трубецкая и Муравьева первые отправились за мужьями в ссылку. Насколько к декабристам все, даже начальство, начиная с фельдъегерей и кончая губернаторами, относились сочувственно, настолько все ужасались, ставили всевозможные препятствия женам их в их безумном, как все находили, предприятии. Волконская и Трубецкая вдвоем приехали на Нерчинские рудники, Александра Григорьевна одна и первая добралась в Читинский острог. Ей пришлось вынести на себе всю тяжесть и невзгоды, не только материальные, но и происходившие как от неопределившегося положения самих ссыльных, так и от невыясненного отношения к ним начальства. Во-первых, надо помнить, что в то время Чита не была даже городом. Это было небольшое заброшенное селение, насчитывавшее едва триста душ жителей, темных и бедных, едва добывавших скудным хлебопашеством себе хлеб насущный. Для прибывших ссыльных декабристов было построено три каземата. Их трудами засыпались ямы, рылись канавы, проводились дороги и [строились] мосты. Жены же их, стараясь устроиться получше, отстраивали и покупали дома, так что под конец пребывания декабристов Чита приняла мало-помалу чистенький и приглядный вид, а главная улица стала носить название Дамской. Александра Григорьевна первая купила дом и приспособила его к жизни.

Многие декабристы были брошены богатыми и знатными родственниками своими, старавшимися позабыть компрометирующее и опасное родство, а потому они терпели большую нужду, особенно в первое время. Не так было с Никитой и Александром Муравьевыми. Мать их, Екатерина Федоровна, после отъезда невестки переехала с тремя внучатами в Москву в приготовленный для нее заранее Жуковским дом и отсюда, пользуясь всякими представлявшимися случаями, посылала сыновьям деньги. Так как через III отделение можно было посылать только ограниченные суммы, то Екатерина Федоровна пользовалась всяческими оказиями. Конечно, многое пропало, но все же сыновья ее получали около сорока тысяч в год. Благодаря хлопотам жены и матери Никите Михайловичу удалось получить в Сибири почти всю свою богатую библиотеку, так что он мог читать своим товарищам по заключению интересные и блестящие лекции по истории и военному искусству. К бабушке Софье Никитичне еще приезжал иногда бывший сибирский купец-миллионер, потом разорившийся, Кузнецов. Он был одним из посредников по передаче денег Никите Михайловичу, и при этом единственным честным посредником. Бабушка встречала его радостно и с почтением, а он для этих посещений одевал парадные клетчатые брюки в обтяжку, огромный шелковый галстук бабочкой, крахмальные воротнички, подпиравшие подбородок, завивал кок на голове и был очень похож на Далматова в «Свадьбе Кречинского». Благодаря получаемым деньгам Александра Григорьевна могла устроиться довольно

сносно и очень много помогать другим. Не только для мужа, но и для остальных заключенных она являлась истинным провидением. «Ее красота внешняя, — пишет барон Розен в своих воспоминаниях, — равнялась ее красоте душевной; она была нашим ангелом-хранителем». В других записках ее называют «незабвенной и праведной». И действительно, много кротости, любви и вместе с тем твердости выказала эта молодая двадцатичетырехлетняя женщина. Придя в первый раз на свиданье с мужем, она нашла его в кандалах, в душевой, тесной каморке, совсем больного. Кроме того, и видеться она могла с ним не больше часа в день, и то лишь два раза в неделю и в присутствии дежурного офицера. Удавалось ей видеть в свое окно, как мимо вели на работу закованных в кандалы мужа и брата. Всегда веселая и спокойная на свиданиях своих с мужем, она в одиночестве жестоко мучилась и тосковала по оставленным в России детям. Несчастливая мать не обманывалась в своих горестных предчувствиях. Через год после ее отъезда умер ее единственный сын, а дочери вдали от матери, лишенные ее забот, обе тяжело заболели. Одна умерла совсем юной, другая не вынесла тяжелого горя, висевшего мрачным покровом над осиротевшим домом, почти монашеского затворничества с ослепшей, убитой горем бабкой, тоски и постоянного ожидания свидания с любимой матерью и сошла с ума.

Никогда ни единым словом не проговорила Александра Григорьевна мужу о своем горе. Три года в Читинском остроге строго соблюдались правила затрудненных свиданий жен декабристов с мужьями. Правила эти были ослаблены только перед переходом заключенных в Петровский завод. Недолго пользовалась Александра Григорьевна тем правом, для которого принесла столько жертв. Печальный случай, имевший место на одном из ее свиданий с мужем, подорвал ее здоровье и силы. Чтобы чаще видеть мужей своих, дамы во время прогулок заключенных подходили к частоколу, окружавшему острог, и простаивали там по несколько часов с тем, чтобы перекинуться с ними хоть несколькими словами. В одно из таких свиданий пьяный дежурный офицер, некто Дубинин, набросился на Александру Григорьевну, стал ругаться грубыми, площадными словами и так толкнул, что она упала. Молодая женщина была беременна и преждевременно произвела на свет ребенка, который очень скоро и умер. Когда в остроге узналось это происшествие, то возмущенные узники стали упрекать офицера; тот, спяну решив, что это бунт, приказал караулу сомкнуть штыки. На шум прибежал плац-адъютант, племянник отсутствовавшего коменданта Лепарского, и кое-как увел разбушевавшегося офицера¹⁰. После этого случая Александра Григорьевна стала слабеть, а нездоровая, низкая и сырая местность, где был построен Петровский завод, постоянная ходьба в острог во всякую погоду и заботы, за неимением возможности, недостаточно теплая одежда, частоты и тревоги — все это подорвало ее силы окончательно, и она скончалась в 1832 году, оставив мужу четырехлетнюю дочь — бабушку Софью Никитичну. Смерть Александры Григорьевны была тяжелой

потерей для всех. Она больше всех заботилась и помогала своим товарищам по несчастью. «Кошелек ее был открыт для всех», — вспоминает Якушкин. Ей принадлежала мысль построить больницу, и она же выписала из Москвы аптеку и хирургические инструменты. Хоронили Александру Григорьевну в Чите в деревянном гробу работы Н. А. Бестужева, поставленном в другой, свинцовый, гроб работы того же Бестужева. Чтобы почтить память дорогой всем покойницы, декабристы на ее могиле соорудили неугасимую лампаду.

IV

Совершенно убитый тяжелым горем, прадед Никита Михайлович искал утешения в вере и молитве. Если раньше у него был серьезный характер, то теперь он стал нелюдим, молчалив, еще больше замкнулся в себе, целые дни проводя за книгами.

Декабристы, переходя на поселение, получали по пятнадцати десятин земли, и многие с увлечением занялись земледелием, разводя неизвестные дотоле Сибири овощи, фрукты, [заводили] лошадей и овец улучшенной породы. В последней отрасли особенно удачно хозяйничал Н. А. Бестужев — мастер на все руки. Еще в остроге он умудрился, не имея никаких инструментов, смастерить прекрасные часы, которые подарил А. Г. Муравьевой, впоследствии долго хранившиеся у бабушки Софьи Никитичны. Чтобы успешно пасти своих овец, Бестужев построил себе в лугах хижинку и гонял свое стадо, не расставаясь в то же время с книжкой Тацита¹¹ на латинском языке.

Никита Муравьев был поселен в местечке Урике, недалеко от Читы, и тоже занимался огородничеством, разводя с большим успехом дыни и арбузы. С ним, кроме дочери, жил брат Александр Михайлович, который благодаря тому, что был «младшей категории» [осужденных], гораздо раньше должен был уехать на поселение из острога, но выхлопотал разрешение остаться в нем со старшим братом до окончания его срока и житья с ним. <...>

Никита Михайлович сам занимался образованием своей дочери и передал ей свою страсть к книгам и свою глубокую веру и религиозность. Он умер, когда бабушке было всего тринадцать лет. Согласно приказу императора Николая, дети декабристов приписывались к мещанскому сословию. Как дети государственных преступников они лишались фамилий своих отцов, вместо нее нося фамилии, переделанные из преступного имени отца, теряя в то же время все права и преимущества. Кроме того, по смерти родителей дети подлежали отдаче в казенные учебные заведения. То же случилось и с бабушкой. Когда скончался Никита Михайлович, гувернантка ее, жившая и воспитывавшая ее со смерти матери, отравилась, и бабушка осталась совершенно одна. А между тем, согласно воле государя,

ее надо было везти немедленно в институт в Москву. И вот, убитая горем, неожиданно выброшенная из колеи привычной семейной обстановки, тринадцатилетняя бабушка помчалась навстречу новой жизни в сопровождении своей няни и с фельдъегерем на козлах брички. Примчались они к московской заставе вечером. При помощи большой суммы денег родным удалось подкупить караул у заставы и фельдъегеря, который согласился привезти Софью Никитичну в дом ее бабки, где она провела ночь среди родных. Перед рассветом фельдъегерь отвез ее обратно за заставу, и тогда уже шлагбаум поднялся, чтобы пропустить девицу мещанского звания Софью Никитичну. Под этой фамилией бабушка была записана в Екатерининский институт, куда и отвезена в той же бричке и тем же фельдъегерем. Такая резкая перемена всего жизненного уклада, недавняя смерть обожаемого отца, полное одиночество не могли не повлиять на бабушку, и она сильно затосковала. Бабка ее, Екатерина Федоровна, и тетки ее матери, пользуясь сильными своими связями при дворе и опасаясь за ее здоровье, стали хлопотать о разрешении увезти ее за границу, что им и удалось.

Бабушка долго жила со своей теткой гр[афиней] Чернышевой-Кругликовой в Италии, а потом в Висбадене, где тетка ее скончалась и была похоронена. После смерти бабки Софья Никитична осталась на попечении своих теток со стороны матери и очень их полюбила. У графа Григорья Ивановича Чернышева кроме старшей дочери Александры Григорьевны, бывшей замужем за Никитой Михайловичем Муравьевым, было еще пять дочерей. Все они были красивы, все они славилась своей эксцентричностью и все были замужем. <...>

V

Бабушка Софья Никитична вышла замуж за своего дальнего родственника, Михаила Илларионовича Бибикова. Отец его, Илларион Михайлович, хотя и не участвовал в декабрьском восстании и не был членом никаких обществ, все же пострадал четырнадцатого декабря. Прадед был очень хорошо образованным человеком, окончив Дерптский университет. Потом он поступил в Александровский гусарский полк, но во время Отечественной войны перешел в отряд известного партизана Фигнера¹², женатого на его сестре Вере Михайловне Бибиковой. С отрядом Фигнера он проделал весь поход. <...> Причисленный к лейб-гвардии Гусарскому полку, полковник свиты государя, прадед был на пороге блестящей карьеры. Он был женат на Екатерине Ивановне Муравьевой-Апостол — сестре декабристов Сергея и Матвея Ивановичей. Когда разразился бунт, прадед вышел к Гвардейскому экипажу, уговаривая солдат разойтись. Те приняли его в палаши. Видя это, Рылеев и некоторые другие офицеры, знавшие его как зятя Муравьевых-Апостолов и встречавшие его у них, закричали солдатам: «Стойте, братцы, это наш!» В беспамятстве удалось им спасти Иллариона Михайловича, и, накрыв его солдатской шинелью,

чтобы не было видно вензелей на эполетах, отнесли его во двор Семеновских казарм. Но нашлись «добрые люди», донесшие обо всем государю. Слова «он из наших» погубили прадеда. Николай Павлович снял с него вензеля и всю жизнь не давал ему ходу по службе, мытаря его губернатором то калужским, то саратовским. Так как у прадеда состояния не было никакого, но была огромная семья, то ему приходилось очень плохо. К концу царствования Николая Павловича прадед был самым старым генерал-майором во всей русской армии. Только с воцарением Александра II, когда декабристы были прощены, снята была опала и с прадеда. Его произвели в генерал-лейтенанты, потом назначили сенатором. Как и большинство его современников, Илларион Михайлович был очень образованным человеком и отлично знал древние языки. Когда он заболел и был при смерти, созвали консилиум, и врачи, чтобы больной не узнал о своем безнадежном положении, говорили между собой по латыни. Тогда больной, открыв глаза, сказал им, что его приводит в отчаяние не безнадежность его состояния, а те ошибки, которые они делают, разговаривая по латыни. Дедушка Михаил Илларионович был [его] старшим сыном. Служил он сначала в Петербургском уланском полку, а потом, чтобы быть ближе к дяде Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу и восстановить с ним хоть какую-нибудь связь, устроился адъютантом к генерал-губернатору Сибири графу Строганову¹³. В Сибири он впервые и познакомился с бабушкой. <...>

После свадьбы дедушка Михаил Илларионович вышел в отставку и поселился с женой в Москве. Купили они дом Фонвизина на Малой Дмитровке. Дом этот с садом, прудом, оранжереей, конюшнями, даже огородом и амбарами, был довольно обширной усадьбой, кишевшей многочисленной дворней. <...> Дом был не совсем обыкновенным. Про строившего его Фонвизина говорили, что он был мастером одной из масонских лож и дом свой предназначал для каких-то масонских обрядов или собраний, почему и построил его особенно. Почти весь дом был занят огромной двусветной залой, имевшей вид храма прямоугольной формы. В одном конце к ней примыкали кабинет и гостиная полукругом, так что весь дом имел форму корабля. При этом особенность самой стройки была в том, что гигантские бревна были поставлены стоймя. В этот старинный и странный дом бабушка вносила столько воспоминаний прошлого, столько духа «не от мира сего», так молчаливо и таинственно, точно скрывая в себе невысказанные истории, стояли огромные шкафы с книгами и тяжелая мебель, что весь дом представлялся мне каким-то храмом, где царил культ какого-то прекрасного и далекого бога, культ воспоминаний. И в самом деле, каждая вещь была с ним связана. Старинное кресло, на котором в Сибири умер прадед Никита Михайлович; рабочий столик в виде жертвенника, старинный, массивный и тяжелый, подарок прадеда жене; всевозможные часы, портреты, миниатюры, изображавшие разных прабабок и кузенов. Важны были не имена Левицкого, Тропинина, Изабэ, Соколова¹⁴, а история жизни изображенных лиц.

Как все это благоговейно показывалось и смотрелось! Это все были страницы жизни, и при этом в рассказах и воспоминаниях проходили, как китайские тени на экране, фигуры декабристов Волконского, Трубецкого, Свистунова, Оболенского, Поджио, барона Розена, Сутгофа, Якушкина и многих других, вернувшихся из Сибири и собиравшихся у бабушки в доме по пятницам. Львиная голова А. П. Ермолова, характерная фигура Николая Николаевича Муравьева-Карского, Закревского, tante Nathalie, tante Lise и многих, многих других.

И среди этого прошлого бабушка Софья Никитична в своем неизменном черном простом платье, с крупными морщинами на характерном лице, с белыми, как серебро, волосами. Несмотря на скромное, почти бедное платье, от нее веяло таким благородством, такой истинной барственностью, которая невольно всеми чувствовалась. На всю ее жизнь и на характер неизгладимый отпечаток наложила ее жизнь с отцом, все, что она видела и слышала в детстве. Бабушка не только любила своего отца, она его просто боготворила и свято чтит его память и все, что он успел передать ей из своих знаний. <...> Она была глубоко и искренно равнодушна к блеску, свету и почестям и ни за что не захотела записать сыновей своих в Пажеский корпус. Вместе с тем Софья Никитична не могла не унаследовать много семейных черт и со стороны Чернышевых, и получилось много странностей. Жила бабушка совершенно в стороне от действительной, практической жизни, живо интересуясь лишь литературой, политикой и искусством. Она прекрасно знала всю Италию, Францию, Швейцарию, которые изъездила вдоль и поперек, но совершенно не знала географии собственного дома, и однажды, не желая доставлять прислуге лишних хлопот, решила вернуться к себе через черный ход, заблудилась и кончила тем, что попала в комнату камердинера и переполошила весь дом. Вообще эта скромность, это желание оставаться как можно незаметней, одеться как можно проще, эта боязнь помешать, дать людям лишнюю заботу — характерная черта чернышевской семьи, часто приводившая к большим курьезам и как раз к обратным результатам. <...>

Бабушка Софья Никитична пережила много горя в своей жизни, схоронила одного за другим всех, кто более всего были ей дороги <...>. [Она] надела траур, которого уже никогда больше не снимала, терпела и ждала. Ждала она смерти, ждала радостно, без страха, но с твердой надеждой, что там, за дверями гроба, она встретит всех, кого любила. И она дождалась прекрасной смерти. В тот год [1892. — *Сост.*], как и всегда, Софья Никитична весь великий пост почти ничего не ела и целыми часами простаивала в церкви, очень устала и почувствовала слабость; но на страстной говела и причащалась, а на второй день Светлого праздника, вернувшись из церкви, почувствовала себя дурно, схватилась за сердце и упала мертвой. <...>

3. И. Лебцельтерн

ЕКАТЕРИНА ТРУБЕЦКАЯ

⟨...⟩ В 1820 году, в бытность нашу с родителями в Париже, сестра моя Екатерина познакомилась с капитаном императорской гвардии князем Трубецким. Она часто встречала его в доме нашей кузины г-жи Потемкиной, урожденной княжны Голицыной, которая вместе со своим мужем жила тогда в Париже. Мы часто ездили к ним по вечерам, молодые люди подолгу беседовали и постепенно привязались друг к другу. Сестра моя была мила и добра, князь был воплощением сердечности, скромности и душевного благородства, они должны были подойти друг другу. В конце концов он просил ее руки и женился на ней 12 мая 1821 года в Париже. По возвращении в Россию мать¹ отвела им в своем доме комнаты, где они зажили совершенно отдельно, независимо от нее. К тому же она дала дочери хорошее приданое, так что ничто не препятствовало счастью этой семьи, у которой было все — взаимная любовь, молодость, достаток, всеобщее уважение (смею утверждать это!) и все радости жизни. Одного им не хватало — у них не было детей, и это огорчало их.

Через три года после их женитьбы я вышла замуж за графа Лебцельтерна, австрийского посланника при русском дворе, человека весьма умного и любезного, легко привлекавшего к себе симпатии и производившего хорошее впечатление на всех, с кем приходилось ему общаться. Мы жили вместе в деревне матушки. Достоинства сестры и ее супруга заставили моего мужа привязаться к ним, и хотя ему известны были либеральные взгляды моего зятя (которых он и не скрывал), но тот выражал их настолько осторожно, с такой умеренностью, что он никогда не испытывал по этому поводу никакого беспокойства и у него не закрадывалось ни малейшего подозрения. В конце 1824 года князь Трубецкой, назначенный адъютантом генерал-губернатора Киева и относящихся к нему областей, отправился по месту назначения. Жена сопровождала его. Казалось, они были довольны новым местожительством, однако к концу 1825 года попросили отпуск и приехали в Петербург, откуда должны были затем вновь возвратиться в Киев. Остановились они в прежней своей квартире, в доме моей матери; мы в ту пору жили у Аничкова моста, довольно далеко отсюда. ⟨...⟩

⟨...⟩ Смерть императора Александра оживила надежды либералов. Трехнедельное междуцарствование, которое затем последовало, благоприятствовало их деятельности. Великий князь Константин был тотчас же провозглашен императором; все войска принесли ему присягу, во всех церквах возносили молитвы за императора Константина. Однако он еще до того давно отказался наследовать престол, который, в силу его отречения, должен был перейти к его брату, великому князю Николаю. ⟨...⟩

Днем 12(24) декабря император Николай получил все доказательства существования направленного против него заговора, он должен был вспыхнуть назавтра, в день его официального восшествия на престол. Заговорщики должны были явиться в Сенат и заставить собравшихся там сенаторов принять предлагаемую ими конституцию, в то время как полки, выведенные на площадь для принесения присяги верности государю, должны были отказать присягать ему и кричать: «Да здравствует Константин!», — ибо воцарение императора Николая изображалось ими как узурпация престола. <...> Государь несколько раз велел обратиться к солдатам вернуться к исполнению их долга, однако сзади стояли заговорщики, они подстрекали и смущали их. Храбрый и достойнейший генерал Милорадович был убит мятежниками как раз в тот момент, когда обратился к ним с отеческой речью. Один из них попытался убить брата императора, великого князя Михаила, но не попал в него². <...>

Солдатам был отдан приказ стрелять. Двух часов сражения оказалось достаточно, чтобы обратить противника в бегство. Они бежали во дворы соседних домов, в подвалы, всюду, куда только могли. Я слышала тогда разговоры, что всех их поймали. Когда все было кончено, государь вернулся во дворец, где его ждали все те, кого он пригласил накануне, чтобы поздравить его. Дамы были ни живы ни мертвы, мужчины — чрезвычайно взволнованы. У государыни от нервного потрясения с того дня начала трястись голова, и это осталось у нее на всю жизнь.

<...> Государь провёл весь вечер и ночь, самолично допрашивая арестованных, которых к нему приводили.

В домах на Исаакиевской площади во многих окнах оказались разбитыми стекла; дом матушки, находящийся рядом с Сенатом, был в их числе. Вместе со всей семьей, включая сестру и зятя, она перебралась к своей матери, занимавшей квартиру в доме другой своей дочери, моей тетки. Дом этот стоял напротив того, часть которого мы занимали с господином Лебцельтерном. Во время мятежа дипломатический корпус находился на площади подле императора. Господин Лебцельтерн, страдавший лихорадкой уже два дня, сам не мог туда отправиться, а послал нескольких молодых чиновников посольства, которые каждые полчаса по очереди приезжали докладывать ему обо всем, что там происходило. Вечером, узнав, что все наши собрались у бабушки, я тотчас же отправилась туда и, так как ей было бы затруднительно устроить у себя всех, предложила моей сестре с мужем провести ночь у нас. Она же, как оказалось, опередила меня и еще ранее приходила к г-ну Лебцельтерну, чтобы просить его в том же. Я обрадовалась этому, как радуются институтки всякому нарушению привычного порядка, и была в восторге от того, что мы проведем с сестрой несколько дней под одной крышей. Мы все вместе пришли к нам домой и сидели в кабинете г-на Лебцельтерна; туда зашло несколько человек, разговор шел о прошедших днем событиях, назывались имена арестованных; зять мой не говорил ни слова, но подбородок его дрожал. Мы знали, что он дружен с теми, о ком говорили, и его волнение нас не удивляло.

Между полночью и часом мы разошлись; князь и моя сестра — в мою спальню, которую я им уступила; мне приготовили постель на диване в кабинете г-на Лебцельтерна, который устроился в соседней комнате, так как все время чувствовал недомогание. Я крепко заснула и только утром следующего дня узнала о том, что произошло ночью. Между тремя и четырьмя часами г-н Лебцельтерн услышал стук в дверь и узнал голос графа Нессельроде³, требовавшего, чтобы открыли. Он встал, открыл дверь, не понимая, что могло вызвать визит в такой час, тем более что граф вошел в сопровождении адъютанта государя, князя Андрея Голицына, известного под именем Андре-Мишель. Граф сообщил г-ну Лебцельтерну, что зять мой находился во главе заговора и что государь требует его к себе для разговора. Г-н Лебцельтерн стал уверять, что этого не может быть, что для подобного подозрения нет ни малейшего основания; он сказал, что сейчас разбудит князя Трубецкого и все выяснится. Он вошел к князю, тот выслушал его, встал и совершенно спокойно оделся. Когда он вышел к этим господам, у тех невольно вырвалось: «Да, конечно, на преступника он не похож». Тем не менее они увели его, усадив между собой в сани, которые ждали у дверей, и отвезли его во дворец. Сестра, очень взволнованная, не хотела отпускать от себя г-на Лебцельтерна; тот, уже совершенно успокоившись насчет ее мужа, который ведь даже не появился на площади, попытался успокоить ее, но затем оставил ее и пошел лечь, чтобы немного отдохнуть. Сестра вышла к завтраку — она была печальна и встревожена, но держалась довольно спокойно. Мы утешали ее, как могли, даже на мгновение не допуская мысли о том, что обвинение, предъявленное ее мужу, может оказаться справедливым. Это был человек добрый, кроткий, как ангел, он не способен был даже сделать выговора слуге; у него был просвещенный ум, он был полон всяких новых идей, смягченных, однако, свойственной его характеру умеренностью. Разве таков тип заговорщика? Главы заговора? Кто мог в это поверить? Всеми уважаемый, всеми любимый, достойный доверия порядочных людей — вот каков был князь Трубецкой, я утверждаю это, — никто из знавших его не мог бы меня оспорить. Все мы нежно его любили. Жена его была совершенно счастлива с ним, страстно любила его, что помогало ей легче переносить свою бездетность.

Каковы же были наше изумление и наша скорбь, когда в два часа приехала графиня Нессельроде и подтвердила то, что ее муж сообщил ночью г-ну Лебцельтерну. Мы все еще не смели этому поверить, когда сестре принесли записку, написанную по-русски рукою ее мужа (она и теперь у меня перед глазами). Он писал: «Не сердись, Катя... Я потерял тебя и себя погубил, но без злого умысла. Государь велит передать тебе, что я жив и «живым» останусь». Эти последние слова, внушавшие надежды на будущее, были дописаны по приказу государя, который читал через плечо князя, пока тот писал; далее следовали слова, выражавшие любовь его к жене. Эта записка ошеломила нас. Теперь уже не оставалось более ни сомнений, ни надежд. Сестра прочла ее сравнительно

спокойно, и ей тотчас же пришла мысль написать князю Александру Голицыну, человеку порядочному⁴ и близкому к государю, чтобы через него просить государя о свидании с мужем или, по крайней мере, разрешения переписываться с ним. Но от волнения она не в состоянии была сама написать это письмо и попросила г-на Лебцельтерна его составить. Он согласился и вскоре прочел то, что написал. Там была такая фраза: «Мой муж ни в чем не виновен, призываю в том небо в свидетели». — «Нет, — сказала она, — вымарайте эту фразу». Напрасно он объяснял ей, что никто не осудит жену, которая свидетельствует о невинности своего мужа. Ничто-ничто не могло ее убедить, она настояла на том, чтобы фраза была вычеркнута, переписала письмо набело, подписала его и отправила. Через два часа пришел ответ, что ей дозволяется посылать своему мужу все, что нужно, и иметь с ним переписку. Однако при условии, что письма будут пересылаться открытыми.

Положение Трубецких было ужасным, положение же г-на Лебцельтерна тягостным и щекотливым. Он, австрийский посланник, мало известный новому царю, в первый же день нового царствования, начавшегося при подобных обстоятельствах, в самый день мятежа предоставил убежище главе мятежников, который приходится ему зятем, с которым у него были дружеские отношения, чьи намерения, по крайней мере можно было предположить, были ему известны⁵.

Будучи опытным дипломатом, он еще прежде почувствовал, что последние три недели произошло что-то необычное, и предупредил об этом графа Нессельроде, который не пожелал прислушаться к этому и, вероятно, не поверил. Ходили слухи, будто это все дело рук Австрии, действовавшей через своего посланника. Австрии? Но ведь заговорщики ненавидели Австрию, столь беспощадно преследовавшую их и у себя, и за пределами своей страны⁶. С какой же целью, ради чьих интересов стала бы она теперь помогать их делам? К тому же, разве предложил бы граф Лебцельтерн убежище своему виновному зятю, заведомо зная, что ему придется выдать его по требованию русского правительства, и понимая вдобавок, что австрийское правительство никогда не простит ему того, что он принял его у себя. <...>

Молодые люди из посольства встречали князя и у нас, и в других местах, были о нем самого хорошего мнения; они были знакомы со многими из заговорщиков, видались с ними в знакомых домах, и те никогда не позволяли себе ничего, что могло бы их сколько-нибудь скомпрометировать. Никогда ни одна тайна, известная такому большому числу людей, не сохранялась лучше и добросовестней; одни считали себя связанными клятвой, другие, вероятно, были напуганы ею, но все молчали. Все иностранные посольства и миссии оставались в таком же неведении, в каком упрекали нас, между тем как глава одного из посольств пользовался дружеским расположением великого князя Николая еще до его восшествия на престол; и, насколько мне помнится, когда г-н Лебцельтерн однажды заговорил с посланником Дании, графом

Бломом, о возможности заговора, граф Блом, живший уже в России тридцать или сорок лет, отверг эту мысль, говоря: «Да вы что, не знаете эту страну? Никогда ничего подобного здесь не произойдет», — и посмеялся над этим вместе с графом Нессельроде.

Г-н Лебцельтерн отправился к графу Нессельроде посоветоваться, как ему теперь быть. Решено было обо всех обстоятельствах со всей откровенностью доложить государю и спросить его от лица г-на Лебцельтерна — следует ли ему оставить у себя свою свояченицу, княгиню Трубецкую, потому что ему было бы очень тяжело просить ее съехать в тех суровых обстоятельствах, в которых она находится. Послание отправили государю, который ответил, что мужу дозволяется оставить мою сестру у себя. Причиной обращения к государю было то, что никто пока еще не знал, будут ли арестованы жены и семьи заговорщиков, и г-н Лебцельтерн не хотел отпускать мою сестру, не удостоверившись, что с ней не случится ничего дурного, — он был убежден, что по отношению лично к нему будет проявлена известная осторожность, несмотря на шекотливое положение, в котором он оказался, предоставив приют моей сестре. Государь все это понял, ответ его ободрил г-на Лебцельтерна, и он решил оставить у себя мою сестру до тех пор, пока не надобно будет за нее опасаться. Он был с ней крайне предупредителен; я проводила с ней большую часть времени, стараясь утешить ее и пробудить в ней надежду. Она пыталась угадать, какова будет участь мужа и ее собственная, и благоразумно хранила молчание о заговорщиках и о заговоре. Только узнав о том, что главные из них в тюрьме и во всем признались, она стала в разговоре касаться того предмета, о котором часто спорили заговорщики в ее присутствии, ибо она знала их как близких друзей мужа. По всему судя, она считала, что их намерением было дать России конституцию, но что осуществление этого проекта было отложено на совершенно неопределенное время, ей казалось, что это скорее пожелания, нежели намерения, и они просто ради забавы составляют конституцию, вырабатывают планы восстания, намечают людей, которые, по их мнению, могут быть использованы. Однако как-то в Киеве она была так напугана их речами, что отозвала в сторону Сергея Муравьева (одного из руководителей) и будто бы сказала: «Ради бога, подумайте, что вы делаете, вы и нас всех погубите, и свои головы положите на эшафот». Он постарался успокоить ее, говоря: «Неужели вы думаете, что мы не делаем все, что нужно, чтобы обеспечить успех наших замыслов? К тому же речь ведь идет о совершенно неопределенном времени, не бойтесь же». — Слова сестры, увы, оказались пророческими, восемь или девять месяцев после того, как они были произнесены, Муравьев и четверо его сообщников были казнены на валу С.-Петербургской крепости; князь Трубецкий, приговоренный к 20 годам каторжных работ и на вечное поселение, отправился в Сибирь, а жена его добровольно последовала за ним. Увы! ей не суждено было оттуда вернуться. Та же участь постигла 124 заговорщиков. Говорили, что будто число их доходило до шести тысяч, но больше никого не тронули. Через три недели

после того как жены и семьи заговорщиков были объявлены совершенно непричастными к их делу, сестра моя вернулась к матери, на ту квартиру, которая так полна была для нее теперь счастливых и горестных воспоминаний.

Надобно геперь сказать о том, где находился ее муж в день 14(26) декабря. Военные рано утром должны были приносить государю присягу. Так это или не так, но в решающую минуту его там не было. А он был у своей сестры, графини Елизаветы Потемкиной, жившей неподалеку от Исаакиевской площади. Графини дома не было. Вернулась она не так скоро и сразу же спросила, не приходил ли брат; ей ответили, что не приходил, но ушел или нет — этого никто не видел; его долго искали по всей квартире, пока графине не пришло в голову заглянуть в свою моленную; здесь-то она и обнаружила его лежащим без сознания перед образами, никто не знал, с какого времени. Его подняли, положили на диван, привели в чувство. На все вопросы он отвечал как-то сбивчиво; и вдруг, услышав отчетливый грохот пушки, схватился за голову и воскликнул: «О боже! вся эта кровь падет на мою голову!» Сестра не поняла, что он хочет этим сказать. Князь ушел от нее, когда все уже было кончено и он смог проводить свою жену и ее родителей к моей бабушке, затем пришел к нам. Вот все сведения, которые я смогла собрать о том, что делал он в тот роковой день. Ночью он препровожден во дворец и предстал перед государем⁷. Рассказывали, что государь был гневен и угрожал ему, затем велел пройти в соседнюю комнату и там написать свое признание. Ознакомившись с ним, государь признал его недостаточным, однако князь ничего больше к нему не добавил. Вот тогда-то он и получил разрешение написать жене ту записку, которая повергла всех нас в ужас и изумление. Когда он входил в покои его величества, была еще ночь, комнаты были освещены слабо и лицо вновь прибывшего разглядели не сразу. Велико было удивление, когда его узнали, но оно еще возросло, когда он вышел из кабинета государя *без шапки!* Никто не мог поверить, что он причастен к заговору. Это казалось почти невероятным, ведь все так уважали и почитали его! Его препроводили в крепость, где он оставался до отправки в Сибирь. Следствие длилось больше шести месяцев. Надо было посмотреть бумаги участников заговора, допросить их, сопоставить их показания; бумаги князя забрал из его кабинета генерал артиллерии Сухозанет⁸, муж одной из моих кузин; таким образом, доказательства были в руках Следственной комиссии. Когда процесс закончился, был опубликован доклад, где излагалась вся история заговора и давалось резюме признаний его участников⁹. С тех пор заговорщики не раз заявляли, что там неверно было изложено. Может быть, в отношении отдельных подробностей и лиц это и так; но можно ли объявлять неверным самый факт существования заговора, возникшего еще в 1815 году и теперь приведенного в действие? И столь же неоспоримый факт участия в заговоре обвиняемых (оставшиеся в живых еще до сих пор откровенно этим гордятся), тех, кого новые преобразователи почтительно именуют «декабристами»? Можно было впоследствии

оспаривать своевременность наказания, его суровость, длительность его сроков, но оспаривать факт существования заговора было невозможно.

Перед пасхальными праздниками графиня Потемкина, к которой при дворе относились с благоволением, написала государю письмо, в котором умоляла допустить ее и мою сестру в крепость, чтобы поздравить с праздником дорогого им узника. <...>

Обе они могли немного утешиться, проведя с князем вечер в крепости, правда, в присутствии коменданта, который приказал принести самовар и попросил сестру разливать чай, чтобы муж ее хоть на мгновение почувствовал себя как дома. Сестра навсегда сохранила воспоминания об этом вечере и без конца рассказывала нам о нем тысячи мельчайших подробностей.

Между тем положение г-на Лебцельтерна становилось невыносимым, несмотря на деликатность и такт, проявляемые государем по отношению к нему. В Вене это понимали; его отозвали в тот самый день, когда он собирался обратиться к князю Меттерниху с просьбой об этом¹⁰. Как раз в это время оказалось, что я беременна, и в конце мая мы спешно выехали в Вену, не попрощавшись даже с моей семьей. С тех пор я никогда больше не видела сестры.

В июле был объявлен приговор Следственной комиссии: Пестель (наиболее виновный из всех главарей), Сергей Муравьев, Рылеев (поэт), Каховский и Бестужев-Рюмин приговаривались к лишению гражданских прав и к повешению; остальные — к лишению гражданских прав, к каторжным работам в Сибири, одни пожизненно, другие на 20, 15, 10 и 5 лет, а затем на вечное поселение. Как и обещал государь, зятю была сохранена жизнь, он был приговорен пожизненно. Приговор был приведен в исполнение. Поскольку в России не существовало смертной казни за преступное деяние, совершенное группой лиц (военных же преступников обычно расстреливали, что случалось весьма редко), во всей России не оказалось палача и его выписали из Швеции¹¹. По его ли вине, или же какой другой причине, но под троими приговоренными оборвалась веревка, они упали довольно с большой высоты и, говорят, громко кричали, требуя, чтобы их прикончили¹². Кто-то предложил доложить государю об этом неожиданном происшествии в надежде, что этим троим будет дарована жизнь, но генерал, распорядившийся казнью¹³, воспротивился этому и отдал приказ их немедленно снова повесить, что тотчас же и было исполнено. В числе этих дважды казненных были, мне кажется, Муравьев и Каховский, не помню, кто был третьим. Этот жестокий поступок генерала отвратил от него все сердца. Сейчас над ним совершился уже божий суд, и мне не следует больше рассуждать об этом печальном предмете.

Оставшиеся в живых вскоре были отправлены в Сибирь; им надели кандалы, однако не заковывали по двое, как это делают согласно ужасному обычаю, принятому в так называемой цивилизованной Европе. Через некоторое время весь двор отправился в Москву на церемонию коронования государя.

Моя сестра, решившаяся последовать за своим мужем, уже приняла для этого некоторые шаги; к ней присоединилась княгиня Мария Волконская и еще несколько дам. Но правительство отговаривало их, пугая тем, что у них не будет там слуг, что им придется самим себя обслуживать, и представляя им все трудности задуманного предприятия. Косвенный отказ этот их не остановил. Сестра вместе со своей матерью отправилась в Москву просить аудиенции у государыни и умолять ее добиться от государя этой милости для себя и для других жен. <...> Государь, уже и прежде давший согласие на то, чтобы сестра была принята государыней, теперь разрешил нашей дорогой просительнице последовать зову сердца, а также уведомить своих подруг по несчастью, что и им также дозволено ехать. Но как пуститься двадцатипятилетней женщине в такое дальнее путешествие одной, без всякой защиты? Так как никто из родных не мог сопровождать ее, с ней вызвался поехать секретарь моего отца — швейцарец г-н Воше, обещавший не оставлять ее до тех пор, пока не доставит ее к мужу. Это был с его стороны поистине самоотверженный поступок, ибо он плохо говорил по-русски и страдал грудной болезнью. Дело было осенью, а если в России — осень, то в Сибири — уже настоящая зима. Правительство не возражало против этого. У меня сохранились записки об этом путешествии, написанные целиком рукой г-на Воше. Путешествие продолжалось шесть недель, ехали днем и ночью, и хотя у сестры началась лихорадка, она так стремилась догнать князя и так боялась, что это ей не удастся, что не желала слушать никаких уговоров. У нее была одна мысль: вперед, все время вперед, чтобы скорее добраться до Иркутска. <...> Г-ну Воше удалось проникнуть в тюрьму [Иркутска], и каково же было изумление и радость заключенных, когда они его увидели! Многие из них знали его по Петербургу, мой зять видел его ежедневно у моего отца. «Князь, — сказал он ему, — я вам привез княгиню, она здесь, в Иркутске». При этих словах князь бросился обнимать его, стал расспрашивать о всех подробностях их отъезда, путешествии и т. д. и т. д. Только на следующий день свиделась сестра с князем. Можно представить себе их встречу! После этого она виделась с ним, насколько я помню, два или три раза в неделю. Г-н Воше отправился в обратный путь. Едва он возвратился в Петербург, как правительство, под предлогом якобы совершенных им оплошностей, распорядилось выслать его. <...>

В Иркутске ссыльные должны были только сделать остановку, местом их назначения был Нерчинск, недалеко от Кяхты, на китайской границе <...>. Путь их лежал через Байкал, была уже глубокая осень, надо было торопиться, пока озеро не замерзло. Внезапно наступившие холода заставили ускорить отправку ссыльных. <...>

Два раза в неделю женам разрешалось навещать их и беседовать с ними. В остальные же дни они приходили на определенное место, мимо которого проводили арестантов, и молча на них смотрели. Но даже и в те дни, когда им разрешены были свидания, они, несмотря на сильные морозы, оставались на улице. В один из таких дней

князь, заметив, что у жены распахнуты ее меховые сапожки, попенял ей на это. Оказалось, что она вытащила из них тесемки и пришила к шапке, которую смастерила для одного из заключенных, чтобы тот мог защитить голову от ужасного холода, царившего внутри шахты. Она тогда отморозила себе ноги. Потом, казалось, все это прошло, но спустя какое-то количество лет она уже не могла ходить, ее возили в кресле. А впоследствии, наоборот, она носила свои зимние сапожки летом, так как все отдала товарищам по несчастью и ей не на что было купить башмаки. <...>

Мой зять был приговорен к 20 годам каторги, после которых должен был навечно поселиться где-нибудь в Сибири. На каторге он провел 13 лет, после чего всех отправили на поселение, но не в одно место, как это было до сих пор, — их разъединили и расселили по разным местностям, более или менее отдаленным друг от друга. Таким образом, то, что, казалось, должно было облегчить их участь, сделало ее тяжелой, вследствие разобщенности. Моего зятя отправили в маленькую деревушку Оёк, в трех часах езды от Иркутска. Крестьяне там были совершенными дикарями, средств к существованию у поселенцев не было никаких, и я не знаю, как им удалось найти там жильё. Не помню только, сколько времени они там оставались, знаю только, что сестра получила разрешение поехать в Иркутск в связи с болезнью одного из детей. Немного позднее мужу позволили съездить к ней и детям, затем, с молчаливого согласия властей, они в конце концов остались в Иркутске и больше в Оёк не вернулись.

Моя мать велела купить и подарила сестре прекрасный дом с садом. Губернатором Иркутска был генерал Муравьев¹⁴, которым ссыльные не могли нахвалиться. <...>

В 1850 году мы имели несчастье потерять нашу мать, состояние ее было поделено между ее четырьмя дочерьми. Поскольку сестра отправилась в изгнание добровольно, ей не предъявлялось никакого обвинения и она не подвергалась никакому суду, она получила свою часть наследства, что позволило ей дать дочерям приданое. <...>

Вскоре после смерти матери сестра заболела, и в конце концов у нее обнаружили чахотку. Но нам об этом не сообщили. Мы издавна знали, что она страдает грыжей, из-за которой не может ходить, и что по дому и в саду ее возят в кресле. Поездка в Кяхту, как видно, тяжело отразилась на ее здоровье, и каково же было наше удивление и наше горе, когда мы узнали о ее грудной болезни и смерти, последовавшей 14 октября 1854 года. <...> Ей было 54 лет, 28 из них она провела в Сибири. Все оплакивали ее, ибо все, кто ее знал, уважали и любили ее, высоко ценили ту ее беспримерную преданность, постоянными свидетелями которой являлись. <...>

МЕМУАРЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ОППОЗИЦИИ В РОССИИ

(из дневника С. Ф. Уварова)

Сегодня, 16/28 сентября, мы были у Нарышкиных. Какой прекрасный и добрый старик Мих[аил Михайлович] Нарышкин! что за славная старушка его жена, урожд[енная] гр[афиня] Коновницына! <...> Супруги говорили наперебой, но как трудно узнать от них что-либо существенное!.. Начнем с того, чем начали они! Это мой замечательный дядя Лунин, о котором они сохранили яркие воспоминания. Нарышкин был с ним сперва в Чите, а затем в Петровском остроге. Они были на каторжных работах. Летом таскали песок, зимой мололи зерно. Они это делали, чтобы не заслужить даже тени упрека, но это вовсе не требовалось; их начальником был добрый Лепарский, который, говоря с ними, всегда обнажал голову и задавал тон всем окружающим. В течение 1¹/₂ лет они носили цепи — кандалы на ногах, прикрепленные к поясу. В Чите они жили в тесноте, по 6 человек и более в одной камере, но Петровский [завод] был уже подготовлен заранее, и здесь каждый имел свою камеру. Жены их жили по соседству. <...>

Мой дядя Мишель [Лунин] выходил [из камеры] мало; нужно было постучать в дверь, прежде чем войти к нему. <...>

Он рассказывал о своем пребывании в Париже. После того как он принял вызов [на дуэль] вел [икого] кн[язя] Константина (этот вызов был ему брошен в Петербурге)¹, он оставил службу вопреки воле своего отца. Тогда покойный Сергей Михайлович² завещал ему только свою библиотеку (по словам Нарышкина, очень хорошую, насчитывавшую 3000 томов). Мишель разыграл ее в лотерею, распространил билеты среди своих товарищей и выручил что-то около 12 тыс. р. асс. Он пустился в плаванье; противные ветры забросили его в Швецию. В Германии, пока хватало денег, он носил свою фамилию. Во Франции у него уже не осталось ни гроша, и он стал называть себя, Сен-Мишель. Он жил в пансионе у некой мадам Мишель, которая привязалась к нему. <...> Он зарабатывал иногда по 10 франков в день писанием писем — он сделался публичным писцом и возил по бульварам свою будку на колесах. Он рассказывал, как ему случалось писать любовные письма для гризеток. Затем он переводил коммерческие письма с французского на английский. Он писал их, завернувшись в одеяло, не имея дров в своей мансарде. Наконец, однажды, когда он был за столом, послышался стук кареты на мостовой, привыкшей лишь к более или менее целым сапогам мирных пешеходов. Входит Лаффит³, спрашивает у него имя, вручает ему 100 000 франков. Лунин приглашает весь ошеломленный табльдот во главе с мадам Мишель на обед за городом, дарит мадам кольцо и по окончании обеда прощается с ними навсегда.

Один русский (кажется, Полторацкий) приходит в исправительный суд, и кого же он видит — Мишеля (он скрывался от русских),

разглагольствующего в пользу кучера, привлеченного по обвинению в том, что он задавил прохожего. Мишель давал показания как свидетель в оправдание кучера, причем с таким красноречием, что бедный кучер был признан невиновным.

В тюрьме (как слышали Нарышкины в Урике) Мишель был занят своими мемуарами. Что с ними случилось, никто не знает. Они должны были быть отосланы матушке — матушка никогда их не получала. Она узнала о их существовании только от Бенкендорфа, который вызвал ее в 3-е отд[еление] и сообщил ей о новом преступлении Мишеля; преступник Михайло Лунин, как (если не ошибаюсь) он был назван в уже упоминавшемся мною письме, в котором 3-е отд[еление] сообщало матушке, что оно вынуждено запретить Мишелю всякое писание на один год и один день... Ей было сказано, что он подлежал расстрелу, но что это наказание заменено вторым заключением в Акатуйск [Акатуй]. Говорят, что Мишель давал переписывать свои мемуары (которые должны были быть очень объемистыми) какому-то мелкому чиновнику; что тот начал хвастать своей работой, всюду ее показывать, и все открылось.

Нарышкины рассказывали еще, как Мишелю представлялись два случая к бегству. Вел. князь Константин уже получил приказ о его аресте, но тут Мишель попросил отпуск на неделю, чтобы поохотиться. Вел. кн[язь] разрешил; когда Лунин уехал, адъютант вел. кн[язя] грек Курута упрекнул его за это разрешение ввиду полученного приказа. «Я знаю Лунина, он не захочет бежать», — ответил вел. кн[язь]. При отъезде Лунина вел. князь велел сказать ему, чтобы в знак старой дружбы он взял его собак. <...>

У дяди в Свеаборге был еще один случай бежать. Местный комендант предлагал ему побег, но Мишель отказался, представив ему опасности, в которые его великодушие ввергнет его самого и его семейство. Причину первого отказа Нарышкин видел в том, что Мишель боялся своим бегством поставить под угрозу судьбу своих товарищей и однодельцев. Что касается других [декабристов], то им, кажется, никогда не представлялась возможность бегства⁴. <...>

<...> Один только Анненков — этот мог бы бежать. Его бегство готовилось умелыми руками, существом, прибывшим из страны, где конспирировать умеют, где умеют целеустремленно действовать и умеют выбирать средства поразительной глубины и энергии. Француженка, которая к нему была так привязана, сговорила с капитаном американского судна об устройстве побега своему возлюбленному. Сторговались на 50 000 р. асс. Она обратилась к матери Анненкова, женщине, любившей одни только наряды и с головой, набитой аристократическими предрассудками. Она никогда не пожелала увидеть молодую француженку⁵. На этот раз, на просьбу о деньгах, она ответила афоризмом, своей невероятностью достойным увековечения: «Невиданное дело, чтобы кто из Анненковых бежал». И сын пошел дорогой изгнания и каторжных работ.

Мой дядя Мишель хорошо знал различные языки, но не русский. На такой-то русский он вбил себе в голову перевести

св. Августина. Но, по замечанию г-жи Нарышкиной, он не умел подбирать подходящие слова, напр., hortus он переводил как огород, не зная, по-видимому, слова «вертоград» (и припомнив польский ogrod, потому что польский он знал в совершенстве, а стихами соперничал с Мицкевичем⁶).

Неужели невозможно что-нибудь найти из этого драгоценного наследия?

Наконец, они нам рассказали еще о его свидании с Пушиным Сергеем Ивановичем, прибывшим в их края в качестве инспектора. Кажется, это было уже в Акатуйске, а может быть, еще в тюрьме? Мишель принял его сперва очень холодно, но когда С[ергей] Ив[анович] сказал ему, что пришел не как чиновник, что в этом качестве ему нечего здесь видеть, Мишель бросился к нему на шею. <...>

В заключение Мих[аил] Мих[айлович] сказал о нем, что он обладал исключительной силой характера, а Лизавета Петровна — что он пришел слишком рано. В общем супругам (и вообще большинству декабристов) в высшей степени свойственно умаление себя — это столь типическая русская черта. Они оправдываются молодостью, неизвестно чем. Возражают они только против действий (следственной) Комиссии. <...>

Мих[аил] Мих[айлович] Нарышкин учился на колонновожато-го в Москве у Ник[олая] Ник[олаевича] Муравьева. 100 дней. Его брат Нарышкин устраивает его в свой полк — Псковский пехотный. Они прибывают после битвы при Ватерлоо. Восторг, вызванный новыми идеями (а не тайными обществами, как говорится в донесении Комиссии). Вернувшись в Москву перед отъездом в Петербург в Семеновский полк (прежний), Мих[аил] Мих[айлович] обратился к Александру Ник[олаевичу] Муравьеву с просьбой дать ему какие-нибудь рекомендации к будущим товарищам. <...> Александр Николаевич рекомендовал его Бурцову (кавказскому герою)⁷, и тот принял его в Общество Благоденствия. <...> Присягу [при вступлении в тайное общество. — *Сост.*] не приносили — достаточно было честного слова не раскрывать установлений общества — впрочем, все знали о его существовании... все порядочные люди были там. <...> Они брали на себя обязательство продвигать друг друга по службе для блага государства, готовить лучшие порядки, усугублять свое образование. По вечерам они посещали лекции лучших профессоров права. <...> Ко времени события 1825 г. Мих[аил] Мих[айлович] был уже два года в Москве, женат. Он был взят и прибыл в Петербург в феврале 1826. Его доставили между двумя жандармами в Манеж, находившийся тогда вблизи Зимнего дворца... Отсюда его доставили в крепость. Затем их повезли в З[имний] дворец к самому Николаю, который тоже разыгрывал следователя. Царь встретил его словами: «Я рад, что недолго служил с вами; я вас тогда уже дознавал». <...> Отсюда его доставили в крепость, где он был заключен в Синий павильон. Почти каждую ночь его вызывала Комиссия, он туда ездил закутанный в попону. Чтобы установить для него вину, ему, напри-

мер; предъявили обвинение в царубийстве, и на каком основании — потому что однажды Ник[ита] Мих[айлович] Муравьев пришел к нему совершенно расстроенный и сказал, что некоторые предлагают расправиться с августейшей семьей! Он, следовательно, [обвинялся] на основании слов, услышанных им с неодобрением два года назад! Но формула *присяги* включает в себя донос на все, что против казенного интереса.

Я осведомлялся у него о действиях духовенства. Он имел дело только с порядочными священниками. Он даже подружился с некоторыми из них. Тот, кто увещевал его в тюрьме⁸, убеждал его ничего не бояться, а советоваться только со своей совестью и не выдавать своих товарищей. Тот, кто присутствовал при казни, пришел в слезах рассказать о ней заключенным. Даже подручные на площади были расстроганы — С. Муравьев-Апостол, сорвавшись с виселицы, весь окровавленный от ушибов при падении, бросился на колени и молился за Россию и за того, по чьему приказу он должен был умереть⁹. <...> Руководил этим актом грубейшего варварства Чернышев¹⁰, впоследствии князь, — на эту роль его назначили по праву.

Этот самый Чернышев при помощи имп[ератора] Николая потратил немало труда на то, чтобы получить майорат Чернышевых, — так как законный наследник был на каторге, к кому же как не к нему должен он был перейти. К счастью, случай политической смерти был предусмотрен основателем майората (кажется, дедом Захара¹¹, маршалом времен Екатерины) — Чернышев просчитался. Ему пришлось проглотить презрение аристократии. Одна из самых знатных дам закрыла перед ним свои двери, тем не менее Чернышев втерся в ее салон; все сделали вид, что его не замечают. Хозяйка дома, в присутствии Чернышева, вызвала своего дворецкого и, указывая пальцем на этого господина, сделала ему строгий выговор за то, что его пропустили, несмотря на ее ясный приказ. <...>

Мих[аил] Мих[айлович] дает трогательные подробности о жизни, которую они вели в ссылке. Они образовали кассу для тех, у кого не было никого в России, или отвергнутых родными. Установили сумму в 500 руб. асс. на расходы на одного человека в течение года. Ив[ан] Ив[анович] Пущин управлял этой кассой и пользовался таким доверием, что те, кто был помилован или кого лучшая доля перенесла на Кавказ, посылали ему деньги для бедных ссыльных в его полное и безоговорочное распоряжение. Кстати, об Ив[ане] Ив[ановиче] — он умер. Его брат С[ергей] Ив[анович] — о нем я говорил. Другой его брат, Мих[аил] Ив[анович], служил в саперных войсках (понтонеры), был отличаем императором Николаем и не принадлежал ни к какому тайному обществу. 25 декабря он не пожелал присоединиться к своему полку — его разжаловали в солдаты и отправили на Кавказ¹². <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. Д. ФРАНЦЕВОЙ О М. А. ФОНВИЗИНЕ

Михаил Александрович был сын Александра Ивановича Фонвизина — родного брата известного Дениса Ивановича Фонвизина¹.

Отец Михаила Александровича женился на двоюродной сестре своей, вследствие чего Мамоновы оспаривали законность этого брака, желая лишить детей его права на наследство мамоновского огромного имения, что и побудило Александра Ивановича поместить в военную службу сына своего Михаила Александровича, едва достигшего 15-летнего возраста; и точно, за отличие его по службе высочайше утверждены были права его на мамоновское наследство.

Михаил Александрович служил в лейб-гвардии Измайловском полку и произведен в офицеры под Аустерлицем в 1805 году. В 1812 году он был адъютантом начальника штаба — Алексея Петровича Ермолова, который особенно любил и уважал его и даже в своих записках упоминает о нем: «при Малоярославце, — пишет Ермолов, — храбрые адъютанты мои поручик Фонвизин и артиллерии поручик Поздеев чрезвычайно мне способствовали всюду, куда ни посылал я их, не менее верил им, как самому себе».

Во время кампании Михаил Александрович скоро дослужился до полковничьего чина, так что в 1813 году он находился в авангарде у города Провэнса (Provins), где дивизионный командир назначил ночлег и велел дать отдых солдатам, расположив их по квартирам. Ночью маршал Удино² напал врасплох на весь авангард; русские ударили тревогу, и войско выступило, не успевши одеться, с одними ружьями в руках. Тут был взят в плен весь отряд русский, в том числе и Михаил Александрович Фонвизин и Константин Маркович Полторацкий. Французы сняли с них обувь и мундиры. Маршал же Удино, увидев пленных, тотчас велел Фонвизина снабдить одеждой и с рекомендательным письмом к друзьям своим отправил его в Париж, где он жил на свободе и ласково был принят. Когда союзные войска стали подходить к Парижу, всех пленных отправили в Бретань. Там находилось несколько тысяч пленных русских и австрийцев. {...}

Между жителями было много роялистов. Фонвизин, узнав от них, что дело Наполеона проиграно, решился поднять белое знамя³, уговоривши на это заранее всех русских пленных. Они завладели арсеналом, обезоружили караулы и сделались хозяевами в городе, объявив его на военном положении. Австрийские офицеры побоялись принять участие в этом деле; лишь один из них, славянин, уговорил австрийских рядовых пристать к русским. В подкрепление к войску Наполеона шел, между другими, конноегерский полк, которому следовало пройти через город. Фонвизин согласился на это под одним условием, чтобы полк прошел через город обезоруженный, оружие же на подводах следовало за полком⁴.

По вступлении союзников в Париж Александр Павлович очень сухо принял Фонвизина, бывши недоволен его самоуправством; но вслед за тем Фонвизин, будучи представлен королю Людовику XVIII, был осыпан его ласками. <...>

В 1815 году Фонвизин командовал полком в корпусе гр[афа] Воронцова⁵, командовавшего оккупационным русским отрядом во Франции в течение трех лет. Возвратясь в 1818 году в Россию, в эпоху аракчеевского владычества, он не мог вынести новых порядков и вышел в отставку; но в скором времени граф Петр Александрович Толстой, который командовал корпусом в Москве, упросил Фонвизина вновь поступить на службу и назначил его командиром егерского полка, где он устроил на свой счет юнкерскую школу. Узнав об этом, граф Дибич⁶ при посещении школы до того был восхищен этим учреждением, что представил государю проект об учреждении для юнкеров казенных школ.

Михаил Александрович Фонвизин был так любим и уважаем офицерами полка, что при выходе его в отставку офицеры поднесли ему на память золотую шпагу. Насколько же он был обожаем и солдатами за свое кроткое и человеческое обхождение с ними (у него в полку запрещено было даже телесное наказание), доказывает следующий эпизод из его казематской жизни. Когда впоследствии образовалось так называемое тайное общество, Фонвизин вступил в него и принимал в нем деятельное участие. 14-го декабря 1825 года он лично не был замешан в деле, будучи в своей подмосковной деревне Крюкове, теперешней Крюковской станции по Николаевской железной дороге. Здесь он был арестован, увезен в Петербург и посажен в Петропавловскую крепость.

Во время его заточения в крепости случилось однажды быть в карауле солдатам того полка, которым он прежде командовал; во время его прогулки по берегу Невы вокруг крепости под конвоем этих солдат они, рискуя жизнью, убеждали и умоляли его воспользоваться свободой и бежать. Как он ни был тронут и поражен такой преданностью с их стороны, но, конечно, не согласился ради своей свободы подвергнуть их наказанию и в то же время ухудшить положение своих товарищей, которые после его побега подверглись бы, конечно, еще более строгому надзору. <...>

А. И. Иванов

ОДИН ИЗ ДЕКАБРИСТОВ.

ГАВРИИЛ СТЕПАНОВИЧ БАТЕНЬКОВ

(из воспоминаний старого сибиряка)

С Батеньковым я был знаком в пятидесятых годах. Я жил тогда в Томске, и он часто приезжал ко мне с своего подгородного хутора «Соломенного».

Это был человек еще совсем бодрый, удары судьбы хотя и надломили его силы, но не могли сокрушить железного организма, каким наделила его природа. На вид ему казалось не более 55 лет, роста он был немного выше среднего, плотный, лицо смугловатое, с легкими, едва заметными рябинками.

Он не любил говорить о своем прошлом. Однажды жена моя, не зная еще его (я тогда только что женился), неосторожно коснулась его больного места. Мы обедали, когда он приехал к нам, и за столом она узнала, что он не ест мяса.

— В самом деле? — спросила она. — И давно?

— Давненько, лет двадцать пять будет.

— Что же послужило причиной такой продолжительной диеты?

— Каменный мешок, в котором я, волею судеб, в один печальный день очутился.

— Каменный мешок! Что это такое? Расскажите, пожалуйста, — спросила она, не зная его прошлого.

Батеньков вздрогнул и, уклоняясь от прямого ответа, проговорил:

— Это были мои политические похороны, а мертвые не любят, когда тревожат их прах. Попросите лучше мужа, он, наверно, кое-что слышал об этой печальной истории и охотно удовлетворит ваше любопытство.

Разговор оборвался, мы с женой не знали, с чего начать, чтобы выйти из неловкого положения, но Батеньков сам поспешил к нам на помощь, поднялся со стула и стал прощаться.

— Куда же вы? — спросила жена. — Сейчас подадут самовар, я угощу вас чаем.

— Спасибо, когда-нибудь в другой раз я с удовольствием выпью у вас стакан чаю, а теперь, извините, не могу, тороплюсь навестить Ольгу Петровну Лучшеву¹. Она, говорят, нездорова.

И, сделав короткий поклон, торопливо вышел.

Родился Батеньков в Сибири в небогатой дворянской семье, рано потерял отца и первоначальное воспитание получил в тобольском военно-сиротском отделении, а потом доканчивал образование в Петербурге, в кадетском корпусе, откуда вышел в артиллерию. Молодым офицером он участвовал в знаменитых войнах 1812, 1813, 1814 и 1815 годов и под Монмиралем получил десять штыковых ран, от которых чуть не сошел в могилу². В 1816 году произведен в подполковники с переводом в инженерный корпус и назначен в Томск управляющим округом путей сообщений.

Сибирь в то время была, как известно, страной всякого произвола и беззакония. Генерал-губернаторская власть не имела никакого значения. Генерал-губернатор Пестель, протеже всемогущего Аракчеева, проживал постоянно в Петербурге и из своей петербургской квартиры четырнадцать лет управлял краем. Трудно приходилось Батенькову в таком хаосе нравственного безобразия. Честный по натуре, он не мог примириться с окружающей обстановкой и начал деятельную борьбу с злоупотреблениями. Мелкие чиновники

с улыбкой смотрели на эту борьбу, а старшие, в руках которых сосредоточивалась местная власть, старались на каждом шагу делать ему всевозможные неприятности и довели усердие до того, что Батеньков стал не на шутку подумывать бросить службу и бежать из Сибири. Неожиданная весть о назначении Сперанского³ изменила сразу его намерение. Он знал Сперанского и был вполне уверен, что с приездом его в Сибирь прекратятся все баззакония.

Сперанский принял Батенькова любезно, расспрашивал о служебной его деятельности, и когда он, не скрывая истины, рассказал о тех интригах, которые велись против него местною властью, пожал ему руку и сказал, что надеется найти в нем полезного сотрудника.

С этой минуты служебное положение Батенькова стало более определенным. По желанию Сперанского он принял участие в знаменитой сибирской ревизии, результатом которой было предание суду двух губернаторов: иркутского Трескина и томского Илличевского и 680 чиновников, обвиняемых вместе с ними в вопиющих злоупотреблениях и колоссальных хищениях, размеры которых, по учету Сперанского, простирались до 2 850 000 руб. Кроме того, ему как сибиряку, близко знакомому с бытовой стороной народной жизни, поручалось разработать некоторые вопросы общего распорядка для нового сибирского положения, которое составлялось под руководством Сперанского. В то же время Гавриил Степанович не покидал своих прямых обязанностей: строил мосты, исправлял грунтовые дороги, а свободные минуты отдавал знакомым или посвящал своему любимому детищу — местной школе, в которой ввел ланкастерскую методику обучения и составил руководство для преподавания геометрии.

Из знакомых Батеньков чаще всего бывал в семействе Аргамачевых. Ему нравились эти простые и добрые люди, и особенно их дочь Полина, нежная, любящая девушка, готовая за любимым человеком пойти на край света, — характер того времени, отразившийся в одном из литературных типов — в «Капитанской дочке» Пушкина. Батеньков давно ее любил, но по своей застенчивости не говорил ей о своей любви. Полина без слов понимала, что творится в его душе, но тоже старалась казаться равнодушной. Роман их продолжался довольно долго, и только неожиданный случай раскрыл тайну их любви. Однажды Батеньков застал Полину в слезах.

— Что с вами, Полина Николаевна? — спросил он испуганно.

— Ничего, — отвечала она, смахивая платком слезы.

— Как ничего? Вы плачете.

— Много будете знать, скоро состаритесь, — заметила она, улыбаясь сквозь слезы.

— Не шутите, Полина Николаевна, а не то я сам заплачу, — сказал он.

Тогда она, рыдая, сообщила ему, что один из их знакомых, Полуянов, сделал ей предложение и что он завтра придет за ответом.

Тут только Батеньков решился признаться в любви. Вместо ответа Полина протянула ему руку и повела его к матери.

Поздно вечером возвратился Гавриил Степанович домой, по привычке присел было к письменному столу, но не мог заняться делом.

Счастливым заснул он в эту ночь, не подозревая, что над ним завтра же оправдается пословица: человек предполагает, а бог располагает.

На другой день Сперанский объявил ему, что едет в Петербург и берет его с собой. Эта неожиданность была громовым ударом для обоих влюбленных. Батеньков настаивал на немедленной свадьбе, но родные Полины не согласились на такую поспешность, говоря, что это похоже будет на крестьянскую свадьбу «убегом»*, и, несмотря на слезы невесты, отложили свадьбу до возвращения Гавриила Степановича из Петербурга.

В Петербурге Батеньков по рекомендации Сперанского получил место делопроизводителя Сибирского комитета. Это почетное повышение огорчило его не на шутку, так как отдаляло свадьбу на более продолжительное время, чем он рассчитывал, а вместе с тем и лишало его отдыха, которым он думал воспользоваться в Петербурге, находясь при Сперанском без определенных служебных занятий. Гавриил Степанович загрустил. Петербургская жизнь давила его, точно весь Петербург превратился в одну сплошную аракеевскую казарму. Батеньков возобновил свои связи с тайным обществом «свободных каменщиков», стал посещать их вечерние собрания, где говорилось о равенстве, братстве и свободе⁴. <...>

Настало 14 декабря 1825 года, и Батеньков очутился в сыром, холодном каземате, сначала в Свартгольмском форте на Аландских островах, а потом в Петропавловской крепости.

Прошло двадцать лет. Однажды император Николай Павлович, как говорит устное предание, спросил коменданта Петропавловской крепости: «Где Батеньков?» — «Не могу знать, ваше величество!» Батеньков был затерян <...>. Император велел разыскать Батенькова. Обшарили Сибирь, заглянули во все тюрьмы и остроги, но Батенькова нигде не было. Наконец, комендант Петропавловской крепости доложил государю, что в одном из казематов содержится какой-то секретный арестант, имя которого никому не известно. Оказалось, что это и был Батеньков. Государь, говорят, вздрогнул, узнав об этом, и велел немедленно перевести Батенькова в квартиру коменданта, снабдив всем нужным, предложив избрать для жительства город в Сибири. Батеньков не верил своему освобождению, слезы градом текли по его изможденному лицу; глаза, привыкшие к полутьме, дико блуждали с предмета на предмет, точно он видел все в первый раз в жизни. Говорить он не мог.

* В Сибири в небогатых крестьянских семьях вошло в обыкновение для сокращения свадебных расходов выходить замуж «убегом». Невеста, как бы тайно от родителей, бежит с женихом прямо под венец.

Думали, что он лишился языка и помешался. Но кризис через несколько дней миновал, оставив в Батенькове только некоторые странности.

Придя в себя, Гавриил Степанович попросил дать ему за все время ареста газеты, местом же для жительства он избрал Томск, где прошли счастливые дни его молодости, где он впервые полюбил и был любим.

Тяжело забилося сердце Батенькова, когда он въезжал в Томск. Все прошлое моментально поднялось в его памяти, как будто этой ужасной долголетней разлуки не существовало, а был тяжелый, болезненный сон. Вот та самая улица, по которой он часто ходил к Аргамаковым, вот дом деревянный, обшитый потемневшим тесом, где они жили, вот окно, в которое Полина смотрела, поджидая его. Теперь оно пусто, никого не видно, только легкий ветерок играет с опущенной кисейной шторой, поднимая ее беспрестанно, чтобы показать бледное, исхудалое лицо молодой еще женщины, сидящей у стола за работой.

В Томске Батеньков застал еще свою Полину. Она считала его давно умершим и каждый год служила по нем панихиды. По воле родных она вышла замуж за другого, обзавелась семейством, овдовела и скромно доживала век, посвятив себя воспитанию детей. Гавриил Степанович по-прежнему стал бывать у ней в доме, привязался к ее детям и, хотя она была свободна, не шел дальше дружеских отношений, сознавая, что между ним и ею легла целая пропасть.

Старые друзья помогли Батенькову приобрести небольшой участок пригородной земли. Он выстроил на нем избенку, покрыл по-малороссийски соломой, завел небольшое хозяйство и зажил одиноким хуторянином. Из лиц, которые не покидали его в несчастии, самым значительным был граф Н. Н. Муравьев-Амурский. Проезжая из Иркутска в Петербург и обратно, он никогда не забывал навестить старого хуторянина, а нередко прямо останавливался у него в «Соломенном», чтобы напиться чаю и переменить лошадей.

Пользуясь расположением графа, Гавриил Степанович делал много добра. По его ходатайству немало сирот и детей бедных родителей были приняты Муравьевым на казенный счет в Иркутский институт и другие учебные заведения. Жизнь Батенькова в «Соломенном» отличалась чрезвычайной скромностью, по складу она походила несколько на крестьянскую. Вставал рано, работал в своем небольшом садике, поправлял грядки, пересаживал рассаду, очищал и подрезывал деревья, кормил домашнюю птицу, смотрел за удоом коровы, в свободные часы читал запоздалые петербургские газеты и для развлечения выезжал навестить своих друзей, из которых самыми интимными были: Полина Николаевна Бабылина и Ольга Петровна Лучшева.

Зимой домашние занятия несколько видоизменялись: вместо садоводства и огородничества Батеньков отгребал снег от избенки, подчищал дорожки и т. д. Общественных увеселений и приглашений

на семейные праздники он не признавал и никогда на них не присутствовал, считая неприличным ссыльному являться среди благородного общества. Когда я задумал жениться и приехал звать его на свадьбу, он торжественно отказался от такой чести, говоря шутливо:

— Какой я свадебный кавалер, у меня и сапог, приличных такому торжеству, не имеется.

— А это что, разве не сапоги? — указал я на пару почти новеньких сапог, лежавших на ящике.

— Сапоги, да только не свадебные, а скорее похоронные: они были на мне в роковой день 14 декабря 1825 г.

— Как хорошо сохранились, — заметил я.

— Неудивительно: я сидел — они преспокойно лежали.

Заметив нервное подергивание лица, которое появлялось всегда у Батенькова при воспоминании о пережитых страданиях, я переменял разговор...

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУЛАТОВ

(из воспоминаний его сводного брата А. М. Булатова)

В 1822 году скончалась матушка, и семейство наше состояло из отца и трех братьев: старшего, Александра, полковника л.-гв. Гренадерского полка, меня, также Александра, тогда уже поручика того же полка, и младшего, Михаила, воспитывавшегося в Пажеском корпусе и впоследствии камер-пажа вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Старший брат был наш единокровный, как рожденный от первой жены нашего отца. После смерти матери своей он воспитывался у родственников ее, так как отец всю первую половину царствования Александра I был постоянно в действующей армии, так что между ним и нами ничего не было общего, кроме родства¹; мы не сходились ни характерами, ни воспитанием, ни образом мыслей. Матушка наша была женщина строгая, душою преданная царственной семье, любила свое отечество и по времени была весьма образованная. Имея в Петербурге громадный круг знакомства, она пользовалась большим авторитетом и уважением; лучшее общество собиралось в ее гостиной. <...> После ее кончины отец решился нас не покидать, но воля государя была для него закон, и он в 1824 году отправился в Сибирь к новому месту своего служения.

В это время старший наш единокровный брат был уже женат на дочери тайного советника Ив[ана] Андреевича Мельникова — Елизавете Ивановне, имел двух детей, дочерей, — Пелагею 4-х лет и Анну 3-х лет. В 1823 году он назначен был полковым командиром 12-го егерского полка в дивизии Н. М. Сипягина, стоявшего в г. Керенске Пензенской губернии, и затем отправился к полку со всем семейством. Часто он мне писал, и все письма его дышали страстию к молодой жене, нежно им любимой. Вдруг сделался перерыв

этой переписки, и через несколько времени я от него получил отчаянное письмо, извещавшее о смерти Елизаветы Ивановны. Горю его не было пределов, и от страшного потрясения с ним сделалась меланхолия. Дети почти были забыты, брат все свое внимание посвящал на составление проекта храма, который хотел воздвигнуть на могиле своей жены. <...>

Отец наш, собираясь в это время на службу в Сибирь, однажды в разговоре сказал мне: «Про Александра я слышал неладное; заеду по пути к нему в Керенск, вразумлю его и заставлю дурь выкинуть из головы».

Я, конечно, не мог, при суровом и вспыльчивом характере отца, спросить даже у него, что это означает, но потом, в конце декабря 1825 года, я догадался, что, вероятно, до отца дошли слухи о принадлежности брата к тайным обществам. Иначе я этих слов объяснить не могу, а также и письма отца из Керенска (он по пути в Сибирь заехал к сыну, как намеревался), в котором, между прочим, он мне писал: «Александр вразумил, будет помнить урок и забудет своих масонов». Увы, предсказание не сбылось. Брат стал еще скрытнее, и без жены с какою-то лихорадочною деятельностью предался делу тайного общества. Это я увидел из его бумаг, оставшихся после его арестования. <...>

В начале 1825 года я был назначен состоять при великом князе Михаиле Павловиче ординарцем. Великий князь сказал, что он скоро назначит меня к себе в адъютанты. Я вне себя был от восторга и писал об этом отцу в Омск. Письмо это он получил за несколько дней до своей внезапной кончины, последовавшей 22-го мая 1825 года. <...>

Получив горестное известие о кончине отца, брат Михаил и я, будучи в трауре, не выезжали и свободное время от службы проводили дома. Он занимался литературою, а я музыкою и рисованием. Так шло до 1-го декабря 1825 года. В этот день вечером, часов в 11, неожиданно мне доложили о приезде брата из Керенска. Мы с Мишелем поспешили его встретить и просили остановиться у нас. Он согласился и велел из экипажа взять и внести свои вещи. С ним были чемодан и ручной мешок в виде портфеля. Я предложил ему занять мою спальню и уборную, но он почему-то отказался и поместился в кабинете отца и примыкавшей к нему курительной комнате. Тут на одном из турецких диванов он и спал. К сожалению, портрета брата у меня не осталось. <...>

Брат Александр, декабрист, был среднего роста, довольно плотный, блондин, лицо круглое, белое, с небольшим румянцем на щеках, без бороды, усов и бакенбард, с серо-голубыми глазами, чрезвычайно блестящими и выразительными; волосы носил коротко остриженные; на вид был моложе своих лет; многие находили его чрезвычайно красивым. Он был несколько раз ранен в Отечественную войну довольно серьезно, в ногу, правую руку и голову, и часто страдал от этих ран, в особенности от головной. Рассказывали мне его товарищи (сам же он никогда не рассказывал ни [о] своих походах, ни [о] делах, в которых участвовал), что, весь изранен-

ный, с повязкою на голове, с подвязанною рукою, он вступил в Париж во главе своей роты, салютуя левою рукою на церемониальном марше при проходе мимо державного вождя русских войск. Государь его заметил и пожаловал золотое оружие за храбрость, а французы, смотревшие на вступление русских войск, при виде этого юноши, всего израненного, бодро идущего перед своими солдатами, стали ему кричать *vive le brave!* (Да здравствует храбрый) и бросали под ноги ему цветы. Впрочем, этот рассказ вполне согласуется с теми отзывами о его храбрости и военной доблести, которые мы читаем в записках его современников.

В день приезда его в Петербург 1-го декабря 1825 г. я его почти не узнал. Он как-то опустился, осунулся и очень похудел. Румянца на щеках более не было, и только впавшие в орбиты глаза горели лихорадочным огнем; несмотря на 32 года, на висках были седые волосы.

Утром 2-го декабря, проснувшись в 9 ч. утра, я спросил у камердинера: встал ли брат? Мне отвечали, что он встал в 5 часов, пил чай, много писал и в 8 часов уехал в моей карете к коменданту Башуцкому². В 10 ч. карета возвратилась без брата, и он вернулся домой в 10 ч. вечера чрезвычайно озабоченный, задумчивый и сейчас же сел в кабинете, прося его не беспокоить. Я простился с ним и ушел к себе. (...) 26 ноября я подал рапорт о болезни и не мог выходить из дому до 20-го декабря. Вот почему, не неся службы, не выезжая, я мог видеть, когда бывал брат дома, что он делал, кто бывал у него, и теперь еще живо припоминаю это время.

Все это давно прошло, но теперь, на старости лет, я уверяю, что и не подозревал до 3-го декабря участия брата в каком-нибудь замысле или заговоре, хотя и до меня стороною доходили какие-то слухи об организации тайного общества с целью ниспровергнуть существовавший режим в России. Слухи эти я считал нелепыми выдумками, простыми городскими сплетнями. Но 3-го декабря, часов в 12 утра, к завтраку собрались к брату поручик А. Н. Сутгоф, Н. А. Панов, подпоручик Кожевников, князь Щепин-Ростовский и Н. А. Бестужев. Разговор за завтраком как-то не клеился, и по окончании [его] брат быстро встал и увел всех вышеупомянутых лиц в кабинет, предупредив меня, что ему нужно переговорить секретно по делу, касавшемуся полка нашего л.-гребнерского, в котором он прежде служил до назначения полковым командиром 12-го егерского.

«Тебя не интересует?» — спросил он меня как бы нехотя. Я отвечал ему сухо: «нет» и ушел к себе на половину. Этот небольшой и пустой эпизод меня смутил, и я стал наблюдать за братом, но это было тщетно, ибо более сборищ у него не было, и с 4-го до 14-го декабря он ни разу не обедал дома и возвращался откуда-то в 2 и 3 часа ночи и немедленно ложился спать. Каждое утро с 6-ти до 10 писал, а в 11 уходил. На мой вопрос, где он проводит вечера, он мне отвечал: «Ты знаешь, Саша, что я люблю картишки; каждый вечер дююсь в бостон у Башуцкого». Ответ был довольно правдоподобный, так как я знал, что он очень дружен с Башуцким и часто у него бывал. Потом уже я узнал, что 12-го декабря вечером он был

приглашен на большое совещание к Рылееву (Кондратий Федорович) и что в этот вечер многое решилось, а следовательно, и судьба нашего бедного брата³.

13-го вечером, в отсутствие брата, ко мне приехали мои товарищи барон Зальц и М. М. Корсаков и по секрету меня предупредили, что ходят недобрые слухи про приезд внезапный брата из Керенска без отпуска и проч.

Утром 14-го я встал и пошел к брату в комнату. Он уже умылся, оделся, и перед ним на столе лежали два карманные пистолета, из которых один уже был заряжен, а другой он при мне взял и стал спокойно заряжать. Я сел против него на диван и взял в руки заряженный пистолет. Зарядив второй, брат положил его в карман и протянул руку за тем, который находился у меня в руках. Пистолета этого я не дал и положил в свой боковой карман, а сам, подойдя к нему близко и смотря на него в упор, сказал:

— Послушай, Александр, ты что-то замышляешь, я это вижу, но предупреждаю тебя, если ты что-либо сделаешь, чтобы помрачить доброе имя и службу нашего отца, то лучше не возвращайся ко мне... Именем его я говорю — этим пистолетом я накажу тебя!..

Молния блеснула в его глазах, но затем через минуту он закрыл глаза, и я увидел, что две слезы скатились по его щекам. Меня это тронуло, мне больно, досадно было, что я его несправедливо, может быть, оскорбил, и, обняв его, просил у него прощения, вынул из кармана второй пистолет и сказал:

— Не верю слухам; храбрецы, как ты, не сделают дурного.

Брат, видимо, растроганный, меня обнял, простился и ушел. Было 8 час. утра.

Сомнения мои все рассеялись, и я уже стал смеяться над собою, что мог поверить хотя на минуту таким сплетням про брата.

Орудийные залпы, слышные вдали в 4 часа дня, меня, правда, смутили. Я начал снова тревожиться, но так как в этот день несколько товарищей и друзей должны были обедать у меня, как у больного, я стал их дожидаться. В начале шестого часа первыми приехали два брата Челищевы, за ними Пушкин (впоследствии командир л.-гв. Преображенского полка, его имя было Алексей, а мы все его звали Лоло), Михаил Матвеевич Корсаков, Михаил Семенович Кулеваев (старый лейб-гренадер), Богуславский (впоследствии петербургский губернский прокурор), и все в один голос рассказали мне об участии брата в заговоре, о бывшем бунте на Сенатской площади, об арестах — одним словом, все подробности. Меня так все это потрясло, что со мною сделался нервный припадок, длившийся 40 минут. Когда я пришел в себя благодаря усилиям моих друзей, мне кто-то шепнул, что сейчас брат вернулся. Сердце заныло, но я превозмог себя и пошел со всеми в столовую. Брат стоял у окна мрачный, задумчивый и ни с кем не поздоровался. Мы сели за стол, и все (кроме брата, который все время молчал) стали вновь мне рассказывать все подробности событий. Выслушав их, я не мог удержаться, чтобы не высказать своего мнения и взгляда на людей, которые, забыв долг чести и присяги, производят смуту в отечестве,

идут против своего государя ради каких-то теорий и целей и даже не подумают, какое пятно позора они кладут своим поведением на свое имя, на свое семейство. Я не успел еще досказать, как брат, бледный как мертвец, встал из-за стола и глухим голосом спросил меня: «Могу ли я взять твою карету?» — «Можешь!» — отвечал я. Через четверть часа брат вышел в мундире при всех орденах. Увидев это, я спросил его: «Куда же ты едешь?» — «К Башуцкому». Он пожал мне руку, простился со всеми и уехал. По прошествии некоторого времени карета вернулась, и человек подал мне записку следующего содержания: «Не жди меня, я более не вернусь — арестован».

Приехав к коменданту (я лично от него слышал), брат ему заявил, что был на площади с бунтовщиками, объяснил свои намерения и подал шпагу. Его арестовали. Затем происходил между государем и братом тот разговор, о котором упоминает барон Розен в своих записках на стр. 98⁴; но на стр. 99 барон А. Е. Розен ошибается, говоря, «что государь не приказал сажать брата в казематы крепости, где содержались все декабристы, но поместил его в квартире коменданта», — это вполне несправедливо: брат был отвезен в крепость и посажен в каземате. Иван Дмитриевич Якушкин в своих Записках совершенно верно говорит, что брат мой находился через три номера от него. Неточно также у барона Розена, что брату «давали хорошую и вкусную пищу, но, решившись уморить себя голодом, он ничего не ел, сгрыз ногти своих пальцев и сосал кровь свою». Барон Розен говорит, что эти подробности передал ему плац-адъютант капитан Николаев. Смее уверить, что уважаемый автор «Записок декабриста» (ныне покойный) введен в заблуждение капитаном Николаевым. Не получив лично разрешения посетить брата в каземате, несмотря на знакомство мое с комендантом Сукиным⁵, я имел почти ежедневные сведения о брате через протоиерея Казанского собора П. Н. Мысловского. Этот добрейший пастырь был истинный наш утешитель в несчастьи и по жизни высокий христианин. Он мне говорил, что брата кормят наравне с другими преступниками, состоящими в казематах, что он с ним часто беседует и замечает в нем сильное нервное возбуждение, что брата несколько раз допрашивали, и строго, добавил мне с грустью Мысловский, но что брат отвечал все одно и то же: «Я виноват, но более ни слова не скажу». Через два или три раза допросов заключился в полное молчание, не раскрыв ни планов, ни намерений, ни имен своих товарищей. «Допрашивающие сильно на него негодуют», — говорил Мысловский. Несколько раз он мне доставлял записки от брата, где он просил бумаги и все, что нужно для писанья. В одной из записок была приписка: «и перочинный ножик». Я все, что просил брат, переслал к нему, кроме перочинного ножа, который, по совету Мысловского, ему не послал.

Печальные дни проводили мы с братом Мишей после арестования Александра; сидели дома, как опальные, а по вечерам не зажигали огней и, бродя по парадным комнатам, с замиранием сердца следили за курьерской тройкой, когда она

проносились по Преображенскому плацу. Ночи были лунные, морозные. <...>

Однажды вечером, часов в 8, я получил записку от В. Д. Кокошкиной следующего содержания: «Сейчас была у кузена Н. П. [Архарова], сегодня будут у вас гости в 12 ночи. Примите меры».

Поняв смысл записки, мы с Мишей сейчас отправились в кабинет, который брат занимал до ареста, и стали пересматривать его вещи и бюро, на котором он занимался. В чемодане были только белье, платье и несесер дорожный. Ручной же мешок, в виде портфеля, весь был набит бумагами; масса писем (времени терять было нельзя, и я мельком поглядел на некоторые подписи) Пестеля, Рылеева, Бестужева, Панова, Каховского, Трубецкого и других, разные проекты реформ, списки участвующих лиц — все это нами было тут же брошено в камин и предано огню. Также все, что было в бюро, было сожжено.

Ровно в 12 час. раздался звонок в швейцарской, и к нам вошли жандармский полковник (фамилии его не помню) и какие-то два с ним господина. Полковник очень вежливо просил меня указать комнаты, которые занимал брат. Я его провел. Он быстро посмотрел чемодан, пустой портфель и бюро, и затем взор его направился к пылавшему камину, и улыбка скользнула по его лицу.

Попросив ключи от моего бюро, он все пересмотрел, прочел письма ко мне брата из Керенска о церкви, все перешарил у меня и Мишеля и, простившись с нами, направился в домовую контору, где просмотрел все книги, планы, документы, счета и квитанции. В 4 ч. утра обыск кончился; он уехал. <...>

В половине января 1826 года Мысловский печально мне сообщил, что здоровье брата внушает сильные опасения, что он крайне возбужден и что он, Мысловский, боится за нервный удар. Помочь ему, увы, я лично не мог.

19-го января был в манеже развод с церемонией. Я по долгу службы отправился туда и не успел еще пройти половины манежа, как ко мне подошел генерал Исленьев⁶ и шепотом на ухо мне сказал:

— Александр! сей час узнал, что брат твой умер и перевезен в Сухопутный госпиталь.

Услышав это, не поздоровавшись с ним, я повернулся обратно к выходу. Исленьев, испуганный (время было страшное), меня догнал, говоря: «Ради господина, Александр, не говори, что я тебе сказал». Я пожал его руку, сказав: «Будьте покойны, генерал, за кого же вы меня принимаете?», сел в карету и скорее велел ехать к великому князю [Михаилу]. Его высочество был у государя, и я его нашел сходящим с лестницы, совсем готовым, чтобы ехать в манеж. В нескольких словах я ему передал о кончине брата и просил разрешения взять его тело, и так как приговор над ним еще не состоялся, то похоронить по чину со всеми воинскими почестями. Эту милость я просил мне оказать в память славной боевой службы моего отца и пролитой им за отечество крови. Со слезами напомнил его высочеству недавно данное мне им разрешение обратиться

к нему. Великий князь на минуту задумался, но сказал: «Государь гневен, боюсь неуспеха», повернул в апартаменты императора. Через 10 минут он вернулся и молча подал мне записку. <...>

Приехав в Сухопутный госпиталь, куда из каземата крепости перевезли умирающего брата еще вечером (часов в 10) 18 января, я нашел его уже скончавшимся, но тело было еще теплое.

Как он умер, что произошло — не ведаю. Три последние дня, говорил Мысловский, он был более нежели тревожен; на него находили как бы припадки умопомешательства, ему представлялся призрак умершей жены, упрекавший его за то, что он не пожалел детей и т. д. Вечером 18 января в 9 часов часовые услыхали стон в каземате, вошли в него и нашли его лежащим на полу близ стены — череп с левой стороны был надтреснут и из этой раны выходили кровь и часть мозга. Мне говорили комендант Сукин, Мысловский и другие, что в припадке умопомешательства брат мой бился головою об стену и раздробил себе череп. Из крепости перевезли его еще живым в госпиталь, и тут утром 19-го он скончался.

Иван Дмитриевич Якушкин ошибочно говорит в своих Записках о свидании с детьми⁷. Этого быть не могло, потому что дети оставались с бабушкой Карпинскою в Керенске и уже после смерти брата перевезены в дом Мельниковых. Записка великого князя сняла все запрещения. Мне отпустили тотчас тело, которое я завернул в свою шинель и, положив в карету, привез к себе в дом. 22-го было назначено погребение в большом Охтенском кладбище. Кроме самых близких друзей, никто не решался бывать на утренних и вечерних панихидах.

20-го были уже назначены войска для отдания чести и конвоирования покойного и офицеры для несения его орденов. Мною же были заказаны золотые кольца, гладкие с черною эмалевую надписью вокруг «19 января 1826 года», для раздачи на память всем офицерам л[ейб]-гренадерского полка и тем, которые будут участвовать в строю и в церемонии. Ночью перед похоронами (на 22 января) в 2 часа я получил записку явиться к коменданту Башуцкому. В 3 часа я был у него, и, к крайнему моему удивлению, он встретил меня не хорошим знакомым, которым был, а грозным начальником. Начав упрекать меня, что я возбуждаю умы, подготавливая манифестации в виде раздачи колец на память, он объявил мне, что войска для отдания чести не будет и офицеры ордена не понесут. На это я ему возразил, что государь император оказал милость не брату, и не мне, а нашему родителю за его службу и что если уже эта милость оказана, то назад не берется. Башуцкий закричал: «Не рассуждать, а не то на место брата в каземат!»

Тогда, ответив «готов!», я быстро повернулся к нему спиной и почти бегом вышел из залы. Слышал, как вдогонку мне Башуцкий кричал: «Кольца отнюдь чтобы не было! Не смей!»

22-го в 10 часов утра был вынос, но без войск, ордена на подушках несли знакомые, брат в гробу был одет в подполковничьем мундире командуемого им полка, золотая сабля за храбрость лежала на крышке гроба. Вообще ввиду отказа мне войск для кон-

воирования тела я старался придать еще более пышности и торжественности церемонии — множество духовенства, архиерейские певчие, богатая колесница в шесть лошадей, верховая его лошадь под траурным покрывалом, фамильные гербы на пополах лошадей, масса служителей в глубоком трауре и проч. На похоронах было много народу, но в церковь, где отпевали, пробирались с трудом. Так, В. Д. Кокошкина, опоздав, приехала прямо в церковь. При входе ее остановил жандармский офицер, спросил ее фамилию, родственница ли покойному или знакомая, где живет и проч., все это записал и пропустил в храм. <...>

Весною 1826 года все офицеры нашего л[ейб]-гренадерского полка в знак любви и уважения к личности брата, которого, я скажу кстати, весь полк обожал, сложились и поставили на его могиле памятник, который и поныне существует. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОФЕССОРА А. В. НИКИТЕНКО О ДЕКАБРИСТЕ В. С. НОРОВЕ

У Норова Авраама Сергеевича¹ был старший брат Василий, человек очень умный, как о том свидетельствуют оставшиеся у меня письма его к родным, история 1812 и 1813 годов² (напечатана, но у меня была в рукописи) и многие литературные заметки, находящиеся у меня также в рукописи. Этот Василий Норов служил в гвардии, в [лейб-гвардии егерском] полку, которым командовал Николай Павлович, в то время великий князь. Был смотр полка. Великий князь приехал в дурном расположении духа. Обходя ряды солдат, он остановился против одного офицера возле Норова.

Физиономия ли этого офицера не понравилась великому князю или он неловко, как-нибудь не по темпу, пристукнул ногою, только его высочество сильно разгневался на него, схватил его за руку и ущипнул. Затем он направился к Норову, но тот, не допуская его к себе на два шага, сказал: «Ваше высочество, я шекотлив». Через два или три месяца случился новый смотр. Был день ненастный, и как раз у места, где стоял Норов со своим взводом, образовалась огромная лужа. Великий князь был на коне; приблизясь к луже, он дал шпоры лошади, которая, прыгнув в лужу, окатила Норова с ног до головы. По окончании смотра Норов явился к своему полковнику и подал просьбу об отставке. Его любили все товарищи в полку и тоже объявили, что и они подают в отставку. Полковник не знал, что делать, и довел обо всем до сведения государя. Его величество сделал выговор его высочеству, и дело уладилось. Прошло несколько лет. Николай Павлович вступил на престол. Настало злосчастное 14-е декабря. Норов был привлечен к делу, не как участник бунта — чего не было, — но как знакомый со многими из его участников³. Тут дорого пришлось поплатиться бедному Норову. Его посадили в крепость, продержали несколько лет в заключении,

кажется, Ревеле или Риге; потом по просьбе матери выпустили из крепости и отправили солдатом на Кавказ. Там он тоже пил горькую чашу несколько лет. Наконец мать, чувствуя близость своей кончины, написала слезное моление к государю о дозволении приехать сыну, принять ее последний вздох. На это было дано соизволение, а потом Норова уволили со службы солдатом и запретили ему въезд в обе столицы. Измученный таким образом и полуубитый, этот даровитый, умный и честный человек еще просуществовал кое-как несколько времени в деревне. <...>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Записка о Союзе благоденствия,
представленная А. Х. Бенкендорфом
Александрю I в мае 1821 г.

В 1814 году, когда войска русские вступили в Париж, множество офицеров приняты были в масоны и свели связи с приверженцами разных тайных обществ. (...) Последствием сего было, что они напитались гибельным духом партий, привыкли болтать то, чего не понимают, и из слепого подражания получили не склонность, но, лучше сказать, страсть заводить подобные тайные общества у себя. Некоторые из оных не имели в виду никакой определенной цели; другие, напротив того, мечтали лишь о политике и о том, как возыметь влияние на правительство. Явная цель сих мнимых свободномыслящих (либеральных), точнее, своевольномыслящих, была введение конституции или, собственно, такого образа правления, под которым своеволие ничем не было бы удерживаемо, а пылким страстям, неограниченному честолюбию, желанию блистать предоставлена была бы полная воля. Разумеется, что вместе с тем надеялись занять высшие места в правительстве и, не опасаясь потери (потому что не имели ничего), воспользоваться выгодами переворота. С поверхностными большею частью сведениями, воспламеняемые искусно написанными речями и мелкими сочинениями корифеев революционной партии, не понимая, что такое конституция, часто не смысля, как привести собственные дела в порядок, и состоя большею частию в низших чинах, мнили они управлять государством. Для прикрытия сколько-нибудь своего невежества бросились они к изучению политических наук и стали посещать частно преподаваемые курсы, где поверхностно ослепляли их блеском выражений и глушили громкими, но пустыми словами. Слабый желудок их, не имея предварительных оснований в вспомогательных науках, не сваривал сочинений лучших писателей, от чего и все их просвещение было мишурное.

Стремление сие особенно заметно было в столице, где представляется более удобностей доставать запрещаемые правительством, по вредным правилам, сочинения. Может быть, споспешествовало сему близкое нахождение вместе множества офицеров, какое-то взаимное соревнование и влияние людей, кои скрыто подкрепляли сие брожение умов.

Само собою разумеется, что необычайное воспаление не могло быть продолжительно. Лета, развлечение, занятия и переходы по службе охладили и развлекли многих; заведенные между ними разные общества рушились; сохранившееся же долее прочих, и с которым некоторые слились, было общество под названием Союза благодаренствия. Правила оно составляли особенную книгу, названную по цвету обертки Зеленою книгою. Она разделялась на две части, а последние на четыре отделения. Написанная темным, мистическим слогом, она составляла смесь из правил разных тайных обществ, с весьма нескладным применением к отечественному. Краткая первая часть давалась для прочтения принимаемым по взятии от них подписки не открывать ничего; вторая часть сообщалась посвященным уже в тайны. Главные правила относились к попечению об усовершенствовании наук, художеств, всех ветвей государственного хозяйства, судопроизводства и пр.¹ Таким образом, даже и для самих членов, менее опытных, прикрыта была тайная цель главных руководителей — возыметь влияние на все отрасли правительства, чего частные лица отнюдь присвоивать не могут. Средства к тому избраны: распускаемые слухи, рассказы в обществах, сочинения, особенно журнальные статьи, как более и скорее расходящиеся, дабы дать направление общему мнению и нечувствительно приготовить все сословия. Есть многое, до чего, как до больного места, чтоб не почувствовать, не должно прикасаться; но частые напоминания и, так сказать, беспрестанные атаки по заведенной системе на понятия о рабстве, цепях неволи, тиранстве, ненаблюдении правосудия и пр., врезываясь в память, давали бы дурное мнение и посеяли бы отвращение от существующего очерняемого порядка и желание перемен. Первым шагом для привлечения низшего состояния почитались: освобождение крестьян, к чему каждый член был обязываем, и распространение училищ взаимного обучения. Научивши простой народ и нижних воинских чинов одному только чтению, скорее подействовали бы приготовленными в духе и по смыслу их маленькими сочинениями, начав самыми невинными: сказками, повестями, песнями, краткими наставлениями и пр., чтоб их заохотить, чему и сделаны опыты.

Главные члены составляли Коренную управу и избирали из себя на каждые четыре месяца: председателя, блюстителя (то же, что прокурор) и четырех представителей отделений. Они собирались еженедельно для совещаний и по крайней мере однажды в месяц созывали всех наличных членов сей управы. Общество имело свою печать (удей со пчелами) и архив, кои хранились у блюстителя, а сумма (взнос членами десятой доли доходов) в ломбарде.

Переписка производилась темным слогом, чрез нарочно посылаемых. Члены, приготовляемые мало-помалу для управы или долженствовавшие только служить орудиями, составляли побочные управы под председательством одного члена Коренной, назывались для прикрытия разными именами (Зеленой лампы² и пр.) и под видом литературных вечеров или просто приятельских обществ собирались как можно чаще. Принятие новых членов

сходствовало вообще с наблюдаемыми в тайных обществах, с меньшими только обрядами. Если кто вновь предлагаем был одним членом или кого желали, то, по довольном испытании, давали ему глухое понятие об Обществе и, никогда не открывая вдруг всех членов, вверяли об участии многих сильных лиц, дабы тем более привлечь и устрасить. После сего предлагаемо было в Коренной управе, и для принятия требовалось согласие всех членов оной.

Председатели побочных управ получали от Коренной наставление: чем занимать своих членов, какие читать и распространять сочинения, какие разглашать слухи и выдумывать карикатуры, кого из знатных стараться чернить в общем мнении, как судить о действиях правительства и пр. Люди, неодинаково с ними мыслящие, известны были под названием «бабушкина веку», то есть мыслившие, как было при покойной государыне Екатерине II, «рабоблествующих», то же, что испанское «serviles»*. Для большей удобности и успеха в действиях положено было иметь не менее 8 и не более 12 членов в побочных управах; когда число их возрастало, отделялась новая управа. Каждый член обязан был доводить до сведения своей управы обо всем, что только мог узнать. Председатели представляли о том Коренной управе. В необходимую также обязанность постановлялось отыскивать и привлекать в свое Общество людей с дарованиями, в особенности пользующихся доверенностью тех особ, кои занимают важные места. Таким образом надеялись знать все тайны правительства и во всяком случае быть в безопасности: ибо члены таковые тотчас бы предостерегали их. Из войск положено было набрать самое большое число приверженцев в гвардии; в армии же иметь на своей стороне только несколько полковых командиров, решительных и на все готовых, дабы побуждением их и примером гвардии слепо увлечь всю армию. Центром всех действий сначала был Петербург, после избрана Москва, для привлечения живущего там дворянства. Главу положено было избрать, когда было бы уже все готово, из вельмож, уважаемых войском и народом и недовольных правительством. Самая большая надежда возлагалась на находящихся во Флоренции и на графа Воронцова, на которого действовали Тургеневы³. Общество с нетерпением ожидало, что в Пруссии последует насильственный перелом правления, после чего Польша не замедлила бы тому последовать, и таким образом надеялись подать руку севера беспокойному югу. Они не могли скрыть глупой радости при происшествиях в Испании и Неаполе⁴ и готовы были на все, чтобы принудить государя возвратиться скорее и не допустить иметь близкое деятельное участие в успокоении Европы.

Первоначальные члены Общества были почти все молодые гвардейские офицеры: Муравьевы (три Главного штаба: полковник Александр, вышедший в отставку после того, когда в Москве посажен был под арест; брат его безногой Никита, вышедший также в отставку, когда не был произведен в следующий чин; и чет-

* Лакеи (исп.). — *Сост.*

вертый*, бывший в прежнем Семеновском полку), Пестель, бывший адъютант графа Витгенштейна⁵, князь Трубецкой, бывший в Семеновском полку и теперь за границей, Бибиков — адъютант его императорского высочества великого князя Михаила Павловича, князь Долгорукий — 2-й гвардейской артиллерийской бригады, бывший адъютант графа Аракчеева, два Фонвизина⁶ (один, бывши полковым командиром, приготавливал офицеров своего егерского полка), Перовский⁷, теперь обер-квартирмейстер 1-го резервного кавалерийского корпуса, Шипов⁸ — настоящий полковой командир полка наследного принца прусского, Новиков⁹ — надворный советник, бывший в Саксонии при генерал-адъютанте Репнине и после правителем канцелярии его же, малороссийского губернатора, теперь в отставке. Из них Перовский и Шипов мало-помалу в 1819 году отстали, о Пестеле утвердительно неизвестно.

Действия сего Общества в 1818 году получили новую деятельность, и число членов возросло более двухсот. Мало-помалу привлечено множество офицеров Главного штаба, из полков же наиболее в Измайловском, бывшем Семеновском, Егерском, Московском, Конной гвардии и гвардейской артиллерии. Примечательнейшие по ревности: Бурцов, фон-дер-Бригген, два Колошина, Оленин, Копылов, Кутузов, Горсткий, Нарышкин, Корсаков¹⁰ и другие; из посторонних: Николай Тургенев, полковник Глинка и Семенов (молодой человек, служивший в канцелярии министра князя Голицына, занимавший место секретаря в тайном обществе и руководимый Тургеневым и Глинкою).

По выходе полковника Муравьева в отставку и назначении Бурцова адъютантом к генералу Киселеву Коренная управа разделилась на три ветви, имевшие постоянную связь. В Петербурге приняли управление Тургенев, фон-дер-Бригген и Глинка (из них у последнего и у Колошина бывали заседания), в Москве Муравьевы, в Тульчине Бурцов. Влиянием их и М. А. Фонвизина вступили в Общество: М. Орлов, Граббе, Реад, Юшневский, Прижевский и пр. Орлов брался вовлечь Мамонова; Тургенев, фон-дер-Бригген и Глинка — молодых графов — Шереметева и Безбородку-Кушелева¹¹, для лучшего успеха над которыми полагали приставить способных наставников. То же предполагалось и с другими богатыми, особенно молодыми, помещиками. Тургенев, дававший главное направление, брался с профессором Куницыным¹² издавать журнал по самой дешевой цене для большего расхода, полагая издержки на счет Общества, в котором бы помещать статьи, к цели Общества относящиеся. Содействовать сему обязаны были все члены; также брались: Чаадаев (испытывавшийся еще для Общества), Кюхельбекер (молодой человек с пылкой головой, воспитанный в Лицее, теперь за границей с Нарышкиным¹³) и другие. В одной из отдаленных деревень кого-либо из членов намеревались завести типографию и как литеры, отлив на старинный шрифт, так и все нужное выписать из-за границы; Глинка и Тургенев полагали успешнейшим

* В тексте, скорее всего, ошибка: должно значиться «третий». — Сост.

чрез находящихся за границею членов литографировать в Париже, особенно карикатуры, и, ввозя чрез них же, распускать в народе на Толкучем рынке, рассылать в армию и по губерниям. Тургенев настаивал преобразовать Общество совершенно по системе Вейсгаупта¹⁴ и сходно с тем членам называться между собою другими именами.

Несмотря на все сие, ревность многих ослабевала; другие, вовлеченные — не постигая всей цели, понявши оную, отставали; некоторые отделялись и заводили между собою общества. К числу последних принадлежат князь Долгорукий и Бибиков, основавшие особое общество на Охте¹⁵. Неосторожность и неуместные рассказы еще более расстраивали и подали повод к опасным происшествиям. Из них примечательнейшее — случившееся в Москве, где принятый Муравьевым секретарь Правительствующего сената Хавский требовал денег, угрожая открыть все.

Сие заставило ревностнейших членов составить в конце прошедшего и начале настоящего года чрезвычайное заседание в Москве. Там были из главнейших, кроме Муравьевых, Н. Тургенев, Глинка (которому Общество выдало на путевые издержки 1000 р.), М. Орлов, два Фонвизина, Граббе, Комаров¹⁶. Собрания бывали у Фонвизина и Тургенева. Мнения о приведении в порядок дел были несогласны. Орлов, ручаясь за свою дивизию, требовал полномочия действовать по своему усмотрению, настаивал об учреждении «Невидимых братьев», которые бы составляли центр и управляли всем; прочих разделить на «языки» (по народам: греческий, еврейский и пр.), которые, как бы лучи, сходились к центру и принесли дани, не ведая кому; о заведении типографии в лесах, даже о делании там фальшивых ассигнаций для доставления Обществу потребных сумм. Несмотря на признаваемую нелепость сих требований, сделанных, может быть, Орловым для того, чтобы найти предлог отстать от Общества, ибо, по несовместности, невозможно было ожидать принятия, но кажется, что они бы еще сладили, как Граббе объявил, что в разговоре с бригадным генералом Васильчиковым¹⁷ слышал: «Генерал, говоря с Краснокутским, жалел, что нет между офицерами дружеских обществ; последний отвечал, что есть очень очень большое и имеющее значительных членов. Вероятно, что такой странный ответ возбудил подозрение генерала, и он расспрашивал подробнее у Граббе, не знает ли чего о сем Обществе». Известие сие потревожило собравшихся в Москве; они полагали, что генерал Васильчиков сообщит наверное о сем брату своему, командующему гвардейским корпусом¹⁸, и таким образом правительство, имея в руках своих нить, может сделать некоторые открытия. После чего сожжены все бумаги, и Общество закрыто. Н. Тургенев, возвратясь в Петербург, рассылал чрез Семенова членам письменно о сем объяснение, в котором между прочим сказано: «Общество действовало для доброй цели и употребляло одни благородные средства. Правительство, подозрительное, особенно после новейших происшествий в Европе, не разбирает средств, готово всем пожертвовать, и неудивительно, если откроет».

Таким образом кончилось существование Союза благоденствия. Конечно, большая часть членов оною были обольщены наружностью и вступили, не постигая цели; но некоторых из них, кажется, никогда не должно упускать из вида. Весьма вероятно, что они желают только освободиться от излишнего числа с малым разбором наверхованных членов, коим неосторожно открыли все, составить скрытнейшее Общество и действовать под завесою безопаснее.

Кажется, что наиболее должно быть обращено внимание на следующих людей:

1) Николая Тургенева, который нимало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грозит гильотиною и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать в надежде выиграть все при перевороте. Его-то наставлениями и побуждениями многим молодым людям вселен пагубный образ мыслей.

2) Федора Глинку. Слабый человек 'сей, которому некоторые успехи в словесности и еще более лесть совершенно вскружили голову, который помешался на том, чтоб быть членом всех видимых и невидимых обществ, втирается во все знатные дома, рыскает по всем видным людям, заводит связи, где только можно; для придания себе важности рассказывает каждому за тайну, что узнал по должности или по слабости начальника; посещает все открываемые курсы; посылает во все журналы статьи, из коих многие не весьма внимательно рассмотрены цензурою, и как в разговорах, так и на письме, кстати и некстати, прилепляет политику, которой вовсе не постигает, но блеском выражений и заимствованными мыслями слепит неопытных.

3) Фон-дер-Бриггена, по короткой связи с Тургеневым, приобретенной совместным учением в немецких университетах, Кажется, что связи по женитьбе должныствовали бы его несколько образумить.

4) Всех Муравьевых, недовольных неудачею по службе и жадных возвыситься.

5) Фонвизины и Граббе, судя по рассказам имеющих с ними короткие связи и по действиям их в обществе, готовы на все.

6) Михайло Орлов, кажется, после женитьбы своей начал отставать от того образа мыслей, которым восхищались приверженцы в его речи Библейского общества¹⁹, переписке с Бутурлиным и пр.

7) Бурцов, при добрых правилах и рассудке, более, кажется, вовлечен и под добрым надзором мог бы еще исправиться.

При судебном исследовании трудно будет открыть теперь что-либо о сем Обществе: бумаги оною истреблены, и каждый для спасения своего станет запираяться; но правительство легко может удостовериться в истине, поручивши наблюдение за сими людьми, их связями и пр., и вследствие того принять на будущее время надлежащие меры. Необходимо, однако, при сем сказать, что сего наблюдения вовсе не можно поручить настоящему господину с.-петербургскому военному генерал-губернатору²⁰, который окружен людьми, участвующими в Обществе или приверженными им.

В заключение должно сказать, что буйные головы обманулись бы в бессмысленной надежде на всеобщее содействие. Исключая столицу, где, как и во всех других, много найдется способного воспламениться при обольстительных средствах, исключая остзейские губернии, лучшее дворянство которых, получая воспитание за границею, мало имеет отечественного, — утвердительно можно сказать, что внутри России и не мыслят о конституции. Дворянство, по одной уже привязанности к личным своим выгодам, никогда не станет поддерживать какой-либо переворот; о низших же сословиях и говорить нечего. Чернь всегда и везде была и будет чернью. Если бы нашлись, против чаяния, люди с добрыми даже правилами, кои, ослепляясь скрытым честолюбием и не постигая собственной гибели, стали споспешествовать беспокойным затейникам, то таких очень немного. Русские столько привыкли к образу настоящего правления, под которым живут спокойно и счастливо и который соответствует местному положению, обстоятельствам и духу народа, что мыслить о переменах не допустят. Отрицать, впрочем, невозможно, что есть зародыш беспокойного духа в войсках, особенно в гвардии, прильнувший, так сказать, от иноземцев во время нахождения за границею и поддержанный стечением разных обстоятельств; но войска сами по себе ни на что не решатся, а могли бы разве послужить орудием для других, как пагубные новейшие примеры в других странах доказали. При бдительном надзоре и кротких, но постоянных мерах сие может быть постепенно отвращено. Между прочим, весьма не худо бы казалось, чтобы офицеры, как люди, до поступления еще на службу совершенно приговорившиеся, перестали посещать частно преподаваемые курсы, особенно политических наук, поверхностное изучение которых, без предварительных прочных оснований и без пособия других наук, наносит величайший вред. Сие полупознание поставляет в такое сомнительное положение, в котором воображение воспламенено, дух встревожен, а ум, блуждая во мраке, без руководителя, ищет того, чего не видит и не постигает, и кончает тем, что или еще более возрастает сомнение, или приводит на скользкий путь заблуждений.

Краткое описание различных тайных обществ, коих действительное или мнимое существование обнаружено Следственною комиссиею

I

СОЮЗ СПАСЕНИЯ, ИЛИ ИСТИННЫХ И ВЕРНЫХ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА

В 1816-м году Александр Муравьев, Никита Муравьев и князь Сергей Трубецкой, узнав в бытность свою в Германии во время походов 1813-го, 1814 и 1815-го годов о существовавших там тайных

обществах с политической целью, вздумали завести в России нечто подобное. Они в то же время сообщили мысль сию Якушкину и братьям Сергею и Матвею Муравьевым-Апостолам, однако еще не приступали к исполнению планов своих. Только в феврале следующего года (1817), когда Никита Муравьев, познакомясь с Павлом Пестелем, сблизил его с Александром Муравьевым, уже имевшим тесную связь с Сергеем Трубецким, учредилось их первое тайное общество под названием Союза спасения, или Истинных и верных сынов Отечества.

Устав оного был сочинен Пестелем. Общество разделялось на три степени: братьев, мужей и бояр*; из сей третьей, высшей, степени избирались ежемесячно старейшины: Председатель, Блюститель, Секретарь; для принятия назначались торжественные обряды; желающий вступить в общество давал клятву сохранять в тайне все, что ему откроют, если оно будет и несогласно с его мнением; по вступлении давал он другую [клятву]; сверх того каждая степень и даже старейшины имели свою особенную присягу. Обещались стремиться к цели общества и покоряться решению Верховного собора бояр. Наименование боярина должно было быть тайною для членов низших степеней. Боярами называли тотчас членов коренных, т. е. основателей общества, но можно было возводить и принимать прямо в сие звание и некоторых новых. Целию составления сего общества было с самого начала изменение государственных установлений в России; но к достижению оной еще средства не предназначались; члены обязывались только подвизаться для пользы отечества, способствовать всему полезному, если не содействием, то хотя изъявлением одобрения, стараться пресекать злоупотребления, оглашая предосудительные поступки недостойных общей доверенности чиновников, особенно же стараться усиливать общество приобретением новых надежных членов, разведая прежде о их способностях и нравственных свойствах или даже подвергнув их некоторому испытанию. Общество сие, по несогласию основателей с вновь приглашенными членами, не одобрявшими устав Союза, не имело успехов и вскоре (т. е. с конца 1817-го или в начале 1818 года) изменило свое образование, приняв новое имя — Союза благоденствия и новый устав, сочиненный Александром, Михайлом и Никитою Муравьевыми, князем Сергеем Трубецким, Петром Колошиным и князем Ильей Долгоруким.

II

ОБЩЕСТВО ВОЕННОЕ¹, или ВОЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Незадолго до преобразования Союза спасения составилось под председательством Александра Муравьева Общество военных

* По некоторым показаниям, был еще четвертый род членов в сем обществе — не принятых в оное, даже иногда и не знавших его существования, но считаемых почему-либо в единомыслии с прочими; их называли друзьями.

людей. Оно должно было служить только для испытания; и члены оно, смотря по способностям и образу мыслей, о коих судили члены Союза, могли быть принимаемы в низшую степень Союза, т. е. в братия, или внесены в число друзей; не подающие же никакой надежды и не показывающие единомыслия были мало-помалу отдаляемы, и сношения с ними прекращались. Членам Военного общества не открывалось существование Союза спасения, и никакая цель политическая им не объявлялась; они были только приглашаемы способствовать денежными пожертвованиями к улучшению судьбы вдов и сирот павших на поле сражения солдат, и от них требовалось сохранять в тайне существование общества, под предлогом, что дела добрые должны быть сокровенны. Они изредка собирались у Александра Муравьева, который, вместе с своими сообщниками по Союзу, заводя нескромные суждения о правительстве, старался в разговорах разведывать образ мыслей каждого. Общество сие существовало недолго, почти никто из членов оно не поступил в Союз спасения, и при образовании Союза благоденствия оно уже было уничтожено, сам основатель Александр Муравьев объявил, что он его не помнит. Члены оно, не принадлежавшие к тайным обществам, по высочайшему повелению не были требованы к следствию и оставлены без внимания как совершенно не участвовавшие в злоумышлении.

III

ОБЩЕСТВО РУССКИХ РЫЦАРЕЙ

Генерал-майор Михайло Орлов в 1816-м году имел мысль вместе с графом Мамоновым и Николаем Тургеневым завести общество под названием Русских рыцарей, для наблюдения над лихоимством и другими беспорядками внутреннего управления, и полагал (как он показал) испросить на то высочайшего одобрения; потом, веря дошедшим будто бы до него слухам, будто покойный император намерен восстановить Польшу в прежнем виде, и приписывая сие влиянию польских тайных обществ, вздумал посредством своего общества противодействовать оным. В 1817 году он сообщил мысль сию Александру Муравьеву, который в то же время открыл ему существование Союза спасения. Они взаимно приглашали друг друга в свое общество и не могли согласиться в правилах для соединения. Орлов оставил свое намерение, и Общество Русских рыцарей не составилось; впоследствии же (в 1820 году) он вступил в Союз благоденствия, в который уже прежде был принят Николай Тургенев; граф Мамонов по болезненному состоянию не был приглашаем.

СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ, ИЛИ ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕННОЙ КНИГИ

Общество, составленное в 1817 году Александром и Никитою Муравьевыми, Пестелем и князем Сергеем Трубецким под названием Союза спасения, или Истинных и верных сынов отечества, перемены в 1818-м году свое образование и устав, приняло название Союза благоденствия.

Устав оного, сочиненный Александром, Михайлом и Никитою Муравьевыми, Сергеем Трубецким, Петром Колошиным и князем Ильею Долгоруким, заимствован из напечатанного в журнале Freywillige Blätter* устава, коим, полагают, что управлялся существовавший в Германии Тугендбунд. Главные черты сего устава — образование общества, правила, коими оно руководствовалось, и направление оного — подробно изложены в Донесении высочайше учрежденной Следственной комиссии. Из начертания сего очевидно, что только основатели Общества или первоначально в оное вступившие, именовавшиеся коренными членами, Коренным союзом, Коренною управою, Коренным советом, одни управляли Союзом благоденствия, сохраняя в руках своих всю власть и скрывая настоящие намерения свои мраком тайны, могли одни давать оному направление к какой-либо цели. Все прочие члены, ими принятые, коим истинная сокровенная цель (изменение государственных установлений) не открывалась, не могли видеть ничего предосудительного в той, которую им объявляли. «Благо отечества, — говорили основатели, — единственно побуждает членов подвизаться, цель сия не может быть противна правительству, ибо правительство, несмотря на свое могущественное влияние, имеет нужду в содействии частных людей, будем ему ревностными пособниками в добре и, не скрывая своих намерений от граждан благомыслящих, будем трудиться в тайне только для избежания нареканий, злобы и ненависти». Предметами деятельности каждого члена предназначались: благотворительность, умственное и нравственное образование самого себя, наблюдение за чиновниками государственной службы, т. е. изыскание злоупотреблений и похвальных поступков каждого из них для открытия первых правительству и для поощрения к последним похвалами и даже денежными пособиями. Обманутые сею благонамеренною наружностью, многие молодые люди вступили в Союз, и некоторые из них предлагали даже испросить высочайшего согласия на учреждение общества, но сие предложение, разумеется, было единогласно отвергнуто Коренным советом. Устав, коего первая только часть была сочинена, был рукописный и вмещался в небольшой книге с зеленым переплетом, отчего и само общество называлось Обществом Зеленой книги. В начале 1820 года несколько коренных членов, собравшись у полковника Федора Глинки, рассуждали о лучшем для России образе правления и по большинству голосов положили ввести со временем правление республиканское. С тех пор

* Свободные листы (нем.). — Сост.

мысли республиканские сделались господствующими в Коренном союзе. Однако вскоре возродилось разногласие в мнениях; некоторые из коренных членов, ужаснувшись дерзости своего предприятия, стали чувствовать свое заблуждение, обнаруживать образ мыслей умеренный и охладели к обществу; разбросанные по государству основатели (в Петербурге, Москве и Тульчине) действовали неединообразно; деятельность многих членов пресекалась. Дабы прекратить таковое разномыслие и раздор, угрожавшие обществу упадком, положено было собрать в Москве депутатов от всех отраслей для дальнейшего определения цели и действий Союза. Депутаты действительно съехались в Москву в феврале месяце 1821 года; но после долгих прений и горячих споров, увеличивших еще более раздор, видя невозможность склонить умы к принятию одного какого-либо мнения основным, они решились уничтожить общество³.

Николай Тургенев как председатель от имени всех уполномоченных членов объявил прочим, что Союз благоденствия разрушился совершенно и навсегда, как по возникшему в оном несогласию, так и для того, чтобы не возбудить подозрения правительству. Зеленая книга и прочие бумаги были сожжены, и уничтожение Союза благоденствия объявлено было всем сообщникам по возвращении депутатов. Однако истинные причины, побудившие сделать сие объявление, были чувство, что устав неясно определял цель общества, отчего деятельность онога уменьшилась, и желание удалить членов, кои уже охладели в усердии или по характеру своему и образу мыслей казались неспособными содействовать Коренной управе. Руководители тогда же условились составить новое тайное общество, приняв за правило набирать членов с большею осторожностью и по точном удостоверении в их единомыслии, покрывать намерения свои тайною более непроницаемою и действовать решительнее к достижению своей цели — ниспровержению существующего в государстве порядка вещей. Члены Союза благоденствия, или Общества Зеленой книги, кои не принадлежали к Коренной управе и впоследствии не вступали в учредившееся после уничтожения онога новое тайное общество, по высочайшему повелению не были требованы к следствию и оставлены без внимания как не участвовавшие в злоумышлении.

V

ОБЩЕСТВА ВОЛЬНЫЕ

По уставу Союза благоденствия каждые десять членов Союза, составляющие так называемую управу, должныствовали заводить вольные общества. Сии общества, управляемые одним или двумя членами Союза, коего существование им не открывалось, не входили в состав онога. Им не была предназначаема никакая политическая цель, а от учреждения их ожидалась только та польза, что, руководимые своими основателями или начальниками, они особенною своею деятельностью по литературе, художествам и так далее

могли бы способствовать достижению цели Коренной управы. Таковых вольных обществ было заведено три: два в лейб-гвардии Измайловском полку, одно — Семеновым (надворным советником, служившим тогда в лейб-гвардии Егерском полку), другое — князем Евгением Оболенским и Токаревым⁴, третье — полковником Федором Глинкою. Все три существовали недолго и разрушились совершенно с уничтожением Союза благоденствия. Члены сих обществ, не принадлежавшие к Коренной управе Союза, ниже к другим тайным обществам, по высочайшему повелению не требованы к следствию и оставлены без внимания.

VI

ОБЩЕСТВО МАЛОРОССИЙСКОЕ

Новиков, один из коренных членов Союза благоденствия, будучи назначен правителем канцелярии малороссийского генерал-губернатора, взялся завести в Полтаве при масонской ложе вольное общество по правилам «Зеленой книги», но (как показал Матвей Муравьев, бывший тогда в Полтаве) он только искал средств добывать деньги, и ни общество, ни ложа его не распространились. Тогда же Матвей Муравьев прибавил, что один из принятых Новиковым членов, переяславский уездный маршал Лукашевич, впоследствии завел Общество Малороссийское, имеющее целию отделение его края от России и присоединение оного к независимому Королевству Польскому⁵. По изысканиям оказалось, что показание Матвея Муравьева было основано на одних догадках и что общество сие вовсе не существовало и никогда не заводилось.

VII

ОБЩЕСТВО, ВОЗНИКШЕЕ ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЯ СОЮЗА БЛАГОДЕНСТВИЯ

После объявления на Московском съезде депутатов уничтожения Союза благоденствия некоторые из главнейших коренных членов положили возобновить общество, начертав тому новые правила и определив точнее цель и действие. В Петербурге Николай Тургенев и Никита Муравьев в исходе 1822 года, пригласив несколько членов прежнего Союза и приняв новых, образовали общество, разделив оное на Союз убежденных и Союз соединенных. Союз убежденных составлялся из основателей и управлялся обществом посредством Думы, состоящей из трех избранных членов. В Союз соединенных поступали все вновь принимаемые, а из оного избирались по согласию Думы достойнейшие, по их мнению, в Союз убежденных. Сей единственно верхний круг знал о средствах к достижению цели и о долженствовавшем предназначении времени начатия действий; членам же второго круга, соединенным, открывалась мало-помалу одна только цель. В Тульчине Пестель и Юшневский,

по возвращении из Москвы своих депутатов, не признали уничтожение Союза, склонили к своей мысли почти всех своих сообщников во 2-й армии и, приняв со многими из них название бояр Союза, стали деятельно набирать новых членов, обнаруживая явно друг другу желание ввести республиканское правление. Соображаясь с уставом первого общества, сочиненным Пестелем, они положили разделить членов на три степени (смотри Союз спасения), но от сего правила они с самого начала отступили, и вместо постепенного открытия цели и средств своих они почти при самом принятии извещали членов о всех своих мыслях и намерениях. Одни правители сохранили название бояр; друзьями, полупринятыми или полусогласившимися, назывались те, которым только глухо открывалось существование общества и которых надеялись склонить впоследствии ко вступлению в оное. Оба сии общества, Петербургское и Тульчинское, вскоре вошли в сношение, и хотя они сначала не соглашались в мнениях насчет окончательных средств к достижению своей цели, ниже насчет образования, которое предполагали дать России после подготавливаемого ими переворота, однако ж они единодушно старались, каждое по своим правилам, привлечь к себе более сообщников и готовить умы к изменению государственных установлений. Общества сии не приняли никакого названия, но различали друг друга именем Северного и Южного, первым означалось Петербургское общество, а последним Тульчинское; в двух только показаниях Северное общество названо тоже Союзом добра и правды и Союзом убежденных и соединенных. В сих-то двух обществах возникли все злодейские мысли и намерения противу государя, престола и спокойствия государства, ознаменованные мятежом 14-го декабря 1825 года. Различные планы их, действия и покушения подробно описаны в Донесении [Следственной] Комиссии. Все члены сих двух обществ, смотря по мере их участия, были преданы Верховному уголовному суду или понесли исправительные наказания; полупринятые же, не участвующие в заговорах и мятежах, по высочайшему повелению оставлены без внимания и отданы под секретный надзор полиции.

VIII

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ

Подпоручик Борисов 2-й^б, будучи еще юнкером артиллерии, вздумал составить общество, которое бы управлялось особыми законами, предписывающими между членами тесную дружескую связь, умственное образование, изучение естественных наук и соблюдение строгих правил нравственности. Мысль сию сообщил он некоторым из своих товарищей и вместе с ними долго мечтал о будущем учреждении сего общества, которое, назвав Обществом Друзей природы, хотел образовать по правилам древних греческих мудрецов, присвоив членам общества и древнее греческое одеяние. О преобразовании правления в России ни он, ни сообщники его тогда

не помышляли, но думали основать союз свой на каком-либо отдаленном необитаемом острове. Общество сие, не принявшее еще настоящего начала, немного имело членов или единомышленников, желающих составить оное, и сам основатель вскоре оставил свои мечтания, предавшись новой мысли об учреждении Общества Соединенных славян. Друзья природы, не поступившие впоследствии в другие тайные общества, по высочайшему повелению оставлены без внимания.

IX

ОБЩЕСТВО СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН

Артиллерии подпоручик Борисов 2-й, пригласив к тому брата своего артиллерии подпоручика Борисова 1-го и волынского шляхтича Люблинского, в 1823 году основал Общество Соединенных славян. Целию их Общества было: соединение общим союзом и единообразным республиканским правлением, но без нарушения независимости каждого, восемь славянских племен: т. е. Россию, Польшу, Богемию, Моравию, Далмацию, Кроацию, Венгрию с Трансильваниею, Сербию с Молдавией и Валахией; построение четырех портов на четырех морях, окружающих сии земли, т. е. на Черном, Белом, Далматском и Ледовитом, основание в середине сих осьми земель главного города. Правила общества были начертаны в «Клятвенном обещании» и в кратком «Катехизисе славянина», сочиненных Борисовым и переведенных черты сих сочинений, доказывающих нелепость авторов, описаны в Донесении Комиссии. Средств к достижению своего предприятия они никак не имели и довольствовались только — распространять свое общество умножением числа членов, которые должны были жертвовать для общей пользы десятою долею своих доходов. Однако их было не более 36 человек, все молодые офицеры артиллерии и пехотных полков 3-го корпуса, за исключением только некоторых обывателей Волини, где Борисовы квартировали. В сем-то положении было Общество Соединенных славян в 1825 году, когда Бестужев-Рюмин, деятельный член Южного общества, на сборе войск 3-го корпуса в лагере при местечке Лещине открыл существование оногo. Он скоро успел обратить славян к своей цели и, присоединив их к своему обществу, получил от большей части клятвенное обещание ему содействовать и повиноваться беспрекословно. С того времени Славянское общество, руководимое Бестужевым-Рюминым, разделяло все мысли и намерения его относительно ниспровержения престола и всего существующего в России порядка и даже намеревалось покуситься на жизнь царствовавшего тогда императора. При арестовании Бестужева и Муравьева-Апостола служившие в Черниговском полку славяне⁷ содействовали им в возмущении полка. Все члены сего общества были преданы Верховному уголовному суду или военному при главной квартире 1-й армии, кроме некоторых, которые, по маловажному

участию, принимаемому ими в делах обществ, понесли только исправительные наказания или оставлены под строгим секретным надзором полиции.

X

ОРДЕН ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Флота лейтенант Завалишин мечтал учредить тайный вселенский Орден восстановления. Целию сего Ордена назначал он (как он сам показал) торжество истин веры, утверждение в Европе монархического правления, твердое основание внутреннего в государствах спокойствия и, наконец, распространение влияния России на американские владения. Средством к достижению сей цели полагал он род крестовых походов против турок и основание республиканских правлений в других частях света, чем думал удалить из Европы людей беспокойных, желающих перемен и смятений и старающихся производить оные. Он написал Ордену сему статуты, наподобие мальтийских, выдумал особое одеяние и письменно предложил покойному императору Александру в 1823-м году, как лучшая мера противу зловредных тайных обществ, завести сей Орден в России и распространить его потом по всей вселенной под покровительством его величества. Государь император отверг предложение Завалишина, приказав объявить ему, что тайные общества в России запрещены. Вскоре после сего отказа Завалишин познакомился с Рылеевым, объявил ему, что принадлежит к учрежденному уже в Калифорнии Ордену восстановления, стремящемуся к ниспровержению монархических правлений, и показал рукописный устав оногo, по словам Рылеева, двусмысленный, подлежащий двоякому толкованию, в пользу правлений монархических и демократических. Сие открытие, переданное Рылеевым многим членам Северного общества и Южного общества, было причиною, что некоторые из них сделали показание о существовании того Ордена. Пребывание Завалишина в Калифорнии, письма к жителям того края и от них, некоторые бумаги и ключ тайной переписки, у него найденные, неясность его ответов, запутанность оправданий, так сказать, подтвердили сие показание и усилили подозрение Комиссии. Но строгое и основательное исследование, продолжавшееся еще после приговора Завалишина, очевидно доказало, что Ордена восстановления нигде не существовало и есть не что иное, как вымысел Завалишина⁸.

XI

ОБЩЕСТВО В КРОНШТАДТСКОМ ФЛОТЕ

Рылеев, приняв в Северное общество капитан-лейтенанта Николая Бестужева и Гвардейского экипажа лейтенанта Арбузова, надеялся чрез их влияние распространить общество во флоте.

Приехавшему же из Тульчина с поручением от Южного общества князю Сергею Волконскому Рылеев объявил, что в Кронштадтском флоте есть сильное общество и много членов, на содействие которых достоверно уповать можно. По изыскании оказалось, что во флоте никакого особого общества не существовало и что даже Северное имело там весьма немногих и незначительных членов.

XII

ОБЩЕСТВО В ГВАРДЕЙСКОМ ЭКИПАЖЕ

Завалишин, узнав от Рылеева о существовании Северного общества и политической его цели, пожелал вступить в оное, сначала (как он говорит сам) для того единственно, чтобы, разведав подробно, открыть все правительству⁹. Но он не мог преклонить Рылеева к принятию его, ибо сей последний, слышав о предложении Завалишина покойному государю — учредить Орден восстановления, усомнился в чистоте его намерений и страшился измены. Решившись во что бы то ни стало для исполнения своего намерения проникнуть в тайное общество, Завалишин, чтобы успеть в сем, вздумал сблизиться с молодыми офицерами Гвардейского экипажа и другими, коих по свободомыслию почитал принадлежащими к обществу Рылеева (Северному) или полагал с ним в знакомстве; он надеялся без больших затруднений овладеть ими и чрез их посредство узнать все, что хотел, и не вступая в общество. В сем намерении он познакомился с лейтенантом Арбузовым и мичманами Дивовым и Беляевыми, которые свободными политическими суждениями уже обратили на себя его внимание. Но потом, сообразив, что общество Рылеева действительно весьма сильно и могущественно, Завалишин оставил первую мысль свою — донести о сем обществе правительству — и вздумал или вступить в оное, или, с своей стороны, отдельно ему всеми силами содействовать к достижению цели. Для сего он стал обнаруживать новым приятелям своим образ мыслей совершенно республиканский и даже революционный, мало-помалу воспалил их воображение, довел до неистовства и вскоре влиянием своим сделал их из безрассудных говорунов ревностных желателей переворота в России и, наконец, террористов, готовых на все преступления. Сей дружеский круг, управляемый Завалишиным, не составлял особого тайного общества, не имел ни правил, ни устава, занимался единственно в тайных беседах своих тем, что хулил правительство, государя и всех высоких особ его фамилии, превозносил республики и революции, желал оные в России; круг сей лишь только тогда стал помышлять о средствах привести мечтания свои в исполнение, когда один из членов оного, Арбузов, вступил в Северное общество, извещил собеседников своих о предназначенном на 14 декабря мятеже и пригласил принять в оном деятельное участие, склонив к тому и командуемых ими нижних чинов. Все сии офицеры были преданы Верховному уголовному суду¹⁰.

ОБЩЕСТВО ПОЛЬСКОЕ¹¹

Существование в Царстве Польском тайного политического общества, имеющего целью отделить край сей от России и восстановить прежнее королевство Польское с присоединением к оному провинций, вмещенных в состав империи Российской, было открыто членами Южного общества, которые с оным вошли в тайные сношения. Коль скоро сие сделалось известным Следственной комиссии чрез показание Пестеля, обоих братьев Муравьевых-Апостолов, Бестужева-Рюмина, Волконского и других, то государь император высочайше повелеть соизволил учредить в Варшаве для изыскания Следственный комитет, в который все показания, относящиеся до Польского общества, были препровождаемы. Дальнейшие открытия о цели, силе, намерениях и средствах сего общества, различных его отраслей или единомышленных других союзов, сношений их между собою или с иностранными сообществами уже с тех пор не входили в круг действий Петербургской следственной комиссии. По сей причине помещены в алфавит¹² только те члены общества Польского, которые предварительно здесь допрошены или коих имена упомянуты в делах.

ОБЩЕСТВО ТАМПЛИЕРОВ

Показания, сделанные о Польском тайном обществе, открыли равным образом существование в Польше общества, или ордена, Тамплиеров — остатка уничтоженных масонских лож, имеющего с обществом Польским одну и ту же политическую цель. Исследование о сем Ордене тоже представлено Варшавской следственной комиссии.

ОБЩЕСТВО ВОЛЬНЫХ САДОВНИКОВ

Члены Южного общества, вошедшие в сношения с Польским тайным обществом, слышали от агентов оногo, будто в Курляндии существует под наименованием Вольных садовников тайное политическое общество, связанное с Польским или имеющее с оным сношения. Кроме сего, никаких сведений о сем обществе никто из допрошенных в Петербурге злоумышленников не имел. Показание сего передано для исследования в Варшавский комитет.

ОБЩЕСТВО КАВКАЗСКОЕ ИЛИ В КАВКАЗСКОМ ОТДЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Сергей Волконский, будучи на Кавказе, познакомился с капитаном Якубовичем и, намекая ему о тайном обществе, узнал от него, что он, Якубович, уже принадлежит к существующему в Кавказском корпусе тайному политическому обществу, коего цель есть отделение областей кавказских и грузинских от России, основание из оных особого государства под управлением генерала Ермолова и его потомства, что общество сие весьма сильно и генералу Ермолову небезынтересно. По строгому исследованию оказалось, что Якубович выдумал рассказ сей нарочно, дабы посмеяться над легковерием Волконского, что на Кавказе никакого общества не существует и не существовало¹³.

XVII

СОЮЗ ПРАКТИЧЕСКИЙ

Один из членов Северного общества, Иван Пущин, будучи переведен на службу в Москву, имел намерение учредить там управу, но, видя безуспешность своих стараний, и по невозможности найти людей единомышленных, он решился, хотя посторонним средством, к достижению цели общества. Для сего он составил или хотел составить Союз практический, коего члены обязывались освобождать дворовых своих людей от рабства, стараться побуждать к тому своих знакомых и приискивать случаи и средства выкупать на волю чужих крепостных людей, которые того пожелают. Пущин успел набрать только малое число членов, да и те не оказывали большой ревности к предположенной цели. Все те из них, кои не принадлежали к Северному обществу или Южному обществу, по высочайшему повелению оставлены без внимания как не участвовавшие в злоумышлениях¹⁴.

XVIII

ОБЩЕСТВО ЗЕЛЕННОЙ ЛАМПЫ

В 1820 году камер-юнкер Всеволожский завел сие общество, получившее свое название от лампы зеленого цвета, которая освещала комнату в доме Всеволожского, где собирались члены. Оно политической цели никакой не имело; члены съезжались для того, чтобы читать друг другу новые литературные произведения, свои или чужие, и обязывались сохранять в тайне все, что на их собраниях происходило, ибо нередко случалось, что там слушали и разбирали стихи и прозу, писанные в сатирическом или вольном

духе. В 1822 году общество сие, весьма немногочисленное и по качествам членов своих незначашее, уничтожено самими членами, страшившимися возбудить подозрение правительства. Камер-юнкер Всеволожский, равно как и прочие его сообщники, оставлены без внимания.

Военный министр граф Татищев.
Флигель-адъютант полковник Адлерберг.

II. ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА

П. А. Каратыгин

ИЗ «ЗАПИСОК»

⟨...⟩ В начале 1825 года с нашим театральным кружком сблизился капитан Нижегородского драгунского полка Александр Иванович Якубович, о котором я упоминал в начале моих записок; личность его была весьма замечательна. Очень часто я встречал его в доме князя Шаховского¹. Это был настоящий тип военного человека: он был высокого роста, смуглое его лицо имело какое-то свирепое выражение; большие, черные, навывкате глаза, всегда словно налитые кровью, сросшиеся густые брови, огромные усы, коротко остриженные волосы и черная повязка на лбу, которую он постоянно носил в это время, придавали его физиономии какое-то мрачное и вместе с тем поэтическое значение.

Кроме военного мундира его нельзя было вообразить в другом костюме.

Любили мы с братом² слушать его красноречивые рассказы о кавказской жизни и молодецкой, боевой удали. Это был его любимый конек, тут он был настоящий Демосфен!³ Дар слова у него был необыкновенный, речь его лилась безостановочно; можно было думать, что он свои рассказы прежде приготовил и выучил их наизусть; каждое слово было на своем месте, и ни в одном он не затруднялся. Когда он сардонически улыбался, белые, как слоновая кость, зубы блестили из-под усов его и две глубокие черты появлялись на щеках, и тогда его улыбка имела какое-то зверское выражение.

Если бы 14 декабря (где он был один из действующих лиц) ему удалось говорить народу или особенно солдатам, он бы представительной личностью и блестящим красноречием мог сильно подействовать на толпу, которая всегда охотница до эффектов. ⟨...⟩

⟨...⟩ Когда в городе носились уже слухи о тяжелой болезни императора Александра I и начались толки, кто примет корону — Константин или Николай, кто-то спросил у Якубовича:

— Которого бы из двоих ты желал лучше видеть царем?

— Если уж нельзя ни того, ни другого, так уж, конечно, лучше давайте Константина; этот хоть, по крайней мере, старый кот,

попадешься к нему в когти, так разом задушит, а не станет, как котенок, играть с мышкой.

В конце ноября было получено известие о неожиданной смерти Александра: Это событие всех сильно поразило. Все почти непритворно об этом плакали и в преемнике его Константине немного ожидали доброго. Появились гипсовые бюсты, портреты Александра с печальными эмблематическими изображениями; траурные кольца с надписью «Наш ангел на небесах»; все это покупалось тогда нарасхват. Прошли смутные, тяжелые две недели междуцарствия, в продолжение которых успели налитографировать портреты Константина Павловича с надписью «Император всероссийский». Приближалось грозное 14 декабря.

В народе носились зловещие слухи, что общественное мнение сильно разделено относительно преемника престола. На рынках и в мелочных лавках, куда стекаются из низших слоев народонаселения разные городские сплетни и толки, распространялись темные слухи. Так, и наша прислуга слышала 13 декабря, что завтра назначена войскам присяга, но что многие не хотят присягать новому императору Николаю Павловичу.

Разумеется, мы этому ничему не верили и запретили прислуге повторять такие нелепости.

Наступило утро рокового дня; казалось, что все шло своей обычной чередой; на улицах ничего особенного не было заметно. В этот день был именинник наш директор Аполлон Александрович Майков⁴, который хотел справлять свои именины у дочерей своих Азаревичевых, живших с матерью в казенной квартире в доме Голлидея на втором этаже (в том самом доме, где и мы жили). Над ними была квартира Катерины Телешовой⁵, с которой граф Милорадович был в коротких отношениях. Часов в десять с половиной графская карета в четверке подъехала к крыльцу со двора, и Милорадович в полной парадной форме, в голубой ленте вышел из нее и пошел, по обыкновению, прежде наверх к Телешовой, потом обещал зайти на пирог к Майкову.

Видя генерал-губернатора в этот день спокойным, мы тоже начинали успокаиваться и были почти уверены, что нелепые вчерашние слухи не имели никакого основания, иначе как бы мог в такой важный день и час генерал-губернатор столицы быть в гостях у частного лица? Неужели бы эти зловещие городские слухи не дошли до него? Но не прошло и четверти часа по приезде графа, как во двор наш прискакал жандарм, соскочил с лошади и побежал наверх в квартиру Телешовой. Через несколько минут карета графа подъехала к крыльцу, и он, быстро сбежав с лестницы, торопливо сел в карету, дверцы которой едва успел захлопнуть его лакей и которая тотчас же помчалась за ворота. Мы побежали смотреть в окна, выходявшие на офицерскую улицу, и тут увидели батальон Гвардейского экипажа, который шел в беспорядке, скорым шагом, с барабанным боем и распущенным знаменем; ими предводительствовал знакомый нам капитан Балкашин. Уличные мальчишки окружали солдат и, прыгая, кричали: «Ура!»

Быстрый отъезд графа и эта последняя картина мало доброго обещали. Мы с братом начали собираться со двора, чтобы узнать, в чем дело, но матушка наша взяла с нас слово, что мы далеко не уйдем и чтобы не совались в толпу и были осторожнее. Мы пошли по Большой Морской и тут встретили Сосницкого⁶, который пошел вместе с нами; мимоходом втроем зашли мы к Якубовичу, чтоб от него, как от военного человека, что-нибудь узнать обо всей этой сумятице. У него был приготовлен завтрак, но он был что-то не в себе, в тревожном состоянии, поздоровался с нами и сказал нам:

— Закусите, господа, да пойдемте вместе на Сенатскую площадь: сегодня присяга новому царю, посмотрим, что там делается.

Но нам не шел кусок в горло, и мы отказались от завтрака. Он велел подать себе шинель, и мы четверо вышли на улицу.

С Гороховой шел Московский полк, также с барабанным боем и распущенными знаменами, и густые толпы разного сброда и особенно мальчишек окружали солдат и горланили: «Ура!» Якубович пожал руку моему брату и, побежав вперед, вскоре скрылся из наших глаз. Поворотя за угол, мы увидели Якубовича, уже без шинели, с обнаженной саблей впереди полка; он сильно кричал и махал своей саблей. Мы взялись с братом за руки, чтобы толпа не оттерла нас друг от друга, и прошли на Дворцовую площадь и там увидели нового императора в полной парадной форме перед батальоном Преображенского полка. Он был бледен, но на лице его не было заметно ни малейшей робости; он распоряжался молодецом, и с этой торжественной минуты он вселил во мне искреннее к себе уважение.

Все виденное нами была только шумная увертюра перед кровавой драмой, которая через час должна была разыгаться на Петровской площади. Известно всем, что это несвоевременное представление на Руси имело несчастное фиаско благодаря твердости и мужеству молодого императора.

Со всех улиц густые толпы народа всякого звания и возраста стекались ко дворцу и к Сенату. Там скакала кавалерия, тут бежала пехота, дальше видна была артиллерия. Вся эта обстановка ничего не обещала доброго, и потому мы с братом решили лучше по добру да по здорову убраться восвояси. Брат мой хоть и разыгрывал героев во многих народных трагедиях и площадных мелодрамах, но представление на Петровской площади было нам обоим не по вкусу, и мы должны были оставить свое неуместное любопытство, за которое могли поплатиться жизнью, потому что пуля-дура не разбирает ни правого, ни виноватого.

На обратном пути мы увидели карету графа Милорадовича без кучера и форейтора, посторонние люди вели лошадей под уздцы, говоря, что в кучера и форейтора народ бросал поленьями и избил их.

Мы воротились домой часа в два и рассказали отцу и матери все, что видели.

День был пасмурный, перепадал мелкий снег, и к трем часам значительно стемнело; мы все сидели у окошек и видели беспрестанную народную беготню; то проскачет казак, то жандарм, то фельдъегерь промчится во всю прыть. Часу в четвертом с той стороны, где Петровская площадь, что-то мелькнуло, и через секунду раздался пушечный выстрел, другой, третий... В наших сердцах болезненно отозвались эти зловещие выстрелы. Матушка наша перекрестилась и заплакала. Тут кто-то из знакомых прибежал к нам прямо с площади и рассказал о бунте, разумеется, с преувеличенным прибавлением, и что граф Милорадович смертельно ранен и в бунтовщиков стреляли картечью. Матушка наша никого из домашних не отпускала от себя. Обеденный стол давно был накрыт, но никому из нас и в голову не приходило идти в столовую, и мы целый вечер провели в мучительной неизвестности.

Едва только смерклось, как начали разъезжать казацкие объезды по всем улицам и переулкам, им приказано было разгонять народ, если он будет собираться кучками или толпою.

Ночью на площадях Сенатской и Дворцовой были разложены огни и стояли пикеты, около дворца ночевала часть артиллерии.

На другой день мы пошли с братом на Сенатскую площадь и увидели кровавые следы вчерашней драмы. Оконные стекла в Сенате большею частью были разбиты вдребезги первым выстрелом из орудия по приказанию великого князя Михаила. Одна из колонн была обрызгана мозгом и кровью; говорили, что тут кто-то из лобопытства хотел посмотреть на площадь и поплатился за это головой. Около Сената во многих местах снег был смешан с кровью. Остатки ночных костров чернелись повсюду. Конногвардейские отряды разъезжали по главным улицам и около дворца. Я подошел к одному из них и спросил унтер-офицера о князе Одоевском⁷. Унтер-офицер посмотрел на меня презрительно и грубо отвечал мне:

— Ты спрашиваешь, где князь Одоевский? Ну, где он будет, еще бог весть!

Брат мой взял меня за руку, отвел в сторону и сказал мне:

— Зачем ты спрашиваешь? Видишь, стало быть, и князь тут попался.

Этот Одоевский был другом Грибоедова, и мы у него познакомились с ним. Ему было с небольшим двадцать, он был очень красивой наружности, прекрасно образован, кроткого, доброго характера, но энтузиаст с пылким воображением, его легко было увлечь в заговор. Шиллер⁸ был его любимым автором, и вообще он восхищался немецкой литературой. В роковой вчерашний день он оставил свой полк и перешел в ряды бунтовщиков. По следствию оказалось, что он уже полгода назад был в числе заговорщиков.

В тот несчастный вечер, когда мятежники были рассеяны и бунт усмирен, князь Одоевский, переодевшись в партикулярное платье, прибежал к Андрею Андреевичу Жандру, который жил тогда в казенной квартире на Мойке, где помещался его департамент. На следующее утро его начали искать, и, зная, что он хорошо знаком

с Жандром⁹, к нему приехал полицеймейстер, но Жандр запер Одоевского в шкаф и сказал, что он у него не был. Он переночевал у него, и на другой день Жандр убедил несчастного князя, что скрываться ему мудрено, бежать невозможно и что лучше самому нести повинную голову, что он и сделал¹⁰. Между тем укрывательство князя Одоевского в квартире Жандра не могло укрыться от строгого розыска полиции, и Жандр был по высочайшему повелению арестован и посажен на гауптвахту; он просидел там несколько дней и наконец был призван во дворец, в кабинет государя.

Он лично объяснил ему, как было дело, и Николай сказал ему:

— Если все это справедливо, что ты мне сказал, ты поступил как честный человек и ни в чем не виноват, но если ты солгал мне хоть в одном слове, не жди от меня никакой пощады!

Вскоре его освободили, а через месяц он получил крест св. Анны 2-й степени, к которому он был представлен еще до 14 декабря.

Розыски и допросы Следственной комиссии продолжались несколько месяцев. Часто случалось нам в продолжение этого времени видеть фельдъегерскую тройку с каким-нибудь несчастным, которого везли к допросу из-за заставы, или когда под вечер стоявшую у крыльца какого-нибудь дома карету с жандармом. Из дома выходил кто-нибудь, закутанный в шубу, и садился с жандармским офицером в карету, и жандарм помещался на козлах с кучером. Тяжелое, грустное было время! Думали ли мы с братом, что месяц тому назад мы обедали посреди самых рьяных заговорщиков? (...)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КНЯЗЯ

А. М. ГОРЧАКОВА

(...) Во время приезда моего из Лондона в Москву и в Петербург в 1825 году ни один из моих товарищей по Царскосельскому лицей, членов тайного общества, не разговаривал со мною о делах сего общества. Потому, что я всем и каждому из них твердил, что питомцам Лицея, основанного императором Александром Павловичем, не подобает ни прямо, ни косвенно идти против августейшего основателя того заведения, которому мы всем обязаны.

Достоин внимания, что пред самым 14-м декабря 1825 года я был в Москве. Здесь князь Дмитрий Владимирович Голицын¹, между прочим, весьма хвалил моего товарища по Царскосельскому лицей Ивана Ивановича Пущина, служившего в то время в Москве в уголовной палате и воевавшего против взяток.

Князь Голицын, между прочим, и предложил мне, зная, что я еду в Петербург, ехать в одной коляске с Пущиным, туда, как впоследствии оказалось, спешившего по делам тайного общества, о чем, т. е. о настоящей цели поездки Пущина, князь Голицын, конечно, не знал. (...)

Совершенно случайно я выехал из Москвы не с Пушиным, а с графом Алексеем Бобринским². Поезжай я в одном экипаже с Иваном Ивановичем Пушиным, конечно, так либо иначе, но я оказался бы в числе прикосновенных; по крайней мере меня бы, наверное, за знакомство в эти дни с Пушиным, одним из главнейших заговорщиков, привлекли бы к допросу. Но этого, как видите, не случилось.

Я знал и даже был дружен с некоторыми из декабристов, какковы, например, Пушкины, Кюхельбекер и другие. Но продолжительное мое отсутствие из России, служба моя вне пределов [Отечества] на различных дипломатических постах оградила меня от участия в тайном обществе³.

Во время моих приездов в Петербург был, однако, случай, когда один из членов тайного общества заговорил со мной о необходимости такого общества. Я, ничего еще, впрочем, не подозревая, дал понять мое твердое убеждение, что благие цели никогда не достигаются тайными происками, и недосказанное предложение само собою замерло на устах моего собеседника.

В день 14-го декабря 1825 г. я был в Петербурге и, ничего не ведая и не подозревая, проехал в карете цугом с форейтором в Зимний дворец для принесения присяги новому государю Николаю Павловичу. Я проехал из дома графа Бобринского, где тогда останавливался, по Галерной улице чрез площадь, не обратив внимания на пестрые и беспорядочные толпы народа и солдат. Я потому не обратил внимания на толпы народа, что привык в течение нескольких лет видеть на площадях и улицах Лондона разнообразные и густые массы народа.

Как теперь помню, приехал я в Зимний дворец в чулках, сильно напудренный, и один из всех собравшихся камер-юнкеров был в очках. Достоинно внимания, что при дворе императора Александра Павловича ношение очков считалось таким важным отступлением от формы, что на ношение их понадобилось мне особенное высочайшее повеление, испрошенное гоф-маршалом Александром Львовичем Нарышкиным; при дворе было строго воспрещено ношение очков.

Помню весьма живо, как в то же утро, 14-го декабря, во дворце императрица Александра Федоровна прошла мимо меня уторопленными шагами одеваться к церемонии, видел ее потом трепещущую, видел и то, как она при первом пушечном выстреле нервно затрясла впервые головою. Эти нервные припадки сохранились у нее на всю жизнь.

Видел я митрополита Серафима, возвратившегося во дворец с Петровской площади и тяжело опустившегося в кресло, трепещущего всем телом. Он полагал, что был весьма близок к гибели, и дрожал при воспоминании об опасности, которой избег, как он думал, совершенно случайно.

Видел я, и вспоминаю совсем ясно, графа Аракчеева. Он сидел в углу залы, с мрачным и злым лицом, не имея на расстегнутом своем мундире ни одного ордена, кроме портрета покойного государя Александра Павловича, и то, сколько помню, не осыпанного брил-

лиантами. Выражение лица Аракчеева было в тот день особенно мрачное, злое. Никто к нему не приближался, никто не обращал на него внимания. Видимо, все считали его, бывшего временщика, потерявшим всякое значение. <...>

Из всех декабристов мне особенно грустно за судьбу Михаила Ивановича Пущина. Он служил в конно-пионерах, пользовался любовью своего августейшего начальника великого князя Николая Павловича и о тайном обществе ничего не знал. Но вот 13-го декабря 1825 г., т. е. накануне мятежа, разыскивая брата своего, Ивана Ивановича, приехавшего из Москвы, Михаил Иванович Пущин зашел к Кондратию Федоровичу Рылееву, жившему на Мойке, близ Синего моста, в нижнем этаже дома Прокофьева, и здесь попал в самый очаг заговора. Маленькие комнатки квартиры Рылеева были набиты заговорщиками. Шли горячие толки о плане действий на другой день. Толки закончились восклицаниями некоторых из присутствовавших, что «завтрашний день будет славнейшею страницей в русской истории!»⁴.

Михаил Иванович Пущин не пристал к заговорщикам, но и не выдал никого из участников в сходке 13-го декабря 1825 года.

Он был арестован и сослан солдатом на Кавказ. Здесь участвовал он в горячих схватках с горцами, подвергаясь смертельной опасности, получил две серьезные раны. Паскевич двукратно представлял Михаила Пущина к производству в офицеры и к Георгию, но император постоянно вычеркивал его из наградного списка. Наконец, раненый Пущин был уволен со службы. <...>

Я. И. Ростовцев

ОТРЫВОК ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ 1825 И 1826 ГОДОВ

В первых числах декабря [1825 г.] распространился темный слух, что Константин Павлович решительно отказывается от престола. Выезды Оболенского¹ сделались чаще и продолжительнее; он зачал обходиться со мною отменно ласково, говорил, что опасается за Россию и думает, что никто не присягнет Николаю Павловичу, особенно Отдельный Кавказский корпус и военные поселения. Два вечера сряду был я у него, и оба раза приезжали к нему князь Трубецкой (которого я никогда не знал) и Рылеев, и оба раза Оболенский просил меня выйти, говоря, что он имеет нечто поговорить с ними по нужному для него делу. <...>

12-го числа, в четыре часа перед обедом, я пришел к Оболенскому и, к крайнему моему удивлению, нашел у него человек двадцать офицеров разных гвардейских полков, чего прежде никогда не бывало. Между ними был и Рылеев. Они говорили друг с другом шепотом и приметно смешались, когда я вошел. Я немедленно вышел и уехал на [Васильевский] Остров, где жила матушка.

Положение мое было ужасно. Не имея верных доказательств возникающего заговора, не зная, распространяется ли оный по всей России или ограничивается молодыми людьми, которых видел я у Оболенского, но видя, что в том и другом случае оный может быть пагубен для России и нового государя, зная вообще волнение умов и недоумение всех сословий, зная, наконец, что великий князь Николай Павлович не успел еще приобрести себе приверженцев, я с трепетом вообразил себе все злополучия, которые, может быть, ожидают Россию!

Отобедав у матушки, я ушел в кабинет моего зятя, Александра Петровича Сапожникова². С сердечным умилением принес я мольбу мою богу, и бог услышал меня!

Никогда я не чувствовал себя столь счастливым, как в сию торжественную минуту. Твердо решившись спасти государя, Отечество и вместе с тем людей, которых любил и которых считал только слепыми орудиями значительнейшего заговора, я вместе с тем решился принести себя в жертву общему благу; написал письмо мое к государю Николаю Павловичу и, прошившись, может быть, навсегда с зятем моим Александром Петровичем, в 8 ¹/₂ часов отправился в Зимний дворец на половину нынешнего государя.

Вошедши наверх, я попросил бывшего тогда дежурным адъютантом графа Ивелича³ доложить его высочеству, что генерал-лейтенант Бистром прислал адъютанта с пакетом в собственные руки. Великий князь немедленно вышел, принял от меня пакет и, велев мне подождать, удалился в другую комнату, где прочел следующее:

«Ваше императорское высочество! Всемиловитейший государь! Три дня тщетно искал я случая встретить вас наедине, наконец, принял дерзость написать к вам. В продолжение четырех лет с сердечным удовольствием замечая иногда ваше доброе ко мне расположение, думая, что люди, вас окружающие, в минуту решительную не имеют довольно смелости быть откровенными с вами; горя желанием быть, по мере сил моих, полезным, спокойствию и славе России; наконец, в уверенности, что к человеку, отвергшему корону⁴, как к человеку истинно благородному, можно иметь полную доверенность, я решился на сей отважный поступок. Не почитайте меня ни презренным льстецом, ни коварным доносчиком: не думайте, чтобы я был чьим-либо орудием или действовал из подлых видов моей личности; нет — с личною совестью я пришел говорить вам правду.

Бескорыстным поступком своим, беспримерным в летописях, вы соделались предметом благоговения, и история, хотя бы вы никогда и не царствовали, поставит вас выше многих знаменитых честолюбцев. Но вы только зачали славное дело; чтобы быть истинно великим, вам нужно довершить оное!

В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола. Следуя редко влечению вашего доброго сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам вашим, вы весьма многих противу себя раздражили.

Для вашей собственной славы, погодите царствовать!

Противу вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России!

Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва от нас отделятся, Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и соделает ее державою азиатскою, и неспущенные проклятия, вместо благословений, будут вашим уделом!

Ваше высочество! Может быть, предположения мои ошибочны, может быть, я увлекся и личною привязанностию к вам и любвию к спокойствию России, но дерзаю умолять вас, именем славы Отечества, именем вашей собственной славы — преклонить Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь с ним курьерами; ибо сие длит пагубное для вас междоусобие и может выискаться дерзкий мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте сами в Варшаву, или пусть он приедет в Петербург; излейте ему, как брату, мысли и чувства свои. Ежели он согласится быть императором — слава богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит вас государем!

Всемиловейший государь! Ежели вы находите поступок мой дерзким — казните меня! Я буду счастлив, погибая за вас и за Россию, и умру, благословляя всевышнего! Ежели вы находите поступок мой похвальным, молю вас, не награждайте меня ничем: пусть останусь я бескорыстен в глазах ваших и в моих собственных! Об одном только дерзаю просить вас: прикажите арестовать меня. Ежели ваше воцарение, что даст всемогущий, будет мирно и благополучно, то казните меня как человека недостойного, желавшего из личных видов нарушить ваше спокойствие; ежели же, к несчастью России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня вашею доверенностию и позвольте мне умереть за вас! Вашего императорского высочества, всемиловейший государь, верно-подданный Иаков Ростовцев. 12 декабря 1825 года»⁵.

Около десяти минут, с верою в бога, с спокойным сердцем, ждал я ответа. Наконец, дверь отворилась, и великий князь позвал меня к себе. Он запер тщательно обе двери и, взяв меня за руку, спросил: «Как зовут твоих братьев?» Поняв смысл вопроса, я отвечал: «Это писал я!» С сим словом, от сильного борения чувств, слезы у меня брызнули. Великий князь также прослезился и бросился обнимать меня. Он целовал меня много раз в голову, в глаза и в губы и наконец сказал: «Вот чего ты достоин; такой правды я не слыхал никогда!» Я имел смелость взять его за руку и сказал: «Ваше высочество, не почитайте меня доносчиком и не думайте, чтобы я пришел с желанием выслужиться!» Он отвечал: «Мой друг, я давно знал тебя за благородного человека, и подобная мысль недостойна ни тебя, ни меня. Я умею понимать тебя!» Потом взял меня за руку и подвел к столу.

В. князь. — Я от тебя личностей не ожидаю. Но как ты думаешь, нет ли против меня какого-нибудь заговора?

Я. — Не знаю никакого. Но, может быть, весьма многие питают неудовольствие против вас; но я уверен, что люди благоразумные в мирном воцарении вашем видят спокойствие России. Вот уже пятнадцать дней, как гроб лежит у вас на троне и обыкновенная тишина не прерывалась; но, ваше высочество, в самой этой тишине может крыться коварное возмущение!

В. князь. — Мой друг, может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что сие противно благородству души твоей, — и не называй! Ежели какой-либо заговор тебе известен, то дай ответ не мне, а тому, кто нас выше! Мой друг, я плачу тебе доверенностью за доверенность. <...>

В следующий день, 13 декабря, все утро провел я на службе. Пред обедом написал письмо мое и разговор с государем и после обеда, в половине шестого часа, пришел к Оболенскому.

Он был в кабинете своем с Рылеевым. Вошедши в комнату, я сказал им: «Господа, я имею сильные подозрения, что намереваетесь действовать против правительства; дай бог, чтобы подозрения эти были неосновательны; но я исполнил долг свой. Я вчера был у великого князя. Все меры против возмущения будут приняты, и ваши покушения будут тщетны. Вас не знают; будьте верны своему долгу, и вы будете спасены!» Тут я им отдал и письмо, и разговор мой, и Рылеев зачал читать оные вслух. Оба они побледнели и чрезвычайно смешались. По окончании чтения Оболенский сказал мне: «С чего ты взял, что мы хотим действовать? Ты употребил во зло мою доверенность и изменил моею к тебе дружбе. Великий князь знает наперечет всех нас, либералов, и мало-помалу искоренит нас; но ты должен погибнуть прежде всех и будешь первою жертвою!» Я: «Оболенский, ежели ты считаешь себя вправе мстить мне, то отмщай теперь!» Рылеев бросилась мне на шею и сказал: «Нет, Оболенский, Ростовцев не виноват, что различного с нами образа мыслей! Не спорю, что он изменил твоей доверенности; но какое право имел ты быть с ним излишне откровенным? Он действовал по долгу совести, жертвовал жизнью, идя к великому князю, вновь жертвует жизнью, придя к нам; ты должен обнять его как благородного человека!» Оболенский обнял меня и сказал: «Да, я его обнимаю и желал бы задушить в моих объятиях!»

Я им сказал: «Господа, я оставлю у вас мои документы; молю вас, употребите их в свою пользу! В них видите вы великую душу будущего государя; она вам порукою за его царствование». Я вышел. В 12 часов вечера Оболенский пришел ко мне и, обняв меня, сказал: «Так, милый друг, мы хотели действовать, но увидели свою безрассудность! Благодарю тебя, ты нас спас!» <...>

Такая перемена чрезвычайно меня обрадовала; но впоследствии я увидел, к несчастью, что это была только хитрость.

Происшествие 14 декабря всем известно.

Утром Оболенский пришел ко мне и просил меня ехать с Карлом Ивановичем к присяге⁶, говоря, что имеет нужду заняться бумагами по канцелярии. Он был чрезвычайно спокоен и даже весел, что я приписал к счастливой перемене его образа мыслей. После сего мы уже с ним не виделись!

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА О 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

(воспоминания Л. П. Бутенева)

14-го декабря, в понедельник, при тихой безветренной, хотя и несколько пасмурной, погоде, терм[ометр] не показывал более 5 или 6 градусов по Реом[юру], санный путь восстановился, р. Нева, скрывшись под окрепшим льдом, способствовала везде к удобному сообщению с заречной стороной, независимо от наведенного Исаакиевского моста. За половину 10-го часа утра один из моих сослуживцев, вбежав в Коллегию иностранных дел и едва переводя дух, рассказал, что на Исаакиевскую площадь пришел лейб-гвардии Московский полк, отказавшийся присягнуть императору Николаю, и с криками требует Константина! Это известие так для меня было нечаянно и поразительно, что набросить на себя шинель, выбежать из Коллегии, вскочить в бывшие у подъезда чьи-то сани и прискакать на площадь было делом одной минуты. И немудрено.

У самого здания Правительствующего сената, впереди гауптвахты, лицом к бульвару Адмиралтейства стояли неполный батальон л.-гв. Московского полка с распущенным знаменем и несколько рот лейб-гренадерского полка, выстроены в каре. Солдаты держали ружья у ноги. Офицеры и нижние чины Московского [полка] в мундирах и обыкновенной разводной форме; лейб-гренадеры при том же вооружении, в шинелях. В середине каре до 10 офицеров разных полков; между ними Московского штабс-капитан князь Щепин-Ростовский со знаком на груди¹, в шарфе, с обнаженною шпагою выравнивал ряды; поблизости воспитанник мой, лейб-гренадерского полка полковник Булатов, в мундире и фуражке, и Нижегородского драгунского полка штабс-капитан Якубович в мундире же, при сабле, с перевязанною черною головою черным платком (последствие с кем-то его дуэли); кроме того, человека 4 неизвестных мне лиц в партикулярных платьях. Побуждаемый neodолимым любопытством непосредственно удостовериться в собственном желании солдат, я, подойдя к каре левого фаса, примыкавшего к Английской набережной, спросил у ближайшего лейб-гренадера: кому желают они присягнуть? — «Кому же больше как не Константину! Мы знаем, где он <...> не хотим Николая... мы испытали его!..» — отвечал он угрюмо, резким голосом и, воображая во мне противника, с бранью требовал отойти прочь, угрожая в противном попотчевать штыком. <...>

По мере того как я рассматривал и старался вслушаться в суждения этих новых представителей монархии, веками утвердившейся, к ним подъехал в санях адъютант герцога Александра Виртембергского, брата императрицы Марии, штабс-капитан Александр Александрович Бестужев (впоследствии известный по сочинениям Марлинского). Бестужев, выйдя из саней и бросив в оные

шинель свою, остался в мундире, белых панталонах, гусарских сапогах, при сабле и шарфе. Быв с Бестужевым коротко знаком еще с 1820 года по Ревелю, куда он приезжал, имея виды жениться на дочери Л. В. С[пафарьева], кому пред тем посвятил свою поездку в Ревель², служил тогда во фронте л.-гв., в Драгунском полку поручиком³, я обратился к нему с обыкновенным приветствием и назвал по имени. Он, молча покачивув головою, вступил в каре. Побледневшее лицо его не показывало уже уверенности в успехе. Куда девались живость и ловкость, в других случаях так отличавшие его! За Бестужевым вскоре на усиление же отряда нижних чинов прибежали несколько рот Гвардейского Морского экипажа с офицерами. Между последними также нашлись знакомые: лейтенант Вишнеvский⁴ и старший брат Марлинского капитан-лейтенант Николай Бестужев, с суетливостью начавший распахивать матросов по задним шеренгам правого и заднего фаса каре; а вслед за моряками прибежали с Васильевского острова до сотни нижних чинов л.-гв. Финляндского полка, примкнувших к левому фасу каре. Вот и все войско, что было собрано в ту пору у Сената⁵, после же к нему присоединилась малая часть лейб-гренадер, вознамерившихся действовать сначала в другом месте⁶. <...>

Время уже было к полудню, когда Петровская площадь от тысячей посторонних людей, заваленная еще и гранитным камнем, сделалась почти невместимою. Частые же крики от мятежников и народа одними и теми же восклицаниями, беготня последнего с места на место с подбрасыванием шапок представляли взорам беспорядок, и, конечно, все это делало вид большой опасности, — но, в сущности, ни малейшей. Мятежное войско, так сказать, осаждено любопытными, совершенно за ними скрывалось. Тогда только воспрянули от летаргии распорядители и для отогнания народа от войска выслали цепь, разместившуюся насупротив бульвара в расстоянии от него с небольшим в 7 саженьях, но цепь была так малочисленна, что находилась не в силах совершенно очистить площадь от любопытных, и я с прочими остался на прежнем месте.

При этом распоряжении на повороте от Адмиралтейской площади появилось первое важнейшее лицо в отношении к войску: командир гвардейского корпуса генерал от кавалерии Александр Львович Воинов⁷ пешком, в шарфе, но без всякой свиты, приближался к цепи походкою медленною, с головою поникшею. В надежде услышать от него соответственное званию его слово я поспешил к тем трем нижним чинам, к которым он подходил. Однако ж я ошибся в предположении: Воинов, вместо ожидаемого мною со стороны его разуверения обманутых солдат, с необходимою в таком важном случае находчивостью и достоинством главного начальника, начал что-то говорить солдатам, но столь равнодушно и тихо, как будто бы дело здесь шло о форме одежды сих людей и происходило на полковом дворе. Солдаты, стоя навытяжку, ничего не отвечали Воинову, и бог ведает, чем бы это кончилось при продолжитель-

нейшем молчании, как вдруг смотрю — расхаживавший вдоль цепи по левой ее стороне штабс-капитан Якубович, тот самый, о котором выше упомянуто, подошел со шляпою в руке к генералу Воинову и слегка коснувшись его плеча, резко и громко проговорил: «Извольте отойти, генерал, — здесь не ваше дело!» Воинов, по-видимому, немало тем не встревожившись, отвечал ему тоном увещания: «Как тебе не стыдно, Якубович? что ты делаешь — побойся бога». И с последним словом, повернувшись, пошел назад, не изменяя походки. Не знали, чему удивляться: более ли нежели смелой и неслышанной дотоле в армии нашей выходке рядового офицера или равнодушию корпусного командира к делу, так близко его касавшемуся? Но то и другое ясно выказывало, что генерал Воинов не имел ни весу у двора, ни влияния на подчиненный себе генералитет в гвардейском корпусе, ниже должного к себе уважения по гвардии, иначе он не пришел бы один, и чем Якубович воспользовался. (...)

Когда таким образом на главных пунктах столицы: у Сената и во дворце одни происшествия сменялись другими, на площадях, сначала Дворцовой, а потом Адмиралтейской, происходили иного рода зрелища. По выходе из дворца Николай Павлович, окруженный высшими военными, гражданскими чинами, духовенством, иностранными посланниками, частью на лошадях, тысячами посторонних всякого звания людей, пешком, в мундире, с непокрытой головой, имея в руках бумаги, расхаживал между толпами любопытных, объяснял права свои обступившему его народу, приказывал возгласить «Ура» и для ободрения к тому сам начинал! «Ура» вторилось, но редко, отрывисто, не с тем одушевлением, которого ожидать или желать бы надлежало. И хотя государь, переходя от места к месту, не находил ни в ком возражения правам своим, однако ж ему нельзя было не заметить какой-то неласковости, выразившейся в самом молчании мирных граждан. (...) Эта неласковость переливалась на них от высших сановников, которые, в особенности военные, смотря императору в глаза, исполняли то, что государь приказывал!.. Но мог ли в это шаткое время приказывать, так сказать, грядущий самодержавец с твердою властью лицам, в руках коих в ту пору была сила, когда и прежде не имел на них ни малейшего влияния?..

Вскоре по удалении с Сенатской площади командира гвардейского корпуса вздумали послать туда для усмирения мятежа С.-Петербургского митрополита Серафима!.. Архипастырь в полном облачении с другою духовною особою посажены в карету; приданные им в помощь из светских лиц генерал-майор Степан Степанович Стрекалов, Николай Фаддеевич Воропанов⁸ стали позади кареты на запятках, а Павел Петрович Мартынов⁹, поместясь вместе с возницею на козлах, поехали шагом в этом невиданном церемониале на площадь... Карета, быв доведена до угла забора Исаакиевской церкви, остановилась, и Серафим из нее вышел, но, слышав дерзкие насмешки, хохот войска и взбалмошной толпы, пастырь душ отложил миролюбивые намерения; а срамные ругательства, угрозы солдат, в цепи находящихся, побудили 68-летнего старца в страхе

укрыться за забор, где он и простоял до получения дозволения возвратиться назад. Не говоря уже о том, в какой чести были у старших и равных себе и какую служили потехою молодежи приданные Серафиму в помощь генералы, особенно последние двое, о чем многие еще помнят, но можно ли было до того заблуждаться, чтобы заговорщики, несколько лет приготавливавшиеся привести в исполнение задуманное предприятие, допустят увещевать своих подчиненных такому хилому посольству?!.. Времена Гермогенов, Никонов невозвратны!¹⁰. Неудача митрополита Серафима, с такою официальностью отправленного, сделала заговорщиков еще заносчивее: драгун Якубович троекратно был от них посылан для переговоров и без остановки бодро являлся к императору. <...> Импровизированный этот парламентар, возвращаясь назад, махая издали белым платком, вступил в каре при восторженных криках «ура!» <...>

Около половины 2-го часа пополудни выехал из-за Конногвардейской манежа на Сенатскую площадь верхом на гнедой лошади С.-Петербургский военный генерал-губернатор граф Михаил Андреевич Милорадович, так же как и генерал Воинов, один, в мундире, при шарфе, в белых панталонах, в ботфортах, с андреевскою через плечо лентою. На площади, кроме генерал-майора Исленьева и Шипова¹¹, стоявших, как выше говорено, у Исаакиевского моста, никого не было от лица правительства. Находясь в ту пору поблизости бульвара у расставленной цепи, я немедленно перенесся к голове переднего фаса и поместился наискось против Милорадовича, не далее как в двух от него саженьях, ехавшего к каре шагом. Солдаты, оглашая до того воздух бессмысленными криками, издали завидев Милорадовича, умолкли; мало того, держав ружья у ноги, они без всякой команды, по одному уважению к заслуженному воину, сделали на караул! Тишина между ними воцарилась, как бы на смотре; нижние чины, глядя в глаза Милорадовичу, ожидали его слова с полною, по-видимому, к нему доверенностию. Короче, если бы в это время кто из посторонних, не зная ничего о предыдущем, нечаянно явился на площади, то никак не поверил бы, что все эти люди восстали против правительства. Граф, воспользовавшись таким нравственным над ними влиянием, помолчал с минуту, потом, положив правую руку на эфес своей шпаги, тоном военачальника, голосом твердым, с некоторою расстановкою громко произнес к солдатам: «Ручаюсь этою шпагою, которую получил за спасение Букареста, цесаревич жив, здоров — он в Варшаве — я сам получил от него письмо. Он добровольно отрекся от престола». Солдаты, ни малейшим знаком не возражая Милорадовичу, сохраняя прежнюю тишину и, очевидно, оробев, начали озираться вовнутрь каре, как бы ожидая от своих руководителей подтверждения сказанных к ним слов. <...> В это-то время всеобщей тишины и нерешимости стоявший у бульвара в цепи л.-гв. Московского полка унтер-офицер, тот самый, к которому, как выше сказано, подходил генерал Воинов, вышед оттуда в сопровождении двух рядовых, пройдя площадь обыкновенным скорым шагом,

остановившись подле самой площади с правой стороны, взял ружье наперевес и со словом: «Прочь!» ударил графа Милорадовича штыком в правый бок, в подживотье. (...) Михаил Андреевич, не смутившись от удара, повернул голову направо, взглянул на посягнувшего и, махнув рукою для отведения ружья, вновь обратился к фронту, как бы для вящего вразумления солдат; между тем Оболенский с рядовыми отошел. Но высказанные Милорадовичем слова, с таким видимым успехом подействовавшие на оробевших солдат, к сожалению, в этот краткий промежуток времени утратили приобретенное над ними влияние и были последними, произнесенными от него перед фронтом!.. Солдаты, стоявшие в каре, как надобно думать, в чаду своих волнений не признав в переодетом унтер-офицере Оболенского, с такою отвагою посягнувшего на уважаемого ими генерала, ободрились, и новые крики «ура!» огласили воздух. (...) Однако ж Милорадович не вдруг отъехал от фронта, а постоял еще минуты две. При усилившихся криках граф, без сомнения, потеряв надежду вразумить нижних чинов, и, конечно, удар от штыка давал ему о себе чувствовать, повернул свою лошадь налево назад, при этом-то повороте стоявший не возле него (как где-то вскоре было пропечатано), а внутри каре, шага на три от задней шеренги, одетый в партикулярный сюртук, в фуражке, отставной поручик Петр Каховский, имея левую руку в кармане сюртука, правую выстрелил из пистолета, попал пулею графу Милорадовичу в левый бок и, сим еще не ограничившись, бросил вслед за выстрелом в него же и самый пистолет, который сшиб с затылка головы шляпу его.

Истинно горестно было видеть, как вдвойне пораженный, без шляпы, с развевавшимися от ветра волосами герой, честь наших армий, граф Милорадович, отскакав в галоп несколько шагов от каре, отвалившись назад, выпустив поводья и шатаясь в седле, склонился на правую сторону. (...) Случившиеся тут партикулярные люди и конногвардейцы в шинелях, подоспев к нему на помощь, сняли его с лошади, понесли в казармы¹², где он и скончался в квартире того полка ротмистра Александра Бреверна в 3-м часу пополудни на 15-е декабря. Краткая речь, произнесенная графом Милорадовичем, и все с ним затем на площади последовавшее так впечатлелись в моей памяти, что я как будто бы еще теперь все то слышу и вижу бесстрашное лицо незабвенного воина. (...)

Обращаюсь к последовавшему за выстрелом Каховского. Солдаты, заметив, как снимали с лошади раненого Милорадовича, потерялись, в рядах их исчезла дисциплина; несчастные, ошеломев от этой невыкупимой беды, спустив ружья, перебежали из фаса в фас, ища укрыться: (...)

В это только время (не ранее 2-го часа пополудни) начали собираться с разных сторон на площадь войска для прекращения мятежа. Первый показался л.-гв. Конный полк, который, вышед из конногвардейских казарм и пройдя у забора Исаакиевской церкви, выстроился фронтом на самой площади поблизости бульвара правым флангом к Неве. Командир полка генерал-майор

Алексей Федорович Орлов верхом, в шинели, встал впереди перед фронтом. На левом фланге полка — конно-пионеры. За полком, на самом бульваре, помещена артиллерия. Части Преображенского и Семеновского полков уже прежде находились у Исаакиевского моста. По Галерной улице за Крюковым (ныне уничтоженным) мостом — остальная часть Семеновского полка. Измайловский полк, свернутый в колонну, был впереди дома князя Лобанова-Ростовского¹³ у угла забора строящейся церкви. Здесь не могу пройти молчаливым о своем недоразумении об одном обстоятельстве. В донесении Следственной комиссии, между прочим, сказано: «Вильгельм Кюхельбекер дерзнул обратить оружие на великого князя Михаила Павловича. Матросы Гвардейского экипажа (в примечании поименованы: Дорофеев, Федоров, Куроптев), с коими он стоял, отвели пистолет его». Чего не видел, отрицать не стану, может быть, и был этот случай, но где и когда он происходил?¹⁴ Совсем другой вопрос. Выше говорено, что прибежавших несколько рот матросов Гвардейского экипажа на Сенатскую площадь Николай Бестужев разместил в рядах Московского полка по задним шеренгам, и ни одного из сих людей не было расставлено в цепи, состоявшей из низших чинов (а частью из переодетых заговорщиков) Московского полка. Следовательно, чтобы из числа поименованных матросов кто-либо отвел пистолет Кюхельбекера, поднятый им на великого князя, то Михайлу Павловичу надлежало бы стоять возле самого каре! Во все продолжение мятежа с приезда моего на площадь из лиц сколько-нибудь значительных, а не только великий князь, к мятежному каре решительно никто не подходил, не подъезжал, кроме графа Милорадовича, — это видели тысячи глаз. Какого бы лучшего могли иметь заговорщики заложника, если б великий князь Михаил находился возле каре?.. Напротив, я очень хорошо видел, что и другие готовы будут подтвердить, что он в первый раз показался *в виду* Исаакиевской площади тогда только, когда уже приведенное войско для прекращения мятежа было расставлено по указанным выше местам, и стоял подле колонны Измайловского полка, одетый как бы по-дорожному: в фуражке, артиллерийском мундире, без шарфа, в рейтузах с красными лампасами. Стоявшие поблизости его потом рассказывали, что слышали, как великий князь уверял солдат, что будто бы только что сейчас возвратился из Варшавы от цесаревича, узнал о его отречении и прочая¹⁵.

В размещении приведенных войск протекло довольно времени. Буйство, беготня народа, повторяемые крики мятежников не прерывались. <...> При этой всеобщей сумятице стоявший подле генерал-адъютанта Орлова полицеймейстер (известный беспутностью) полковник Чихачев¹⁶, поглядывая на Орлова, как лисица на виноград, и думая подслужиться, приказал бывшему при нем полицейско-конному жандарму ехать для разогнания бесновавшейся толпы. <...> Бедняк повиновался, но едва приблизился, как остервенившийся народ бросился на него, а патруль от бунтовщиков

приколол несчастного штыками, невинная жертва безрассудства Чихачева свалилась с лошади. <...>

Между тем с Адмиралтейской площади все еще затруднялись, и не без основания, присылкою приказаний для принятия каких-либо мер прекратить волнение: спертый со всех сторон войском народ, торчав посредине площади на Сенатской на разбросанных гранитных камнях, совершенно закрывал собою мятежное каре, и оттого действовать собственно против него не было возможности; тем не менее, однако ж, настояла на том надобность, потому что начинало уже смеркаться. <...> Вдруг один за другим: начальник Главного штаба барон Дибич, генерал Воинов, принц Евгений Виртембергский, адъютант генерала Бистрома Ивелич, размахивая по воздуху шпагою, во весь карьер по правой стороне монумента Петра промчались для разогнания народа¹⁷. <...> Гики, поленья, рогожные кульки, в них пущенные от бесновавшегося народа, всеобщий хохот — принудили их с тою же быстротою оставить площадь. <...>

Посрамленный всенародно начальник штаба Дибич советовал с другими государю, обложив Сенатскую площадь еще теснее, одним разом положить все, что в ней находилось!.. Последовали мнению генерала от кавалерии Иллариона Васильевича Васильчикова: оставив углы площади к каналу и Английской набережной свободными для выхода, приказано артиллерии первоначально выстрелить холостым зарядом. Орудия прогремели... Середина площади порасчистилась, все смолкло, и каре окостеневших от холоду непокорных открылось в своем ничтожестве!.. Погибавшие, конечно, уже с отчаянной удали — двух смертей не будет, а одной не миновать — дали сряду три раза залп боевыми патронами! На этот вызов артиллеристы столько же раз пустили картечами... Вслед затем конногвардейцы и конно-пионеры с обнаженными палашами и саблями справа и слева понеслись на каре и, подскакав к нему в упор, приступили к обезоруживанию несчастных жертв горьких заговорщиков. <...> Почти совсем смерклось.

Таким образом окончился в С.-Петербурге день 14-го декабря 1825 года и ознаменовалось начало самодержавия Николая I. <...>

ИЗ РАССКАЗА И. Я. ТЕЛЕШЕВА О 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

<...> Утро было ясное и довольно теплое. Я медленно шел в Департамент разных податей и сборов, желая более воспользоваться хорошим временем, чрезвычайною редкостью в С.-Петербурге, как вдруг был поражен словами одного мальчика, который, выбежав из мелочной лавочки (в Чернышевом переулке) с газетным листом бумаги, кричал во всю улицу:

— У нас новый государь, у нас царствует Николай Павлович! вот и указ. <...>

С каким-то беспокойным чувством я ускорил шаги мои и, пришедши в Департамент, точно узнал, что великий князь Николай Павлович вступил на престол всероссийский, потому что император Константин от него отказался. Вскоре приехал директор, привел всех чиновников к присяге и уехал в другой вверенный ему департамент. Разумеется, тут никто не думал приниматься за дело, и все, разделяясь на партии, передавали друг другу свои замечания и чувствования о сем важном и для них нечаянном событии. В сие время приезжает курьер и сказывает, что на площади против Зимнего дворца народ и войско ожидают нового императора, чтобы изъявить ему верноподданническое свое поздравление. Сия весть, как пожар, всех выгнала из департамента; толкая один другого на лестнице, все бежали на улицу и, боясь опоздать на площадь, старались наперерыв занимать извозчиков. Я, как не очень проворный, уже не мог найти саней и потому отправился туда же пешком.

Идучи Невским проспектом, я не заметил ничего необыкновенного, и мне казалось, что еще немногим была известна столь важная новость столицы. Но, подходя к арке Главного штаба, я увидел множество народа и едва мог пробраться до того места, где государь осматривал лейб-гвардии Преображенский полк; я узнал его по голубой ленте, и как теперь помню, что лицо императора, как полотно, было бледно. Солдаты были в серых шинелях, и это несколько удивило меня. <...>

Устроив войско, государь сел на лошадь и сопровождаемый преображенцами тихо поехал на площадь Адмиралтейскую. Посреди сей площади, против самого шпица адмиралтейского, он остановился и, обратясь к народу, сказал:

— Ну, братцы! Я на все готов: кто прав перед богом и совестью, тому нечего бояться.

Не зная ничего, я совершенно не понимал слов императора и, не смея что-либо угадывать, стоял в самом неприятном ожидании развязки. Недолго я находился в недоумении: раздался залп из нескольких ружей в стороне Сената, и вся площадь взволновалась; слово «бунт» с громким шепотом было повторяемо в народе, ужас был изображен на лице каждого. <...> Государь смутился, но с твердостью отдал приказ одному из окружающих его генералов узнать, кто стреляет. Генерал поехал по краю площади, и государь сказал ему:

— Ваше превосходительство! Извольте ехать прямо, — прямо и скорее!

Посланный скрылся; перестрелка продолжалась, и вся свита императора была в чрезвычайном смущении: лицо каждого перед глазами государя имело принужденную на себе улыбку; но как скоро государь не мог их видеть, то все их движения выражали не только скорбь, но даже отчаяние, чувства которого они знаками передавали друг другу. Тут-то я увидел в первый раз, как искусно и проворно придворные, по обстоятельствам, могут переменять наружный вид свой. В сем смятении государь несколько раз обращался к народу и уговаривал всех идти по домам для их безопасности,

но никто не думал исполнять сего, жаль только, что не из усердия к монарху, а из одного любопытства, ибо при сильных залпах у Сената все толпами побежали в улицы и, оставляя государя одного в опасности, возвращались к нему тогда лишь, когда пальба делалась меньше. <...>

Между тем генералы, штаб- и обер-офицеры, приезжающие от Сената, беспреестанно докладывали императору, и грустный вид его ясно показывал, что нерадостные доходили до него вести. Из числа их один кавалерист сошел с лошади, снял шляпу и, подойдя к государю, довольно долго и тихо с ним разговаривал. По черной на голове повязке я узнал в сем офицере Якубовича, давно с самой дурной стороны по слуху мне известного. Государь выслушал его с великим вниманием и потом, взяв за руку, сказал сперва окружающим:

— Ошибиться может всякий, но он сознался в своем заблуждении, и я свидетельствуюсь перед вами, что признаю его за человека благородного, — а после Якубовичу:

— Поздравляю вас!

Я стоял не более на сажень от государя и потому мог хорошо слышать все слова его, когда он говорил, обращившись на мою сторону. Поступок необыкновенно дерзкий удивил меня при сем случае: тогда как государь объявил прощение Якубовичу, стоявший подле меня мужик не мог удержать своего доброго восторга:

— Господи, какой он добрый, батюшка! какой милостивый! Да здравствует, да здравствует Нико...

И в сие мгновение сосед его, одетый в синем кафтане, черно-волосый, сурового вида человек, зажал рот мужику и с сердцем насмешливо сказал ему:

— Погоди, брат, погоди! Еще рано кричать!.. что-то будет!

Мужик остолбенел и не знал, что делать; бунтовщик отвел его в сторону, тихо стал говорить с ним на ухо, и потом они оба скрылись. Ужас и негодование овладели мною. Государь показал, что ничего не приметил, тогда как все сие происходило перед его глазами; он продолжал свои распоряжения с видом печальным, но с твердостью необыкновенною. <...>

Уже был третий час за полдень; пальба усиливалась у Сената, и государь непременно требовал, чтобы все шли по домам и не подвергали себя бесполезной гибели, что он надеется и без них усмирить непокорных. <...> Я, желая знать, что происходило внутри города, оставил площадь и, зайдя на минуту в свою квартиру, отправился потом в Итальянскую улицу к двоюродным сестрам своим.

Чем далее отходил я от Адмиралтейства, тем менее встречал народа; казалось, что все сбежались на площадь, оставив дома свои пустыми. Везде ворота были заперты, магазины закрыты, и только одни дворники изредка выглядывали из калиток и узнавали, что делается на улице. Тишина самая печальная и самая беспокойная царствовала повсюду. Рассказав у сестер, что делается на площади, я тотчас после обеда ушел от них, беспокоясь о брате, но, узнав дома, что он тоже пошел к сестрам, я захотел еще раз побывать

у Адмиралтейства. Это был уже 5-й час, и я только что успел в тесноте дойти до места, где Малая Морская пересекает Невский, как вдруг весь народ побежал от площади Адмиралтейской к Полицейскому мосту; пешие и конные давили друг друга, и гибель была неминуема для того, кто хоть раз не мог удержаться на ногах; пушечные выстрелы увеличивали смятение. Перед глазами моими видя погибающих под лошадьми или экипажами, я каждую минуту находился в величайшей опасности, но господь сохранил меня: влекомый толпою, по тротуару Невского, я вырвался из давки на Миллионную улицу, прошел через двор известного дома Комина на Мойку и, перебежав оную по льду, благополучно пришел домой, где ожидал меня брат мой с большим беспокойством. Я не менее рад был его видеть и, рассказав ему все, чему был свидетелем на площади, куда он как-то не попал, отправился с ним вместе на Невский, где было очень тихо и очень пусто. <...>

Тут я узнал, что происшествие у Сената было следствием возмущения в некоторых гвардейских полках. <...> Тут же я слышал, как первоклассные сановники, один светский, а другой духовный, совершенно противоположно отличились на Сенатской площади. Первый — С.-Петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович, в 50-ти сражениях доказавший свою храбрость, с необыкновенною своею неустрашимостью подъехал к непокорным и стал их уговаривать. Его стращали смертью, он смеялся над угрозами и, наконец, когда начал склонять солдат на свою сторону, был поражен смертельно раню из пистолета (Каховский был его убийцею). Другой — митрополит Серафим, в полном облачении и с крестом в руках подошедший, по высочайшему повелению, словами веры смирить мятежников, бежал от них, как трус малодушный, при первой насмешке. <...> Смех сопровождал высокопреосвященного, который, выбившись из сил, на самом скверном извозчике спасал остаток дряхлой и, конечно, не прекрасной своей жизни.

В 12-м часу ночи возвратились мы домой, конвои один за другим беспрестанно нас встречали на улицах, и хотя везде было видно, что правительство успело принять меры самые действительные для безопасности города, но, верно, никто в эту ночь не ложился в С.-Петербурге спать совершенно спокойно.

Через несколько дней после сего я имел приятнейшее удовольствие слушать рассуждение о сем происшествии незабвенного Николая Михайловича Карамзина. Он находил в нем особенное милосердие вседержителя, который, как бы желая удивить нас своею благостию, чудесным образом открыл пред нашим отечеством бездну ужаса для того, чтоб чудесно спасти его от гибели.

«Провидение, — говорил он, — омрачило умы людей буйных, и они в порыве своего безумия решились на предприятие столь же пагубное, сколько и несбыточное: отдать государство власти неизвестной, злодейски свергнув законную. Бунт вспыхнул мгновенно; обманутые солдаты и чернь ревностно покорились мятежникам, предполагая, что они вооружаются против государя незаконного и что новый император есть похититель престола старшего своего

брата Константина. В сие-то ужасное время общего смятения, когда смелые действия злодеев могли бы иметь успех самый блистательный, милосердный погрузил предприимчивых извергов в какое-то странное недоумение и неизъяснимую нерешительность: они, сделав каре у Сената, несколько часов находились в бездействии, а правительство между тем успело взять все нужные противу них меры. Ужасно вообразить, что бы они могли сделать в сии часы роковые; но бог защитил нас, и Россия в сей день спасена от такого бедствия, которое если не разрушило, то, конечно бы, истерзало ее¹.

РАССКАЗ Н. С. ГОЛИЦЫНА О ДНЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

⟨...⟩ 14 декабря, в 12 часу дня (когда все уже съезжались в Зимний дворец к выходу), я и брат мой Александр находились у жены старшего брата нашего Василия, в доме графини Строгановой, у Полицейского моста, как вдруг мы узнали, что гвардия бунтует, не хочет присягать Николаю Павловичу и собирается на Сенатской площади. Услыхав это, брат мой, я и приятель наш, колонновожатый Рочфорт (мать которого была воспитательницей дочерей графини Строгановой, а старший брат полковником квартирмейстерской части), подстрекаемые любопытством посмотреть на «бунт гвардии», не долго думавши, накинули на себя шинели и марш на Адмиралтейскую площадь. Но на углу Невского проспекта мы различились: брат и Рочфорт пошли на Адмиралтейский бульвар и на верхнюю галерею Адмиралтейского шпица смотреть оттуда на происходившее на всех трех площадях, а я, увидав множество народа у главных ворот Зимнего дворца, пошел туда. Я прибыл в то самое время, когда император Николай Павлович верхом на лошади объявлял народу об отречении в его пользу великого князя Константина Павловича от престола и о вступлении своем на престол. Стоя в задних рядах народной толпы, неистово кричавшей «ура!» и бросавшей шапки вверх, я не мог расслушать слово государя, а между тем сзади нас из Большой Миллионной вышел 1-й батальон л.-гв. Преображенского полка и построился в колонну фронтом к Сенатской площади, а правым флангом к Зимнему дворцу, на том самом месте, где теперь Александровская колонна. Государь, сопровождаемый народом (а за народом и я), направился в голове колонны Преображенского батальона, говорил ему — что? — я не мог расслушать, и приказал зарядить ружья. В это самое время (как я узнал уже после) к государю подошел С.-Петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович, в полной парадной форме, в андреевской ленте, прямо с Сенатской площади, где тщетно старался образумить бунтовщиков, но они (не солдаты, а заговорщики) силой принудили его удалиться, грозя, что иначе в него будут стрелять. Подойдя к государю, Милорадович в сильном волнении сказал ему по-французски (он очень любил говорить на этом языке, хотя говорил

с ошибками): «Sire! quand on a traité de la sorte un homme comme moi, il ne reste...»*. Государь не дал ему договорить и строгим тоном сказал: «Граф! вы — военный генерал-губернатор столицы и сами должны знать, что вам следует делать; идите туда (указывая на Сенатскую площадь), возьмите Конную гвардию и распорядитесь, как следует». Милорадович почтительно поклонился, приложив руку к шляпе, и пошел к конногвардейскому манежу, сопровождаемый только одним адъютантом своим А. П. Башуцким (сыном с.-петербургского коменданта). От этого последнего я и узнал впоследствии как эти подробности, так и последующие, касавшиеся Милорадовича, до самой его смерти, и расскажу их в своем месте ниже.

Государь же отправился к углу Невского проспекта, сопровождаемый народом (а за народом и я) и Преображенским батальоном. Тут я увидел, что на углу Невского проспекта к государю подошел неизвестный мне, высокого роста, с воинственной осанкой, длинными черными усами и черною повязкою поперек лба, офицер в мундире с малиновым воротником (после я узнал, что то был Нижегородского драгунского полка капитан Якубович, раненный в голову на Кавказе и принадлежавший к числу главных заговорщиков). Что ему говорил государь, я не мог слышать, но видел, что вслед за тем этот офицер пошел на Сенатскую площадь (после я узнал, что государь поручил ему, по собственному его вызову, образумить мятежников, но Якубович вместо того будто бы сказал им: «держитесь — трясуть»).

После того государь, сопровождаемый народом, поехал к левому углу Адмиралтейского бульвара. Между этим углом и забором строившегося Исаакиевского собора, выдвинутым далеко вперед на одну линию с бульваром, был небольшой промежуток в несколько саженей. Прямо против этого промежутка, фронтом к нему, примерно в 100—150 шагах, стоял передний фас каре¹ мятежников (солдат л.-гв. Московского и Гренадерского полков, Гвардейского экипажа и др.), правый фланг которого находился, таким образом, против здания Сената, возле гауптвахты, левый — возле памятника Петру Великому, а задний — против угла Сената и набережной. В это время с Вознесенского проспекта, Гороховой улицы и Невского проспекта уже вступали на Адмиралтейскую площадь полки гвардии, приходившие из-за Мойки и Фонтанки; 1-й батальон л.-гв. Преображенского полка перешел с Дворцовой площади на Адмиралтейскую, л.-гв. Конный полк собирался у своего манежа, а на Исаакиевский мост двигались заречные полки — л.-гв. Финляндский в голове. Таким образом, вся гвардия постепенно занимала все улицы, примыкавшие к Сенатской площади, окружая и стесняя более и более мятежников на этой последней. Государь, уже окруженный большою военною свитою верхом на лошадях, остановился близ левого угла Адмиралтейского бульвара; сопровождавший его народ (а за

* «Государь! Когда так обошлись с таким человеком, как я, ничего не остается, как...» (фр.). — Сост.

ним и я) двинулся к бульвару до угла и потом направо к набережной и на Сенатскую площадь к каре мятежников. Нужно сказать, что на половину длины левого фаса бульвара был нагроможден гранитный и булыжный материал для Исаакиевского собора, с небольшими промежутками, и только от угла бульвара было свободное пространство, не занятое этим материалом. Из этого видно, что Сенатская площадь была крайне стеснена, — с одной стороны забором, а с другой — каменным материалом, и стесненное ими и окружаемое войсками каре мятежников находилось почти в безвыходной западне. Но в то время все эти мысли не приходили мне в голову: я ничего не знал, ничего не понимал и только, увлекаемый любопытством, шел за народом к каре мятежников и наконец успел подойти к левому углу его. Но еще прежде того, двигаясь за народом по бульвару, я видел, как вдоль его на Адмиралтейской площади ехал из Зимнего дворца петербургский митрополит Серафим в полном облачении, с крестом в руках, в дышловых санях, на паре лошадей, с иподьяконом², в облачении же, на запятках, — на Сенатскую площадь уговаривать мятежников (в чем, однако, не имел успеха и тем же порядком воротился назад). Когда я подошел к левому углу каре, то увидел следующую картину: солдаты переднего и левого фасов, в мундирах, белых панталонах, крагах, киверах с высокими волосяными султанами, грелись (день был морозный и пасмурный), переминаясь с ноги на ногу, подпрыгивая и колотя рука об руку, словно в ожидании смотра или парада. Вдоль переднего фаса ходил какой-то неизвестный мне адъютант, в мундире и шляпе (едва ли не Александр Бестужев?), и что-то говорил солдатам, а внутри каре было множество людей в военных и в гражданских мундирах и всякого рода одеждах, шинелях, шубах и т. п., с оживлением говоривших между собою и с солдатами (то были главные заговорщики). Между тем квартальные и полицейские солдаты, стоявшие впереди народной толпы, беспрестанно отодвигали ее назад, страшая, что «будут стрелять», но толпа отодвинется и снова надвинется, а с нею и я, пока наконец полицейские решительно не заставили нас уйти на бульвар, по которому я за народом и двинулся обратно. Не доходя до угла бульвара, я увидел, что от угла вдоль бульвара и тылом к нему уже стояло два эскадрона л.-гв. Конного полка (то был 1-й дивизион полковника барона Вельо³). Завернув за угол бульвара и продолжая двигаться по нем налево, вдруг я услышал позади трескотню беглого ружейного огня — и над нашими головами просвистали пули... То была атака Конной гвардии на передний фас каре, встретившего ее беглым ружейным огнем на таком близком расстоянии, что, как говорят, коням в морду (при этом случае полковник Вельо был ранен в руку, которую ему и отняли; впоследствии он долго был комендантом в Царском Селе). Сколько было при этом раненых — не знаю, но полагаю, что немного, ибо, как объясню в своем месте ниже, мятежники стреляли, кажется, большею частью вверх, чтобы не стрелять в своих. Свист пуль над нашими головами, кажется, подтверждает это; тем не менее он заставил меня образумиться

и из-за ребяческого любопытства не рисковать напрасно жизнью или целостию. Я прибавил шагу, сколько позволяла густая толпа народа, и продолжал идти по бульвару вдоль Адмиралтейской площади. Тут я увидел, что навстречу возле наружного тротуара ехали на больших рысях 4 орудия гвардейской пешей артиллерии (л.-гв. 1-й артиллерийской бригады), а впереди беглым шагом бежал офицер этих орудий. <...>

К этому рассказу о том, что я сам видел в этот день, прибавлю то, что слышал от других: во-первых, от брата моего и Рочфорта, которые, глядя на все происходившее на площадях с галереи Адмиралтейского шпица, также слышали на их высоте свист пуль: это подтверждает сказанное мною выше, что мятежники большею частью стреляли вверх; и во-вторых, что когда встреченные мною 4 орудия были поставлены в указанном выше промежутке между углом бульвара и забором и когда, наконец, решено было прибегнуть к картечи, то государь скомандовал — «первая!», а Бакунин⁴, командовавший двумя первыми орудиями, подхватил команду: «пли!», но, увидав, что после команды «первая, пли!» № с пальником замаялся и не наложил пальника на трубку, подскочил к нему с энергическим словом: «Что ты?» — «Ваше благородие, свои!» — тихо отвечал № с пальником... — «Да если бы я сам стал перед пушкой и скомандовал «пли!», ты должен был бы стрелять!» — и с этим словом выхватил у него пальник, сам нанес его на трубку и произвел 1-й выстрел, который, однако, направлен был поверх каре, и почти вся картечь попала в здание Сената. Но три следующие выстрела были уже направлены прямо в каре, а затем вслед за безавшими пушено было ядро вдоль Галерной и картечь по Неве. <...>

Но самое любопытное из слышанного мною потом был рассказ приятеля моего (ныне умершего) А. П. Башуцкого, тогда адъютанта графа Милорадовича, о всем, что произошло с этим последним с той минуты, когда государь послал его на Сенатскую площадь, до самой смерти его 15 декабря рано утром⁵.

Когда Милорадович, сопровождаемый только одним Башуцким, пришел к Конногвардейскому манежу, то увидал, что л.-гв. Конный полк только что начал собираться. Солдаты, один за другим, выводили оседланных лошадей из казарм, но офицеров и командира полка, генерал-майора А. Ф. Орлова, еще не было (удивительное дело), — а Кавалергардский полк позже прискакал из своих казарм у Таврического сада во весь опор, имея в голове полкового командира своего графа С. Ф. Апраксина!⁶ Милорадович изумился этой медленности, послал Башуцкого торопить полк, а сам стал нетерпеливо шагать взад и вперед вдоль стены манежа. Нетерпение его возрастало, и наконец он в негодовании сказал Башуцкому по-французски: «Je ne veux de son... régiment, donnez moi un cheval, j'irai seul!»* Ему подали приготовленную тут лошадь Бахметьева, адъютанта Орлова, и он, сев на нее, поехал на Сенатскую

* «Я не хочу его [т. е. Орлова. — Сост.]... полка, дайте мне лошадь, — я поеду один!» (фр.). — Сост.

площадь, а Башуцкий пошел рядом с ним, с правой стороны. Став перед передним фасом каре, он вынул свою шпагу и, показывая клинок ее солдатам, сказал им с необыкновенным одушевлением: «Эту шпагу подарил мне великий князь Константин Павлович после похода Суворова в Италию и Швейцарию в знак своей дружбы ко мне и с надписью о том вот на этом клинке: «Другу моему Милорадовичу». С тех пор я никогда не разлучался с этой шпагой, и она была при мне во всех походах и сражениях. И я ли, после этого, стал бы действовать против моего друга и благодетеля и обманывать вас, друзья, многие из которых были со мною в походах и сражениях?» и т. д. Башуцкий уверял меня, что, стоя рядом с Милорадовичем, внимательно слушая каждое слово его и не спуская глаз с солдат, он не мог без умиления и даже без слез слышать необыкновенно одушевленной, хотя и простой и понятной солдатам речи Милорадовича, видел, какое сильное влияние она произвела на солдат, и уже ожидал минуты, когда они сложат оружие...

— Вдруг, — продолжал Башуцкий, — мне послышалось, будто по другую, левую, сторону Милорадовича что-то щелкнуло*, — и в ту же минуту Милорадович повалился с лошади направо... Я принял его на свое левое плечо, лошадь из-под него убежала, а ноги его упали на землю. Видя, что никто из окружающей нас толпы не трогался с места, чтобы пособить мне нести графа, я крикнул какому-то близ стоявшему человеку во фризовой шинели, чтобы он подобрал ноги раненого, между тем как туловищем граф лежал на моем левом плече, перевесив правую руку свою за мою спину. Так понесли мы его мимо Конногвардейских манежа и полка, уже собравшегося, но не садившегося еще на лошадей. Офицеры были тут, но Орлова еще не было — и никто не тронулся с места пособить нам! <...>

РАССКАЗ АКТЕРА БОРЕЦКОГО О ДНЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

<...> Поутру я собрался в театр на репетицию, увидел на улице кучки народа, оживленные каким-то жарким говором. Я спросил у дворника о причине этого сходбища, и он мне поведал, что народ со всех концов города спешит на Сенатскую площадь, что туда пришли солдаты с криками: «Ура, Константин!», а великий князь Николай Павлович вывел против них остальную гвардию и хочет их всех истребить. Разумеется, братец ты мой, что я о репетиции забыл, вмешался в толпу и прибежал на площадь. Боже ты мой, господи, что там происходило... Народ как ешь вплотную запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах этого моря

* То был Каховский, подошедший слева к Милорадовичу и выстреливший в нижнюю часть левого бока его в упор из карманного пистолета пулей малого калибра, которая разорвала все внутренности.

виделся небольшой островок — это было ваше каре. В противоположность урагану, крутящемуся около него, оно стояло недвижимо, спокойно, безмолвно. Только ветер иногда колыхал высокие султаны их киверов, и временные проблески света на небе прыскали искры на окружавшую его толпу, отражаясь на гранях штыков их. Да, братец ты мой! — это была поразительно прелестная картина... Я видел царя, окруженного своим штабом и уговаривающего народ разойтись по домам, слышал, как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: «Вишь, какой мяконький стал! Не пойдем, умрем вместе с ними!», видел, как полки, словно грозные тучи, облегали ваш маленький островок; видел, как понеслась на вас кавалерия, как плавно склонились штыки, как опрокидывались кони со всадниками, наткнувшись на эту стальную щетину, и с каким диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок кавалеристу: бедняга, склонясь на луку, повернул лошадь и исчез. Видел я, братец ты мой, и тебя, как ты при третьей атаке появился перед фасом каре, стал против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакавшая каре, легла бы лоском, — как ты скомандовал «оставь»; одним словом, я смотрел на быстро сменяющиеся картины, я видел непрерывный ряд сцен, присутствуя на площади как зритель и как актер. Я находился в каком-то чаду, в каком-то моральном опьянении, поочередно увлекая толпу и увлекаясь ею. Я находил какое-то безотчетное удовольствие отдаваться на произвол этой сумятице, которая бросала меня от одного конца площади на другой, от одного полка окружавших вас гвардейцев к другому; повсюду я замечал на мрачных лицах солдат общее недовольство, везде слышалось громкое сетование на ваше бездействие: «Пусть они двинутся, — говорили они, — мы пойдем вместе с ними». Я видел, как пришли к вам матросы гвардейского экипажа, потом лейб-гренадеры; видел смерть их полкового командира¹, видел торжественное шествие митрополита во всем облачении, великого князя Михаила, уговаривавшего москвитцев положить оружие, видел, как смертельно раненый Милорадович, шатаясь в седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и наконец услышал роковой выстрел из пушки, положивший конец этой страшной фантазмагории. Толпа вздрогнула, смолкла, но не двинулась с места. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий выстрел был направлен на открытое каре. Повалило много, но оно не покидало своего места. При четвертом, пятом выстреле каре дрогнуло, — и солдаты побежали по Галерной улице, а москвитцы к Неве. (...)

ИЗ ЗАПИСОК НИКОЛАЯ I О ВСТУПЛЕНИИ ЕГО НА ПРЕСТОЛ

⟨...⟩ Наконец наступило 14-е декабря, роковой день! Я встал рано и, одевшись, принял генерала Воинова; потом вышел в залу

нынешних покоев Александра Николаевича¹, где собраны были все генералы и полковые командиры гвардии. Объяснив им словесно, каким образом, по неперменной воле Константина Павловича, которому незадолго вместе с ними я присягал, нахожусь ныне вынужденным покориться его воле и принять престол, к которому, за его отречением, нахожусь ближайшим в роде, засим прочитал им духовную покойного императора Александра и акт отречения Константина Павловича². Засим, получив от каждого уверение в преданности и готовности жертвовать собой, приказал ехать по своим командам и привести к присяге.

От двора повелено было всем, имеющим право на приезд, собраться во дворец к 11 часам. В то же время Синод и Сенат собирались в своем месте для присяги.

Вскресе за сим прибыл ко мне граф Милорадович с новыми уверениями совершенного спокойствия. Засим был я у матушки, где его снова видел, и воротился к себе. Приехал генерал Орлов, командовавший конной гвардией, с известием, что полк принял присягу; поговорив с ним довольно долго, я его отпустил. Вскоре за ним явился ко мне командовавший гвардейской артиллерией генерал-майор Сухозанет с известием, что артиллерия присягнула, но что в гвардейской конной артиллерии офицеры оказали сомнение в справедливости присяги, желая сперва слышать удостоверение сего от Михаила Павловича, которого считали удаленным из Петербурга, как будто из несогласия его на мое вступление. Многие из сих офицеров до того вышли из повиновения, что генерал Сухозанет должен был их всех арестовать. Но почти в сие же время прибыл, наконец, Михаил Павлович, которого я просил сейчас же отправиться в артиллерию для приведения заблудших в порядок.

Спустя несколько минут после сего явился ко мне генерал-майор Нейдгарт³, начальник штаба гвардейского корпуса, и, взойдя ко мне совершенно в расстройстве, сказал:

— Sire, le régiment de Moscou est en plein insurrection; Chenchin et Frederichs (тогдашний бригадный и полковой командиры) sont gièvement blessés, et les mutins marchent vers le Sénat, j'ai à peine pu les dévancer pour vous le dire. Ordonnez, de grâce, au 1-er bataillon Préobrajensky et à la garde-à-cheval de marcher contre*.

Меня весть сия поразила как громом, ибо с первой минуты я не видел в сем первом слушании действие одного сомнения, которого всегда опасался, но, зная существование заговора, узнал в сем первое его доказательство.

Разрешив первому батальону преображенскому выходить, дозволил конной гвардии седлать, но не выезжать; и к сим отправил генерала Нейдгарта, послав в то же время генерал-майора Стрека-

* «Государь! Московский полк в полном восстании; Шеншин и Фредерикс тяжело ранены⁴, и мятежники идут к Сенату; я едва их обогнал, чтобы донести вам об этом. Прикажите, пожалуйста, двинуться против них первому батальону Преображенского полка и конной гвардии» (фр.). — Сост.

лова, дежурного при мне, в Преображенский батальон для скорейшего исполнения. Оставшись один, я спросил себя, что мне делать, и, перекрестясь, отдался в руки божии, решил сам идти туда, где опасность угрожала. <...>

Съезд ко двору уже начинался, и вся площадь усеяна была народом и перекрещивающимися экипажами. Многие из любопытства заглядывали на двор и, увидя меня, вошли и кланялись в ноги. Поставя караул поперек ворот, обратился я к народу, который, меня увидав, начал сбегаться ко мне и кричать «ура». Махнув рукой, я просил, чтобы мне дали говорить. В то же время пришел ко мне граф Милорадович и, сказав: «Cela va mal; ils marchent au Sénat, mais je vais leur parler»*, ушел, — и я более его не видал, как отдавая ему последний долг.

Надо было мне выиграть время, дабы дать войскам собраться, нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным — все эти мысли пришли мне как бы вдохновением, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ль мой манифест. Все говорили, что нет; пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр; я взял его и начал читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый бог меня поддерживал.

Наконец Стрекалов повестил меня, что Преображенский 1-й батальон готов. Приказав коменданту генерал-лейтенанту Башуцкому остаться при гауптвахте и не трогаться с места без моего приказанья, сам пошел сквозь толпу прямо к батальону, ставшему линией спиной к комендантскому подъезду, левым флангом к экзерциргаузу. Батальоном командовал полковник Микулин, и полковой командир полковник Исленьев был при батальоне. Батальон отдал мне честь; я прошел по фронту и, спросив, готовы ли идти за мною, куда велю, получил в ответ громкое молодецкое: «Рады стараться!»

Минуты единственные в моей жизни! Никакая кисть не изобразит геройскую, почтенную и спокойную наружность сего истинно первого батальона в свете в столь критическую минуту.

Скомандовав по-тогдашнему: «К атаке в колонну, первый и осьмой взводы, в пол-оборота налево и направо!», повел я батальон левым плечом вперед мимо заборов тогда дстраивавшегося дома Министерства финансов и Иностранных дел к углу Адмиралтейского бульвара. Тут, узнав, что ружья не заряжены, велел батальону остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мне лошадь, но все прочие были пеши. В то же время заметил я у угла дома Главного штаба полковника князя Трубецкого; ниже увидим, какую он тогда играл ролю.

Зарядив ружья, пошли мы вперед. Тогда со мною были генерал-адъютанты Кутузов, Стрекалов, флигель-адъютант Дурново и адъютанты мои — Перовский и Адлерберг⁵. Адъютанта моего Кавелина⁶ послал я к себе в Аничкин дом переверсть детей в Зимний дворец.

* «Дело плохо; они идут к Сенату, но я буду говорить с ними» (фр.). — Сост.

Перовского послал я в конную гвардию с приказанием выезжать ко мне на площадь. В сие самое время услышали мы выстрелы, и вслед за сим прибежал ко мне флигель-адъютант князь Голицын Генерального штаба с известием, что граф Милорадович смертельно ранен.

Народ прибавлялся со всех сторон; я вызвал стрелков на фланги батальона и дошел таким образом до угла Вознесенской. Не видя еще конной гвардии, я остановился и послал за нею одного бывшего при мне конным старого рейткнехта⁷ из конной гвардии Лондыря с тем, чтобы полк скорее шел. Тогда же слышали мы ясно: «Ура, Константин!» на площади против Сената, и видна была стрелковая цепь, которая никого не подпускала.

В сие время заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные черные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное. Подозвав его к себе, узнал, что он Якубовский, но не зная, с какой целью он тут был, спросил его, чего он желает. На сие он мне дерзко сказал:

— Я был с ними, но, услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам.

Я взял его за руку и сказал:

— Спасибо, вы ваш долг знаете.

От него узнали мы, что Московский полк почти весь участвует в бунте и что с ними следовал он по Гороховой, где от них отстал. Но после уже узнато было, что настоящее намерение его было под сей личиной узнавать, что среди нас делалось, и действовать по удобности.

В это время генерал-адъютант Орлов привел конную гвардию, обогнув Исаакиевский собор и выехав на площадь между оным и зданием Военного министерства, что тогда было домом князя Лобанова; полк шел в галоп и строился спиной к сему дому. Сейчас я поехал к нему и, поздоровавшись с людьми, сказал им, что ежели искренно мне присягнули, то настало время сие мне доказать на деле. Генералу Орлову велел я с полком идти на Сенатскую площадь и выстроиться так, чтобы пресечь, елико возможно, мятежникам сообщение с тех сторон, где их окружить было можно. Площадь тогда была весьма стеснена заборами со стороны собора, простиравшимися до угла нынешнего синодского здания; угол, образуемый бульваром и берегом Невы, служил складом выгружаемых камней для собора, и оставалось между сими материалами и монументом Петра Великого не более как шагов 50. На сем тесном пространстве, идя по шести, полк выстроился в две линии, правым флангом к монументу, левым достигая почти заборов.

Мятежники выстроены были в густой неправильной колонне спиной к старому Сенату. Тогда был еще один Московский полк. В сие самое время раздалось несколько выстрелов: стреляли по генерале Воинове, но не успели ранить тогда, когда он, подъехав, хотел уговаривать людей. Флигель-адъютант Бибииков⁸, директор канцелярии Главного штаба, был ими схвачен и, жестоко избитый,

от них вырвался и пришел ко мне; от него узнали мы, что Оболенский предводительствует толпой.

Тогда отрядил я роту его величества Преображенского полка с полковником Исленьевым, младшим полковником Титовым и под командой капитана Игнатьева чрез бульвар занять Исаакиевский мост, дабы отрезать сообщение с сей стороны с Васильевским островом и прикрыть фланг конной гвардии; сам же, с прибывшим ко мне генерал-адъютантом Бенкендорфом, выехал на площадь, чтоб рассмотреть положение мятежников. Меня встретили выстрелами.

В то же время послал я приказание всем войскам собираться ко мне на Адмиралтейскую площадь и, воротясь на оную, нашел уже остальную часть Московского полка с большею частию офицеров, которых ко мне привел Михаил Павлович. Офицеры бросились мне целовать руки и ноги. В доказательство моей к ним доверенности поставил я их на самом углу у забора, против мятежников. Кавалергардский полк, 2-й батальон Преображенского стояли уже на площади; сей батальон послал я вместе с первым рядами направо примкнуть к конной гвардии. Кавалергарды оставлены были мной в резерве у дома Лобанова. Семеновскому полку велено было идти прямо вокруг Исаакиевского собора к манежу конной гвардии и занять мост. Я вручил команду с сей стороны Михаилу Павловичу. Павловского полка воротившиеся люди из караула, составлявшие малый батальон, посланы были по Почтовой улице и мимо конногвардейских казарм на мост у Крюкова канала и в Галерную улицу.

В сие время узнал я, что в Измайловском полку происходили беспорядки и нерешительность при присяге. Сколь мне сие ни больно было, но я решительно не полагал сего справедливым, а относил сие к тем же замыслам, и потому велел генерал-адъютанту Левашову⁹, ко мне явившемуся, ехать в полк и, буде какая возможность, двинуть его, хотя бы против меня, непременно его вывести из казарм. Между тем, видя, что дело становится весьма важным, и не предвидя еще, чем кончится, послал я Адлерберга с приказанием к шталмейстеру князю Долгорукому¹⁰ приготовить загородные экипажи для матушки и жены и намерен был в крайности выпроводить их с детьми под прикрытием кавалергардов в Царское Село. Сам же, послав за артиллерией, поехал на Дворцовую площадь, дабы обеспечить дворец, куда велено было следовать прямо обоим саперным батальонам — гвардейскому и учебному. Не доехав еще до дома Главного штаба, увидел я в совершенном беспорядке, со знаменами, без офицеров, лейб-гренадерский полк, идущий толпой. Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить; но на мое «стой!» — отвечали мне: «Мы — за Константина!»

Я указал им на Сенатскую площадь и сказал: «Когда так, то вот вам дорога».

И вся толпа прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим одинаково заблужденным товарищам. К счастью, что сие так было, ибо иначе бы началось крово-

пролитие под окнами дворца и участь бы наша была более чем сомнительна. Но подобные рассуждения делаются после; тогда же один бог меня наставил на сию мысль.

Милосердие божие оказалось еще разительнее при сем же случае, когда толпа лейб-гренадер, предводимая офицером Пановым, шла с намерением овладеть дворцом и в случае сопротивления истребить все наше семейство. Они дошли до главных ворот дворца в некотором устройстве, так что комендант почел их за присланный мною отряд для занятия дворца. Но вдруг Панов, шедший в голове, заметил лейб-гвардии саперный батальон, только что успевший прибежать и выстроившийся в колонне на дворе, и, закричав: «Да это не наши!», начал ворочать входящие отделения кругом и бросился бежать с ними обратно на площадь. Ежели б саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников, и тогда, как занятый происходившим на Сенатской площади и вовсе безызвестный об угрожавшей с тылу оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему препятствовать. Из сего видно самым разительным образом, что ни я, никто не могли бы дела благополучно кончить, ежели б самому милосердию божию не угодно было всем править к лучшему. (<...>)

Воротившись с войском, нашел я прибывшую артиллерию, но, к несчастю, без зарядов, хранившихся в лаборатории. Доколь послано было за ними, мятеж усиливался; к начальной массе Московского полка прибыл весь Гвардейский экипаж и примкнул со стороны Галерной, а толпа гренадер стала с другой стороны. Шум и крик делались беспрестанны, и частые выстрелы перелетали через голову. Наконец народ начал также колебаться, и многие перебежали к мятежникам, пред которыми видны были люди невоенные. Одним словом, ясно становилось, что не сомнение в присяге было истинной причиной бунта, но существование другого важнейшего заговора делалось очевидным. «Ура, Конституция!» — раздавалось и принималось чернию за «ура», произносимое в честь супруги Константина Павловича!

Воротился генерал-адъютант Левашов с известием, что Измайловский полк прибыл в порядке и ждет меня у Синего моста. Я поехал к нему; полк отдал мне честь и встретил с радостными лицами, которые рассеяли во мне всякое подозрение. Я сказал людям, что хотели мне их очернить, что я сему не верю, что, впрочем, ежели среди их есть такие, которые хотят против меня идти, то я им не препятствую и позволяю присоединиться к мятежникам. Громкое «ура» было мне ответом. Я при себе велел зарядить ружья и послал полк с генерал-майором Мартыновым, командиром бригады, на площадь, велел поставить в резерв спиной к дому Лобанова. Сам же подъехал к Семеновскому полку, уже стоявшему на своем месте.

Полк под начальством полковника Шипова¹¹ прибыл в величайшей исправности и стоял у самого моста на канале, батальон за батальоном. Михаил Павлович был уже тут. С этого места еще ближе

видно, что с Гвардейским экипажем, стоявшим на правом фланге мятежников, было много офицеров экипажа сего и других, но видны были и другие, во фраках, расхаживавшие между солдат и угрожавшие стоять твердо.

В то время, как я ездил к Измайловскому полку, прибыл требованный мною митрополит Серафим из Зимнего дворца, в полном облачении и с крестом. Почтенный пастор с одним иподьяконом вышел из кареты и, положив крест на голову, пошел прямо к толпе; он хотел говорить, но Оболенский и другие сей шайки ему воспрепятствовали, угрожая стрелять, ежели не удалится.

Михаил Павлович предложил мне подъехать к толпе в надежде присутствием своим разуверить заблужденных и полагавших быть верными присяге Константину Павловичу, ибо привязанность Михаила Павловича к брату была всем известна. Хотя страшился я для брата изменнической руки, ибо видно было, что бунт более и более усиливался, но, желая испытать все способы, я согласился на сию меру и отпустил брата, придав ему генерал-адъютанта Левашова. Но и его увещания не помогли; хотя матросы начали было слушать, мятежники им мешали, и Кюхельбекер взвел курок пистолета и начал целить в брата, что, однако, три матроса ему не дали совершить.

Брат воротился к своему месту, а я, объехав вокруг собора, прибыл снова к войскам, с той стороны бывшим, и нашел прибывшим лейб-гвардии Егерский полк, который оставил на площади против Гороховой за пешей гвардейской артиллер [ийской] бригадой.

Погода из довольно сырой становилась холоднее; снегу было весьма мало, и оттого весьма скользко; начинало смеркаться, ибо был уже 3 час пополудни. Шум и крик делались настойчивее, и частые ружейные выстрелы ранили многих из конной гвардии и перелетали через войска; большая часть солдат на стороне мятежников стреляли вверх.

Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистали мне чрез голову, и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни и тогда окруженные ею войска были б в самом трудном положении.

Я согласился испробовать атаковать кавалерию. Конная гвардия первая атаковала позкадронно, но ничего не могла произвести и по тесноте, и от гололедицы, но в особенности не имея отпущенных палашей. Противники в сомкнутой колонне имели всю выгоду на своей стороне и многих тяжело ранили, в том числе ротмистр Велио лишился руки. Кавалергардский полк равномерно ходил в атаку, но без большого успеха.

Тогда генерал-адъютант Васильчиков, обратившись ко мне, сказал: «Sire, il n'y a pas un moment à perdre; l'on n'y peut rien maintenant, il faut que de la mitraille!»*.

Я предчувствовал сию необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не мог решиться на подобную меру, и меня ужас объял.

— Vous voulez, que je verse le sang de mes sujets la premier jour de mon règne?***

— Pour sauver votre Empire***, — сказал он мне. Эти слова меня снова привели в себя; опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь и спасти наверно все, или, пощадив себя, жертвовать решительно государством.

Послав одно орудие 1-й легкой пешей батареи к Михаилу Павловичу с тем, чтобы усилить сию сторону, как единственное отступление мятежникам, взял другие три орудия и поставил их пред Преображенским полком, велел зарядить картечью; орудиями командовал штабс-капитан Бакунин.

Вся во мне надежда была, что мятежники устроятся таких приготовлений и сдадутся, не видя себе иного спасения. Но они оставались тверды; крик продолжался еще упорнее. Наконец послал я генерал-майора Сухозанета объявить им, что, ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять. «Ура» и прежние восклицания были ответом и вслед за тем — залп.

Тогда, не видя иного способа, скомандовал: «Пали!» Первый выстрел ударил высоко в сенатское здание, и мятежники отвечали неистовым криком и беглым огнем. Второй и третий выстрелы от нас и с другой стороны из орудия у Семеновского полка ударили в самую середину толпы, и мгновенно все рассыпалось, спасаясь Английской набережной на Неву, по Галерной и даже навстречу выстрелов из орудия при Семеновском полку, дабы достичь берега Крюкова канала.

Велев артиллерии взяться за передки, мы двинули Преображенский и Измайловский полки через площадь, тогда как кавалерийский конно-пионерный эскадрон и часть конной гвардии преследовали бегущих по Английской набережной. Одна толпа начала было выстраиваться на Неве, но два выстрела картечью их рассеяли, — и осталось собирать спрятанных и разбежавшихся, что возложено было на генерал-адъютанта Бенкендорфа с 4 эскадронами конной гвардии и гвардейским конно-пионерным эскадроном под командою генерал-адъютанта Орлова на Васильевском острове и 2 эскадронами конной гвардии на сей стороне Невы. <...>

* «Государь, нельзя терять ни минуты; ничего не поделаешь, нужна картечь!» (фр.) — *Сост.*

** «Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?» (фр.) — *Сост.*

*** «Чтобы спасти вашу империю» (фр.). — *Сост.*

Ночь с 14-го на 15-е декабря была не менее замечательна, как и прошедший день; потому для общего понятия всех обстоятельств тогдашних происшествий нужно и об ней подробно упомянуть...

Когда я пришел домой, комнаты мои похожи были на Главную квартиру в походное время. Донесения от князя Васильчикова и от Бенкендорфа одно за другим ко мне приходили. Везде собирали разбежавшихся солдат Гренадерского полка и часть Московских. Но важнее всего было арестовать предводительствовавших офицеров и других лиц.

Не могу припомнить, кто первый приведен был; кажется мне — Щепин-Ростовский. Он, в тогдашней полной форме и в белых панталонах, был из первых схвачен сейчас же после разбития мятежной толпы. Его вели мимо верной части Московского полка, офицеры его узнали, и в порыве негодования на него, как увлекшего часть полка в заблуждение, они бросились на него и сорвали эполеты; ему стянули руки назад веревкой, и в таком виде он был ко мне приведен. Подозревали, что он был главное лицо бунта; но с первых его слов можно было удостовериться, что он был одно слепое орудие других и подобно солдатам завлечен был одним убеждением, что он верен императору Константину. Сколько помню, за ним приведен был Бестужев Московского полка, и от него уже узнали мы, что князь Трубецкой был назначен предводительствовать мятежом. Генерал-адъютанту графу Толю¹² поручил я снимать допрос и записывать показания приводимых, что он исполнял, сидя на софе пред столиком, там, где теперь у наследника висит портрет императора Александра.

По первому показанию насчет Трубецкого я послал флигель-адъютанта князя Голицына¹³, что теперь генерал-губернатор смоленский, взять его. Он жил у отца жены своей, урожденной графини Лаваль. Князь Голицын не нашел его: он с утра не возвращался, и полагали, что должен быть у княгини Белосельской, тетки его жены. Князь Голицын имел приказание забрать все его бумаги, но таких не нашел: они были или скрыты, или уничтожены; однако в одном из ящиков нашлась черновая бумага на оторванном листе, писанная рукою Трубецкого, особой важности; это была программа на весь ход действий мятежников на 14 число, с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждому. С сим князь Голицын поспешил ко мне, и тогда только многое нам объяснилось. Важный сей документ я вложил в конверт и оставил при себе и велел ему же, князю Голицыну, непременно отыскать Трубецкого и доставить ко мне. Покуда он отправился за ним, принесли отобранные знамена у лейб-гвардии Московских, лейб-гвардии гренадер и Гвардейского экипажа, и вскоре потом собранные и обезоруженные пленные под конвоем лейб-гвардии Семеновского полка и эскадрона конной гвардии проведены в крепость.

Князь Голицын скоро воротился от княгини Белосельской с донесением, что там Трубецкого не застал и что он переехал

в дом австрийского посла графа Лебцельтерна, женатого на другой же сестре графини Лаваль.

Я немедленно отправил князя Голицына к управляющему Министерством иностранных дел графу Нессельроду с приказанием ехать сию же минуту к графу Лебцельтерну с требованием выдачи Трубецкого, что граф Нессельрод сейчас исполнил. Но граф Лебцельтерн не хотел вначале его выдавать, протестуя, что он ни в чем не виновен. Положительное настояние графа Нессельрода положило сему конец; Трубецкой был выдан князю Голицыну и им ко мне доставлен...

Кажется мне, тогда же арестован и привезен ко мне Рылеев. В эту же ночь объяснилось, что многие из офицеров Кавалергардского полка, бывшие накануне в строю и даже усердно исполнявшие свой долг, были в заговоре; имена их известны по делу; их одного за другим арестовали и привозили¹⁴, равно многих офицеров гвардейского экипажа.

В этих привозах, тяжелых свиданиях и допросах прошла вся ночь. Разумеется, что всю ночь я не только не ложился, но даже не успел снять платье и едва на полчаса мог прилечь на софе, как был одет, но не спал. Генерал Толь всю ночь напролет не переставал допрашивать и писать. К утру мы все походили на тени и насилу могли двигаться. Так прошла эта достопамятная ночь. Упомнить, кто именно взят был в это время, никак уже не могу, но показания пленных были столь разнообразны, пространны и сложны, что нужна была особая твердость ума, чтоб в сем хаосе не потеряться. <...>

За всеми, не находящимися в столице, посылались адъютанты или фельдъегери.

В числе показаний на лица, но без достаточных улик, чтоб приступить можно было даже к допросам, были таковые на Н. С. Мордвинова, сенатора П. И. Сумарокова¹⁵ и даже на М. М. Сперанского. Подобные показания рождали сомнения и недоверчивость, весьма тягостные, и долго не могли совершенно рассеяться. <...>

Рано утром все было тихо в городе, и, кроме продолжения розыска об скрывшихся после рассеяния бунтовавшей толпы, ничего не происходило. <...>

<...> Утро было ясное; солнце ярко освещало бивакирующие войска; было около десяти или более градусов мороза. Долее держать войска под ружьем не было нужды; но прежде роспуска их я хотел их осмотреть и благодарить за общее усердие всех и тут же осмотреть Гвардейский экипаж и возвратить ему знамя. Часов около десяти, надев в первый раз преображенский мундир, выехал я верхом и объехал сначала войска на Дворцовой площади, потом на Адмиралтейской; тут выстроен был Гвардейский экипаж фронтом, спиной к Адмиралтейству, правый фланг против Вознесенской. Приняв честь, я в коротких словах сказал, что хочу забыть минутное заблуждение и в знак того возвращаю им знамя, а Михаилу Павловичу поручил привести батальон к присяге, что и исполнялось, покуда я объезжал войска на Сенатской площади и на Английской

набережной. Осмотр войск кончил я теми, что стояли на Большой набережной, и после того распустил войска.

В то самое время, как я возвращался, провезли мимо меня в санях лишь только что пойманного Оболенского. Возвратясь к себе, я нашел его в той передней комнате, в которой теперь у наследника бильярд. Следив давно уже за подлыми поступками этого человека, я как будто предугадал его злые намерения и, признаюсь, с особенным удовольствием объявил ему, что не удивляюсь ничуть видеть его в теперешнем его положении перед собой, ибо давно его черную душу предугадывал¹⁶. <...>

Скоро после того пришли ко мне сказать, что в ту же комнату явился сам Александр Бестужев, прозванный Марлинским. Мучимый совестью, он прибыл прямо во дворец на комендантский подъезд, в полной форме и шеголем одетый. Взошед в тогдашнюю знаменную комнату, он снял с себя саблю и, обошед весь дворец, явился вдруг, к общему удивлению всех во множестве бывших в передней комнате. Я вышел в залу и велел его позвать; он с самым скромным и приличным выражением подошел ко мне и сказал:

— Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову.

Я ему отвечал:

— Радуюсь, что вашим благородным поступком вы даете мне возможность уменьшить вашу виновность; будьте откровенны в ваших ответах и тем докажете искренность вашего раскаяния¹⁷.

Много других преступников приведено в течение этого дня, и так как генералу Толю, по другим его обязанностям, не было времени продолжать допросы, то я заменил его генералом Левашовым, который с той минуты в течение всей зимы, с раннего утра до поздней ночи, безвыходно сим был занят и исполнял сию тяжелую во всех отношениях обязанность с примерным усердием, терпением и, прибавлю, отменною сметливостью, не отходя ни на минуту от данного мною направления, т. е. не искать виновных, но всякому давать возможность оправдаться¹⁸.

Входить во все подробности происходившего при всех допросах излишне. Упомяну только о порядке, как допросы производились; они любопытны. Всякое арестованное здесь ли или привезенное сюда лицо доставлялось прямо на гауптвахту. Давалось о сем знать ко мне чрез генерала Левашова. Тогда же лицо приводили ко мне под конвоем. Дежурный флигель-адъютант доносил об этом генералу Левашову, он мне, в котором бы часу ни было, даже во время обеда. Доколь жил я в комнатах, где теперь сын живет, допросы делались, как в первую ночь, — в гостиной. Вводили арестанта дежурные флигель-адъютанты; в комнате никого не было, кроме Левашова и меня. Всегда начиналось моим увещанием говорить сущую правду, ничего не прибавляя и не скрывая и зная вперед, что не ищут виновного, но желают искренне дать возможность оправдаться, но не усугублять своей виновности ложью или отпирательством.

Так продолжалось с первого до последнего дня. Ежели лицо было важно по участию, я лично допрашивал¹⁹; малозначущих оставлял генералу Левашову; в обоих случаях после словесного допроса генерал Левашов все записывал или давал часто самим писать свои первоначальные признания. Когда таковые бывали готовы, генерал Левашов вновь меня призывал или входил ко мне, и, по прочтении допроса, я писал собственноручное повеление Санкт-Петербургской крепости коменданту генерал-адъютанту Сукину о принятии арестанта и каким образом его содержать — строго ли, или секретно, или простым арестом²⁰.

Когда я перешел жить в Эрмитаж, допросы происходили в Итальянской большой зале, у печки, которая к стороне театра. Единобразие сих допросов особенного ничего не представляло: те же признания, те же обстоятельства, более или менее полные. Но было несколько весьма замечательных, об которых упомяну. Таковы Каховского, Никиты Муравьева, руководителя бунта Черниговского полка²¹, Пестеля, Артамона Муравьева, Матвея Муравьева, брата Никиты, Сергея Волконского и Михайлы Орлова.

Каховский говорил смело, резко, положительно и совершенно откровенно. Причину заговора относя к нестерпимым будто притеснениям и неправосудию, старался причиной им представить покойного императора. Смоленский помещик, он в особенности вопил на меры, принятые там для устройства дороги по проселочному пути, по которому государь и императрица следовали в Таганрог, будто с неслыханными трудностями и разорением края исполненные²². Но с тем вместе он был молодой человек, исполненный прямо любви к отечеству, но в самом преступном направлении.

Никита Муравьев был образец закоснелого злодея. Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был во всех мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненный в голову, когда он был взят с оружием в руках; его привезли закованного. Здесь с него сняли цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжелой раны и оков, он едва мог ходить. Зная его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что [он] — причиной несчастья многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. <...>

Когда допрос кончился, Левашов и я должны были его поднять и весть под руки.

Пестель был также привезен в оковах; по особой важности его действий его привезли и держали секретно. Сняв с него оковы, он приведен был вниз, в Эрмитажную библиотеку. Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с звер-

ским выражением и самой дерзкой смелости в закирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг.

Артамон Муравьев был не что иное, как убийца, изверг без всяких других качеств, кроме дерзкого вызова на цареубийство. {...}

Орлов жил в отставке в Москве. С большим умом, благородной наружностью — он имел привлекательный дар слова. Быв флигель-адъютантом при покойном императоре, он им был назначен при сдаче Парижа для переговоров²³. Пользуясь долго особенным расположением покойного государя, он принадлежал к числу тех людей, которых счастье избаловало, у которых глупая надменность затмевала ум, считав, что они рождены для преобразования России. Орлову менее всех должно было забыть, чем он был обязан своему государю, но самолюбие заглушило в нем и тень благодарности и благородства чувств. Завлеченный самолюбием, он с непостижимым легкомыслием согласился быть и сделался главой заговора, хотя вначале не столь преступного, как впоследствии. Когда же первоначальная цель общества начала исчезать и обратилась уже в совершенный замысел на все священное и на цареубийство, Орлов объявил, что перестает быть членом общества, и, видимо, им больше не был, хотя не прекращал связей знакомства с бывшими соумышленниками и гостоянно следил и знал, что делалось у них. В Москве, женатый на дочери генерала Раевского²⁴, у которого одно время был начальником штаба, Орлов жил в обществе как человек, привлекательный своим умом, нахальный и большой говорун. Когда пришло в Москву повеление к военному генерал-губернатору князю Голицыну об арестовании и присылке его в Петербург, никто верить не мог, чтобы он был причастен к открывшимся злодействам. Сам он, полагаясь на свой ум и в особенности увлеченный своим самонадеянием, полагал, что ему стоить будет сказать слово, чтоб снять с себя и тень участия в деле.

Таким он явился. Быв с ним очень знаком, я его принял как старого товарища и сказал ему, посадив с собой, что мне очень больно видеть его у себя без шпаги, что, однако, участие его в заговоре нам вполне уже известно и вынудило его призвать к допросу, но не с тем, чтоб слепо верить уликам на него, но с душевным желанием, чтоб мог вполне оправдаться; что других я допрашивал, его же прошу как благородного человека, старого флигель-адъютанта покойного императора, сказать мне откровенно, что знает.

Он слушал меня с язвительной улыбкой, как бы насмехаясь надо мной, и отвечал, что ничего не знает, ибо никакого заговора не знал, не слышал и потому к нему принадлежать не мог; но что ежели б и знал про него, над ним смеялся, как над глупостью. Все это было сказано с насмешливым тоном и выражением человека, слишком высоко стоящего, чтоб иначе отвечать как из снисхождения.

Дав ему договорить, я сказал ему, что он, по-видимому, странно ошибается насчет обоюдного положения, что не он снисходит отвечать мне, а я снисхожу к нему, обращаясь не как с преступником, а как со старым товарищем, и кончил сими словами:

— Прошу вас, Михаил Федорович, не заставляйте меня изменить моего с вами обращения; отвечайте моему к вам доверию искренностию.

Тут он рассмеялся еще язвительнее и сказал мне:

— Разве общество под названием «Арзамас»²⁵ хотите вы узнать?

Я отвечал ему весьма хладнокровно:

— До сих пор с вами говорил старый товарищ, теперь вам приказывает ваш государь; отвечайте прямо, что вам известно.

Он прежним тоном повторил:

— Я уже сказал, что ничего не знаю и нечего мне рассказывать.

Тогда я встал и сказал генералу Левашову:

— Вы слышали? — Принимайтесь же за ваше дело, — и обратясь к Орлову, — а между нами все кончено.

С сим я ушел и более никогда его не видел.

ИЗ «ЗАПИСОК ГРАФА Е. Ф. КОМАРОВСКОГО» О ВОССТАНИИ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

⟨...⟩ В день восшествия на престол императора Николая Павловича, 14-го декабря 1825 года, после присяги, я возвратился домой с тем, чтобы в час пополудни ехать опять во дворец к молебну. Желая иметь обнародованный по сему случаю манифест, я послал купить один экземпляр оного в сенатскую типографию старшего адъютанта штаба моего поручика Жукова. Он через несколько времени возвращается и с встревоженным видом говорит мне: «Бунт! Вся площадь Сенатская наполнена солдатами, которые кричат «ура, Константин!», и множество еще со всех сторон бегут туда солдат и народа».

Я тотчас же приказал заложить себе карету и поехал к Зимнему дворцу. Площадь вся уже была наполнена народом. Я вышел из кареты и, видя государя верхом перед первым батальоном Преображенского полка, удивился, что никого из генералов при нем не было. Когда я подошел к его величеству, он мне сказал: «Представь себе, есть люди, которые, к несчастью, носят один с нами мундир и называют меня самозванцем. Ты слышишь этот крик и выстрелы, но я им покажу, что я не трушу». ⟨...⟩

Между тем крики и выстрелы на Сенатской площади продолжались. С.-Петербургский военный губернатор граф Милорадович, узнавши о сем возмущении, поехал верхом, чтобы вразумить сию бунтующую толпу, но получил две тяжелые раны, от которых через несколько часов умер. Народ так теснил взводы первого Преображенского батальона, что ему нельзя было подаваться вперед, и мы должны были уговаривать толпу, чтобы дали места. ⟨...⟩

Митрополит Серафим, в полном облачении и с крестом в руке, послан был увещевать бунтовщиков, но сие не имело никакого успеха. Все бывшие при государе и приехавший в то время генера-

адъютант Толь просили его величество послать за артиллерией и для скорости приказать ехать конной артиллерии. Император отвечал, что он в ней не уверен, спросил, уверен ли он в людях и что он головой отвечает, если что противное случится. Батальонный командир мне на сие сказал: «Позвольте спросить ротных командиров, но батальон еще не присягал». Я приказал их позвать к себе; они все мне объявили, что в своих солдатах совершенно уверены. <...> Тогда я приказал вывести весь батальон с ружьями, в шинелях, фуражках, в сумках с боевыми патронами. Мне сказали, что бригадный командир генерал-майор Головин¹ дома; я послал его просить. Когда батальон построился поротно, я сказал солдатам: «Император наш, Николай Павлович, приказал мне вести вас против изменников, готовы ли вы умереть за него?» — Весь батальон отвечал: «Рады умереть!» — «И в том клянетесь?» — продолжал я. Все повторили: «Клянемся!»

Между тем пришел генерал-майор Головин; я приказал командовать справа по отделениям, и батальон пошел. Не доходя до Исаакиевского моста, я приказал батальон остановить и зарядить ружья. У самого моста построились в полувзводы, чтобы занять всю ширину моста. Я ехал перед карабинерным взводом, перед оным же шли генерал-майор Головин и батальонный командир. Когда дошли до конца моста, я приказал остановиться, полагая, что весь батальон идет за нами. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что стрелковый взвод и все последующие взводы остановились на половине моста и держали ружья у ноги. Я подскакал к стрелковому взводу, приказываю взять ружья на плечо, идти вперед, называя их изменниками, но несколько голосов мне отвечали: «Мы не присягали, худого ничего не делаем, по своим стрелять не будем».

Тут был и генерал-майор Головин, и батальонный командир. Я обратился к ним, чтобы привели людей в повиновение, но все угрозы их были тщетны. Впоследствии открылось, что сим взводом командовал поручик Розен, который был в числе бунтовщиков, и он оказался виновным в сем неповиновении стрелкового взвода². Я с досадой поехал, чтобы донести, и с великим трудом согласился наконец послать за пешей артиллерией, которая сначала пришла с холостыми зарядами, но после уже привезли боевые. Принц Евгений Виртембергский предложил государю, чтоб лейб-гвардии конный полк сделал атаку на бунтовщиков; они встретили полк ружейным огнем. Известно, как неудачны были все произведенные тем полком атаки на бунтующую толпу на некованных лошадях и при гололедице. В сие время приехал из Варшавы великий князь Михаил Павлович. Несколько офицеров Гвардейского экипажа пришли просить великого князя, который был подле государя, чтобы его величество приехал и вразумил нижние чины экипажа, которые вышли из повиновения. Государь, великий князь и все бывшие тут поехали к Гвардейскому экипажу. Люди держали ружья у ноги и говорили, что они присягнули Константину Павловичу и если он сам приедет и скажет, что он освобождает их от присяги,

то они готовы присягнуть Николаю Павловичу. Великий князь Михаил Павлович им на сие сказал, что он только сейчас приехал из Варшавы, что великий князь Константин Павлович сам присягнул императору Николаю Павловичу, что они знают привязанность его к цесаревичу и его именем он приказывает присягнуть законному императору Николаю Павловичу. Но солдаты все одно говорили. Я подъехал к одному из них и сказал: «Что вы еще упорствуете, вы знаете, что вам за это будет худо». — Он мне отвечал: «Вам, изменникам-генералам, нужды нет всякий день присягать, а мы присягой не шутим». Из сего ответа видно, как сильно они были злоумышленниками настроены. Между тем пришли Преображенский, Семеновский, Измайловский, Павловский, оставшаяся часть Московского и Егерский полки и заняли все улицы, ведущие на Исаакиевскую площадь. Государь послал меня привести 1-й батальон Финляндского полка. Я встретил одного из офицеров, служащих в оном, и приказал ему позвать ко мне батальонного командира, которому я объявил данное мне высочайшее повеление, и донес о сем государю. Приехав на Исаакиевскую площадь, я нашел, что пушки, поставленные против бунтовщиков, уже сделали несколько выстрелов картечью и толпа их начала рассыпаться и скоро исчезла. Так как все уже почти кончилось, то я не рассудил огорчить государя донесением о случившемся в 1-м Финляндском батальоне, но я сказал о том командиру полка Воронцову и требовал, чтобы люди стрелкового взвода выписаны были в армию. <...> Когда смерклось, войска расположены были на Дворцовой и Исаакиевской площадях на бивуаках. На первой командовал генерал Воинов, а на второй генерал-адъютант Васильчиков. Государь приказал мне учредить цепь, поставив один Преображенский батальон у арки, в Угловой Миллионной, и от оного давать часовых по Невскому проспекту до Полицейского моста и по Мойке, и из одного егерского батальона, который должен был находиться при начале Большой Миллионной, давать тоже часовых по всей той улице и по Мойке, соединя их с преображенскими часовыми. Из кавалерии учреждены были сильные патрули, которые должны были забирать всех разбежавшихся бунтовщиков. Когда я донес государю об учреждении мною цепи, его величество приказал мне поехать на Васильевский остров к генерал-адъютанту Бенкендорфу, который командовал там войсками, чтобы всех захваченных патрулями бунтовщиков он отсылал к генерал-адъютанту Васильчикову. Это был уже 8-й час вечера. Государь дал мне сие приказание, идя во дворец, чтобы присутствовать при молебне. <...> По возвращении с ответом об исполнении поручения государь приказал мне, когда все пленные собраны будут у генерал-адъютанта Васильчикова, то чтобы я взял один батальон Семеновского полка и дивизион кавалергардов и под сим конвоем привел бы их ко дворцу. Приехавши на Исаакиевскую площадь, к счастью моему, я нашел тут дежурного штаб-офицера моего штаба Репешку и адъютанта моего Жеребцова, которые весь день меня искали. Они были для меня большими помощниками, чтобы всех

пленных собрать вместе и принять их счетом. Известно, что в числе бунтовавших войск было несколько рот Московского полка, почти весь лейб-гренадерский полк, кроме первой и стоящей в карауле роты, и весь Гвардейский экипаж. Когда все пленные приведены были в известность, я из каждой роты Семеновского полка построил каре и пленных поместил в середину оных, а из двух эскадронов кавалергардского полка сделал аван-арьергарды. Пленных было до семисот человек³. Приведя мой отряд на Дворцовую площадь, я остановил оный и пошел донести о сем государю, подав его величеству записку о числе пленных. Хотя уже был первый час пополудни, его величество был еще в мундире. Император, поблагодарив меня, сказал: «Я прикажу отвести их в крепость». Я прибавил: «Если вашему величеству угодно, то я сие исполню». «Мне, право, совестно, любезный граф, — продолжал государь, — вы так устали, но если вы хотите сие сделать, то, отведя пленных в крепость, сдайте их там коменданту Сукину, и если ему будет нужно, то оставьте для караула в крепости семеновский батальон, который конвоирует теперь пленных. Потом отправьтесь домой».

Дойдя до спуска на Неве, что против крепости, я остановил мой отряд, и хотя было 14 декабря, но морозов больших еще не было, а я боялся, что лед не довольно толст, дабы поднять и кавалерию, и пехоту, при мне бывшие, и потому дивизиону кавалергардов приказал ехать к полку. Пленных я выстроил по четыре человека в ряд, а по обеим сторонам шли солдаты Семеновского полка. <...> Сдав всех пленных коменданту Сукину, который не имел надобности оставлять в крепости семеновский батальон, я возвратился домой в 4 часа пополудни.

На другой день площади Дворцовая и Исаакиевская, обе Миллионные и Адмиралтейская улицы и Большая набережная до Эрмитажного моста имели вид военного бивуака, ибо войска на них провели всю ночь. Много стояло пушек, курились дрова, видны были кучи соломы и сена. Государь объезжал все войска верхом, слезал с лошади, ходил по рядам и не только офицеров и солдат благодарил за их верность, но даже некоторых ему знакомых гренадер целовал. Всех полковых командиров, имевших генерал-майорские чины, назначил себе в генерал-адъютанты, а полковничьи — во флигель-адъютанты, в которые назначены были также батальонные и дивизионные командиры полков кавалергардского и лейб-конного. <...>

Государь поручил мне удостовериться в духе поселенных войск и донести его величеству по эстафете в собственные руки, но не из Новгорода, а из первого удобного пункта⁴. <...>

МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

(из рассказа дьякона Прохора Иванова)

⟨...⟩ Государь долгое время призывал мятежников к долгу и смирению, но они не внимали сему воззванию, и чем долее, тем более чернь к ним по неведению присоединялась. Тогда государь в 2 часа и 15 минут дал повеление генерал-адъютанту Стрекалову, чтобы призвать из дворцовой церкви преосвященного митрополита новгородского Серафима¹ с крестом к сим мятежникам. Генерал стремглав явился в церковь и объявил митрополиту высочайшую волю. Митрополит с духовенством последовал за генералом, но генерал ежeminутно повторял митрополиту: «Поскорее, как можно скорее, время не терпит!»

По выходе митрополита на Дворцовую площадь часть полка Гренадерского бежала с ружьями и примкнутыми штыками с криком: «ура! ура! Константин!» на дворцовый двор для занятия дворца, но этот последний саперами уже был окружен. Затем был подан собственный митрополита экипаж, в который сели два митрополита — Серафим и Евгений² и два дьякона — Прохор Иванов и Павел Иванов. Первосвяtitель пригласил с собой и генерала, но Стрекалов отказался, говоря: «Вас одних туда, куда везу, не пропустят». И сам, вставши на запятки за карету, немедленно представил государю, едущему верхом с генералами Васильчиковым и Бенкендорфом на площадь против адмиралтейской церкви, на угол, где стояло войско. Митрополиты, вышед из кареты с дьяконами, в сопровождении генерала следовали к бунтующим, но со стороны их и от полка Конногвардейского сделалась сильная перепалка.

Митрополит остановился и сел было обратно в карету, но государь, командуя и распоряжаясь войском, вторично прислал генерал-адъютанта Лариона Васильевича Васильчикова, чтобы убедить митрополита от имени его величества идти к мятежникам невзирая на угрозы. Генерал прискакал к карете митрополита и убедил, заклиная спасением России, будучи сам в слезах, масти-того старца.

Первосвяtitель церкви, повинувшись воззванию возлюбленного своего монарха и исполняя священные слова, сего же дня им произнесенные³, не щадя жизни своей, следовал на площадь Петровскую к бунтующим в сопровождении двух дьяконов, генерала и полицеймейстера. Бунтующие стояли около Сената, напротив их — кавалерия, от Невы — преображенцы, а от Исаакия — забор. Тут же пред глазами владыки застрелен был командир лейб-гренадерского полка полковник Стюрлер, уговаривавший солдат, и по отведении [его] в скором времени скончался. ⟨...⟩ И так с крестом стоял первосвяtitель среди площади, и когда чрез полицеймейстера Чихачева

вызван был митрополит киевский Евгений из кареты, у коего народ оторвал полицу⁴, удерживая [его], тогда оба иерарха, поговорив между собою, решились умереть за веру, отечество и царя; приложились все четверо к животворящему кресту, и первый митрополит Серафим, перекрестясь, стремительно бросился, имея в руках духовное оружие — крест, к мятежникам; за ним следовали митрополит Евгений и дьяконы... Мятежническое оружие замолкло, и они, увидев своего архипастыря, с крестом в руках к ним грядущего, начали креститься, а иные стали прикладываться. Первосвяитель у первой шеренги остановился и, подняв крест, говорил им велегласно:

— Воины! успокойтесь... вы против бога, церкви и отечества поступили: Константин Павлович письменно и словесно трикраты отрекся от российской короны, и он ранее нас присягнул на верность брату своему Николаю Павловичу, который добровольно и законно восходит на престол... Синод, Сенат и народ присягнули; вы только одни дерзнули восстать против сего. Вот вам бог свидетель, что есть это истина, успокойтесь, присягните. <...>

Между тем из среды мятежников составилаь из нескольких офицеров депутация и, приблизившись к митрополиту с обнаженными шпагами, дерзновенно ответствовали:

— Несправедливо! Где Константин?

Митрополит отвечал: «В Варшаве».

Мятежники кричали:

— Нет, он не в Варшаве, а на последней станции в оковах <...>. Подайте его сюда. <...> Ура, Константин!.. Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягнул... Ты — изменник, ты — дезертир николаевский, калугер, не верим вам, подите прочь! ...Это дело не ваше: мы знаем, что делаем. Скажи своему государю, чтобы он послал к нам Михаила Павловича: мы с ним хотим говорить; а ты, калугер, знай свою церковь! <...>

Невинные воины по данному от сих офицеров сигналу ответствовали только одно: «Ура, Константин!» При этом владыко сколько ни усиливался убеждать и уверять, однако все это мятежниками было пренебрежено; когда уже над головами первосвященителей начали фехтовать шпагами, крича «ура, Константин!», и со всех сторон окружила толпа с ружьями, тогда преосвященные с дьяконами принуждены поспешно удалиться в разломанный забор, к Исаакиевскому собору, в сопровождении черни. Близ Синего моста оба митрополита сели на двух простых извозчиков, позади стали дьяконы в стихарях, и таким образом возвратились в Зимний дворец. Тут митрополит Евгений прошел в церковь, а митрополит Серафим — в комнаты государя императора. Идя по апартаментам вдовствующей государыни, где собравшаяся знать, будучи в страхе, спрашивала первосвященителя: «Чем нас утешите? Что там делается?» — митрополит отвечал: «Обругали и прочь отослали». <...>

В. Р. Каульбарс

КОННАЯ ГВАРДИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА. ИЗ ДНЕВНИКА СТАРОГО КОННОГВАРДЕЙЦА

14 декабря, понедельник

Еще летом, во время нашей стоянки в Красном Селе, много было говорено про существующие будто бы различные тайные общества и заговоры. Хотя известия эти и принимались за пустые слухи, тем не менее они вполне подтвердились в этот день, выбранный злоумышленниками для открытого обнаружения их замыслов. С вечера воскресения знали уже о восшествии на престол великого князя Николая Павловича, и нашему полку было приказано собраться в 6 часов утра в большом манеже, где командовавший тогда полком генерал-адъютант Орлов прочел нам при свечах все документы, касающиеся отречения от престола великого князя Константина Павловича. Вслед за этим мы были тут же, без всяких приключений, приведены к присяге на верность государю императору Николаю Павловичу. В тот же день было приказано собираться к 12 часам дня в Зимний дворец на имеющий быть большой выход. <...>

Возвращаясь по Большой Морской, я заметил пред собою отряд войск со знаменем впереди, который заворачивал с Гороховой улицы на Большую Морскую, по направлению к Исаакиевскому собору. Впереди шел офицер в адъютантском мундире, держа в правой руке обнаженную саблю и потрясая левой рукой какую-то бумагу. Все это шествие было окружено густою толпою народа. Вовсе не думая о каком бы то ни было возмущении и видя невозможность проехать сквозь эту толпу, я обходным проездом благополучно добрался домой в наши казармы. <...>

Немедленно по возвращении в мою квартиру я заметил скакавшего на тройке флигель-адъютанта и через несколько минут услышал сигнал тревоги. Не прошло 20—25 минут, как наш полк выехал уже против казарм. Не успели мы еще окончательно выравняться, как внесли в наши казармы генерал-губернатора графа Милорадовича с простреленною одним из заговорщиков, Каховским, грудью и с окровавленной синею орденскою лентою через плечо.

Орлов провел наш полк по Почтамтской улице, мимо Исаакиевского собора, по Вознесенской, мимо дома Лобанова, на Адмиралтейскую площадь. Простояв здесь недолго в эскадронных колоннах, полк перестроился в развернутый фронт, правым флангом к Невскому, левым к дому Лобанова. Вслед за этим мы увидели выехавшего из Зимнего дворца верхом государя, сопровождаемого 1-м батальоном Преображенского полка, в шинелях, фуражках, ружья наперевес.

Подъехав к нам шагом, он поздоровался с нами. Дружное и воодушевленное «ура!» было ответом на его приветствие. Проговорив еще несколько слов, которых я расслышать не мог, государь направился шагом к Исаакиевской площади, на которой тем временем собрались заговорщики, образовав два отдельных каре. Одно из них состояло из части лейб-гвардии Московского полка, которую я видел на Морской [улице], другое из Гвардейского экипажа. Между обоими каре образовалось свободное пространство, по которому беспрепятственно проезжали на выход в Зимний дворец экипажи. На наше «ура» оба каре ответили «ура, Константин!», и только теперь мы догадались и узнали о причине и цели мятежа. Как я узнал впоследствии, некоторые офицеры Московского полка не хотели допустить нижних чинов к присяге на верность Николаю Павловичу и ранили сабельными ударами своего полкового командира генерала барона Фредерикса и начальника дивизии генерала Шеншина.

По объезде государем нашего фронта первый дивизион получил приказание встать перед Галерной улицей и Английской набережной. По команде «налево» мы сделали поворот по три и, отправляясь вдоль фронта остальных четырех эскадронов, завернули на Вознесенскую улицу, где выстроили взводы. <...>

Таким образом мы стояли против них около часу, окруженные густою толпою народа и любопытных; при этом задняя наша шеренга была прижата к платформе сенатской гауптвахты. Выстрелы с их стороны на воздух, а равно и крики «ура, Николай!» и «ура, Константин!» продолжались почти без перерыва. Тем не менее положение наше было одно из самых незавидных. Не только потому, что наши лошади не были перекованы на шипы и при малейшем движении вследствие гололедицы скользили и падали с седоками, но главным образом оттого, что все наше внимание было обращено на крышу Сената. Туда забралось немало народу, бомбардируя нас сверху дровами, внесенными со двора.

Как мы узнали потом, эти люди перешли на сторону мятежников. <...> Один из наших офицеров, Игнатьев, получил таким поленом столь сильный удар в живот около самой луки, что, потеряв сознание, тут же упал с лошади. В таком положении он был отнесен в свою квартиру, в казармы, где, придя в сознание, увидел лежащего на его постели в предсмертной агонии графа Милорадовича. Граф был совершенно случайно отнесен на квартиру Игнатьева.

Наконец за нами раздался барабанный бой. Это был лейб-гвардии Павловский полк, посланный с противоположной стороны Галерной улицы и занявший ее. Вслед за этим мы были освобождены от нашей неприятной стоянки тем, что получили приказание встать перед [Исаакиевским] мостом. Повернув налево по шести,

мы прошли это небольшое пространство беспрепятственно, прокладывая себе дорогу сквозь густую толпу народа*.

⟨...⟩ Тут мы увидели остальные четыре эскадрона нашего полка, стоявшие неподалеку от нас, спиною к Адмиралтейскому бульвару и лицом к каре. Пока мы находились у Сената, мы про них не знали ничего и их не видели, будучи разделены находящимися между нами двумя каре. Они были принуждены сделать несколько атакообразных демонстраций, которые, конечно, были неудачны ввиду гололедицы и столь близкого расстояния. При первой попытке они были встречены ружейным залпом, при последующих в них даже не стреляли, напротив, шуточно посмеивались над ними в каре. Ротмистр Эссен, бывший в то время перед 6-м эскадроном, бросился с 4-м взводом вперед и высвободил нашего старого корпусного командира Воинова, которого толпа чуть было не закидала до смерти кирпичами. Собравшийся у забора, окружавшего леса строившейся Исаакиевской церкви, народ, видимо сочувствовавший бунтовщикам, встречал кирпичами всякого, кто, по его предположению, стоял за законного государя. Вместе с тем присоединилась к нему часть лейб-гвардии Гренадерского полка, командир которого, полковник Стюрлер, был прострелен в грудь навывлет тем же Каховским и, кроме того, ранен в спину штыковыми ударами унтер-офицерами своего же полка.

Недолго мы стояли перед мостом, как из каре выступил один из наших офицеров, князь Одоевский, и обратился к нам со следующими словами: «Конногвардейцы, неужели вы хотите проливать русскую кровь?» На это мы крикнули: «ура, Николай!» и, послав по его адресу несколько злобных слов, увидели, как он немедленно отретировался обратно в каре. Вслед за этим подъехал к каре наш генерал¹ и приказал вздвоить эскадрон, чтобы дать дорогу идущей по мосту пехоте. Действительно, в это время двигался по нему л.-гв. Финляндский полк, но так как он внезапно остановился на мосту**, то я немедленно сомкнул эскадрон. ⟨...⟩

Был уже третий час пополудни. При стоявшей с утра пасмурной погоде день стал быстро темнеть. Офицеры и нижние чины при 7—8° морозу были в одних мундирах. ⟨...⟩ Вдруг показался клубок дыму. Последовал пушечный выстрел. Картечь прожужжала, однако, высоко по воздуху (вероятно с умыслом, чтобы предварительно морально подействовать на заговорщиков). Заряд этого выстрела попал в здание Сената и свалил на платформу гауптвахты нескольких из находившихся на крыше людей. Двое из них, взобравшиеся на пьедестал статуи Справедливости, лежали теперь, после постигшей их заслуженной участи, у ног ее...

* При этом, конечно, не обошлось без некоторых палашных ударов, которые мы наносили плашмя. Отряд л.-гв. Преображенского полка, стоявший перед мостом, был отведен, когда мы к нему подошли.

** Как мы узнали потом, причину остановки Финляндского полка была рота его величества, командир которой, барон Розен, не допустив ее к присяге, остановил ее и задержал этим на мосту весь полк.

Как только заговорщики ответили на первый выстрел [криком] «ура, Константин!» и видимо намеревались броситься на артиллерию в штывы, последовало еще несколько выстрелов, теперь уже удачнее направленных. Тут они не устояли. Вся эта масса бросилась к Английской набережной, проломив фронт стоявших поперек конно-пионеров. Преследуемые ими, насколько это было возможно, они обратились, при страшной давке, в полнейшее бегство и, перескакивая на гранитную набережную, на Неву, разбежались по льду во все стороны.

При этом было убито несколько конно-пионеров... Пионеры, в свою очередь, как мне передал брат, соскочив с лошадей, закололи несколько людей против дома графа Лавала. Во время этой давки и рукопашной с пионерами к нам подъехал генерал Орлов и командовал: «Направо за ними».

Не успели мы повернуть и пройти несколько шагов, как перед нами прожужжала картечь, пущенная со стороны нашего манежа вдоль фасада Сената. <...> Двинься мы несколькими секундами ранее, и заряд задел бы нас. Во время этой остановки подъехал к нам генерал Толь с 2-мя орудиями. За ним следовал в виде конвоя взвод Кавалергардского полка. Приказав на углу Сената сняться с передков, Толь пустил несколько картечных выстрелов по Неве вслед бежавшим по льду заговорщикам. Но так как артиллеристам пришлось накатить орудия на тротуар, гранитные перила мешали навести их как следует, то эти выстрелы никакого вреда рассеянным по льду не принесли. Две картечи попали в ворота Академии художеств*.

Вслед за последовавшими выстрелами по вторичной команде Орлова «за ними на Васильевский остров!» мы повернули и двинулись на мост. Но на нем в этот день было так скользко, что лошади, скользя на все четыре стороны, падали чуть ли не на каждом шагу. Многие слезали и пробовали вести коней в поводу, но безуспешно: увлекаемые лошадьми, они сами валились. При столь невыгодных для преследования условиях мы не успели еще дойти до противоположного конца моста, как от заговорщиков на Неве и след простыл. Они тем временем разбежались и скрылись по разным линиям Васильевского острова. Видя безуспешность нашего движения, Орлов остановил полк. Повернув назад, мы с большим трудом возвратились на площадь и выстроились в эскадронной колонне спиной к Адмиралтейскому бульвару и лицом к Сенату.

В этот промежуток времени успели уже убрать с площади всех убитых и отнести их, положив в один ряд под забором, окружавшим церковь. Так как на площади все уже успокоилось, то я сейчас же отправился туда со многими другими. Тут лежало, как я

* Все то, что сказано в различных описаниях 14-го декабря о пущенных будто бы с моста выстрелах и об утонувших заговорщиках вследствие проломанного этими выстрелами льда, составляет полнейший вымысел. Я заявляю положительно, что с моста никто не стрелял, точно так же и в Галерную улицу, которую занимал Павловский полк.

сосчитал, 56 тел. Между прочим, два маленьких флейтшика Гвардейского экипажа и один унтер-офицер л.-гв. Московского полка с оторванными головами, вероятно картечью, столь близко в них пушенною. Тут я заметил еще пятерых, судя по их полотняной одежде, ремесленников, бывших, вероятно, в числе любопытных, а равно и тех, которые были убиты первым пушенным против Сената выстрелом. По Крюкову каналу и в Галерной было тоже, как говорят, несколько людей убито попавшей туда рикошетом картечью. У нас выбыло из строя убитыми один нижний чин и, кроме Велио, несколько человек тяжелоранеными. Вообще, как рассказывали ночью, в этот день лишились жизни 70—80 человек. <...>

К вечеру стали приводить мимо нас на гауптвахту Зимнего дворца пойманных заговорщиков. К этому времени стало уже известно, что поводом к заговору вовсе не был великий князь Константин Павлович и что обстоятельство это было выбрано только для того, чтобы возбудить нижних чинов к мятежу. Рассказывали, что некоторые из них кричали «ура, конституция!», и на вопрос одного унтер-офицера, что это означает, будто бы объяснили: «Это супруга нашего государя». Немало и других рассказов, а равно и новостей о первых показаниях, данных мятежниками при допросах, передавалось в течение этой ночи. Кавалерия высылала поочередно патруль по одному эскадрону. Ротмистр Эссен привел таким образом с Васильевского острова, куда он был послан с 6-м эскадром, 30 человек лейб-гвардии Московского полка со знаменем, расположившихся под арками Андреевского рынка. Лейб-гренадеры вернулись, как говорят, совершенно спокойно в свои казармы и приступали к чистке ружей, как будто после какого-нибудь учения. Все эти нижние чины были заарестованы без малейшего с их стороны сопротивления и отведены в манеж 1-го кадетского корпуса. <...>

Этим и кончается мой дневник, к этому дню относящийся, с некоторыми дополнениями, сделанными мною несколько дней спустя.

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА. РАССКАЗ НАЧАЛЬНИКА АРТИЛЛЕРИИ СУХОЗАНЕТА

<...> 14 декабря 1825 г. при выходе от Николая Павловича начальники отдельных частей присягнули в Главном штабе. Во время этой торжественной церемонии я сообщил полковнику Нестеровскому¹, что предоставляю своей личной заботе присягу 1-й гвардейской артиллерийской бригады. Действительно, около 9-ти часов утра я туда отправился и нагнал близ здания арсенала генерала Нейдгардта, который обратился ко мне с просьбою

дозволить ему при этой церемонии присутствовать. Это домогательство, при тогдашнем настроении умов, предвещавших близость важных событий, вызвало на моем лице улыбку; однако я посадил любопытного генерала в свою карету, и мы помчались далее.

Войдя в казарменный двор, я поздоровался с людьми и, скомандовав «смирно!», счел нужным высказать следующее: «Ребята! слушайте со вниманием! я сам внятно и ясно прочту вам присягу» и прочел им известные официальные приложения². <...> После этого чтения еще раз громкое «ура» было повторено целою массою голосов, и затем все поодиночке подходили и прикладывались ко кресту и Евангелию. Минута была торжественная, зрелище умиленное. Прощаясь со мною, генерал Нейдгардт благодарил меня в самых теплых выражениях за удовольствие, ему доставленное, и прибавил: «Вы везде мастер своего дела!» Мы расстались, ожидая еще известий из конной артиллерии и 2-й пешей бригады; я уехал тотчас же домой на свою квартиру, на углу Литейной улицы и Ггаринской набережной.

Не прошло и четверти часа, как посланный мною для наблюдения за присягою в гвардейской конной артиллерии адъютант мой Ремезов вбежал в мою комнату бледный, смущенный, со всеми признаками самого сильного душевного волнения и едва мог высказать: «Ваше превосходительство! конная артиллерия взбунтовалась, не присягает! Офицеры разбежались!»

Мы вместе сбежали с лестницы. Хотя моя карета была уже заложена, но так как она стояла на конюшенном дворе, несколько отдаленном от моего подъезда, то я бросился в первые попавшиеся мне сани и поскакал в казармы гвардейской конной артиллерии. <...> Людей я нашел в порядке, только лица некоторых из них носили еще следы какого-то недоумения. Веселые взгляды солдат, их спокойное хладнокровное обращение убедили меня в том, что принцип беспрекословного повиновения начальству в этой части восстановлен... Я обязан сознаться, что приведение в повиновение людей в эту трудную, решительную минуту принадлежит не мне, а полковнику Гербелю, капитану Пистолькорсу и штабс-капитану графу Кушелеву³. Прочие офицеры этой части неизвестно куда скрылись. Я приказал немедленно снаружи, у каждого входа, поставить двух фейерверкеров в виде часовых, внушив им строго: не допускать никого без предварительного мне о том доклада. Вследствие этого распоряжения все возвращавшиеся офицеры арестовывались и являлись перед людьми уже наказанными за одну только мысль, что при тогдашней обстановке и неурядице можно было какой-нибудь беспорядок затеять. Замечательно то обстоятельство, что в этот промежуток времени заезжал и захотел войти адъютант генерала Бистрома князь Оболенский, но когда ему объяснили, что его не впускают без доклада генералу Сухозанету, то он, сев обратно в сани, ускакал стремглав. Арестовав виновных офицеров, я послал их сабли к коменданту, а сам отправился к государю доложить обо всем происшедшем. Государь вышел ко мне с лицом серьезным, но спокойным; и когда я, вкратце изложив ход событий,

рассказал, что нарушенный порядок восстановлен, что виновные арестованы и сабли их отосланы к коменданту, то государь сказал: «Возвратите сабли, я не хочу знать, кто они»; но добавил весьма грозным тоном, возвышая голос: «Но ты отвечаешь мне за все головою». Я возвратился поспешно в конную артиллерию. Хотя холод был умеренный, но я весь продрог. В казармах, несмотря на то что я застал совершенный порядок, людей еще не распустили, потому что поджидали священника для присяги. После прочтения оной, когда люди стали прикладываться к Евангелию, мы были осчастливлены прибытием великого князя Михаила Павловича. (...) Неожиданно прибыл адъютант его высочества Н. М. Толстой и сказал несколько слов шепотом великому князю... Впоследствии мы узнали, что в ту минуту получено было известие о том, что взбунтовалась часть Московского полка. Хотя государь император приказал отдать сабли арестованным офицерам, мне удалось испросить дозволение его высочества, чтобы до возвращения моего из дворца от молебна оставить их под арестом, каждого отдельно, в солдатских помещениях, как мною первоначально сделано распоряжение. В таком положении оставил я конную артиллерию, а сам поехал домой переодеться и везти приятное известие во дворец к молебну; но против Преображенского госпиталя остановил меня Генерального штаба полковник князь Андрей Михайлович Голицын со словами: «Известно ли вам, любезный генерал, о главном возмущении? Граф Милорадович смертельно ранен на Сенатской площади; кавалерия безуспешно атаковала мятежников!» Я тотчас отправил сидевшего со мной адъютанта в казармы конной артиллерии, приказав ему молчать о возмущении, но пригласить полковника Гербеля, чтобы он безысходно оставался в казармах до моего из дворца возвращения, а сам поскакал домой. Камердинер, ожидавший меня на крыльце, не дал мне подъехать, а закричал: «Дежурный генерал приезжал к вам от государя и отправился в 1-ю бригаду!» Тогда я понял, что известие, сообщенное мне князем Голицыным, была страшная истина. Приказав вести одну верховую лошадь вслед за мною, а другую направить тотчас ко дворцу, я сам устремился в 1-ю бригаду. Двор я нашел пустым; подчасом сказал мне, что генерал Потапов⁴ находится в дежурной комнате, куда я тотчас побежал. Потапов в волнении ходил по комнате, и, когда я спросил: «За чем он послан?», он как бы очнулся: «Все взбунтовалось, генерал, государь требует артиллерию!» Я бросился в конюшню; там было уже все в движении; я лично распорядился, чтобы первые 4 орудия роты его высочества скорей запрягались, и сам повел их, приказав полковнику Нестеровскому таким же порядком отправлять через Цепной мост по 4 орудия ко дворцу. Адъютанта же Философова⁵ послал прямо в лабораторию затем, чтобы привезти хотя несколько зарядов прямо ко дворцу, для чего захватить извозчиков хотя бы силою; зарядные же ящики полковник Нестеровский должен был позднее доставить. На Литейной встретил я свою верховую лошадь, скомандовал «на орудия садись!» и пустил лошадь в полный галоп.

Через Цепной мост из предосторожности повел орудия шагом, а миновав оный, опять орудия помчались с посаженной прислугой мимо дома Апраксина и павловских казарм. В этом месте встретил я Нейдгардта, выезжавшего из Миллионной. Подъехав к нему, я спросил, куда он едет, на что он весьма невнятно что-то пробормотал. За ним заметил я беспорядочную толпу солдат, бегущих враспынную из Мраморного переулка. «А это что?» — спросил я. — «Это бунтующие гренадеры»⁶, — отвечал мне Нейдгардт и ускакал далее. Между тем артиллерия приблизилась. Я скомандовал: «Шагом, слезай, стой, равняйся! Ребята, оправьтесь! ко дворцу надобно идти в порядке!» Под этим предлогом пропустил я толпу бунтовщиков мимо себя и отстал от них. (...) Когда мы вышли на Дворцовую площадь, бунт был в полном разгаре. Испуганное духовенство на санях мчалось вдоль по Адмиралтейской площади.

Выстроив дивизионы, сомкнув колонну, я приказал полковнику Апрелеву строго наблюдать за людьми, которые видели, что толпа лейб-гренадер потянулась длинною кишкою вдоль бульвара к Сенату; сам же я стал искать государя. Обскакивая толпу мятежников, мне попался Панов, бежавший во главе колонны гренадер. (...) Близ Вознесенского проспекта застал я государя и испросил его приказания. Государь весьма хладнокровно сказал: «Выстройтесь поперек площади». Я был душевно рад, видя спокойствие его лица, но мною овладел страх, когда я заметил, что он въехал в середину, перерезывая путь бегущим лейб-гренадерам, и громко воскликнул: «Стой, ребята, куда вы идете?»... Бунтовщики не только могли выстрелить, но даже пронзить его! И что же? они обходили лошадей спереди и сзади и следовали далее. Выезжая из этой беспорядочной толпы, государь еще раз повернулся к ней лицом и, как бы с прискорбием, сказал: «Они меня не слушают», и направился ко дворцу, а я выстроил батарею правым флангом к бульвару, а левым к Невскому проспекту, так что последние два орудия могли бы, повернувшись, действовать вдоль Невского. (...) Вслед за тем государь очутился перед фронтом, поздоровался с людьми. Я подъехал к нему и, нагнувшись, весьма тихо сказал: «Орудия заряжены, но без зарядов; через несколько минут заряды будут!» — «Ты мне доложишь», — был ответ государя. Действительно, вскорости Философов привез людей с зарядами на извозчиках. Я немедленно донес государю, что орудия заряжены картечью. (...)

Между тем на Сенатской площади шум, доказывающий брожение мятежнических умов, усиливался. Толпа разночинцев сильно волновалась позади колонн (...) все это я хорошо видел, въехавши верхом на бульвар. (...)

2 часа уже пробило на Адмиралтейской башне; я еще стоял долго. На мой взгляд, беда возрастала. Я думал, что ежели до ночи это не кончится, то мятеж может сделаться опасным. Это дало мне решимость опять искать государя; «но уже буду говорить по-русски», — думал я, и настиг его почти против ворот дежурного генерала. — «Государь! сумерки уже близки, а толпа бунтовщиков увеличивается. Темнота в этом положении опасна!» (Достоверно

не утверждаю, но мне помнится, что я выразил желание быть посланным к мятежникам.) Государь, не останавливаясь, поехал шагом и не отвечал мне ни словом; но лицо его не изменилось: он, казалось, как бы взвешивал обстоятельства; я опасался, но не сконфузился. Спустя около 1/4 часа я получил приказание государя подвести орудия против мятежников. Тогда я взял 4 легких орудия с поручиком Бакуниным и, сделав «левое плечо вперед» у самого угла бульвара, поставил лицо в лицо против колонны мятежников, сняв с передков. В это время государь, стоявший тут же верхом у дощатого забора, не совсем даже закрытый от мятежников, подозвал меня и послал сказать им последнее слово пощады. Я погнал лошадь в галоп, въехал в колонну мятежников, которые держали ружья у ноги и раздались передо мною. «Ребята! — сказал я, — пушки перед вами, но государь милостив, не хочет знать имен ваших и надеется, что вы образумитесь, — он жалеет вас». Все солдаты потупили глаза, и впечатление было заметно; но несколько фраков и мундиров начали, сближаясь, произносить поругания. «Сухозанет, разве ты привез конституцию?» — «Я прислан с пощадою, а не для переговоров», — и с этим словом порывисто обернул лошадь; бунтовщики отскочили, и я, дав шпоры, выскочил. С султана моего перья посыпались, но мне кажется, что по мне были сделаны выстрелы из пистолетов не солдатские, потому что солдаты находились тогда в заметном смущении.

Государь, как выше сказано, был тут же; все происходило в глазах его. Я подъехал и сказал: «Ваше величество! сумасбродные кричат: конституция!» Государь пожал плечами и командовал: «Пальба орудиями по порядку!» На этом месте всего было сделано 4 выстрела картечью, один за одним, прямо в колонны — орудия наводить не было надобности, расстояние было слишком близкое.

Между тем у мятежников сделалось большое волнение. При первом выстреле они стрелять начали, но действие испуга было явное — все их выстрелы были вверх. Масса обернулась и побежала, а по третьему выстрелу на месте уже никого не осталось, кроме тех, которые уже не вставали, но таковых было немного: на столь близкое расстояние картечь, рассыпаясь, не была смертоносна, а оставила много пятен на стенах Сената и частных домов, находившихся на теперешнем месте св. Синода.

Между тем 1-я легкая, а за нею и 2-я батареи пришли на площадь и стали в резерв. Несколько легких орудий отправилось с полковником Статковским в обход к великому князю Михаилу Павловичу. Государь уехал во дворец, не желая видеть этого плачевного зрелища, а я, придвинув орудия к углу Сената, видел бегство толпы вдоль Английской набережной. Некоторые стремглав бросились через парапет в Неву, куда они падали в глубокий снег, как на перину, а многие даже не вставали. Я приказал заряженным орудиям картечью выстрелить вверх, а потом, для страха, сделал по одному выстрелу с каждого орудия ядрами, также вверх, вдоль Невы, приказав наводить левее Горного корпуса. Этим действие артиллерии совершенно окончилось.

Узнав, что мятежники скрылись в доме у графини Лаваль, я вбежал в нижние комнаты, где полковник Арбузов⁷ остановил меня словами: «Ваше превосходительство, не ходите! их там множество». Я, однако, побежал далее по коридору... Темнота заставила меня вернуться, чтобы дать приказание тотчас поставить от пехоты сильный караул у входа и объяснить, кажется, Арбузову, что полезно было бы у каждого из домов Английской набережной поставить часовых, а также и в Галерной, соединив их промежуточными караулами. Затем я добавил: «Это до артиллерии не касается, но доложите своим начальникам; этим, кажется мне, надо бы распорядиться». Сам я тотчас поскакал во дворец, где уже разъезжались после молебна. К ночи все войска и при них артиллерия стали бивуаками у огней: пешая артиллерия почти вся вокруг дворца, только два орудия поставлены у Аничкова моста; конная же артиллерия пошла на Васильевский остров и примкнула к кавалерии. Всю ночь объезжал я войска. <...> Перед рассветом, в начале 7-го часа, пошел в комнаты государя и вместе с генерал-адъютантами пил чай в одной зале, когда вошел бледный, расстроенный князь Трубецкой и прямо был введен в кабинет государя. Оттуда он вышел уже арестованным, без шпаги, и тогда все узнали, что он был участником в заговоре. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАТС-СЕКРЕТАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА В. Р. МАРЧЕНКО О СОБЫТИЯХ ДНЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

<...> Надобно было прекратить недоумения и толки, день ото дня возрастающие, и Николай Павлович решился воссесть на престол. 13 декабря ночью собран был [Государственный] Совет, в котором его высочество предъявил всю переписку свою с братом и проект манифеста, писанного, как тогда говорили, Карамзиным. Проект одобрен и тут же в самую полночь подписан новым императором¹. 14-е число было понедельник, обыкновенный день общего собрания Совета, и положено в ночном заседании собраться поутру в 9 часов для присяги. По приезде в Совет нашел я дворцовую повестку, что в 2 часа назначено поздравление нового императора, и поэтому отпустил карету домой до 4 часа. По съезде членов [Совета] пошли мы в придворную церковь, присягнули, подписали имена свои на листе и в 10 часов явились по дороге из церкви с поздравлением к императору, принявшему нас в комнатах великокняжеских (в коридоре окнами к Адмиралтейству), а от него через комнату налево — к вдовствующей императрице Марии Федоровне. По возвращении в Совет, помещавшийся тогда в комнатах бывшего обер-гофмаршала Толстого (в коридоре окнами во двор), открыто было заседание; но как некоторые старики члены стали жаловаться на усталость и что в 2 часа надобно опять быть на ногах, то доклад был отменен и все разъехались; я же

поневоле остался во дворце, отпустивши карету домой, и, располагая походить с час времени в Эрмитаже, вышел в коридор. Едва отворил дверь, навстречу мне граф Милорадович, шегольски одетый и всегда веселый: «Я сейчас был с рапортом у нового императора о благополучном состоянии столицы; все места присягнули уже, да и весь город, можно сказать, потому что с утра пробиться нельзя в церквах». На вопрос же мой о войске отвечал, что и оно присягнуло, только в конной артиллерии под Смольным что-то случилось, но это вздор, и там теперь великий князь Михаил Павлович. Вместе с сим предлагал ехать в Театральную школу на пирог к директору театров г. Майкову, который в тот день был именинник; но я, бывши в мундире, не принял его приглашения, сколько он ни настаивал. Оно, однако, родило мысль во мне выпить рюмку мадеры и съесть кренделек для того, что ранее 4 часа нельзя было отделаться от дворца, и я воротился в Совет. Ожидая, пока камер-лакей подаст мадеры, подхожу к окну и удивляюсь, что император в парадной форме учит егерей или финляндцев, стоявших тогда в карауле. Надобно знать, что, будучи великим князем, когда развод был его полков, император сам вводил людей в сошки на дворцовом дворе, делая маневр этот два, а иногда три раза, и потом своими руками свертывал знамя и завязывал знаменный чехол. В сие время входит помощник статс-секретаря Свиньин² (теперешний сенатор) и говорит, что не мог проехать: везде войско, народ валит на площадь, и он воротился, чтобы переждать. Слышавши от графа Милорадовича, что гвардия присягнула уже, следовательно, каждая часть уже в своем полку, я подумал, что сбором ее перед дворцом начнется поздравление императора, вспомнил, как Александр I в 1801 году явился на балконе, покрытом малиновым бархатом, народу и гвардии, состоявшей тогда не более как из 7 тысяч человек и присягнувшей на площади, и указал Свиньину на государя, занимающегося гауптвахтою; но каково было удивление мое, когда я увидел, что по команде его, как на ученье, солдаты стали заряжать ружья и насыпать порох на полки. После этого император повел людей в ворота на площадь, а с гауптвахты бежали за ним караульные офицеры, обнажая во дворе уже свои шпаги. Хотелось выйти на площадь, но неуклюжий губернский мундир мешал; я послал домой курьера за фракком, а между тем поручил придворному лакею пройти по комендантской лестнице к экзерциргаузу и узнать, что делается. Он воротился с ответом, что государь стоит с командою, снятою с гауптвахты, между дворцовых ворот и фонариком; около него толпа народу. Он читал им манифест и после сказал: «Вы видите, что я не отнимаю престол у брата». Весть сия не обещала доброго, и я вышел в фонарик. Здесь увидел следующую картину: конная гвардия с командиром своим Орловым (Алексеем Федоровичем) на рысах скакала из казарм своих к штабу, и с появлением ее государь изволил перейти на середину площади (где теперь колонна), сопровождаемый дворцовым караулом и Преображенским батальоном, прибежавшим с Миллионной в шинелях и фуражках, заряжая на марше ружья.

Из-под арки бежали и примыкали к ним саперы. С Гороховой улицы шел Московский полк к Сенату. Когда же показались Семеновский и Егерский, то саперы пошли на дворцовый двор и тотчас заняли все выходы, а государь с отрядом, предшествуемый конной гвардией, отправился к Сенату.

Нашедши в комнатах Совета фрак свой уже привезенным, вышел я по Салтыковскому подъезду (против Адмиралтейства) на бульвар и, пробиваясь между чернию и разного состояния людьми, старался разведывать: что такое делается? Одни отвечали: «Не знаем и сами добиваемся толку», — другие: «Говорят, что бунт, боже сохрани!», и с такими ответами дошел я до Исаакиевской церкви. Здесь увидел государя на лошади лицом к Адмиралтейству и гвардию, расположенную от дома Крюковской (угольной площади на Гороховую улицу) до Исаакиевского моста; артиллерия стояла у мосту, на Английской набережной, позади конногвардейского манежа и на углу Адмиралтейства ко дворцу. Около Сената же гауптвахта обыкновенная и впереди ее какие-то сборные команды гвардейских полков, но по воротникам большею частью Московского; площадь около самого монумента Петра I была свободна, и по ней беспрестанно переходили с бульвара к Сенату и обратно не только люди всякого звания, но и солдаты фронта. Здесь увидел я идущего от Сената статского советника Грабе-Горского³ и, узнавши от него более, нежели ожидал (о чем скажу после), отправился обратно во дворец, надел мундир и пустился в осмотр.

От фонарика на площади пусто было, войска густыми колоннами стали около Исаакиевской церкви, лестницы во дворце набиты были солдатами с ружьями, а на дворе дворцовом устроилось каре распоряжением коменданта Башуцкого, странным до того, что, глядя сверху, понять нельзя было о прямом его намерении: поминутно солдаты теснились и растягивались, выходили на крыльца и в ворота и возвращались. Как теперь смотрю, что в этой суматохе Башуцкий переводит с правой стороны один какой-то батальон в шинелях на левую, где стоящий батальон не может осадить потому, что приперт к самой платформе гауптвахты; это место очищал Башуцкий лейб-гренадерскому батальону, предводимому одним мальчиком-офицером, за которым бежал флейтщик, и еще хвост не устроился, как мальчик тот повел обратно батальон со двора на площадь, а Башуцкий опять принялся за распоряжение, как занять оставленную пустоту. После известно сделалось, что батальон этот, под командою поручика или капитана Панова, приходил занять крепость⁴, но, найдя ворота запертыми, бросился во дворец, где, также найдя принятые меры, отправился на площадь и, в глазах государя и гвардии, прошел мимо их около бульвара прямо к Сенату и соединился с бунтовщиками-солдатами Московского полка.

Между тем время приблизилось к 2-м часам, и дворец наполнился приехавшими по повестке для поздравления. Дамы все были наряжены, но мужское одеяние представляло пестроту, ибо многие,

быв оповещены по службе, чтобы не опоздать, прямо проехали во дворец в черных панталонах. Военные все уходили на площадь, и в зале оставались только двое: князь Лобанов, по старости и непринадлежности к армии, и граф Аракчеев, по трусости, как говорило тогда, может быть, злословие; но на него жаль было смотреть: ни одна душа не останавливалась промолвить с ним слово, и он рад был, усевшись на диванчик с приехавшим во дворец князем Лопухиным⁵. Видя меня, разговаривающего с А. Ф. Орловым, который неоднократно прислан был с площади к императрицам, граф Аракчеев подошел ко мне сначала с просьбою: не могу ли я по старой приязни подарить ему экземпляр манифеста, а потом: «Что, батюшка, есть ли утешительные вести?» Я ему сказал, что число строптивых увеличивается переходящими из полков солдатами к шайке, у Сената стоящей, и что государь, не решаясь на крайнюю меру, надеется убеждениями образумить заблуждающихся, заботясь более о бедном графе Милорадовиче, хотя это несчастное приключение часа два уже всем известно было. Сделалось темно, зажгли свечи, и полковник Чихачев пробежал чрез залу, вскоре возвратился, и за ним шел митрополит Серафим в полном облачении, с подьяконами. Государь вытребовал его из церкви на площадь, но слова митрополита заглушены были криками и угрозами мятежников, и он чрез полчаса воротился во дворец. Вслед за сим услышали мы пушечные выстрелы, после которых не более как чрез 1/4 часа изволил и государь пройти чрез залу, не останавливаясь, к императрицам. Тут узнал я, что после двух или трех выстрелов картечью мятежники рассыпались по Галерной улице, Английской набережной и Васильевскому острову, что они бросают ружья и что их захватывают кавалергарды и конная гвардия и приводят в сенатское здание. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРИНЦА ЕВГЕНИЯ ВЮРТЕМБЕРГСКОГО О ДНЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

<...> Собравшаяся чернь стала также принимать участие в беспорядке. Начальника гвардейского корпуса генерала Воинова чуть было не стащили с лошади; мимо адъютантов императора летали камни, в меня попало несколько комков снега. Наскакав на виновного и опрокинув его конем, я закричал:

— Ты что делаешь?

— Сами не знаем. Шутим-с, барин, — отвечал опрокинутый, еще не поднявшись с земли.

Начинало смеркаться, и зародилось справедливое опасение, что ночью явятся новые затруднения, если не покончить с этим делом до ее наступления. В это время прибыли под командой поручика Бакунина четыре орудия гвардейской артиллерии и распо-

ложились на левом фланге Семеновского полка, стоявшего подле Адмиралтейства. Между тем император объезжал ряды пехоты и, обращаясь к солдатам с немногими энергическими словами, воспламенял их рвение. <...>

Неоднократные обращения к мятежникам с требованием разойтись оставались без успеха. По приказанию императора им было объявлено, что они «вынуждают к принятию крайних мер». К ним послан был генерал Сухозанет. Они встретили его единодушным возгласом: «Да здравствует Константин!»

— Так узнайте же, что такое Николай! — отвечал он им.

И действительно, император решился сам подать сигнал к началу смертоносного артиллерийского грома обычною командою: «Раз, два, пли».

Действие этого вынужденного необходимостью кровавого приказа было удивительно: в одну минуту вся площадь очистилась от бунтовщиков. Пехота и кавалерия бросились в преследование; но нелегко было догнать беглецов: они небольшими кучками бежали частью по замерзшей Неве на Васильевский остров, частью в разные дома, где и баррикадировались.

На месте осталось много мертвых солдат. В соседних домах было тоже много пораженных картечью, и в том числе даже женщин. Дано было всего четыре выстрела, и тем не менее, как говорят, несколько сотен невинных пало жертвою чужого преступления¹. <...>

Что за беспокойная ночь последовала за страшным днем!

Дворцовая и Сенатская площади превратились в бивуаки, на которых расположилось несколько тысяч вооруженных солдат. Среди огней возвышалась величественная статуя великого виновника русского могущества. Если бы мог он взглянуть с того света на события этого дня, то был бы свидетелем преступления, угрожавшего гибелью его созданию, и полюбовался бы величием души одного из своих правнуков, геройскому поведению которого империя была обязана спасением от неисчислимых бедствий. Таково было убеждение мое и всех, кто имел случай в этот день близко видеть Николая Павловича.

Замечательно, что в первые минуты, когда, по окончании богослужения, генералитет и адъютанты собрались в приемных покоях императора, подозрительность изображалась почти на всех лицах. Никто с достоверностью не знал, какое разветвление имеет заговор и кто его начинщики. Даже побудительная причина его еще не была выяснена, а между приводимыми один за другим арестантами узнавалось много старых знакомых.

Первым был приведен со связанными сзади руками молодой офицер Московского гвардейского полка князь Щепин-Ростовский, в парадном мундире, но с оторванными эполетами. Его мрачная, но решительная физиономия, казалось, изобличала в нем закоренелого злодея. Его рукою, говорили, ранены генералы Шеншин и Фредерикс. Вторым был некто Горский, поляк в партикулярном платье с пистолетом за поясом. <...> Затем ввели поручика лейб-

гренадерского полка Шторха, сына одного из бывших наставников императора². Подобно Цезарю, вскричал император:

— И ты, сын мой!

— Виноват! — было ответом <...>.

Потом был приведен полковник князь Трубецкой, дежурный штаб-офицер 4-го корпуса. На него указывали как на одного из главных заговорщиков. Дело его получило особую важность потому, что он был задержан в доме свояка своего, австрийского посланника графа Лебцельтерна, у которого он нашел себе убежище.

Вместе с некоторыми другими зачинщиками заговора много арестованных солдат почти всю ночь толпились вокруг допросного стола, за которым генерал Левашов записывал их показания. Неизменными вопросами его были: «Присягал ли?» — Ответ: «Да». — Вопрос: «Кому?» — Ответ: «Императору Константину».

Степень вины уяснялась этим вполне единодушным признанием. Но из числа этих мнимых благодетелей государства некоторые кричали: «Ура! Конституция!» Они и не отрицали этого, но когда их спросили, понимают ли они, что это слово означает, — «как не понимать?» — был ответ. — Да здравствует ее величество супруга императора Константина!»

В полночь по приказанию императора я предпринял обозрение постов на Исаакиевской площади и нашел там все в надлежащем порядке вследствие неутомимой деятельности генерала Васильчикова. Когда я воротился во дворец, то допрос еще продолжался. <...>

На рассвете я повторил по приказанию императора обзор постов на Петербургской стороне и на Васильевском острове и отовсюду привез самые удовлетворительные известия. Из окрестностей Петербурга также подошли войска, и вскоре все убедились, что в них господствовал наилучший дух и что вообще они вовсе не участвовали в заговоре. В последующие дни было арестовано много заговорщиков. По большей части это были офицеры, как, напр., Панов (лейб-гренадерского полка), князь Оболенский (адъютант генерала Бистрома). <...> Но было много и статских, напр., поэт Рылеев и Каховский, убийца графа Милорадовича и полковника Стюрлера. Иные из них находились 14-го декабря в рядах верных войск и были захвачены, по указанию арестованных, с самого начала. Других привозили из отдаленнейших мест и заключали в Петропавловскую крепость, где вскоре водворилась и Следственная комиссия. Вскоре волнение умов успокоилось, и обитателям дворца, который оберегался в течение нескольких недель с особенной строгостью, уже не приходилось проводить без сна целые ночи напролет. Наступил обычный старый порядок. Я долго еще не покидал приемной императора и имел поэтому возможность хорошо знать обо всем происходящем. Всего более был я поражен появлением маленького человека в серой шинели, бросившегося мне в глаза еще на Сенатской площади, который теперь пришел сознаться в намерении убить императора и был им прощен. Это был Булатов, штаб-офицер 12-го егерского полка. Он объяснил причину своего

раскаяния угрызениями совести и подтвердил это показание делом, так как умер несколько дней спустя от нервной горячки³.

В этом случае так же, как и во время разговора с Якубовичем, судьба благоприятствовала императору. Якубович замышлял также убить государя и завел разговор с ним только для того, чтобы разведать намерения правительства. Он возвратился к своим соумышленникам с убеждением, что с нашей стороны и в мыслях не имеется никаких насильственных мер. Сам государь однажды в разговоре со мной об этих происшествиях выразился:

— Ce qu'il y a d'inconcevable dans tout cela, Eugène, c'est qu'on n'ait pas tiré à la tête à nous deux*.

М. М. Попов

КОНЕЦ И ПОСЛЕДСТВИЯ БУНТА

14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Во весь день 14 декабря 1825 г., кроме войск, толпилось множество народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях, в концах ближайших к ним улиц, на Исаакиевском мосту и на набережных обеих сторон Невы. Из народа почти никто не участвовал в бунте, большею частью были только зрители. <...>

К вечеру, часа в четыре, начали стрелять из пушек, поставленных против всех пунктов, где находились толпы: в Галерную улицу, вдоль по Исаакиевскому мосту, по набережным, через гранитные перила на Васильевский остров. Пальба продолжалась с час. Тут не могло быть и не было никакого разбора: не столько участники мятежа, сколько простые зрители ложились рядами. В толпах от испуга и давки, от неловкости или слабости люди давили друг друга и гибли, догоняемые ядрами и картечью. Как далеко долетали заряды, видно из того, что одно ядро ударило в третий этаж Академии художеств, в квартиру учителя Калашникова, прошибло стену и ранило кормилицу этого учителя, которая держала на руках его ребенка. Во всех домах ворота и двери были заперты и не отпирались ни на какой вопль: всякий боялся отвечать за мятежника. Народу было так много, что Нева, набережная и улицы были покрыты трупами.

Тотчас по прекращении стрельбы новый государь приказал обер-полицеймейстеру Шульгину¹, чтобы трупы были убраны к утру. Шульгин распорядился бесчеловечно. В ночь по Неве от Исаакиевского моста до Академии художеств и дальше, к стороне Васильевского острова, сделано было множество прорубей величиною, как только можно опустить человека, и в эти проруби к утру опустили не только все трупы, но (ужасное дело!) и раненых, которые не

* «Что не понятно во всем этом, Евгений, так это, что нас обоих тут же пристрелили» (фр.). — *Сост.*

могли уйти от этой кровавой ловли. Другие ушедшие раненые таили свои раны, боясь открыться медикам и правительству, и умирали, не получив помощи. От этого-то в Петербурге почти не осталось в живых из тех, которые были ранены 14 декабря.

Государь был очень недоволен Шульгиным и сменил этого господина. Безрасудность его распоряжения открылась еще больше всего, когда по Неве начали добывать лед, — то многие льдины вытаскивали с примерзшими к ним рукой, ногой или целым человеческим трупом. Правительство должно было запретить рубку льда у берега Васильевского острова и назначило для этого другие места на Неве. Со вскрытием реки трупы погибших унесены в море.

Не меньше неприятно то, что полиция и помощники ее в ночь с 14 на 15 декабря пустились в грабеж. Не говоря уже, что с мертвых и раненых, которых опускали в проруби, снимали платье и обирали у них вещи, даже убегающих ловили и грабили.

Во всю эту ночь верные полки расположены были биваками по площадям около Адмиралтейства, по улицам Адмиралтейских частей и Васильевскому острову. Везде горели бивачные огни и ездили густые патрули. Зимний дворец обведен был непрерывною цепью пушек, артиллеристами, пионерами и кавалергардами. Дня два или три после этого патрули продолжались день и ночь, не давая собираться толпами и не пропуская людей сомнительных. Во дворце же недели две были в опасениях. Каждую ночь, как только засыпал город, безмолвно шли по Миллионной несколько рот преобращенцев и везли пушки. Преображенцы ломещались во дворе, а пушки ставились в воротах дворца. Утром, перед тем как просыпаться городу, преобращенцы и пушки с тою же тишиною удалялись из дворца.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АДЪЮТАНТА М. А. МИЛОРАДОВИЧА А. П. БАШУЦКОГО

⟨...⟩ Город уже несколько дней был полон смутных и передававшихся на ухо слухов, военный генерал-губернатор беспрерывно получал записки, донесения, известия, по управлению секретной части была заметна особая хлопотливость, все люди Фогеля¹ были на ногах, карманная записная книжечка графа была исписана собственными именами*, но он не говорил ничего, не действовал; все ограничивалось секретными разведками и сообщениями, выжидательностью. ⟨...⟩

За полночь раздался непривычный стук в дверь, отделявшую мою комнату от гостиной, слышался голос отца, который в это время никогда не входил ко мне: «Давно ли ты оставил графа?.. Что он тебе говорил?.. Не делал ли особых приказаний?» Отец

* В книжечке этой, найденной по смерти графа на столе, были выписаны его рукою почти все имена находившихся здесь заговорщиков.

был встревожен. Он кратко сообщил мне, что в некоторых полках волнение возрастает до степени, внушающей странные опасения, он советовал мне ехать немедленно к графу. Но когда я явился к Милорадовичу, он объявил мне, что «знает все на свете» и что в свое время мне будут даны приказания, отпустил меня домой, сказав, однако, чтоб завтра я явился ранее (мы всегда являлись к нему в 9 часов), чтоб распорядиться об увеличении числа его разъездных (полицейских, жандармов), чтоб ординарцы, дежурный офицер, фельдъегерь и усиленное дежурство по канцелярии были во всю ночь налицо и в порядке. <...>

На следующее утро, 14 декабря, я был у графа прежде половины девятого. Нередко случалось, что я будил его и заставлял подниматься с истинно солдатской постели, но на этот раз он был совершенно одет, как всегда, ловко, чисто, молодцом. Я застал его довольно веселым, в полной парадной форме, как мы все, и в андреевской ленте. Высокая грудь его была буквально покрыта двумя дюжинами всех наших и главнейших европейских звезд и крестов, взятых этою смелою и после 55 битв девственною от ран грудью от боя. Спешно окончив некоторые текущие дела, граф положил в карман мундира бумажник, в котором на этот раз было не более 400 руб. ассигнациями. В это время к нему приехал А. Х. Бенкендорф, с которым он был особенно дружен. <...>

Присяга была назначена в 11 часов², времени оставалось еще много, но граф потребовал карету. «Мы свидимся во дворце, — сказал он мне, — распорядитесь, чтобы в одно мгновение мне было дано знать о всем, что бы ни случилось. Я сейчас отправлюсь к Катеньке Телешовой³, я дал слово, вы знаете, нужно всегда держать слово!.. Ее праздник, она просила на кулебяку». <...>

Возвратясь домой в десятом часу, я нашел у себя толстого моего приятеля, однокашника, товарища по выпуску из Пажеского корпуса — А. С. Траскина, офицера гвардейского Генерального штаба. Мой крикун и обжора уже распорядился с отличным усердием завтраком, сняв мундир для большего удобства. Я последовал умному примеру, но взялся за дело поздно, в эти 24 часа мне не было суждено ни съесть куска, ни вспоминать о том. <...> На улице раздавался смутный шум. Мы кинулись к окну другой комнаты, обращенному на площадь, которая за четверть часа, когда я возвращался домой, была совершенно пуста, теперь же была наполнена народом, поспешно притекавшим со всех сторон⁴. Было, конечно, более 20 тысяч человек. <...> Надев мундиры и шарфы, мы выбежали и с трудом пробрались около стен дворца от подъезда к большим воротам... В некотором расстоянии от них к середине площади находился государь, буквально окруженный, почти сжатый народом. Государь держал в руке разогнутый манифест 14 декабря 1825 г. с приложениями и громко, отрывисто читал, то кратко, понятно для народа объяснял сущность событий. <...>

Возле и кругом в то время было чрезвычайно мало лиц известных: сколько помню, (были только) новые флигель-адъютанты Кавелин и Адлерберг, дежурный генерал Потапов, мой отец,

несколько офицеров, как и мы, попавших сюда случайно, завлеченных движением, шумом. <...> В это время по домам собирались к съезду во дворец, многие находились уже в нем. <...> Среди сжатой массы народа мы вскоре заметили генерала верхом на серой в яблонках лошади; он пробирался из-под арки Главного штаба. С трудом подъехал к государю (то был А. И. Нейдгардт), он приклонился и довольно громко донес на французском языке о преступлении, свершенном уже в лейб-гвардии Московском полку, о бригадном командире Шеншине и полковом, бароне Фредериксе, изрубленных бешеными солдатами, о толпе этих последних (более роты), выбежавшей из казарм, находящейся уже около Исаакиевской площади. <...>

В это время прибыли уже и собрался около государя еще несколько лиц. Государь повелел моему отцу немедленно привести первый батальон лейб-гвардии Преображенского полка к его величеству на Дворцовую площадь, Нейдгардту и другим были отданы приказания относительно лейб-гвардии Семеновского полка, Конной гвардии и пр. После этого государь приказал караулу главной (дворцовой) гауптвахты (караул был от лейб-гвардии Финляндского полка) занять дворцовые ворота <...>. Ружья были заряжены. <...>

Между тем со скоростью поистине непостижимою прибыл батальон Преображенского полка. <...> Государь прошел вдоль строя этого батальона и, может быть, прошел уже два-три взвода, когда явился мой генерал с.-петербургский военный генерал-губернатор граф М. А. Милорадович. <...>

Граф Милорадович пришел через площадь от бульвара, следовательно, он подходил к государю сзади в то время, когда его величество шел вдоль фронта батальона. Мы шли в некотором расстоянии за государем, а потому я тотчас увидел графа. Все в его появлении было необычайно, все было диаметрально противно его привычкам и понятиям, он шел почти бегом, далеко отлетала его шпага, ударяясь о его левую ногу, мундир его был расстегнут и частью вытасен из-под шарфа, воротник был несколько оторван, лента измята, галстук скомкан и с висящим на груди концом — это не могло не удивить нас. Но каковым же было наше изумление, когда с лихорадочным движением, с волнением до того сильным, что оно нарушило в нем всякое понятие о возможном и приличном, граф, подойдя к государю сзади, вдруг резко взял его за локоть и почти оборотил его к себе лицом. Взглянув быстро на это непонятное явление, государь с выражением удивления, но спокойно и тихо отступил назад. В ту же минуту Милорадович горячо и с выражением глубокой грусти произнес, указывая на себя: «Sire, qu'ont mis moi dans cet état, il n'y plus que la force, qui puisse agir!..»*. Не спрашивая ни о чем, государь на эту выходку ответил сперва строгим замечанием: «Не забудьте, граф, что вы отвечаете за

* «Государь, если они привели меня в такое состояние, ничего не остается, как только применить силу!..» (фр.). — *Сост.*

спокойствие столицы», и тотчас же приказанием: «Возьмите конную гвардию и с нею ожидайте на Исаакиевской площади около манежа моих повелений, я буду на этой стороне с преображенцами близ угла бульвара». При первом слове государя Милорадович вдруг, так сказать, очнулся, пришел в себя; взглянув быстро на беспорядок своей одежды, он вытянулся, как солдат, приложил руку к шляпе, потом, выслушав повеление, молча повернулся и торопливо пошел назад по той же дороге.

Тут я явился ему. Мы почти бежали сквозь довольно редкие толпы народа. Несколько далее центра мы наткнулись на парные сани, в которые человек в военной шляпе и в медвежьей шубе заносил ногу, чтобы садиться. Граф схватил его рукою и, отстраняя, сказал: «Позвольте, мне ваши сани нужны». Человек этот взглянул на нас, то был обер-полицеймейстер Шульгин. Граф вскочил в сани, я на запятки, и мы помчались к Исаакиевской площади. Но на углу бульвара у Исаакиевской площади должно было остановиться. Быстрая рекогносцировка доказала нам, что не было никакой возможности ни пройти, ни проехать здесь на площадь эту... Вся она была сплошная масса народа, обращенного лицом к монументу. Только там оставалось несколько свободного пространства вокруг шайки бунтующих солдат... Вся эта масса орала, редела, смутно, по временам мы слышали имя Константина, сопровождаемое громкими «ура». Мы опять кинулись в сани и объездом по Вознесенской, по Мойке, через Поцелуев мост прибыли в Конногвардейскую улицу. Несколько офицерских экипажей там и сям стояли близ казарм. Граф приказал мне немедленно торопить, чтобы седлали и выводили полк, а сам, сложив на груди руки, пошел вдоль по улице.

В конюшнях, когда я вошел, было чрезвычайное движение — седлали, мундштучили лошадей, люди одевались, суетились*. Я побуждал их торопиться; переходя из конюшни в конюшню и встречая офицеров, я передавал им повеление, данное государем графу. Когда я вышел на улицу, граф все ходил так же быстро, по временам он нетерпеливо поглядывал на свои часы. Подняв голову, он спросил: «Что же полк?» — «Тотчас», — отвечал я. Он продолжал опять несколько минут свою судорожную и задумчивую ходьбу. Между тем не было выведено ни одной лошади. Вскоре слышался топот по звонкой ледяной коре улицы, и со стороны Сарептского переулка на больших рысях явился эскадрон или взвод, не знаю, того же полка, стоявший где-то в других казармах, чуть не в Семеновских, он занял место на левом фланге. В то же время выехали А. Ф. Орлов, его адъютант Бахметев и несколько офицеров. Там-сям усатый кирасир, выведя свою лошадь, ставил ее в принадлежащий ряд и, застегнув за лuku трензель⁶, уходил.

* Повеление быть готовым было получено в полку гораздо прежде. Мы видели, что государь отдал его уже сначала, следовательно, полк мог быть готов. Но один из офицеров, как узнали впоследствии (князь Одоевский⁵), бежая по конюшням, объявлял, что отменено, что то была фальшивая тревога.

«Куда ты?» — «Забыл рукавицы, ваше благородие», — отвечал он, или что-нибудь подобное. Время бежало. Не было и 30—40 лошадей, выведенных теперь таким образом. Взглянув на свои часы, на линию, где должно было бы быть полку, и на А. Ф. Орлова, граф горячо сказал ему: «Что ж ваш полк? Я ждал 23 минуты и не жду более! Дайте мне лошадей!» Подъехал к графу, Бахметев предложил ему свою. Граф тотчас сел на нее. «Вы не имеете лошади, — спросил он меня, — все равно, идите пешком возле». С этими словами мы направились к площади. У выезда из Конногвардейской улицы, близ манежа, А. Ф. Орлов, нагнав графа, просил его обождать одну минуту, уверяя, что полк тотчас [будет] готов, и напоминая, что ему представлена была честь сопровождать графа. «Нет, нет, — отвечал он ему запальчиво, — нет, je ne veux pas de votre ...t... régiment!» Да я и не хочу, чтоб этот день был запятнан кровью... je finirais seul cette affaire. C'est vrai!...»**.

Мы двинулись вперед и тотчас врезались в толпу, которую видели уже с противоположной стороны площади. Раздвигая людей лошадью и криком, чтоб посторонились, граф медленно подвигался по тесной, с трудом очищавшейся дорожке. Так добрались мы до толпы бунтовщиков, перед которою в 10—12 шагах граф остановился. Я стал с правой стороны его лошади, народ отшатывался, отступая за его лошадь, и, столпясь тесно кругом, оставил место спереди свободным. Милорадович не знал, что это место было его Голгофою. <...>

Кроме военного, никто не имеет понятия о том нравственном могущественном механизме, которым начальник бывалый, знающий глубоко натуру солдата и человека, обращает такую неурядицу, такую бурю в тишину, умеет буйство перерождать в покорность и кротость. Помолчав несколько с глубоким умилением, сильно говоря лишь своим именем, увешанною отличиями грудью, выражением лица, глазами, граф уже значительно уменьшил шум. «Смирно!» — сказал он. И только это одно слово было повторяемо им четыре раза, пять раз, с изменением взгляда, голоса, и при каждом разе то там, то тут стихало. Люди как будто против воли оправлялись, и водворялась некоторая стройность. <...>

Граф, как известно, говорил с солдатами превосходно. Я не могу передать ни интонации и выразительности его голоса, ни оживления глаз, ни движений духа, ни жеста и повременных остановок, а в этом именно главная сила и деятельность. Но вот его слова:

«Солдаты! Солдаты!.. Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом, Фершампенуазом, Бриеном (было насчитано 40—50 имен)?.. Кто из вас был со мною, говорите?! Кто из вас хоть слышал об этих сражениях и обо мне? Говорите, скажите! Никто? Никто не был, никто не слышал?!» Он торжественно снял шляпу, медленно осенил себя крестным знаменем, приподнялся гордо на стременах и, озирая толпу на все стороны, с прекрасным движе-

* «Не хочу вашего г... полка!» (фр.). — Сост.

** «Я один покончу с этим делом! Непременно!» (фр.). — Сост.

нием руки вверх произнес величественно и громогласно: «Слава богу! здесь нет ни одного русского солдата!» (Долгое молчание) «Офицеры! из вас уже, верно, был кто-нибудь со мною! Офицеры! вы все это знаете?.. Никто?» Он повторил то же, еще торжественнее: «Бог мой! благодарю тебя!.. Здесь нет ни одного русского офицера!.. Если б тут был хоть один офицер, хоть один солдат, то вы знали бы, кто Милорадович!» Он вынул шпагу и, держа ее за конец клинка эфесом к шайке, продолжал с возрастающим одушевлением: «Вы знали бы все, что эту шпагу подарил мне цесаревич великий князь Константин Павлович, вы знали бы все, что на этой шпаге написано!.. Читайте за мною (он будто указывал буквы глазами и медленно громко произносил): «Дру-гу мо-е-му Ми-ло-ра-до-ви-чу»... Другу!.. А?.. слышите ли? другу!.. Вы знали бы все, что Милорадович не может быть изменником своему другу и брату царя! Не может! Вы знали бы это, как знает о том весь свет!!» (Молчание святое, мертвое.) Он медленно вложил в ножны шпагу. «Да! знает весь свет, но вы о том не знаете... Почему?.. Потому что нет тут ни одного офицера, ни одного солдата! Нет, тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы, осрамившие русский мундир, военную честь, название солдата!.. Вы — пятно России! вы — преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед богом! Что вы затеяли? что сделали?» Возраставшего оживления его слов, возвышения его голоса, огня движений, жестов передать невозможно. Они лились, как электрический ток. Подняв высоко руки, он уже не говорил, а гремел, владычествовал, повелевал толпою... Он продолжал, усиливая свое на них действие: «О жизни и говорить нечего, но там... там, слышите ли? у бога!.. Чтоб найти после смерти помилование, вы должны сейчас идти, бежать к царю, упасть к его ногам!! Слышите ли? Все за мною!..за мной!» Он взмахнул руками.

Это движение было невыразимо, бесподобно! Толпа солдат шатнулась, она непременно побежала бы за ним, можно было поклясться в том. <...> Но вдруг руки его упали, будто свинцовые, туловище перегнулось, шляпа свалилась с головы, а испуганная лошадь вырвалась из-под ног, которые тяжело брякнули о землю. Я едва успел только подставить грудь и на нее, укрепясь ногами, сколько имел сил, принял его плечи и голову, которые раздробились бы неминуемо в этом падении. Толпа отхлынула волною. Я остался с ним один... Легонькое облачко сизого дыма волновалось, расходясь в воздухе на том самом месте, где он стоял на лошади. Выстрела не было слышно...

Крепко охватив раненого, прислонив его к склоненному колену, я глядел ему в лицо, повторяя: «Граф, граф!» Он открыл глаза, пристально всмотрелся в меня и, схватив сильно за руку, сказал прерывисто и глухо: «Je meurs! c'est fini...mais...c'est bien... j'ai fait mon devoir»*. Таковы были его первые слова и чувства.

Я не знал, что делать, звал, манил рукою людей из толпы, требовал... Ни один человек не подходил... С силою отчаяния

* «Я умираю!.. это конец... но... это хорошо... я исполнил мой долг» (фр.) — Сост.

я схватил тогда графа под плечи и, пятась, повлек его буквально ногами по земле к стороне манежа, где место было свободнее. Тут, наткнувшись на группу людей, я положил его на минуту прямо на снег и, воспламененный, уже остервенелый, криком, ругательством, кулаками, пинками, побоями принудил четырех человек помочь мне поднять его.

⟨...⟩ Не было возможности и помышлять нести его в дом, который он занимал (в Большой Морской военного генерал-губернатора), переходить через всю площадь и смежные улицы было бы несбыточно. Мы находились у манежа. Конногвардейская улица была в нескольких шагах... В это время полк был уже весь в строю и, вероятно, давно. Командир и офицеры стояли группой на правом фланге; между полком и казармами, ближе к последним, тянулось медленно наше печальное, поразительное шествие. Никто не отделился, никто не подъехал, чтоб взглянуть на доблестного раненого; однако же никто не мог не знать, что это он!

Я с первой минуты принял намерение отнести его на квартиру А. Ф. Орлова: более удобного ближайшего помещения найти было, конечно, невозможно. Неся его, я пятился задом. Таким образом, осторожно и медленно подвигаясь, я проходил ворота, которыми на известных расстояниях прорезана стена здания и под которыми находятся направо и налево двери конюшни. Подходя к одним из этих ворот, я слышал за собою стук копыт по мостовой: кто-то въезжал. Мы остановились. Перегнув голову через плечо, я ждал. Выезжавший на рыжей лошади был А. Х. Бенкендорф. Зная их дружбу, вспомнив живо недавнее трогательное утреннее их свидание, глубоко взволнованный в чувствах, я без соблюдения строгой дисциплины, но встревоженный до глубины сердца, сказал: «Посмотрите, что сделали с графом!» Щелкнув языком, подобрав трензель и прижав шенкель, не оборотив даже головы, А. Х. прогалопировал мимо ⟨...⟩. Признаюсь, я не понял этого, может быть, высокого военного хладнокровия.

Почти в эту минуту граф слабо дернул меня за аксельбант рукою, перевесившеюся через мое плечо. Я прислонился к нему. Я думал, что это судорога предсмертного страдания. «Куда?» — спросил он меня довольно живо. «На квартиру А. Ф. Орлова, — отвечал я, — до вашего дома нет никакой возможности дойти». — «Не хочу», — возразил он еще живее. Относилось ли это «не хочу» к его дому, или к квартире Орлова, я все-таки продолжал идти по прежнему направлению, да более идти было и некуда. Но едва миновали мы еще ворота, он снова и уж очень сильно дернул меня за аксельбант и сказал с запальчивостью: «Я еще жив, сударь... Исполняйте мое приказание!» — «Что прикажете, граф?» — «Вороти-тесь...сюда... на солдатскую койку».

Мы отступили пройденные десяток шагов к подъезду, который только что миновали. Внизу находятся конюшни; во втором этаже над ними дверь была заперта; должно было по довольно узкой лестнице, с чрезвычайным трудом и с увеличением страданий раненого, нести его в третий этаж. Отделение, в которое мы вошли,

было пусто. Оно состояло из небольшой комнаты с перегородкою и другой, несколько пообширнее, в два окна. Ничто не означало, чтоб здесь постоянно жили. Диван, покосившийся, без боковых подушек, жесткий и изорванный, пять-шесть стульев, довольно простой стол и зеркальце на стене — более ничего, ни малейшего признака хозяйства, ни тени необходимейших принадлежностей домашнего обзаведения. В этих голых стенах, на этой истинно солдатской койке суждено было умереть графу Милорадовичу!..

⟨...⟩ Граф умер в три четверти третьего [пополуночи]. ⟨...⟩

ИЗ ДНЕВНИКА ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

15 (27) декабря, вторник

Я думала, что мы уже достаточно выстрадали и вынесли. Но волею неба нам было суждено иное. Вчерашний день был самый ужасный из всех, когда-либо мною пережитых. И это был день восшествия на престол моего мужа! Только бы мне собраться с мыслями, чтобы записать эти страшные часы!

Воскресенье прошло в приготовлениях, в работе; Николай писал, чтоб вечером отнести свой манифест в [Государственный] совет и провозгласить себя императором. Мы ждали, вздыхали и опять ждали до полуночи, так как Николай так хотел видеть в Совете Михаила. Но когда наступила полночь, он все же решил пойти. Императрица-мать помолилась с нами обоими, благословила его, он пошел. Прошло полчаса; когда он вернулся, я обняла его уже как моего действительного государя. Нас поздравляли; я все время говорила, что нас скорее нужно жалеть; нас уже называли «ваше величество». Мы вдвоем проводили матушку в ее комнаты, причем нам пришлось пройти совсем близко от караула, офицер которого на другой день должен был сыграть такую постыдную роль!¹ Никогда не знаешь, что принесет с собой ближайшее будущее!

Я еще должна здесь записать, как мы днем 13-го отправились к себе домой, как ночью, когда я, оставшись одна, плакала в своем маленьком кабинете, ко мне вошел Николай: стал на колени, молился богу и заклинал меня обещать ему мужественно перенести все, что может еще произойти.

— Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество, и если придется умереть, — умереть с честью.

Я сказала ему:

— Дорогой друг, что за мрачные мысли? но я обещаю тебе. — И я тоже опустилась на колени и молила небо даровать мне силу, и около бюста моей покойной матери я думала о ней и о возлюбленном императоре Александре.

Мы легли очень поздно, и Николай встал очень рано, чтобы принять всех генералов и полковых командиров, которые собрались

к нему и спешили к себе по разным казармам приводить солдат к присяге. Когда я была готова, я пошла с Николаем к матушке. Мы пробыли у матушки некоторое время. Она была растрогана и с волнением ожидала известия о том, как прошла у солдат присяга. (...) Я пошла к графине Ливен и, вернувшись от нее, встретила в приемной Орлова, который в первый раз поцеловал мне руку как императрице и сказал мне, что у него все закончилось благополучно. Николай сказал мне: «В артиллерии — некоторые колебания». Преображенцы, напротив, прогнали одного молодого поручика, который спрашивал их, не думают ли они играть в присягу: один день Константину, другой день Николаю².

Я забыла сказать, что 12-го декабря из Таганрога прибыл Александр Фредерикс³ с важными бумагами от Дибича, которыми устанавливалось, что против императора и всей семьи существовал целый заговор. Николай сообщил это мне, но я должна была хранить это в тайне.

Михаил приехал в 12 часов и тотчас же поспешил к артиллерии. Я сидела одна, когда ко мне вошел Николай со словами: «Мне необходимо выйти». Голос его не предвещал ничего хорошего; я знала, что он не намеревался выходить; я почувствовала сильное волнение, но затаила его в себе и принялась за свой туалет, так как в два часа должен был состояться большой выход и молебен. Вдруг отворилась дверь, и в кабинет вошла императрица-мать с крайне расстроенным лицом; она сказала:

— Дорогая, все идет не так, как должно было идти; дело плохо, беспорядки, бунт!

Я, не произнеся ни слова, мертвенно бледная, окаменелая, набросила платье и с императрицей-матерью — к ней. (...) Из маленького кабинета императрицы мы увидели, что вся площадь до самого Сената заполнена людьми. Государь был во главе Преображенского полка, вскоре к нему приблизилась конная гвардия; все же нам ничего не было известно, — говорили только, что Московский полк возмутился.

Наконец пришел Лоло Ушаков⁴; он первый определенно сообщил нам, что собственно произошло. В казармах Московского полка возмутились две роты, они кричали: «Ура, Константин!» Генерал Фредерикс бросился к ним, но тут капитан по фамилии Щепин поверг его ударом сабли на землю; он прямо плавал в крови и был тотчас же унесен. То же постигло и бригадного командира Шеншина, который тоже был ранен. Так как более никто их не задерживал, они отправились прямо к Сенату, где выстроились в каре. (...) Государь велел собрать к нему все гвардейские полки; он хотел попытаться, насколько возможно, призвать мятежников к исполнению их долга мерами кротости и терпения. Милорадович, более чем кто-либо другой выведенный из себя этим беспорядком, хотел попробовать говорить с ними; в эту минуту его настигла пуля, также он получил удар штыком; от этих ран он тою же ночью скончался.

Каково же было мое состояние и состояние императрицы — ее как матери, мое — как жены моего бедного нового государя! Ведь мы видели вдалеке все эти передвижения, знали, что там стрельба, что драгоценнейшая жизнь в опасности. Мы были как бы в агонии. У меня не хватало сил владеть собою. <...>

Каждую минуту мы посылали новых гонцов, но все они оставались там и не возвращались. <...>

Государь велел призвать митрополита; тот приблизился к мятежникам с крестом и сказал им, что он может засвидетельствовать перед богом, что воля покойного государя и желание самого великого князя Константина состояли в том, чтобы царствовал Николай. Напрасно! — Ответ был:

— Ты из партии Николая, мы тебе не верим; другое дело, если бы это нам сказал Михаил, друг Константина.

Над головой митрополита засверкали сабли, и он должен был вернуться. Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, кричала. ..

Наконец нам сказали, что показалась артиллерия. При первом залпе я упала в маленьком кабинете на колени (Саша⁵ был со мною). Ах, как я молилась тогда, — так я еще никогда не молилась! Я видела пушечный огонь: было лишь 4 или 5 выстрелов; в течение нескольких минут мы не имели известий. Наконец наш посланный влетел к нам задыхаясь и объявил, что враги рассеялись и обратились в бегство. При первом выстреле они как бы замерли, когда же после 2-го и 3-го залпов рассеялись облака дыма, оказалось, что многие из них стали на колени. Все бросились в бегство, как трусы, некоторые же были убиты. Ах, русская кровь была пролита русскими же! Государь будто бы приближается ко дворцу. Мы видели из окна кучку людей, среди которых, вероятно, находился и он на лошади. Вскоре он въехал в дворцовый двор и взшел по маленькой лестнице — мы бросились ему навстречу. О, господи, когда я услышала, как он внизу отдавал распоряжения, при звуке его голоса сердце мое забилось! Почувствовав себя в его объятиях, я заплакала, впервые за этот день. Я увидела в нем как бы совсем нового человека. Он вкратце рассказал обо всем происшедшем; он первый сказал нам, что Милорадович смертельно ранен, может быть, даже уже умер. Это было ужасно! <...>

Мы все же должны были идти в церковь, хотя вместо двух часов было уже 7, и все большое светское общество ожидало нас там в течение пяти часов. Я, как была, в утреннем платье, прошла твердым шагом через передние комнаты; огромная толпа расступилась, чтоб дать дорогу мне, спасенной императрице. Я обняла Елену⁶, которая еще ничего не знала о происшедшем; одевая на себя креповое белоснежное русское платье, я рассказывала, плакала, все наспех и торопясь. Вскоре пришел и Михаил. Он собрал остальную верную часть Московского полка, убедил их принести присягу и привел их к своему брату. Это, должно быть, был прекрасный момент! Как я пожалела в тот день, что я не

мужчина. Вернулся и Николай; в сущности говоря, он не выглядел усталым, напротив, он выглядел особенно благородным, лицо его как-то светилось, на нем лежал отпечаток смирения, но вместе с тем и сознания собственного достоинства. Об руку с ним вошла я, наконец, в зал, полный празднично одетых людей. Все взволнованно склонились при виде молодого государя, подвергшего свою жизнь такой опасности. <...> Государь высказал благодарность караулу; мы вошли в церковь. Митрополит вышел нам навстречу с распятием и святой водой; пройдя на свое место, мы оба стали на колени и в таком положении молились богу в течение всей недолгой службы. Саша тоже был в церкви, впервые с орденской повязкой. Таким же образом мы возвратились к себе. На глазах Николая стояли слезы.

Боже! что за день! Каким памятным он останется на всю жизнь! Я была совсем без сил, не могла есть, не могла спать; лишь совсем поздно, после того как Николай успокоил меня, сказав, что все тихо, я легла и спала, окруженная детьми, которые тоже провели эту ночь как бы на бивуаках. Три раза в течение ночи Николай приходил ко мне сообщить, что приводят одного арестованного за другим и что теперь открывается, что все это — тот самый заговор, о котором нам писал Дибич. В 3 часа Милорадович скончался. <...> Мне день 14-го представляется днем промысла божия, так как эта открытая вспышка даст возможность скорее и вернее установить как участников, так и самые размеры заговора.

ПИСЬМО Н. М. КАРАМЗИНА К И. И. ДМИТРИЕВУ.

С.-Петербург, 19 дек[абря] 1825 г.

Любезный друг!

Мы здоровы после здешней тревоги 14 декабря. Я был во дворце с дочерьми, выходил на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с «Полярною звездою»¹ — Бестужевым, Рылеевым и достойными их клеветами. Милая жена моя нездоровая прискакала к нам во дворец около семи часов вечера. Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятежа. Ни крест, ни митрополит не подействовали. Как скоро грянула первая пушка, императрица Александра Федоровна упала на колени и подняла руки к небу. Она несколько раз от души говорила: «Для чего я женщина в эту минуту!» Добродетельная императрица Мария повторяла: «Что скажет Европа!» Я случился подле них; чувствовал живо, но сам дивился спокойствию моей

души странной: опасность под носом уже для меня не опасность, а рок, и не смущает сердце,— смотришь ей прямо в глаза с какою-то тишиною. В большой зале дворца толпа знати час от часу редела; однако ж все было тихо и пристойно. Молодые женщины не изъявляли трусости. В общем движении, в стороне, неподвижно сидели три магната: князь Лопухин, граф Аракчеев и князь А. Б. Куракин², как три монумента! В седьмом часу пели молебен; в осьмом стали все разъезжаться. Войско ночевало среди огней, вокруг дворца. В полночь я с тремя сыновьями ходил уже по тихим улицам, но в 11 часов утра, 15 декабря, видел еще толпы черни на Невс[ком] проспекте. Скоро все успокоилось, и войско отпустили в казармы. Теперь ждем вестей от вас: надеюсь, хороших. Напиши слова два. Жалею о Н. Е. Кашкине³: преступник К. Оболенский ему родной племянник, если не ошибаюсь⁴. Лавали в отчаянии за их зятя, Трубецкого. Катерина Фед[оровна] Муравьева⁵ раздирает сердце своею тоскою. Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ними не так много! Солдаты были только жертвою обмана. Иногда прекрасный день начинается бурей: да будет так и в новом царствовании! Константин прославился навек великодушным отречением: да будет славен Николай I между венценосцами, благотворителями России! В моих глазах он перекрестился и подписал манифест⁶ ввечеру 13 дек[абря], не без предчувствия, чему надлежало случиться. Этот манифест сочинен им самим, а написан для печати Сперанским (равно как и второй о кове злодейском⁷). Я только зритель, но устал душою: каково же государю? Он умен, тверд, исполнен добрых намерений: призываем на него благословение божие. Мать, супруга, брат умиляют меня своими чувствами.

Мои писали к любезному князю Петру Андреевичу⁸. Скажи ему (если увидишь его), что я целую его нежно и буду писать после. Будь здоров, милый друг! Авось скоро возвращусь к своей музе-старухе!

Твой Н. Карамзин

И. Руликовский

ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА (из воспоминаний)

Приступая к описанию восстания Черниговского полка для сведения потомства, я буду точно и старательно передавать то, чего частично был непосредственным очевидцем и свидетелем. Однако буду руководствоваться только воспоминаниями, так как все мои заметки, какие тридцать лет назад писал во время восстания, пропали.

Черниговский пехотный полк получил свое название от губернского города Чернигова, расположенного за Днпром, хотя он был составлен не из одних черниговцев, а в его составе были люди и из иных российских губерний. По рассказу одного из офицеров этого полка, Черниговский полк, основанный Петром Великим, под его личным начальством отличился мужеством и отвагой и получил много знаков отличия и благодарственных рескриптов от этого монарха, героя своего времени и первого основателя могущества и славы Российского государства¹. Общество офицеров как бы по праву наследования этой традиции гордилось мужеством и заслугами своих героических предшественников. Считая себя первой после старой царской гвардии воинской частью в государстве, объединенные одной общей мыслью, офицеры воспитывали и развивали и самих себя, и простых рядовых солдат в началах хорошего обращения и воинской чести. <...>

Полковник Гамков, шеф и командир Черниговского полка², [занимал] квартиру в Василькове. Его любили и офицеры, и солдаты за хорошее обращение и непрерывную работу. Среди своих подчиненных он сумел пробудить к себе любовь и полное доверие, привил им дух корпоративности и чувства чести, а затем укрепил единение и единомыслие офицеров, чем, собственно, и выделялся Черниговский полк среди других и почему после гвардии считался первым.

Однако его популярность не очень нравилась высшим военным властям, и он вскоре должен был подать в отставку. Произведенный в генералы, он получил назначение гражданским губернатором в Екатеринославскую губернию. Когда он должен был расставаться со своими товарищами по оружию, офицеры полка в знак благодарности и уважения устроили ему в складчину прощальный обед и на память подарили серебряный кубок с именами и фамилиями всех офицеров, бывших в полку. К участию в этом не был допущен один только майор Трухин, командир первого батальона, который не имел счастья приобрести ни уважения, ни внимания своих товарищей.

На место уволенного полковника Гамкова высшие военные власти прислали командиром полка полковника Гебеля³, человека деятельного и хорошего служаку. Хотя он нашел после своего предшественника все в прекрасном порядке, но не мог понять того настроения, которое одушевляло все офицерское общество, в котором деятельными членами были капитаны, командиры рот. Его суровое обращение с рядовыми солдатами вызывало против него общее недовольство и вместе с тем увеличивало привязанность к ротным командирам, которые руководили своими подчиненными путем чести. Это особенно влияло на нравственность солдат и усиливало в них чувство человеческого достоинства.

Офицеры ничем не задевали своего нового полковника, но и не имели к нему настоящего уважения. Они заметили в нем

недостатки его воспитания и старые повадки, какие проявил он в своем обращении с подчиненными.

[Под]полковник Сергей Апостол-Муравьев, командир второго батальона полка, часто менял свою войсковую квартиру: сначала квартировал в местечке Фастове, потом в селе Марьяновке, наконец избрал себе квартиру в селе Трилесах как наиболее удобную для своего батальона, на расстоянии 35 верст от главной полковой квартиры в Василькове⁴.

Апостол-Муравьев был сын дипломата, посла в Константинополе, Мадриде, Лондоне⁵. Я познакомился с ним лично во время формирования милиции в Киевщине⁶, когда его как владельца родового имени в Радомысльском повете жители Васильковского повета пригласили начальником милиции, сформированной в Васильковском повете. Сергей Апостол-Муравьев получил блестящее домашнее воспитание и образование; он имел красивую наружность, черты лица обнаруживали величавость вместе с кротостью; при этом он был красноречивый, общительный, человечный, доступный и по мере возможности оказывал помощь и содействие своим воинским товарищам, так и сторонним, которых судьба ставила в ряды просителей. Вследствие этого он приобрел общую приязнь у близких и далеких и сделался действительно той особой, которая оживляла дух воинской чести, свойственной всему полку. К тому же он был капитаном старой гвардии, служа в Семеновском полку, который во время Венского конгресса поднял восстание⁷; к этому восстанию были непричастны ни офицеры, ни командиры, а только рядовые солдаты. Несмотря на это, Апостола-Муравьева вместе с другими офицерами перевели в армейские полки и отдали под надзор военной полиции.

Между тем после съезда полковника Гамкова, несмотря на то что место его занял Гебель (все не любили его и Трухина, который служебной взыскательностью и грубым обращением с рядовыми вызвал ненависть как этих последних, так и офицеров не только к себе, но и к командиру полка), товарищеское единение полковых офицеров вместе с привязанностью рядовых солдат к ротным командирам, а особенно к [под]полковнику Муравьеву, все росло и укреплялось. Это единение офицеров, которое явилось результатом общих причин и событий, в то время как в других полках нельзя было наблюдать ничего подобного, держало и воспитывало рядового солдата в военной дисциплине, которая создавалась прежде всего хорошим обращением. Полк отличался прекрасным порядком, дисциплиной и послушанием и на смотрах всегда получал похвалы от высшего командования, а это еще больше привязывало рядовых к их командирам.〈...〉

Хотя 24 декабря 1825 года обычно считают днем начала восстания Черниговского полка, но, собственно говоря, возникло оно не в этот день, а в ночь с 28-го на 29-е того же года и месяца

на квартире второго батальона, состоявшего под командой подполковника Апостола-Муравьева и расположенного в селе Трилесах, принадлежащем к белоцерковским владениям, в пределах Васильковского повета. <...>

Полковник [Гебель] на день рождества и полкового праздника пригласил на обед и на бал офицеров, находившихся в Василькове, и гражданских чиновников с их семьями. Когда же обед, уже при зажженных свечах, закончился и все общество начало забавы и танцы, вошел жандармский капитан и вызвал полковника в отдельную комнату.

Перепуганные гости хотели немедленно разойтись, но в сенях встретили двух жандармов с обнаженными палашами, которые не выпускали никого из дома. Это еще более взволновало всех. Полковник Гебель и капитан жандармерии после короткой беседы быстро вышли из уединения, и полковник, не найдя своей шапки, схватил чужую, затем сели на почтовые санки и поехали. Тогда жандармская стража была снята, и все бальное общество разбежалось.

Полковник и капитан поехали прямо на квартиру Муравьева и забрали все его бумаги, какие могли найти. Во время этого дела в квартире Муравьева спал укрытый плащом молодой подпоручик Бестужев, офицер Ольвиопольского полка⁸, штаб которого квартировал в местечке Ржищеве. Жандармский капитан, имея поручение взять одного лишь Муравьева, оставил Бестужева, который спал, а быть может, делал вид, что спит. Бестужев, чтобы видеться с Муравьевым, тотчас же поспешил из Василькова.

Полковник, опасаясь ответственности за то, что разрешил Муравьеву выехать за пределы расположения полка, вернувшись на свою квартиру, тотчас же вместе с капитаном и жандармами поехал на почтовых в Житомир вслед за Муравьевым с намерением или застать там Муравьева, или оправдаться перед корпусным командиром (генералом) за разрешение Муравьеву поехать в Житомир. Между тем, как это со временем выяснилось, поездка Муравьева в Житомир была вызвана следующими обстоятельствами: осведомившись при содействии своих тайных связей об аресте Пестеля в Ильинцах, Тизенгаузена в Ржищеве, Повало-Швейковского в Брусилове⁹, полковых командиров и многих других, которых везли через Васильков, он, ожидая и для себя той же участи, поспешил выехать из Василькова под предлогом желанья лично поздравить с праздником рождества Христова корпусного генерала, что и исполнил в Житомире.

Но не трата времени, он в тот же день должен был уведомить генерала, командующего восьмой дивизией, о поднятии восстания, а сам на нанятых лошадях поехал в Любар, чтобы уговорить своего двоюродного брата, генерала, командующего кавалерийской дивизией, восстать в день наступающего нового года¹⁰. Уладив эти дела, поспешил быстро на свою батальонную квартиру в селе Трилесах, чтобы там поднять знамя восстания.

Когда он прибыл в Трилеса, то застал в своей квартире отставного полковника Муравьева, своего родного старшего брата, и подпоручика Бестужева¹¹, который, как это выше сказано, примчался из Василькова в батальонную квартиру, где надеялся застать Муравьева по возвращении из Житомира.

Бестужев, потомок старинного русского рода, молодой человек около двадцати двух [лет], получил дома блестящее воспитание и к тому же превосходное образование: он был очень обходительный, имел приятную и милую внешность. Смелый и красноречивый, он был, без сомнения, деятельным членом тайного общества российских революционеров, которые имели широкие намерения.

Опытный и неутомимый в революционной пропаганде, он заводил обширные знакомства с виднейшими жителями Киевской, Волынской и Подольской губерний, чему способствовало пребывание его полка в местечке Ржищеве Киевской губернии и повета, на правом берегу Днепра. Отсюда он часто ездил по различным местностям края. Когда он находился в Коростышеве у помещика Густава Олизара¹² и после вечернего визита возвращался на отдых на квартиру в местечко, он заметил приближающихся жандармов, которые не нашли его в полку и направились сюда, чтобы задержать его. Однако Бестужев, хотя и был уже полураздет на ночь, схватил плащ и без шапки бежал из квартиры, пользуясь темнотой ночи, нанял еврея и поспешил, как я уже упоминал ранее, в Васильков, а затем в Трилеса, где находилась квартира Муравьева.

После этого рассказа о приключениях Бестужева возвращаюсь к прерванному повествованию.

Полковник Гебель с жандармами не нашел Муравьева в Житомире и, полагая навверное найти его в батальонной квартире в Трилесах, нанял фурманов¹³ и вместе с жандармами поспешил в Трилеса, и не ошибся в своем предположении.

Поздно ночью, когда Муравьев вместе со своим братом, отставным подполковником, и Бестужевым спокойно спали, в помещение вошел полковник с жандармами и сообщил Муравьеву о цели своего приезда. Муравьев спокойно принял это известие и сказал, что он подчиняется приказу и готов ехать, но просил только разрешения выпить перед отъездом чаю.

Так как приготовление чая заняло некоторое время, дали знать офицерам, квартировавшим в этом же селе. Разбуженные поручики Щепила и Кузьмин прибежали вооруженными на помощь Муравьеву, полковника Гебеля изранили и искололи штыками, а жандармского капитана и жандарма арестовали¹⁴.

Пока они были этим заняты, а барабаны били тревогу для сбора вооруженной силы, полковник Гебель, придя в себя после полученных ран, выскочил из квартиры и приказал отвезти его в дом эконома, который жил довольно далеко от помещения Муравьева. Эконом оказался расторопным: он спрятал полковника в погребе, пока мог приготовить другие санки, а возницу, который привез полковника, тотчас же отослал со двора, чтобы не было

никаких признаков, что полковник тут спрятан, и из осторожности, чтобы в случае поисков спасти ему жизнь. Он не ошибся в своих предположениях.

Офицеры, увидев, что полковник скрылся от них, побежали к дому эконома, чтобы убить полковника, обыскали весь дом и, не найдя того, кого так усердно искали, ушли ни с чем. Эконом же тотчас проселочными дорогами направил полковника в квартиру гренадерской роты, состоявшей под командой капитана Козлова и расположенной в селе Великой Снетынке, что принадлежало к бискупским владениям¹⁵ Фастова. <...>

После провозглашения восстания, возникшего в связи с поранением полковника, Муравьев, по-видимому, еще не зная, что главная революция в Петербурге уже усмирена¹⁶, утром 30 декабря выступил с ротой своего батальона из Трилесов, прошел Королевку, Кишинцы, Поляниченцы, Ковалевку и Устимовку, села на двух берегах речки Каменки, принадлежащие к белоцерковским поместьям¹⁷ и почти объединенные между собой. Взяв там все роты своего батальона, он спешно двинулся далее и, миновав села Срединную Слободу, Марьяновку, Мытницу, занял Васильков. <...>

В Василькове повстанцы поймали ненавистного им майора Трухина, сорвали с него эполеты, сильно побили и, приставив к груди пистолет, заставили его как заместителя раненого полковника подписать приказ, чтобы все роты полка в походном снаряжении собрались в Мотовиловке 31 декабря. Этот приказ тотчас же полковой почтой был разослан по ротам. <...>

Обстоятельства фатально тяжело складывались для обоих братьев Муравьевых. Младший брат их, Ипполит Муравьев, офицер царской свиты, был послан курьером с депешами из Петербурга в Кишинев¹⁸ и проезжал в то время, когда брат занял Васильков. Как рассказывали, братья очень просили его, чтобы он исправно выполнил свое поручение и ехал в Кишинев, а их оставил на волю судьбы, какая их ожидает. Однако он, молодой человек лет, быть может, двадцати, твердо решил остаться с братьями на скользком пути, чтобы разделить с ними участь.

Он был первый, кто привез известие, что главное восстание в Петербурге уже усмирено. Если бы об этом Муравьев узнал ранее, возможно, что он покорился бы своей судьбе и не принес бы в жертву столько своих сторонников, но теперь было уже поздно. <...>

Утром 31 декабря 1825 года Муравьев собрал все роты, которые объединились с его батальоном, позвал полкового священника по фамилии Кейзер, молодого и неопытного человека, дал ему двести рублей ассигнациями, чтобы он на базаре всенародно совершил службу божию, благословил войско и принял присягу отряда на верность конституции. За эту вину священника потом расстригли по законам православной церкви, лишили его ду-

ховного сана и заставили его служить в войсках в качестве рядового солдата¹⁹. <...>

Пока это происходило утром 31 декабря в Василькове, мы в Мотовиловке проводили бессонную ночь, встревоженные тем, что с нами может произойти. <...>

Под вечер пришел ко мне капитан Козлов. Он по своему росту и величественной фигуре был первый гренадер в роте. Я не знал его раньше, хотя он и жил уже лет пять в Большой Снетынке, в семи верстах от Василькова. Он привел свою роту на сборный пункт согласно известному уже приказу майора Трухина. Не зная, какая судьба его ожидает, Козлов обратился ко мне с просьбой, чтобы я, если ему придется выехать отсюда, не забывал и поддерживал его мать, женщину, отягощенную годами, которую он вынужден был покинуть.

На это я ему ответил, что и сам нахожусь в таком же положении, так как не знаю, что может произойти со мной в эту же ночь; однако если буду жив, то он может быть уверенным, что не оставлю его мать. После короткой беседы он пошел к своей роте, где возле корчмы уже целый день под ружьем стояла рота Ульферта.

Уже наступила ночь, как в восьмом часу послышался топот марширующих рот, которые, миновав дворные ворота, пошли на сборный пункт, где находились рота Ульферта и рота гренадера Козлова. Перед фронтом Муравьев произнес речь. <...>

На новый год, в первый день первого месяца 1826 года, в четвертом часу пополудни, в буфетную пришел солдат с просьбой дать ему какой-либо закуски для Муравьева и квартировавших с ним товарищей. Когда это было дано, солдат заказал для себя горячий завтрак.

С этого времени сношения между дворцом, кухней, кладовой и службами совсем прекращаются. Ежеминутно приходили с требованиями горячей и холодной пищи для офицеров, которые прибывали со своих квартир и уезжали от Муравьева. Службы были заняты под караульную, изба возле пекарни стала местом для арестованных, верховые и конюшенные взяты были для разных разъездов. Не оставили коней и какой-то пани, что приехала ко мне в поисках защиты в тревожное время. Остался для меня только один выезд, которым пользовалась обычно моя жена.

Когда рассвело, начались разведки офицеров и унтер-офицеров во все стороны от Мотовиловки с целью узнать, не приближаются ли полки, какие могли бы к ним присоединиться. Целый день стоял караульный солдат на крыше возле дымовой трубы домика, что на валу.

Вокруг нас все больше прибывало каких-то чужих людей. Я видел в окна, как они, пешие и конные, одетые в крестьянскую одежду, кружились во дворе вблизи дома и конюшен, некоторые заходили и в самый дом со стороны сада и проходили по садовой дорожке от усадьбы ксендза, где жил Муравьев. Однако все это не интересовало повстанцев, и они не обращали никакого

внимания. Между тем, как выяснилось впоследствии, то были жандармы из Киева, десятники киевского исправника Яниковского и васильковского Кузьмина. Скрываясь, один в Боровой, маленьком казенном поселении, а другой в Марьяновке, в десяти верстах от Мотовиловки, они извещали гражданского губернатора²⁰ о передвижениях Муравьева. Кроме того, и главная контора белоцерковской экономии послала на разведки крестьян, которые следили за каждым шагом Муравьева. <...>

В это время пришли незнакомые мне офицеры: Бестужев, Ипполит Муравьев и поручик Щепила: первые два молодые, очень милые в обществе. Пробыв недолго, они вышли и по дороге на квартиру зашли в костел во время новогоднего богослужения и там нашли нескольких офицеров и арендаторов из моего имения: Эразма Букоемского, Цишевского, адвоката Пиотровского, которые были знакомы со многими полковыми офицерами и с самим Муравьевым.

Когда окончилась служба, Муравьев пригласил к себе посесоров²¹ и, как мне передавали, вел с ними долгую беседу про общую с поляками революцию в России, которая уже успешно началась на севере. Во время этой беседы Муравьев ловко хотел узнать, имею ли я в наличности деньги, которые получил из банка на покупку только что приторгованного имения; однако посесоры говорили, что сумма находится у бердичевских банкиров, и он оставил свой замысел занять ее у меня.

Позднее пришли ко мне посесоры Букоемский и Пиотровский, которые решили разделить со мной продолжительное волнение, в котором я находился. Вскоре вошел в залу и Бестужев и довольно долго беседовал со мной и моей женой о знакомствах, какие он приобрел в виднейших семействах трех наших губерний. Он был в прекрасном настроении, полон лучших надежд на успех восстания.

Однако так как в этот день ночью мороз прекратился и настала порядочная оттепель, а от теплого дождя образовались лужи, то моя жена, смотря в окно на эту перемену погоды, сказала Бестужеву: «Если снова настанет мороз, то вы будете иметь, господа, очень скользкую дорогу».

На эти слова Бестужев побледнел, задумался и сказал: «Ах, пани, не может быть более скользкой дороги, чем та, на которой мы стоим! Однако что делать? Иначе быть не может...»

Потом вернулся Бестужев и, входя, у дверей сказал громко: «Ради Христа, не давайте водки! [солдатам]». Я ответил, что не моя в том вина. Тогда он пошел в сени, где застал нескольких солдат, которые, требуя водки, едва не вступили в драку со стражей. Вместо того чтобы укротить их нахальство, он стал говорить выпившим солдатам: «Вы русские солдаты, христиане... Вы обязаны всюду вести себя смиренно и пристойно, быть довольными тем, что вам дают, и ни с кем не заводить!» И хотя это был очень слабый способ успокоить обнаглевших солдат, однако они еще не вышли из дисциплины и послушания своим офицерам — послушались его требований и разошлись.

Было уже под вечер, когда это происходило. Бестужев, оставшись еще на некоторое время, в беседе про распущенность солдат сказал: «Пока еще мы должны это терпеть, но когда будем в походе и несколько из наших будет расстреляно, все успокоится».

В дальнейшей беседе он высказал свои намерения, неприятные для нашего положения беспечности и покоя, и этим очень перепугал присутствовавших. «Если, — пробормотал он, — наши единомышленники, которых мы ожидаем, не соединятся с нами и враждебная сила захочет нас атаковать, то в этом случае мы будем принуждены занять валы в саду и отстреливаться с другого этажа дворца, поставив на балконах пушки!»

Не припомню хорошо, зачем я вторично в этот день должен был пойти к Муравьеву. Солнце уже зашло, и снова стало морозить. Я застал много офицеров, которые молча лежали на соломе. Муравьев и некоторые из них встали, когда я вошел. Беседуя с Муравьевым, я увидел на столе прекрасно украшенные кинжалы. Бестужев упорно играл кинжалом, остальные также имели кинжалы в руках. На столе лежали пистолеты. Этого оружия я не видел поутру, когда был впервые. Все было признаками тревоги и опасений, потому что все разведки вокруг Мотовиловки не дали вестей о приближении полков, имевших связь с повстанцами и думавших соединиться с ними.

Быстро настала темная ночь. Восстановились спокойствие и тишина возле дома. Были лишь слышны издали крики, однако вечерняя заря положила предел всему дневному шуму. <...>

2 января 1826 года. На рассвете Муравьев велел приготовить на кухне горячий завтрак для него, а также жаркого и хлеба в количестве, необходимом для похода. Это было немедленно исполнено. Когда рассвело, на улицах села стали бить в барабаны и трубить сбор. Однако только через два часа роты стали наконец перед домом, где жил Муравьев, и только в десятом часу выступили в поход ускоренным маршем.

Забыли про охрану и часовых, стоявших при арестованных, и вспомнили об этом не скоро, лишь тогда, когда вернулся из поездки гусар поручик Сухотин²², незадолго перед тем переведенный из Черниговского пехотного полка в гусарский. Приехав на рождественские святки в гости к своим бывшим товарищам, он попал на восстание и должен был остаться. Именно он снял часовых, покинул арестованных, а об охране и он забыл.

Когда все успокоилось, унтер-офицер Николаев, один из тех, кто стоял на охране, стал требовать, чтобы ему и другим дали возможность выехать. Я велел дать ему лошадей, и он поехал вместе с остальными. На дорогу мы их накормили и напоили. <...>

<...> Муравьев, дойдя до моей окрестности Зубковой, немного задержался, чтобы отдохнуть. <...> Немного отдохнув и дав солдатам возможность подкрепиться, Муравьев занял на ночлег село Пологи. Отсюда послал к Белой Церкви своего собственного кучера в крестьянской одежде, верхом на коне поручика Щепилы, чтобы узнать, что там делается и стоит ли там егерский полк,

имевший с ним общие намерения. Однако и в этом Муравьеву не посчастливилось... посланца задержали и арестовали²³. <...>

Как часто бывает, одна беда влечет за собой другую, так и здесь Муравьеву как-то фатально не везло. В Пологах была ротная квартира егерского полка, где сапожники шили обувь для солдат. И вот когда капитан этой роты внезапно вышел с полком к месту назначения, то он зачем-то оставил солдата на ротной квартире. Когда же через шпионов стало известно, что Муравьев направляется к Белой Церкви и там сделалась большая тревога, то этот хитрый и смелый солдат пошел к начальнику дивизии, когда тот уже собирался сесть на коня (а егерский полк был уже в походе), и сказал: «Если разрешите, генерал, то я так напугаю Муравьева, что он не осмелится войти в Белую Церковь». Генерал, который без войска не мог задержать Муравьева, будто бы сказал: «Иди, если сделаешь успешно, то получишь хорошую награду». Солдат, когда входил ночью в Пологи, был задержан одним из караулов, которые были расставлены на всех въездах. И когда его привели к Муравьеву и тот спросил, что делается в Белой Церкви, солдат сказал, что «егерский полк выступил в поход, а вместо него корпусный генерал занял квартиры с пехотой и кавалерией; а когда я выходил, пришла и артиллерия». Этим сообщением он изменил все планы Муравьева, который решил теперь вернуться к своей батальонной квартире в Трилесах.

Когда это происходило в Белой Церкви и Пологах, корпусный генерал²⁴, собравши в селе Мохначке Сквирского повета отряд из разных полков пехоты, кавалерии и артиллерии, в тот же вечер вошел в местечко Фастов, а генерал Гейсмар²⁵, как говорят, с таким же сборным отрядом солдат и офицеров занял Трилесь. <...>

Муравьев на основании ложного сообщения увидел, что ему незачем идти к Белой Церкви, так как там будто бы расположился корпусный генерал с новоприбывшим войском, которое должно было выступить против него. Вместе с тем Муравьев не имел надежды, чтобы те полки, которые были с ним в заговоре, могли присоединиться. Потому-то он и решил, как мы знаем, возвратиться назад к своей батальонной квартире в Трилесь неизвестно с какой целью. Может быть, надеялся, что войска, какие были в заговоре, успеют все же с ним соединиться, а быть может, сделал это просто с отчаяния.

Когда Муравьев вошел в село Ковалевку и дал солдатам отдых после похода, то сам с двумя братьями и поручиком Щепилой пошел на завтрак в дом экономии, будучи лично знаком с добрым и приветливым управляющим «ключевым» Пиотровским. Там они были, пока готовили завтрак. Тогда Щепиле первому пришла мысль уничтожить все бумаги и революционную переписку, что и было сделано на дворе перед домом. Таким образом, очень много участников восстания было спасено от гибели²⁶. <...>

Местность, где расположены Ковалевка, Устимовка и Поляниченцы — три больших села, тянется по левому берегу речки Камен-

ки. Напротив Ковалевки — гребля²⁷, а на правом берегу речки, вправо над прудом, небольшой участок леса и большая пасака. Генерал, как передавали, Гейсмар, но фамилию которого с уверенностью назвать не могу, за этим леском на горке поставил пехоту с артиллерией, а под самым лесом спрятал кавалерию и в таком боевом порядке ожидал повстанцев.

Когда повстанцы приблизились к ним на пушечный выстрел, они без всяких парламентских обычаев встретили их пушечным приветом. Ядро с шумом пронеслось над головами повстанцев. «Стреляют», — слышались многочисленные солдатские голоса. «Это нас испытывают», — был ответ. Когда же это не задержало движения повстанцев, загремели один за другим еще два картечных выстрела полуцентром и центром. От них легли на месте Ипполит Муравьев и поручик Щепила, а главный их командир Муравьев был ранен в шею картечью. Вместе с ним двадцать два солдата было убито, восемнадцать ранено: эти взяты на поле сражения, а два тяжелораненых доползли до леса и оттуда по заросшему пруду добрались до села Кишинец и там окончили свою жизнь²⁸. После этих артиллерийских выстрелов весь восставший полк рассыпался, бросая оружие. (...) Гусар поручик Сухотин, который был на коне, имел возможность ускакать с поля битвы, добрался до Сквиры, там снял мундир и переоделся в штатское платье, нанял шляхтича, имевшего лошадей, незаметно миновал Белую Церковь и прибыл на Херсонщину к своему брату, местному жителю. Он имел намерение эмигрировать в Валахию, но, не имея денег, поехал в Кишинев и там ожидал денег, имея паспорт на чужую фамилию. Однако так судила судьба, что брат, посылая деньги, адресовал их Сухотину. Поэтому кишиневская полиция, уведомленная эстафетой о бегстве Сухотина, арестовала его, когда он пришел за деньгами на почту²⁹. (...)

В Ковалевке взяли всех раненых с побоища, чтобы отвезти их в белоцерковский лазарет, но солдаты доставили их в Трилесеы. Унтер-офицеров и солдат положили в просторных сенях заезда. Оба Муравьева с поручиком Кузьминым заняли комнаты для приезжих по одну сторону заезда, остальные офицеры расположились по другую сторону. Тела убитых были сложены перед заездом. У ворот заезда были поставлены две пушки, заряженные картечью, и было сказано заключенным, что если они сделают хотя бы малейшее движение, то будут расстреляны картечью. Вместе с тем и пехота всю ночь окружала этот заезд. Генерал, командовавший отрядом, занял квартиру в доме вблизи заезда. Тогда в нем помещалась таможня.

Так закончился третий день января. Рассказы, собранные о событиях этого дня, как все совершилось одно за другим, я и записал.

4 января 1826 г. поутру гражданский губернатор Ковалев получил эстафетой уведомление из Белой Церкви, что восстание Черниговского полка совершенно подавлено и что главный

руководитель Муравьев взят в плен. Это известие сразу облетело весь Киев.

Тем временем в Трилесах поручик Кузьмин, которого невнимательно осмотрели, имел оружие, спрятанное в голенище. И вот, проведя спокойно ночь вместе с двумя Муравьевыми и предвидя для себя печальную участь, так как был деятельным участником восстания, вынул из голенища пистолет и выстрелил себе в лоб. Его вынесли из хаты и положили рядом с другими, что были убиты накануне.

Когда васильковский исправник прибыл в Трилеса, то военные власти поручили ему похоронить убитых. Похоронили их в одной большой яме в давнем кургане, вблизи сельской околицы и кладбища, при дороге из Трилес на Павлочь, и в напоминание, что тут лежат христиане, поставили крест на их могиле. Со временем приказом Сената было запрещено отдавать почести погибшим повстанцам, но крест этот остался там и позднее. <...>

Корпусный генерал дал доказательство немалой энергии, уничтоживши восстание в самом начале, так как не прошло еще и двух дней, как поручики Кузьмин и Щепила изранили полковника Гебеля, а уже по приказу корпусного командира полки, бывшие в заговоре, должны были внезапно выйти из своих квартир и выступить в разные места, удаляясь от Черниговского полка. Поэтому связь с ними была прервана.

И вот полк, квартировавший в Брусилове, полковник которого Повало-Швейковский был уже под арестом у жандармов, получил приказ идти в Бобруйск. Полк, квартировавший в Ржищеве, полковник которого Тизенгаузен также был взят жандармами под арест, получил приказ выступить к Кременчугу. Артиллерия, стоявшая в Ракитном, была направлена к Одессе. Егерский полк, расположенный в Белой Церкви, получил приказ выступить к Каменец-Подольску. Полк, квартировавший в Павлочи, выступил к Старому Константинову.

Одновременно вооруженные силы, которые должны были обезоружить Черниговский полк, были быстро сосредоточены и состояли из солдат и офицеров разных видов оружия, из различных частей рот, эскадронов кавалерии и артиллерийских частей, которые были лишены единства и находились под командой незнакомых им офицеров, так что все отношения знакомства и доверия солдат к их временным командирам не могли иметь места. Вследствие этой ловко задуманной и успешно выполненной путаницы офицеры-заговорщики, принадлежавшие к полкам, усмирившим восстание, были арестованы жандармами³⁰. Поэтому-то Муравьев напрасно рассылал разъезды, чтобы узнать, не приближаются ли полки, которые должны были с ним соединиться, — так ловко была прервана между ними всякая связь. И Муравьев, потеряв надежду,

бесцельно бродил, ожидая печальной участи, какую предвидел еще в тот вечер, как был в Мотовиловке. <...>

Черниговский полк, после того как его сформировали наново из батальонов других полков, по окончании следствия на месте, в Василькове, расположился на квартирах в Заславе³¹. Оттуда после утверждения приговора над офицерами, принявшими наиболее активное участие в восстании, один батальон этого полка под командой майора Вилька был отправлен в Васильков для исполнения приговора над виновными.

В тот вечер, когда батальон остановился в Мотовиловке, в Васильков привезены были капитан барон Соловьев, поручик Сух [инов] и прапорщик князь Мещерский³². Когда же батальон вошел в Васильков, то после прочтения приговора на васильковском базаре была произведена экзекуция. Осужденных отдали в руки палачу, который сорвал с них офицерские отличия и провел под виселицей, показывая, где должны были их повесить. Только вследствие смягчения сурового приговора им даровали жизнь. После этого военные власти передали их гражданской земской полиции. Рассказывали, что этих несчастных не оставляли мужество и решимость как во время военной, так и тюремной церемонии, когда одевали их в халаты с двумя латками на спине в знак того, что они осуждены на вечные каторжные работы. Они здоровались со знакомыми и прощались в веселом настроении.

Не менее печальное для присутствующих зрелище было в Белой Церкви, когда солдат и разжалованных в солдаты офицеров гнали под розги сквозь строй целого батальона. Однако офицеры, выполнявшие служебные обязанности при этой церемонии, не принуждали солдат до жестокого истязания. Телесное наказание не было таким жестоким, когда его выполняли по принуждению³³. <...>

РАССКАЗ ПОДПОЛКОВНИКА БЕЛОРУССКОГО ГУСАРСКОГО ПОЛКА И. И. ЛЕВЕНШТЕРНА О ПОДАВЛЕНИИ ВОССТАНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА 3 ЯНВАРЯ 1826 г.

<...> Среди сотни других офицеров, которые здесь ежедневно отдаются под стражу¹, был арестован и подполковник Черниговского полка С. И. Муравьев-Апостол. Однако при поддержке офицеров и солдат своего батальона, которые нанесли командиру полка полковнику Гебелю 13 штыковых ран, он ускользнул от жандармов, собрал в Василькове 7 рот полка и поднял открытый бунт. Наш отряд должен был атаковать и захватить бунтовщиков.

Проведя чертовски скверную ночь под дождем, снегом и на морозе, мы еще до наступления утра двинулись в район Брусилова, чтобы отрезать противнику связь с двумя другими полками, которым,

как говорят, нельзя было особенно доверять. Марш был для нас из-за гололедицы довольно тяжелым, поскольку гусары совершенно не имели времени, чтобы остро подковать лошадей. Так мы скользили примерно 40 верст и остановились в деревушке, куда высланные дозорные принесли известие, что вражеские форпосты показались перед городом Фастовом. В 12 часов ночи меня позвали к корпусному командиру, который приказал мне отправиться в Трилесеы, 25 верст в сторону, где я должен был найти 3 эскадрона гусар и верный правительству батальон пехоты. Генерал благосклонно заметил, что уж я-то с моей известной храбростью смогу во главе этой горстки людей изрубить и захватить вражеские толпы. Он дал мне много инструкций, и в том числе сказал, что солдат следует щадить, офицеров же беспощадно рубить. Достав с огромным трудом лошадей, я отправился в путь, сопровождаемый дюжим крестьянином. Ночь была темной, шел снег, и если бы бунтовщики захватили Фастов, то не было ничего проще, чем поймать меня, такая судьба постигла из-за невнимательности многих офицеров и заставила их за это поплатиться жизнью. Уже насчитывают 6 жертв, которые были зарублены солдатами.

⟨...⟩ В три часа утра [3 января 1826 г. — Сост.] я приехал в Трилесеы, где вместо трех эскадронов нашел лишь Шевалье Винцетти с его людьми. Посланный Норвертом разведчик принес нам известие, что противник силой в 1000 человек будет двигаться к Гребенкам — первой станции после Белой Церкви.

Не успело забрезжить утро, как прибыли с отрядом Рот и Гейсмар. Я тотчас же был выслан вперед с четвертым эскадроном, чтобы все время преследовать неприятеля по пятам. Не успел я пройти и 10 верст, как натолкнулся на малочисленный авангард, который сразу же захватил. При этом отличились Адамович и Штейн. Гейсмар пришел мне на помощь с 3 эскадронами и 2 пушками.

Недалеко от деревни Ковалевки мы, наконец, увидели основную массу бунтовщиков, двигавшуюся на нас. Пушки были немедленно сняты с передков, и вскоре после этого над головами повстанцев просвистел снаряд. Мятежники двинулись с примкнутыми штыками на нашу батарею. Однако лейтенант Лазарев выстрелил так быстро и удачно сперва ядрами, а затем картечью в густую толпу, что скоро вся колонна в нерешительности заколебалась.

Неприятельские офицеры все были впереди, и пешие, в том числе и Муравьев.

Тут наш лейб-эскадрон с Одобеско, 6-й Мариупольский с Ангельгардтом перешли в атаку и привели все в беспорядок, так что солдаты бросали ружья и патронташи. Одни просили пощады, другие бежали к расположенному вблизи лесу, но, не успев его достигнуть, были взяты нашим бравым лейб-эскадроном. Бунтовщики-офицеры были также захвачены в этом общем смятении. Лишь один, капитан свиты Муравьев, когда его окружили гусары, сам пустил

себе пулю в голову. Капитан Щепилло был изрублен на куски², после того как Гейсмар проткнул его своей веймарской саблей³.

Результат проведенной операции был настолько блестящим, насколько возможно: 23 убитых, 18 контуженных, 750 пленных, 2 знамени. Из офицеров мы поймали подполковника Муравьева, который был тяжело ранен, его брата во фраке⁴, капитанов Быстрицкого, барона Соловьева, Кузьмина и еще двух офицеров, имена которых выпали у меня из памяти⁵, и затем еще моего большого друга молодости Бестужева из Семеновской гвардии. Уже в первые минуты хаоса я натолкнулся на Муравьева, он сразу же узнал меня и крикнул: «Colonel, vous êtes un brave et homme d'honneur, sauvez mon frère, qui va être massacre!»* Я действительно был счастлив спасти его из рук наших быстрых до крови гусаров.

Таким образом, этот поход закончился к нашей славе. Лейб-эскадрон конвоировал пленных, 6-й Мариупольский — офицеров, наша четвертая — пушки и взятый обоз, второй Мариупольский эскадрон собирал контуженных, мертвых, ружья и т. д. Еще по пути капитан Кузьмин пустил себе пулю в голову из пистолета, который он спрятал. <...>

Единственный офицер, которому удалось ускользнуть, был Сухинов из Александрийского полка, так как он носил гусарскую форму. Однако куда он убежит зимой?.. <...>

* «Полковник, вы храбрый и честный человек, спасите моего брата, иначе его зарубят!» (фр.). — *Сост.*

III. АРЕСТ. СЛЕДСТВИЕ. СУД. КАЗНЬ

АРЕСТ ДЕКАБРИСТОВ

(из дневника флигель-адъютанта Н. Д. Дурново)

15 декабря

Немного спустя после полуночи император приказал мне привести ему поэта Рылеева, живого или мертвого, и сказал, что я отвечаю головой за выполнение этого поручения. Я ответил е. в., что через полчаса я ему представлю вышеупомянутое лицо. Взяв с собой шесть человек из Семеновского полка, я прямо направился на квартиру к Рылееву, в дом Американской компании. Вначале встретились некоторые затруднения при входе, но, когда я объявил, что действую по приказу императора, двери открылись, я приказал провести себя в комнаты поэта, который спал или делал вид, что спал. Во всяком случае, это пробуждение было не из приятных. Он повиновался без возражений и, одевшись, последовал за мной во дворец. Е. в. поблагодарил меня за быстроту и точность, с которой я выполнил его приказание. Он послал меня к начальнику крепости, чтобы тот был готов принять несколько сот «гостей», которые не замедлят к нему явиться. Едва вернувшись во дворец, я должен был отнести приказ военному министру и пойти поклониться праху графа Милорадовича, который только что скончался от раны, полученной им в начале вчерашнего дня, когда он убеждал бунтовщиков. Этот человек, которого вражеская пуля щадила столько раз, погиб жертвой своего усердия. Я приказал отнести его останки из казарм конной гвардии, где он испустил последний вздох, на квартиру на Мойке, где он жил. Генерал-адъютант Голенищев-Кутузов временно назначен военным генерал-губернатором Петербурга. Среди лиц, приведенных во дворец, находится князь Трубецкой, полковник 4-го армейского корпуса, зять графа Лавалю; я не хотел верить своим глазам. А между тем говорят, что он является одним из главарей заговора. Генерал Толь, начальник Главного штаба 1-й армии, прибывший в начале вчерашних событий, всю ночь допрашивал заговорщиков, утром он отбыл в Могилев, чтобы провести присягу в своей армии. Допрос подсудимых поручен императором генералу Левашову. Двое братьев Бестужевых пришли и сдались сами¹. <...>

16 декабря

Не проходит минуты, чтобы не находили и не сажали в тюрьму кого-либо из заговорщиков. Все Бестужевы в наших руках². Старший из них, морской офицер, — очень умный человек. Он был историографом флота, директором адмиралтейского музея и членом всех ученых обществ. Его поймали за Кронштадтом. Князь Одоевский, офицер-конногвардеец, был выдан своим дядей сенатором Дмитрием Ланским, у которого он скрылся. Этот плут Якубович, который так хорошо разыграл искреннее раскаяние, оказался одним из главных руководителей заговора. Мы дали ему «бесплатное» помещение в крепости.

17 декабря

⟨...⟩ К несчастью для чести нашего корпуса, в нем оказалось несколько скомпрометированных офицеров. Самым виновным является Корнилович. Он нарочно приехал из провинции, чтобы участвовать в восстании. Этот дурень Коновницын³ тоже арестован. Первый — это зачинщик, другой — это невинный в полном смысле слова. Их отправили посмотреть, как живет в крепости. ⟨...⟩

19 декабря

⟨...⟩ Пообедав и отдохнув у моей подруги, я пошел во дворец. Туда привели четырех офицеров-конногвардейцев⁴, обвиняемых в причастности к заговору. Один из них — Горожанский — был отпущен за то, что выдал подсудимых⁵. Остальные трое: Анненков, Арцыбашев и Муравьев — были отправлены в Шлиссельбургскую крепость, где они проведут там несколько месяцев. Каково было наше удивление, когда генерал Депрерадович пришел со своим старшим сыном⁶. Он, подобно некоему Бруту, пришел, чтобы предать свой отпрыск в руки правосудия. Маленький негодяй был членом тайного общества. Так как он принес чистосердечное раскаяние и сообщил кое-что новое, то император простил его и даже велел возвратить ему шпагу. Я несколько не сомневаюсь, что сам отец поступит иначе, и думаю, что дорогой сын получит изрядную встряску. Выходя из кабинета, он имел вид мертвеца.

20 декабря

⟨...⟩ Обедал у моей подруги. Чтобы убить время, я оставался до полуночи во дворце. Туда привели толстяка Шереметева, офицера Преображенского полка, также участвовавшего в заговоре. Он был выдан князем Вяземским⁷, офицером конной гвардии. ⟨...⟩

Так как петербургские казематы не в состоянии более вмещать арестованных, то многие из них были отправлены в Шлиссельбург и Кронштадт. ⟨...⟩

26 декабря

Придя во дворец, я узнал, что вчера вечером из Москвы привезли Кологривова⁸, полковника конной гвардии, и Никиту Муравьева, капитана Генерального штаба гвардии. Он играет значительную роль в заговоре. Говорят, что Михаил Орлов и князь Павел Лопухин⁹ должны быть в крепости; это требует подтверждения. <...>

28 декабря

<...> После завтрака из Москвы привезли генерала Михаила Орлова, он арестован. Немного спустя прибыл Депрерадович с князем Павлом Лопухиным, последний при сабле. Он был очень хорошо принят императором, который его даже обнял. Орлов допрашивался в течение более чем двух часов, после чего я получил приказ отвезти его в крепость. Мог ли я когда-либо поверить, что мой прежний товарищ будет отведен мною в обиталище преступления и раскаяния! По дороге он мне сказал лишь несколько слов о том, как несправедливо, что его сажают в крепость и что, вероятно, он останется там недолго. Он меня спросил, чем там кормят. Начальник крепости Сукин заставил нас ждать целых полчаса в гостиной, мимо которой постоянно проходили. Это вызывало нетерпение у моего друга, и он все время спрашивал, скоро ли он получит комнату. Наконец его желания были удовлетворены. Передав его Сукину, я получил расписку и вернулся во дворец.

Около часу пополудни, когда я готовился отдохнуть, герцог Александр Вюртембергский прибыл с подполковником Батенковым. Так как император был уже раздет, он не мог принять своего дядю; он поручил мне отвезти Батенкова к коменданту Башуцкому, чтобы тот посадил его под арест. <...>

4 января

Рано утром приехал за мной фельдъегерь барона Дибича. Я думал уже, что буду отправлен в места отдаленные, но страх был напрасен — дело шло о поручении поехать к князю Левенштейну, баварскому генералу, чтобы пригласить его от имени императора присутствовать, если ему угодно, на параде. <...>

6 января

<...> Генерал Дибич мне сообщил, что император приказал мне и генералу Демидову быть готовыми к отъезду. Наше поручение является очень важным. Говорят, что восстал полк, где находился Муравьев-Апостол. <...>

7 января

⟨...⟩ В полдень мы с генералом Демидовым отправились в крепость, чтобы получить последние указания относительно нашей поездки. Они состоят в следующем: 1. Проезжая через Могилев, нужно переговорить с главнокомандующим о мерах, которые необходимо предпринять. 2. Поехать в Житомир, и в случае если генерал Рот, командующий 3-м корпусом, убит, то Демидов должен принять командование и действовать против заговорщиков, если они еще не усмирены. 3. Отправиться в Киев и постараться открыть там какие-либо тайные общества, арестовать виновных и отослать их в Петербург. Мы представим собою, что называется, высшую полицию. Бенкендорф мне сообщил, что я должен быть в непосредственном сношении с ним. ⟨...⟩

9 января

⟨...⟩ Постоянно встречаются жандармы, везущие заговорщиков в Петербург. ⟨...⟩ Вечером, не помню на какой станции, мы встретили одного отпускного майора, который сообщил нам приятную новость о том, что восстание, поднятое подполковником Муравьевым-Апостолом в семи ротах Черниговского полка, усмирено всего лишь несколькими залпами пушек. ⟨...⟩

ИЗ РАССКАЗОВ Е. А. БЕСТУЖЕВОЙ О БРАТЬЯХ-ДЕКАБРИСТАХ БЕСТУЖЕВЫХ

⟨...⟩ 14-го декабря вечером прибежал первым к сестрам Михаил Александрович. «Сестра, я погиб, я теперь ничто». Стал срывать знаки отличия и бросать. «Дай платье». Надел заячий сюртук и ушел. За ним Ал[ександр] Алек[сандрович] бросился на колени пред матерью, повинился, что он, собственно, погубил братьев, что без него бы они не пропали. Простился и ушел в партикулярном. Наконец Николай Алек[сандрович]. «И ты также замешан». — «Да ведь я по нашим законам уже был виноват, что знал, да не донес, а мог ли я донести на свою кровь. И так я сам вмешался. Дай красок ящик. Да вели принести мне чаю». Я пошла распорядиться, он исчез. Поздно ночью явился полицеймейстер с обыском. Это была махина страшная.

— Вам велено осмотреть братьев, а мать не приказано убивать?

— Нет.

— Так дайте же я сама распоряджусь. — Пошла впереди тихонько, дошла до спальни. Мать лежала за ширмами.

— Маменька, вы спите?

— Нет еще. — Она не все знала, но догадывалась...

— Прислали за братьями, чтоб они шли присягать.

— Вот нашли время, — ворчала мать. Она терпеть не могла полиции.

Полицеймейстер тихо чрез спальню осмотрел углы.

На другой день Б[орецкий], лицо темное, любитель театра, приехал и объявил, что Мих[аил] Ал[ександрович] просит платье, он-де у него и хочет явиться к государю.

Я думала, что надо являться во всем параде. Но дома ходили уже шпионы. Навязала на Татьяну Григорьевну, старуху, аксельбант, мундир, знак, шарф, и она пошла под салопом. Остальное выбросили в окно. Пустошкин [Борецкий] подхватил и понес.

Томительное ожидание. Приезжает полицеймейстер Д[ершау], полковник, с хитрейшим допросом.

— Брат ваш Ал[ександр] Ал[ександрович] у государя, он кается, царь доволен: Бестужев, ты-де подаешь мне случай тебя простить. Так где ваши братья? — я поеду и уведомя и посоветую, чтоб они сами явились.

Я не была так проста, чтоб выдать братьев; посадила полковника, выпроводила его, а между тем тщательно прикрывала боковые комнаты, где чистилось платье и белые брюки для Мишеля.

Тот явился добровольно, но было уже поздно¹, это не вменили в заслугу. <...>

Н. А. Бестужев, подобно братьям, никого не оговорил, но говорил общее и смело и свободно. Он привел три причины бунта:

Не хотели шутить присягой. — У нас 600 000 законов и столько же узаконений. — Рассказал сложную и запутанную тяжбу его семьи, которая решалась и вкривь и вкось. Наконец, объявил, что сам Александр [I] был виною заговора, обещав в Варшаве конституцию всем и ничего не сделав для России².

— Спасибо за откровенность, Бестужев; мне во многом открылись глаза. Ты отделаешься годовым только заключением в тюрьме. Ты расстроен? — Велел дать ему обед.

— Дорого я расплатился за обед царский и шампанское, — говорил потом Н. А. Б[естужев], — ведь нас всех государь повысил разрядом, дал большие чины в росписи³. <...>

Ал[ександр] Ал[ександрович] сидел у Никольских ворот, к парку, по левой руке, крайнее окно. Внизу ходили гвардейские часовые. Действительно, гвардия всегда была развитее и благороднее. Смотришь, бывало, беспокойным взглядом, а уж солдатик, не смотря на меня, бывало, скажет: «Здесь, здесь — давно вас ждут». Подходишь к воротам и взмолишься, бывало: «Отче Никола, сделай какое-нибудь препятствие, чтобы мне было приостановиться у ворот подольше». И действительно, проташится какой-нибудь воз с дровами.

Ал[ександр] Ал[ександрович] был очень неосторожен. Подобно Железной Маске⁴, он написал раз что-то на тарелке и выбросил ее из окна в воду. За это был штрафован.

Бывало, беспрестанно посылает солдата гарнизонного с запиской карандашом: пришли, мол, отчет о деле нашем в пироге и т. п. Других солдат гоняли за эти посылки сквозь строй, а этого не

трогали. Должно быть, это был сыщик, записки предварительно читались, а дозволяли читать в ожидании, что мы что-нибудь проболтаемся. Бывало, накормишь, напоишь солдата, дашь ему денег, а он все сидит в чайнии что-нибудь выведать. Страху наберешься много. — Ступай, голубчик, скажи тому, кто послал тебя, чтоб он больше не посылал, мы уж сами все знаем и устроим.

Так же неосторожен был и Ник[олай] Алек[сандрович]. При свидании нашем в июле 1826 г. он, между прочим, забывая, что здесь комендант, спросил:

— А ведь ты, сестра, я думаю, догадывалась?

Я нашлась. Тут был комендант.

— Нет, не догадывалась, а если бы догадалась, то спрятала бы ваше платье и не пустила бы вас.

Пред прочтением сентенции они были необыкновенно веселы. Шесть месяцев держали взаперти, а тут дозволили свидеться, плакали, целовались. Ник[олай] А[лександрович] шутил много.

— Ну, братья, не отвечаю за других, а мы с вами свидимся, мы разделим вашу участь в Сибири.

— Какую мы колонию там устроим, как заживем, — говорил шутиво Н. А.

Комендант и приставники были очень вежливы при наших свиданиях в комендантском доме. В тюрьму не пускали. Комендант все выходил, шли приготовления к виселице.

Мы разов шесть виделись. Когда сидели они по казематам, то Мих[аил] Александр[ович] — язычник — выучился особому языку, чрез стены. Особые звуки и удары. Долго его не понимали, и он сердился. Наконец стали понимать до того, что если передается что смешное, то в трех-четыре казематах вдруг разом захохочут, и часовые думают, что это сумасшедшие. <...>

Когда Ал[ександр] Алек[сандрович] был в Горном корпусе, ему очень не нравилась эта часть, а главное, необходимость ехать потом в Сибирь. «Мамаша, — говаривал он, — ведь я нашало впоследствии, так меня и без Горного корпуса сошлют в Сибирь».

В Якутске он жил, как Суворов, его прислали туда из Финляндской крепости. Пел на клиросе, читал, все от него были без ума. «Сестра, — писал он, — здесь похоронена умершая тут и сосланная Анна, твоя однофамилица, которой урезан язык, смотри, друг, береги свой язык».

Начал он писать в 1819 г. Связев⁵ принес [его] описание Петергофской фабрики. «Уж не стихами ли, — вскрикнул Греч, — мне обещал Бестужев стихами». <...>

В письмах к братьям он кокетничал, боялся их критики и писал довольно просто. К сестрам писал мало, большею частию общие письма к матери и им. <...>

Ал[ександр] Ал[ександрович] был ранен двумя пулями в грудь, а не в ногу, не в спину и не в пятку, как говорили тогда, сравнивая его с Ахиллесом. Солдаты хотели его нести⁶. <...>

Матильда Бетанкур была влюблена в него. Бетанкур поручал ему дела по инженерной части, вполне полагаясь на благородство и ум Ал[ександра] Ал[ександровича] Бестужева⁷.

Портрет А. А. Б[естужев] прислал с Кавказа. Смирдин⁸ пришел и выпросил для издания. Бурку [на портрете] я накинула. Делали в Лондоне, прислали. Я увидела факсимиле [А. А. Бестужева на портрете]. — «Смотрите, — говорила я Смирдину, — достанется вам». — Между тем разослали объявления о том, что подписчики сочинений получают и портреты. Вышел первый том Ста Русских Литераторов.

Государь с разводу приехал к Мих[аилу] Павл[овичу], был взбешен. Увидал — развернул. Полевой, Свиньин, Зотов, все они в халатах, один Давыдов в мундире изображен, наконец Бестужев. «Его развесили везде, а он нас хотел перевешать!» Жандармы схватились⁹.

Ко мне требование об уничтожении. Я было сопротивляться, что не мне же публику обманывать, нет. Пошли в кладовые вырывать. Представила 900 экз. по простоте. Все они потом проданы III Отд. в Гостиный двор. А надо было мне только 96 отдать. Проста была. Переплетчик не так прост, он украл 70 экз. 1-й части да на ярмарке и продал. Портрета было сделано 2000 экз. <...>

Никол[ай] Ал[ександрович] умер 15 мая 1855 г. Он скорбел о Севастополе. «Севастополь, мой бедный Севастополь»¹⁰. Весть о его гибели пришла после. Весть о смерти Николая пришла к нему в апреле 1855 г., он принял ее холодно; уверял, что у него самого царская болезнь, а он просто сильно простудился, сделалось воспаление, за доктором он не хотел посылать в Кяхту, стал лечить себя диетой и чуть не голодной смертью от истощения умер. <...>

Когда я приехала в 1847 году с сестрами в Селенгинск¹¹, была звездная ночь, чудная, — на чистом большом дворе мы стояли у крылечка обнявшись.

— Знаешь ли, милая Елена, — говорили братья со слезами, — ведь только твое обещание присоединиться к нам нас и поддерживало все это время.

Никол[ай] Алек[сандрович] похудел, был седой, лысый. Но чудное лицо. Я любила глядеть на его портрет молодым.

Жаль, что он весь отдался хронометрам, столярне, точильне, живописи, он был слесарь, золотых дел мастер. — Пиши ты, Никулушка, — говорила я.

— Да рука не поднимается писать, — отвечал он, — ведь знаю, что не напечатают, это ни к чему не поведет, не напечатают.

Я же была уверена, что это рано или поздно пойдет в печать.

О Гусевом [Гусином] озере он написал вместе с доктором-самоучкой в «Вестн[ике] Ест[ественных] Наук»¹². <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРАВИТЕЛЯ ДЕЛ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

А. Д. БОРОВКОВА

⟨...⟩ 27 ноября [1825 г.], вечером в 11-м часу, состоялось определение Сената о всеобщей присяге¹. В ночь посланы указы во все концы обширной империи, а военным министром сообщено главнокомандующим армиями и командирам отдельных корпусов; гвардия же и другие войска, расположенные в столице и в окрестностях, уже присягнули. Рапорт военного министра о присяге по военной части написан мною в его кабинете прямо набело. Не знаю достоверно, для чего это делалось с такою глубокою тайною и так поспешно; может быть, министр боялся, чтобы не последовало перемены, а может, и для того, чтобы первому поздравить. Рапорт отправлен императору Константину в Варшаву в час пополудни, с адъютантом министра ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка Сабуровым².

Константин, пребывая тверд в намерении своем не принимать императорской короны, прислал формальное отречение 12-го декабря вечером, а 14-го назначена была присяга императору Николаю. В то же время получено из Таганрога донесение начальника Главного штаба его величества барона Дибича (впоследствии граф и генерал-фельдмаршал) на имя императора Константина об открытии в войске тайного общества, замышляющего разрушить существующий образ правления. В этом донесении указаны и главные заговорщики, живущие в С.-Петербурге³. Военный министр Татищев, которому его величество 13-го декабря поутру читал это донесение, испрашивал соизволения арестовать указанных злоумышленников.

— Нет! — сказал государь, — этого не делай. Не хочу, чтобы присяге предшествовали аресты. Подумай, какое дурное впечатление сделаем на всех.

— Но, — докладывал министр, — беспокойные заговорщики могут произвести беспорядки.

— Пусть так, — прервал государь, — тогда и аресты никого не удивят, тогда не сочтут их несправедливостью и произволом⁴.

«Видя твердую волю и хладнокровную самоуверенность государя, — сказал мне министр, — я не смел возражать, но сердце мое билось».

Поутру 14-го декабря, в одиннадцатом часу, министр возвратился из дворца по принесении присяги. Я занимался в его кабинете разбором бумаг, приготовленных к докладу.

Лишь только вошел он, взял меня под руку, вывел в комнату за кабинетом, тайственно отдал мне бывшие у него под мундиром бумаги и, сказав: «На! почитай!», вышел и притворил плотно за собою дверь. Развернув торопливо, с первых строк я увидел, в чем дело: в руках моих был рапорт Дибича, о котором мне сказывал министр, и на французском языке донесение государю императору

генерал-адъютанта Чернышева⁵ (впоследствии начальник Главного штаба, князь). Покойный император из Таганрога посылал Чернышева удостовериться в действительности доставленных ему сведений о злодейских замыслах политического общества, распространяющегося особенно во 2-й армии, и принять меры осторожности к предупреждению гибельных последствий. С жадностью принялся я за чтение. Не прошло полчаса, входит министр.

— Подай донесения, — сказал он. — Надобно спрятать их подальше. В Морской* показались солдаты Московского полка с офицерами, кричат: «Ура, Константин!» и бешутся. Пожалуй, увидят у меня часовых и вздумают зайти!

Однако они прошли мимо дома спокойно и направились на Петровскую площадь к памятнику Петра Великого. Министр тотчас отправился во дворец, а я поспешил домой. Воображение представляло мне ужасные картины мятежа, которого настоящую причину я связывал с замыслами тайного общества, открытого в полуденной России. <...>

Просидев целый день дома** в страшных ожиданиях и предчувствиях, я не видал, однако, на улице никакого необыкновенного движения; все было тихо. Наступил вечер, а затем ночь — все безмолвно. Около второго часа я лег в постель и, утомленный душевными волнениями, начал засыпать, как громкий звон колокольчика у моих дверей разбудил меня. Вошедший в спальню мой человек сказал: «Фельдъегерь сейчас с ним же зовет к министру». Хотя и прежде призывы к министру бывали весьма часты, однако поздний час и события того дня заставили меня невольно содрогнуться. Одевшись наскоро, я вышел к фельдъегерю и спросил: «Что нового?»

— Слава богу, — отвечал он, — все кончили! Разогнали бунтовщиков, забрали зачинщиков; министр сейчас приехал из дворца и послал за вами.

Министр был в кабинете один. Задумчиво сидел он, приметно изнеможенный. Перед ним лежали бумаги, на которые он пристально смотрел, но не читал.

— Возьми эти бумаги, — сказал он мне, — напиши на мое имя указ об открытии комитета. Вот и записочка государя о назначении членов и правителя дел. Завтра в 12 часов привези проект. Прощай.

Возвратясь домой, я начал было читать привезенные бумаги — не читается; начал было писать указ — не пишется. Утро ночи мудренее, подумал я, и бросился в постель, проспав до 8 часов.

В назначенный час я представил министру проект высочайшего указа, набросанный, так сказать, сплеча. Вот он:

«Указ военному министру генерал-от-инфантерии Татищеву 1-му. Начальник Главного штаба нашего барон Дибич донес нам 4-го декабря сего года о зловредном обществе, возникшем в войске

* Дом Татищева был на Большой Морской.

** Я жил в Коломне, на набережной Фонтанки.

к нарушению благосостояния и спокойствия государства, высочайшим промыслом попечению нашему вверенного.

Пагубные следствия злоумышления ознаменовались частью в 14-й день сего декабря, но с помощью всевышнего тогда же уничтожены, и некоторые из сообщников взяты по стражу.

Чтобы искоренить возникшее зло при самом начале, признали мы за благо учредить комитет под вашим председательством, назначив членами: его императорское высочество генерал-фельдцейхмейстера⁶, генерал-адъютантов: Голенищева-Кутузова, Бенкендорфа и генерал-майора Орлова.

Комитету повелеваем: 1) открыть немедленно заседания и принять деятельнейшие меры к изысканию соучастников сего губительного общества, внимательно, со всею осторожностью рассмотреть и определить предмет намерений и действий каждого из них ко вреду государственного благосостояния; ибо, руководствуясь примером августейших предков наших, для сердца нашего приятнее десять виновных освободить, нежели одного невинного подвергнуть наказанию; 2) производство сего дела и с кем нужно будет переписку вестъ — по секрету от вашего имени; 3) по приведении сего в надлежащую ясность постановить свое заключение и представить нам как о поступлении с виновными, так и о средствах истребить возникшее злоупотребление; 4) правителем дел сего комитета повелеваем быть состоящему при вас по особым поручениям военному советнику Боровкову, а помощником флигель-адъютанту полковнику Адлербергу и находящемуся при вас 9-го класса Карасевскому⁷.

Возлагая на комитет столь важное поручение, мы ожидаем, что он употребит все усилия точным исполнением воли нашей действовать ко благу и спокойствию государства».

Министр, одоббив совершенно этот проект, приказал, несмотря на мой некрасивый почерк, переписать мне самому, ибо соблюдалась строжайшая тайна, опасались разглашения, которым могли бы воспользоваться злоумышленники. Декабря 16-го, поутру, министр поднес этот указ к высочайшему подписанию. <...> Его величество соизволил только в этом указе прибавить собственноручно карандашом в число членов комитета действительного тайного советника князя А. Н. Голицына и, вычеркнув Орлова, поставил Левашова. Алексей Орлов (впоследствии граф, шеф жандармов) исключен потому, что родной брат его, Михаил Орлов, участвовал в злоумышленном обществе.

Я снова переписал указ, и 17-го декабря поутру он удостоен высочайшего подписания. Впоследствии, когда уже комитетом приведены были в известность состав и цель злоумышленных обществ, назначены еще членами комитета дежурный генерал Главного штаба Потапов, а потом возвратившийся из Таганрога генерал-адъютант Чернышев.

В тот же день 17-го декабря вечером комитет открыл заседания во дворце, в комнате подле залы казачьего пикета. Три заседания рассматривали первоначальные допросы, отобранные от

мятежников, взятых 14-го декабря. Вопросы и ответы эти, как отобранные наскоро, были весьма поверхностны. Сообразив их с донесениями Дибича и Чернышева о существовании тайного политического общества, я составил вопросы с большею определенностью, первоначально для главных деятелей в С.-Петербурге, заключенных в крепость в самый день мятежа.

Чтобы не возить преступников по городу, комитет собирался для допросов по вечерам в Петропавловской крепости, в комнатах, занимаемых комендантом. В первое там заседание, 21 декабря, были спрошены: князь Трубецкой, Рылеев и Якубович. Ответы Трубецкого были уклончивы, Рылеева отрывисты, а Якубовича многословны, но не объясняли дела. Он старался увлечь более красноречием, нежели откровенностью. Так, стоя посреди залы в драгунском мундире, с черною повязкою на лбу, покрывавшею рану, нанесенную ему горцем на Кавказе, он импровизировал довольно длинную речь и в заключение сказал: «Цель наша была благо отечества; нам не удалось — мы пали; но для устранения грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собою, известен в армии храбростью; так пусть меня расстреляют на площади, подле памятника Петра Великого». <...>

Главное упорство большей части допрашиваемых состояло в открытии соумышленников; но когда им показали бывшие в комитете списки членов их общества, когда сказали им, что они почти все уже забраны, тогда стали они чистосердечнее. <...>

Допросы собирались изустно в полном присутствии комитета, собиравшегося каждый вечер; только в рождество Христово и на Новый год не было заседания. О всех вопросах и ответах тотчас после присутствия составлял я ежедневно краткие мемории для государя императора; они подносились его величеству на следующий день поутру, как только он изволит проснуться; эти мемории, написанные наскоро, поздно ночью, после тяжкого утомительного дня, без сомнения, необработанны, но они должны быть чрезвычайно верны, как отражение живых, свежих впечатлений.

К концу января 1826 года взяты и допрошены были не только главные деятели заговора, но и почти все участники, так что разве очень немногие, и то совершенно незначительные, остались еще неизвестными⁸.

В половине февраля я представил комитету очерк о составе и цели тайных политических обществ, извлеченный из показаний главнейших членов и добровольных открытий некоторых, отклонившихся от общества⁹.

Из сведений этих было уже известно, что по окончании Отечественной войны 1812 года и возвращении российских войск из-за границы молодые офицеры, напитавшись либеральными идеями, составили в 1815 и 1816 гг. политические общества в тесных кругах родственников и близких приятелей, не объявив определенной

цели и никаких правил; но учредители, полковники* Александр Муравьев, Пестель, кн. Трубецкой и капитан Никита Муравьев, определили целью ввести в России представительное монархическое правление. Чтобы расширить круг своих действий и привлечь более соучастников, учредители совокупили все свои мелкие отрасли в конце 1817 и в начале 1818 г. в одно общество под названием «Союза благоденствия» или «Зеленой Книги», в которой заключались устав общества, извлеченный из Тугендбунда с некоторыми переменами. Прикрываясь благовидным предлогом благотворения неимущим вдовам и сиротам заслуженных воинов, а также искоренением злоупотреблений в отправлении правосудия, изобличая оные пред правительством, общество в число членов своих вовлекло даже поборников неколебимости престола, отличных поведением и талантами. Весьма немногим соумышленникам была известна сокровенная цель — приготовление всех сословий государства к преобразованию коренных начал правительства, распространяя исподволь просвещение в духе общества. <...>

В 1818 году, когда многие члены общества находились в Москве в отряде гвардейского корпуса, князь Трубецкой написал туда, что государь император намеревается польские губернии, принадлежащие России, присоединить к Царству Польскому. Неуместный патриотизм воспламенил злоумышленников так, что для предупреждения совершиться этому предположению определено было посягнуть на жизнь императора. Ужасное злодейство это оставлено было без действия, ибо они видели себя недовольно сильными для произведения всеобщего переворота¹⁰.

Таким образом, шли дела общества медленно, неопределительно. Дерзкие умы, соскучив притворством, собрали в С.-Петербурге в начале 1820 г. Коренную думу, состоявшую из членов, бывших при учреждении Союза благоденствия. Там присутствовали под председательством графа Федора Толстого и блюстителя князя Долгорукова Федор Глинка, Николай Тургенев, Лунин, Иван Шипов, Сергей, Матвей, Никита Муравьевы и Пестель. По предложению сего последнего принято было стремиться к республиканскому правлению. Тургенев кричал: «Le président sans phrases»**; один только Глинка доказывал, что в России не может существовать никакое правление, кроме монархического.

Разномыслия, возникшие между членами, побудили их назначить в 1821 г. в Москве съезд. Там, в собрании под председательством Тургенева, многие члены, услышав обнаружившиеся сокровенные замыслы разрушить существующий образ правления в отечестве, ему свойственный и веками утвержденный, отказались решительно от общества, которое и положено уничтожить.

Из самого разрушения возродилось новое политическое общество, облекшееся завесою большей таинственности и начавшее сильнее

* Чины показаны те, в коих они состояли, когда были призваны для допросов в комитет.

** «Президент без дальних толков!» (фр.). — Сост.

действовать, приняв более осторожности в выборе членов и в своих сношениях.

Это возродившееся общество разделилось на две отрасли: на южную, под председательством Пестеля, распространившуюся в армиях, главной же во второй и частью в первой; и северную, основанную в С.-Петербурге под председательством Никиты Муравьева. Сверх того были: Общество соединенных славян, действовавшее сначала отдельно, а потом в соединении с Южным, и Малороссийское — совсем не действовавшее.

Южная отрасль, воспламеняясь началами демократическими, намеревалась ввесть республику, северная — стремилась к правлению монархическому представительному. Соединенные славяне хотели образовать в республиканском духе славянский союз из восьми колен: России, Польши, Богемии, Моравии, Далмации, Кроации, Венгрии с Трансильваниею, Сербии с Моравиею и Валахией, не нарушая, впрочем, независимости каждого колена. Общество это, основанное подпоручиком артиллерии Борисовым в 1823 году, было незначительно и по званию и по числу членов (23). Малороссийское общество намеревалось образовать из масонских лож: в Полтаве — бывший правитель канцелярии военного губернатора Новиков, и в Черниговской губернии — маршал Лукашевич, — и предложили целию независимость Малороссии, но остались при попытках, и общество не осуществилось.

Южная отрасль вошла в 1824 году в сношение с Польским обществом, которое имело два департамента: один в Варшаве, а другой в Дрездене. Сверх того оно состояло в связях с обществами в Венгрии, Испании, Англии и Франции, стремившимися к преобразованию правительств в Европе. Цель Польского общества была соединить в одно целое польские провинции, как российские, так австрийские и прусские. Сношения южной отрасли с Польским обществом переменили образ мыслей тех, кои прежде сильно восставали против отделения польских провинций от России; они дружелюбно обязывались помогать друг другу и начать действия в России и Польше в одно время.

После многих совещаний злоумышленники решились приступить к делу непременно в 1826 г., надеясь возмутить войско вооруженною силою, идти к Москве и не только произвести революцию со всеми ужасами, с нею неразлучными, но разодрать отечество, отторгнув от него польские области.

Между тем как цесаревич Константин прислал подтвердительное отречение от престола, между тем как готовилась присяга на верно-подданничество императору Николаю, злоумышленники вздумали употребить этот случай для возбуждения некоторых офицеров и солдат к мятежу под предлогом остаться верными присяге, данной Константину, внушая всем, что он задержан и что отречение его — ложный вымысел. Таким средством злоумышленники возомнили основать придуманный ими образ правления, приготовили проект манифеста к народу и мечтали собрать на всеобщий собор депутатов от всех сословий государства¹¹.

Твердостью и решительностью государя уничтожен мятеж 14-го декабря в С.-Петербурге, а неколебимую верностью войск — в Василькове Киевской губернии, где шесть рот Черниговского полка возбуждены к возмущению под тем же предлогом верноподданности Константину. Итак, туча бедствий, висевшая над Россиею, рассеяна при самом начале.

Мятеж 14-го декабря был только необдуманное, стремительное действие Северного общества, хотевшего воспользоваться, по мнению его, удобнейшим случаем. Лица, принимавшие участие в этом происшествии, разделяются на два разряда: одни как члены тайного общества, уготовлявшие сокровенно гибельную революцию, а другие как мгновенно увлеченные мнимым предлогом неправильной присяги.

Тайные общества почитали непременною обязанностью иметь соумышленников во всех сословиях, во всех родах службы и даже между духовенством; но дух преобразования нашел отголосок только между военными, служащими или отставными, а из числа гражданских известны три или четыре человека; из прочих же сословий нет никого.

Из этого очерка мне приказано было составить донесение комитета государю императору. Его величество высочайше повелеть соизволил о тех содержащихся в крепости, о которых приведены следствием в известность все обстоятельства, до них относящиеся, и которые не будут следовать к суду, представить на его усмотрение о каждом особую записку. <...>

Усердно занялся я составлением записок о каждом прикосновенном к следствию, не ослабляя в то же время и работы приготовления вопросов. Несмотря на то, государь беспрестанно подтверждал о скорейшем окончании исследования. <...>

Прошла неделя пасхи, наступил май. Приближенные государя умоляли совершить обряд коронования, но его величество не хотел возложить на главу царский венец, пока совершенно не кончится дело о злоумышленниках и следствием, и судом. Конечно, в то время все уже было дознано; но для округления предстояло еще согласовать некоторые противоречия, сделать очные ставки, подготовить о каждом особое дело и записку. Несмотря на это, председатель настаивал, чтобы я принялся за составление окончательного донесения государю императору. Озабоченный этим приказанием и не имея сам досуга сего исполнить, я указал на средство, которое укоротило открывшийся мне быстрый полет к возвышению по службе. В комитет прислан был из Министерства иностранных дел действительный статский советник Блудов для составления журнальной статьи о ходе и замыслах тайных обществ в России¹². Я давал ему материалы для этого труда, кроме тех, которых его величеству не благоугодно было разглашать. Так, например, некоторые злоумышленники показывали, что надежды на успех основывали они на содействии членов Государственного совета графа Мордвинова, Сперанского и Киселева, бывшего тогда начальником штаба 2-й армии, и сенатора Баранова¹³. Изыскание об отношении этих лиц к зло-

умышленному обществу было произведено с такой тайною, что даже чиновники комитета не знали; я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело. <...> Может быть, мятежники льстили себя надеждою на их содействие, увлекаясь свободным и резким изложением их мнений. Так, граф Мордвинов при суждении дела об отобрании от графа Кутайсова эмбенских рыбных ловель, пожалованных ему императором Павлом, в мнении своем написал: «В понятии власти произвольной все смешано, и нет в ней ничего несправедливого, ибо она сама первая несправедливость»¹⁴. Мнение это ходило по рукам, его читали с жадностию, и немудрено, что оно воспламеняло горячие головы наших революционеров и питало надежды их на содействие таких лиц.

Обращаюсь к донесению. Блудов читал мне свою работу и пользовался моими советами и указаниями как человека, проникнувшего дух и направление не только целого тайного общества со всеми его отраслями, но каждого злоумышленника. Председатель беспрестанно повторял мне:

— Скоро ли займемся донесением? Государь требует представить скорее.

Наскучив повторением, я сказал:

— Если непременно надобно ускорить, так прикажите статью, подготовленную Блудовым для журналистов, обратить в донесение. В ней немного нужно пополнить и переделать, и она достаточна будет, чтобы показать вообще ход дела и замыслы общества; а разбор и суд виновных будет не по донесению, а по моим отдельным запискам о каждом прикосновенном к следствию.

Мысль принята. Блудов занялся приготовлением донесения, а я употребил все усилия округлить следствие и готовить записки. Донесение представлено государю 30-го мая 1826 г., когда еще о некоторых крамольниках, казавшихся мелочными, потому что не были членами общества, окончательно не было обследовано, да и вообще не о всех еще сделано предварительное распределение. От этого вышло, что иные осужденные Верховным уголовным судом на тяжкое наказание в донесении совсем не упоминаются; напротив, о других в донесении говорится, а в приговоре об них ни слова, потому что и к суду они отсылаемы не были.

Не стану повторять того, что известно из донесения, напечатанного особою брошюрою и помещенного в Полном Собрании Законов за 1826 г.¹⁵ Оно заключает в большом развитии то, что сжато представлено было государю императору в феврале.

После этого донесения, которое хотя послано государю 30-го мая, но предварительно было доложено, помнится, около 10-го мая, комитет, приняв в уважение, что многие вошли в общество, увлекаясь худо понятою любовью к отечеству, суетностию, возбужденным любопытством, родственными и приятельскими отношениями, легкомыслием и молодостию, счел противным справедливости, великодушию и милосердию августейшего монарха предать всех суду.

На сем основании комитет попросил высочайшее соизволение не отсылать к суду:

1) бывших членов Союза благоденствия, которым не была открыта сокровенная цель;

2) всех тех, которые хотя знали вполне цель общества, но отпали от него после объявленного закрытия на съезде в Москве в 1821 году;

3) тех, которые тогда не решительно отреклись от общества, однако не были с ним в сношении до 1822 года, когда все тайные общества в России повелено было закрыть, а после этого повеления совершенно удалились и не действовали;

4) знавших о существовании общества или при приготовлении мятежа в С.-Петербурге и не донесших...

Рассмотрев внимательно замыслы и поступки прикосновенных к следствию, комитет представил:

Предать суду	— 121
Подвергнуть исправительным наказаниям	— 57
Освободить	— 11
<hr/>	
Итого:	189

Сюда не вошли весьма многие, освобожденные в продолжение следствия по представлению комитета и самим государем по отобрании предварительного допроса во дворце дежурными генерал-адъютантами, а также мятежники, не бывшие членами тайного общества. Об них разбор и суд производился по своему начальству¹⁶.

Исправительные наказания состояли: в продержании в крепостях несколько месяцев и не долее четырех лет, соразмеряя по возможности вины, в переводе из гвардии в армию, из армии в гарнизон или отдаленные полки.

Все дела о преданных суду, с особыми о каждом записками, отправлены в Верховный уголовный суд, учрежденный манифестом 1-го июня 1826 г. <...>

Пока продолжался суд, комитет занимался разбором и докладами государю о подлежавших правительственным наказаниям и освобождению.

Наконец, комитет кончил совершенно возложенное на него поручение и закрыт 25-го июня. <...>

В ожидании решения суда мне поручено было по высочайшему повелению составить записку о степени виновности каждого из отсланных к суду. Граф Татищев сказал мне:

— Государь желает злодеев закоренелых отделить от легкомысленных преступников, действовавших по увлечению. Твою записку примет он в соображение при рассмотрении приговора Верховного уголовного суда. Я лично представляю ее государю. Смотри! никто не должен знать о ней не только из чиновников в канцелярии, но и помощников твоих.

Я понял важность этого поручения: о каждом преданном суду изобразил добросовестно, как мне представлялось, из совокупности

следствия и личной известности. Сладко мне было видеть плоды этой моей работы в указе Верховному уголовному суду 10-го июля 1826 г. Там облегчены наказания: в пункт II. — Матвею Муравьеву-Апостолу, Кюхельбекеру, Александру Бестужеву, Никите Муравьеву, князю Волконскому, Якушкину; в VII — Александру Муравьеву; в VIII — Берстелю и графу Булгари, и в IX — Бодиско 1-му.

Странно показалось мне, что Верховный уголовный суд не поместил князя Трубецкого вне разрядов вместе с приговоренными к смертной казни Пестелем, Рылевым, Сергеем Муравьевым-Апостолом, Бестужевым-Рюминым и Каховским. Разве Трубецкому вменили в заслугу, что при возмущении 14-го декабря он не явился на площадь командовать мятежниками? Однако он был диктатором, деятельным распорядителем заговора, следовательно, и в наказании должен быть поставлен во главе.

В августе я отправился с министром в Москву на торжество коронации. Там государь приказал разыскать о существовании иллюминатов, ибо его величество узнал, что Никита Муравьев брал уроки прагматической истории у бывшего в России профессора Раупаха, известного иллюмината, и был с ним в тесной связи. За указание следов Муравьеву, осужденному на каторгу, обещано от имени государя прощение; но он решительно отозвался, что никогда не был членом этого общества. Не предполагаю, чтобы Муравьев из преданности иллюминатам или из упрямства не хотел воспользоваться случаем заслужить прощение; вернее заключить, что он не только определенительно, но и приблизительно не знал ни состава их, ни средств, ни лиц, ни местобывание правителей. Допросом Муравьева кончилось исследование об иллюминатах; обращаться с вопросами к другим не было ни поводов, ни оснований¹⁷.

По возвращении императора в С.-Петербург мне переданы ответы судимых о взгляде их на внутреннее состояние государства в царствование императора Александра. Из этих ответов я составил для его величества свод в систематическом порядке, приведя их в единство и откинув повторения и пустословие; но мысли, даже в способе изложения, оставил я по возможности без перемены. Свод главнейше извлечен из ответов Батенькова, Штейнгеля, Александра Бестужева и Перетца¹⁸. <...>

Этот Свод представлен государю императору 6-го февраля 1827 г. Его величество изволил оставить у себя в кабинете, а списки — один отослал в Варшаву к цесаревичу Константину, а другой дал князю Кочубею, бывшему тогда председателем Государственного совета¹⁹.

— Государь-император, — сказывал мне впоследствии князь Кочубей, — часто просматривает ваш любопытный свод и черпает из него много дельного, да и я часто к нему прибегаю. Вы хорошо и ясно изложили рассеянные идеи, кажется, добавили и своих сведений.

Мне приятно было слышать лестный отзыв умного государственного мужа о моей работе, но еще приятнее было видеть прояв-

ление ее в разных постановлениях и улучшениях, выходящих с того времени.

Последнюю мою работу по следствию о злоумышленных обществах было составление для государя императора алфавитного списка о всех прикосновенных к этому делу, даже и тех, которые и не были требуемы к допросу в Комитет и о коих разбор и суд производился на местах их служения и жительства²⁰.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Е. АННЕНКОВОЙ О СВИДАНИИ С И. А. АННЕНКОВЫМ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

⟨...⟩ Едва я приехала в Петербург, как, выходя из дилижанса, была страшно встревожена тем, что узнала от одного из прежних слуг Ивана Александровича. Этот преданный человек ожидал меня тут, чтобы передать, что барин его едва не лишил себя жизни, думая, что я его совсем оставила. Тогда я бросила все вещи, которые были со мною, на руки этому человеку и, не заезжая на квартиру, поскакала в крепость. Была уже ночь, и человек старался удержать меня и убедить, что так поздно мне никуда нельзя будет пробраться, но я ничего не слушала и через несколько минут была уже у Невы. Это происходило в декабре месяце, 9-го числа, 1826 года.

В это время мосты были все разведены, и по Неве шел страшный лед. Иначе, как на ялике, невозможно было переехать на ту сторону. Теперь, когда я припоминаю все, что случилось в ночь с 9-го по 10 декабря, мне кажется, что все это происходило во сне. Когда я подошла к реке, то очень обрадовалась, увидав человека, привязывавшего ялик, и еще более была рада узнать в нем того самого яличника, который обыкновенно перевозил меня через Неву. В такую пору, бесспорно, не только было опасно пускаться в путешествие, но и безрассудно. Между тем меня ничто не могло остановить, я чувствовала в себе сверхъестественные силы и необыкновенную готовность преодолеть всевозможные препятствия. Лодочник меня также узнал и спросил, отчего не видал так долго. Я старалась ему дать понять, что мне непременно нужно переехать на ту сторону. Он отвечал, что это положительно невозможно, но я не унывала, продолжала его упрашивать и наконец сунула ему в руку 25 рублей. Тогда он призадумался, а потом стал показывать мне, чтобы я спустилась по веревке, так как лестница вся была покрыта льдом. Когда он подал мне веревку, я с большим трудом привязала ее к кольцу, до такой степени было все обледеневшим, но, одолев это препятствие, мигом спустилась в ялик. Потом только я заметила, что руки у меня все были в крови: я оборвала о ледяную веревку не только перчатки, но и всю кожу на ладонях.

Право, не понимаю, как могли мы переехать тогда, пробираясь с такою опасностью сквозь льдины. Бедный лодочник крестился

все время, повторяя: «Господи, помилуй!». Наконец с большим трудом достигли мы другого берега. Но когда я подошла к крепостным воротам, то встретила опять препятствие, которое, впрочем, и ожидала: часовой не хотел впустить, потому что было уже 11 часов ночи. Я прибегла опять к своему верному средству, сунула и ему денег. Ворота отворились, я быстро прошла до церкви, потом повернула направо к зданию, где были офицерские квартиры, пошла по лестнице, где было темно хоть глаз выколи, перепугала множество голубей, которые тут свили свои гнезда, потом взошла в комнату, где на полу спали солдаты. Я в темноте пробиралась, наступая беспрестанно им на ноги. Наконец добралась до комнаты Виктора Васильевича. Это был один из офицеров, которого я знала более других, особенно жену его (фамилии его я не знаю). У них было еще темнее, но я так хорошо знала расположение их комнаты, что ощупью дошла до кровати и разбудила жену Виктора Васильевича, говоря, что мне необходимо видеть его. Он тотчас же вскочил, я объявила, что хочу видеть Ивана Александровича. Он ответил, что никак нельзя, и начал рассказывать, как Иван Александрович хотел повеситься на полотенце, но, к счастью, полотенце оборвалось, и его нашли на полу без чувств. На это я стала ему доказывать, что мне тем более необходимо видеть Ивана Александровича. Виктор Васильевич колебался, я взялась опять за кошелек, вынула сторублевую ассигнацию и показала ему. Тогда сон у него прошел, он сделался сговорчивее и отправился за Иваном Александровичем, а я вышла на улицу и прижалась у какого-то здания, близ которого проходил какой-то канал. Это было довольно пустынное место, где почти не было проходящих.

Вскоре Виктор Васильевич привел узника. Мы горячо обнялись, но едва успели обменяться несколькими словами, как Виктор Васильевич начал торопить нас и все время тащил Ивана Александровича за рукав. Чтобы выиграть еще хотя одну минуту, я сняла с себя последнюю цепочку с образом и отдала Виктору Васильевичу. Он немного подождал, потом опять начал сердиться. Делать было нечего, приходилось расстаться. Я успела только передать Ивану Александровичу кольцо с большим бриллиантом, которое послала ему мать, и сказала, что напишу все, что имею еще передать ему от нее. Он прибавил, чтобы я просила Виктора Васильевича предупредить меня, когда их будут отправлять в Сибирь. Мы простились, и надолго на этот раз. Иван Александрович, сделав несколько шагов, вернулся, торопливо передал мне кольцо, говоря, что отнимут, и прибавил, что их, вероятно, скоро увезут в Сибирь. Тогда я сняла с своей руки другое маленькое кольцо, которое всегда носила и которое было составлено из двух тоненьких колечек. Я разделила их, отдала ему одно, догоняя его, другое оставила у себя и сказала вслед, что если не добьюсь позволения ехать за ним в Сибирь, то пришлю другую половину кольца. Все это было сделано в одну минуту. Вскоре вернулся ко мне Виктор Васильевич, которого я просила проводить меня из крепости. <...>

ИЗ «ЗАПИСОК ГРАФА Е. Ф. КОМАРОВСКОГО» О ВЕРХОВНОМ УГОЛОВНОМ СУДЕ НАД ДЕКАБРИСТАМИ

Когда Следственная комиссия окончила свои действия, то 1-го июня 1826 года учрежден был Верховный уголовный суд. Председателем оного был князь Лопухин. Сей суд составлен был из членов святейшего правительствующего Синода, Государственного совета, всех сенаторов и особ прикомандированных, в числе коих и я находился¹. Всех членов, сей суд составлявших, было до 70-ти; заседания оного были в зале общего Сената собрания. Члены собирались в полных мундирах, а военные в лентах и шарфах. Для караула отряжалась рота от одного из гвардейских полков и два взвода Кавалергардского, или лейб-гвардии Конного полка, которые давали конных часовых к воротам Сената. Заседание началось чтением допросов и показаний преступников; их числом было до 130-ти человек. Положено было, после прочтения снятых допросов с преступников, отправить в крепость несколько членов, выбранных из присутствующих в Верховном уголовном суде, для вторичного допроса каждого преступника: точно ли каждым из них сделано было показание, добровольно ли он сие исполнил, и не имел ли чего прибавить или убавить к прежнему его показанию. Немногие из них сделали некоторые дополнения, большая же часть подтвердили прежние показания своею подписью². Между прочими правилами, которыми должен был суд руководствоваться, вменено ему было в обязанность, по выслушании показаний преступников и по утверждении оных их подписью, как выше сказано, выбрать из среды своей 9 членов, из коих один должен быть председателем, для составления комитета, который обязан определить степень преступления каждого преступника и меру заслуженного им наказания. В члены сего комитета избраны были из Государственного совета: граф П. А. Толстой (он был назначен председателем), И. В. Васильчиков и М. М. Сперанский; из прикомандированных особ: граф Г. А. Строганов, я и С. С. Кушников; из сенаторов: Ф. И. Енгель, Д. О. Баранов и граф П. И. Кутайсов; производителем дел — обер-прокурор Журавлев. К комитету прикомандирован был для нужных пояснений статс-секретарь Блудов³. Он был производителем дел в Следственной комиссии⁴. Пока наш комитет продолжался, заседания в суде были прекращены, и мы собирались два раза в день. Нам должно было прочитать опять все документы Следственной комиссии, и, чтобы скорее в том успеть, мы разделили по себе допросы преступников. По существующим нашим узаконениям все они подвергались смертной казни⁵, ибо кто умышляет, не более виноват, как и тот, который об умысле знает и не донес, а преступники почти все были в этой категории. Государю угодно было, чтобы сколько можно ослаблены были преступления и сообразно тому и наказания. Для сего комитет сделал разряды, которых находилось четырнадцать; всякий разряд означал

степень преступления и меру наказания, и мы вставляли, по общему совещанию, в разряды, как в рамы, имена преступников, с кратким объяснением их преступлений. Но пять преступников, а именно: Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, Бестужев-Рюмин и Каховский — были вне разрядов по роду их преступлений⁶. Наши занятия продолжались две недели. Потом они внесены были в Верховный уголовный суд, который открыл свои заседания*. Приговор преступников для размещения их по разрядам делался по большинству голосов. Сначала суд находил, что комитет сделал слишком много подразделений; однако же кончилось тем, что все разряды более или менее были наполнены. Назначено было несколько членов для составления доклада государю от Верховного уголовного суда; оный был читан в полном собрании и с некоторыми переменами принят⁷. Через несколько дней доклад с высочайшим утверждением был возвращен в суд. Государь много ослабил меру наказаний всех преступников вообще, а о пяти, не вошедших в разряды, повелел суду сделать приговор и привести в исполнение. Суд приговорил их повесить⁸.

Наконец настало время объявить каждому преступнику его приговор. Для сего надлежало или их привозить из крепости в Верховный уголовный суд, или суду отправиться в крепость и там сие исполнить. Сия последняя мера признана была удобнейшею. В доме коменданта Сукина устроена была зала заседания. В назначенный день все члены суда собрались в Сенат и оттуда отправились в крепость, где для порядка находился один батальон лейб-гвардии Павловского полка. Заседание суда открылось тем, что крепостной плац-майор ввел в присутствие пять главных преступников, имея двух гренадер с одним унтер-офицером впереди их и двух гренадер позади. Секретарь Сената, стоя у аналоя, называл по имени каждого преступника, потом читал о содеянном им преступлении и к чему он приговорен с высочайшего утверждения. Таким образом вводимы были в залу заседания все преступники по разрядам. Они имели на себе те же самые платья, в которых они были взяты, только, натурально, без шпаг; многие из них были даже в полных мундирах. Сим заседанием окончился суд, которому едва ли есть много примеров в летописях нашего отечества⁹. {...}

ИЗ ДНЕВНИКА ЧЛЕНА ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА СЕНАТОРА П. Г. ДИВОВА

{...} 3-го июня. Начались заседания Верховного уголовного суда. Все собрались в одну из зал Сената, откуда перешли в залу

* Я должен здесь отдать справедливость способностям ума и быстрому соображению М. М. Сперанского; он много способствовал к скорому окончанию возложенной на нас обязанности.

Общего собрания. Нас было 66 человек¹: часть Государственного совета, весь Сенат, 2 митрополита, 1 архиепископ и несколько военных. Заседание открылось чтением манифеста и указа о назначении в состав суда военных²; затем был прочитан исторический очерк всего дела³. Когда это было окончено, были прочитаны имена и чины всех тех, кто участвовал в заговоре. Наконец были прочитаны показания Трубецкого, Рылеева и князя Оболенского⁴, которые признавали себя виновными в самых ужасных преступлениях против государства и царской фамилии. На этом заседании окончилось.

4-го июня. Второе заседание. Продолжалось чтение показаний, данных преступниками. Прочитаны показания трех лиц, в том числе моего племянника мичмана Василия Дивова, которое заставило меня содрогнуться от ужаса.

5-го июня. Третье заседание. Продолжалось чтение показаний до № 69. Когда начали читать показания полковника Пестеля, главы Южного общества, подобно тому как Рылеев был главою Северного общества, то все содрогнулись от ужаса.

6-го июня. Четвертое заседание. Продолжалось чтение до № 98.

Пятое заседание. Окончилось чтением показаний № 117. Затем приступили к выбору трех членов от Государственного совета, Сената и посторонних членов суда. Из Совета выбраны: граф Ливен, Балашов, князь Салтыков, из сенаторов: Баранов, Болгарский и Лавров, а из числа прочих лиц выбор пал на графа Головкина, Ламберта и Бороздина⁵. <...>

7-го июня. Шестое заседание. Утвердили членов Комитета⁶ и разошлись.

8-го и 9-го июня. Комиссары окончили допросы в крепости.

10-го июня. Седьмое заседание, в котором избрана комиссия для распределения виновных по разрядам. В нее избраны из Совета: граф Толстой, Васильчиков и Сперанский, из посторонних лиц: Кушников, барон Строганов, граф Комаровский и сенаторы: граф Кутайсов, Баранов и Энгель. Выборы производились всем составом, а не отдельными корпорациями⁷.

11-го июня. Восьмое заседание. Подписан протокол⁸, и объявлено, что суд соберется по получении о том повесток, когда виновные будут разделены на разряды⁹. <...>

27-го июня. Заседания Верховного уголовного суда возобновились¹⁰.

28-го июня. Преступники разделены на разряды, и определено 11 степеней наказаний, а именно: 1-я — смертная казнь, 2-я — политическая смерть и ссылка в каторжные работы без срока, 3-я — ссылка в каторжные работы без срока, 4-я — ссылка в каторжные работы на 15 лет и на поселение, 5-я — ссылка в каторжные работы на 10 лет и на поселение, 6-я — ссылка в каторжные работы на 6 лет и на поселение, 7-я — ссылка в каторжные работы на 4 года и на поселение, 8-я — лишение чинов, дворянства и ссылка на поселение, 9-я — лишение дворянства и ссылка в Сибирь, 10-я — лишение дворянства, разжалование в рядовые без выслуги, 11-я — лишение

чинов, разжалование в рядовые с выслугою¹¹. Было много прений по поводу вопроса о большинстве голосов. Наконец решили, что большинство одного голоса достаточно, чтобы перевесить мнение противников¹².

1-го июля. День рождения императрицы¹³, заседания не было.

2-го июля. Заседания возобновились и происходили со 2-го до 5-го числа утром и вечером. 35 человек приговорено к смертной казни, 17 отнесено ко 2-му разряду, 3 человека к 3-му, 16 — к четвертому, 4 — к пятому, 2 — к шестому, 15 — к седьмому, 15 — к восьмому, 3 — к девятому, 1 — к десятому и 7 человек — к одиннадцатому разряду¹⁴.

Затем были избраны 3 члена для составления донесения императору, а именно: от Совета — Сперанский, от Сената — Казадаев и от числа других лиц — Бороздин.

5-го, 6-го и 9-го июля. Обсуждали донесение, которое должны были представить императору¹⁵.

10-го июля. Всем членам Верховного уголовного суда приказано не отлучаться из города.

11-го июля. Назначено заседание Верховного уголовного суда в 7 часов утра. Прочитан высочайший указ¹⁶, коим смертная казнь заменена для 31 лица ссылкой в каторжные работы без срока, смягчены наказания и другим преступникам и повелевалось применить менее жестокую смертную казнь, нежели четвертование, для тех 5-ти лиц, которые приговорены к смертной казни (Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский). Их приговорили к повешению.

12-го июля. Мы собрались в Сенат, чтобы подписать протокол об определении, по воле императора, смягченных наказаний, а затем отправились в крепость для прочтения приговора осужденным. Заседание было открыто около часа. Первыми ввели тех пятерых осужденных, которые были приговорены к повешению. Я не заметил на их лицах ни малейшего смущения. Затем были введены прочие обвиняемые по разрядам. Весьма немногие выказали некоторое смущение. <...>

13-го июля. Пятеро лиц, приговоренных к виселице, казнены. Перед экзекуцией были лишены дворянства и чинов те лица, коим ломали шпаги над головой, в то время как их мундиры были брошены в горевший тут же костер. Они не были свидетелями казни повешенных. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Н. МЫСЛОВСКОГО

Полковник Пестель — сын сибирского военного генерал-губернатора, управлявшего Сибирским краем около 15 годов. Сей преступник есть отличнейший в сонме заговорщиков, как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа. Имел он от роду не более 33 лет, среднего роста, лица белого и приятного, с значительными

чертами или физиономиею; быстр, решителен, красноречив в высшей степени; математик глубокий, тактик военный превосходный; увертками, телодвижением, ростом, даже лицом походил на Наполеона. <...> Никто из подсудимых не был спрашиван в Комиссии более его; никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же; везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твердости его. Казалось, он один готов был на раменах своих выдержать тяжесть двух альпийских гор. В Комиссии всегда отвечал с видимою гордостью и с каким-то самонадеянием. Однажды спросил его некоторый член Комиссии: знал ли он, чему подвергал себя с такими ужасными предприятиями? Случалось ли хоть раз взглянуть ему на последствия? «У меня, — отвечал хладнокровно Пестель, — все было рассчитано; знал что делал и видел конец. По меньшей мере как я сам, так и все сочлены наши могли надеяться, что нас станут судить так, как убийц Павловых. Мы кричали, шумели, вызывались на царубийство, — словом, кончили только одними словами, а там!..»¹. При сих словах члены Комиссии в молчании поглядели друг на друга. Во время великого поста государь император высочайше изволил приказать мне исповедовать всех арестантов, разумеется, кто только желал того. Таким образом, я пошел для исповеди к своим, т. е. русского исповедания, а к лютеранам, коих было всего 14 человек, послан был лютеранский, Анненской, что на Литейной, церкви пастор Рейнбот². Пастор сей, отличного ума человек, был с Пестелем несколько часов и вышел от него без всего: преступник и слышать не хотел о таинствах веры; он только вдавался в словопрения с своим священником и не переставал доказывать правоту своих мыслей и поступков. Я посещал его очень редко, как потому, что мы с ним были разделены религиями, так наиболее потому, что никогда не могли сходиться ни в чувствах, ни в сомнениях. Вечером 12 числа июля Рейнбот пришел к нему в каземат, дабы приготовить его к смерти. Снова начались споры как о догматах веры, так и о делах политических. Пастор со слезами на глазах оставил жестокосердного, поручив его единому милосердию божию. Заутро, прежде нежели взошло солнце, Пестель с прочими товарищами своими изведен был из крепости в кронверк уже в оковах; а в половине пятого часа, идя на казнь и увидя виселицу, с большим присутствием духа произнес следующие слова: «Неужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно было бы нас и расстрелять!» Наконец, бывши уже на эшафоте и принеся молитву богу с прочими осужденными, Пестель, как казалось, слишком растрогался зрелищем расставанья моего с несчастными моими детьми, просившими благословления. Ах! ужасна и незабвенна для меня минута сия! Пестель усугубил и заключил собою горестную картину сию. Он стал на колени и говорил мне твердым голосом: «Отец святой! Я не принадлежу вашей церкви, но был некогда христианином и наиболее желаю быть им теперь. Я впал в заблуждение, но кому оно не свойственно?

От чистого сердца прошу вас: простите меня в моих грехах и благословите меня в путь дальний и ужасный». (<...>)

КАЗНЬ ДЕКАБРИСТОВ. РАССКАЗЫ СОВРЕМЕННОКОВ

1. РАССКАЗ [И. Г.] ШНИЦЛЕРА

13(25) июля 1826 года близ крепостного вала, против небольшой и ветхой церкви св. Троицы, на берегу Невы, начали с двух часов устраивать виселицу, таких размеров, чтобы на ней можно было повесить пятерых. В это время года петербургская ночь есть продолжение вечерних сумерек, и даже в ранний утренний час предметы можно различать вполне. Кое-где в разных частях города слышался слабый бой барабанов, сопровождаемый звуком труб: от каждого полка местных войск было послано по отряду, чтобы присутствовать на предстоявшем плачевном зрелище. Преднамеренно не объявили, когда именно будет совершена казнь; поэтому большая часть жителей покоилась сном, и даже чрез час к месту действия собралось лишь весьма немного зрителей, никак не больше собранного войска, которое поместилось между ними и совершителями казни. Господствовало глубокое молчание; только в каждом воинском отряде били в барабаны, но как-то глухо, не нарушая тишины ночной.

Около трех часов тот же барабанный бой возвестил о прибытии приговоренных к смерти, но помилованных. Их распределили по кучкам на довольно обширной площадке впереди вала, где возвышалась виселица. Каждая кучка стала против войск, в которых осужденные прежде служили. Им прочли приговор, и затем велено им стать на колена. С них срывали эполеты, знаки отличий и мундиры; над каждым переломлена шпага. Потом их одели в грубые серые шинели и провели мимо виселицы. Тут же горел костер, в который побросали их мундиры и знаки отличий.

Только что вошли они назад в крепость, как на валу появились пятеро осужденных на смерть. По дальности расстояния зрителям было трудно распознать их в лицо; виднелись только серые шинели с поднятыми верхами, которыми закрывались их головы. Они всходили один за другим на помост и на скамейки, поставленные рядом под виселицею, в порядке, как было назначено в приговоре. Пестель был крайним с правей, Каховский с левой стороны. Каждому обмотали шею веревкою; палач сошел с помоста, и в ту же минуту помост рухнул вниз. Пестель и Каховский повисли, но трое тех, которые были промежду них, были пощажены смертью. Ужасное зрелище было представлено зрителям. Плохо затянутые веревки соскользнули по верху шинелей, и несчастные попадали вниз в разверстую дыру, ударяясь о лестницы и скамейки. Так как государь находился в Царском Селе и никто не посмел отдать приказ об отсрочке казни, то им пришлось, кроме страшных ушибов, два раза

испытать предсмертные муки. Помост немедленно поправили и взвели на него упавших. Рылеев, несмотря на падение, шел твердо, но не мог удержаться от горестного восклицания: «Итак, скажут, что мне ничего не удавалось, даже и умереть!» Другие уверяют, будто он, кроме того, воскликнул: «Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать!» Слова эти приписываются также Сергею Муравьеву-Апостолу, который так же, как и Рылеев, бодро всходил на помост. Бестужев-Рюмин, вероятно потерпевший более сильные ушибы, не мог держаться на ногах, и его взнесли. Опять затанули им шеи веревками и на этот раз успешно. Прошло несколько секунд, и барабанный бой возвестил, что человеческое правосудие исполнилось. Это было на исходе пятого часа. Войска и зрители разошлись в молчании. Час спустя виселица [была] убрана. Народ, толпившийся в течение дня у крепости, уже ничего не видел. Он не позволил себе никаких изъявлений и пребывал в молчании: <...>

2. РАССКАЗ Н. В. ПУТЯТЫ

Этот рассказ Шницлера вполне верен. Накануне казни носились о приготовлении к ней глухие слухи. Весь вечер я бродил по улицам Петербурга грустный и взволнованный. Проходя по Морской, я заметил огонь на квартире Н. А. Муханова (адъютанта тогдашнего воен[ного] ген[ерал]-губернатора П. В. Кутузова), зашел к нему и просидел у него за полночь, но ничего положительного о предстоящем событии не узнал. По выходе от Муханова вместе с Неклюдовым, влекомые каким-то безотчетным, тревожным любопытством, мы направились к набережной Невы. Исакиевский мост был уже разведен. Мы взяли ялик и проплыли мимо Биржи по Малой Неве, огибая крепость. Скоро нам послышался стук топора и молота. Мы вышли на берег и, направляясь по стуку, неожиданно очутились на площади пред сооружаемую виселицу, и остановились тут. Осужденные на каторгу в Сибирь, как выходя из крепости для выслушания приговора, так и возвращаясь в нее уже в арестантском платье, шли бодро и взорами искали знакомых в толпе. В числе зрителей, впрочем, состоявших большею частью из жителей окрестных домов, сбежавшихся на барабанный бой, я заметил барона А. А. Дельвига¹ и Н. И. Греча. Тут был еще один французский офицер Де ла Рю, только что прибывший в Петербург в свите маршала Мармона², присланного послом на коронацию императора Николая Павловича. Де ла Рю был школьным товарищем Сергея Муравьева-Апостола в каком-то учебном заведении в Париже, не встречался с ним с того времени и увидел его только на виселице.

Несколько ночей сряду я не мог спокойно заснуть. Лишь только глаза мои смыкались, мне представлялась виселица и срывающиеся с нее жертвы.

⟨...⟩ Пестель, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол, Рылеев и Каховский содержались в Петропавловской крепости отдельно и были в тех самых мундирных сюртуках, в которых были захвачены. До произнесения смертного приговора преступники, навещаемые протопопом из Казанского собора, не были скованы; но потом были обременены самыми тяжелыми кандалами. Когда для предсмертной исповеди предложили преступникам священника из ближайшей церкви Троицы, что у Троицкого моста, то все от одного отказались и требовали, вполне сознавая всю великость своего преступления, прежде навещавшего их протопопа, которому приговоренные отдали на память о себе часы, перстни и другие находящиеся при них вещи. Кажется, Рылеев, после совершенного духовного раскаяния, сказал: «Хотя мы и преступники и умираем позорною смертью, но еще мучительнее и страшнее умирал за всех нас Спаситель мира». Слова же, приписываемые Пестелю, когда порвалась веревка с петлями: «Вот как плохо Русское государство, что не умеют изготовить и порядочных веревок», по решительному заверению Беркопфа, не были произнесены. Виселица изготовлялась на Адмиралтейской стороне. За громоздкостью везли ее на нескольких ломовых извозчиках чрез Троицкий мост. Высочайший приказ был: исполнить казнь к 4-м часам утра, но одна из лошадей ломовых извозчиков с одним из столбов виселицы где-то впотьмах застряла, почему исполнение казни промедлилось значительно. Пестель был слабее и истомленнее прочих, он едва переступал по земле. Когда он, Муравьев-Апостол, Бестужев и Рылеев были выведены на казнь, уже не в мундирных сюртуках, а в рубашках, они расцеловались друг с другом как братья; но когда последним вышел Каховский, ему никто не протянул руки. По уверению Беркопфа, причиною этого было убийство графа Милорадовича, учиненное Каховским, чего никто из преступников не мог простить ему и перед смертью. В воротах чрез высокий порог калитки с большим трудом переступали ноги преступников, обремененных тяжелыми кандалами, что, по мнению Беркопфа, было причиною падения с виселицы троих, а не одного, как носился слух в народе. Пестеля должны были приподнять в воротах — так он был изнурен. Под виселицею была вырыта в земле значительной величины и глубины яма; она была застлана досками; на этих-то досках следовало стать преступникам, и когда были бы надеты на них петли, то доски должно было из-под ног вынуть. Таким образом, казненные повисли бы над самой ямой, но за спешностью виселица оказалась слишком высока, или, вернее сказать, столбы ее недостаточно глубоко врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей. Вблизи вала, на котором была устроена виселица, находилось полуразрушенное здание Училища торгового мореплавания, откуда, по собственному указанию Беркопфа, были взяты школьные скамьи, дабы поставить на них преступников. По предварительном испытании веревок оказалось, что они

могут сдерживать восемь пудов. Сам Беркопф научил действовать непривычных палачей, сделав им образцовую петлю и намазав ее салом, дабы она плотнее стягивалась. Скамьи были поставлены на доски, преступники втащены на скамьи, на них надеты петли, а колпаки, бывшие на их головах, стянуты на лица. Когда отняли скамьи из-под ног, веревки оборвались и трое преступников, как сказано выше, рухнули в яму, прошибив тяжестью своих тел и оков настланные над ней доски. Запасных не было, их спешили достать в ближайших лавках, но было раннее утро, все было заперто, почему исполнение казни промедлилось. Однако операция была повторена, и на этот раз совершенно удачно. Спустя малое время доктора освидетельствовали трупы, их сняли с виселицы и сложили в большую телегу, покрыв чистым холстом, но похоронить не повезли, ибо было уже совершенно светло и народу собралось тьма-тьмуша. Поэтому телега была отвезена в то же заштупелое здание Училища торгового мореплавания, лошадь отпряжена, а извозчику (кажется из мясников) наказано прибыть с лошадьё в следующую ночь.

Во время казни костры пылали около крепости; в них кидали надломленные шпаги других преступников, которых выводили из крепости и, таким образом лишая их дворянского достоинства и всех почестей, отправляли в Сибирь. В следующую ночь извозчик явился с лошадьё в крепость и оттуда повез трупы по направлению к Васильевскому острову; но когда он довел их до Тучкова моста, из будки вышли вооруженные солдаты и, овладев вожжами, посадили извозчика в будку. Через несколько часов пустая телега возвратилась к тому же месту; извозчик был заплачен и поехал домой.

КАЗНЬ 14 ИЮЛЯ 1825 ГОДА (со слов присутствовавшего по службе при казни)

1825 года июля 14 или 15 числа¹ по определению Верховного суда была назначена казнь для пятерых преступников, а для прочих 120 приговор по степени преступления. Устройство эшафота производилось заблаговременно в С.-Петербургской городской тюрьме под ведением архитектора Гернея и полицеймейстера полковника Посникова. Накануне этого рокового дня с.-петербургский военный генерал-губернатор Кутузов производил опыт над эшафотом в тюрьме, который состоял в том, что бросали мешки с песком весом в восемь пудов на тех самых веревках, на которых должны были быть повешены преступники, одни веревки были толще, другие тоньше. Генерал-губернатор Павел Васильевич Кутузов, удостоверясь лично в крепости веревок, определил употребить веревки тоньше, чтобы петли скорей затянулись. Конча этот опыт, приказал полицеймейстеру Посникову, разобравши по частям эшафот, отправить в разное время от 11 до 12 часов ночи на место казни в Кронверк близ

Петропавловской крепости. Эшафот был отправлен на шести возах, и неизвестно по какой причине вместо шести возов прибыли к месту назначения только пять возов, шестой, главный, где находилась перекладина с железными кольцами, пропал, потому в ту же минуту должны были делать другой брус и кольца, что заняло время около 3 часов, и вместо двух часов казнь совершилась в 5 часов утра.

В 12 часов ночи генерал-губернатор, шеф жандармов с своими штабами и прочие власти прибыли в Петропавловскую крепость, куда прибыли и солдаты Павловского гвардейского полка, и сделан был на площади против монетного двора каре из солдат, куда велено было вывести из каземат[ов], где содержались преступники, всех 120 осужденных, кроме пяти приговоренных к смерти. Из этого каре вызывали по именам и фамилиям, по разрядам преступлений и отправляли тотчас на гласис, где ставили каждого преступника против отряда солдат, к которому он принадлежал по оружию, то есть кавалеристов против кавалерии, пехотных против пехоты, снимали с них мундиры, тут же жгли на кострах и, сломав на голове шпаги, которые, впрочем, были подпилены, надевали на них простые серые кафтаны. В окончание всего опять поодиночке преступники были отведены в казематы в крепость, откуда они были посылаемы из Петербурга по ночам в продолжение месяца или около того, по два и по три за один день, так, чтобы они в дороге не видались. 120 этих преступников были выводимы в каре, а пять осужденных к смерти в то же время ночью были отправлены из крепости под конвоем павловских солдат, при полицеймейстере Чихачеве, в Кронверк на место казни. Эшафот уже строился в кругу солдат, преступники шли в оковах, Каховский шел вперед один, за ним Бестужев под руку с Муравьевым, потом Пестель с Рылеевым под руку же и говорили между собою по-французски, но разговора нельзя было слышать. Проходя мимо строящегося эшафота в близком расстоянии, хоть было темно, слышно было, что Пестель, смотря на эшафот, сказал: «C'est trop»*. Тут же посадили их на траву в близком расстоянии, где они оставались самое короткое время. Так как эшафот не мог быть готов скоро, то их развели в Кронверк по разным комнатам, и когда эшафот был готов, то они опять выведены были из комнат при соупутствии священника. Полицеймейстер Чихачев прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «...за такие злодеяния повесить!» Тогда Рылеев, обратясь к товарищам, сказал, сохраняя все присутствие духа: «Господа! надо отдать последний долг», и с этим они стали все на колени, глядя на небо, крестились. Рылеев один говорил — желал благоденствия России. (...) Потом, вставши, каждый из них прощался с священником, целуя крест и руку его, притом Рылеев твердым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь»; перекрестясь, взшел на эшафот, за ним последовали

* «Это слишком» (фр.). — Сост.

прочие, кроме Каховского, который упал на грудь священника, плакал и обнял его так сильно, что его с трудом отняли. Они были размещены так:

1. Пестель, с правой стороны.
2. Рылеев.
3. Муравьев.
4. Бестужев.
5. Каховский.

При казни было два палача, которые надевали петлю сперва, а потом белый колпак. На груди у них была черная кожа, на которой было написано мелом имя преступника, они были в белых халатах, а на ногах были тяжелые цепи. Когда все было готово, сжатием пружины в эшафоте помост, на котором они стояли на скамейках, упал, и в то же мгновение трое сорвались — Рылеев, Пестель и Каховский упали вниз. У Рылеева колпак упал, и видна была окровавленная бровь и кровь за правым ухом, вероятно от ухаба. Он сидел скорчившись, потому что провалился внутрь эшафота. Я к нему подошел, он сказал: «Какое несчастье!» Генерал-губернатор, видя с гласису, что трое упали, прислал адъютанта Башуцкого, чтобы взяли другие веревки и повесили их, что и было немедленно исполнено. Я был так занят Рылеевым, что не обратил внимания на остальных оборвавшихся с виселицы и не слышал, говорили ли они что-нибудь. Когда доска была опять поднята, то веревка Пестеля так была длинна, что он носками доставал до помоста, что должно было продлить его мучение, и заметно было некоторое время, что он еще жив. В таком положении они оставались полчаса, доктор, бывший тут, объявил, что преступники умерли. Тогда веревки обрезали и отнесли их тут же на одну телегу, и полицеймейстер Дершау отвез их в сарай Кронверка. <...> Говорят, что тела с гириями спустили в море на острове Голодай*. Зрелище это на близко присутствовавших имело сильное влияние, архитектор Герней умер через месяц от горячки, полицеймейстер Посников страдал от болезни более года и умер, он всегда говорил, что это было причиной его болезни. Окончив рассказ, он плакал, и сказал: «Много времени прошло с тех пор, но ни разу не могу вспомнить без слез об этих несчастных».

РАССКАЗ ПОМОЩНИКА ПОЛИЦЕЙСКОГО НАДЗИРАТЕЛЯ О КАЗНИ ДЕКАБРИСТОВ

<...> — Приходим в крепость, явились к плац-майору Подушкину, говорим: честь имеем явиться, присланы от г[осподина] обер-полицеймейстера в ваше распоряжение!

* Другие говорят, что преступники были зарыты на острове Голодай.

— Хорошо, — говорит, — господа, подождите!

Проводили нас там в комнату, зеркала этикие стоят в золоченых рамах. <...> Подошел я к окну, а ночь чудная такая была. Таких прекрасных ночей я немного в жизни помню. <...> Через несколько времени приходит священник Петр Николаевич Мысловский — протопоп Казанского собора. Тут только мы узнали, в чем дело, что ночью назначена казнь. Это был десятый час, а назначено было казнить в два. Мысловский приглашен был исповедовать, увещевать и напутствовать к смерти осужденных. С ним были и св. дары.

Пошел он к ним, а на нас напал такой страх, хуже, чем у Княгинина¹. Дело-то было нешуточное! Сидим все мы такие бледные, дрожим. На кого ни взглянешь, просто лица нет ни на ком; на себя посмотришь в зеркало — то же самое. Точно нас самих к смерти приговорили. Страшно! Ночь-то, я говорю, прелесть какая. А после того как узнал я, что казнить будут, взглянешь на эту ночь, и еще тошнее станет на душе, вот так все сердце и того, просто плакать хочется.

Так прошло несколько часов. Вышел от осужденных Мысловский. Он был очень растроган, плакал. Бестужев, Муравьев и Рылеев исповедовались и много с ним говорили, раскаялись. К Пестелю приходил пастор. Мысловский хотел и его напутствовать, но он отказался, а Каховский исполнил христианский долг как бы по принуждению. Не хотел чистосердечно раскаяться. А эти трое исполнили как следует христианскую обязанность, в особенности Рылеев. Он заставил плакать священника и отдал ему для жены и дочери медальон и крест. <...>

В полночь начали съезжаться в крепость начальствующие лица: Павел Васильевич Кутузов (тогда он был генерал-губернатором), жандармский шеф, полицеймейстеры. Много приехало. Пошла такая суета, что ужас <...>.

Виселицу строили где-то в тюрьме, потом разобрали и ночью должны были привезти в крепость. Только долго не везут. Такая пошла суматоха. Генерал-губернатор Кутузов из себя выходит просто.

В это время из царской фамилии в Петербурге никого не было. Всем этим распоряжался Кутузов. Он вместо Милорадовича поступил. Он всем делом и заведовал. Наконец привезли виселицу, начали ставить. Не так ли что было сделано или забыли что, не знаю, — говорили потом, что будто перекладина пропала, а кто их знает, вряд ли правда. Как ей пропасть? Что-нибудь там может повредилось, это другое дело. Только надобно было починку произвести. Копались с виселицею долго. Как ни понукали, как ни спешили, а все уже дело-то подходило ко дню, в четыре часа еще виселицу ставили.

Нас привели в коридор казематов в Алексеевском рavelине. Сперва-то было ввели в какую-то черную комнату, да сейчас же и вывели. Какая это комната, не могу сказать. Был я там недолго,

да и замечать-то всего не было мочи. Не до того было; жутко, страшно было. Пожалуй, что их судили и допрашивали в этой комнате.

Вывели нас в коридор; с нами был полицеймейстер Тихачев (Чихачев). Вслед за нами офицер привел двенадцать человек солдат Павловского полка с заряженными ружьями и со штыками. При исполнении казни был один только Павловский полк. Других полков солдат я не видел ни одного человека. Привели и двух палачей.

Отворили двери казематов и позвали преступников. Крикнули: пожалуйте, господа!

Они уже были готовы и вышли в коридор. Руки и ноги их были связаны так, что руки были опущены вдоль туловища, а ногами они могли делать самые маленькие шаги. <...> Я как теперь вот на них смотрю. Только ремни. Ремнями были связаны руки и ноги. Они протянули друг другу руки и крепко поцеловались. Рылеев глазами и головой показал на небо. <...>

Когда их установили, мы пошли в таком порядке: впереди шел офицер Павловского полка, командир взвода, поручик Пильман, потом мы пятеро в ряд с обнаженными шпагами. Мы были бледнее преступников и более дрожали, так что можно было сказать скорее, что будут казнить нас, а не их. За нами шли в ряде же преступники. Позади их двенадцать павловских солдат и два палача. Тихачев шел в стороне и наблюдал за процессиею, а сам не становился в нее и определенного места не имел, как мы, например.

Мы двигались вперед медленно, потому что преступники со связанными ногами не могли почти идти.

Таким порядком вышли мы на кронверк. <...> Кронверк состоял из земляных валов и отделялся от поля и крепости водяными рвами. Дорогою преступники могли говорить между собою, но, что они говорили, нельзя было слышать.

Когда мы перешли мост на кронверк, то увидели там солдат с ружьями, толпу преступников и два эшафота. На одном была устроена виселица. Тут я один раз в жизни и видел виселицу. Это, братец мой, качели. <...> Качели только вместо доски к перекладине на веревках людей подвешат. <...> На кронверке во все время играла музыка Павловского полка. <...> Погода была чудная, а тут солнце всходит и музыка играет.

Собрали всех замешанных в бунте. Всех их, кажется, было сто двадцать пять человек. <...> Сперва исполняли приговор над остальными: снимали с них платье на эшафоте, надевали на них арестантское, ломали над головами шпаги и все это; известно, лишали дворянства и чести, шельмовали, как тогда законом было постановлено. Нам все это было видно. Того, над кем уже исполнен был приговор, сейчас же вводили в крепость и сажали в каземат; оттуда уже отправляли в ссылку. В ссылку их тоже возили по ночам, перед утром, когда на улице нет народа.

Когда выпроводили всех, дошла очередь и до наших. Они сидели все время на траве и тихо между собою разговаривали. Когда

пришла их очередь, к ним опять подошел Мысловский, говорил с ними, напутствовал их еще раз к отходу и дал приложиться ко кресту. Они на коленях молча помолились богу, смотря на небо. Тяжело было, братец, смотреть на них! Потом на них надели этикие мешки, которыми они были закрыты от головы до пояса. На шею им на веревках надели аспидные доски с именами и виной их. Мы опять построились в рядок для шествия на эшафот под виселицу. Под самой перекладиной был сделан возвышенный помост; на него надобно было всходить по деревянному очень отлогому откосу. Мы пошли. Тихачев был при нас: все это было в его команде. <...>

Я смотрел на них. Первый стоял Карелин (полицейский) против Пестеля, я против Рылеева, потом Попов против Муравьева, Богданов против Бестужева, а Дубинский против Каховского. Мы могли хорошо видеть их лица. Они были совершенно спокойны, но только очень серьезны, точно как обдумывали какое-нибудь важное дело. Да ведь и минута была серьезная — приготавливались ведь к смерти. Взглянули они в последний раз на небо, да так, братец ты мой, взглянули жалостливо, что у нас вся внутренность перевернулась и мороз подрал по коже. Каховский, правда, немножко сробел. Вцепился этак в батюшку, что его едва оторвали. Страх! Так это было жутко! <...> Мешки им очень не понравились; они были недовольны, и Рылеев сказал, когда ему стали надевать мешок на голову: «Господи! К чему это?» Палачи им стянули руки покрепче. Один конец ремня шел спереди тела, другой сзади, так что они рук поднимать не могли. На палачей они смотрели с негодованием. Видно, что им было крайне неприятно, когда до них дотрагивались палачи.

Когда все было готово, Тихачев велел идти. Ну, мы и пошли опять медленно, а тут это музыка играет Павловского полка... Солдаты этак осужденных сзади натискивали, чтоб они знали, куда идти. Так они все подвигались понемножку вперед по этому деревянному откосу; наконец стали на место. Страшно, брате! ух, страшно! У нас волосы стали дыбом на голове, когда мы подошли под перекладину. Тут нас свели прочь, и мы немножко вздохнули. <...>

Как нас свели с эшафота, то поставили тут же возле. На шею преступникам надели петли, и помост, на котором они стояли, опустился из-под их ног. Так это было уж устроено. Они повисли и забились, заметались. Тут трое средних и сорвались. Веревки лопнули, они и упали вниз. Только на краях остались висеть Пестель и Каховский. <...>

Кутузов сперва прислал адъютанта, а потом и сам лезет, кричит, ругается: что это такое?

— И повесить-то не умеют! — кто-то отвечал из сорвавшихся, кажется, Рылеев.

— Вешать их, вешать скорее! — кричит Кутузов. И боже ты мой, стал тут кричать и ругаться. Подняли тут помост и опять накинули петли. В это время, когда помост был поднят, Пестель и Каховский опять достали до него ногами. Пестель еще был в это

время жив и, кажется, начал немного отдыхать. Тут некоторые стонали, должно быть, от ушиба и боли. Их повесили опять. А говорят, вешать в другой раз не следовало. Это тоже Кутузова вина.

За рвом было немного народу. Рано было, и никто ничего не знал, оттого и не собрались. Народ тоже это зашумел что-то. Кутузов на них закричал, а музыка еще громче стала играть <...>. Прошло этак с полчаса. Доктор говорит, что они давно померли. Велели их снимать. <...>

IV. ДЕКАБРИСТЫ НА КАТОРГЕ, В ССЫЛКЕ И ПОСЛЕ АМНИСТИИ

ИЗ «ЗАПИСОК» М. Н. ВОЛКОНСКОЙ

⟨...⟩ Я с нетерпением ждала минуты своего отъезда; наконец, брат¹ приносит мне газеты и объявляет, что мой муж приговорен. Его разжаловали одновременно с товарищами на гласисе крепости. Вот как это произошло: 13 июля, на заре, их всех собрали и разместили по категориям на гласисе против пяти виселиц. Сергей, как только пришел, снял с себя военный сюртук и бросил его в костер: он не хотел, чтобы его сорвали с него. Было разложено и зажжено несколько костров для уничтожения мундиров и орденов приговоренных; затем им всем приказали стать на колени, причем жандармы подходили и переламывали саблю над головой каждого в знак разжалования; делалось это неловко: несколькими из них поранили голову. По возвращении в тюрьму они стали получать не обыденную свою пищу, а положение каторжников; также получили и их одежду — куртку и штаны из грубого серого сукна.

За этой сценой последовала другая, гораздо более тяжелая. Привели пятерых приговоренных к смертной казни. Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Бестужев-Рюмин (Михаил) и Каховский были повешены, но с такой ужасной неловкостью, что трое из них сорвались, и их снова ввели на эшафот. Сергей Муравьев не захотел, чтобы его поддерживали. Рылеев, которому возвратилась возможность говорить, сказал: «Я счастлив, что дважды за отечество умираю». Их тела были положены в два больших ящика, наполненных негашеной известью, и погребены на Голодаевом острове. Часовой не допускал до могил. Я не могу останавливаться на этой сцене: она меня расстраивает, мне больно ее вспоминать. Не берусь подробно ее описывать. Генерал Чернышев (впоследствии граф и князь) гарцевал вокруг пяти виселиц, глядя на жертвы в лорнет и посмеиваясь.

Моего мужа лишили титула, состояния и гражданских прав и приговорили к двенадцатилетним каторжным работам и к пожизненной ссылке. 26 июля его отправили в Сибирь с князьями Трубецким и Оболенским, Давыдовым, Артамоном Муравьевым, братьями Борисовыми и Якубовичем. Когда я узнала об этом от брата, я ему объявила, что последую за мужем. Брат, который

должен был ехать в Одессу, сказал мне, чтоб я не трогалась с места до его возвращения, но на другой же день после его отъезда я взяла паспорт и уехала в Петербург. <...> Я заложила свои бриллианты, заплатила некоторые долги мужа и написала письмо государю, прося разрешения следовать за мужем. <...>

Теперь я должна вам рассказать сцену, которую я буду помнить до последнего своего издыхания. Мой отец² был все это время мрачен и недоступен. Необходимо было, однако же, ему сказать, что я его покидаю и назначаю его опекуном своего бедного ребенка³, которого мне не позволяли взять с собой. Я показала ему письмо его величества⁴. Тогда мой отец, не владея более собой, поднял кулаки над моей головой и вскричал: «Я тебя прокляню, если ты через год не вернешься». Я ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушку.

Мой отец, этот герой 1812 года, с твердым и возвышенным характером,— этот патриот, который при Дашкове, видя, что войска его поколебались, схватил двоих своих сыновей, еще отроков, и бросился с ними в огонь неприятеля⁵,— нежно любил свою семью; он не мог вынести мысли о моем изгнании, мой отъезд представлялся ему чем-то ужасным.

Мой шурин, князь Петр Волконский, министр Двора⁶, заехал за мной, чтобы везти к себе обедать, и дорогой спросил: «Уверены ли вы в том, что вернетесь?» — «Я и не желаю возвращаться, разве лишь с Сергеем, но, бога ради, не говорите этого моему отцу». Позже мне припомнились эти слова, и я поняла смысл отеческих предостережений, заключавшихся в письме его величества. В ту же ночь я выехала; с отцом мы расстались молча; он меня благословил и отвернулся, не будучи в силах выговорить ни слова. Я смотрела на него и говорила себе: «Все кончено, больше я его не увижу, я умерла для семьи». Я заехала обнять свекровь, которая велела мне вручить как раз столько денег, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска. У меня была куплена кибитка; я уложила в одну минуту, взяла с собой немного белья и три платья да ваточный капот, который надела. Остальные свои деньги я берегла для Сибири, зашив их в свое платье. Перед отъездом я встала на колени у люльки моего ребенка; я молилась долго. Весь этот вечер он провел около меня, играя печатью письма, которым мне разрешалось ехать и покинуть его навсегда. Его забавлял большой красный сургуч этой печати. Я поручила своего бедного малютку попечению свекрови и невесток и, с трудом оторвавшись от него, вышла.

В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской⁷, моей третьей невестки. Она меня приняла с нежностью и добротой, которые остались мне памятны навсегда; окружала меня вниманием и заботами, полная любви и сострадания ко мне. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, бывших тогда в Москве, и несколько талантливых девиц московского общества. Я была в восторге от чудного итальянского пения, а мысль, что я слышу его в последний раз, еще усиливала мой восторг. В дороге я простудилась

и совершенно потеряла голос, а пели именно те вещи, которые я лучше всего знала; меня мучила невозможность принять участие в пении. Я говорила им: «Еще, еще, подумайте, ведь я никогда больше не услышу музыки». Тут был и Пушкин, наш великий поэт; я его давно знала; мой отец приютил его в то время, когда он был преследуем императором Александром I за стихотворения, считавшиеся революционными. Отец принял участие в бедном молодом человеке, одаренном таким громадным талантом, и взял его с собой, когда мы ездили на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно расшатано. Пушкин этого никогда не забыл; он был связан дружбою с моими братьями и ко всем нам питал чувство глубокой преданности.

В качестве поэта он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал. Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!⁸

Позже, в «Бахчисарайском фонтане», он сказал:

... ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи.

В сущности, он любил лишь свою музу и облакал в поэзию все, что видел. Но во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов он был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить свое «Послание к узникам», для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре Муравьевой⁹. <...>

Но возвратимся к моему путешествию. Сестра, видя, что я уезжаю без шубы, испугалась за меня и, сняв со своих плеч салоп на меху, надела его на меня. Кроме того, она снабдила меня книгами, шерстяными для рукоделья и рисунками. Я должна была провести два дня в Москве, так как не могла не повидать родственников наших сосланных; они мне принесли письма для них и столько посылок, что мне пришлось взять вторую кибитку, чтобы везти их. Я покидала Москву скрепя сердце, но не падая духом; со мной были только человек и горничная, которая все «по паспорту ходила»¹⁰ и оказалась очень ненадежной. Я ехала день и ночь, не останавливаясь и не обедая нигде; я просто пила чай там, где находила

поставленный самовар; мне подавали в кибитку кусок хлеба, или что попало, или же стакан молока, и этим все ограничивалось. Однажды в лесу я обогнала цепь каторжников; они шли по поясу в снегу, так как зимний путь еще не был проложен; они производили отталкивающее впечатление своей грязью и нищетой. Я себя спрашивала: «Неужели Сергей такой же истощенный, обросший бородой и с нечесаными волосами?»

Я приехала в Казань вечером; был канун Нового года; меня высадили, не знаю почему, в гостинице; дворянское собрание было на том же дворе, залы его были ярко освещены, и я видела входящие на бал маски. Я говорила себе: «Какая разница! Здесь собираются танцевать, веселиться, а я, я еду в пропасть: для меня все кончено, нет больше ни песен, ни танцев». Это ребячество было простительно в моем возрасте: мне только что минул 21 год. Мои мысли были прерваны появлением чиновника военного губернатора; он меня предупредил, что я лучше сделаю, если вернусь обратно, так как княгиня Трубецкая, которая проехала раньше, должна была остановиться в Иркутске (ее не пустили дальше), а вещи ее подвергли обыску. Я ответила, что все предосторожности мною приняты и что меня пропустят, так как у меня есть на то разрешение государя императора. Это мне напоминает, как сестра Орлова¹¹, чтобы помешать мне ехать, говорила: «Что ты делаешь? Твой муж, может быть, запил, опустился!» — «Тем более мне надо ехать», — отвечала я.

Я продолжала путь; погода была ужасная; хозяин гостиницы мне сказал, что было бы осторожнее обождать, потому что будет метель.

Я подумала, что не с тем еще мне придется бороться в Сибири, велела опустить рогожу с верха кибитки и поехала. Но я не знала степных метелей: снег скопился на полости кибитки, между нами и ямщиком образовалась целая снежная гора. Я заставила прозвонить свои часы, они пробили полночь — мой Новый год, моя встреча Нового года!

ИРКУТСК

Приехав в Иркутск, главный город Восточной Сибири, я нашла его красивым, местность чрезвычайно живописною, реку великолепную, хотя она и была покрыта льдом. Я пошла прежде всего в первую церковь, которая мне встретилась, чтобы отслужить благодарственный молебен; служивший священник оказался впоследствии настоятелем в нашей тюрьме. Моему удивлению и восторгу не было предела, когда я увидела клавикулы, которые моя милая Зинаида Волконская велела привязать сзади моей кибитки, тихонько от меня. Это внимание было мне тем более ценно, что в то время во всем Иркутске имелось лишь одно фортепьяно, которое принадлежало губернатору. Я села играть и петь и не чувствовала себя уже такой одинокой. Занимаемая мною квартира была именно та, из которой Каташа¹² выехала в этот самый день в Забайкалье. Гражданский губернатор Цейдлер¹³, старый немец, тотчас же приехал ко мне,

чтобы наставлять меня и уговорить возвратиться в Россию. Это ему было приказано. Его величество не одобрял следования молодых жен за мужьями: этим возбуждалось слишком много участия к бедным сосланным. Так как последним было запрещено писать родственникам, то надеялись, что этих несчастных скоро забудут в России, между тем как нам, женам, невозможно было запретить писать и тем самым поддерживать родственные отношения.

Губернатор, видя мою решимость ехать, сказал мне: «Подумайте же, какие условия вы должны будете подписать». — «Я их подпишу, не читая». — «Я должен велеть обыскать все ваши вещи, вам запрещено иметь малейшие ценности». С этими словами он ушел и прислал ко мне целую ватагу чиновников. Им пришлось переписывать очень мало: немного белья, три платья, семейные портреты и дорожную аптечку; затем они открыли ящики с посылками. Я им сказала, что все это предназначено для моего мужа; тогда мне предъявили к подписи пресловутую подписку, причем они мне сказали, чтобы я сохранила с нее копию, дабы хорошенько ее запомнить. Когда они вышли, мой человек, прочитавший ее, сказал мне со слезами на глазах: «Княгиня, что вы сделали, прочтите же, что они от вас требуют!» — «Мне все равно, уложимся скорее и поедем!» Вот эта подписка:

1

«Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, делается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе примет на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ними участь, себе подобною; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Законным злодеям не страшны наказания.

2

Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне.

3

Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено; это запрещается существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления.

Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших».

Приведя в порядок вещи, разбросанные чиновниками, и приказав вновь все уложить, я вспомнила, что мне нужна подорожная. Губернатор после данной мне подписки не устаивал меня своим посещением, приходилось мне ожидать его в передней. Я пошла к нему, и мне выдали подорожную на имя казака, который должен был меня сопровождать, мое же имя заменялось словами «с будущим».

По возвращении домой я нашла у себя Александру Муравьеву (рожденную Чернышеву); она только что приехала; выехав несколькими часами ранее ее, я опередила ее на 8 дней. Мы напились чаю, то смеяся, то плача; был повод к тому и другому: нас окружали те же вызывавшие смех чиновники, вернувшиеся для осмотра ее вещей. Я отправилась дальше настоящим курьером; я гордилась тем, что доехала до Иркутска в 20 суток.

Я переехала Байкал ночью при жесточайшем морозе: слеза замерзала в глазу, дыхание, казалось, леденело. В Верхнеудинске, небольшом уездном городке, я не нашла снега; почва там такая песчаная, что вбирает в себя весь снег; то же самое происходит и в Кяхте, в нашем пограничном городе,— холод там ужасный, но нет санного пути. Я остановилась у полковника Александра Муравьева, посланного, но без разжалования¹⁴; его жена и невестки меня приняли с распростертыми объятиями; было уже поздно, и они заставили меня провести у них ночь; на другой день я взяла две перекладные, велела уложить в них вещи, оставила кибитки и отправилась дальше.

Мысль ехать на перекладных меня очень забавляла, но моя радость прошла, когда я почувствовала, что меня трясет до боли в груди; я приказывала останавливаться, чтобы передохнуть свободно. Это удовольствие я испытывала на протяжении 600 верст; при всем этом я голодала: меня не предупредили, что ничего не найду на станциях, а они содержались бурятами, питавшимися только сырой, сушеной или соленой говядиной и кирпичным чаем с топленным жиром. Наконец я приехала в Бянкино к местному богатому купцу, который был очень внимателен ко мне; он приготовил мне целый пир и оказал мне величайшее почтение. Меня одолевал сон, я едва ему отвечала и заснула на диване. На другой день я приехала в Большой Нерчинский Завод — местопребывание начальника рудников. Здесь я догнала Каташу, уехавшую восемью днями ранее. Свидание было для нас большой радостью; я была счастлива иметь подругу, с которой могла делиться мыслями; мы друг друга поддерживали; до сих пор моим исключительным обществом была моя отталкивающая горничная. Я узнала, что мой муж находится в 12 верстах, в Благодатском руднике. Каташа, выдав вторую подписку¹⁵, отправилась вперед, чтобы известить Сергея о моем приезде. По выполнении различных несносных формальностей Бурнашев¹⁶,

начальник рудников, дал мне подписать бумагу, по которой я соглашалась видаться с мужем только два раза в неделю в присутствии офицера и унтер-офицера, никогда не приносить ему ни вина, ни пива, никогда не выходить из деревни без разрешения заведующего тюрьмою, и еще какие-то другие условия. И это после того, как я покинула своих родителей, своего ребенка, свою родину, после того, как я проехала 6 тысяч верст и дала подписку, в которой отказывалась от всего и даже от защиты закона,— мне заявляют, что я и на защиту своего мужа не могу более рассчитывать. Итак, государственные преступники должны подчиняться всем строгостям закона, как простые каторжники, но не имеют права на семейную жизнь, даруемую величайшим преступникам и злодеям. Я видела, как последние возвращались к себе по окончании работ, занимались собственными делами, выходили из тюрьмы; лишь после вторичного преступления на них надевали кандалы и заключали в тюрьму, тогда как наши мужья были заключены в кандалах со дня своего приезда. Бурнашев, пораженный моим оцепенением, предложил мне ехать в Благодатск на другой же день рано утром, что я и сделала; он следовал за мной на своих санях.

БЛАГОДАТСКИЙ РУДНИК

Это была деревня, состоящая из одной улицы, окруженная горами, более или менее изрытыми раскопками, которые там производились для добывания свинца, содержащего в себе серебряную руду. Месторождение было красиво, если бы не вырубил на 50 верст кругом лесов из опасения, чтобы беглые каторжники в них не скрывались; даже кустарники были вырублены; зимою вид был унылый.

Тюрьма находилась у подножия высокой горы; это была прежняя казарма, тесная, грязная, отвратительная. Трое солдат и унтер-офицер содержали внутренний караул; они никогда не сменялись. Впоследствии поставили 12 казаков при унтер-офицере для наружного караула. Тюрьма состояла из двух комнат, разделенных большими холодными сенями. Одна их них была занята беглыми каторжными; вновь пойманные, они содержались в кандалах. Другая комната была предназначена нашим государственным преступникам; входная ее часть занята была солдатами и унтер-офицером, курившими отвратительный табак и нимало не заботившимися о чистоте помещения. Вдоль стен комнаты находились сделанные из досок некоторого рода конуры или клетки, назначенные для заключенных; надо было подняться на две ступени, чтобы войти в них. Отделение Сергея имело только три аршина в длину и два в ширину; оно было так низко, что в нем нельзя было стоять. Он занимал его вместе с Трубецким и Оболенским. Последний, для кровати которого не было места, велел прикрепить для себя доски над кроватью Трубецкого. Таким образом, эти отделения являлись маленькими тюрьмами в стенах самой тюрьмы. Бурнашев предложил мне войти. В первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно; открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бро-

сился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страданий. Вид его кандалов так воспламенил меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом — его самого. Бурнашев, стоявший на пороге, не имея возможности войти по недостатку места, был поражен изъяснением моего уважения и восторга к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обходился как с каторжником.

Действительно, если даже смотреть на убеждения декабристов как на безумие и политический бред, все же справедливость требует признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслужить уважения соотечественников. Кто кладет голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит свое отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял свое дело.

Я старалась казаться веселой. Зная, что мой дядя Давыдов¹⁷ находится за перегородкой, я возвысила голос, чтобы он мог меня слышать, и сообщила известия о его жене и детях. По окончании свидания я пошла устроиться в крестьянской избе, где поместилась Каташа; она была до того тесна, что, когда я леглась на полу на своем матраце, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила, и ее нельзя было топить, когда на дворе было ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда.

По тюремным правилам, на работы ходили ежедневно, кроме воскресенья, от 5 часов утра до 11-ти; урочная работа была в три пуда руды на каждого.

Здесь кстати упомянуть, как правительство ошибается относительно нашего доброго русского народа. В Иркутске меня предупреждали, что я рискую подвергнуться оскорблениям или даже быть убитой в рудниках и что власти не будут в состоянии меня защитить, так как эти несчастные не боятся больше наказаний. Теперь я жила среди этих людей, принадлежавших к последнему разряду человечества, а между тем мы видели с их стороны лишь знаки уважения; скажу больше: меня и Каташу они просто обожали и не иначе называли наших узников, как «наши князья», «наши господа», а когда работали вместе с ними в руднике, то предлагали исполнять за них урочную работу; они приносили им горячий картофель, испеченный в золе. Эти несчастные по окончании срока каторжных работ, выдержав наказания за свои преступления, большею частью исправлялись, начинали трудиться на себя, делались добрыми отцами семьи и даже брались за торговлю. Немного нашлось бы таких честных людей среди выходящих из острогов во Францию или понтон¹⁸ в Англии.

На другой день по приезде в Благодатск я встала с рассветом и пошла по деревне, спрашивая о месте, где работает муж. Я увидела дверь, ведущую как бы в подвал для спуска под землю, и рядом с нею вооруженного сторожа. Мне сказали, что отсюда спускаются наши в рудник; я спросила, можно ли их видеть на работе; этот добрый малый поспешил дать мне свечу, нечто вроде факела, и я в сопровождении другого, старшего, решила спуститься в этот темный лабиринт. Там было довольно тепло, но спертый воздух давил грудь;

я шла быстро и слышала за собой голос, громко кричавший мне, чтобы я остановилась. Я поняла, что это был офицер, который не хотел мне позволить говорить с ссыльными. Я потушила факел и пустилась бежать вперед, так как видела в отдалении блестящие точки: это были они, работающие на небольшом возвышении. Они опустили мне лестницу, я влезла по ней, ее втащили, и таким образом я могла повидать товарищей моего мужа, сообщить им известия о России и передать привезенные мною письма. Мужа тут не было, не было ни Оболенского, ни Якубовича, ни Трубецкого; я увидела Давыдова, обоих Борисовых и Артамона Муравьева. Они были в числе первых 8-ми, высланных из России, и единственных, попавших в Нерчинские заводы. Между тем внизу офицер терял терпение и продолжал меня звать; наконец я спустилась; с тех пор было строго запрещено впускать нас в шахты. Артамон Муравьев назвал эту сцену «моим сошествием в ад».

Приезд наш принес много пользы заключенным. Не имея разрешения писать, они были лишены известий о своих, а равно и всякой денежной помощи. Мы за них писали, и с той поры они стали получать письма и посылки. <...>

Мы получили, наконец, известие от Александрины Муравьевой, которая находилась в Читинском остроге, иначе сказать, в Чите — большой деревне, где находились уже ее муж и несколько других заключенных, привезенных, по обыкновению, в почтовой телеге под конвоем жандармов при фельдъегере. Александрина сообщила нам о прибытии генерала Лепарского с его свитой и о том, что нас всех переведут в Читку. Для нас была большой радостью мысль, что нас соединят с другими и что мы не будем больше под начальством чиновников горного ведомства. <...>

ПРИЕЗД В ЧИТУ И ПРЕБЫВАНИЕ ТАМ

Мы купили две телеги, одну для себя, другую под вещи, и поехали. Я с удовольствием возвращалась по этой дороге, окаймленной теперь красивым лесом и чудными цветами. Я опять остановилась у того богатого купца, который так хорошо меня принял.

Наконец мы приехали в Читку, уставшие, разбитые, и остановились у Александрины Муравьевой. Нарышкина и Ентальцева¹⁹ недавно прибыли из России. Мне сейчас же показали тюрьмы, или острог, уже наполненные заключенными: тюрем было три, вроде казарм, окруженных частоколами, высокими, как мачты. Одна тюрьма была довольно большая, другие — очень маленькие. Александрина жила против одной из последних, в доме казака, который устроил большое окно из находившегося на чердаке слухового отверстия. Александрина повела меня туда и показывала заключенных, называла мне их по именам по мере того, как они выходили в свой огород. Они ходили, кто с трубкой, кто с заступом, кто с книгой. Я никого из них не знала; они казались спокойными, даже веселыми, и были очень опрятно одеты. В числе их были совсем молодые люди, выглядывавшие 18- и 19-летними, как, например, Фролов и братья Борисовы.

Наши ходили на работу, но так как в окрестностях не было никаких рудников, — настолько плохо было осведомлено наше правительство о топографии России, предполагая, что они есть во всей Сибири, — то комендант придумал для них другие работы: он заставлял их чистить казенные хлевы и конюшни, давно заброшенные, как Авгиевы мифологических времен. Так было еще зимой, задолго до нашего приезда, а когда настало лето, они должны были мести улицы. Мой муж приехал двумя днями позже нас со своими товарищами и с неизбежными их спутниками. Когда улицы были приведены в порядок, комендант придумал для работ ручные мельницы: заключенные должны были смолоть определенное количество муки в день; эта работа, налагаемая как наказание в монастырях, вполне отвечала монастырскому образу их жизни. Так провела большая часть их 15 лет своей юности в заточении, тогда как приговор установлял ссылку и каторжные работы, а никак не тюремное заключение.

Мне нужно было искать себе помещение. Нарышкина уже жила с Александриною. Я пригласила с собой Ентальцеву, и втроем с Каташей мы заняли одну комнату в доме дьякона; она была разделена перегородкой, и Ентальцева взяла меньшую половину для себя одной. Этой прекрасной женщине минуло уже 44 года; она была умна, прочла все, что было написано на русском языке, и ее разговор был приятен. Она была предана душой и сердцем своему угрюмому мужу, бывшему полковнику артиллерии. Каташа была нетребовательна и всем довольствовалась, хотя выросла в Петербурге, в великолепном доме Лавала, где ходила по мраморным плитам, принадлежавшим Нерону²⁰, приобретенным ее матерью в Риме, — но она любила светские разговоры, была тонкого и острого ума, имела характер мягкий и приятный.

Заговорив о своих подругах, я должна вам сказать, что к Александрине Муравьевой я была привязана больше всех; у нее было горячее сердце, благородство проявлялось в каждом ее поступке; восторгаясь мужем, она его боготворила и хотела, чтобы и мы к нему относились так же. Никита Муравьев был человек холодный, серьезный — человек кабинетный и никак не живого дела; вполне уважая его, мы, однако же, не разделяли ее восторженности. Нарышкина, маленькая, очень полная, несколько аффектированная, но в сущности вполне достойная женщина; надо было привыкнуть к ее гордому виду, и тогда нельзя было ее не полюбить. Фонвизина²¹ приехала вскоре после того, как мы устроились; у нее было совершенно русское лицо, белое, свежее, с выпуклыми голубыми глазами; она была маленькая, полненькая, при этом очень болезненная; ее бессонницы сопровождались видениями; она кричала по ночам так, что слышно было на улице. Все это у нее прошло, когда она переехала на поселение, но только осталась мания: уставив на вас глаза, предсказывать вам вашу будущность, однако и эта странность у нее потом прошла. По возвращении в Россию она лишилась мужа и 53 лет от роду вышла вторично замуж за Пушина, крестного отца моего сына.

Анненкова приехала к нам, нося еще имя м[адемуазель] Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30; она кипела жизнью и весельем и умела удивительно выискивать смешные стороны в других. Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление его величества относительно ее свадьбы. С Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но по возвращении их опять на него надели. Дамы проводили м-ль Поль в церковь; она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами — Свистуновым и Александром Муравьевым. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни. Когда она подавала просьбу его величеству о разрешении ей ехать в Сибирь, он был на крыльце; садясь в коляску, он спросил ее: «Вы замужем?» — «Нет, государь, но я хочу разделить участь сосланного». Она осталась преданной женой и нежной матерью; она работала с утра до вечера, сохраняя при этом изящество в одежде и свой обычный говор. <...>

В Чите наша жизнь стала сноснее; дамы виделись между собой во время прогулок в окрестных деревнях; мужчины сошлись вновь со своими старыми друзьями. В тюрьме было все общее: вещи, книги; но было очень тесно: между постелями было не более аршина расстояния; звон цепей, шум разговоров и песен были нестерпимы для тех, у кого здоровье начинало слабеть. Тюрьма была темная, с окнами под потолком, как в конюшне. Летом заключенные проводили время на воздухе; каждый из них имел на большом дворе клочок земли, который и обрабатывал; но зимой было невыносимо. В Чите их было 73 человека. <...>

1829 г.

1-го августа 1829 года пришла великая новость: фельдъегерь привез повеление снять с заключенных кандалы. Мы так привыкли к звуку цепей, что я даже с некоторым удовольствием прислушивалась к нему: он меня уведомлял о приближении Сергея при наших встречах.

Первое время нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет, затем я себе говорила, что будет через 10, потом через 15, но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у бога только одного: чтобы он вывел из Сибири моих детей.

В Чите я получила известие о смерти моего бедного Николая, моего первенца, оставленного мною в Петербурге. Пушкин прислал мне эпитафию на него:

В сияньи, в радостном покое,
У трона Вечного Отца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благославляет мать и молит за отца...

Через год я узнала о смерти моего отца. Я так мало этого ожидала, потрясение было до того сильно, что мне показалось, что небо

на меня обрушилось; я заболела, комендант разрешил Вольфу²², доктору и товарищу моего мужа, навещать меня под конвоем солдат и офицеров.

В это время прошел слух, что комендант строит в 600 верстах от нас громадную тюрьму с отделениями без окон; это нас очень огорчало. Я забыла сказать вам, что нас тревожило еще более: за год перед тем через Читу прошли каторжники; с ними были трое наших ссыльных: Сухинин, барон Соловьев и Мозгалевский. Все трое принадлежали к Черниговскому полку²³ и были товарищами покойного Сергея Муравьева; они прошли пешком весь путь до Сибири вместе с обыкновенными преступниками. Они нас уведомили о своем прибытии; муж велел мне к ним пойти, оказать им помощь, постараться успокоить Сухинина, который был очень возбужден, и внушить ему терпение. Острог, где останавливались каторжные, находился за деревней, в трех верстах от моего помещения. Я разбудила Каташу и Ентальцеву на заре, и мы отправились, конечно, пешком, в страшный холод; сделав большой крюк, чтобы избежать часовых, мы дошли до острога. Когда мы приблизились к ограде, эти господа уже стояли там и нас ожидали; было еще довольно темно. Сухинин был в таком возбужденном состоянии, что и слушать нас не хотел; он говорил только о том, что надо поднять каторжных в Нерчинске, вернуться в Читу и освободить государственных преступников. Соловьев, очень спокойного характера, очень терпеливый, сказал мне, что это лишь временное возбуждение, что он успокоится. Наконец я ушла, грустная и встревоженная. К несчастью, мои опасения сбылись. Сухинин, как только прибыл в Нерчинский завод, стал остерегаться своих товарищей; отстранился от них и отдался в руки местных каторжников; они вооружились чем попало и в числе 200 человек отступили к китайской границе; и тут плохой расчет, так как китайцы всегда выдают русскому правительству беглецов, которые им себя вверяют; но наши несчастные безумцы не подверглись этому: они все были перехвачены казаками, охранявшими границу, и заперты²⁴. Отправлен был курьер к его величеству, привезший повеление судить их в 24 часа и расстрелять наиболее виновных. Наш комендант отправился в рудники и исполнил в точности, что ему было повелено. Сухинин узнал о приговоре над ним накануне дня, назначенного для казни, и когда вошли в его тюрьму, то нашли его мертвым: он повесился на балке, подпиравшей потолок, и ремень, который поддерживал его кандалы, послужил ему веревкою. Все остальные приговоренные были выведены за деревню и в числе 20 человек преданы смерти, но каким образом! Солдатам командовали стрелять, но их ружья были стары и заржавлены, а сами они, не умея целиться, давали промахи или попадали то в руку, то в ногу; словом — это было настоящее истязание. На другой день комендант велел похоронить умерших, и когда все удалились, он преклонился перед каждой могилой, прося прощения. Мы узнали все эти подробности от Соловьева и Мозгалевского, которых к нам перевели. Это навело на нас глубокую тоску. Комендант вернулся мрачный и бес-

покойный: он видел перед собой только побег да пожары и спешил с окончанием постройки Петровской тюрьмы²⁵. <...>

Петровская тюрьма была достроена; комендант приказал заключенным готовиться к отъезду. Это перемещение совершилось пешком в августе месяце; делали по 30 верст в день и на другой день отдыхали то в деревне, то у бурят в юртах. Александрина и две другие дамы уехали вперед. Нарышкина, Фонвизина и я ехали следом в нескольких часах расстояния. В 6 верстах от города Верхнеудинска сделали привал. Вблизи этого города баронесса Розен²⁶ встретила своего мужа. Это была отличная женщина, несколько методичная. Она осталась с нами в Петровске всего год и уехала с мужем на поселение в Тобольскую губернию. В это же время прибыла и Юшневская²⁷. Уже пожилая, она ехала из Москвы целых шесть месяцев, повсюду останавливаясь, находя знакомых в каждом городе; в ее честь давались вечера, устраивались катания на лодках; наконец, повеселившись в дороге и узнав, что баронесса Розен уже в Верхнеудинске, она наняла почтовую телегу, как молния, пролетела вдоль нашего каравана и остановилась у крестьянской избы, в которой ждал ее муж. Ей было 44 года; совсем седая, она сохранила веселость своей первой молодости.

Мы вновь пустились в дорогу. На последней станции, не доезжая Петровска, мы застали коменданта; он передал нам письма из России и газеты. Здесь мы узнали об Июльской революции²⁸. Всю ночь то и дело раздавались среди наших песни и крики «ура»; часовые были в недоумении: как они могли забавляться пением, приближаясь к каземату. Дело в том, что эти люди ничего не понимали в политике.

ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД

Подъезжая к Петровску, я увидела громадную тюрьму в форме подковы, под красною крышею. Она казалась мрачной: ни одного окна не выходило наружу; нас, значит, не обманули, сказав, что тюрьма была без окон. Я забыла вам передать, что из Читы все дамы писали графу Бенкендорфу (шефу жандармов), прося разрешения жить в тюрьме; нам это было дозволено. Так как дом Александрины был готов, то она поселилась в нем вне каземата, но все остальные дамы провели несколько дней в номерах своих мужей. Я купила крестьянскую избушку для моей девушки и для человека; я ходила туда переодеваться и брать ванну и доставляла себе удовольствие проводить ночь за тюремными затворами. Уверяю вас, что слышать шум замков было очень страшно. Только год спустя семейным сосланным было разрешено жить вне тюрьмы. Самое нестерпимое в каземате было отсутствие окон. У нас весь день горел огонь, что утомляло зрение. Каждая из нас устроила свою тюрьму по возможности лучше; в нашем номере я обтянула стены шелковой материей (мои бывшие занавеси, присланные из Петербурга). У меня было пианино, шкаф с книгами, два диванчика — словом, было почти нарядно. Мы все писали графу Бенкендорфу,

прося разрешения сделать в каземате окна; разрешение было дано, но наш старый комендант, более трусливый, чем когда-либо, придумал пробить их высоко, под самым потолком. Мы жили уже в своих домах, когда получилось это разрешение. Наши заключенные устроили подмости к окнам, чтобы иметь возможность читать.

Наш дамский кружок увеличился с приездом Камиллы Ле Дантю²⁹, помолвленной за Ивашева; она была дочь гувернантки, жившей в их доме. Жених знал ее еще в отроческом возрасте. Это было прелестное создание во всех отношениях, и жениться на ней было большим счастьем для Ивашева. Свадьба состоялась при менее мрачных обстоятельствах, чем свадьба Анненковой: не было больше кандалов на ногах, жених вошел торжественно со своими шаферами (хотя и в сопровождении солдат без оружия). Я была посаженной матерью четы; все наши дамы проводили их в церковь. Мы пили чай у молодых и на другой день у них обедали. Словом, мы начали мало-помалу возвращаться к обычному порядку жизни; на кухне мы больше не работали, имея для того наемных людей, но солдат всегда был налицо и сопровождал всюду заключенного, дабы тот не забывал своего положения. То же было и со всеми женатыми. {...}

Так начался в Петровске длинный ряд годов без всякой перемены в нашей участи. Те из заключенных, которым срок кончался, уезжали, унося с собой сожаление тех, которые оставались. Некоторые из дам также уехали — Фонвизина, Розен, Нарышкина и Ивашева. Последняя тоже скончалась на поселении, и еще совсем молодая; муж скоро последовал за нею³⁰, и ее мать, приезжавшая к ним для свидания, увезла их сирот в Россию.

Заключенные вне часов, назначенных для казенных работ, проводили время в научных занятиях, чтении, рисовании. Н. Бестужев составил собрание портретов своих товарищей; он занимался механикой, делал часы и кольца; скоро каждая из нас носила кольцо из железа мужниных кандалов. Торсон делал модели мельниц и молотилок; другие занимались столярным мастерством, посылали нам рабочие столики и чайные ящички. Князь Одоевский занимался поэзией; он писал прелестные стихи. {...}

Бедный Одоевский по окончании срока каторжных работ уехал на поселение близ г. Иркутска; затем его отец выхлопотал, в виде милости, перевод его солдатом на Кавказ, где он вскоре и умер в экспедиции против черкесов³¹.

Каземат понемногу пустел; заключенных увозили по наступлении срока каждого и расселяли по обширной Сибири. Эта жизнь без семьи, без друзей, без всякого общества была тяжелее их первоначального заключения.

Наконец настала и наша очередь. Вольф, Никита и Александр Муравьевы и мы выехали один за другим, чтобы не оставаться без лошадей на станциях. Муж заранее просил, чтобы его поселили вместе с Вольфом, доктором и старым его товарищем по службе; я этим очень дорожила, желая пользоваться советами этого прекрасного врача для своих детей; о месте же, куда нас забросит судьба, мы нисколько не беспокоились. Господь был милостив к нам

и дозволил, чтобы нас поселили в окрестностях Иркутска, столицы Восточной Сибири, в Урике, селе довольно унылом, но со сносным климатом, мне же все казалось хорошо, лишь бы иметь для моих детей медицинскую помощь на случай надобности.

В той же деревне был поселен Михаил Лунин, старый товарищ моего мужа. Не найдя для нас подходящей крестьянской избы — все лучшие были заняты другими из наших поселенцев, — мы переехали на 8 верст оттуда к моему свойственнику Поджио, которого привезли за год перед тем из Шлиссельбургской крепости³², он нас принял с распростертыми объятиями и был тем более счастлив нашему приезду, что прошел через восемь с половиной лет одиночного заключения в этой ужасной крепости. <...>

Наша свобода на поселении ограничивалась: для мужчин правом гулять и охотиться в окрестностях, а дамы могли ездить в город для своих покупок. Наши средства были еще более стеснены, чем в каземате. В Петровске я получала десять тысяч рублей ассигнациями, тогда как в Урике мне выдавали всего две тысячи. Наши родные, чтобы восполнить это уменьшение, присылали нам сахар, чай, кофе и всякого рода провизию, как равно и одежду.

Никита Муравьев проводил время в занятиях и чтении. Его мать понемногу переслала ему его библиотеку, воспитание дочери было его самым любимым занятием.

Лунин вел жизнь уединенную; будучи страстным охотником, он проводил время в лесах и только зимой жил оседло. Он много писал и забавлялся тем, что смеялся над правительством в письмах к своей сестре. Наконец он сделал заметки на приговоре над участниками Польской революции. Дело обнаружилось, и вот однажды в полночь его дом оцепляется двенадцатью жандармами, и несколько чиновников входят, чтобы его арестовать³³, застав его крепко спящим по возвращении с охоты, они не поцеремонились разбудить его, но смутились при виде нескольких ружей и пистолетов, висевших на стене; один из них высказал свой испуг; тогда Лунин, обратившись к стоявшему около него жандарму, сказал: «Не беспокойтесь, таких людей бьют, а не убивают». Ему принадлежит также следующая выходка. Во время его первоначального заточения в крепости в Финляндии генерал-губернатор Закревский, посетив тюрьму по служебной обязанности³⁴, спросил его: «Есть ли у вас все необходимое?» Тюрьма была ужасная: дождь протекал сквозь потолок, так как плоха была крыша. Лунин ответил ему улыбаясь: «Я вполне доволен всем, мне недостает только зонтика».

Лунин был увезен всей этой военной стражей, вооруженной против одного человека, и заключен в Акатуе, самой ужасной тюрьме, где содержались преступники-рецидивисты, совершившие убийства и грабежи. Он недолго мог выносить зараженный и сырой воздух этого последнего заключения и умер в нем через четыре года. Это был человек твердой воли, замечательного ума, всегда веселый, бесконечно добрый и глубоко верующий. Его переселение нас очень огорчило. Я ему переслала несколько книг, питательного шоколада для его больной груди и под видом лекарства чернил

в порошок с несколькими стальными перьями, так как у него все отняли при строжайшем запрещении писать и читать что бы то ни стало, кроме Библии. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Е. АННЕНКОВОЙ

<...> Выехала я из Иркутска 29 февраля 1828 года, довольно поздно вечером, чтобы на рассвете переехать через Байкал. Наквасины¹ выехали далеко за город проводить меня. Губернатор заранее предупредил, что перед отъездом вещи мои все будут осматривать, и когда узнал, что со мною есть ружье, то советовал его запрятать подальше. Но главное, со мною было довольно много денег (2 тыс. руб.), о которых я, понятно, молчала. Тогда мне пришло в голову зашить деньги в черную тафту и спрятать в волосы, чему весьма способствовали тогдашние прически. Часы и цепочку я положила за образа так, что когда явились три чиновника, все в крестах, осматривать мои вещи, то они ничего не нашли.

К Байкалу подъезжают по берегу Ангары. Это замечательная река по своему необыкновенно быстрому течению, вследствие чего она зимой не замерзает, по крайней мере, до января месяца. Около Иркутска Ангара очень широка, но в том месте, где она вытекает из Байкала, она течет очень узко, между двух крутых берегов. Все это было для меня так ново, так необыкновенно, что я забывала совершенно все неудобства зимнего путешествия и с нетерпением ожидала увидеть Байкал, это святое море, которое наконец открылось перед нами, представляя необыкновенно величественную картину, несмотря на то что все было покрыто льдом и снегами. Признаюсь, что я с не совсем покойным чувством ожидала переезда через грозное озеро, так как мне объяснили, что на льду образуются часто трещины, очень широкие, и хотя лошади приучены их перескакивать и ямщики запасаются досками, из которых устраивают что-то вроде мостика через трещину, но все-таки переезды эти сопряжены с большой опасностью. На мое счастье, мы не встретили ни одной трещины и переехали Байкал с невероятною быстротою и остановились отдохнуть в Посольске, где находится монастырь.

В Верхнеудинске меня задержали, несмотря на то, что я привезла письмо к казачьему атаману от Цейдлера. Но утром проехал генерал-губернатор иркутский Лавинский² и забрал всех лошадей, так что мне пришлось прождать весь день, что меня очень огорчило.

От Верхнеудинска до Читы 700 верст. Я с трудом подвигалась даже на своих легких повозках, так как снегу было очень мало и мы ехали буквально по мерзлой земле. В Восточной Сибири никогда не бывает глубоких снегов, тогда как в Западной, напротив, выпадает очень много снегу. На всем протяжении от Верхнеудинска до Читы, в то время как я ехала, почти не было никакого населения. Я встретила только три деревни, остальные станции

состояли из буряцких юрт и станционного дома. Бурят вообще я встречала много по дороге: они или перекочевывали с их многочисленными табунами, состоящими из коров, лошадей и преимущественно баранов, которыми они и питаются, или, раскинув свои юрты, отдыхали. Из этих юрт постоянно показывались совершенно голые ребятишки, несмотря на сильнейший мороз; нередко показывались с куском бараньего сала в руках, который они с наслаждением сосали. Я с любопытством смотрела на этих дикарей самого кроткого, миролюбивого нрава. Местами, где по дороге не было совершенно снега и лошади не в силах были стащить экипажи мои, нагруженные множеством разных вещей, буряты являлись нам на помощь с их лошадьми и ничего не хотели брать за оказанные услуги. Если их ребятишки были совершенно голые, то женщины по костюму нисколько не отличались от мужчин: они все носили платье одного покроя, сшитое из овчин, и только волосы у женщин были заплетены в мелкие косички, украшенные кораллами, называемыми ими моржанами. <...>

Наконец, показалась Чита. Чита стоит на горе, так что я увидела ее издалека, к тому же бурят, который вез меня, показал мне пальцем, как только Чита открылась нашим глазам. Это сметливые люди: они уже успели приглядеться к нашим дамам, которые туда ехали одна за другою. Чита ныне (1861) уездный город. Тогда это была маленькая деревня, состоявшая из восемнадцати только домов. Тут был какой-то старый острог, куда первоначально поместили декабристов.

Мы переехали маленькую речку и въехали в улицу, в конце которой и стоял этот острог. Недалеко от острога был дом с балконом, а на балконе стояла дама. Заметя повозку мою, она стала подавать знаки, чтобы я остановилась, и стала настаивать, чтобы я зашла к ней, говоря, что квартира, которую для меня приготовили, еще далеко и что там может быть холодно. Я приняла приглашение и таким образом познакомилась с Александрой Григорьевной Муравьевой. Эта была чрезвычайно милая женщина, молодая, красивая, симпатичная, но ужасно раздражительная. Пылкая от природы, восприимчивая, она слишком все принимала к сердцу и с трудом выносила и свое, и общее положение и скоро сошла в могилу, оставя по себе самую светлую память.

В Читу я спешила приехать к 5 марта — день рождения Ивана Александровича — и мечтала, что тотчас же по приезде увижу его. Даже на последней станции я принарядилась, но Муравьева разочаровала меня, объяснив, что не так легко видеть заключенных, как я думала. <...>

Комендант Лепарский сейчас же выказал свою заботливость, кторую неумоимо окружал нас во все время своего начальства, прислав сказать, что квартира моя готова, и на другой день пришел ко мне и сам, прочел разные бумаги, официальный смысл которых я не могла усвоить, но поняла, что мы не должны ни с кем общаться, никого не принимать к себе и никуда не ходить, а главное, запрещалось передавать в острог вино и что бы то ни было

из спиртных напитков, и чтобы не клали вино в кушанье. Тогда я сказала коменданту, что готова подчиниться всем правилам, но что насчет вина он подал мне прекрасную мысль; употреблять его в кушанья, какие я, как француженка, умею приготовить. Это очень насмешило старика, хотя он уверял меня, что и в кушаньях запрещено употреблять вино. Наконец я сказала ему, что желаю видеть Ивана Александровича, что не напрасно же я приехала за шесть тысяч верст. Он объяснил мне, что сделает распоряжение, чтобы привели мне его. В то время без особенного распоряжения коменданта не приводили мужей к женам, и то, чтобы выпросить такое разрешение, надо было представить важную причину.

Вот подписки, которые давали дамы по приезде своем в Читу: «Я, нижеподписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, государственного преступника Н. Н., Верховным уголовным судом осужденного, и жить в том заводском, рудничном или другом каком селении, где он содержаться будет, если то дозволится от коменданта Нерчинских рудников г. генерал-майора и кавалера Лепарского, обязуюсь по моей чистой совести наблюдать нижеписанные, предложенные им, г. комендантом, статьи; в противном же случае и за малейшее отступление от поставленных на то правил подвергаю я себя законному осуждению. Статьи сии моей обязанности суть следующие:

1. Желая разделить (как выше изъяснено) участь моего мужа, государственного преступника, и жить в том селении, где он будет содержаться, не должна я отнюдь искать свидания с ним никакими происками и никакими посторонними способами, но единственно по сделанному на то от г. коменданта доизволению и токмо в назначенные для того дни, и не чаще, как через два дня на третий.

2. Не должна доставлять ему (мужу) никаких вещей, денег, бумаги, чернил, карандашей без ведома г. коменданта или офицера, под присмотром коего будет находиться муж мой.

3. Равным образом не должна я принимать ни от кого никаких вещей, особливо же писем, записок и никаких бумаг для отсылки их к тем лицам, кому оные будут адресованы или посылаемы.

4. Не должна я ни под каким видом ни к кому писать и отправлять куда бы то ни было моих писем, записок и других бумаг иначе, как токмо через г. коменданта. Равно, если от кого мне или мужу моему через родных или посторонних людей будут присланы письма и прочее, изъясненное в сем и в 3-м пункте, должна я их ему же, г. коменданту, при получении объявлять, если оные не через него будут доставлены.

5. То же самое обещаюсь наблюдать и касательно присылки мне и мужу моему вещей, какие бы они ни были, равно и деньги.

6. Из числа вещей моих, при мне находящихся и которым регистр имеется у г. коменданта, я не вправе без ведома его продавать их, дарить кому или уничтожать. Деньгам же моим собственным, оставленным для нужд моих теперь, равно и вперед от коменданта мне доставленным, я обязуюсь вести приходо-расход-

ную книгу и в оную записывать все свои издержки, сохраняя между тем сию книгу в целости; в случае же востребования ее г-н комендантом оную ему немедленно представлять. Если же окажутся вещи, излишние против находящегося у г-на коменданта регистру, которые мною были скрыты, в таком случае как за противно (сего) учиненный поступок подвергаюсь я законному осуждению.

7. Также не должна я никогда мужу моему присылать никаких хмельных напитков, как то: водки, вина, пива, меда, кроме съестных припасов; да и сии доставлять ему через старшего караульного унтер-офицера, а не через людей моих, коим воспрещено личное свидание с мужем моим.

8. Обязуюсь иметь свидание с мужем моим не иначе, как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера; не говорить с ним ничего излишнего и паче чего-либо не принадлежащего, вообще же иметь с ним дозволенный разговор на одном русском языке.

9. Не должна я нанимать себе никаких иных слуг или работников, а довольствоваться только послугами приставленных мне одного мужчины и одной женщины, за которых также отвечаю, что они не будут иметь никакого сношения с моим мужем, и вообще за их поведение.

10. Наконец, давши таковое обязательство, не должна я сама никуда отлучаться с места того, где пребывание мое будет назначено, равно и посылать куда-либо слуг моих по произволу моему, без ведома г-на коменданта или, в случае отбытия его, без ведома старшего офицера.

В выполнении сего вышеизъясненного в точности под сим подписуюсь. Читинский острог. 1828 года».

После того как ушел от меня Лепарский, часа через два провели мимо моих окон несколько молодых людей, окруженных солдатами, но на этот раз без оков, так как они шли в баню. На возвратном пути один из них отстал от солдат и, подойдя к моему окну, в котором я открыла форточку, проговорил торопливо, что скоро приведут Ивана Александровича Анненкова. Тогда я поставила на крыльцо человека с приказанием предупредить меня, как только он увидит своего барина, а сама превратилась вся в ожидание. Четверть часа спустя человек вызвал меня, и я увидела Ивана Александровича, в старом тулупе с разорванной подкладкой, с узелком белья, который он нес под мышкой. Подходя к крыльцу, на котором я стояла, он сказал мне: «*Pauline, descends vous plus vite et donne moi ta main!*»*. Я сошла поспешно, но один из солдат не дал нам поздороваться, он схватил Ивана Александровича за грудь и отбросил назад. У меня потемнело в глазах от негодования, я лишилась чувств и, конечно, упала бы, если бы человек не поддержал меня. Вслед за Иваном Александровичем провели между другими Михаила Александровича Фонвизина, бывшего до ссылки генералом. Я все стояла на крыльце, как прикованная. Фонвизин

* «Полина, сойди скорее вниз и дай мне руку!» (фр.). — Сост.

приостановился и спросил о жене своей. Я успела сказать ему, что видела ее и оставила здоровою.

Только на третий день моего приезда привели ко мне Ивана Александровича. Он был чище одет, чем накануне, потому что я успела уже передать в острог несколько платья и белья, но был закован и с трудом носил свои кандалы, поддерживая их. Они были ему коротки и затрудняли каждое движение ногами. Сопровождали его офицер и часовой; последний остался в передней комнате, а офицер ушел и возвратился через два часа. Невозможно описать нашего первого свидания, той безумной радости, которой мы предались после долгой разлуки, позабыв все горе и то ужасное положение, в каком находились в эти минуты. Я бросилась на колени и целовала его оковы.

Наступил пост. И как Иван Александрович ни торопил коменданта Лепарского разрешить нам обвенчаться, но приходилось ждать. Наконец, был назначен день нашей свадьбы, а именно 4 апреля 1828 года. Сам Лепарский вызвался быть нашим посаженным отцом, а посаженою матерью была Наталья Дмитриевна Фонвизина, вскоре после меня приехавшая в Читу. Добрейший старик позаботился приготовить образ, которым благословил нас по русскому обычаю, несмотря на то, что сам был католик. Отвергнуть его предложение заменить нам отца я не могла, но образ не приняла. Теперь не могу простить себе такую необдуманную выходку, в которой я много раз потом раскаивалась и которая в то время очень обидела старика. Но я уже сказала, с каким предубеждением все мы смотрели тогда на Лепарского, которого только потом оценили. И мой легкомысленный поступок он так же великодушно простил мне, как прощал многое всем нам, снисходя всегда к нашей молодости и к тому положению, в каком мы находились.

4 апреля 1828 года с утра начались приготовления. Все дамы хлопотали принарядиться, как только это было возможно сделать в Чите, где, впрочем, ничего нельзя было достать, даже свечей не хватало, чтобы осветить церковь прилично торжеству. Тогда Елизавета Петровна Нарышкина употребила восковые свечи, привезенные ею с собою, и освещение вышло очень удачное. Шафера непременно желали быть в белых галстуках, которые я им устроила из батистовых платков, и даже накрахмалила воротнички, как следовало для такой церемонии. Экипажей, конечно, ни у кого не было. Лепарский, отъехав в церковь, прислал за мной свою коляску, в которой я и приехала с Натальей Дмитриевной Фонвизиной. Старик встретил нас торжественно у церкви и подал мне руку. Но так как от великого до смешного один шаг, как сказал Наполеон, так тут грустное и веселое смешалось вместе. Произошла путаница, которая всех очень забавляла и долго потом заставляла шутить над стариком. Мы с ним оба как католики весьма редко раньше бывали в русской церкви и не знали, как взойти в нее. Между тем народу толпилось пропасть у входа, когда мы подъехали, и пока Лепарский высаживал меня из коляски, мы не заметили с ним, как Наталья Дмитриевна исчезла в толпе и пробралась в церковь,

которая, на нашу беду, была двухэтажная. Не знаю почему, старику показалось, что надо идти наверх, между тем лестница была ужасная, а Лепарский был очень тучен, и мы с большим трудом взошли наверх. Там только заметили свою ошибку и должны были спуститься снова вниз. Между тем в церкви все уже собрались и недоумевали, куда я могла пропасть с комендантом. Это происшествие развлекло всех, и, когда мы появились, нас весело встретили, особенно шутили наши дамы, которые уже находились в церкви и были смущены тем, что невеста исчезла. Не было только одной из нас, это Александрины Григорьевны Муравьевой, которая накануне только получила известие о смерти своей матери графини Чернышевой. Остальные все, Нарышкина, Давыдова, Ентальцева, княгиня Волконская и княгиня Трубецкая, присутствовали на церемонии.

Веселое настроение исчезло, шутки замолкли, когда привели в оковах жениха и его двух товарищей, Петра Николаевича Свистунова и Александра Михайловича Муравьева, которые были нашими шаферами. Оковы сняли им на паперти. Церемония продолжалась недолго, священник торопился, певчих не было. По окончании церемонии всем трем, т. е. жениху и шаферам, надели снова оковы и отвели в острог. Дамы все проводили меня домой. Квартира была у меня очень маленькая, мебель вся состояла из нескольких стульев и сундуков, на которых мы кое-как разместились.

Спустя несколько времени плац-адъютант Розенберг³ привел Ивана Александровича, но не более как на полчаса. Только на другой день нашей свадьбы удалось нам с Иваном Александровичем посидеть подольше. Его привели ко мне на два часа, и это была большая милость, сделанная комендантом. Почти во все время нашего пребывания в Чите заключенных не выпускали из острога, и вначале мужей приводили к женам только в случае серьезной болезни последних, и то на это надо было испросить особенное разрешение коменданта. Мы же имели право входить в острог на свидание через два дня на третий. Там была назначена маленькая комната, куда приводили к нам мужей в сопровождении дежурного офицера. <...>

В те дни, когда нельзя было идти в острог, мы ходили к тыну, которым он был окружен. Первое время нас гоняли, но потом привыкли к нам и не обращали внимания. Мы брали с собой ножики и выскабливали в тыне скважинки, сквозь которые можно было говорить, иногда садились у тына, когда попадался под руки какой-нибудь обрубок дерева. <...>

Стража в Чите состояла из инвалидов, и часто нам приходилось сносить дерзости этих солдат, несмотря на то что комендант очень строго взыскивал с них за малейшую грубость. Сами заключенные им охотно прощали, сознавая, что они это делали по глупости своей. Гораздо чувствительнее и обиднее, когда из офицеров попадались такие, которые превратно понимали свои обязанности и позволяли себе выходки, желая, вероятно, выслужиться или думая, что исполняют свой долг, так как из Петербурга, кажется, если не

ошибаюсь, было приказание говорить «ты» заключенным. <...>

В конце 1829 года привезли в Читу Лунина, который оставался в крепости, не знаю только в какой и почему, долее других. Это был человек замечательный, непреклонного нрава и чрезвычайно независимый. Своим острым, бойким умом он ставил в затруднительное положение всех, кому был подчинен. С ним положительно не знали что делать. Несмотря на всю строгость относительно нашей переписки, он позволял себе постоянно писать такие вещи, что дважды получил от сестры через Лепарского письмо, которое начиналось так: «Je viens de recevoir votre lettre, froissée par le main qui commande...»* Письмо действительно дошло до нее измятое.

Все наши письма проходили не только через коменданта Лепарского, которому мы обязаны были отдавать их незапечатанными, но они шли еще через III отделение, и, вероятно, более интересные из них читал сам государь Николай Павлович.

Лунин окончил дни свои во вторичной ссылке в Акатуе, куда был отвезен из места своего поселения, деревни Урики, близ Иркутска. Сначала предполагали всех декабристов поместить именно в Акатуе и даже выстроили там для них помещение, но Лепарский донес, насколько это место могло быть губительно для здоровья, и тогда было решено строить тюремный замок в Петровском заводе.

В Акатуе находятся главные серебряные рудники, и воздух так тяжел, что на триста верст в округности нельзя держать никакой птицы — вседохнут. На Лунина был сделан исправником донос, пока он находился в Урике, вследствие чего он и был вторично сослан в каторжную работу.

После полуторагодового пребывания в Чите с заключенных были сняты оковы. Сделано было это с большой торжественностью: комендант приехал в острог в мундире объявить монаршую милость и цепи снимались в присутствии его и всей его свиты. После того, как мужья наши были освобождены от цепей и с ними сделались милостивее, солдаты перестали гонять нас от ограда и мужей стали пускать к нам каждый день, но на ночь они должны были возвращаться в острог: это была первая милость, которую нам делали, потом эти милости продолжались. Их княгиня Трубецкая называла «грошовыми».

В Чите, и даже в первое время в Петровском заводе, заключенные обязаны были выходить на разные работы, для чего были назначены дни и часы, но работы эти не были тягостны, потому что делались без особого принуждения. Это время служило даже отдыхом для заключенных, потому что в остроге вследствие тесноты ощущался недостаток воздуха. Сначала их выводили на реку колоть лед, а летом заставляли также мести улицы, потом они ходили засыпать какой-то ров, который, не знаю почему, называли «Чер-

* «Я получила ваше письмо, скомканное рукою начальника» (фр.). — Сост.

товой могилой». Позднее устроили мельницу с ручными жерновами, куда их посылали молоть.

Мы, конечно, искали возможности поговорить с нашими мужьями во время работ, но это было запрещено, и солдаты довольно грубо гоняли нас. Кн. Трубецкая рассказывала мне, когда я приехала в Читу, как она была поражена, когда увидела на работе Ивана Александровича. Он в то время мел улицу и складывал сор на телегу. На нем был старенький тулуп, подвязанный веревкою, и он весь оброс бородой. Кн. Трубецкая не узнала его и очень удивилась, когда ей муж сказал, что это был тот самый Анненков — блестящий молодой человек, с которым она танцевала на балах ее матери графини Лаваль.

Кн. Трубецкая и кн. Волконская были первые из жен, приехавшие в Сибирь, зато они и натерпелись более других нужды и горя. Они проложили нам дорогу и столько выказали мужества, что можно только удивляться им. Мужей своих они застали в Нерчинском заводе, куда они были сосланы с семьей их товарищами еще до коронации императора Николая⁴. Подчинены они были Бурнашеву — начальнику Нерчинских заводов, Бурнашев был человек грубый и даже жестокий; он всячески притеснял заключенных, доводил строгость до несправедливости, а женам положительно не давал возможности видеться с мужьями. В Нерчинске, точно так же, как и в Чите, выходили на работы, но в Нерчинске все делалось иначе под влиянием Бурнашева: заключенных всегда окружали со всех сторон солдаты, так что жены могли их видеть только издали. Кн. Трубецкой срывал цветы на пути своим, делал букет и оставлял его на земле, а несчастная жена подходила поднять букет только тогда, когда солдаты не могли этого видеть.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О. И. ИВАНОВОЙ О СВОЕМ ОТЦЕ И. А. АННЕНКОВЕ

Первые мои воспоминания — тюрьма и оковы. Но, несмотря на всю суровость этих воспоминаний, они лучшие и самые отрадные в моей жизни.

Тюрьма, так живо и ясно сохранившаяся в моей памяти, — та самая, которая была построена в Петровском заводе для декабристов. Из их записок, напечатанных во многих журналах или изданных отдельными книгами, многое уже известно. Известно, что тюрьма была построена по плану, представленному на рассмотрение и утверждение самого государя императора Николая Павловича, и что предварительно в казематах не было окон. Все строение представляло из себя квадрат, половину которого, в виде покоя, занимало жилое здание, а другая была обнесена высоким тыном. Таким образом, внутри образовался большой двор, служивший местом для прогулок заключенных. <...>

В жилом здании помещались казематы. Это были довольно просторные, высокие комнаты, но без окон и не имеющие между собою сообщения. Двери из них выходили в широкий и светлый коридор, над дверьми были продолговатые и узкие окошки, посредством которых и проникал свет. Но, когда приходилось читать или чем-нибудь заниматься, его было недостаточно, и надо было открывать двери в коридор, а это, конечно, представляло много неудобств. Недостаток света скоро повлиял на здоровье заключенных, что возбудило сильный ропот среди жен декабристов. Они в письмах своих в Россию к родным горько жаловались, что мужья их хворают и слепнут. Их сетования и жалобы дошли до государя, и тогда по его милостивому повелению были проделаны окна в наружной стене. Кажется, даже сам комендант Лепарский, присланный исключительно для сосланных по делу 14 декабря, донес, что здоровье заключенных может сильно пострадать оттого, что они живут как бы в постоянных сумерках.

Я начинаю помнить тюрьму, когда окна были уже прорублены, но они были сделаны такие узкие и так высоко, что света все-таки никогда достаточно не проникало. Посередине здания, с длинной его стороны, была гауптвахта. Ворота, через которые надо было проходить, запирались с внутренней стороны несколькими замками; визг задвижек, звон ключей, щелканье замков, дежурные адъютанты и множество часовых — все это не могло не врезаться в память ребенка, и я хорошо помню, как нас, брата¹ и меня, иногда водили в казематы к тем товарищам моего отца, которые чаще бывали у моей матери. Понятно, что обстановка у заключенных была более чем скромная: кроме кровати, самых простых стульев ничего не было, но зато не было недостатка в книгах и журналах всякого рода, не только русских, но и французских, немецких и английских. Все это выписывалось дамами или присылалось родственниками в изобилии. Вообще недостатка в чтении не было, и впоследствии у многих декабристов составились целые библиотеки. Умственная жизнь вознаграждала лишение свободы. Товарищи по ссылке передавали друг другу свои знания; таким образом многие научились тем иностранным языкам, которые им были неизвестны до ссылки. Дамы оказывали большую помощь в сношениях с родными и друзьями, оставленными в России. Они не только вели деятельную и постоянную переписку, но служили секретарями и другим сосланным; у каждой из них было по нескольку человек, за которых они писали письма, так как самим заключенным было строго запрещено писать даже самым близким родственникам. Письма дам проходили через руки коменданта и отдавались ему незапечатанными; точно так же письма из России проходили через его руки и должны были читаться им. <...>

Без разрешения коменданта никто из заключенных не смел покидать тюрьму. Обыкновенно оно испрашивалось через дежурного адъютанта, который утром ежедневно обходил казематы, но иногда дамы писали записки Лепарскому, прося отпустить кого-либо из знакомых побывать у них. <...>

Раньше окончания постройки тюрьмы в Петровском заводе, пока декабристы находились еще в Чите, жены их постарались устроить себе помещения в слободе или при заводе, в чем им помогал кто-то из служивших там. Таким образом, когда мужей перевели из Читы, почти у всех жен были куплены дома. Только баронесса Розен и Янтальцева или Юшневская не имели собственных, а нанимали у обывателей. Дамы были устроены хорошо и, насколько позволяли обстоятельства, комфортабельно. Они жили недалеко друг от друга на одной улице, которую сами декабристы называли «дамскою», а местные жители «барскою» или «княжескою». Я была слишком мала, когда меня перевезли в Петровский завод, и сама помнить не могу, но слышала впоследствии не раз, что в первое время, пока женатым не разрешено было проводить весь день на дому у своих жен, если не все дамы, то многие из них жили в тюрьме, где делили казематы со своими мужьями. Потом постепенно делались многие облегчения. Так, сперва позволили женатым уходить утром и возвращаться только ночевать, а со временем и это было смягчено, и им позволили даже ночевать в домах их жен.

Первых, которые не желали остаться в России, а решили разделить участь своих сосланных мужей, было девять, а именно: кн. Волконская, кн. Трубецкая, Нарышкина, Фонвизина, Муравьева, Давыдова, Юшневская, баронесса Розен и Янтальцева. Потом приехала в Читу моя мать. Она была невестой, когда отец был арестован и осужден, притом французенка, а не русская подданная, а потому не могла воспользоваться установленными правилами, разрешающими женам следовать за их сосланными мужьями. Ей пришлось преодолеть много препятствий, чтобы приехать к отцу. <...>

Позднее, уже в Петровский завод, приехала другая француженка, Камилла Петровна Ледантю, прелестная и красивая молодая девушка, чтобы выйти там замуж за Василия Петровича Ивашева. Молодые люди гораздо раньше, еще до 14 декабря, были знакомы, так как мать Камиллы Петровны была гувернанткой в доме Ивашевых, где дочь ее воспитывалась вместе с сестрами Василия Петровича. Молодой Ивашев, служа в гвардии, не помышлял в то время о женитьбе, хотя не мог не интересоваться Камиллой Петровной. Со стороны же молодой девушки чувство было, как видно, гораздо глубже, и оно невольно выказалось в то время, как вся семья горевала и оплакивала человека, к которому она чувствовала непреодолимое сердечное влечение. Когда Ивашева вместе с другими отправили в Сибирь, Камилла Петровна не скрывала более, что готова следовать за ним. Мать и сестра, нежно любившие несчастного, который для них как бы умер, порешили сообщить ему о великодушном порыве девушки, когда он был еще в Читинском остроге. Он долго колебался, страшась своего положения, не решался принять на себя такую ответственность, но товарищи уговорили его, и он с большой борьбой принял

предложение Камиллы Петровны, на которое смотрел как на жертву. <...>

Исключительное положение, в котором находились декабристы, переживаемые ими тревоги, опасения, рассказы о прошлом, стремление в Россию — обетованную землю, как они ее называли, — все это действовало на детское воображение и вырабатывало самые чувствительные, впечатлительные нервы. Такими и вышли старшие дети декабристов, родившиеся в Чите и Петровском заводе.

Мне было полтора месяца, когда мать везла меня на руках из Читы, где я родилась, в Петровский, и 6 лет, когда семья выехала из Петровского завода, и тут оканчиваются лучшие времена моего детства. Няньки у меня никогда не было. Меня качали, нянчили, учили и воспитывали декабристы. При рождении акушерки тоже не было, и принял меня доктор Вольф, товарищ отца по ссылке, которого я потом полюбила до обожания.

Известно многим уже, какие люди были декабристы, с каким достоинством переносили свое положение, какую примерную, безупречную жизнь вели они сначала на каторжной работе, а потом на поселении, разбросанные по всей Сибири, и как они были любимы и уважаемы везде, куда бросала их судьба. Лично для меня они были незаменимы, я их потом везде искала, мне их недоставало в жизни, когда по выходе замуж я переехала в Россию. И это легко понять, когда вспомнишь, что декабристы за все время своего изгнания, даже во время поселения, когда тысячи верст их разделяли, составляли как бы одну семью, тесно связанную между собою общими интересами и самою святою нежною дружбою. Естественно, что в Петровском заводе связь эта была еще сильнее и заметнее, а дружба неразрывнее, так как тогда положительно все было общее. Понятно, что у детей, все это видевших, составилось такое понятие, что все между собою родные, близкие и что весь мир такой (другого они не видели), а потому тяжело им было потом в жизни привыкать к другим людям и другой обстановке. При этом положение было слишком изолированное, и такое отчуждение от жизни, от людей не могло не отзываться на детях. По крайней мере о себе могу сказать, что много выстрадала впоследствии от недостатка житейской опытности, и если с годами приобрела сколько-нибудь практичности в жизни, то заплатила за это большою ценою. Но если декабристы не научили нас житейской мудрости, зато они вдохнули нам такие чувства и упования, такую любовь к ближнему и такую веру в возможность всего доброго, хорошего, что никакие столкновения, никакие разочарования не могли потом истребить тех идеалов, которые они нам создали. Может быть, у них самих было много увлечений, может быть, они ошибались и нам, детям, передали ту же способность, но стремления их были так честны, так благородны и возвышенны, что все те, кто сближались с ними в Сибири, были проникнуты к ним глубоким уважением. Они никогда не изменяли своим правилам, были искренни в своих убеждениях и поступках и потому не допускали ни в чем обмана, лжи или лице-

мерия. Благо России и общественную пользу они ставили выше всего. <...>

Но несмотря на всю нежность, заботы и ласки, которыми нас окружали в детстве, мы не были балованными детьми, какими могли бы сделаться, так как кругом нас были люди, оторванные от своих семей. Почти каждый из них оставил на родине родственника-ребенка, а потому, естественно, привязывался к нам, хотя и чужим детям. Балованными мы потому не могли быть, что с нами были строги, требовательны и даже взыскательны относительно наших маленьких обязанностей. Особенно в моей семье к нам относились строго, даже, можно сказать, сурово. Отец мой, несмотря на всю любовь к нам, которую он потом столько раз в жизни доказывал, был к нам строг и суров. Мы его страшно боялись, несмотря на то что он почти никогда не возвышал голоса. Это был человек с непреклонным характером и железной силою воли. Я никогда не слыхала от него ни малейшего ропота на судьбу или сожаления о прошедшем. Он никогда не жаловался на свое положение, а оно было тяжелее, чем других его женатых товарищей, которым родственники старались улучшить положение и много присылали из России как деньгами, так и всякими необходимыми вещами. Отец мой иногда нуждался даже в самом необходимом, несмотря на то что до ссылки был наследником громадного состояния. <...> Но все это состояние оставалось в руках матери, которая была уже в преклонных летах, ничем сама не занималась, и состояние расстроилось при ее жизни. За все же время ссылки своего сына она ему очень мало, можно сказать, почти не помогала. Мы жили исключительно на проценты с капитала в 60 тысяч, который милостью государя Николая Павловича был отдан моей матери. Эти деньги находились при отце в ту минуту, как его арестовали, и, конечно, были отобраны вместе с другим имуществом. <...> Таким образом, жизнь наша до некоторой степени была обеспечена, хотя, не получая пособий от своей матери — моей бабушки, отцу приходилось иногда очень трудно, и вообще он был очень стеснен материально. Эти недостатки и лишения не были чувствительны на Петровском заводе, где, как я уже говорила, все было общее и жили одной дружной семьей. Особенно мы, дети, не чувствовали никакой разницы состояния. Нас часто приглашали в тот или иной дом, где было получено что-либо из России и где все полученное делилось между нами. Так, однажды за мною пришел Федор Федорович Вадковский от Трубецких с приглашением на детский праздник. Там разыгрывали присланные вещи в лотерею, что, конечно, очень заняло и радовало детей.

Всех чаще за время пребывания в Петровском заводе у нас в доме бывал Петр Николаевич Свистунов, которому я обязана позднее, уже когда мы жили в Тобольске, уроками музыки. Он страстно любил музыку и много ею занимался, и даже одно время перенес свой рояль (это было в Петровском заводе, куда ему одному из первых был прислан рояль) к нам и тогда

аккомпанировал матери моей, когда она пела, даже русские романсы несмотря на то, что была француженка, очень плохо говорила по-русски и никогда не училась музыке. У нее был замечательный природный слух и редко приятный контральто, хотя совершенно необработанный. Тогда у нас собиралось много товарищей отца обедать, а иногда оставались и вечером. Помню, что раз даже был бал, на котором много танцевали. Обеды всегда были очень вкусны; за невозможностью иметь мало-мальски порядочного повара мать всегда сама следила за всем: ходила постоянно на кухню, которую везде старалась устроить возможно удобным образом, и сама приучала кухарок готовить.

Первые уроки русского языка давал мне Бечастный Владимир Александрович. Я сейчас как будто его вижу: маленького роста, он всегда ходил на цыпочках, вечно суетился и спешил. Он очень был предан моей матери и всегда старался помочь ей в ее заботах по хозяйству. Однажды у нас обедало довольно много гостей. Мать встала из-за стола и пошла за маринованными ягодами, которые она, должно быть, особенно хорошо приготавлила, так как помню, что все их любили и всегда хвалили. Бечастный побежал за нею, чтобы помочь, и вскоре возвратился, держа огромную банку с маринадом в руках; видно было, как он старался нести ее как можно осторожнее. Не знаю, что могло произойти в дверях, но только банка выпала из рук и, конечно, разбилась в мелкие дребезги со всем содержимым. Произошел общий смех, и вообще Бечастному доставалось от товарищей за его неловкость. Шуткам и рассказам о нем не было конца.

Панов постоянно рассказывал мне басни и даже выписал для меня первое издание басен Крылова, которое теперь составляет библиографическую редкость. От него же я узнала первые сказки: Красную шапочку, Спящую царевну и др. Как ни была я мала, но я очень не любила на себе пятен и однажды горько плакала, так как запачкала платье. Петр Николаевич Свистунов имел терпение продержать меня на коленях и утешать, пока я не успокоилась. Другой раз, когда я сильно захворала и мне поставили на грудь мушку, доктор Вольф и Артамон Захарович Муравьев не отходили от меня и по ночам сменяли друг друга.

Фердинанд Богданович Вольф вскоре сделался известен как очень искусный доктор. Слава о нем гремела, и к нему приезжали отовсюду, даже из Иркутска, просить его советов и помощи. Это был чрезвычайно сердечный человек, горячо любивший своих ближних. К больным своим он относился с таким вниманием, какого я уже потом не встречала. С необыкновенно тихими, ласковыми и кроткими приемами он умел очаровать и подчинить своей воле больных. С этим вместе он был очень образован, предан науке и во все время ссылки не переставал заниматься и интересоваться медициною. Недостатка в книгах по медицине, в хирургических инструментах, а также и в медицинских пособиях никогда не было. Благодаря заботам наших дам все это в изобилии

выписывалось из России и присылалось родственниками. Позднее, когда Вольф был поселен в деревне Урике, близ Иркутска, положительно весь Иркутск обращался к нему и за ним беспрестанно присылали из города. Может быть, тому способствовало его бескорыстие, которое доходило до того, что он ничего не брал за свои визиты. Я помню один случай, произведший на всех большое впечатление. Однажды, когда он вылечил жену одного из самых крупных иркутских золотопромышленников, ему вынесли на подносе два цибика, фунтов на 5 каждый: один был наполнен чаем, а другой с золотом, и Вольф взял цибик с чаем, оттолкнув тот, который был с золотом. Я была тогда ребенком, но у меня замечательно врезалось в памяти, как все были поражены этим поступком и как долго о нем говорили. Тем более поражаю всех такое бескорыстие, что Вольф не имел никакого состояния и жил только тем, что получал от Екатерины Федоровны Муравьевой, матери двух сосланных Муравьевых, желание которой было, чтобы он никогда не расставался с ее сыновьями. Он и был с ними неразлучен до самой смерти, жил сначала в Урике с обоими братьями, Никитой и Александром Михайловичем, потом, после смерти Никиты, переехал с Александром в Тобольск, где недолго его пережил². 60-ти с чем-то лет скончался этот достойный человек на руках отца и матери моих. Наружность Вольфа производила также впечатление: он был красив и необыкновенно приятен, носил всегда все черное, начиная с галстука, и дома носил на голове маленькую бархатную шапочку в виде фески. Жил он в Тобольске совершенно аскетом в маленьком домике в саду, выстроенном нарочно для него Александром Муравьевым. Замечательны были в этом человеке любовь к ближним, необыкновенное терпение и снисхождение ко всем. Он лично не искал в людях, ничего не просил и не требовал, но был редкой отзывчивости, когда приходили к нему, призывая его на помощь, и он видел, что может быть полезен. <...>

Утраты и горе, не щадящие людей ни в каком положении, посетили также и узников Петровского завода. Все были страшно опечалены смертью одного из своих товарищей, который скончался совершенно неожиданно. Это был Пестов. Вскоре после него семья декабристов перенесла новую утрату, которую все долго и горько оплакивали: скончалась одна из самых прелестных женщин, а именно — Александра Григорьевна Муравьева, урожденная графиня Чернышева, жена Никиты Михайловича³. Потом в нашей семье смерть унесла сестру, которая была старше меня, и брата. <...> С 1831 года стали понемногу разъезжаться из Петровского завода на поселение те, которым оканчивался срок каторжным работам. Хотя между декабристами было много очень богатых людей, получавших частным образом от родных очень хорошие средства, но были и такие, которым не от кого было получать, а потому не имеющие никаких средств к существованию. Очень понятно, что мысль, как устроится

и сложится жизнь на поселении, всех заботила, особенно неимущих, так как тем предстояло думать о куске хлеба. <...>

В 1836 году выехали из Петровского завода все принадлежавшие ко второй категории, а следовательно, и мой отец. Но по привычке своей никогда не спешить и по медлительности своего характера он выехал позднее других, а именно — 20 августа, так что нам приходилось переезжать через Байкал в то время, когда там свирепствуют осенние бури, и мы едва не погибли при переправе через это бурное озеро.

Из числа тех, кто первыми оставили Петровский завод, Фонвизин и Краснокутский были назначены в Красноярск. Отцу моему также хотелось поселиться там, но, не знаю почему, это не удалось, и он был назначен в село Бельск, около 130 верст от Иркутска. Там же, недалеко, в деревне Урике, были поселены Волконский, братья Муравьевы — Никита и Александр, Вольф и Лунин, а в Каменке — Свистунов. <...>

В селе Бельске мы пробыли около двух лет и все это время находились в постоянных тревогах и волнениях. Жизнь была самая безотрадная и даже не совсем безопасная. Бельск когда-то был заселен ссыльными раскольниками, и в то время, когда мы жили там, большинство жителей занималось конокрадством, так что постоянно приходилось слышать, что там-то ограбили, там-то убили, чего хуже, подожгли, чего мы особенно боялись, так как не имели почти никаких средств против пожара. Не проходило почти ни одного дня, чтобы не рассказывали о каком-нибудь ужасном происшествии. Раза два пробовали забраться и к нам. Мы все были так напуганы, что отец и мать ложились спать только тогда, когда вставала наша старая няня, находившаяся при нас. <...> Пока не последовало всемирнейшего повеления о переводе нашем в Восточную Сибирь⁴, приходилось подчиняться обстоятельствам и уживаться в Бельске, где, кроме нас, был поселен только один декабрист, Петр Федорович Громницкий, который и делил с нами все невзгоды, так обильно посетившие нас в этой глуши. Мать от постоянной тревоги, беспокойства и разных тревог все время хворала, мы же с братом подрастали и были лишены не только уроков, но даже детских игр, так как помещение было очень тесное.

Отцу с большим трудом удалось нанять у одной вдовы дом, который, как все крестьянские дома в той местности, состоял из двух комнат: одна чистая, с голландскою печкою, другая — с огромною русскою. Обе комнаты разделялись широкими сенями, где впоследствии с большим трудом удалось устроить плиту. Все это было чрезвычайно неудобно. Конечно, ни мебели, ни посуды, ничего того, что составляет необходимость для людей с известными привычками, немислимо было достать, и надо было мириться с полнейшим недостатком во всем, даже в жизненных припасах. Чтобы иметь хотя бы молоко, пришлось заводить свое хозяйство, которое отец решил устроить по образцу крестьянских, и двор наш начал наполняться лошадьми,

коровами, птицею и вообще всем необходимым, чтобы жить, не покупая ничего, так как купить было негде. Все эти обитатели нашего двора требовали обильного корма, а сено и овес нельзя было купить иначе, как в базарном селе, и то в дни базара. Село же это, названия которого не помню, было довольно далеко от Бельска, между тем отлучаться с места жительства для декабристов было сопряжено с большими затруднениями вследствие вновь последовавших распоряжений со стороны правительства⁵.

Отец, как и все декабристы, был поставлен в самое затруднительное положение; он рисковал за каждый неосторожный шаг, не понятый или прямо превратно истолкованный старшиною⁶; быть судимым, и очень строго.

⟨...⟩ Между тем отец продолжал устраивать хозяйство, во-первых, потому, что это было положительно необходимо при той обстановке, в которой мы находились, а во-вторых, это составляло занятие и развлечение. В Сибири природа чрезвычайно богатая, земли необыкновенно плодородные; и действительно, заниматься сельским хозяйством стоило, и это представляло много интересного. Основываясь на том, что в правилах о поселенцах предписывалось отводить землю под хлебопашество и покосы, отец обратился к исправнику во время его проезда через Бельск и просил сделать указанные наделы. Исправник уехал, ничего не сделав. Отцу же положительно была необходима земля. Я ясно помню, как он сетовал на то, что ему не удастся получить того, на что считал себя вправе. Как человек с сильным характером и настойчивый, он снова обратился к губернатору со следующим письмом:

«Ваше превосходительство!

В проезд г-на исправляющего должность земского исправника Мандрыки через Бельскую слободу я просил его отвести мне положенное число земли для хлебопашества и сенных покосов, но он не заблагорассудил исполнить благодетельную для нас в сем случае волю высшего начальства, которое предписало отводить нам землю в местах, избранных для нашего поселения. Я решился на сей конец утруждать теперь ваше превосходительство, потому что я буду вынужден иначе отлучаться по крайней мере на шестьдесят верст к ближним тунгусам для приискания и покупки себе вольной травы для покоса. Средства мои не позволяют мне платить в течение зимы по пяти рублей за воз сена, как оно здесь продается, или не держать ни одной коровы при доме для прокормления малолетних моих детей.

Я покорнейше прошу ваше превосходительство не оставить без внимания моей просьбы и оградить меня собственным вашим распоряжением от убытков, которые предстоят мне для покупки травы и перевозки сена из столь дальнего расстояния. Нехотение г-на Мандрыки отвести землю под посев ярового хлеба и то уже причинит важное расстройство в течение года: я буду вынужден, может быть, дорогою ценою покупать хлеб, соображаясь с засухою нынешнего года.

Позвольте упомянуть при сем, что покос здесь начинается с первых чисел июля, и я нуждаюсь к этому времени в отводе земли, после же она ни к чему не послужит».

Покос был отведен за рекою Белою, на берегу которой стоит Бельское. Местоположение этого села чрезвычайно живописное: река Белая, широкая, красивая, с восхитительными берегами, оживляла нашу монотонную жизнь. <...>

М. В. Брызгалова

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ АННЕНКОВ

Мне было 6 лет, когда скончался мой дед, декабрист Иван Александрович Анненков. Внешний облик деда живо сохранился в моей памяти. Как живой встает передо мной высокий старик в халате с серебряными кудрями, с саркастически-умным лицом, в очках (дед был сильно близорук). Обычно после обеда он усаживался с газетою в гостиной; напротив на низкой кушетке садилась бабушка, по бокам которой помещались я и моя младшая сестра; сидеть мы должны были безмолвно и неподвижно, не нарушая тишины, дабы не мешать деду, за чем зорко следила бабушка. Мы с сестрою очень боялись деда, всегда молчаливого, сумрачного и мало обращавшего на нас внимания.

Полную противоположность ему представляла бабушка — живая, веселая француженка, и в старости чрезвычайно разговорчивая. Дед же, никогда не отличавшийся живостью характера и попавший в ссылку молодым кавалергардским офицером, во время одиночного заключения в Петропавловской крепости впал в тяжелую меланхолию: он покушался на самоубийство, но был спасен подоспевшим часовым.

Приезд моей бабушки в Сибирь спас его от душевного недуга, который стал овладевать им с новой силой. Возможно, что развитию болезненного состояния Ивана Александровича в Сибири способствовало отчасти следующее обстоятельство. Во время выполнения сентенции над декабристами, когда с них срывали мундиры и ломали над головой шпаги, Иван Александрович, благодаря неловкости палача, получил страшный удар в голову и долго находился в беспамятном состоянии. Переезд в Сибирь также заставил Ивана Александровича сильно страдать; фельдъегерь, везший их партию, был человек жестокий; он торопился скорее сдать арестантов и вез их с невероятной быстротой. Иван Александрович был одет недостаточно тепло, между тем стояли суровые морозы: он сильно страдал от холода. Кроме того, его ручные кандалы были для него слишком малы, и они с жестокой болью впивались в его отмороженные руки. Пережитые страдания наложили глубокий отпечаток на общий облик деда, который настолько изменился, что его трудно было узнать. Доказательством

тому служит следующее обстоятельство. Княгиня Трубецкая, жена декабриста, вскоре по приезде в Сибирь, указывая на проходившего мимо высокого человека с бородой и в полушубке, спросила мужа, кто этот мужик, и была страшно удивлена, узнав, что это — блестящий кавалергард Анненков, с которым она танцевала на балах. После смерти бабушки дед снова впал в болезненное состояние и последнее время своей жизни страдал черной меланхолией. Тогда отец мой, его старший сын, Владимир Иванович Анненков, бывший в то время председателем Харьковского окружного суда, заявил об этом на нижегородском дворянском собрании, предложив дворянам избрать себе нового предводителя. (Дед по возвращении из Сибири многие годы бесменно состоял председателем нижегородской уездной земской управы и нижегородским уездным предводителем дворянства, упорно отказываясь, несмотря на многократные просьбы нижегородского дворянства, баллотироваться в губернские предводители¹.) Но дворяне на это ответили, что, пока жив Иван Александрович Анненков, у них другого предводителя не будет. Иван Александрович пользовался огромным уважением и популярностью в Нижегородской губернии, работа его в качестве председателя управы была чрезвычайно плодотворною. Так, например, он покрыл уезд целой сетью школ, значительно улучшил общее благосостояние уезда, принимал деятельное участие в комитетах по устройству быта крестьян (в связи с освобождением их от крепостной зависимости), неоднократно ездил в Петербург в качестве депутата по тем же крестьянским вопросам. <...>

Скончался он через год и четыре месяца после смерти своей жены, 27 января 1878 года, 76 лет от роду, и похоронен в нижегородском Крестовоздвиженском женском монастыре, рядом со своею женою, так горячо его всю жизнь любившей и бывшей ему самым верным и преданным другом.

Семейная жизнь Анненковых была счастлива: у них было 18 детей, из которых в живых осталось шестеро.

Бабушку, отличавшуюся весьма живым и веселым характером, жены декабристов очень любили. Выросши в семье, которая благодаря французской революции потеряла свое состояние², Прасковья Егоровна все умела делать сама: она прекрасно готовила, стирала белье, умела ухаживать за огородом и в этом отношении была очень полезна для остальных дам, которые первое время, несмотря на самое искреннее желание, не умели ни за что взяться; многому научились они от бабушки, что и вспоминали с благодарностью. <...>

Кроме живости характера, бабушка отличалась большим присутствием духа; в Сибири она спасла жизнь деду. Подробностей этого события я не помню, так как слышала их от отца, уже более 20 лет тому назад скончавшегося; но знаю, что бабушка, войдя в комнату в ту минуту, когда убийца занес топор над головой деда, стоявшего спиной, мгновенно бросила ему в глаза горсть табаку, чем и предотвратила преступление. В старости

она ухаживала за дедом, как за ребенком. Ив[ан] Ал[ександрович] отличался большой рассеянностью; провожая его на заседания, бабушка ходила за ним, спрашивая: «Appenkoff, n'as tu rien oublié, où est ton mouchoir de poche?»*

В семейной жизни все подчинялось воле деда; малейшее слово его являлось законом для всех членов семьи; характер у Ив[ана] Ал[ександровича] был крутой, к детям своим он относился сурово. <...>

По окончании курса Тобольской гимназии отец мой подал прошение Николаю I о разрешении поступить в университет, но на это последовал отказ; отец с чувством глубокой горечи вспоминал об этом событии всю жизнь.

Отец мой, которому я хочу посвятить мои заключительные строки, был, несмотря на то что не имел возможности учиться в университете, весьма разносторонне и основательно образованным человеком, чему он был главным образом обязан самому себе. Кроме того, он имел в Сибири прекрасного, высокообразованного наставника в лице декабриста Ивана Ивановича Пушкина, близкого и любимого друга поэта Пушкина. <...>

Родившись на берегу Байкала, о котором он всегда вспоминал с глубокой любовью, отец мой начал службу в Сибири с должности канцелярского писца. Выросший в простых и суровых условиях жизни, находившийся под большим влиянием декабристов, он уже в 40 лет был председателем Харьковского окружного суда. После смерти моего деда он сделался обладателем значительного состояния, но продолжал до конца дней своих вести трудовой и скромный образ жизни, не терпя барства и лени. Отец чувствовал какую-то инстинктивную ненависть к роскоши, носил грубое белье и употреблял самую простую пищу, и вставал всегда в 5 часов утра. Отец рассказывал мне, что дед долго не решался возвратиться в Россию после объявления манифеста Александра II о полном помиловании декабристов, так как не знал, на какие средства можно будет существовать с семьей в России (декабристам были возвращены права дворянства, но не права имущества, и все имения деда были разделены после смерти его матери между родственниками). Только благодаря обращению Александра II на придворном балу к бывшему киевскому генерал-губернатору Николаю Николаевичу Анненкову³ — «Я надеюсь, Анненков, что ты возвратишь моему двоюродному брату его имения» — Иван Александрович получил часть своих поместий — 10 тысяч десятин; остальные же родственники, за исключением одной старухи Кулешовой, ничего не возвратили.

Но за время ссылки деда родственники успели совершенно расстроить дела, и Ивану Александровичу были возвращены заложенные имения, обремененные долгами; благодаря самому

* «Анненков, не забыл ли ты чего-либо, где твой носовой платок?» (фр.). — Сост.

умеренному образу жизни и строгой расчетливости, дед погасил все долги и, умирая, оставил своим двум сыновьям⁴ прекрасное состояние. <...>

Н. А. Белоголовый

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СИБИРЯКА О ДЕКАБРИСТАХ

В один майский день 1842 года отец за обедом обратился к старшему брату моему, Андрею, со словами: «Сегодня после обеда не уходите играть во двор; мать вас оденет, и вы поедете со мной». Отец не объяснил, куда хочет везти нас, мы же, в силу домашней субординации, расспрашивать не смели, а потому наше детское любопытство было очень возбуждено. Старшему брату было в то время 10 лет, а мне 8, жили мы в Иркутске в своей семье, состоявшей, кроме отца, матери и нас, еще из двух меньших братьев. <...>

Когда мы, вымытые, приглашенные и одетые в наши лучшие платья, уселись на долгушу (длинные безрессорные дрожки, которые, кажется, и до сих пор в большом употреблении в Сибири), запряженную парой сытых лошадок, и быстро покатали по городу, то отец стал объяснять нам, что везет нас в деревню Малая Разводная к декабристам Юшневским, у которых мы начнем учиться, и для этого скоро совсем переберемся на житье к ним: просил нас, как водится, держать себя умниками и не ударить лицом в грязь, если нас сегодня же вздумают проэкзаменовать. Мы еще были так юны и неопытны, что название «декабристы» не имело для нас решительно никакого смысла, а потому мы с самым невинным любопытством ждали предстоящего свидания.

Деревушка Малая Разводная лежит в 5 верстах от Иркутска, причем дорога вначале версты три идет по Забайкальскому тракту, а потом сворачивает вправо по узкому проселку, поросшему по бокам молодым корявым березняком, и приводит к названной деревушке, заключавшей в себе тогда домов 25 или 30. Мы миновали несколько вытянутых в улицу крестьянских домов и подъехали к тесовым воротам, а через них попали в обширный двор, среди которого стоял небольшой одноэтажный домик Юшневских, обращенный главным фасадом на Ангару, протекавшую под крутым обрывом, на котором была раскинута деревушка.

К сожалению, память мне изменяет, и я смутно вызываю в себе только немногие подробности этого первого визита нашего в М. Разводную. Отца моего везде встречали с большим уважением; кроме природного ума, он обладал редкой начитанностью, был превосходный рассказчик, много видел на своем веку, так как по торговым делам должен был каждое лето совершать

поездку в Нижний, Москву и часто вплоть до Петербурга, эти постоянные поездки способствовали его сближению с декабристами, потому что он доставлял контрабандные письма и посылки от них к родным и наоборот и нередко выступал в многообразных делах устным посредником между ссыльными и их знатыми столичными родственниками. Поэтому прием нам сделан был самый радушный; Юшневские, особенно муж, расспрашивали брата и меня о наших занятиях, но формальному экзамену, кажется, нас не подвергали. Помню одно, как общее впечатление от визита, что Юшневский как-то сразу покориł наши детские сердца и что на обратном пути мы с братом находились в восторженном настроении от мысли, что поступаем на руки к такому прекрасному учителю.

У Юшневских мы пробыли недолго, ибо отцу, к немалому нашему удивлению, надо было сделать в этой крохотной деревушке целый ряд визитов. Сначала Юшневский повел нас в соседний дом, двор которого прилегал к двору Юшневского и был отделен частоколом, в котором была прорезана калитка. Здесь в небольшом доме с мезонином, стоявшем также среди двора, проживал другой декабрист — Артамон Захарович Муравьев. Это был чрезвычайно тучный и необыкновенно веселый и добродушный человек; смеющиеся глазки его так и прыгали, а раскатыстый, заразительный хохот постоянно наполнял его небольшой домик. Кроме ласковости и веселых шуток он нас расположил к себе, помню, еще и оригинальным угощением; сидя по-турецки со сложенными ногами на широком диване, он нам командовал: «Ну, теперь, дети, марш вот к этому письменному столу, станьте рядом против правого ящика; теперь закройте глаза, откройте ящик, запускайте в него руки и тащите, что вам попадется». Мы исполнили команду в точности, по мере того, как она производилась, и объемистый ящик оказывался доверху наполненным конфетами. Как видно, он был охотник до сладкого и вообще, как я узнал впоследствии, любил поесть и пользовался репутацией тонкого гастронома.

На этом же дворе у ворот стояла еще небольшая крестьянская изба с окнами, выходившими на деревенскую улицу, и в ней помещались декабристы — два брата Борисовы; отец прошел с нами и к ним. Старший брат, Петр Иванович, был необыкновенно кроткое и скромное существо; он был невысокого роста, очень худощав; я до сих пор не могу позабыть его больших вдумчивых глаз, искривляемых безграничной добротой и прямотишем, его нежной привлекательной улыбки и тихой речи. Он представлялся совершенной противоположностью только что оставленному нами А. З. Муравьеву: насколько последний был шумен, неудержимо весел и экспансивен, настолько первый казался тих, даже застенчив в разговоре и во всех своих движениях, и какая-то сосредоточенная, глубоко засевшая в душе грусть лежала на всем его существе. О П. И. Борисове придется говорить еще не раз, так как он вскоре сделался также нашим наставником. Жил он вместе со своим

братом, Андреем Ивановичем, у которого развилась в ссылке психическая болезнь, что-то вроде меланхолии; он чуждался всякого постороннего человека, тотчас же убегал в другую комнату, если кто-нибудь заходил в их избушку, и Петр Иванович был единственным живым существом, которое он допускал до себя и с которым свободно мог разговаривать,— и взаимная привязанность этих братьев между собой была самая трогательная. Из России они ни от кого помощи не получали и жили скудно на пособие от товарищей-декабристов; кроме того, П. И. зарабатывал ничтожные крохи рисованием животных, птиц и насекомых и был в этом искусстве, не находившем в то время почти никакого спроса в России, тонким мастером. А. И. тоже не оставался без дела: он научился переплетному ремеслу и имел небольшой заработок.

Но на этом визиты наши не окончились, и от Борисовых мы перешли через улицу еще в одну крестьянскую избу, где жил декабрист Якубович. Странное дело! Когда недели через две мы сделались совсем обитателями Малой Разводной, мы Якубовича там, кажется, уже не застали; то ли я забыл, то ли за этот короткий промежуток он переселился в другое место, только мне помнится, что я его видел всего один раз, и тем не менее его внешность сильно врезалась в мою детскую память: это был высокий, худощавый и очень смуглый человек, с живыми черными глазами и большими усами; все движения его были полны живости и энергии; детей, видно, он очень любил, потому что занялся с нами с большой охотой и, будучи большим любителем живописи, скоро и бойко нарисовал карандашом два рисунка и подарил каждому на память. Наконец от Якубовича мы поехали домой,— и тут дорогой отец старался нам объяснить, какого рода людей мы посетили, и хотя главное в его словах оставалось для нас темным, но мы теперь уже с большим смыслом отнеслись к названию «декабристы» и связали его с определенным типом наших новых знакомых, так картинки в книгах часто объясняют ребенку многое, что в прочитанном тексте оказалось выше детского понимания. Все вместе: и наши личные приятные впечатления, полученные от недавних знакомых, и теплый симпатичный тон, с которым отзывался о них отец, сразу вызвали в наших восприимчивых сердцах благоговейное уважение к этим таинственным людям, которое потом росло с нашим ростом и крепло по мере того, как мы более и более входили в их круг. <...>

В небольшом домике, состоявшем из 4 и самое большое из 5 комнат, Юшневские отвели для нас одну, выходящую окнами во двор: она нам служила и спальнею и учебною. Алексею Петровичу, так звали Юшневского, было тогда за 50 лет; это был человек среднего роста, довольно коренастый, с большими серыми навывкат и вечно серьезными глазами; бороды и усов он не носил и причесывался очень оригинально: зачесывая виски взад и вверх, что увеличивало его и без того большой лоб. Ровность его характера была изумительная; всегда серьезный, он даже шутил,

не улыбаясь, и тем не менее в обращении его с нами мы постоянно чувствовали, хотя он нас не ласкал, его любовное отношение к нам и добродушие. <...>

Юшневский, кроме того, был хороший музыкант и слыл чуть ли не лучшим учителем для фортепиано в Иркутске, но искусство это в нашей глухой провинции в те времена не пользовалось большим распространением и не могло прокормить учителя. На свои городские уроки А. П. уезжал три раза в неделю утром и возвращался часу в первом к обеду; в отсутствие его для занятий с нами математикой являлся Петр Иванович Борисов, с которым у нас также и тотчас установились наилучшие отношения. Если Юшневский нам импонировал своим обширным умом и сдержанностью, и мы питали к нему благоговейное уважение, не лишенное некоторого трепета, то с Борисовым у нас завязалась прямая и самая бесхитростная дружба, так как при своей непомерной безбидности и кротости он нам был больше по плечу. Не знаю, был ли он хорошим математиком, знаю только, что во мне он ни способностей к этой науке, ни любви к ней не развил, но зато он нас увлекал большою своею страстью к природе и к естественным наукам, которые изучил недурно, особенно растительное и пернатое царство Сибири; рисовал же он птиц и животных, как я упоминал выше, с замечательным мастерством. По окончании уроков он, если день был хороший, тотчас брал нас с собой на прогулку в лес, и для нас это составляло великое удовольствие; в лесу мы не столько резвились на просторе, сколько ловили бабочек и насекомых и несли их к Борисову, и он тут же определял зоологический вид бабочки и старался поделиться с нами своими сведениями. Иногда приводил он нас к себе в свой крохотный домик, и тогда, лишь только мы переступали порог комнаты, несчастный брат его, никогда не снимавший с себя халата и не выходивший на воздух, порывисто вскакивал из-за переплетного станка и убегал в соседнюю комнату, так что мы никогда не видали его лица. В жилище Борисова нас всегда манила собранная им небольшая коллекция сибирских птиц и мелких животных, а также великое множество его собственных рисунков, за работой которых он просиживал все часы своих досугов. В этой страсти он находил для себя источник труда и наслаждения в своей однообразной и беспросветной жизни, а товарищи его старались сделать из нее ресурс для материального улучшения обстановки братьев, но довольно безуспешно, потому что тогда интерес к естественно-историческому изучению Сибири еще не проснулся в России. Впрочем, в рассказываемое время в Восточную Сибирь приехала ревизия сенатора Толстого¹, и один из чиновников ее, Б., человек богатый, без всяких иных побудительных причин, кроме тщеславия, задумал составить иллюстрированное описание своей поездки по Сибири и сделал Борисову большой заказ рисунков сибирской фауны и флоры. С каким рвением засел Петр Иванович за любимую свою работу — нечего и говорить, и, должно быть, превзошел самого себя,

насколько могу судить по тем восторженным похвалам, какие расточал ему Юшневский всякий раз, как он приносил показать только что оконченный рисунок. Позднее я слышал, что богач Б. обсчитал без зазрения совести своего труженика, не умиравшего с голоду единственно благодаря помощи товарищей-декабристов, и недоплатил далеко всего, что было условлено. (...)

Мы продолжали ездить к Юшневскому и оставались у него с понедельника до субботы, и не могу наверное припомнить, но, кажется, в январе 1844 года нашим занятиям суждено было внезапно прерваться. Случилось, что в это время умер в деревне Оёк (верстах в 30 от Иркутска) поселенный там декабрист Вадковский. Юшневский отправился на похороны товарища и сам там скончался совершенно неожиданно для своих друзей. Во время заупокойной обедни, при выходе с Евангелием, он поклонился в землю, и когда стоявшие подле него товарищи, удивленные, что он долго не поднимается на ноги, решились тронуть его, то он уже был мертв. Известие это тотчас же дошло до нас, и мы много горевали о смерти учителя, к которому успели сильно привязаться.

Я очень хорошо понимаю, что из моих поверхностных штрихов, набросанных под руководством детской памяти и сильно затертых временем, читатель не в состоянии будет сделать себе ясное представление о личности Юшневского; тем не менее я решился отдать в печать свои воспоминания отчасти в надежде, что они смогут все-таки со временем пригодиться как источники, а отчасти смотря на них как на свой нравственный долг в отношении наставника. Если я не в силах показать теперь точно и в деталях педагогические приемы Юшневского и тайну его влияния на наши детские умы и души, то уж одно то глубокое благоговение, какое сохранилось во мне к его памяти, доказывает, что Юшневский, не будучи педагогом по профессии, был воспитатель далеко не заурядный. Впоследствии я слышал от декабристов, что он и в их кругу выделялся, наряду с Николаем Бестужевым, Никитой Муравьевым и Луниным, своим необыкновенно светлым умом и образованностью и пользовался общим уважением за благородство характера и непоколебимость убеждений; притом же он и по возрасту был одним из старших из них и во время открытия заговора состоял уже в звании интенданта Южной армии в чине действительного статского советника. Вдова его вернулась до общей амнистии в Россию и умерла в 60-х годах, кажется, в Киеве в глубокой старости². (...)

Через несколько дней отец снова повез нас в Малую Разводную, предупредив, что мы увидим там своего нового будущего учителя. С сжатым сердцем вошел я в знакомый домик и почти не узнал самой большой комнаты — залы: все стены ее были обтянуты черным, в переднем углу между двумя окнами помещался католический алтарь, убранный также черным коленкором и устав-

ленный длинными восковыми свечами; в комнатах пахло ладаном. Мария Казимировна вышла к нам заплаканная, тоже вся в черном, и при виде нас разразилась рыданиями; понятно, и наши нервы не могли выдержать такого испытания, и мы тоже горько разрыдались. Но тут вскоре подошел к нам будущий наш учитель, увел нас за руки в ту комнату, которая во время пребывания нашего в Разводной служила нам классной, и подверг легкому экзамену наши сведения во французском языке. Благоговение и привязанность, какие внушил нам к себе покойный Юшневский, были так глубоки, что я помню, с каким недоброжелательством и даже враждебным чувством смотрели мы на человека, который должен был заменить его для нас, и как неохотно ему отвечали. Учитель этот был Александр Викторович Поджо, также декабрист, но которого мы до сих пор ни разу не видали у Юшневских. С этим наставником связали меня впоследствии самые теплые и дружеские отношения, продолжавшиеся до самой его смерти, постигшей его в 1873 году, а потому я имею возможность привести о нем более подробные сведения.

Длинные черные волосы, падавшие густыми прядями на плечи, красивый лоб, черные выразительные глаза, орлиный нос, при среднем росте и изящной пропорциональности членов, давали нашему новому наставнику привлекательную внешность и вместе с врожденной подвижностью в движениях и живостью характера ясно указывали на его южное происхождение. Под этой красивой наружностью скрывался человек редких достоинств и редкой души. Тяжелая ссылка и испорченная жизнь только закалили в нем рыцарское благородство, искренность и прямодушие в отношениях, горячность в дружбе и тому подобные прекрасные свойства итальянской расы, но при этом придали ему редкую мягкость, незлобие и терпимость к людям, которые до конца его жизни действовали обаятельно на всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Я много странствовал по свету, много знал хороших людей, однако другого такого идеального типа альтруиста мне не приходилось встречать, хотя, веруя в человечество, не сомневаюсь, что, быть может, пока в редких экземплярах, он существует везде. С безукоризненной чистотой своих нравственных правил, с непоколебимой верностью им и последовательностью во всех своих поступках и во всех мелочах жизни, с неподкупной строгостью к самому себе он соединял необыкновенную гуманность к другим людям и снисходительность к их недостаткам, и в самом несимпатичном человеке он умел отыскать хорошую человеческую сторону, искру добра и старался раздуть эту искру; делал он это как-то просто, безыскусственно, в силу инстинктивной потребности своей прекрасной природы, не задаваясь никаким доктринерством, никакою преднамеренною тенденциозностью. Оттого-то, будучи человеком среднего, невыдающегося ума, он производил сильное впечатление на окружающих, главное, своею нравственной чистотой

и духовную ясностью, и всякий в беседе с ним ощущал, как с него постепенно сходила черствая кора условных привычек и ходячей морали, и в его присутствии всякий чувствовал себя чище и становился примиреннее с людьми. За то все знавшие его не только к нему сильно привязывались, но и у многих любовь эта доходила до боготворения. Таким вспоминается мне Поджио и в своей сибирской обстановке, в сношениях с темным миром сибирского населения, таким же я знал его впоследствии вольным человеком и в Швейцарии, и в Италии, родине его предков, куда он попал уже дряхлеющим стариком; но и в этот последний период своей жизни, когда старость и недуги часто приковывали к постели его изнуренное тело, он продолжал сохранять юношескую веру в человека, чуткую отзывчивость к чужому горю и живо интересовался мировыми событиями. Хотя в жилах его текла итальянская кровь и к Италии он чувствовал естественную нежность, однако в душе он был чисто русский человек и безгранично любил Россию, но не тою слепую любовью, которая закрывает глаза на теневые стороны и на кричащие недостатки и возводит грубость понятий и нравов в идеал самобытности, а тем просвещенным чувством истинного патриота, который видит первое условие для благоденствия родины в правильном и постепенном прогрессе, жертвует собственной личностью для достижения этого благоденствия и не разочаровывается и не падает духом, когда его самопожертвование не приносит явного результата. Казалось бы, этому полуитальянцу следовало возненавидеть Россию, где лучшая половина его жизни прошла в тюрьме и в сибирском изгнании, в борьбе с суровым климатом, невежеством и чуть не бедностью, но тот духовный патриотизм, который обычно противопоставляется квасному, только растет и закаляется от всяких лишений и личных жертв, принесенных для блага родины,— и 75-летний Поджио был искренен, как всегда, когда, любясь со мной изумительной панорамой Флоренции с S. Miniato³, говорил мне: «Что за роскошь, что за рай! и мечтал ли я, что когда-нибудь увижу все это собственными глазами? Но не думайте, любезный друг, что я желал бы здесь закрыть навеки мои глаза и быть похороненным в этой чудной и живописной могиле; нет, я желал бы умереть непременно в России и там оставить мои кости». Он сдержал и это слово; на следующее же лето его умирающим перевезли в Россию, где он через несколько недель и скончался. А насколько близка и родственна была связь у этого образцового русского патриота с Италией — это сейчас будет видно из тех биографических сведений о нем, которые я сообщу.

Александр Викторович Поджио происходил из древней итальянской фамилии. Отец его имел имение и жил в верхней Италии, в провинции Новара, в конце прошлого столетия, когда началась французская революция, нарушившая по соседству и в Италии весь строй мирной обывательской жизни. Он был

друзен с кем-то из числа тех французских легитимистов, которых волна первой революции выбросила в Россию, и именно в Одессу, и этот приятель стал зазывать Поджио-отца перебраться из Италии, волнуемой постоянными смутами, в мирную Одессу, чтобы вместе работать над созданием нового города и над распространением культурной гражданственности на девственной почве южной России. Поджио последовал этому зову и с женой переселился в Одессу, где, таким образом, вместе с его более известными товарищами — герцогом Ришелье, Ланжероном, Де Рибасом⁴ — сделался одним из первых пионеров и устроителей этого города. Он выстроил себе там дом, приобрел и благоустроил имение в Киевской губернии, дал своим двум сыновьям Осипу и Александру прекрасное воспитание и определил их в гвардию, именно в Преображенский полк. После смерти отца молодые Поджио продолжали служить в Петербурге, а мать, к которой они питали самую нежную любовь, стала жить в киевском имении и заведовать хозяйством. Братья скоро завоевали себе видное положение как на службе, так и среди гвардейской молодежи и петербургского общества, так как отличались изяществом и красотой, прекрасным воспитанием и своими рыцарски благородными и в то же время живыми, чисто южными характерами. Нет поэтому ничего удивительного, что братья вскоре очутились в числе первых в том новом положении, которое, по возвращении наших войск из Парижа, распространилось в гвардии и в армии, точно так же, как нет ничего естественнее, что они со всею горячностью своих 20-летних южных темпераментов увлеклись идеею освобождения России путем коренных реформ и отмены крепостного права. Примерно до 1820 года братья Поджио считались в числе самых ревностных пропагандистов новых идей и самых ревностных посетителей тайных совещаний, но около этого времени революционный пыл среди их товарищей стал заметно остывать. Многие из более пылких молодых людей стали, видимо, разочаровываться в успехе своих вождедений и перестали почти посещать заседания общества. Так было и с Поджио, из которых старший женился, у него пошли дети, и он отдался семейной жизни, тогда как Александр Викторович, чувствуя полный разлад своих убеждений со служебною деятельностью и потеряв всякую надежду на близкую перемену к лучшему, решил бросить службу, вышел в 1822 или 1823 году в отставку и поехал помогать матери в деревенском хозяйстве. Имение это, как сказано выше, находилось в Киевской губернии, т. е. как раз в том районе, где служили и действовали такие личности, как Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Юшневский и др., а потому Поджио снова очутился в кругу своих единомышленников. Но и здесь он не нашел ничего такого, что обещало бы ему скорое осуществление его либеральных стремлений, а потому, еще более разочарованный этим и не удовлетворенный своею сельскохозяйственной деятельностью, он уже составил план покинуть Россию и искать для себя новой жизни

в свободной Америке. Помнится, у него уже был взят и заграничный паспорт, как вдруг скончался Александр I, произошло кровавое столкновение на Сенатской площади, началось следствие, аресты, и по дошедшим до А. В. известиям об арестованных личностях ему было очевидно, что скоро очередь дойдет и до него. Так оно вскоре и случилось: однажды А. В. был приглашен по соседству на обед к известному герою 1812 года генералу Раевскому, тестю декабриста князя Волконского, в его богатое имение Грушевку; во время обеда послышались колокольчики, почтовая тройка въехала в ворота, и вошедший фельдъегерь предъявил приказ об арестовании А. В. Поджио и немедленном доставлении его в Петербург. Содержание в Петропавловской крепости, в Рогервике, в Шлиссельбурге, ссылка в Сибирь и товарищеская жизнь в Чите и Петровском заводе — все это неоднократно рассказано в записках, изданных многими декабристами, а потому я пропускаю мимо, тем более что из рассказов А. В. Поджио за это время я ничего не мог бы прибавить такого, что дало бы новые и доселе еще неизвестные подробности.

Гораздо более тяжелая и трагическая участь постигла Осипа Викторовича. Он недолго прожил со своей первой женой, которая умерла, оставив двух малюток, сыновей, Александра и Льва, и молодой вдовец вскоре затем влюбился в дочь бывшего тогда influentialного статс-секретаря, а впоследствии таврического генерал-губернатора Бороздина. Девушка слыла первоклассной красавицей в Петербурге, а потому у Поджио было много соперников, но он восторжествовал над всеми, и брак по обоюдной любви был заключен. Парочка вышла прелестная, и, казалось, всякий мог бы ей предсказать на много лет безмятежной, счастливой жизни, а между тем случилось так, что едва прошло несколько месяцев после свадьбы и молодые еще не успели выйти из первого угара страсти, как началось дело декабристов и О. В. Поджио был взят и посажен в Петропавловскую крепость за прежнее его весьма деятельное участие в заговоре, хотя в последнее время он уже никакой роли в нем не играл. Пылкий по своей южной, итальянской, натуре, несчастный узник бился, как птица в клетке, в темной камерке Петропавловской крепости. Он чуть не сходил с ума, вспоминая жену, детей и недавние картины своего идеального счастья и сравнивая с ужасной обстановкой тюрьмы и с тем безвыходным будущим, которое вставало перед ним. Месяцы проходили за месяцами, и даже потом, когда жены декабристов получили разрешение видаться со своими мужьями в крепости, Поджио не мог не только добиться такого свидания, но даже получить хоть какое-нибудь известие о своей жене и детях, потому что тесть его Бороздин как благонамеренный чиновник хотел во что бы то ни стало, чтобы его дочь порвала всякую связь со своим преступным мужем и смотрела на него как на покойника. Для этого он не только не пускал жену в крепость, но принял все меры, чтобы

ни письма от мужа к жене, ни от жены к мужу не доходили по назначению. Однако как он ни старался очернить зятя в глазах дочери, последняя рвалась к мужу и сильно тосковала, не будучи в состоянии добиться от нем известий, и когда наконец решение суда состоялось и декабристы отправились в сибирскую ссылку, а вслед за ними поехали туда же и их жены, то г-жа Поджио, несмотря на все уговоры отца, стала собираться в дальний путь, чтобы разыскать в Сибири своего мужа. Тогда Бороздин прибегнул к решительному, бесчеловечному средству, чтобы разлучить навсегда дочь с мужем: он стал хлопотать, и при больших его связях ему удалось добиться приказа — не отправлять зятя в Сибирь, а оставить в крепости на неопределенное время; и в то время, как А. В. Поджио и все его товарищи давно уже проживали дружеской и тесно сплоченной корпорацией в глубине Азии, ничуть не более виновнее других Осип Викторович да Батеньков несли свое одиночное заключение в Петропавловской крепости. Так прошло 8 длинных лет. Напрасно в это время бедная жена силилась разузнать что-нибудь о муже, она убедилась только, что его нет среди товарищей на сибирской каторге, а где он, что с ним, жив или умер? — никто ей не мог объяснить; знал истину только ее отец, но он молчал и по-прежнему употреблял все усилия развлечь свою дочь и заставить ее забыть свое прошлое. Наконец, через 8 лет ему удалось это, и она вышла в Крым снова замуж, а когда этот вторичный брак состоялся, тогда и для Осипа Викторовича открылись двери его тюрьмы, и он из крепости был отправлен в Сибирь к товарищам. Ни годы, ни крепость не умалили его любви к жене, и он ехал в Иркутск, уверенный, что он найдет ее там, а если нет, то выпишет немедленно к себе. Хотя до брата и его друзей дошло уже известие о вторичном браке жены О. В., но ни у кого не хватило духу сообщить ему эту весть и нанести новый удар бедняку, уже так много переиспытавшему в крепости и который теперь со всем пылом итальянской фантазии строил планы о возобновлении своего так неожиданно и на такой длинный срок нарушенного семейного счастья. Пришлось некоторое время обманывать его и, мало-помалу подготавливая к удару, скрывать истину, пока она не была открыта ему, кажется, по просьбе декабристов, тогдашним генерал-губернатором Восточной Сибири В. Я. Рупертом⁵.

Я помню хорошо фигуру Осипа Викторовича. В нем почти не удержался итальянский тип, он мало имел сходства с братом и, в противоположность последнему, был высок ростом, широкоплеч и далеко не такой выраженный брюнет. Его атлетическое сложение было, однако, совсем расшатано крепостным заключением. Он сильно страдал скорбутом, не выносил ни твердой, ни горячей пищи, и я помню, как свою тарелку супа он выносил всегда в холодные сени, чтобы остудить ее. Скорбут же, вероятно, и был причиной его ранней смерти, так как он умер в Иркутске еще в конце 40-х годов⁶.

В описываемое время, т. е. в 40-х годах, иркутские декабристы пользовались уже значительной свободой. Большинство из них жило в окрестных деревнях с правом время от времени приезжать в город, а вскоре многие из них и совсем перебрались в Иркутск, по крайней мере на зимние месяцы, и первый пример тому подали, помнится, Волконские. Кроме названной мною разводнинской колонии, в окрестностях Иркутска проживали еще следующие декабристы: Трубецкой, Волконский, Никита и Александр Муравьевы, оба брата Поджио, Сутгоф, Муханов, Панов, доктор Вольф, Бечастнов — и разместились они в таком порядке: Трубецкой с семьей, Сутгоф с женой, Вадковский и Лунин жили в большом селе Оёке в 30 верстах от Иркутска; но эта колония в 40-х годах совсем уже рассеялась, потому что Вадковский, как мы сказали выше, умер, Сутгоф получил разрешение поступить рядовым в кавказскую армию⁷, а Лунин, если не ошибаюсь, еще в 1841 году, за написанное им возражение против «Донесения Следственной Комиссии» по делу декабристов, дошедшее до сведения императора Николая, был внезапно арестован и сослан в Акатуевский рудник нерчинских заводов, где через несколько месяцев и умер⁸. Волконские жили в деревне Урик, в 17 верстах от Иркутска, где у них был свой поместительный дом и обширное сельское хозяйство, которым занимался с большим увлечением старик Волконский. В Урике же жили Никита и Александр Михайловичи Муравьевы, Николай Алексеевич Панов и доктор Фердинанд Богданович Вольф. Никита Михайлович Муравьев в это время был вдов, похоронив свою самоотверженную жену, которую все декабристы боготворили как своего ангела-хранителя. Любовь эту они перенесли на оставшуюся после нее дочку Софью, которую все называли не иначе, как Нонушка. В половине 40-х годов Нонушку увезли для воспитания в Москву, я уже не застал ее в Урике, и только помня, как часто и с какою нежностью произносилось ее имя стариками-декабристами, я впоследствии, будучи в Москве студентом, воспользовался случаем ее видеть и нашел ее чрезвычайно симпатичной. Тогда она была уже замужем за Бибиковым. Умерла в 1892 году. Сам Никита Михайлович Муравьев вскоре же умер в Урике, где и похоронен рядом с Пановым. Другой брат А. М. Муравьев женился на гувернантке детей Волконских⁹ и еще в конце 40-х годов получил разрешение поступить на государственную службу в Западной Сибири и дослужился в Тобольске до звания советника губернского правления. Доктор Вольф умер тоже в первой половине 40-х годов¹⁰, а потому я его не помню, но память о нем долго сохранялась в иркутском обществе, как о весьма искусном и гуманном враче. Вера в него была такая, что и двадцать лет спустя мои иркутские пациенты мне показывали его рецепты, уже выцветшие от времени и хранимые с благоговением, как святыню, спасшую некогда их от смерти. Наконец, братья Поджио и Муханов приютились в 7 верстах от Урика в глухой деревушке Усть-Куда, да Бе-

частнов жил особняком в Смоленщине¹¹, в 12 верстах от Иркутска.

Двумя главными центрами, около которых группировались иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских, так как они имели и средства жить шире, и обе хозяйки — Трубецкая и Волконская — своим умом и образованием, а Трубецкая и своею необыкновенною сердечностью, были как бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружескую колонию, а присутствие детей в обеих семьях вносило еще больше оживления и теплоты в отношения. Нельзя не пожалеть, что такие высокие и цельные по своей нравственной силе типы русских женщин, какими были жены декабристов, не нашли до сих пор ни должной оценки, ни своего Плутарха¹², потому что если революционная деятельность декабристов мужей по условиям времени не допускает нас относиться к ним с совершенным объективизмом и историческим беспристрастием, то ничто не мешает признать в их женах такие классические образцы самоотверженной любви, самопожертвования и необычайной энергии, образцы, какими вправе гордиться страна, вырастившая их, и которые без всякого зазора и независимо от всякой политической тенденциозности могли бы служить в женской педагогике во многих отношениях идеальными примерами для будущих поколений. Как не почувствовать благоговейного изумления и не преклониться перед этими молоденькими и слабенькими женщинами, когда они, выросшие в холе и в атмосфере столичного большого света, покинули, часто наперекор советам своих отцов и матерей, весь окружающий их блеск и богатство, порвали со всем своим прошлым, с родными и с дружескими связями и бросились, как в пропасть, в далекую Сибирь с тем, чтобы разыскать своих несчастных мужей в каторжных рудниках и разделить с ними их участь, полную лишения и бесправия ссыльнокаторжных, похоронив в сибирских тундрах свою молодость и красоту. Чтобы еще более оценить величину подвига Трубецкой, Волконской, Муравьевой, Нарышкиной, Ентальцевой, Юшневской, Фонвизиной, Анненковой, Ивашевой и др., надо помнить, что это происходило в 20-х годах, когда Сибирь представлялась издали каким-то мрачным, ледяным адом, откуда, как с того света, возврат был невозможен. <...> В конце 50-х годов в Иркутске я собственными глазами читал подлинное предписание от 1826 года сибирского генерал-губернатора Лавинского, находившегося в Петербурге, иркутскому губернатору Цейдлеру. В этой бумаге Лавинский сообщал губернатору о предстоящем приезде в Иркутск двух жен декабристов Нарышкиной и Ентальцевой для следования за мужьями и предписывал ему употребить все возможные меры, чтобы убедить отказаться этих дам от их намерения. Для этого он советовал сначала действовать ласковыми убеждениями, представляя путешественницам, что, вернувшись обратно в Россию, они сохраняют свои имущественные и сословные права, а не сделаются бесправными женами каторжных. В случае же, если бы Цейдлер уговариванием

не мог достигнуть своей цели, то ему предписывалось переменить ласковый тон на резкий, пробовать действовать устрашением и особенно не скупиться на преувеличения и самые черные краски, изображая, что значит осеннее путешествие по Байкалу, когда осенние ветры зачастую носят парусные суда целый месяц по озеру, не позволяя пристать к берегам, и когда экипаж рискует погибнуть от голода и холода. Генерал-губернатор давал самые подробные указания, как запугать двух слабых женщин в диком краю, и я очень жалею, что не имел возможности снять копию с этого любопытного предписания и привести его в подлинных выражениях. (...). Высшая местная знать, пользуясь их беззащитностью в диком краю и незнакомством с ним, старалась всячески нагнать на них ужас описанием опасностей их дальнейшей поездки и участи, ожидающей их в рудниках. Но ни одна из них не дрогнула и не позволила отклонить себя от своего намерения. Сквозь тысячи преград, натуральных и искусственных, все они добрались до мужей, безропотно исполняли свою миссию ангелов-хранителей и умерли, обожаемые всеми близко их знавшими, хотя, увы! до сих пор недостаточно оценены потомством. Прискорбно мне то, что и мои воспоминания не прибавят ничего нового к характеристике этих замечательных женщин; хотя я имел случай видеть некоторых из них, именно Юшневскую и Волконскую, очень часто, а Трубецкую изредка, но не умел ни ценить их, ни понимать, потому что находился еще в том возрасте, который заставляет смотреть на взрослых слишком снизу вверх и ценить их лишь постольку, поскольку они имеют соприкосновение с интересами личной детской жизни.

В 1845 году Трубецкие жили еще в Оёкском селении, в большом собственном доме. Семья их тогда состояла, кроме мужа и жены, из 3 дочерей — старшей, Александры, уже взрослой барышни, двух меньших прелестных девочек, Лизы — 10 лет и Зины — 8 лет, и только что родившегося сына Ивана. Был еще у них раньше сын Лев, умерший в Оёке в 9-летнем возрасте, общий любимец, смерть которого долго составляла неутешное горе родителей, и только появление на свет нового сына отчасти вознаградило их в этой потере. Сам князь Сергей Петрович был высокий, худощавый человек, с некрасивыми чертами лица, длинным носом, большим ртом, из которого торчали длинные и кривые зубы. Держал он себя чрезвычайно скромно, был малоразговорчив и вследствие этого считался человеком ума рядового. О княгине же, Катерине Ивановне, урожденной графине Лаваль, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я видел ее очень мало и мне пришлось бы повторять только банальности, и то с чужих слов; помню только, что она была небольшого роста, с приятными чертами лица и большими кроткими глазами, и много отзыва о ней не слыхал, как тот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего оёкского населения, находившего всегда у ней помощь словом и делом. Князь тоже был очень добрый человек, а потому мудреного ничего нет, что это свойство перешло по наследству и к детям, и все они отличались необыкновенною

кротостью. В половине 1845 года произошло открытие девичьего института Восточной Сибири в Иркутске, куда Трубецкие в первый же год открытия поместили своих двух меньших дочерей, и тогда же переселились на житье в город, в Знаменское предместье, где купили себе дом.

Мое сближение с семьей Волконских было более короткое, а потому я могу рассказать о ней сравнительно больше. Она заключалась тогда из мужа, жены, сына-подростка и дочери. Старик Волконский — ему уже тогда было около 60 лет — слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал целыми днями на работах в поле, а зимой его любимым времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородных крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. Когда семья переселилась в город и заняла большой двухэтажный дом, в котором впоследствии помещались всегда губернаторы, то старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени выезжал к семейству, но и тут — до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями — он не останавливался в самом доме, а отвел для себя комнатку где-то на дворе, и это его собственное помещение смахивало скорее на кладовую, потому что в нем в большом беспорядке валялись разная рухлядь и всяческие принадлежности сельского хозяйства; особенной чистотой оно также похвалиться не могло, потому что в гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужички и полы постоянно носили следы грязных сапог. В салоне жены Волконский нередко появлялся запачанный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков; в городе носился слух, что он был очень скуп. Так как мне едва ли придется дальше возвращаться к старику Волконскому, то я, кстати, расскажу мое последнее свидание с ним, бывшее несколько лет после амнистии, в 1861 или в 1862 году. Я был тогда уже врачом и проживал в Москве, сдавая свой экзамен на доктора; однажды получаю записку от Волконского с просьбой навестить его. Я нашел его хотя белым как лунь, но бодрым, оживленным и таким нарядным и франтоватым, каким я его никогда не видывал

в Иркутске; его длинные серебристые волосы были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и заметно выхолона, и все его лицо с тонкими чертами и изрезанное морщинами делали из него такого изящного, картинно-красивого старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись его библейской красотой. Возвращение же после амнистии в Россию, поездка и жите за границей, встречи с оставшимися в живых родными и с друзьями молодости и тот благоговейный почет, с каким всюду его встречали за вынесенные испытания, — все это его как-то преобразило и сделало и духовный закат этой тревожной жизни необыкновенно ясным и привлекательным. Он стал гораздо словоохотливее и тотчас же начал живо рассказывать мне о своих впечатлениях и о встречах, особенно за границей; политические вопросы снова его сильно занимали, а свою сельскохозяйственную страсть он как будто покинул в Сибири вместе со всей своей тамошней обстановкой ссыльно-поселенца. <...>

Но если старик Волконский, поглощенный своими сельскохозяйственными занятиями и весь ушедший в народ, не тяготел к городу и гораздо больше интересовался деревней, то жена его, Марья Николаевна, была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни. Говорят, она была хороша собой, но с моей точки зрения 11-летнего мальчика она мне не могла казаться иначе, как старушкой, так как ей перешло тогда за 40 лет; помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, с небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя с большим достоинством, говорила медленно и вообще на нас, детей, производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы несколько стеснялись в ее присутствии; но своих детей, Мишеля и Нелли, она любила горячо и хотя баловала их, но в то же время строго следила за их воспитанием. Мишель был на два года старше меня, и в 1845 году ему минуло 13 лет, Нелли же была на два года моложе брата. Зимой в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем, и только генерал-губернатор Руперт и его семья и иркутский гражданский губернатор Пятницкий¹³ избегали, вероятно, из страха, чтобы не получить выговора из Петербурга, появляться на многолюдных праздниках в доме политического ссыльного. <...>

Уже одна открытая жизнь в доме Волконских прямо вела к сближению общества и зарождению в нем более смягченных и культурных нравов и вкусов. Но помимо того, как ни старались остальные декабристы не слишком выдаваться вперед и сохранять свое скромное положение ссыльно-поселенцев, но одновременное появление в небольшом и разнокалиберном обществе 20-тысячного городка 15 или 20 высокообразованных личностей не могло не оставить глубокого следа. Некоторые из них, как, например, Николай Бестужев, Никита Муравьев, Юшневский и Лунин, оказывали неотразимое влияние своими выдающимися умами,

большинство же — тем глубоким и разносторонним просвещением, пробелы которого они тщательно восполнили во время своей замкнутой от мира, но дружно сплоченной жизни в Чите и в Петровском заводе. Истинное просвещение сделало то, что люди эти не кичились ни своим происхождением, ни превосходством образования, а, напротив, старались искренно и тесно сблизиться с окружавшей их провинциальной средой и внести в нее свет своих познаний; все пройденные ими в жизни испытания наложили на них печать не озлобления, не человеконенавистничества, а безграничной гуманности, необыкновенного благодушия и скромности и создали из них тот своеобразный и редкий в России тип, который с таким высоким художественным тактом и так верно воспроизводил гр. Толстой в отрывке из романа «Декабристы». Естественно поэтому, что они скоро завоевали себе общую любовь и уважение в Иркутске, и благотворное влияние их на окружающую среду было глубоко, хотя, быть может, и нелегко уловимо, потому что достигалось медленно и незаметно, не громкими фразами и не блестящими делами, а разумной и всегда согретой гуманными наклонностями беседой и личным примером безукоризненной честности во всех проявлениях своей будничной жизни, бывшей на виду у всех.

Каждый из них в отдельности и все вместе взятые, они были такими живыми образцами культуры, что естественным образом поднимали значение и достоинства ее в глазах всякого, кто с ними приходил в соприкосновение, и особенно в тех, в ком бродило смутное сознание чего-то лучшего в жизни, чем то животное прозябание и самопошление, какими отличалась жизнь тогдашнего провинциального захолустья.

И нет сомнения, что весьма многие из иркутских чиновников и купцов только в силу этого непосредственного обаяния просвещения почувствовали большую потребность в духовных наслаждениях жизни, стали больше читать и особенно заботиться о том, чтобы дать своим детям по возможности совершенное образование. Недаром же с этого именно времени, т. е. с конца 40-х годов, которые считаются в России самым глухим и неблагодарным периодом в истории русского просвещения XIX века, в иркутском обществе обнаруживается первое стремление молодежи в русские университеты, которое, получив тогда первый толчок, продолжалось с тех пор только прогрессивно расти и развиваться.

⟨...⟩ Вестником радостной для декабристов вести об их освобождении из 30-летней ссылки был сын Волконских, Мишель, находившийся в день коронации в Москве, и его-то генерал Муравьев¹⁴, со свойственной ему сердечной чуткостью, выбрал курьером для доставления в Иркутск милостивого манифеста, дабы он первый мог сообщить своим родителям и их товарищам конец их сибирских испытаний и позднюю зарю их новой жизни. Вечером того самого дня, как обнародован был манифест, молодой Волконский пустился в путь, стремглав промчал по осенней распутице в 17 дней огромное пространство, отделяющее Москву от Иркутска, и привез

старикам столь давно жданную весть об их освобождении. Но в Иркутске и в Восточной Сибири только весьма немногим счастливым довелось дожить до конца ссылки; кости большинства из них давно уже покоились на скромных погостах сибирских сел и деревень. Старики Волконские и Трубецкой с сыном тотчас же воспользовались правом возвращения и, едва дождавшись зимнего пути, покинули Иркутск. Поджио же не хотел расставаться первое время с Сибирью, он все надеялся, что его присковое дело оправдает себя и даст ему возможность обеспечить семью, но чем дальше, тем надежды эти все более слабели, и кончилось тем, что присок не только не обогатил его, а, напротив, поглотил и тот скромный капитал, которым он владел; словом, повторилась история, столь зачастую случающаяся в Сибири. Будущность не могла не представляться старику в мрачных красках; ему уже перешло за 60 лет, и он ясно понимал, что в Иркутске уроками нельзя добыть порядочного куска хлеба, а тем менее обеспечить жену и ребенка на случай своей смерти. В это время он получил от старшего племянника своего, А. О. Поджио, сына декабриста Осипа Викторовича, предложение переехать к нему в петербургское имение, где ему предоставлялись и спокойное доживание своего века, и материальное довольство для семьи. Племянник писал, что это не есть благодеяние с его стороны, а прямой долг, так как он считает, что еще не совсем расквитался в той доле имущества, которая ему досталась вследствие ссылки дяди в Сибирь, — и Александр Викторович, не видя перед собой другого выхода, решил принять это предложение¹⁵.

В 1859 году 3 мая он пустился в путь из того мрачного края, где ему суждено было прожить около половины своей жизни: ехал он в него во цвете молодости и здоровья, но с загубленной будущностью, с разбитыми надеждами, без малейшего просвета на лучшее, а возвращался обратно седым стариком, но с тем же вечно юным, любящим сердцем, заставлявшим его горячо горевать от разлуки с Сибирью, к которой он искренне привязался и где нажил много дорогих друзей и даже собственную семью, но, с другой стороны, он не мог не радоваться, что вывозил эту семью на вольный свет и на простор европейской цивилизации.

Из декабристов, не воспользовавшихся амнистией и оставшихся доживать свой век в Сибири, было, кажется, только двое: Горбачевский и Бечастнов, если не считать Д. Ир. Завалишина, который за свои статьи, печатавшиеся в Морском Сборнике и обличавшие в разных административных промахах графа Муравьева-Амурского, выслан из Сибири против его желания и поселился в Москве, где и умер в конце 80-х годов¹⁶. Горбачевского я никогда не видал; он жил безвыездно в Петровском заводе, за Байкалом, и умер там в 60-х годах, оставив по себе прекрасную память как среди товарищей, так и среди населения завода. Но Владимира Александровича Бечастного я видел часто, и он теперь как живой стоит передо мной. Это был маленький добродушный и необыкновенно юркий толстяк, особенно крепким умом он не

отличался и не выдавался своим образованием над общим уровнем провинциального общества, как его товарищи, но тем не менее это был чрезвычайно добрый и честный человек. С отцом моим у него было общее промышленное предприятие, а именно: отец дал деньги, а Бечастнов устроил в 12 верстах от Иркутска в деревне Смоленщине небольшую маслобойню, на которой готовялось конопляное масло. Предприятие было грошовое, а потому отец мало им интересовался, но Бечастнов, по понятной причине, что других материальных ресурсов у него для жизни не было, весь был поглощен им и, будучи по натуре крайне суетливого характера, постоянно, когда приезжал в город, забегал к нам, всегда запыхавшись, всегда озабоченный, и допекал отца разными мелочами. Он вечно куда-то торопился и не ходил, а бегал по улицам, быстро семена своими короткими ножками, в разговорах никогда не усиживал на одном месте, беспрестанно вскакивал, пересаживался, страшно жестикулировал руками, то и дело нюхая табак и размахивая клетчатым фуляром. <...>

Не подлежит сомнению одно, что и Бечастнов при своей, общей со всеми декабристами, редкой мягкости характера, любви к народу и жажде труда и деятельности на пользу общественную мог вносить только доброе, честное и прогрессивное в окружающую его обстановку, и хотя крестьяне деревни, где он жил, подчас подсмеивались над его неловкостью и рассеянностью, называя его, как говорят, то Бесчастным, то Несчастливым, но любили и уважали его, как своего старшего брата, и в трудные минуты шли к нему за советом. Он и женился на крестьянке той же деревни Смоленщины, и о том, как он жил в своей домашней жизни, я ничего сказать не могу, потому что из наших общих знакомых, по-видимому, редко кто его посещал; там же он и помер от удара в конце 60-х годов и похоронен, оставив, как слышно, большую семью с весьма скудными средствами.

На этом и заканчиваю я мои воспоминания о декабристах, весьма скудные фактически материалом и поэтому не претендующие на серьезное значение, но думается, что и в этом виде они могут пригодиться со временем, когда наступит возможность свободно разрабатывать эту страницу русской истории. Писал я эти воспоминания, будучи сам 60-летним и больным стариком, стоя одной ногой в гробу и желая перед смертью очистить свою совесть, воздавая должное этим людям за то, чем считал себя им обязанным и за что внутренне благодарил их всю жизнь. Они сделали меня человеком, своим влиянием разбудили во мне живую душу и приобщили ее к тем благам цивилизации, которые скрасили всю мою последующую жизнь. Более всех из них я обязан этим своим пробуждением Ал[ександру] Викт[оровичу] Поджио. <...>

П. И. Першин (Караксарский)

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕКАБРИСТАХ

1. МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ

⟨...⟩ Полвека прошло с тех пор, как я впервые познакомился с Михаилом Александровичем Бестужевым в Селенгинске, где он постоянно жил. Это было в 1859 году.

В далекой провинции, как Сибирь, в захолустных городках общество группировалось только в большие праздники, именины, свадьбы и крестины. В остальное буднее время все ютились по своим уголкам, в своих семьях.

На этот раз Селенгинск оживился приездом гостей из Кяхты, в числе которых был и я. Праздновались именины моего тестя Дмитрия Дмитриевича Старцева¹ 26 октября. Гостиная и зала наполнились гостями. Все селенгинское общество: офицеры, артиллеристы, офицеры казачьего войска, купцы, местное духовенство. Кяхтинские, верхнеудинские гости, собравшись в кучки, неумолчно беседовали.

— Михаил Александрович Бестужев, — представил мне мой тесть, вводя в кабинет, где сидел Михаил Александрович в большом вольтеровском кресле.

Общительность, приветливость сразу расположили меня в его пользу. Вот как я увидел его и как могу передать его портрет. Было ему тогда уже за шестьдесят лет, среднего роста, с полуседой головой на сухой жилистой шее, с выдающимся кадыком, бритыми баками и подбородком, с нависшими на губы усами, с толстыми бровями, из-под которых весело смотрят живые серые глаза, всегда воодушевленные мыслью, лицо сухое, кожа чистая, на лбу и висках с фиолетовыми жилками, сбегаящими по щекам, нос с небольшим горбом. Движения живые и энергичные. Черный сюртук точно висит на его худощавых плечах, белый жилет, серые широкие брюки и белый большой ворот рубашки, падающий на плечи, — весь его наряд.

Пусть не посетует читатель, что я, описывая наружность Михаила Александровича, точно отмечаю паспортные приметы. Его портрет, помещенный в «Историческом Вестнике» за 1906 год², далеко не дает представления о чертах его лица и наружности, как изображение молодых лет.

Несколько сутуловатая фигура с расставленными ногами, с трубкой в руках на длинном черешневом чубуке, из которого пускался дым жуковского табаку. Тогда папиросы едва входили в моду.

В то время злободневною темой был Гарибальди³ и его успехи на Апеннинском полуострове в борьбе по объединению Италии. Все симпатии, разумеется, были на стороне героя. Также в горячей беседе часто чередовались имена Мадзини, Кошута⁴, Герцена и других поборников свободы и национальной самобытности.

Беседующие замыкали Михаила Александровича в тесный кружок и вели оживленную беседу о современной политике, прислушиваясь к его решающему голосу.

Лондонская печать Герцена возбуждала тоже живейший интерес. Издаваемые им «Колокол» и «Полярная звезда» читались с жадностью и комментировались на все лады.

Тогда Герцен был известен под именем Искандера по его популярному псевдониму. «Колокол» его не только звонил, но даже нередко бил в набат и слышен был в самых далеких глухих окраинах. Свободное смелое слово Искандера при царившей строгой цензуре производило, конечно, сильное впечатление на читателя. Запрещенный плод всегда сладок. Несмотря на страшную ответственность за распространение его, он проникал всюду и передавался от одного к другому с величайшей осторожностью. Но ни страх перед карой, ни трудность получения его, а тем паче хранения у себя дома, не останавливали любознательного читателя.

Другим животрепещущим вопросом был вопрос «об улучшении быта крепостных крестьян». Так боязливо и осторожно подходили к разрешению его, что не упоминали слова «освобождение». Все мыслящее общество чутко следило за ходом его и всеми препятствиями к разрешению этого гордиева узла.

Михаил Александрович горячо принимал к сердцу всякое известие и волновался от неправильной, по его мнению, постановки вопроса. Волнения Михаила Александровича и горячность в беседах об освобождении крестьян понятны. Он, в числе других своих единомышленников, освобождение крестьян от крепостной зависимости клал в основу замышляемого тогда государственного переворота. Из всех заговорщиков не было ни единого голоса против освобождения, несмотря на то что все они были в большей или меньшей мере владельцами крестьян, а некоторые из них очень крупными помещиками⁵.

Переживавшие эту эпоху все благомыслящие русские испытывали и радость, и тревогу, надежды и опасения. Осведомленность по этому вопросу черпалась только из газет, а газеты проходили известное чистилище — цензуру, которая была строга беспримерно. Из России, кроме газетных, шли вести путем устных рассказов приезжих из России и из получаемых писем от родных из очага событий. Самые достоверные сведения получал Михаил Александрович от сестры своей, Елены Александровны, из Москвы. Она была неутомимой корреспонденткой, сообщавшей все новости политические, общественные и семейные, или, лучше сказать, хозяйственного свойства. Она занималась издательством сочинений брата Александра Александровича (Марлинского). От этих-то крох питался с семьей и Михаил Александрович, с прибавкой небольших сбережений от своего сельского хозяйства да от преподавательской практики в знакомых и дружеских семействах сележан⁶.

Таков был первый день моего знакомства с Михаилом Александровичем Бестужевым. Этому минуло чуть не полвека,

а в настоящее время, когда я решился огласить в печати мои воспоминания, исполняется 80-летний юбилей со дня декабрьских дней.

Восемьдесят лет тому назад, 14 декабря, лучшие образованные люди того времени на Сенатской площади кровью запечатали свои идеалы. Многие заплатили жизнью, многие искупили свои увлечения вечной ссылкой в рудниках Сибири, многие там положили свои кости, и немногие возвратились чрез десятки лет на свои пепелища доживать свои старческие дни. Всех их история, или, вернее сказать, случайные воспоминания — почтили благодарной памятью. То, что считалось тогда неосуществимой мечтой, теперь переходит в факт. Неудержимый ход истории народов делает свое дело не прерываясь, не останавливаясь, идет вперед, делая государственное строительство. Тогда только маленькая горстка передовых русских людей пришла к сознанию неизбежности перехода от абсолютизма к свободе, от непроглядной тьмы к свету. И эта маленькая величина предприняла грандиознейший государственный переворот, оказавшийся не по силам и кончившийся гибелью цвета русской интеллигентской молодежи. Тогдашняя Россия крепостного права и чиновничества, можно сказать, сплошь малограмотная, была совершенно не подготовлена к гражданственности и свободным убеждениям, не имела достаточного контингента образованных людей, чтоб воспринять новые формы правления, проникнуться убеждением в их необходимости. Понятно, что попытка этой маленькой кучки людей не имела под собой почвы, а масса не только ее не поддержала, но даже встретила враждебно⁷.

Катастрофа разразилась в мрачный, полутемный день 14 декабря 1825 года. Картечи сделали свое дело, и Сенатская площадь опустела. Московский полк бросился по Галерной и выбежал на набережную, спустился на тонкий лед Невы, который обрушился. Многие москвичи в холодной купели нашли могилу.

— Когда мои молодцы были притиснуты к стенам Синода и Сената, — говорил Михаил Александрович Бестужев, — картечь сыпалась на нас градом, но москвичи стойко выдерживали огонь. Один из залпов подкосил моего фельдфебеля, бравого молодца Свистунова, только что мною перед филипповками повенчанного⁸. Когда я наклонился к нему, чтобы заткнуть носовым платком бившую кровавым фонтаном рану, он без стона и жалобы успел проговорить: «Оставьте, ваше благородие... умру за... не оставьте жену». Моя рота уже дрогнула. Еще град картечей, и она неудержимо бросилась по Галерной. (...) Хотя я искал момент ее задержать, но уже весь Московский полк был в замешательстве и через несколько минут стремительно напирал уже на бежавших впереди узкой улицы, обстреливаемый из орудий со стороны площади. Главная катастрофа произошла на неокрепшем еще льду Невы, где я предпринимал последнюю попытку задержать бегущих, сделать уже первое построение рядов (...) но лед не выдержал.

Рассказ свой Михаил Александрович вел живо и увлекательно, его старческие глаза светились, жестами он подтверждал недоска-

занное. Как теперь его вижу с трубкою в руках на длинном черешневом чубуке. Когда в трубке гас огонь, то Филька живо подносил зажженную бумажку, и снова Михаил Александрович пускал клубы дыма жуковского табаку. Его средний рост как бы сокращался небольшой сутуловатостью. Серая пара лежала на его плечах несколько мешковато, воротник белой рубахи à l'enfant* спускался до плеч. Волосы со значительной проседью, уступая место высокому лбу, зачесанные на виски, разделялись косым пробором. (...)

Михаил Александрович был замечательный собеседник и неистощимый рассказчик о тюремной жизни, которую он умел разнообразить. Петровская тюрьма для многих узников была университетом, где недостаток образования пополняли те, которым служба и светские удовольствия в жизни не давали свободного времени. Доктора, инженеры, артиллеристы — каждый по своей специальности — читали лекции. Никто ими не манкировал, и аудитория каждого лектора была полна. Получаемые книги и журналы на всех европейских языках не оставляли места для скуки. Хотя всякая книга проходила через цензуру коменданта Лепарского, он не имел физической возможности их просмотреть даже поверхностно, но должен был поставить свою цензурную отметку. Не владея многими европейскими языками, Лепарский поневоле должен был делать надпись, что «читал» книгу, написанную на неведомом ему языке. На одной книге на еврейском языке написал «видал». Любознательность узников была настолько велика, что не осталась в пробеле и еврейская литература. Таких филологов, разумеется, было немного. Но общеевропейская литература была многим доступна.

Боюсь повторить то многое, что уже имеется в печати, и поэтому ограничиваюсь слышанным из уст самого М. А. Бестужева.

Не чужды были некоторым талантливым узникам и искусства. Николай Александрович Бестужев был далеко не заурядным художником-живописцем. Много портретов кисти и карандаша его сохранилось и в семье моего тестя Дм. Дм. Старцева, селенгинского жителя. До настоящего времени, надеюсь, сохранились портреты декабристов, тоже карандаша Николая Александровича, бывшие у меня и во время оно переданные моему знакомому в Москве, который, как слышно, увековечил их память, издав альбом⁹.

Кроме живописи Николай Александрович был механиком, часовщиком, каретником, шорником. Это был большой талант по всем искусствам и ремеслам. Двухколесные кабриолеты его, называемые «сидейками», до сих пор не заменимы другими подобными экипажами по своей легкости и целесообразности¹⁰. Они распространены по всему Забайкалью и Иркутской губернии. И важнее всего то, что распространение ремесел в Забайкалье, особенно в степях между бурятами, всецело принадлежит Н. А. Бестужеву. Старожилы буряты хранят о нем до сих пор благодарную память.

* По-детски (фр.). — Сост.

Много трудился Н. А. Бестужев над усовершенствованием стенных часов-хронометра. Знатоки отзывались с большой похвалой об этого рода усовершенствовании. Н. А., как моряк, в своей морской служебной практике много посвящал времени хронометру, так как на точности его, как известно, основываются все вычисления моряка. Редкой специальности не знал Н. А., до сельского хозяйства включительно. Его почину принадлежит в Селенгинском разведении меринсовых овец, культивирование которых шло очень успешно и обещало полное развитие, если бы инициаторы этого предприятия дольше оставались в этой стране. <...>

Михаил Александрович Бестужев пережил всех своих братьев: Николая Александровича, Александра Александровича (Марлинского) и Павла. Он умер в Москве, возвратившись через сорок лет из ссылки, похоронив всех своих близких в Сибири. <...>

II. ИВАН ИВАНОВИЧ ГОРБАЧЕВСКИЙ

После амнистии в 1857 г.¹¹ Иван Иванович Горбачевский остался на постоянное жительство дотягивать свои печальные дни в той угрюмой, огороженной высокими горами и лесами котловине, что зовется Петровским заводом.

Завод этот приютился в мрачном ущелье с протекающей речкой Балегою, впадающей в р. Хилок, в западных отрогах Яблонового хребта.

Родина, по-видимому, его не тянула, он ее редко вспоминал, и только в связи с событиями 1825 года. Из родственников остались в живых его сестра Анна Ивановна, да ее сыновья Квисты¹².

Последний его портрет представляет суровую наружность, обросшую большими баками и чисто малороссийскими усами и значительную растительностью на голове, мало утраченной от времени. Несмотря на суровую наружность, он сохранил почти детское добродушие и безграничную доверчивость к людям. За то и платили ему сторицею любовью и уважением все окружающие его.

Обыденная будничная жизнь Ивана Ивановича текла однообразно, в мелких хлопотах по хозяйству, в котором первое место занимала его мельница, которая едва ли не была ему в убыток, судя по его доверчивости и добродушию. Мельничное хозяйство носило анекдотический характер, и вся контора по его мельнице велась тут же записью на стенах мелом. Купленное зерно он размалывал и муку раздавал в долг жителям Завода и окрестным крестьянам. Долги, разумеется, собирались туго и часто совсем пропадали. <...>

Помимо бесплодных забот по хозяйству так же шла и его педагогическая деятельность, так сказать, из любви к искусству. Немногочисленный кружок питомцев состоял из детей местных жителей, служителей заводских да канцеляристов. Преподавалась первоначальная грамота по программе уездных училищ или же

просто ограничивалось чтением и писанием. Обращалось более внимания на тех, которые выдавались способностями. <...>

Материальные средства Горбачевского поддерживались его сестрой, Анной Ивановной Квист, и комиссионными поручениями некоторых золотопромышленников. Золотопромышленник Бутац, имея дела в чикойской тайге¹³, давал комиссионные поручения, оплачиваемые хотя и не особенно щедро, но достаточно для того, чтобы с добавкою еще кое-каких случайных доходов без особенных лишений можно было существовать, в особенности в Петровском Заводе, где все было дешево, не тратясь на квартиру, имея собственный домик. <...>

Общество местное составляли священник, два купца да заводские служащие. Иван Иванович не только был со всеми в ладу, но всеми уважаем, был в своем роде патриархом.

Петрозаводское общество нередко оживлялось приезжими гостями. Этот маленький горный мирок имел и свою интеллигенцию, группировавшуюся, разумеется, около Ивана Ивановича. Интересы современной литературы были не чужды кружку, а также и литературы заморской, с «того берега», которая проникала в эти трущобы не без труда и риска¹⁴. <...>

Не раз повторявшееся наше — почитателей Ивана Ивановича — паломничество в Петровский завод всегда оставляло неизгладимое впечатление, производимое его беседами и сердечностью, с которыми он относился к окружающим его друзьям и почитателям. Петрозаводские обитатели читли и почитали его за правоту и доброту, которым он нередко помогал в нужде из своих скудных средств. Кстати сказать, истинное спасибо ближайшему соседу Ивана Ивановича Борису Васильевичу Белозерову, который не скупился поддерживать его материальными средствами, заботливостью и участием к судьбе изгнанника.

Тюрьмы опустели. Оставшиеся стены тюрьмы, в то время обнесенные тыном, теперь время снесло с лица земли. Из ста пяти узников Петровского каземата оставался в живых один Иван Иванович Горбачевский дотягивать свои печальные дни, прекратившиеся смертью в 1869 году.

На высоком холме вблизи завода покоится прах его рядом с могилами товарищей по изгнанию. <...>

III. МИХАИЛ КАРЛОВИЧ КЮХЕЛЬБЕКЕР

Впервые познакомился я с Михаилом Карловичем Кюхельбекером в 1857 году, быв в Баргузине проездом далеко на север, в Витимскую тайгу, за озеро Баунт, в верховьях истоков реки Витима. Мне предстояло провести некоторое время в Баргузине, где пользовался квартирой и гостеприимством Михаила Карловича, где он прожил много лет со времени причисления в Баргузин на поселение по освобождении из Петровского каземата. Местом поселения ему была назначена Читканская волость, в 10 верстах от Баргузина, но местное начальство разрешило временно жить

в этом городе, где он со временем и поселился на постоянное жительство и жил там безвыездно до самой смерти. В городе имел он свой собственный деревянный дом в четыре комнаты с мезонином и усадебное место с хозяйственными постройками.

Семейство его состояло тогда из жены, Анны Степановны, баргузинской уроженки, и, кажется, из полудюжины дочерей-подростков от 8 до 15 лет¹⁵. А одна из них, старшая, воспитывалась в Иркутске, помнится, в сиротопитательном заведении¹⁶. Остальные же в то время росли и пользовались вполне деревенской свободой и бегали босоножками.

Как все декабристы, Михаил Карлович пользовался любовью и большим уважением местных жителей, в особенности тунгусов и бурят, с которыми вел дружбу, и был их советником во всех житейских делах и, кроме того, доктором, разумеется, даровым. <...>

Михаил Карлович Кюхельбекер был буквально заброшен в пустынный край, населенный преимущественно бурятами, оторванный от всех товарищей, даже родной брат его, Вильгельм Карлович, по выходе из тюрьмы был водворен и постоянно жил в пограничной с Монголией крепости в Акше, на берегах Онона, родине Чингисхана, за тысячу верст. <...>

Семейная жизнь Михаила Карловича омрачилась разводом с женой Анной Степановной по доносу священника за женитьбу на куме!¹⁷ За такое брачное родство дети были признаны незаконными. Сожительница его — разведенная жена, баргузинская мещанка, женщина простая, едва ли грамотная, не могла, разумеется, хотя сколько-нибудь проникнуться его интересами, а тем более разделять его идеи. «И что он все в книжку смотрит, напрасно только время теряет». А медицинскую его практику считала прямым убытком. Эпитет «немца», как она называла старого декабриста, в устах Анны Степановны был ласкательным. <...>

Умер он в том же Баргузине в 1859 году.

Мир праху его!

О. Н. Балакшина

ЗАПИСЬ ЕЕ ВОСПОМИНАНИЙ О ДЕКАБРИСТАХ В СИБИРИ

Первое появление декабристов в Ялуторовске относится к 1834—1835 годам. Воспоминаний о их приезде не сохранилось, так как отец переехал в Ялуторовск только в 1839 году, с какого года и сохранились воспоминания О. Н.

В Ялуторовске в этот промежуток времени жили следующие декабристы: Матвей Иванович Муравьев-Апостол, Иван Дмитриевич Якушкин, Николай Васильевич Басаргин, Евгений Петрович

Оболенский, Иван Иванович Пущин, Василий Карлович Тизенгаузен и Ентальцев (Андрей Васильевич).

Первое время по приезде в Ялutorовск все декабристы жили по квартирам у местных жителей и жили очень скромно, так как у них ощущался недостаток средств. В 1839 году в Ялutorовск приехал из Тюмени Н. Я. Балакшин, служивший у известного откупщика Мясникова управляющим. Как человек передовой и образованный, он сразу же сблизился с декабристами, и Оболенский, Якушкин, Пущин поселились у него в доме, где и прожили около года, пока не получили возможности занять более удобные и обширные квартиры. В жизни в Ялutorовске довольно значительную роль сыграл Н. Я., так как, пользуясь своим положением, он служил как бы посредником между декабристами, жившими в Ялutorовске, и их родственниками.

Декабристы вели переписку, получали деньги, книги и журналы на его имя, так как им самим было все это запрещено. На первых порах, когда их средства были ограничены (а у некоторых они были ограничены и до конца пребывания), Балакшин выписывал для декабристов и по их указанию массу современных газет и журналов.

Будучи высоко развитыми и образованными людьми, декабристы по приезде в Ялutorовск начали учить грамоте всех, кого только возможно. Так, например, они учили свою прислугу и вообще всех, кто к ним обращался.

Жили декабристы очень просто, по квартирам местных жителей: так, Пущин жил у Бронникова, Оболенский у купцов Ильиных, Якушкин у Ларионова. Некоторые же, получив деньги, купили себе дома, например Муравьев, Басаргин, Тизенгаузен.

Как выше уже упоминалось, декабристы учили кого только возможно. Но обучать на дому всех было невозможно. Возникла мысль открыть школу, которую и начал осуществлять и проводить в жизнь Якушкин. В это время разрешалось открывать только церковно-приходские школы. Якушкину и пришлось пойти по этому пути. Он привлекает к себе сотрудников, воодушевляет и настаивает на устройстве школы. После настойчивых хлопот этих лиц удалось получить разрешение, а также дом, в котором можно было открыть школу. И вот в 1846 году 1 июня школа была открыта. Заведующим школой, ее учителем и вдохновителем был Якушкин. Рукоделие преподавала Амалия Константиновна Муравьева — жена Муравьева-Апостола. То же делала и Созонович¹, воспитанница Муравьевых. Главным источником, на который школа существовала, были те же деньги, которые получались декабристами из России, так как, по-видимому, там среди их знакомых производились сборы, которые и пересылали на содержание школы. То же самое можно сказать и о присылке учебных пособий и т. п. В случаях перебоя поступления средств они доставлялись через Балакшина в Сибирь.

Что касается состава учащихся, то здесь не было никаких делений на классы, сословия и что-либо подобное. Все одинаково

принимались в школу, и Якушкин очень зорко следил за тем, чтобы между учащимися были самые простые и дружеские отношения. Школа смешанного типа, т. е. в ней мальчики и девочки учились вместе. Для бедных учеников имелись пимы и полушубки, которые им раздавались с тем условием, чтобы они посещали школу. Довольно много учеников было и из ближайших деревень. За теми, кто жил далеко от школы, посылалась лошадь Балакшина, которая и собирала учеников в школу, а после окончания уроков развозила их. Занятия производились утром и после обеда: в 9—1 дня и 2—4 вечера. Зимой занимались один раз. Весной, летом и осенью после занятий обычно шли в поле, и Якушкин рассказывал на примере жизнь природы, так как был хороший ботаник. Он очень любил учеников и часто в переменах сам принимал участие в играх. Со старшими учениками занимался сам Якушкин — арифметикой, географией, грамматикой, историей, ботаникой и т. п. Около кафедры для этих целей висел глобус. После объяснения урока шли в соседний рукодельный класс, где стояли не парты, а столы, и чертили по объясненному уроку карты на бумаге.

Теперь остается сказать несколько слов о самих декабристах и их взаимоотношениях. Якушкин был казачий офицер², среднего роста, всегда носил казачью поддевку и на черной ленточке часы. Жена с ним в Сибирь не поехала³, как и семья. Два сына, которых он имел, приезжали гостить в Ялуторовск два раза⁴. Жил он сначала у Балакшиных около года, где имел небольшую комнату с отдельным входом и очень простенькой обстановкой. После того как стал получать деньги из России, занял более просторную квартиру у купцов Ларионовых, где имел три комнаты. Он был хороший ботаник и любил вообще природу. У Ларионовых во дворе он устраивал громоотвод; но доделать ему не дали соседи, так как боялись. Столб этот так и остался стоять после отъезда Якушкина.

Якушкин купался в Тоболе от заморозков до заморозков. Он же первый начал кататься на коньках, на что жители Ялуторовска говорили, что это «черт по льду бегаёт». После стали кататься на коньках почти все декабристы.

Уехал Якушкин из Ялуторовска первым. После своего отъезда он присылал своей хозяйке плату за квартиру по 45 рублей в год, и когда умер, то его дети продолжали посылку этих 45 рублей до самой смерти Ларионовой.

Что касается жизни других декабристов, то здесь удалось записать обрывками следующее.

В школе училось около 100 человек. Классная комната была высокая, большая и светлая, с большими окнами, которые поднимались, а не отворялись. Парты были длинные, и за них садились несколько человек. Около стены стояла кафедра на возвышении в две ступеньки.

Метод обучения в школе был английский — Ланкастера⁵, который заключался в следующем. Около стен были сделаны

полукруги из круглого железа с одной ножкой и крючьями по концам. Такой полукруг пристегивался к петлям, забитым в стену.

В средину такого круга становился один из учеников, уже прошедший и усвоивший этот круг, по назначению Якушкина, а кругом, сложив руки назад, становилось несколько человек, которым еще надо было этот круг пройти. На стену весились таблицы, и стоящий в кругу ученик показывал указкой ту или иную букву, цифру и т. д., смотря по кругу, а стоящие вокруг по очереди отвечали. Причем наиболее успевающие и хорошо усвоившие становились к одному концу, а плохо знающие — к другому, т. е., другими словами, размещались по знаниям. И с конца, где стояли уже усвоившие этот круг, ученики переводились Якушкиным к следующему кругу, а на их место продвигались следующие. У учеников в то время считалось весьма лестным встать в начале круга, а затем, усвоив хорошо, сразу перескочить через всех и стать к другому концу круга, где стоят уже усвоившие этот круг.

Таких кругов было несколько, причем ученики переходили по мере усвоения от одного к другому. Якушкин же, сидя на кафедре, за всеми следил, делал поправки и замечания.

После кругов садились за парты. Передние парты представляли из себя неглубокие, плоские ящики, в которых был насыпан песок. Тут же лежали палочки, которыми писали, и линейки для разравнивания песку.

Таких парт было два ряда. Следующие два ряда имели уже аспидные доски с грифелями и губками для стирания написанного. Наконец, на последних партах были чернила. Доски классной совсем не было, а все, что требовалось, было написано на таблицах, которые и вывешивались. Уроков никаких на дом не задавалось, все проходило и усваивалось в школе.

Между собой декабристы жили очень дружно, часто бывали друг у друга и помогали в тяжелую минуту. К ним приезжали гости из Тобольска декабристы: Анненков, Муравьев⁶, Фонвизин и Свистунов, почти все с семьями. А их дети очень часто приезжали в Ялуторовск на каникулы и гостили у декабристов.

Все декабристы носили железные кольца, сделанные из тех кандалов, которыми они были закованы на каторге. Все они имели переписку с родными, получали от них же и средства к существованию. Очень часто они бывали у Балакшиных. Из России приезжали два сына к Якушкину и Муравьеву⁷. Многие из проезжавших через Ялуторовск гостили и останавливались у декабристов. У всех декабристов, у кого были дети, имелось по фортепиано, на котором учил играть музыке Берг, весьма уважаемый декабристами. Все они очень любили детей, устраивали для них вечера, на которых в играх принимали участие и сами. Все почти играли в шахматы и в карты, но без всякого денежного интереса, и курили трубки. Муравьев всегда хорошо одевался, не играл в карты и часто хандрил. Был большой охотник, имел

три собаки и ходил с Бергом на охоту. Басаргин имел мельницу, был женат на сестре профессора Менделеева⁸. После поездки в Россию и свиданья с родными Басаргин снова вернулся в Ялуторовск и затем жил в Туринске и умер (кажется) в Омске⁹.

Из всех декабристов в Ялуторовске умер один Энтальцев, который похоронен на кладбище, где ему оставлен памятник.

Пушин был очень отзывчив к чужим нуждам, чем очень часто злоупотребляли. Он почти всегда раздавал просящим все имеющиеся у него деньги и сам оставался без гроша. <...> Для удовлетворения просьб Пушин очень часто прибегал к займам.

Оболенский женился в Ялуторовске на простой девушке¹⁰. К нему приезжал из Томска Батеньков. Трубецкие, возвращаясь из Иркутска, жили у Балакшиных, так как у них захворал сын. Покупая что-либо на базаре или где бы то ни было, декабристы вообще никогда не торговались. Прислуга у них жила до самого их отъезда бесшумно. Население страшно их любило и очень хорошо к ним относилось. Грамотность в Ялуторовске быстро поднялась благодаря учебной работе декабристов. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. Д. ФРАНЦЕВОЙ

<...> Служба в Сибири пятьдесят лет тому назад давала большие преимущества чиновникам, потому отец мой и решился ехать туда служить. Нужно было иметь много твердости характера, чтобы в то время с семьей, маленькими детьми, молодою женой, без средств, решиться пуститься в почти неизвестный и столь отдаленный край, как Сибирь. Отец и мать мои были оба уроженцы города Симбирска. Там они имели свой собственный дом с садом, а в Казанской губернии Спасского уезда небольшое имение, полученное в приданое матерью моею при замужестве. <...>

Путешествия нашего в Сибирь я совсем почти не помню, смутно только помню наш приезд в Красноярск, где прожили мы несколько месяцев, потом переехали в Ачинск, где тоже оставались недолго, а потом уже отца назначили исправником в Енисейск Красноярской губернии. В Енисейске прожили мы полтора года и здесь близко сошлись с сосланными на поселение после шестилетней каторги так называемыми декабристами Михаилом Александровичем и женою его Натальей Дмитриевной Фонвизини¹.

Енисейск довольно большой и красивый город. В нем много церквей, два монастыря, один мужской, другой женский, много каменных домов и прекрасная набережная. <...> Общества почти никакого; круг чиновников тогда был очень неразвитый, грубый. Все удовольствия заключались для них в вине и картах. Бывало, празднуют именины три дня, пьют и кутят целые ночи, уезжают домой на несколько часов, а потом опять возвращаются и кутят. Порядочному человеку, попавшему в их круг, становилось

невыносимо. Купечество хотя очень богатое, но замкнутое тоже в своей однообразной, грубой среде. Приехав в Енисейск, мой отец волей-неволей должен был поддерживать с ними общение и даже разделять их пирушки; но, не имея с ними ничего общего, старался удалиться от них и поэтому сошелся с поселенным там семейством декабриста Михаила Александровича Фонвизина и с сосланными туда поляками, общество которых, как людей образованных, было приятное. Из поляков многие были люди милые и талантливые; они давали нам, детям, уроки. Жизнь они вели трудовую и скромную, потому что нуждались очень в средствах к существованию. Фонвизины жили тоже уединенно, хотя в средствах не нуждались. Они занимали прекрасный каменный дом с садом; обстановка у них была очень приличная и комфортабельная.

Наталья Дмитриевна Фонвизина была весьма красивая молодая женщина и большая любительница цветов. Небольшой ее садик был настоящая оранжерея, наполненная редкими растениями; она по целым дням иногда возилась в нем. <...>

Моему отцу, как служащему в Енисейске исправником, приходилось делать большие разъезды по делам службы. Одна из самых замечательных поездок его была в Туруханск и далее на север. <...> Нелегко ему было в Туруханске, на краю света, вдали от семьи, бороться со злом и чувствовать кругом себя одну лишь враждебную силу. <...> Господь послал ему утешение и отраду в лице встретившегося там одного тоже поселенного из декабристов, Александра Борисовича Абрамова², который как человек хороший, добрый и образованный был для отца в этой глуши настоящим, как он выражался, сокровищем и опорой. Не легче было, конечно, и Абрамову, почти заживо погребенному в дикой, суровой стране, далеко от всего родного, близкого, цивилизованного. <...>

Абрамов был характера очень доброго, веселого и общительного, старался всем делать добро и помогал кому словом, а кому и делом, заступался часто за невинных и отстаивал их. Его все там очень любили, и когда он умер, зарывшись сибирской язвой, то оплакивали, особенно бедные, как родного отца.

В Туруханск на некоторое время был тоже сослан один из декабристов, Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Несчастливого из Иркутска провели туда пешком на лыжах по тундрам. Этот страдалец не вынес, однако, такого страшного испытания, сошел с ума и впоследствии был переведен по просьбе меньшого его брата, тоже декабриста, Павла Сергеевича, в Красноярск, где тот находился, а потом они вместе переведены были на поселение в Тобольск, откуда в 1856 году возвращены на родину в Россию. <...>

В Красноярске, куда был переведен из Ачинска отец, мы опять встретились со старыми знакомыми, Фонвизинными, и снова прожили года полтора вместе с ними. Там поселены были еще некоторые из декабристов: два брата Бобрищевы-Пушкины, Краснокутский, Митьков. Так как Красноярск губернский город,

то и состав чиновников был более порядочен и образованный. Жизнь там была более приятная, чем в уездных городах. Декабрист Краснокутский был холостой, разбитый параличом, почему все его товарищи и знакомые собирались к нему, беседовали, играли иногда в карты. Переведенный впоследствии в Тобольск, он там умер. <...>

По отъезде Фонвизиных из Красноярска в Тобольск, куда их по просьбе родных перевели, отец мой недолго оставался в Красноярске. Ему надоело жить в Сибири, и он задумал возвратиться в Россию, куда мы и отправились обратно в декабре месяце 1839 года.

Тобольск лежал нам не по пути, но мы нарочно заехали туда, чтоб повидаться и проститься в последний раз с Фонвизиными. Тогда в Тобольске генерал-губернатором был князь Петр Дмитриевич Горчаков³, родственник и друг Фонвизиных. Михаил Александрович Фонвизин уговорил отца остаться в Тобольске и рекомендовал его князю Горчакову как честного человека; отцу предложили место советника в губернском правлении, которое он и принял. В Тобольске мы прожили, не разлучаясь с Фонвизиными, в постоянной, а потом тесной дружбе, ровно шестнадцать лет. В Тобольск же вскоре переведены были из Красноярска братья Бобрищевы-Пушкины, тоже наши хорошие знакомые, а впоследствии и дорогие друзья, а вскоре затем и еще несколько семейств из декабристов: Анненков, Александр Михайлович Муравьев, доктор Вольф, Петр Николаевич Свистунов, барон Штейнгель, Башмаков, Степан Михайлович Семенов, князь Барятинский. Недалеко от Тобольска, верст за 200, в уездном городе Ялуторовске поселились также на житье декабристы: Матвей Иванович Муравьев-Апостол, Иван Дмитриевич Якушкин, Иван Иванович Пущин, барон Тизенгаузен, Ентальцев, Басаргин. Все они нередко приезжали в Тобольск, конечно, с разрешения губернатора и, принадлежа большею частью к высшему обществу, отличались образованием и простотой обращения. <...>

Фонвизины в Тобольске вели жизнь хотя и скромную, но имели уже довольно обширное знакомство благодаря своим прекрасным качествам, а также родству с генерал-губернатором князем Горчаковым, который бывал у них всегда запросто, как близкий родственник. <...>

Князь Горчаков перевел свою резиденцию из Тобольска в Омск, за шестьсот верст от Тобольска, ближе к киргизской степи, куда, как он уверял, делали часто набеги киргизы, почему его корпусной квартире и следовало быть ближе к этой местности. С удалением главной квартиры, управления генерал-губернатора, войска, чинов штаба в Омск Тобольск совершенно опустел, сделался скромным губернским городом, и жизнь в нем началась довольно скучная. Собственно для меня это была лучшая пора потому что в этот период мы больше сблизились с Фонвизиными, на меня как на девочку с пылким воображением и восприимчивой

натурой Наталья Дмитриевна имела громадное нравственное влияние. Она была замечательно умна, образованна, необыкновенно красноречива и в высшей степени духовно-религиозно развита. В ней так много было увлекательного, особенно когда она говорила, что перед ней невольно преклонялись все, кто только слушал ее. Она много читала, переводила, память у нее была громадная; она помнила даже все сказки, которые рассказывала ей в детстве ее няня, и так умела хорошо, живо, картинно представить все, что видела и слышала, что самый простой рассказ, переданный ею, увлекал каждого из слушателей. Характера она была чрезвычайно твердого, решительного, энергичного, но вместе с тем необычайно веселого и проста в обращении, так что в ее присутствии никто не чувствовал стеснения. <...>

Наталья Дмитриевна до конца жизни сохранила свой твердый решительный характер. Она знала, что муж ее принадлежал к тайному обществу, но не предполагала, однако, чтоб ему грозила скорая опасность. Когда же после 14-го декабря к ним в деревню Крюково, имение, принадлежащее Михаилу Александровичу по Петербургскому тракту, где они проводили зиму, явился брат Михаила Александровича⁴ в сопровождении других, незнакомых ей, лиц, то она поняла тотчас же, что приезд незнакомых людей относится к чему-то необыкновенному. От нее старались скрыть настоящую причину и сказали, что ее мужу необходимо нужно ехать в Москву по делам, почему они и приехали за ним по поручению товарищей его. Беспокойство, однако, запало в ее сердце, особенно когда стали торопить скорейшим отъездом; она обратилась к ним с просьбой не обманывать ее: «Верно, вы везете его в Петербург?» — приставала она к ним с вопросом. Они старались уверить ее в противном. Муж тоже, чтобы не огорчать ее вдруг, старался поддерживать обман, простился с нею наскоро, сжав судорожно ее в своих объятиях, благословил двухлетнего сына⁵, сел в сани с незнакомцами, и они поскакали из деревни. Наталья Дмитриевна выбежала за ними за ворота и, не отрывая глаз, смотрела за уезжавшими, когда же увидела, что тройка, уносящая ее мужа, повернула не на московский, а на петербургский [тракт], то, поняв все, упала на снег, и люди без чувств унесли ее в дом. Оправившись от первого удара, она сделала нужные распоряжения и на другой же день, взяв с собой ребенка и людей, отправилась прямо в Петербург, где узнала о бывшем 14 декабря бунте на площади и о том, что муж ее арестован и посажен в Петропавловскую крепость.

Она не упала духом, разузнала о других арестованных лицах, познакомилась с их женами и подговорила их как-нибудь проникнуть к заключенным мужьям. Однажды она сказала жене товарища мужа, Ивана Дмитриевича Якушкина, с которой была дружна: «Найдем лодку и поедем кататься по Неве мимо крепости!» И две молодые предприимчивые женщины, наняв ялик, долго плавали около крепости, наконец, заметили каких-то гуляющих

арестантов, но побоялись приблизиться к ним, не зная наверно, кто они, и опасаясь быть замеченными.

Разузнав потом хорошенько у служителей крепости, за деньги, конечно, как помещены их узники, они узнали также, что их водят в известный час каждый день гулять по берегу Невы вдоль крепости. Тогда они смелее стали продолжать ежедневно свои прогулки на ялике по Неве, и когда завидели вдаль опять гуляющих арестантов, то подъехали ближе настолько, чтоб они могли их заметить, стали махать им платками и делать разные знаки, по которым заключенные и узнавали своих жен. Потом достигли уже того, что стали передавать им записочки и получать ответы на разных грязных бумажках или табачных бандеролях, которые сохранились у меня до сих пор. Она, как только ей стало известно решение участи мужа, что ссылается в Сибирь на каторгу, решилась последовать за ним в изгнание, но не могла ранее года исполнить свое желание. Когда муж ее уже сидел в крепости, у нее родился второй сын⁶, после которого она долго не могла оправиться. Мужа же в продолжение этого времени отправили в Сибирь, и она не имела никакого известия о нем, так что не знала, жив ли он там или нет.

Родители ее восстали против ее решения ехать за мужем на каторгу. Она была у них единственная дочь, и разлука с ней почти навек казалась для них невозможной. Но твердая решимость дочери исполнить священную обязанность относительно изгнанника-мужа заставила их покориться своей скорбной участи и расстаться с любимой дочерью. <...>

Устроив своих двух малолетних сыновей у дяди, Ивана Александровича Фонвизина, родного брата Михаила Александровича, человека высоких нравственных правил, честного, доброго, благочестивого и горячо любившего брата, Наталья Дмитриевна поехала одна с девушкой и с фельдъегерем на козлах, оторванная от родной семьи, родины, друзей, в неведомую даль, с будущим, покрытым таинственным мраком. <...>

Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, приобрели необыкновенную любовь народа. Они имели громадное нравственное влияние на сибиряков: их прямота, всегдашняя со всеми учтивость, простота в обращении и вместе с тем возвышенность чувств ставили их выше всех, а между тем они были равно доступны для каждого, обращающегося к ним за советом ли, с болезнью ли, или со скорбью сердечной. Все находили в них живое участие, отклик сердечный к своим нуждам. <...>

В Петровске жены декабристов приобрели свои деревянные дома и украсили их со вкусом, сколько могли. Их мужьям было разрешено приходить на свидание с женами в продолжение нескольких часов, тогда как прежде они могли видаться только в тюрьме, где иногда испытывали большие неприятности.

Особенное счастье для заключенных, что назначенный главным над ними тюремщиком, или комендантом, генерал Лепарский был человек образованный, добрый и умный, так что они все

уважали и любили его. У них у всех почти сохранились его портреты.

По окончании срока каторги многие из декабристов были посланы на поселение в сибирские города. Фонвизины попали в Енисейск Красноярской губернии, куда, как я уже сказала раньше, вскоре мы и приехали и познакомились там с ними. Здоровье Натальи Дмитриевны не выдержало, однако, тяжелых испытаний и расстроилось серьезно. Особенно много болела и страдала она в Чите и Петровске; местность, окруженная горами, дурно повлияла на ее нервы, и она получила там сильную нервную болезнь, от которой страдала в продолжение десяти лет. Она была очень радушная, гостеприимная хозяйка и любила так же, как и муж ее, угощать; впрочем, он всегда сам занимался столом. В Тобольске, при обилии рыбы и разнородной дичи, стол у них был всегда прекрасный. Сухие же продукты, как то: миндаль, чернослив, грецкие и другие орехи, кофе, горчица, конфеты, масло прованское и т. п., присылались им пудами прямо из Москвы, так что недостатка ни в чем они не имели.

Сначала они нанимали квартиры, а потом купили собственный деревянный дом с садом. Так как Наталья Дмитриевна была большая любительница цветов, то разбила и украсила свой сад превосходными цветами, выписывая семена из Риги, от известного в то время садовода Варгина, завела оранжерею и теплицу. <...> Нередко собирались у них по вечерам друзья, беседовали, спорили. Фонвизины получали разные журналы, русские и иностранные, следили за политикой и вообще за всем, что делалось в Европе. Все их интересовало. Умные, увлекательные их беседы были весьма поучительны.

В Сибири у Фонвизиных родилось двое детей, которые там же и умерли в малолетстве⁷. Тогда они начали воспитывать чужих детей. Подружившись очень с тобольским протоиереем Степаном Яковлевичем Знаменским⁸, очень почтенным и почти святой жизни человеком, обремененным большою семьей, они взяли у него на воспитание одного из сыновей, Николая, который и жил у них, продолжая учение свое в семинарии. По окончании же курса они доставили ему возможность пройти в Казанской духовной академии курс высшего образования. Он и до сих пор жив и служит в Тобольске по гражданской части. Затем они воспитывали еще двух девочек, которых потом привезли с собою в Россию и выдали замуж⁹. <...>

В Тобольске из поселенных там декабристов составилась довольно обширный кружок. У большей части из них были свои дома. У Александра Михайловича Муравьева был прекрасный дом с большим тенистым садом; он еще в бытность свою близ Иркутска в селе Урике женился на одной гувернантке немке, Жозефине Адамовне Брокель¹⁰, очень милой и образованной, которую любил страстно. У них было четверо детей, три дочери и сын, любимец отца, мальчик замечательно способный и милый¹¹, они воспитывали своих детей очень тщательно и выписывали из России

губернанток. Муравьев был богаче других потому, что мать его, Екатерина Федоровна Муравьева, жившая постоянно в Москве, перевела всю следуемую ему часть имения на деньги, что составляло около 300 тысяч серебром, и посылала ему с них проценты, на которые он мог жить в Тобольске весьма хорошо. У них часто устраивались танцевальные вечера, сначала детские, а после, когда дети подросли, то и большие балы и маскарады, на которые приглашалось все тобольское общество начиная с губернатора и других служащих лиц. У них всегда много веселились, они были вообще очень радушные и любезные хозяева, умели своим вниманием доставить каждому большое удовольствие. <...>

С Муравьевыми жил декабрист доктор Фердинанд Богданович Вольф. Они были очень дружны. Так как последний был холост и одинок, то Муравьевы и пригласили его жить с ними. Фердинанд Богданович был искусный доктор, тщательно следил за медициной, к нему все питали большое доверие и в случае особенно серьезной болезни всегда обращались за советом. Он замечателен был своим бескорытием, никогда ни с кого не брал денег и вообще не любил лечить. Когда он был в Иркутске, то там прославился, вылечив одного богатого золотоискателя, от которого отказались уже все тамошние знаменитости. По выздоровлении своем золотоискатель, признательный доктору Вольфу за спасение, как он говорил, своей жизни, но вместе с тем зная, что тот никогда ничего не берет за визит, послал ему в пакете пять тысяч ассигнациями с запиской, в которой написал ему, что если он не возьмет этих денег из дружбы, то он при нем же бросит их в огонь. Денег все-таки Фердинанд Богданович не взял.

Семейство Муравьевых было очень дружно с семействами декабристов Ивана Александровича Анненкова и Петра Николаевича Свистунова (они все трое служили в Кавалергардском полку). <...>

У П. Н. Свистунова, как любителя и хорошего музыканта, были назначены по понедельникам музыкальные вечера, на которых устраивались квартеты; некоторые молодые люди играли на скрипках, молодые же барышни на фортепиано, и все заезжие артисты находили у него всегда радушный прием и сочувствие к их таланту. Он принимал в них самое деятельное участие, хлопотал и помогал им в устройстве концертов, раздаче билетов и, будучи весьма уважаем и любим в Тобольске, был очень полезен для бедных артистов, которые в далекой стране не знали, как и благодарить его за помощь.

П. Н. Свистунов был отлично образованный и замечательно умный человек; у него в характере было много веселого и что называется по-французски *caustique* (едкости, остроты), что делало его необыкновенно приятным в обществе. Несмотря на то что живостью и игривостью ума он много походил на француза, ум у него был очень серьезный; непоколебимая честность, постоянство в дружбе привлекали к нему много друзей, а всегдашнее расположение к людям при утонченном воспитании

и учтивости большого света располагало к нему всех, кто только имел с ним какое-либо общение.

По назначении губернатором Тихона Федотовича Прокофьева последний с большим рвением заботился об учреждении женской школы, и после многих трудов ему удалось наконец открыть Марининскую школу в Тобольске¹². Он пригласил П. Н. Свистунова содействовать ему в устройстве ее и наблюдать за ходом учения и за расходами по заведению. После Прокофьева поступил губернатором Виктор Антонович Арцимович¹³, принявший самое живое участие в этом заведении, которое благодаря его заботам и при содействии того же П. Н. сделалось образцовым.

По возвращении из Сибири П. Н. вступил во владение переданной ему братом части родового имения в Калужской губернии и был выбран дворянством Лихвинского уезда в члены комитета по освобождению крестьян от крепостного права. Тут посчастливилось ему приложить свою трудовую лепту к делу, составлявшему предмет его сердечных желаний с самой молодости. Затем он был назначен от правительства членом присутствия по крестьянским делам, которым и состоял в продолжение двух лет под председательством переведенного из Тобольска в Калугу губернатора В. А. Арцимовича. По назначении последнего сенатором П. Н. вышел в отставку и поселился на житье в Москве¹⁴.

Вежливость во всех так называемых декабристах была как бы врожденным качеством. Высоко уважая в людях человеческое достоинство, они были очень ласковы со всеми низшими и даже с личностями, находившимися у них в услужении, которым никогда не позволяли говорить себе «ты». Подобное отношение к слугам привязывало их к ним, и некоторые доказывали своей верностью на деле всю признательность своих сердец, не говоря уже о тех преданных слугах, которые разделяли с самого начала злополучную участь своих господ, как, например, няня Фонвизиных, Матрена Петровна, о которой я уже говорила, все время изгнания добровольно прожила с ними в Сибири и вернулась в Россию тогда только, когда Фонвизины были сами возвращены. Она была замечательна по своей преданности и честности; другая подобная же личность, Анисья Петровна, жила у Нарышкиных; она тоже с начала до конца изгнания не покидала своих господ. Такие личности под конец были уже не слугами, а верными друзьями, с которыми делилось и горе, и радость. У Свистуновых долго не было детей. Когда же родилась дочь Магдалина, то они любили и баловали ее донельзя, особенно отец, который сам воспитывал и учил ее. Вскоре после нее родился сын Иван и дочь Екатерина в Тобольске, потом в Калуге еще младшая дочь Варвара.

В Тобольске Свистуновы прожили тоже лет 15 и со всеми были постоянно в хороших отношениях. Губернаторша Энгельке очень любила П. Н. Он часто участвовал на ее музыкальных вечерах. Вообще губернаторы и другие чиновники относились ко всем декабристам с большим уважением, всегда первые делали визиты и гордились их расположением к себе. Со Свистуновыми жил

один из товарищей, декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин, у него был брат Николай Сергеевич, умственно расстроенный, с которым сначала они жили вместе, но раздражительность последнего наконец дошла до такой степени, что не было никакой возможности с ним жить. <...> Свистунов, будучи дружен с П. Сер., предложил ему комнату у себя в доме. Николай же Сергеевич остался в отдельной квартире.

Личность Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина была замечательна. <...> Посвятив свою жизнь на служение ближнему, он старался во многом изменить свои привычки, любил читать Св. писание, которое знал не хуже настоящего богослова, вел жизнь почти аскетическую, вырабатывая в себе высокие качества смирения и незлобия, ко всем был одинаково благорасположен и снисходителен к недостаткам других. В Тобольске он занимался еще изучением гомеопатии и так много помогал своим безвозмездным лечением, что к нему постоянно стекался народ, особенно бедный. П. Сер. так наконец прославился своим гомеопатическим лечением, что должен был завести лошадь с экипажем, чтоб успеть посещать своих пациентов. Лошадь была маленькая, которую мы прозвали Конек-Горбунок, летний экипаж вроде бьюльбери¹⁵, на четырех колесах, а зимний — одиночные сани. В них укладывались гомеопатические лечебники, аптечка, выписанная из Москвы, запасная одежда на случай внезапной перемены погоды, зимой лишняя шуба, а летом теплая на вате суконная шинель, которая никогда не покидала своего хозяина в его экскурсиях (тобольский климат был очень изменчив, случалось в один и тот же день то холод, то сильная жара); когда было все уложено, то выходил и садился в экипаж сам Павел Сергеевич, плотно укутанный не только зимой, но даже и летом, брал вожжи в руки и отправлялся на помощь больным. Всюду, куда он только ни приезжал, везде его встречали с радостью, всем и каждому подавал он утешение добрым словом, сердечным участием, хорошим советом. Он был очень развитого ума, начал свое образование в Москве в дворянском пансионе, закончил же его в известном заведении Николая Николаевича Муравьева, где готовились в офицеры Генерального штаба¹⁶. П. С. был при случае и архитектором, и столяром, и закройщиком. Нужно ли кому план составить — обращаются к П. С., дом ли построить, или сделать смету — он своею математическою головою разочтет все верно до последней копейки. Он был в особенности дружен с Фонвизинными, Свистуновыми и с нашим семейством. Мы, бывшие еще детьми, так любили его, что, когда выросли, смотрели на него как на самого близкого, родного. Бывало, захворает ли кто из нас, сейчас шлем за П. С., и он тотчас же катит на своем Коньке-Горбунке.

Отец мой очень любил и уважал П. С. и удивлялся его постоянному самоотречению [...] Когда в Тобольске в 1848 году была холера, то П. С., забывая себя, помогал своею гомеопатиею всем и каждому. Только, бывало, и видишь, как в продолжение дня разъезжал Конек-Горбунок с одного конца города на другой

со своим неутомимым седоком. Потребность в помощи была так велика, что даже Фонвизины и Свистуновы, по наставлению П. С., лечили в отсутствие его приходящих к нему больных в эту тяжелую годину. <...>

Молодые годы моей жизни, проведенные в Сибири, останутся навсегда неизгладимыми в моей памяти; они полны воспоминаниями самыми светлыми от сближения с детства моего с людьми не только даровитыми и развитыми умственно, но и глубоко понимающими высокую цель жизни человека на земле. <...>

После многолетнего страдания декабристов, наконец, некоторым из них начало улыбаться счастье: ко многим, получив разрешение, стали приезжать на свидание из России сыновья.

Фонвизиным тоже предстояла эта радость: их сыновья также принялись хлопотать о разрешении приехать в Сибирь, но!.. пути божии неисповедимы! Несчастливые родители были лишены этого счастья на земле. Старший их сын вдруг заболел, отправился в Одессу лечиться и скончался там на руках одних своих друзей на 26-м году жизни; это было в 1850 году. Младший же брат его, Мих[аил] Мих[айлович], юноша не особенно крепкого здоровья, так был дружен со своим старшим братом, что после его потери через 8 месяцев приехал в Одессу на могилу брата и испустил дух в той же семье, где умер брат его, и лег с ним рядом. Впоследствии их мать, возвратясь из Сибири, посетила могилу своих сыновей в Одессе, поставила над нею великолепный огромного размера крест с художественно отлитой из бронзы во весь рост страдальческой фигурой Спасителя. Трудно описать скорбь несчастных родителей, когда до них дошли в Сибирь эти печальные вести. Каждый отец, каждая мать поймут это сердцем лучше всякого описания. Потеря первенца хотя и отозвалась тяжело в сердце родителей, но все же оставалась надежда увидеть другого сына. Но никогда не изгладится из памяти моей почтенная фигура старика отца, пораженного новым тяжким горем, в минуту получения известия о смерти второго и последнего сына; он стоял на коленях, обратив взор, полный слез, к лику Спасителя, и мог только прошептать: «Да будет воля твоя святая, господи! верно так угодно богу!» Наталья же Дмитриевна как ни была поражена вторичным страшным горем, но глубокая ее преданность и непоколебимая вера не только не поколебались ни на минуту, но заставили ее с той же любовью, покорно и без ропота принять новое тяжелое испытание, ниспосланное на них господом. <...>

В России, на милой родине, у них оставалось теперь одно только дорогое сердцу существо — это горячо и нежно любимый брат Фонвизина, Иван Александрович, который и стал просить разрешения приехать в Сибирь на свидание с несчастным братом. Получив позволение, он тотчас же пустился в путь и приехал в Тобольск летом 1852 года. Радость свидания братьев после такой многолетней разлуки была беспредельна! Иван Александрович прожил в Тобольске 6 недель и спешил назад в Россию, чтобы хлопотать о возвращении из Сибири брата-изгнанника.

Вся зима прошла в хлопотах, и наконец через содействие князя Алексея Федоровича Орлова он достиг желаемого. В феврале 1853 года императором Николаем было подписано разрешение о возвращении из ссылки Михаила Александровича Фонвизина. Это был единственный декабрист, возвращенный прямо на родину Николаем Павловичем. Некоторые из декабристов, как то: Мих[аил] Мих[айлович] Нарышкин, Мих[аил] Александрович Назимов, Лорер, барон Розен, Лихарев, Фохт, фон дер Бригген, поселенные в Кургане, по случаю посещения Сибири во время путешествия в 1836 году цесаревичем Александром Николаевичем были переведены на Кавказ солдатами¹⁷.

В начале марта, именно 3-го числа, радостная весть о возвращении Фонвизиных достигла наконец и дальних стран Сибири; неожиданно мне пришлось быть вестницею их свободы. Письмо от брата их, Ивана Александровича, с известием о свободе было переслано через моего отца. Когда Фонвизины из привезенного мною им письма узнали о дарованном им праве возвратиться на родину, то слезы радости полились из глаз страдальцев и всех окружающих; упав на колени, они благодарили всевышнего за дарованную им, давно желанную свободу. Весь дом, вся дворня собрались выразить полное сочувствие их радости и также проливали слезы умиления, глядя на них. <...>

При всем желании поскорее отправиться в путь время года не позволило им даже и думать ранее мая месяца пуститься в такое дальнее путешествие, так что волей-неволей они должны были отложить свой отъезд из Сибири, чему, конечно, я радовалась; каждая лишняя минута их присутствия для меня была дорога; но слабое здоровье Ив[ана] Алек[сандровича] от сильных потрясений душевных и трудов по делу о возвращении брата и от частых разъездов в Петербург не выдержало, и он слег в постель, так что вскоре за радостною вестью стали приходить тревожные известия о расстройстве здоровья Ивана Александровича. Первое время он еще сам писал брату, по обыкновению, каждую неделю; потом вдруг больше недели не имели совсем писем от него, что заставило страшно встревожиться Михаила Александровича; как теперь помню, рано утром 9 апреля, сильно расстроенный, он приехал к нам и просил послать на почту, нет ли на имя моего отца письма от брата. Через несколько минут (мы жили рядом с почтой) письмо было уже в руках Михаила Александровича.

Я еще не выходила из своей комнаты, как отец, войдя ко мне, говорит:

— Выйди поскорее, вряд ли Михаил Александрович не получил печальные вести о брате, он так видимо расстроен.

Я кое-как оделась, вышла поспешно в гостиную и невольно остановилась в ужасе, увидев почтенного старика с дрожащим в руках письмом. Слезы лились из его глаз, я была уверена, что он читает известие о смерти брата; но, окончив письмо, он перекрестился со словами:

— Слава богу, брат жив!

Надежда на здоровье его хотя и осветила Мих[аила] Алек[сандровича], но как будто под тяжестью грустного предчувствия не успокоила совершенно. Он тут же решил ехать в Россию один, несмотря ни на какую дорогу, и прямо от нас поехал к губернатору просить дозволения на выезд. Ровно через 5 дней, 15 апреля 1853 года, в великий четверг на страстной неделе, не обращая внимания на страшную распутицу, этот 70-летний старик отправился один, в сопровождении жандарма, в простой телеге на перекладных в далекий путь на родину. Любовь к брату заставила его пренебречь всеми опасностями, могущими встретиться на пути в такое время года. Каким-то тяжелым и грустным предчувствием отозвался у всех на сердце такой скорый, решительный отъезд М. А. из Тобольска. Я прощалась с ним точно как перед смертью, не думая когда-либо увидеть его больше на земле. Мгновенно по городу разнеслась весть о поспешном отъезде М. А., и, несмотря на страстную неделю, все спешили приезжать прощаться со столь глубокоуважаемым всеми человеком; богатый и бедный равно старались заявить свое сочувствие к отъезжающему из края, где в продолжение стольких лет жизни никто никогда не слышал от него ничего другого, кроме доброго слова и всегда радушного приема и приветия. Наконец, настал назначенный день отъезда. Все товарищи, друзья и люди, искренно любившие М. А., собрались провожать его до берега Иртыша в 3 верстах от Тобольска, до места, называемого Под-Чуваши. В доме был отслужен напутственный молебен; началось тяжелое прощание с товарищами многолетнего изгнания, потом с людьми и со всеми знакомыми. Длинный кортеж провожавших двинулся при ярко блестящем весеннем солнышке; день 15 апреля был чудесный, теплый, ясный. Подъехав к Иртышу, с замиранием сердца следили все, как телега с седоками выехала на лед и покрылась до половины колес водою, образовавшеюся от таявшего снега. Переехать Иртыш было небезопасно; чем дальше удалялся М. А. от холодных стран Сибири, тем опаснее становилось путешествие. В одном месте, как он сам потом рассказывал, ему опять пришлось переезжать Иртыш. Никто не брался его перевезти, так как лед был уже тонок; тогда М. А. решил перейти реку пешком, и только дошел до середины, как лед тронулся, и старик с опасностью для жизни, перескакивая с льдины на льдину, добрался наконец благополучно до противоположного берега. Так доехал он до Перми, не раз подвергаясь опасности при переправах через реки; в Перми он сел уже на пароход, где хотя и отдыхал физически, но зато душевное беспокойство и предчувствие о потере брата томило его жестоко.

На пароходе он доехал спокойно до Нижнего Новгорода. Ему очень нравилось путешествие по Волге и очень интересовало устройство пароходного сообщения, которое для него было новостью. Встречи с разнородными личностями несколько развлекали его от постоянно томящей грусти, не покидавшей его во все время дороги. Пробыв в Нижнем Новгороде не более суток, он успел осмотреть

кремль, соборы, подземную церковь¹⁸, ярмарку и поехал затем на почтовых по шоссе до Москвы.

По приезде в Москву неизвестно для чего его прямо привезли к дому генерал-губернатора графа Закревского, где он получил разрешение отправиться в дом брата Ивана Александровича на Малую Дмитровку. Подъезжая к дому, сердце у него замерло, как он писал сам в Тобольск, от какого-то страшного предчувствия, что брата уже нет в живых. У подъезда его встретил дворецкий, у которого М. А. дрожащим от волнения голосом спросил: «Что брат, здоров?» Дворецкий, увидя его столь расстроенным, сам так растерялся, что не решился сказать ему вдруг ужасную правду, что брата нет уже на свете, и пробормотал сквозь зубы: «Слава богу!» Михаил Александрович, перекрестясь, воскликнул: «Благодарение богу!» и поспешно вошел в богато убранный дом брата; но глубокий траур вышедшей ему навстречу родственницы, жившей всегда при Иване Александровиче, Екатерины Федоровны Пушиной, заставил понять несчастного старика ужасную истину. Они, зарыдав, обнялись молча. <...>

Как только сделалось известно, что он приехал в Москву, масса экипажей потянулась к дому покойного брата на Малую Дмитровку, где остановился Михаил Александрович. Толпа родных и старых друзей окружала его в продолжение целого дня и не давала ему сосредоточиться на своем горе. Но всего отраднее для Михаила Александровича было свидание со стариком Алексеем Петровичем Ермоловым, у которого в молодости он служил адъютантом. Ермолов, как только узнал о возвращении Фон-визинных из Сибири, велел тотчас же дать ему знать об его приезде в Москву, и как только получил это известие, то явился сам и весь день не оставлял Михаила Александровича. Он часто потом с любовью вспоминал об участии, оказанном ему в то время Ермоловым.

По воле императора Николая Михаил Александрович должен был жить в своем имении, селе Марьино (Московской губернии Бронницкого уезда, в 50 верстах от Москвы), с запрещением въезда в столицу. На другой день по приезде он отправился вместе с Екатериной Федоровной Пушиной туда на жительство. Проезжая Бронницы, он посетил свежую могилу дорогого и столь нежно любимого брата. Это посещение было для него невыразимо тяжело; во время служения панихиды на могиле слезы лились из глаз злополучного старика. (Иван Александрович похоронен в родовом склепе при Бронницком соборном храме, где также было оставлено место и для Михаила Александровича.)

Тяжело было ему, одинокому, убитому горем, поселиться в родовом имении, где жили его отцы и деды, где все когда-то кипело жизнью, общию с ним, тогда как теперь он был одинок и в среде общества, совершенно чуждого ему по взглядам и понятиям. Все, что было дорого ему на родине, лежало в свежих могилах, а все дорогое и близкое его сердцу: жена, приемные дети, товарищи, друзья — все были далеко, в стране изгнания, куда неволью летело его сердце. Он сам впоследствии передавал мне, какую сердечную

муку пришлось ему вынести первое время по своем возвращении в Россию. <...>

Положение Натальи Дмитриевны было тоже ужасное по получении известия о смерти Ивана Александровича. <...> Зная любящее сердце мужа, она сознавала, как тяжело ему теперь быть на родине без тех, кого он привык любить с детства, почему и решилась просить отца моего отпустить меня с нею хоть на год в Россию для утешения убитого горем Михаила Александровича.

Как ни тяжело было отцу расставаться со мной, потому что он меня сильно любил, но его благородное сердце не знало отказа в жертве, когда дело касалось пользы другого. Отец тоже знал хорошо, что Михаил Александрович с моего детства любил меня так горячо, как родную дочь, и ничем больше не мог доказать ему свою дружбу в минуту такого тяжелого горя, как пожертвовать разлукой со мной.

4 мая 1853 года, как только дороги стали возможными для проезда, мы двинулись в далекий путь, тоже в сопровождении жандарма, двух детей-приемышей, меня, старой няни, разделявшей с Фонвизинными их изгнанническую жизнь в Сибири, и прислуги. Мы выехали из Тобольска утром в трех тарантасах, нагруженных доверху (сибирские тарантасы необыкновенно удобны и приятны для путешествия), разместившись таким образом: Наталья Дмитриевна со мной и жандармом на козлах в одном, в другом няня с детьми, а в третьем прислуга с багажом.

Все близкие провожали нас до берега Иртыша, до места Под-Чуваши, где, пока устанавливали наши экипажи на паром, мы простились со всеми провожавшими нас. Здесь же простилась я с моей матерью, маленькими сестрами и братьями; немало, конечно, было пролито горьких слез при этом. Отец же мой, Свистунов и Бобрищев-Пушкин поехали провожать нас и дальше, до второй станции, верст за 40. <...>

До Нижнего мы ехали в убийственной неизвестности относительно Михаила Александровича, мы не знали, как он доехал и жив ли? Пробыв в Нижнем дня три, наконец, получили известие, что он жив и здоров, почему и поехали дальше покойно. Усталые и разбитые от продолжительного дальнего пути, мы были очень рады дотащиться, наконец, до Москвы, где надеялись отдохнуть тоже несколько дней, но, увы! нам не дали даже вздохнуть спокойно, не только хорошо отдохнуть.

Рано утром 25 мая 1853 года въехали и мы в Белокаменную через Владимирскую заставу; велика показалась мне Москва, пока добрались мы до Малой Дмитровки, в дом покойного Ивана Александровича Фонвизина. Грустно сжималось сердце в этой обширной, но пустынной для нас столице. В осиротелом доме нас встретила лишь оставшаяся там прислуга. Пустота великолепного дома и его могильная тишина производили на нас тягостное впечатление. Только успели мы несколько оправиться с дороги, как стали наезжать родные Натальи Дмитриевны: тетка ее, Александра Павловна Фонвизина, и дядя ее, Сергей Павлович Фонвизин, и другие. Вслед за ними явился чиновник от генерал-губернатора графа Закревского,

прося нас немедленно выехать из Москвы в Марьино. Наталья Дмитриевна была настолько утомлена далеким путешествием, что просила позволить ей хоть переночевать в Москве. Пошли переговоры, ходатайства родных, но ничто не помогало — неумолимая власть не согласилась и на это, боясь, как мы узнали после, чтоб у Нат[альи] Дмитр[иевны] не было такого съезда, как при проезде Мих[аила] Алекс[андровича] через Москву. Итак, к вечеру того же дня мы выехали далее в сопровождении жандарма, но только уже не нашего сибиряка; неизвестно по каким соображениям власти вместо него посадили к нам на козлы одетого в полную форму московского жандарма. <...>

Проехав всю ночь, мы на другой день утром остановились в Бронницах с тем, чтобы на могиле Ив[ана] Алекс[андровича] отслужить панихиду, и отправили гонца в село Марьино, отстоящее в 2 верстах от Бронниц, предупредить [Мих]аила Алекс[андровича] о нашем приезде. Радость свидания нашего была безгранична. Он был крайне удивлен, увидя меня вместе с Нат[альей] Дмитр[иевной], так как отъезд мой был решен неожиданно незадолго до нашего выезда, то ему и не успели написать об этом.

Марьинская усадьба, окруженная старинным тенистым садом со старинными липовыми аллеями, стояла на возвышенной местности; хороший барский с мезонином и балконами дом виднелся издалека. Дом был обширный, комнаты высокие, большие, увешанные старинными портретами и картинами работы покойной матери Натальи Дмитриевны, Марии Павловны Апухтиной.

Мы разместились очень удобно; внизу были приемные и комнаты для приезжающих, прекрасный кабинет Мих[аила] Алекс[андровича] и помещение для прислуги. Наверху же спальня и моя комната, из которой открывался великолепный вид. Вдали виднелся город Бронницы, а за ним нескончаемая даль с разбросанными селами, полями и лугами. <...>

Михаил Александрович прожил в Марьине ровно одиннадцать месяцев. Отсутствие товарищей и задушевных умных бесед с ними, видимо, было тягостно для него. Наталья же Дмитриевна должна была большую часть времени посвящать приведению в порядок весьма расстроенного имения, доставшегося ей по наследству от брата ее мужа — Ивана Александровича Фонвизина. Он, умирая, не мог оставить его брату, которому не были возвращены права и звание соседей, подходящих для Мих[аила] Алекс[андровича], почти никого не было, так что большую часть дня ему приходилось делить со мной. <...>

Летом мы с ним часто езжали по разным селам к обедне, много гуляли по любимым, родным его полям. Ему доставляло особенное удовольствие рассказывать мне про былые времена, например, про нашествие французов в 1812 году, причем он вспоминал разные эпизоды, касавшиеся лично его в эту эпоху. <...> Приезды некоторых старых товарищей-декабристов, как, например, Михаила Михайловича Нарышкина с женою, рожденной графиней Коновницкой, барона Тизенгаузена, возвращенного из Сибири по просьбе

детей¹⁹; родных П. С. Бобрищева-Пушкина и разных родных Фонвизиных, служили всякий раз большим утешением для Михаила Александровича. Он точно перерождался и снова оживал в беседах с людьми одного с ним взгляда, образования и понятий.

Нарышкины и прежде всегда были очень дружны с Фонвизинами, а так как они, как я говорила выше, были возвращены чрез Кавказ гораздо раньше всех других в Россию, то много о чем пришлось поговорить им при свидании. Личность Мих[аила] Мих[айловича] Нарышкина была необыкновенно симпатична. В его благообразной старческой фигуре (он был в молодости очень красив собой) сияло что-то детское, мягкое. Приветливо-ласковое его обращение привлекало к нему невольно всех. Жена его, Елизавета Петровна, имела самостоятельный характер: она хотя была и некрасива собой, но удивительно умное выражение лица заставляло не замечать этого; ум у нее был в высшей степени острый, игривый и восторженный; она все подметит и ничего не пропустит без замечания. С ней всегда было очень весело и приятно. Она получила самое блестящее образование и была единственная дочь знаменитого генерала графа Коновницына²⁰. Любимица отца, обожаемая мужем, она последовала за ним в Сибирь на каторгу, где и подружилась с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, перед которой впоследствии благоговела за ее глубокую религиозность и внутреннюю духовную жизнь. При свидании в Марьине они вспоминали о жизни, проведенной на каторге, но без малейшей горечи или грусти, напротив, много смеялись, припоминая разные смешные эпизоды, случавшиеся там с ними. (...)

Мих[аил] Алекс[андрович] по своему живому характеру и здесь вел деятельную жизнь и много читал, так как в Марьине сохранилась большая старинная библиотека; он вел огромную переписку, любил очень беседовать с мужиками, вникал во все их нужды, помогал им и словом и делом. Все они имели к нему свободный доступ и большую доверенность. Гуляя с ним, мы часто заходили к крестьянам в избы, где все встречали его, как родного отца, но, несмотря на всю его доброту, он не потакал дурным их качествам и был неумолим, когда нужно было оказывать правосудие, что хорошо знали крестьяне и чтли его за это. Вся хозяйственная часть в Марьине, так же как и в Сибири, лежала на старой няне, Матрене Петровне; она много помогала Мих[аилу] Алекс[андровичу] своею чуткою правдивою натурой в удовлетворении нужд крестьянских. Маленькие приемные дети развлекали и утешали его любящее сердце. Старшую девочку он поместил в одном из московских пансионов, где она и кончила свое воспитание. Наши беседы с Мих[аилом] Алекс[андровичем] были продолжительные; воспоминания о прошлой сибирской жизни и о всех там оставшихся друзьях доставляли ему много удовольствия. Наталья Дмитриевна только к вечеру освобождалась от своих занятий по приведению в порядок дел по имению, и тогда наши общие беседы длились далеко за полночь.

Однако душевные потрясения и горести, вынесенные с удивительной покорностью, повлияли разрушительно на здоровье Михаила

Александровича. Силы стали изменять ему, неизлечимая болезнь начала проявляться различными недугами, мучившими его немало. Так прошли лето и зима; приближалась живительная весна, дававшая нам большие надежды на обновление сил больного и на успешную борьбу с недугами; но неуловимая смерть подкараулила свою жертву как раз в то время, когда все в природе возрождалось и давало всему жизнь и силу. <...>

Это было в 4 часа пополудни 30-го апреля 1854 года. <...> <...> После кончины Михаила Александровича Наталья Дмитриевна должна была заняться приведением в порядок дел по доставшемуся ей по наследству от Ивана Александровича Фонвизина огромному имению, но расстроенному до крайности. Она в продолжение двух лет решительно не имела отдыха. Приходилось разъезжать по разным своим имениям, находящимся в нескольких губерниях, чтобы иметь возможность сохранить их от грозившего полного разорения. Крестьяне обожали ее и обличали пред ней все неблагоприятные и корыстолюбивые поступки управителей огромных ее владений, отчего возникали у нее постоянные неприятные столкновения с ними. Все это настолько нравственно и физически утомило Наталью Дмитриевну, привыкшую всегда к более отвлеченной, чем деятельной, жизни, что она решилась поехать в Тобольск отдохнуть там душою и взглянуть еще на сотоварищью покойного мужа, а своих друзей. К тому времени еще одно обстоятельство, о котором я буду говорить ниже, побудило ее решиться окончательно на эту поездку, почему в начале 1856 года она и отправилась в Сибирь, взяв с собой маленькую свою воспитанницу, привезенную ею из Сибири, родители которой оставались в Тобольске. Опасаясь же, чтобы не показалось странным правительству и всем окружающим ее путешествие в Сибирь, она устроила свой отъезд так, что никто, кроме меня, ни родные, ни знакомые, ни домашние не знали об этом. Для охраны же в дальней дороге взяла она с собою преданного и верного человека. Она выехала из Марина в Москву, сказав всем, что едет в свои костромские имения на все лето. <...>

Тайну ее я сохранила во всей полноте; никто не подозревал, что я прочитывала письма из Сибири, рассказывая как о полученных из костромских имений. <...>

Вскоре возвратилась и сама Наталья Дмитриевна из Тобольска, и когда она рассказывала о своем таинственном путешествии, то все очень смеялись и удивлялись моему уменью, как они выражались, хранить чужую тайну.

Вообще в характере Натальи Дмитриевны много было странного и непонятного для света. Не выносила она никакой похвалы себе, почему часто старалась выказывать себя не тем, чем была, напуская на себя вид юродства, чтобы только не считали ее за праведную, и иногда, чтобы еще сильнее опровергнуть похвалу, старалась напускным, каким-нибудь выдающимся и даже порицаемым условиями света действием нарушить хорошее мнение о ней.

До старости в ней сохранилось много юношеской восприимчивости, доходящей до самоотвержения, особенно когда касалось ее ре-

лигиозной стороны. <...> Требовалось ли стеснение свободы, которой она больше всего дорожила, или другой какой жертвы для спасения ближнего, она тогда ни перед чем не останавливалась, каким бы уродством для света ни казались ее действия. Это самопожертвование ради спасения ближнего и было главной причиной ее вторичного брака с Иваном Ивановичем Пушиным, немало удивившего всех ее знакомых и даже друзей.

Иван Иванович Пущин, отличаясь либеральными идеями, принадлежал также к тайному обществу декабристов и вместе с другими был сослан в Сибирь. Как человек, он был чрезвычайно добрый, честный, милый, всеми уважаемый и любимый, но, к несчастью, как христианин, мало верующий; хотя и не уклонялся от исполнения обрядов церковных, как многие светские люди, но никогда не вникал в духовную сторону христианской жизни. Когда он, бывало, приезжал из Ялуторовска, где был поселен, в Тобольск и останавливался у Фонвизиных, то мне нередко приходилось присутствовать при их религиозных спорах. Как Михаил Александрович, так и Наталья Дмитриевна усердно старались возбудить в нем духовную внутреннюю жизнь, без чего, по их христианским воззрениям, спасение его души казалось им сомнительным, но он, по обыкновению, всегда отшучивался, говоря, что из него хотят сделать святошу, и мало поддавался их благочестивому влиянию.

Когда же впоследствии в Ялуторовске получено было из России известие о праведной и мирной кончине Михаила Александровича Фонвизина, то это грустное событие сильно поразило его, тем более что и сам он к тому времени стал уже серьезно прихварывать и нелегко поддаваться унынию.

Наталья Дмитриевна не прерывала, конечно, и после смерти Михаила Александровича дружеских сношений с Пушиным, интересовалась по-прежнему его внутренней душевной работой и, как умная женщина, имела на него большое влияние. Но вместе с тем она была как громом поражена неожиданно сделанным им ей предложением. <...> Тайна с предложением никому не была открыта, кроме меня, с которой она делила все свои возрождающиеся и мучившие ее сомнения. <...> Душевная эта борьба настолько ее истомила, что она, с обычной своей энергией, окончательно решилась съездить в Сибирь, как выше сказано, повидаться со всеми оставшимися там друзьями-декабристами и в то же время переговорить лично с Пушиным о несообразности их брака. При свидании же их в Ялуторовске Пущин настолько выразил ей свою глубокую преданность и уважение к ней, что она не могла не откликнуться на искренние его чувства, хотя в то же время независимая ее природа не уступала своих прав. <...>

По возвращении из Сибири в 1856 году вместе с прочими декабристами Иван Иванович Пущин поселился на жительство в Петербурге, где жили почти все его родные, но здоровье его, однако, настолько уже было расстроено, что, несмотря на радость свидания с родными, он стал видимо угасать. Наталья Дмитриевна не раз ездила в Петербург навещать его больного. Познакомилась и с его родными. Врачи Петербурга находили климат Петербурга для него

вредным и советовали ему для поддержания угасавших его сил переехать как можно скорее в южный климат, на что он не соглашался, а стал торопить, напротив, Наталью Дмитриевну со свадьбой, что сохранял, впрочем, в тайне от всех своих родных.

В мае месяце 1857 года они обвенчались в имении его друга, князя Эрштова, бывшего единственным свидетелем при их бракосочетании. Наталья Дмитриевна после рассказывала о своем венчании: «В церкви мне казалось, что я стою с мертвецом: так худ и бледен был Иван Иванович, и все точно во сне совершалось. По возвращении из церкви, выпив по бокалу шампанского и закусив, мы поблагодарили доброго хозяина за его дружбу и радушие и за все хлопоты, отправились на станцию железной дороги и прямо через Москву на житье в Марьино, откуда уже известили всех родных и друзей о нашей свадьбе. Родные были крайне удивлены и недовольны, что все было сделано без их ведома».

Родные его, зная Наталью Дмитриевну за оригиналку, скоро примирились с этим. В самом деле, в ней так много было своеобразного, не подходящего к обыкновенному уровню светских приличий, что она и при совместной жизни своей с Иваном Ивановичем казалась совершенно вывихнутой костью, особенно когда, бывало, наедут в деревню к ним его светские петербургские родные и знакомые. В столовой тогда накрывался большой круглый стол, за которым собирались все приезжие гости. Иван Иванович любил, чтобы хозяйка сама разливала чай, и Наталья Дмитриевна в угоду ему (она раньше никогда не занималась этим делом) садилась перед самоваром и неопытной рукой, едва умея держать чайник, при общем веселии угощала гостей.

Привыкши, что в прошлой ее жизни ей все подавалось готовое, она и сама часто смеялась над своей неловкостью и не обижалась, когда и другие шутили над ее неумением управляться с мелочами домашнего обихода; но зато подчас очень тяжелой казалась ей роль быть не тем, чем она была. Уезжая по делам в свои костромские любимые имения, она там в уединении отдыхала душой. <...>

При свидании с Иваном Ивановичем в Марьине, по приезде их после свадьбы, я была поражена страшной переменой, происшедшей в нем. Точно выходец с того света: так он был худ и бледен. Угасающая его жизнь протянулась, однако, в Марьине, вопреки приговорам петербургских врачей, еще два года. Уездный лекарь гор. Бронницы сумел как-то поддерживать упадающие его силы. Но эти страдальческие болезненные два года не прошли для него без пользы. Под влиянием любимой, горячо верующей женщины сердце его отозвалось на призыв благодатного чувства, и он скончался вполне верующим человеком, мирной христианской кончиной, в той же Марьинке, где за несколько лет назад предал дух и старый друг его Михаил Александрович, и похоронен тоже в Бронницах, рядом с могилой Михаила Александровича Фонвизина, в 1859 году.

Вскоре после смерти Ивана Ивановича Пущина Наталья Дмитриевна купила себе в Москве дом на Садовой, переехала туда на жительство и зажила снова своей прежней независимой жизнью.

Устроив хорошо дела по именьям, она могла жить совершенно без забот и стеснения. <...>

Дом Натальи Дмитриевны в Москве был открыт для всех друзей и знакомых ее. К ней любили съезжаться все хорошо знающие и уважающие ее. Бывало, каких разнородных личностей не встретишь в ее гостиной, начиная с высшего аристократического круга со товарищей покойных ее мужей и кончая простыми, небогатыми и нередко нуждающимися лицами. Для всех равно находила она сказать что-нибудь приятное, никак не чувствовалось натяжки, напротив, ее веселая, умная беседа заставляла забывать время, и часто далеко за полночь просиживали у нее гости, слушая ее красноречивые рассказы о жизни в Сибири. В ее многочисленных анекдотах из жизни их на каторге всегда было много юмору: она особенно умела передать живо и характеристично самый незначительный эпизод, чем и увлекала слушателей. По-прежнему любила угощать. Прислуга у нее была так поставлена, что относилась одинаково вежливо как к богатым, высокопоставленным ее посетителям, так и к бедным и незнатным, которых у нее бывало немало. В Москву часто приезжали навещать Наталью Дмитриевну друзья ее, декабристы: Михаил Михайлович и Елизавета Петровна Нарышкины из своего имения села Высокого, находящегося в семи верстах от Тулы, купленного и приготовленного сестрой княгиней Евдокией Михайловной Голицыной для своего брата, возвращенного из Сибири через Кавказ прежде еще 1856 года, где они и поселились на житье. <...>

Елизавета Петровна Нарышкина, рожденная графиня Коновницына, единственная дочь знаменитого в 1812 году генерала Коновницына, получила блестящее образование. Прекрасно воспитанная, любимица отца, обожаемая мужем, она последовала за ним в Сибирь на каторгу, где и подружилась очень с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, перед духовными совершенствами которой впоследствии преклонялась и благоговела. Много было в ней тоже юмору. Вспоминая с Натальей Дмитриевной о своей жизни на каторге без малейшей горечи, смеялись и шутили, рассказывая о разных эпизодах, случившихся там с ними. Как, бывало, подходя к тюремному чстоколу, просовывали свои пальчики мужьям, а грубые часовые отгоняли их ружьями, и как они ухитрялись смягчать их жестокость подачками табаку и других мелких предметов. У ней была большая способность идеализировать восторженно, к кому чувствовала симпатию. Наталья Дмитриевна, несмотря на дружбу к ней, не выносила ее увлекающихся восторгов к ней. «Опять в рамку меня ставишь, не выношу этого!» — часто останавливала она ее порывы.

Елизавета Петровна мне, как верной союзнице Натальи Дмитриевны, по ее выражению, много показывала расположения и с большим участием относилась к моей нервной болезни, постигшей меня после смерти Михаила Александровича Фонвизина и смерти моего родного отца в Тобольске. Увозила нередко к себе в имение свое Высокое и однажды уговорила меня, чтобы я приехала к ним вместе с их племянницей В. А. Нарышкиной на их сельский праздник 15-го июля, куда собиралась в этот день почти вся Тула с самоварами на

целый день. Всем позволялось тогда гулять по их парку и саду. Из Москвы отправились мы туда в почтовой карете. Прекрасная местность села Высокого с каменной церковью в нескольких шагах от великолепного дома с башнями и террасами, утопающего в цветниках роз и резеды, приятно поражала посетителей. Карета наша подкатила к крыльцу, где нас радушно встретили милые хозяева. <...>

На большой террасе приготовлен был чай, где все гости разместились и любовались гуляющими. После обеда начались крестьянские хороводы. Молодые деревенские девушки в венках из полевых цветов, а женщины в своих типичных кичках, парни же, молодые запевалы, в красных рубашках, водили хороводы. Заунывные наши русские мелодичные песни, в которых чувствовалась какая-то затаянная грусть неволи и зависимости бедного крепостного народа от произвола какого-нибудь барина, не знающего иногда границ своим разгулявшимся страстям. Живя долго в Сибири, не раз приходилось мне выслушивать от несчастных сосланных по воле помещиков в Сибирь их горькие и грустные истории.

Между гостей находились и несколько человек из возвращенных декабристов: Николай Иванович Лорер, Цебриков, Бобрищев-Пушкин. Юмористический склад ума Елизаветы Петровны разнообразил и сообщал непринужденную веселость обществу, хотя в ее остротах иногда и слышались колкие насмешки и попасть на ее зубок несимпатичным ей личностям бывало беда. Михаил Михайлович был более мягким, даже нежного характера, он не умел сердиться, тем более взыскивать с людей. Когда приходилось делать какие-нибудь замечания или взыскания, он обращался с просьбой к жене взять на себя эту неприятную обязанность. Она, несмотря на то что обожала мужа, часто острила над ним по этому поводу. <...>

Нередко также приезжал в Москву к Нат[алье] Дмит[риевне] и наш общий друг декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Он по возвращении из Сибири поселился с умалишенным братом своим, Николаем Сергеевичем, возвращенным с ним же вместе из Сибири, в их родовое имение Тульской губернии, Алексинского уезда, к родной сестре своей, Марии Сергеевне Бобрищевой-Пушкиной.

Приезжая в Москву, он всегда останавливался в доме Натальи Дмитриевны, где наверху у нее были определены комнаты для приезжающих к ней друзей. <...>

Однажды у Натальи Дмитриевны случилось мне познакомиться с замечательной личностью, с одним декабристом, Гаврилом Степановичем Батеньковым. Он, прежде чем быть сосланным в Сибирь, просидел 20 лет в одиночном заключении в крепостях Свартгольм и Петропавловской в Петербурге. <...> Сколько перестрадал этот человек, можно судить из его стихотворения «Одичалый». Легко понять, какую выносил он муку. <...> Это была могучая цельная личность, перенесшая столько душевных потрясений, что одно время, как сам рассказывал, думал, что сходит с ума. Несмотря на все перенесенное, у него не осталось никакой горечи на людей. Он был детски весел со всеми, хотя по наружности казался суровым. Он довольно часто бывал у нас в Москве и оставил по себе самую добрую память

вследствие своего добродушия и прямоты характера. Скончался он в Калуге в 1863 году на руках преданных и любивших его друзей. Похоронен же в селе Петрищеве Тульской губернии, в имении своих хороших и добрых друзей Елагиных.

Декабрист Петр Николаевич Свистунов в начале своего возвращения из Сибири избрал было местом своего жительства Калугу. <...>

В Калуге Свистунов оставил по себе хорошую память и был всеми там уважаем.

Вышедши в отставку, он переехал на житье в Москву, сколько для воспитания детей, столько же и для того, чтобы быть ближе к Наталье Дмитриевне, которую, как он, так и вся его семья глубоко уважали и любили. Наталья Дмитриевна была крестной матерью всех его детей. В Москве он купил себе дом в Гагаринском переулке и вел жизнь семейную, тихую, занимался много, по обыкновению, чтением и не оставлял также своей любимой виолончели. Он любил музыку до страсти, и хотя сам новых знакомых не заводил, но все, кто его знал, как старые его товарищи, так и их родные, постоянно его навещали. Острота его ума, любезное обращение очень к нему привязывали всех.

Чаще других встречала я у него почтенную личность вдовы генерала Муравьева-Карского. Как теперь помню, худенькая, с седыми буклями, прямо держащаяся старушка, с выражением кротости и доброты, своей добротой и ласковой приветливостью привлекала всех к себе. Она очень любила и уважала старика Петра Николаевича Свистунова.

Декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол в то же почти время переехал из Твери в Москву с семейством, женой и двумя воспитанницами, привезенными им из Сибири. Своих детей у них не было: Он женился еще в Сибири, будучи на поселении. Жена его, Мария Константиновна, была дочь священника из дворян, которая, оставшись сиротой, воспитывалась у тетки своей, г-жи Брант, жены чиновника Бухтарминской таможни.

Мария Константиновна была кроткая, любящая сердцем, всеми товарищами ее мужа уважаемая и любимая. Она с большой любовью занималась своими воспитанницами; особенно одна из них была под ее влиянием, а другая находилась совершенно под влиянием Матвея Ивановича, который занимался исключительно ее умственным образованием. <...>

Сергей Семенов

ДЕКАБРИСТЫ В ЯЛУТОРОВСКЕ

(из воспоминаний современника)

Ялуторовск — маленький городок Тобольской губернии — назначен был местом ссылки многих видных деятелей декабрьского восстания.

После каторги в Нерчинском округе в Ялуторовске были поселены князь Евгений Петрович Оболенский, Иван Иванович Пущин — друг А. С. Пушкина, Иван Дмитриевич Якушкин, Матвей Иванович Муравьев-Апостол — родной брат казненного Сергея Ивановича М[уравьева]-А[постола], Василий Карлович фон Тизенгаузен, члены Южного общества Н. В. Басаргин и А. А. Ентальцев. <...>

Декабристы жили в Ялуторовске особняком. Ялуторовская интеллигенция и чиновники боялись знакомиться с ними, так как декабристы были объявлены важными государственными преступниками и состояли под особо строгим надзором полиции, так что даже переписка их перлюстрировалась в Тобольске самим губернатором.

Однако в Ялуторовске нашлось несколько человек, сочувствовавших декабристам. <...> Через почтмейстера и меня (я тогда тоже служил на почте) шла вся огромная переписка декабристов с Россией и за границей. Разбирая почту, [почтмейстер] Филатов отдавал по известным ему одному приметам некоторые письма, адресованные на его имя, и посылал их со мной то тому, то другому декабристу. Благодаря оживленной переписке осведомленность декабристов о всем, что делается даже за границей, была большая. Я помню, что еще за неделю до получения известий и манифеста о смерти Николая I к почтмейстеру вбежал сильно возбужденный И. И. Пущин и объявил о смерти императора.

Жили декабристы меж собой довольно дружно, иногда собирались вместе, но большею частью собрания эти происходили тайно от полиции.

Чаще всего декабристы и их немногие друзья собирались в большом доме с красивым мезонинсом, принадлежащем богачу барону Тизенгаузену. Это был большой и мрачный дом, два раза сгоревший дотла и вновь выстраиваемый бароном.

Декабристы не любили вспоминать былого. Лишь иногда, когда с ними были посторонние люди, разговор переходил на прошлое. Но и в таких случаях говорили больше о своей частной жизни, политических же волнений и прежней политической деятельности декабристы касались очень редко, вскользь, и то тогда, когда оставались лишь с испытанными, преданными друзьями.

Больше других о прошлом говорил И. И. Пущин. Он часто рассказывал о своей дружбе с А. С. Пушкиным, о самом поэте, о литературных собраниях, на которых А. С. читал друзьям свои стихи. У Пущина было много собственноручных писем и рукописей Пушкина, которые И. И. и показывал собеседникам.

Чаще других тем разговор касался времени, проведенного декабристами на каторге. Почти все жаловались на обиды и притеснения со стороны начальствующих лиц, на тяжелый режим тюремнокаторжной жизни и на суровый климат Сибири. <...>

В общем декабристы жили тихо, видимо, скучали и мечтали об амнистии и возвращении в Россию. Особенное оживление они проявляли лишь, когда получалась почта и были письма из-за границы,

С кем они переписывались там — не знаю; из друзей своих они особенно оживленно переписывались с Фонвизинными, жившими в ссылке в Тобольске. Переписка эта шла главным образом через протоиерея Знаменского.

В. К. ФОН ТИЗЕНГАУЗЕН

Ни о ком так много не говорили, как о бароне Тизенгаузене. Меж интеллигентной частью ялуторовцев ходили слухи, что барон принадлежал к масонской ложе; темная же часть Ялуторовска, а тогда этот, захолустный и сейчас, городок почти весь был темным, называла Тизенгаузена чернокнижником и чародеем. Слухи эти находили пищу в следующих обстоятельствах.

В нижнем подвальном этаже огромного дома барона стояло несколько больших алебастровых статуй нимф, фавнов и олимпийских богов. Эти «чудовища» с козлиными ногами и рогатыми головами наводили страх на прислугу, убиравшую комнату, и по городу ходили слухи о колдовствах Тизенгаузена, об оргиях его с чертями и каменными нагими девками.

«Фармазон» — прозвали его ялуторовцы. Тизенгаузен, страстный садовод, разбил у своего дома на пустыре фруктовый сад, в котором вместе с наемными рабочими каждый день работал сам с заступом в руках. Он сам рассаживал яблони, устраивал аллеи, вскапывал клумбы и катал тачку с дерном, причем шутил: «На каторге выучился».

Мещане живо истолковали трудолюбие Тизенгаузена на свой лад: «Ишь его ворочает. Такой богатый, а сам тачку катает. Это ему черти спокойя не дают». — При встрече с ним тихонько крестились.

В доме Тизенгаузена не было икон, что в то время было чрезвычайно редким явлением, он не любил и никогда не принимал священников, никогда не ходил в церковь и не молился.

Когда горел дом барона, то из всех вещей он сам вынес статую Нептуна с трезубцем, но более ничего не велел выносить, пожарным же указал на смежные постройки и коротко бросил: «Отстаивайте это».

Ялуторовцы по этому поводу говорили: «Фармазон только главного черта вытащил. Всех хотел сжечь да испугался».

Страх перед чернокнижником был так велик в народе, что, несмотря на то что дом Тизенгаузена с драгоценной, выписанной им из Риги, обстановкой, надворными постройками, амбарами и кладовыми никем не охранялся и у барона даже не было мужской прислуги, воры никогда не пытались его ограбить.

Впрочем, однажды произошел такой случай. Как-то ночью, возвращаясь от Муравьева-Апостола, Тизенгаузен заметил, что в один из амбаров проникли воры. Подошел. — «Вы что тут делаете, друзья мои?» — Ужасу воришек перед появлением чернокнижника не было пределов. Они стояли, не шелохнувшись, трепещущие, не смея выговорить слова. Барон продолжал: «Я вижу, у вас в руках мешки,

вам, вероятно, муки понадобилось. Ну, берите же скорее и ступайте домой, но смотрите, больше без моего разрешения не являйтесь!»

Дождался, пока воришки трясушимися руками нагребли муки и бросились бежать, и спокойно пошел спать, даже не заперев амбара.

Среднего роста, лет шестидесяти, седоватый, слегка сгорбленный, он производил впечатление человека, над чем-то задумавшегося. С рабочими он был разговорчив, рассказывал о своей семье, оставшейся в Риге, о своей работе на каторге, о рудниках. — «Там вот и сгорбился».

Во время ссылки к Тизенгаузену приезжали два его сына — офицеры — и прогостили довольно долго².

Тизенгаузена помиловали ранее, чем других декабристов. Этому способствовали, вероятно, большие связи барона. Он уехал из Ялutorовска почти годом ранее других.

И. И. ПУЩИН И Е. П. ОБОЛЕНСКИЙ

И. И. Пущин и князь Оболенский некоторое время жили на одной квартире. Они занимали приличный дом, имели выезд и многочисленный штат прислуги. И. И. Пущин и князь Оболенский имели в Ялutorовске большое знакомство. <...> С Пущиним у Оболенского были дружеские отношения, хотя он, по-видимому, не всегда разделял взгляды своего друга. Пущин не был особенно набожен, чрезвычайно редко посещал церковь, но священников по праздникам принимал охотно.

Оба декабриста отличались большою общительностью и доступностью для народа, помогали обращающимся к ним и деньгами, и советом, и юридическими знаниями. Они никогда не отказывали какому-нибудь бедняку — крестьянину или крестьянке — написать письмо сыну-солдату, составить прошение, жалобу или заявление. За это Пущин и Оболенский пользовались и уважением, и любовью местного населения, несмотря на то что на этих декабристов, да еще и на И. Д. Якушкина, полиция указывала, как на самых тяжелых государственных преступников. <...>

В Ялutorовске князь Оболенский женился. Женился он на своей горничной, не особенно красивой, неинтеллигентной и неграмотной девушке, происходящей из бедной семьи мещан Ялutorовска. Женильба эта наделала много шума, и даже все остальные декабристы отвернулись от князя за этот мезальянс. Но князь не смутился общим негодованием. Он деятельно занялся общим развитием своей жены, и через год она была хорошо грамотна, развилась и стала держаться настолько прилично, что отвернувшиеся было от Оболенского декабристы стали принимать ее и вновь бывать у Оболенских.

От этого брака у князя родилось три сына. Князь очень любил жену и детей и имел на семью чрезвычайно хорошее влияние. По окончании срока ссылки они уехали в Петербург, причем подорожная была выдана на «малолетних князей Оболенских», так как самому Евгению Петровичу и его жене княжеское достоинство возвращено не было.

И. И. Пущин, когда после женитьбы князь Оболенский переехал на другую квартиру, остался на первой и прожил в ней одиноким до выезда из Ялуторовска, не прерывая дружбы с семьей князя.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕКАБРИСТЫ. ШКОЛА

Замкнутее всех жил М. И. Муравьев-Апостол. Его редко можно было видеть на улицах города. Жил он с женой в собственном хорошо обставленном доме. При доме был небольшой садик, в котором часто Матвей Иванович сиживал с женой и пил чай. Не знаю, были ли у них дети и где они жили, с ними жила лишь воспитанница-племянница — девушка Созонович.

Из всех декабристов М. И. был особенно дружен с Тизенгаузеном, почему и его называли масоном. Характер у М. И. был суровый и настойчивый. Про него рассказывали, что, когда при проезде наследника, позже императора Александра II, через Ялуторовск всем декабристам приказано было не выходить из квартир, М. И. не послушался приказа, пытался выйти и лично увидеть наследника. Только удар в грудь прикладом от караульного солдата заставил М. И. покориться силе.

Во время проживания М. И. в Ялуторовске у него временно жили и некоторое время учились в ялуторовской школе братья Созонович и приезжали дети умершего в Баргузине декабриста Кюхельбекера. <...>

А. А. Ентальцев жил также с женой. Жил он скромно и незаметно. Незадолго до помилования он сошел с ума и умер. Жена его еще некоторое время прожила в Ялуторовске, а потом куда-то уехала³.

Так же незаметно прожил свое поселение в Ялуторовске и Н. В. Басаргин, женившийся там на купчихе, вдове Медведевой.

Иван Дмитриевич Якушкин жил одиноким в отдельной квартире. Все время поселения в Ялуторовске Якушкин принимал самое живое и горячее участие в основанной декабристами школе. Любитель метеорологии и естественных наук, Якушкин у себя во дворе поставил столб, на котором были устроены солнечные часы, поставлен барометр и флюгер. Несмотря на то что Якушкин своей школой сделал много добра городу и пользовался любовью учеников и уважением более сознательной части горожан, темный народ его не любил. Скоро разнесся нелепый слух, что Якушкин «посредством своего столба с дьявольским флюгером отводит тучи и делает засуху», и два раза ночами, к великой досаде Ивана Дмитриевича, этот столб срубали.

Якушкин вел строгий образ жизни, занимаясь больше науками и чтением книг, и слыл за чрезвычайно начитанного и умного человека. Но в обращении Ив [ан] Д [митриевич] был прост, чрезвычайно любил детей, каждому доступен. Летом его можно было видеть каждый день на реке, где он подолгу купался. Купался он почти до заморозков, а с первым льдом купанье переменял на коньки.

Основанная и содержащаяся на средства декабристов школа находилась в специально для нее выстроенном декабристами же в соборной ограде здании. До открытия этой школы, названной духов-

ной, но впоследствии переименованной в приходскую, в Ялуторовске было лишь одно училище — уездное. В уездное училище принимались исключительно дети чиновников, купцов и мещан, дети же крестьян, поселенцев и солдат не принимались. Вследствие этого открытие духовной школы было сущим благодеянием для низших сословий, и в школу охотно шли учиться дети всех возрастов и сословий. Прием в школу не был ограничен возрастом, и нередко можно было видеть учеником школы, особенно последних ее отделений, юношу лет 20. <...>

Так как за школой был учрежден строгий надзор полиции, то декабристы, за исключением Якушкина, бывали в ней чрезвычайно редко. Вообще открытие школы, хотя неофициальное заведение ею — Якушкиным, общее влияние на нее других декабристов и т. п. — все это было обязано соборному протоиерею отцу Стефану Знаменскому, человеку уважаемому, умному и тогдашнему хорошо образованному.

В школе преподавалась азбука по самому последнему методу, введенному Якушкиным, чтение, письмо, правописание (грамматика), псалтырь, часовник, закон божий, а с 5-го отделения — латинский и греческий языки, причем даже преподавалась грамматика этих языков.

Всего отделений было 9, но из отделения в более старшее отделение переводили по способностям, так что некоторые кончали школу в 3—4 года. В младших классах преподавали ученики старших отделений, так как в школе учеников было до 100 человек, а учителей лишь 2 на всех.

Способ преподавания был главным образом наглядный, по таблицам, книг же не было, за исключением псалтыря и часослова.

А. П. Созонович

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ К. М. ГОЛОДНИКОВА «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ В ЯЛУТОРОВСКЕ И КУРГАНЕ»

<...> Воспитавшись в кругу ялуторовских декабристов, я считаю своею обязанностью сделать небольшие заметки по поводу статьи уважаемого г. Голодникова и дополнения к ней. <...> Я повторяю общий отзыв более или менее выдающихся людей, приезжавших служить в Сибирь Восточную и Западную, которые посещали ее по нескольку раз, пользуясь тем, что Ялуторовск, ничтожный городишко Тобольской губернии, находится на большой проезжей дороге.

Александра Васильевна добровольно последовала в Сибирь за Андреем Васильевичем Ентальцевым, своим вторым мужем, уже

средних лет женщиной. В молодости, говорят, она славилась красотой. <...> Это была живая, умная, весьма начитанная женщина, как видно, много потрудившаяся над своим самообразованием, и женщина довольно самостоятельного характера. <...> Манерами и умением просто и со вкусом одеваться она долго считалась образцом в ялutorовском женском обществе, молодые девушки пользовались ее особенным расположением и добрыми советами. <...>

Ентальцев был осужден по VII разряду и первоначально сослан в Читу в каторжную работу на год, куда Александра Васильевна и поспешила к нему приехать; затем их поселили в Березов, а спустя несколько лет перевели в Ялutorовск.

В Сибири у Андрея Васильевича явилось влечение к медицине. Многие из его товарищей тоже лечили бедных в крайних случаях, когда не оказывалось под рукой доктора; но никто из них (кроме И. Ф. Фохта в Кургане) не предавался этому занятию исключительно и с такой страстью, как Андрей Васильевич. Он обзавелся всевозможными лечебниками, постоянно рылся в медицинских книгах и лечил простыми, безвредными средствами, сам приготавливал лекарства, никому не отказывал в помощи, и при известном навыке из него выработался весьма полезный лекарь-самоучка.

Тогда в Ялutorовске не имелось аптеки. За лекарствами посылали в Тюмень, а единственный окружной врач хотя и жил в городе, но большую часть года находился в разъездах.

Андрей Васильевич и характером больше соответствовал обязанностям врача, нежели воина: всегда ровный, со всеми одинаково приветливый, он не только был добр, но был и смиреннейший человек в мире. Между тем, приспособленный и привыкший к военной службе, он не переставал толковать о своей конной батарее и утраченном положении, тем более, что считал себя почти невинно пострадавшим, так как не участвовал ни в событиях 14 декабря 1825 года в С.-Петербурге, ни 3 января 1826 года в Киевской губернии под Белой Церковью.

В 1838 году по случаю проезда великого князя Александра Николаевича через Тобольск, Тюмень и Ялutorовск¹ по распоряжению генерал-губернатора было приказано не допускать до него государственных преступников, поэтому местное начальство известило декабристов, чтобы они сидели дома во время пребывания наследника, что они и выполнили в точности.

Это предупреждение вывело их из затруднительного положения, потому что являться на глаза наследника или избегать встречи с ним могло быть одинаково перетолковано в дурном смысле.

Через шесть недель после проезда великого князя через Ялutorовск желающим выслужиться вздумалось донести на Ентальцева, будто бы он хотел убить наследника из пушки. Поводом к обвинению послужило подозрение, что Андрей Васильевич перед приездом великого князя будто бы недаром заказал деревянные шары для украшения своего забора и одновременно купил

старые екатерининские лафеты Ширванского полка, выступившего из Сибири в 1805 году.

Из Тобольска предписано было нарядить следствие. У Ентальцевых исковеркали в доме полы, пересмотрели помадные банки Александры Васильевны, отыскивая порох, которого, разумеется, не нашли.

Во время пребывания декабристов в Сибири доносы на них делались часто, особенно вначале. Но от них, за редким исключением, почти всегда страдали сами доносчики, так как следствие вместо вымышленных преступлений обвиняемых открывало действительных доносчиков.

Андрей Васильевич за несколько лет до своей кончины сошел с ума. Его болезнь долго таилась, проявляясь некоторыми странностями мирного свойства, ничего не доказывающими, но когда она резко определилась возбужденным состоянием больного, опасным для него самого и окружающих, тогда Александра Васильевна с высочайшего разрешения возила мужа лечиться в Тобольск. Но медицина оказалась бессильна против недуга, поступательно разрушающего организм. Александра Васильевна возвратилась с неизлечимо больным мужем в Ялуторовск.

Впоследствии Андрей Васильевич совершенно ослаб, впал в детство и несколько лет пролежал в постели. Тогда Александра Васильевна продала свой дом купцу В. И. Сесенину, наняв у него небольшое уютное помещение во флигеле. Она устроила мужа в лучшей комнате, на солнечной стороне, в которой наблюдались безукоризненная свежесть воздуха и теплота, и держала при нем неотлучно находившуюся старушку сиделку, с любовью ухаживавшую за ним, как за беспомощным младенцем, с самого начала его болезни и до последнего дня его жизни. <...>

Александра Васильевна безропотно покорялась тяжелому испытанию, до конца свято исполняя свой долг. <...>

<...> Иван Дмитриевич [Якушкин] получал достаточно посылки и денег, почему мог жить в Ялуторовске при тогдашней дешевизне, ни в чем себе не отказывая. Но сторонник суровой жизни, он был живым ее примером и советовал подрастающему поколению в видах своей независимости всегда довольствоваться только крайне необходимым, не лишая себя известных удобств, в которых нуждается всякий образованный человек. <...>

В одежде Якушкина соблюдалась тоже строгая простота: он носил неизменного покроя черный казакин зимой, а летом серый — из хорошей прочной ткани с ослепительно белым отложным воротничком или пробивающимся кантом из-под широкого черного галстука и нарукавниками, и часы на черно-муаровой тесемке; дома, смотря по погоде, он надевал куртку или ваточный халат с вышитыми туфлями.

Он смеялся над непостоянством и часто бессмысленностью моды, надеясь, что со временем люди будут одеваться сообразно климату, сложению и образу жизни, имея прежде всего в виду

сохранение здоровья, что не может помешать красоте покроя одежды. <...>

В Ялуторовске Якушкин виделся поочередно с обоими сыновьями: меньшому, Евгению Ивановичу, была дана возможность побывать в Сибири по служебным делам (он служил при М. Н. Муравьеве²), а старший, Вячеслав Иванович, отправляясь в Иркутск на службу к Н. Н. Муравьеву³, прожил с отцом в Ялуторовске более месяца. Затем Иван Дмитриевич получил дозволение ехать за Байкал на Тункинские минеральные воды и поэтому с 1854 года находился в Иркутске для сына и возвратился вместе с ним в Ялуторовск 25 августа 1856 года, по-видимому, с обновленными силами. <...>

После милостивого манифеста, обнародованного при коронации, Иван Дмитриевич возвратился в Россию в феврале 1857 года к своему меньшему сыну, тогда проживающему с семейством в Москве. Евгений Иванович надеялся выхлопотать больному отцу дозволение оставаться при нем, так как сначала декабристам было запрещено жить в столицах.

Еле живой, Иван Дмитриевич существовал только бодростью своего духа и, чувствуя себя привольно в кругу родной семьи, не терял своей обычной веселости.

Его навещали старые друзья и знакомые; прощаясь с ними, он просил не забывать филипповцев, потому что квартира его сына находилась на Мещанской, близ церкви св. Филиппа митрополита. По этому поводу был сделан кем-то донос московскому генер [ал]-губерн [атору] Закревскому, что будто бы декабристы, возвратившись в Россию, составили «Общество филипповцев», после чего Закревский не давал им заживаться в Москве. Вследствие этого Иван Дмитриевич вынужден был расстаться с сыновьями, что и повлияло неблагоприятно на его здоровье. В порыве негодования он готов был вернуться в Ялуторовск, где никто не смел его беспокоить в собственной квартире и выживать из города.

Якушкин воспользовался дружеским приглашением Николая Николаевича Толстого (бывшего своего сослуживца Семеновского полка), чтоб переехать к нему в имение Новинки, находящееся на границе Тверской и Московской губ [ерний], в 7 верстах от железной дороги, что давало возможность получать быстрые вести от своих и часто видеться с ними.

Несмотря на все удобства помещения, приятное общество и дружеские попечения, здоровье Ивана Дмитриевича не восстанавливалось. Наконец ему было разрешено переехать для лечения в Москву.

Муравьев-Апостол часто навещал Якушкина и в Новинках, и в Москве. 9 августа 1857 года он обедал вместе с ним у своего племянника Бибикова⁴. Тогда Иван Дмитриевич извинялся перед ним, что до сих пор еще не побывал у него в Твери. 10 августа Матвей Иванович выехал из Москвы, успокоенный насчет состояния его здоровья, а 11 августа вечером получил телеграмму

о кончине Ивана Дмитриевича. Кончина была тихая, как наступающий сон. 12 августа Матвей Муравьев-Апостол опять отправился в Москву.

13 августа Ивана Дмитриевича похоронили на Пятницком кладбище, недалеко от памятника Грановского.

Под тяжелым впечатлением смерти своего лучшего друга Матвей Иванович говорил, что он похоронил с ним половину себя: при этом с умилением вспоминал первую встречу с покойным в 1811 году, прибавляя, что с тех пор он полюбил его всей душой и в продолжение 46 лет не только не находил причин к разочарованию, но, напротив, с течением времени открывал в нем все новые и новые высокие качества. <...>

М. С. Знаменский

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН

<...> Для местного ялуторовского чиновного мира И. Д. Якушкин, живший бедно, в одной перегороженной на четверо комнате, избегавший знакомства чуждых ему по уму и развитию местных властей, был субъектом совсем неинтересным, а для простого ялуторовского люда он был колдун, собирающий травы по полям (его ботанические экскурсии) и лазящий зачем-то на устроенный им столб (изобретенный им ветромер). Но, не сходясь с чиновным миром, он любил сходить с народом и особенно с крестьянскими детьми. Детей он особенно любил; сибирские бойкие, находчивые ребята очень нравились ему, и мысль дать им средства поучиться, устроить для них школу, была его мечтою, но это и оставалось мечтой до встречи и знакомства с новым протоиереем¹. Якушкин со свойственною ему проницательностью угадал в новоприезжем дорогого человека для осуществления своей заветной мечты и старался сойтись с ним поближе. <...> Знакомство перешло в дружбу, и шли горячие беседы о приведении якушкинской мечты в действительность; план преподавания со всеми подробностями был уже готов: это — способ взаимного обучения по методу ланкастерской. Особенных хлопот на разрешение училища не требовалось, так как еще прежде были разосланы духовенству синодские указы от 1836 и 1837 годов об открытии при церквах приходских училищ. Вся суть заключалась в средствах для приобретения дома, а у учредителей средств не было. Но и это неудобство скоро устранилось. Купец Мясников, не раз жертвовавший на ялуторовские церкви, убедившись, что заведение школы, да еще церковной, тоже дело богоугодное, подарил учредителям дом и, кажется, взялся перевезти его на место. Радостно принялись учредители за разработку деталей для будущего училища.

Небольшой кружок ялуторовских декабристов жил особняком от чиновного мира и мало интересовался сплетнями и толками его, а толки о затеваемом училище были: местный смотритель ревниво смотрел на затею, а настроенный им городничий ждал только удобного момента, чтобы появиться из-за кулис во всеоружии власти. Момент этот не замедлился. Началась постройка училища, и явившаяся полиция разогнала из церковной ограды рабочих, а городничий сделал письменный запрос протоиерею. Городничий спрашивал, на каком основании осмелились производить постройку, не испросив на то его разрешения.

Якушкин и его друг протоиерей, с первого же шага наткнувшись на противодействие со стороны ялуторовского городничего, решили обратиться по этому делу к своим друзьям в Тобольске и просить их помощи. <...> Мих[аил] Александр [ович] Фонвизин и Пав[ел] Серг[еевич] Бобрищев-Пушкин обращались с просьбою насчет возникающей школы к тобольскому архиерею и губернатору. Преосвященный отнесся к начинанию Якушкина с полным сочувствием, обещая даже всеми силами защитить бедного апостола просвещения от козней консистории, относившейся в высшей степени неблагоклонно к этому филантропу-декабристу. Губернатор же заявил Бобрищеву-Пушкину, что, с одной стороны, нельзя не согласиться с прекрасною идеей Якушкина устроить школу, а с другой стороны, следует признаться, что и городничий был прав, остановив постройку здания школы, так как, по полицейским правилам, в таких случаях следует предварительно испрашивать разрешение. <...> Сам губернатор, однако, не был намерен препятствовать заведению школы, и это слава богу. В это же время как на грех случилась, по словам [Н. Д.] Фонвизиной, какая-то размолвка между губернатором и архиереем, что, конечно, замедляло решение вопроса о школе. Однако наконец дело устроилось. Полиция, главным образом в лице городничего, была побеждена.

С ранней весны 1842 года началась деятельная постройка школы, и 6-го августа 1842 года училище было открыто. Отсутствие телесного наказания, легкость и занимательность ланкастерских приемов обучения привлекали детей в новооткрытую школу, и к концу года в ней было уже 44 человека.

Но если примолк городничий, то на сцену выступил смотритель местного уездного училища Лукин. Однажды он явился в школу, наговорил массу грубостей Якушкину и приказал ему удалиться из школы, но, разгорячившись, Иван Дмитриевич вывел его самого. Снова началась бумажная война.

Якушкин и его сотрудник по школе протоиерей после этого казуса писали тобольскому губернатору, жалуясь на смотрителя Лукина. Они также просили своих тобольских друзей, М. А. Фонвизина и П. С. Бобрищева-Пушкина, разъяснить все дело губернатору и требовать у него защиты. <...>

Весь сыр-бор загорелся, как видно из письма <...> М. А. Фонвизина к протоиерею, из-за того, что смотритель уездного училища в Ялуторовске Лукин жестоко, до глубины души, оскорбился тем,

что не его пригласили во вновь открытую школу руководить преподаванием по ланкастерскому методу, а взялся за это дело лишенный прав декабрист Якушкин. <...> Однако губернатор, архиерей и консистория поступили в этом случае по обыкновенной, а не по смотрительской экстравагантной логике и постарались положить конец несчастному недоразумению, приняв во внимание объяснения протоиерея. Последний в своих объяснениях писал, что он, как незнакомый с ланкастерским методом взаимного обучения, для указания ему всех подробностей пригласил единственное в Ялуторовске лицо, знающее это дело, — Якушкина. Итак, пока дело уладилось.

Наступила тишина, благоприятная для роста «нашего незаконного детища», как шутя называл Якушкин свою школу. Не будь выше указанных школьных передраг, вряд ли бы кто и внимание обратил на это церковно-приходское училище; но теперь все тобольские власти при своих проездах чрез Ялуторовск интересовались этой школой, посещали ее, удивлялись быстрым успехам учеников и разносили о ней славу. <...> К концу 1842 года в ней по спискам значилось 44 человека, к концу 1843 года — 91, к концу 1844 года — 135, к концу 1845 года — 184 человека. К маю 1846 года в школе находилось уже 198 человек.

При рассмотрении списков обращает внимание на себя большое число крестьянских сирот из разных деревень, даже других уездов. <...>

Заканчиваем сведения о мужской ялуторовской школе выпиской из донесения тобольскому губернатору, пожелавшему в 1845 г. иметь «документальные данные» об этом училище.

« ... С начала открытия училища, т. е. 6 августа 1842 года, было 6 человек, но по 30 ноября сего (1845) года пребывало 173 чел., из числа коих некоторые поступили в тобольское духовное училище, некоторые в ялуторовское уездное училище, а некоторые выбыли по воле. Теперь состоит 102 ученика. Предметы вначале преподавались: чтение по гражданской и церковной печати, письмо на аспидных досках и бумаге и 1-я часть арифметики; но когда тобольская семинария с разрешения его высокопреосвященства нашла удобным готовить здесь детей духовного звания <...> с того времени введено: 2-я часть арифметики, черчение и география, 1-я и 2-я части русской грамматики, первая часть пространного катехизиса и краткая священная история, первые части латинской и греческой грамматик. Суммы на содержание решительно никакой нет и не имеется в виду ...»

Теща Ивана Дмитриевича Н. Нарышкина² пишет от 28 февраля 1846 года из Москвы к протоиерею: «Отношусь к вам, к вашей любви: поберегите нашего общего сына ...» и просит приготовить Якушкина к получению тяжелого для него удара: в это время умерла его жена³. <...>

Мы не имеем никаких сведений об этом тяжелом времени, но знаем, что железная воля его дала благотворное направление горю. Он задумал новое доброе дело: решился основать в память

любимой жены своей женскую школу. Известие о смерти жены Иван Дмитриевич получил в первой половине апреля. <...>

Опасаться козней Лукина нечего было уже и потому, что женское училище не грозило конкуренцией его собственному, из-за чего более всего Лукин и ратовал и слал доносы.

Мирно и беспрепятственно 1-го июля 1846 года на наемной квартире открылось ялуторовское училище для девиц. Но так как наем квартиры, различные приспособления в ней, наем кружевницы и проч. потребовали расхода в первый же год 309 рублей, то и положена была плата за учение в 25 руб. Но мы видим из приходской тетрадки, что плату эту вносило только небольшое число зажиточных родителей, за остальных вносили декабристы и их родные и знакомые; встречается в числе жертвователей и учитель этого училища — дьячок, отдающий назначенное ему жалованье в пользу сирот. <...>

Все письма ялуторовских декабристов наполнены известиями о болезни Ивана Дмитриевича. «Вообще это, — пишет Пущин, — наводит некоторый туман на нашем горизонте». В апреле 1854 года опасность миновала, и тот же Пущин извещает протоиерея: «Ивану Дмитриевичу получше. Бог даст, совсем поправится и в конце мая с Вячеславом (2-й сын Якушкина) пустится на восток; тогда вы их обоих увидите, непременно для вас заедут в Омск...»

Наконец Якушкин собрался в путь. Согласно своему обещанию он завернул в Омск для свидания со своим другом протоиереем. <...> Это свидание друзей было последним в этом мире. <...>

И. В. Ефимов

ИЗ «ЗАМЕТОК НА ВОСПОМИНАНИЯ Л. Ф. ЛЬВОВА»

<...> Пребывание декабристов в Сибири, насколько я знаю, едва ли оставило в ком-либо из нас, сибиряков, дурные о себе воспоминания. Напротив, оно имело широкое образовательное влияние, за которое многие из нас, а в том числе и я, храним искреннюю к ним благодарность. Не политических деятелей видели мы в них, а людей, которые тридцать лет сряду несли на наших глазах тяжелое наказание, несли его спокойно, с достоинством и верою в промысел божий. <...>

Высылка декабристов из каторжной работы на поселение произошла не одновременно, а делалась постепенно, по мере окончания каждым из них срока каторги. Сроки эти, по воле блаженной памяти государя императора Николая Павловича, постоянно сокращались при радостных в царственной семье событиях¹.

Высылка декабристов на поселение началась вскоре после того, как состоялся означенный приговор. Так, в 1829 году были уже на поселении по течению реки Лены, в Якутске, Александр Алек-

сандрович Бестужев (Марлинский) и граф Захар Григорьевич Чернышев; в Олекме — Н. А. Чижев и [А. Н.] Андреев; в Витиме — [Н. Ф.] Заикин, Н. А. Загорецкий и М. А. Назимов; в Киренске — князь В. М. Голицын и А. В. Веденяпин и, наконец, в Верхоленске — [Н. П.] Репин. В Вилюйске был М. И. Муравьев-Апостол. Из них Бестужев, Чернышев (еще в 1829 г.), Чижев, Загорецкий, Назимов и Голицын были переведены на Кавказ в рядовые. Заикин умер в Витиме. Репин вместе с Андреевым, когда тот, переведенный куда-то (тоже чуть ли не на Кавказ²), остановился у него проездом в Верхоленске, сгорели оба ночью при пожаре дома, в котором спали. Из всех означенных выше лиц в настоящее время живы только Матвей Иванович Муравьев-Апостол и Михаил Александрович Назимов (живущий в Пскове). <...> В Восточную Сибирь декабристы около Иркутска были расселены так: в 18 верстах от Иркутска по Ангарскому тракту в слободе Урика — Сергей Григорьевич Волконский, братья Муравьевы, Никита и Александр Михайловичи, Михаил Сергеевич Лунин и доктор Фердинанд Богданович Вольф. Для того чтобы не разлучаться с последним и пользоваться его советами, первые трое, как люди женатые и имевшие детей, исходатайствовали совместное с ним поселение; многие же другие, как будет видно дальше, в соседних деревнях и к нему поближе. Так, в 8 верстах от Урика в слободе Усть-Куде, при впадении реки Куды в Ангару, жили Муханов и братья Поджио, Осип и Александр Викторовичи. Первый из них ни в Чите, ни в Петровском каземате не был, а привезен на поселение прямо из Шлиссельбургской крепости, где он пробыл 8 лет. Александр Викторович приехал прямо к нему из Петровского каземата и до самой [его] смерти с ним не разлучался. По Якутскому тракту, в слободе Хомутовой, жил Суггоф с женой, в слободе Оёке (первая в 5, вторая в 25 верстах от Урика) — Сергей Петрович Трубецкой, Федор Федорович Вадковский и, если не ошибаюсь, Андрей Андреевич Быстрицкий, а в 30 верстах оттуда, в слободе Тугуте — Александр Лукич Кучевский³. По тракту от Иркутска к Байкалу, в 5 верстах от первого, в деревне Малой Разводной жили А. З. Муравьев, А. И. Якубович, братья Петр и Андрей Борисовы и Алексей Петрович Юшневский с женою, а далее в 30 верстах, на так называемой Лосевой заимке — Николай Алексеевич Панов. В 8 верстах от Иркутска по Кругобайкальскому тракту — Владимир Александрович Бечаснов, выстроивший тут небольшой завод для выделки конопляного масла. Затем в более отдаленном уже расстоянии от Иркутска, в 120 верстах по реке Белой, в слободе Бельске — И. А. Анненков. П. Ф. Громницкий и [В. П.] Колесников⁴; а в таком же расстоянии по тракту Ангарскому, в слободе Каменке — П. Н. Свистунов и в 60 верстах от него, вниз по реке Ангаре, в селении Малышевке — [Х. М.] Дружинин и [Д. П.] Таптыков⁵. <...>

О тех декабристах, которые были поселены в городах Енисейской губернии Западной Сибири, сказать ничего не могу, так как при них там не бывал. Когда же впоследствии, спустя довольно продолжительное время после возвращения их в Россию, мне случилось

много раз проезжать чрез некоторые из тех городов, где они жили, то везде я слышал о них лишь самые хорошие отзывы. Все знавшие их, с которыми мне приходилось разговаривать, сообщали о них только добрые воспоминания, а многие отзывались с благодарностью, кто за помощь, кто за совет, а кто за обучение. Из числа этих декабристов я был знаком с Владимиром Ивановичем Штейнгелем, жившим сначала (до перевода в Западную Сибирь) в слободе Елани Иркутского округа, куда я заезжал к нему часто из Тельминской фабрики, где я тогда жил, и с Иваном Ивановичем Пуциным, который по данному им обещанию навещать через каждые 10 лет товарищей приезжал после первой с ними в Петровском каземате разлуки (не помню, в 1849 или 1850 годах) в Восточную Сибирь и вместе с С. Г. Волконским провел у меня сутки в Александровском заводе, которым я тогда управлял.

Хорошо знакомый с большей частью тех, которые были (как перечислял я выше) поселены в Иркутском округе, я часто проездом чрез селения, в которых они жили, бывал у них как добрый знакомый. Иногда же случалось заезжать к некоторым по делам службы — выдавать назначение беднейшим из них от правительства пособия. Доброе знакомство мое с ними продолжалось и впоследствии, когда многие из них, переехав из селений, жили уже в Иркутске. Не раз случалось мне приезжать в Урике к Волконским и в Оёке к Трубецким в такое время, когда у них бывали многие из их товарищей. Не раз за беседу, как это бывает и везде вследствие разности мнений, взглядов и знаний, происходили споры, но никогда не было заметно пикировки, насмешек друг над другом. <...> Товарищество и равноправность, если можно так выразиться, были полные: те имущие, которые оказывали пособия более бедным своим товарищам, не навязывали им своих мнений, а эти последние не поступались для них своими. <...>

В заключение я хотел бы сказать многое о женах декабристов, но писать что-либо от себя лично в их защиту я считаю излишним. Обелять белое не нужно. Оставление родины, близких сердцу родных и друзей, принесение в жертву долгу своего общественного положения и материальных средств, лишение не только всех удобств жизни, но и всех прав и взамен того поездка к мужьям в глубь Сибири, в ссылку, навстречу всевозможным неудобствам и даже оскорблениям, как это и было на самом деле, — все это говорит само за себя. Я приведу здесь только отзывы о женах декабристов товарищей их мужей, которые, разделяя с ними продолжительное изгнание, должны считаться лучшими их ценителями.

Князь Александр Иванович Одоевский, давно уже умерший на Кавказе, в альбоме покойной княгини Марьи Николаевны Волконской 25 декабря 1829 года о приезде ее и других подруг ее к мужьям своим говорит, между прочим:

Вдруг Ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны.
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены.

И затем далее, что с приездом их

... лились в темнице дни, лета,
В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного,
Чтоб Ангелы на небо не вспорхнули,
Не сбросили покрыва своего.

Беляев же, Александр Петрович, один из немногих остающихся теперь в живых декабристов (живет в Москве), через полстолетие с лишком после того, что сказано выше князем Одоевским, в Записках своих о женах своих товарищей говорит так: «Кто, кроме всемогущего мздовоздаятеля, может достойно воздать вам, чудные, ангелоподобные существа, слава и краса вашего пола, слава страны, вас произрастившей, слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и такой преданности таких чудных, идеальных жен! Вы стали поистине образцом самоотвержения, мужества, твердости при вашей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут незабвенны имена ваши!»⁶.

Женщины, о которых с таким увлечением говорят отделенные промежутком времени более полустолетия поэт, не достигший тогда еще 30-летнего возраста, и скромный составитель записок о прожитом им времени, 80-летний старец, должны пользоваться полным уважением каждого человека. <...> Что же касается нас, сибиряков, то мы и через полвека вспоминаем о них как о живых примерах всего доброго, чистого и прекрасного и храним глубокую благодарную память к этим добровольным изгнанницам.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОКРУЖНОГО НАЧАЛЬНИКА г. МИНУСИНСКА А. К. КУЗЬМИНА «МИНУСИНСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ»

<...> Есть в Сибири так называемые государственные преступники, несчастные рыцари 14 декабря 1825 года. <...> Я говорю о пяти из них, находившихся у меня под надзором в Минусинском округе.

1-й. Краснокутский, бывший действительный статский советник и обер-прокурор [Сената]. Он был племянником председателя Государственного совета князя Кочубея¹, мог надеяться на блистательную будущность, но судьба решила иначе и вырыла ему могилу в холодных недрах Сибири. Его по лишению чинов и дворянства послали прямо на поселение куда-то за Якутск, к Ледовитому морю, что гораздо хуже всякой каторжной работы. Краснокутский, будучи 40 лет и имея слабое здоровье, не мог перенести трудностей дороги и за болезнью был оставлен в Якутске, всего только за 8781 версту от Петербурга! Потом, через год, по ходатайству родных переведен ко мне в Минусинск, на юг Сибири,

где его здоровье хотя несколько и укрепилось, но простуженные ноги постепенно отказались от своего назначения. Впоследствии времени, для лучшего медицинского пособия, ему позволили переехать в Тобольск. Дорогою разбили его лошади, отчего он и умер².

Краснокутский на своем веку видел свет и людей, знал кучу анекдотов, хорошо говорил, почему и был приятным собеседником целого города, а особливо в такой отдаленной стране, где надобно жить более умственною, а не действительною жизнью.

Я с ним был довольно дружен и ежедневно вместе. Не заводя речей о политике, как о предмете для него шекотливом, мы находили что говорить в длинные зимние вечера. С ним жил вместе товарищ его, Кривцов³, человек также умный, и еще было у меня человека два минусинских чиновников, с которыми можно было обменивать мысли: вот люди, составляющие круг ближайшего моего знакомства.

Краснокутский выстроил в Минусинске хорошенький домик, получал в год тысячи две рублей от родных и жил, как какой-нибудь отставной чиновник, к которому иногда съезжалась вся минусинская знать поиграть в вистик. Губернатор Степанов⁴ при объезде моего округа также бывал у него в гостях.

Подумаешь, как судьба играет людьми! В другое время я дождал бы в зале у Краснокутского, пока он выйдет из кабинета, а в Минусинске ко мне примчал его жандарм в почтовой телеге. Как теперь помню: я сидел за обедом с двумя гостями, вдруг входит к нам человек среднего роста, бледный, с узким лбом, черноволосый и с большими бакенбардами. По расстроенному его взгляду и неровным шагам я счел его за помешанного и спросил довольно грубо: что надобно?

— Честь имею явиться, я государственный преступник Краснокутский.

Вслед за этим жандарм подал мне куверт⁵ от губернатора Степанова, что такой-то отправлен на жительство в Минусинск под присмотр полиции и чтоб я ежемесячно доносил по секрету о его занятиях и поведении. В пакете вложено было от губернатора партикулярное письмо, делающее честь его сердцу: он просил меня оказывать Краснокутскому всякую помощь и защиту.

2-й. Кривцов, бывший подпоручик гвардейской конной артиллерии. Его прислали в Минусинск после двухлетней каторжной работы [из] Иркутской губернии и Петровского острога, выстроенного нарочно для государственных преступников, где они были соединены вместе для удобнейшего надзора. Там был у них комендантом генерал-лейтенант Лепарский, честнейший и добрейший старичок, который делал им все снисхождения, какие только можно было согласовать с данной ему инструкцией.

Вся каторжная работа государственных преступников заключалась в молонье ручными жерновами ржи, пуда по два в сутки на человека. Часто две трети преступников под разными предлогами оставались дома, и только третья часть выходила на работу.

Даже из этой трети кому угодно позволялось нанимать за себя работать солдат, свободных от караула. На миру, говорят, смерть красна: государственные преступники, по мере сроков выпускаемые на поселение в разные места Сибири, нередко тужили в одиночестве по Петровскому острогу, где у них много было книг, физических инструментов и прочих ученых принадлежностей. Некоторые из них, знатоки своего дела, читали в остроге для своих товарищей публичные курсы математики и словесности; многие выучились там разным языкам, которых не знали на свободе.

Жены государ[ственных] преступников почти все показали себя героинями, заслуживающими память в фамильных преданиях. Им иначе не позволялось отправляться к своим мужьям, как лишась дворянства и всех званий, какими пользовались бы они, оставшись дома. Они должны были именоваться просто женами государственных преступников и в случае смерти мужьев не имели права без высочайшего разрешения оставить Сибирь. Почтенные супруги, верные в несчастье мужьям своим, на все с охотою соглашались; воспитанные в роскоши и изобилии, заблаговременно учились мыть белье и стирать, хотя впоследствии и не доходило до такой крайности. Они настроили около Петровского завода чистеньких, светленьких домиков и своею любезностью не допустили одичать бедных преступников. Где появится женщина, там проглянет роскошь: сметливые вязниковцы⁶, известные под именем разносчиков, завели в Петровском лавки с разными товарами, и до 1828-го года пустая деревенька приняла вид торгового селения.

⟨...⟩ Я часто брал Кривцова для компании при разъездах по Минусинскому округу. Как кавалерист он знал толк в лошадях и помогал мне покупать их для казенных поселений.

Года три провел Кривцов в Минусинске, пока дозволили ему вступить в солдаты. Я отправил его в Грузию, с желанием счастья и давши на дорогу тысячу рублей займа. В 1839 году мой добрый знакомый Кривцов возвратился из Грузии в отставку прапорщиком артиллерии и вновь поживает в своем селе Тимофеевском (Орловской губ. Болховского уезда). ⟨...⟩

3-й и 4-й. Два брата Беляевы, мичманы Гвардейского экипажа. Эти очень молодые люди имели характер мягкий и склонный к убеждению. Познакомившись с либеральными идеями, они до самозабвения уверены были в справедливости своего дела и лично вывели на площадь Гвардейский экипаж. ⟨...⟩ В Минусинске они по возможности помогали бедным, каждый день ходили к обедне и почти каждый день были обманываемы тамошним честным народом, который не упускал случая пользоваться излишнею их добротой. ⟨...⟩ Беляевы заводили в Минусинске мельницу и молотильную машину; но «простота хуже воровства», дела их шли плохо, и они, при самой умеренной жизни, года в четыре прожили все свое состояние, состоявшее из семи тысяч рублей. Недавно писали мне из Минусинска, что им позволено вступить в солдаты⁷. От всей души желаю им счастья!

5-й. Фаленберг, свитский подполковник, воспитанник Петербургского лесного корпуса. Из первого выпуска взято было за отличные успехи несколько человек в тогдашние колонновожатые, и я очень помню, как нам ставили их в образец прилежания. Я не застал Фаленберга в Лесном корпусе и познакомился с ним в Минусинске. Он сам рассказывал мне, и все его товарищи подтверждали, что он более вины своей наказан. Его много-много следовало разжаловать в солдаты с выслугою, а он выдежурил в каторжной работе наравне с Беляевыми, бывшими с оружием в руках на площади. Вот история наклепанного им на себя несчастья.

В Тульчине после одной веселой пирушки, где шампанское разгорячило умы, князь Барятинский спросил у него наедине: готов ли он на все благородное и прекрасное для пользы и чести России? И после утвердительного Фаленбергова ответа продолжал: «Дай же руку, товарищ, впоследствии все узнаешь, а теперь скажу тебе только то, что у нас есть заговор с возвышенной целью, которого главою полковник Пестель». Этот разговор был незадолго до развязки дела, а потому Фаленбергу не удалось узнать подробностей.

При следствиях и допросах все преобразователи России упали духом и выдали друг друга, почему и Фаленберг был арестован. Во время ареста, по несчастью, увиделся он с дальним своим родственником, Раевским⁸, сыном известного генерала Раевского, который в Отечественную войну для поощрения солдат к сражению выставил вперед двух своих малолетних сыновей⁹, и из них-то один был посетителем Фаленберга. Раевский советовал быть ему откровенным, уверяя, что государь только хочет знать всю правду и непременно всех простит, а в доказательство указывал на себя, как уже пользующегося свободою*. Фаленберг так и сделал; но когда следователи, полагая, не знает ли он чего более, делали ему разные хитрые вопросы, также обнадеживая милостью государя, то Фаленбергу пришла странная мысль кое-что на себя прибавить. Он думал этим отделаться и поскорее возвратиться к молодой жене, которая готовилась подарить его первым ребенком. Будучи мало виновным, он полагал, что мало сказал и что это не примут за полное признание. Короче сказать: он совершенно растерялся в рассудке, наговорил на себя три короба, и когда вместо ожидаемого поощрения его посадили в Петропавловскую крепость, он опомнился, вздумал отпираться, но уже было поздно¹³. <...>

Жена Фаленберга, из любви к которой он столько наделал себе бед и глупостей, давно уже вышла замуж за другого. Впрочем, говорят, ее обманула мать, богатая, честолюбивая женщина из фамилии баронов Розеных, сказавши, что Фаленберг умер. Однажды

* Говорят, государь точно простил этого замешанного в бунте Раевского в уважение заслуг отца. Равномерно простил он сына фельдмаршала Витгенштейна¹⁰, который сам прислал его к государю. Суворова внуки¹¹, завербованные Кривцовым, с которыми он вместе воспитывался в Швейцарии, также были прощены. Говорят, государь сказал: «Я не верю, чтоб внуки великого человека могли быть изменниками», и вычеркнул их из списка¹².

теща вздумала прислать ему 500 рублей, но Фаленберг не принял, хотя и не имел никакого состояния. Я помог ему выстроить мельницу о четырех поставах и исходатайствовал ежегодный пансион в 200 рублей да сверх того паек и одежду, какая следует простому ссыльному, что составляет более 50 руб. в год. <...>

А. И. Лучшев

ДЕКАБРИСТ Г. С. БАТЕНЬКОВ

<...> Г. С. Батеньков по освобождении из Петропавловской крепости, где он, вместо каторжной работы (к которой приговорен был Верховным уголовным судом), пробыл в одиночном заключении, в Алексеевском равелине, 20 лет, по приезде в Томск, в марте 1846 года, на другой день поместился в нашем доме и первые два месяца жил в одних комнатах со мной, а вообще прожил у нас все с лишком десять лет пребывания своего в Томске. <...>

Батеньков о своей 20-летней жизни в крепости (откуда он не видел буквально ничего, а солнечный луч падал изредка чрез наклонные окна только сверху) говорить не любил, и поэтому никто и не расспрашивал его подробно об этом. Только сопоставляя отрывочные его выражения в общих разговорах совершенно о других предметах, могу воссоздать несколько цельный отзыв Батенькова об этом заключении.

Одиночное заключение (в камере аршин 10 в длину и 6 в ширину при 4-аршинной высоте) вначале было до того строго, что караульным солдатам (вполне вооруженным) запрещено было с ним говорить и на самые обыкновенные вопросы: «который час? какой день? и т. п.» если и был ответ, то один: «не велено говорить». Зато ежедневно, утром и вечером, в определенные часы являлся офицер наведываться о здоровье и спросить: не нужно ли чего? Разговор оканчивался односложным вопросом и коротким ответом. Пищу подавали всегда хорошую; а как он не употреблял ни мяса, ни рыбы, то подавали преимущественно яичницу и разные молочные каши, белый хлеб, кофе или чай, а иногда, по желанию его, и легкие виноградные вина: лафит, бургонское, рейнвейн и пр. В первый год заключения он был болен горячкою месяца четыре, но содержался в той же камере, без ослабления караула. Впрочем, уход за ним и лечение были особенно внимательны, и не только было дозволено тогда призвать священника, но как Гавриил Степанович был вполне христианин, то ежегодно в великий пост исповедовался и приобщался св. тайн (в своей камере). Строго одиночное заключение продолжалось годов пять-шесть; после того хотя караул не ослаблялся, но было ему дозволено прохаживаться по коридорам Алексеевского равелина, но никого, кроме солдат, он не видал и ни с кем не разговаривал. Читать ему давали только

книги духовно-нравственного содержания; газет никаких не только не читал, даже не видел во все 20 лет. Позволялось и писать, но все им написанное он или рвал сам, или отсылал к коменданту. Что и о чем писал Гавриил Степанович, он никогда не говорил и из писанного в крепости в Томск ничего не привез. <...>

<...> Батеньков был прислан в Томск по отношению к губернатору с.-петербургского коменданта*, в котором было сказано, что по высочайшему повелению препровождается Гавриил Батеньков (без обозначения звания) на жительство в г. Томск и что на обзаведение назначено ему 500 руб., которые он и получил здесь вскоре по прибытии. Из крепости отправлен он был по распоряжению коменданта (героя Отечественной войны, безрукого генерала Скобелева¹), снабженный всем необходимым для зимней поездки, и крытая сукном волчья шуба осталась при нем. <...> Петербурга он не видел, выехал ночью прямо из крепости. На второй станции по бывшей тогда шоссейной дороге он увидел какую-то женщину. Не видевши с лишком 20 лет живого женского лица, Гавриил Степанович был рад, как маленький ребенок, обнял и расцеловал ее. Рассказывая об этом, Гавриил Степанович прибавлял, что эта женщина, вероятно, подумала, что «я или бессознательно пьян, или сумасшедший». О сопровождавшем его жандарме он отзывался как о человеке заботливом, услужливом и вежливом: ни на станциях, ни в дороге жандарм не показывал и вида конвоира, да и в почтовой подорожной на имя его жандарма была только стереотипная фраза «с будущим». Жандарм поместил Гавриила Степановича в единственной тогда в Томске гостинице и на другой день уехал в Петербург, а Гавриил Степанович переехал в наш дом и поместился со мною в двух небольших комнатах. Первые два-три дня обращение и разговор его казались мне несколько странными; немногие другие считали его, как после говорили, помешанным, я же этого не видел. Он любил говорить и говорил всегда книжным языком, с учеными терминами и латинскими фразами, почти исключительно о высоких нравственно-религиозных и философских предметах. О политических и общественных делах и о правительственных лицах он упоминал разве так, как-нибудь косвенно; да и впоследствии, привыкши к новой свободной жизни, неохотно высказывал свои мнения или суждения об этих предметах.

О жизни Гавриила Степановича в Томске скажу немного. Все время, с начала марта 1846 до последних чисел сентября 1856 г., он жил в нашем семействе: так сказать, к нам приехал и от нас уехал. В период этот он с моим братом Николаем выстроили три флигеля, перестроили все службы, а старый дом из города перевезли они на дачу в 4-х верстах от города, где сначала устроили небольшое помещение, названное «соломенным», завели небольшое хозяйство, огород, садик, цветничок и проч. Здесь-то большую

* Я служил тогда в Томском губернском управлении и помню содержание этого отношения.

часть лета и проводил Гавриил Степанович, приезжая в Томск дня чрез два-три. В Томске он был знаком со всеми тогдашними тузами: Асташевыми, Гороховыми, Поповыми и друг [ими] и с губернаторами Аносовым и Бекманом², особенно с последним был в дружеских отношениях; но посещениями своими никому не учащал. Чаше других он бывал у Асташевых, от которых получал французскую газету. Читал он немного книг на немецком и французском языках, а более всего газеты, но о политических делах говорил мало. В церковь ходил, как бы обязательно, каждое воскресенье и [в] большие праздники. Пищу его составляли: яичница, икра, зелень, плоды и ягоды всякого рода; никаких спиртных напитков он не любил и только изредка пил легкие виноградные вина. Писал он немного, но о написанном ничего не говорил; увез ли он что с собою, не знаю. Вообще в Томске он пользовался уважением и любовью всех знавших его, от старого до малого, от первых — за ум, высокую нравственность и 20-летние страдания, а от последних — за простоту, доброту и ласку. Скажу еще об одной особенности его. В первый год по приезде в Томск он начал купаться в Томи и купался каждое раннее утро, несмотря ни на какую погоду, до самых заморозков. Помню раз, мы шли с ним по льду шагов 20 до воды и, окунувшись раз пять-шесть, воротились для одевания на берег. Это купанье, как говорил Гавриил Степанович, укрепило его организм и доставляло бодрость телу и духу. В то время, 54 лет от роду, он казался стариком, но после, года через полтора, значительно поправился, ходил много и бодро, спал мало: одним словом, имел на вид не более 50 лет.

Г. С. Батеньков окончательное образование получил в 1-м кадетском корпусе, и только самообразование могло дать ему основательные знания точных наук и древних языков, что ясно доказывает его ум, силу воли и твердую память. Древние еврейский, греческий, латинский языки он знал настолько, что свободно переводил с них на русский. На французском и немецком говорил и писал; и все эти знания сохранились после 20-летнего одиночного заключения в крепости. <...>

По прощении и дозволении возвратиться в Россию Гавриил Степанович пред выездом из Томска писал мне (в Барнаул) 11-го сентября 1856 года: «Вот, милый А. И., пишу и вам привет разлуки. Чрез две недели здесь уже не буду, и сложившееся из душевных симпатий семейство мое должно будет меня отпустить и со мной проститься. Я теперь, как новорожденный младенец: чист от всего, от чего только можно быть чистым, с правом на жизнь, даже привилегированную, и, что важнее, свободен. Обе столицы мне негостеприимны³, но не совсем и заперты. Со службой не мирит безчиние, но и туда есть дверь. Словом, я теперь юноша, недоросль и старец, только что поднятый из-под креста. Есть и выгода в таком положении: я могу не стеснять бывших товарищей и не стесняться ими, как бы высоко они ни забрались...»

Г. С. Батеньков скончался в октябре 1863 года на 71-м году, от воспаления легких, в Калуге. Свой дом и свое состояние он завещал О. П. Лучшевой⁴ и брату моему Николаю, приказав похоронить себя в селе Петришево рядом с другом своим, Алексеем Андреевичем Елагиным, что и было исполнено.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Б. В. СТРУВЕ О ЕГО ВСТРЕЧАХ С ДЕКАБРИСТАМИ В СИБИРИ

⟨...⟩ Новый год, 1-го января 1851 года, я встретил в занятиях за Байкалом, в г. Верхнеудинске, откуда начался мой объезд губерний Восточной Сибири для наблюдения за устройством питейных сборов на основании новых правил¹. ⟨...⟩ Во время этого объезда я впервые познакомился с декабристами: в Чите с Д. И. Завалишиным, в Селенгинске с Ник [олаем] Алекс [андровичем] Бестужевым и в Красноярске с Василием Львовичем Давыдовым. ⟨...⟩ Почтенная личность Н. А. Бестужева произвела на меня глубокое, неизгладимое впечатление. Светлость его взгляда на современные события, определенность его суждений о далеко еще не обрисовавшейся деятельности Муравьева², труженическая деятельность его самого среди местного населения с целью распространения образования, отзывчивость его на все хорошее и изящное в области науки и искусства, все это вместе, соединенное в одном лице, представлялось мне таким радужным явлением, что мне казалось, что в общении с ним человек должен просветлеть и становиться лучше. По поводу предстоящего освобождения нерчинских горнозаводских крестьян от обязательных отношений к заводам, согласно предположению Муравьева, с перечислением их в казачье сословие у нас завязался длинный разговор вообще о крепостном сословии в России. Бестужев сообщил мне о взгляде декабристов на крестьянский вопрос и о том, что они все признавали необходимость безусловного упразднения крепостного права. При этом он упомянул о полученном им от С. Г. Волконского для прочтения сочинении Н. И. Тургенева «La Russie et les Russes» («Россия и русские»), которым он был очень недоволен, в особенности потому, что Тургенев не признавал значения общинного владения, вследствие чего и допускал возможность освобождения крестьян без земли. Умер Н. А. Бестужев в 1855 году, совершив едва ли кому-либо известный подвиг истинного человеколюбия: возвращаясь в марте из Иркутска в Селенгинск, он нагнал на Байкале двух пеших старушек странниц при постепенно усиливавшейся метели. Он вышел из своей повозки, усадил в нее этих старушек, а сам сел на козлы и так продолжал переправу через Байкал. При этом он простудился;

приехав в Селенгинск, слег в постель и через несколько дней скончался, как праведник. <...>

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. А. ОБРУЧЕВА ОБ И. И. ГОРБАЧЕВСКОМ НА ПОСЕЛЕНИИ

Дом Горбачевского, куда я проехал после представления начальству, находился на главной улице и представлял из себя простую избу больших размеров, сложенную из чрезвычайно толстых бревен — не знаю, какого дерева: лиственницы или особенной сосны, — получающих от времени не наш особенный серый цвет, а искрасна-бурый, очень красивый. Хозяин был крупный человек, и все у него было крупное. Передняя изба с тремя большими окнами состояла из одной комнаты без перегородки¹. Мебель самая простая — стол перед диваном, поставленным спиной к окнам, громадный. Книг довольно много. Печь голландская, беленая. Соответственных размеров была и кухня в задней половине избы, где хозяйствовал старик повар-самоучка Калинка. Двор, обставленный хозяйственными постройками, был очень большой.

Ивану Ивановичу было в то время шестьдесят три года. Он был широкий мужчина, несколько выше среднего роста, с крупной, мало поседевшей головой, причесанной или растрепанной на манер генералов александровских дней, но при пушистых усах и бакенбардах. По внешности он был бы на своем месте только в обстановке корпусного командира. И говор у него был важных старцев, барский, густой, чисто русский, без малейшего следа хохлацкого происхождения или сибирского навыка. Такой же барский, всегда благосклонный, был у него и взгляд. Во всем он был барин, и прежде всего в щедрости. Он мог не дать совсем, когда не было — тогда он конфузился, но дать щепоткой, отсчитывать, он не мог. Под львиною наружностью был он человек добрый и нежный до слабости, изысканно вежливый и деликатный. В школе, где он учился, воспитателями были иезуиты, и я его дразнил, что в нем все еще сохраняются разные к оболыщению людей направленные ухищрения. Костюм всегда был один: по утрам серый халат на белых мерлушках, рубашка красная, а затем суконная черная сюртучная пара местного мастерства без притязаний на современность, двубортный жилет с воротником поверх высокого галстука. Дневной обиход был неизменно один: утром чай, трубка, хозяйство, почта, посетители — и в числе их всегда плутоватый машинист, причастный к исполнению заказов, по которым Иван Иванович комиссионировал². И всегда облака дыма. Затем после полудня, надев картуз с прямым козырьком и черное пальто, старик уезжал обедать к начальству в присланном за ним экипаже, который в свое время и привозил его обратно. Часика два-три спустя начальство

неизменно являлось к нему беседовать и читать газеты за вечерним чаем. Карт не было. К этой компании всегда присоединялся сосед, купец Белозеров; бывали и некоторые другие лица. Читал он аккуратно «Петербургские ведомости» и «Revue Britannique». Имел также множество номеров «Revue des deux Mondes», которые ему присылал наш дипломатический агент в Пекине Бюцов. Любимой книгой, которую он всего чаще брал, ложась в постель, были ламартиновские «Жирондисты»³, и французские книги он вообще предпочитал русским. Но французской его речи я не слышал.

Меня он принял до крайности ласково и любовно и тотчас распорядился поместить меня в передней избе одной покровительствуемой им крестьянской, или, точнее, заводской, семьи. Эти добрые отношения, установленные им в первый день нашего знакомства и с благодарной отзывчивостью принятые мною, продолжались без малейшего облачка до последнего дня бытности моей в заводе и поддерживались затем письменным путем до последних дней его жизни. Его последнее письмо ко мне, написанное уже ослабевшей рукой, было от 12 декабря 1868 года, а умер он после почти двухлетней мучительной болезни 9 января 1869 года.

В бытность мою в заводе я никогда не вызывал его на рассказ о далеком прошлом; но, конечно, он не мог не касаться этого, так же как и о недавней муравьевской эпохе⁴. Показывал он мне также собранные им портреты товарищей, вошедшие в издание Зензинова⁵, и при этом, разумеется, знакомил с более интересными личностями. Понятно, однако, что при частых, почти ежедневных, сношениях подобный архивный материал мог иметь вообще лишь весьма второстепенное значение. Горячую симпатию к личности Ивана Ивановича, любовное уважение к нему внушали прежде всего его чрезвычайная доброта, живое, участливое отношение ко всем, отсутствие всякой заботы о себе. Свой правильный, трезвый взгляд на вещи он доказал тем, что не захотел возвратиться в Россию. Ему было разрешено жить в Петербурге, куда усиленно звала его сестра (в супружестве Квист), причем ее сын, известный профессор фортификации, поддерживал ее настояния посулами, что они будут жить вместе и разговаривать⁶. Ничего другого, конечно, и нельзя было написать; но понятно, что это не прельстило старика, который привык быть барином в своей избе и в сношениях со всеми окружающими и близко сроднился с хорошо ему знакомым, прекрасным и в то время по-своему вольным краем. Да, в то бестелеграфное, безрельсовое время в глухих углах Забайкалья была своего рода воля — воля чистого воздуха на малых хотя вершинах, воля простой жизни вдали от ненужных условностей и всего, что засоряет, гадит и принижает душу. Даже в условиях ссылки и я мог в том крае изведать эту волю и за это навсегда его полюбил.

Иван Иванович постоянно читал мне письма, которые получал от других декабристов, а также свои ответы. Всех чаще писал кн. Евг. Оболенский — всегда очень длинные письма в елейно-религиозном духе; затем тоже длинно, но о делах земных писал Д. И. Завалишин. Довольно аккуратные сношения были с Н. Д. Фонвизиной и с М. А. Бестужевым, тоже не пожелавшим покинуть свой Селенгинск. <...>

С. В. Максимов

ДМИТРИЙ ИРИНАРХОВИЧ ЗАВАЛИШИН

(из литературных воспоминаний)

<...> По пути в Амур, командированный туда Морским министерством, я нашел Дм [итрия] Ир [инарховича] в городе Чите, только что переименованном (не совсем удачно) из «Острога»¹ в областной город по его же указаниям и по представлению губернатора Запольского, на которого Завалишин имел огромное нравственное влияние как старожил и высокообразованный человек. Он жил в укромном теплом домике под горушкой, окаймляющей берег ничтожной речонки Читы, почти при самом впадении ее в неважную Ингоду, которая только по слиянии с Ононом получает значение, как приток судоходной Шилки, образующей вместе с Аргунью в свою очередь знаменитый Амур. Пришел я к нему не за благословением на легкое дело личных наблюдений, когда тотчас же откроется перед глазами во всей простоте и наготе едва улаживавшаяся казачья жизнь в неизведанной стране, на непочатой первобытной почве, и сама она наглазо покажет образцы и подскажет выводы. Не поощрения искал я у него, когда половина трудного дела переезда нескольких тысяч верст уже завлекла так далеко, что поставила почти у самых ворот замка, заколдованного лишь на это короткое время. Случилось посещение сколько и потому, что никто, едущий на Амур и обратно, не обходил оригинального и уютного домика, принадлежавшего вдове горного полковника Смольянинова (теще Д. И. Завалишина²), сколько и по той причине, что имелась уже в виду задача присмотреться и изучить быт ссыльных, в числе которых, как декабрист, состоял и он свидетелем событий в течение целых 30 лет. Очень приветливо, по-сибирски, принял он незнакомого заезжего гостя и тотчас же поразил тем деликатным отношением к нему, что, зная хорошо причину приезда, ни одним словом не обмолвился об Амуре, не навязывал своих мнений, не забегал с сообщениями о новейших, полученных им отсюда сведениях от возвратившихся простых казаков и от проезжих гражданских и военных чиновников. Всю долгую беседу он занимательно и интересно сосредоточил на рассказах о житье-бытье

его товарищей в этой самой Чите и потом в Петровском заводе. При прощании он поспешил извиниться в затруднении оплаты визита по своему настоящему общественному положению и по другим ясным для обоих причинам. Да пока и не понадобилось второй встречи. Впечатление, полученное от первой, достаточно было сильно и твердо запечатлелось в памяти: среднего роста, сухой и подвижный старичок, судя по возрасту (уже тогда под 50 лет), по внешним приемам и по виду казавшийся нервным юношей. Только глубокие морщины на лице выдавали следы тяжело прожитого прошлого, и русый паричок не скрывал следов долгих лет, проведенных в неустанных умственных занятиях. Одетый в казакин особо оригинального покроя, он как живой восстает перед глазами через 30 лет, когда суетливо и непоседливо хлопотал об угощении и в то же время старался уловлять обрывавшиеся нити затеянных рассказов о давней казематной жизни, о своем нынешнем маленьком, но прекрасно устроенном домашнем хозяйстве, в которое обязательно входили разведение и акклиматизация тех овощей и плодов, каковые еще неизвестны были в Сибири: турецких огурцов, вишен, дынь и арбузов. Поданные к кофе сливки своей поразительной густотой и ароматом показывали, что и домашнее скотоводство не ускользнуло от его внимания и было также образцовым. Несомненно было, что и сельская жизнь одинаково увлекала его живую натуру, как и книги, и литературные занятия, посвященные на этот раз исключительно Амуру и судьбе выселенных туда забайкальских казаков. Изумительна была его память, но не менее изумляла логичность в построении тем рассказов. Еще поразительнее оказывалась вся его внешность: и стройность фигуры, как остаток военной выправки (до времени несчастья он был лейтенантом флота), и необыкновенно сохранившаяся свежесть мыслей, физическая подвижность, как будто лета и невзгоды пронесли над ним быстролетным метеором. Когда в 1864 г. он вернулся в Москву 60-ти лет, ему не давали и сорока. Он во всю жизнь не курил, не выпил ни одной рюмки вина. В этой воздержанности своей от всяких крайностей и увлечений он отчасти указывал причину своей безболезненной и очень долгой жизни.

Всякая встреча с ним, как первая, так и многие последующие, убеждала в том, что в нем цельно сохранился тип образованного военного александровских времен, получившего привычки и светскую науку прямо из первых рук, в самом Париже. Самая образованность как его самого, так и других более выдающихся его товарищей казалась мне не блестящею, но поверхностною, французского энциклопедического закала. С изумительным прилежанием и при настойчивой воле, которая, между прочим, навела его на труд изучения древнего еврейского языка, Дм [итрий] Ир [инархович] сумел выделиться именно наибольшим запасом энциклопедических сведений и привычкой скоро прочитывать газеты и книги, быстро схватывая лишь самое существенное. Впрочем, этими способностями он отличался еще и до

ссылки, и вот почему Ал [ександр] Ал [ександрович] Бестужев-Марлинский в письме (по-французски) двум братьям своим из Якутска в Читу посылал, между прочим, свой «привет и нашему Пик-Мирандоль³, всеведущему (l'omniscient) Завалишину».

Целомудренно сдерживая себя в самой ранней юности, он женился уже в зрелых годах, когда окончился срок тяжкого искупления его вины и он вышел на поселение. Дм [итрий] Ир [инархович] в обществе был приятным дамским собеседником и галантным кавалером в лучшем смысле слова. Он умел нравиться женщинам не по одному только, что в совершенстве владел тонкими манерами и превосходным французским языком, как природный француз. Это, впрочем, дало ему возможность сближения с высшим московским обществом, а изящество и деликатность обращения с людьми позволяли укрепиться здесь твердою ногою, чтобы показать потом значительную энергию и положительную подготовку к тем делам милосердия и благотворений, которыми охотно берутся ведать и руководить дамы высшего московского слоя. Имея от роду уже около 75 лет, он женился в Москве на молодой особе (гувернантке) во второй раз и прижил с нею пятерых детей, из которых в последнее время жизни потерял четверых вместе с их матерью⁴. Эти беспощадные удары судьбы один за другим и ускорили его смерть, хотя еще утром того дня он был бодр и свеж. Насколько в самом деле в нем сохранилась феноменальная бодрость и свежесть внешнего вида, далеко не соответствующая глубокому старческому возрасту, показывает портрет его, снятый с него в Москве в последние годы и присланный им мне с другими. На одном известный художник Кипренский⁵ изобразил Завалишина в детском возрасте, на другом он фотографически изображен с натуры в классическом казакине, в котором я видел его впервые в Чите и который знаком был всем посетителям и прежде меня и потом. Дм [итрий] Ир [инархович] был очень беден и очень бережлив.

Дмитрий Ириархович был чрезвычайно самолюбив в некоторых случаях, особенно в рассказах, устных и письменных, о своей разнообразной и долговременной деятельности. Это самолюбие его доходило иногда до крайностей ненужного хвастовства⁶. (...) Но теперь на свежей могиле не место вдаваться в объяснение поводов такого странного явления, которое не иным казаться может, как болезненным, порожденным многими извинительными, но непобедимыми причинами. Корень скрывается там, куда по давности лет трудно уже теперь и проникнуть. Однако рядом с этим, и как заслоняющая ширма, выделяется его и полная отрешенность от всяких личных интересов, как черта, ярко рисующая характер всей его деятельности и проходящая красною нитью через всю его жизнь. Всякий раз, и в Чите сначала, и в Москве потом, приходилось изумляться его скромной нетребовательности, соображая в то же время, что он смолоду воспитан был в помещичьих достатках, с капризными вкусами, от которых, однако же, не могли отвыкнуть многие из его

товарищей. Дм [итрий] Ир [инархович] пожертвовал всеми удобствами и отказался навсегда от всяких удовольствий, отговариваясь, напр [имер], в Москве от всяких публичных обедов. В Чите он жил в небольшом домике тещи (а за смертью ее — свояченицы), довольствуясь тем малым, что давал ему огород про зимние запасы, небольшой скотный двор, доставлявший скопы⁷ для случайной продажи излишков на сторону, и теми денежными заработками, которые получались за литературные статьи из петербургских журналов и газет, заработками неверными, высылаемыми к тому же, за громадную дальностью расстояний, и несвоевременно и всегда очень поздно. Самоотверженно отдавшись общественному служению, он уже во всю жизнь не помышлял ни о какой другой службе и решительно отказывался от предлагаемых мест, желая сохранить полную независимость. В Чите он очищал свою совесть и соблюдал личную независимость от родственных средств улучшением и расширением чужого хозяйства, спрашиваясь, между прочим, советов у такого опытного хозяина, каковым далеко от Читы был в г. Селенгинске Ник [олай] Ал [ександрович] Бестужев, учивший его, как зажигать парники, улучшать породы картофеля, ходить за цветами и т. п.

Он и работал неустанно в тех же видах, и писал статьи с лихорадочною поспешностью и по самым разнообразным вопросам. И живя в Москве, где, однако, удалось ему пристроиться в секретари тамошнего Комитета грамотности⁸, он получал оттуда настолько содержания, чтобы кое-как питаться и ютиться в небольшой комнате с перегородкой в номерах Скворцова по Моховой, против экзерциргауза⁹, куда привел и молодую жену. Не оставляя и здесь литературных работ и получивши в свое заведование в «Московских ведомостях» М. Н. Каткова¹⁰ корреспонденции из Сибири и с Урала, он мог зарабатывать, по его собственному незлобивому и простодушному сознанию в одном из писем ко мне, не более пяти рублей в месяц. Отмеченные и проредактированные им статьи зачастую сплеча забраковывались.

Писательская и корреспондентская деятельность Д. И. Зава-лишина поистине была изумительна и в свою очередь феноменальна. Глядя на большую, вескую кипу писем, адресованных ко мне и по сей час сохранившихся, удивляешься и разнообразию занимавших его вопросов, и богатству сведений по любому из них. Мелким зернистым почерком, чрезвычайно своеобразным, четким и без помарок, но требующим если не лупы, то значительной привычки или сноровки, писал он о своей неизменно энергической деятельности на пользу народного просвещения и общественного благотворения. Терпеливо и чрезвычайно обстоятельно заносил он на корректурах поправки и потом досылал дополнения в письмах, когда понадобились мне запасы его, можно сказать, чудовищной памяти во время приготовления к печати в «Отеч [ественных] записках» большой статьи

о декабристах под заглавием «Государственные преступники»¹¹. Доброжелательно и дельно писал он о своих соображениях, когда понуждался я в его совете и указаниях для Народного календаря, изданного «Товариществом Общественной пользы», и т. под.

Перевезенный из Читы в Москву, Д. И. Завалишин почувствовал себя как будто вновь на свободе, которая притом же открывала ему более обширное поле деятельности в благоприятное время всяческих реформ и в виду такого обширного района, который представлял богатый и интеллигентный город. За все это время пребывания в пределах родной страны самая энергия его, неуставающая и беспокойная, даже несомненно удвоилась. В московских письмах он постоянно жалуется на недосуг по поводу спешных и неотлагательных занятий. Особенно много трудов потребовало от него секретарство в Комитете грамотности, дела которого находились в беспорядке. «Все дела (писал Дм [итрий] Ир [инархович]) до принятия мною звания секретаря заключались в нескольких листочках протоколов, которые я мог все уложить в боковой карман». Вместе с тем он был деятельным членом и участником в комиссиях, духовной, педагогической по устройству курсов, а также по заведению фабричных школ. Одновременно он состоял членом попечительного совета о глухонемых, работал в интересах общества гувернанток, принимал большое участие в земской школе учительниц, совершенствованию которой много содействовал, не оставляя без участия и других начальных школ. Что комитетские и коммиссионные занятия не были лишь номинальными и фиктивными — служат очевидным доказательством изданные им брошюры. Одна, основанная на личном опыте и наблюдениях, трактовала «Об исправительных заведениях для малолетних преступников и порочных детей», с которой он знакомил различные судебные учреждения и городские управления, рассылая экземпляры на свои скудные средства. Другая брошюра разъясняла смысл и значение принципов Общества попечительства о раненых и больных воинах, имевшая успех и сослужившая немалую службу в Москве, когда учреждался там отдел этого Общества. Третья брошюра «О швейных машинах» явилась именно в то время, когда общественное значение их у нас не было еще оценено в надлежащей мере. Между тем автор ее старался везде в женских учебных заведениях вводить обучение работам на машинах. Все эти брошюры он охотно раздавал всем, кто не имел и малых средств к приобретению, или тем, которые могли двигать дело¹².

Случилось так и на этот раз, что нашего доброхотного старателя стали осаждать просьбами искатели мест и работы из провинциального чиновничьего пролетариата, оставшиеся за штатом и устремившиеся в то переходное тяжелое время в богатую Москву за заработком куска хлеба. Для одних оказалась помощь в доставлении работы, для других помещением детей и подготовлением взрослых в учителя и учительницы. Очень длительное участие энергический и живой Дм [итрий] Ир [инархович]

принимал в формировании образцовой школы и непосредственно — в педагогических лекциях. Мы видели его в числе распорядителей на этнографической выставке, хлопотливым деятелем в пушкинских празднествах¹³ в память великого поэта, которого Завалишин лично знал, встречая у Рылеева и с Кюхельбекерами. (...) Дм [итрий] Ир [инархович] имел полное право сказать (в одном из писем) о себе, что он «никогда еще в жизни не испытывал до сих пор ни разочарования, ни ослабления, и это потому, что не связывал никогда своей деятельности с условиями неперменного видимого успеха. Я всегда считал, что сама деятельность, самая борьба — и есть цель жизни».

РАССКАЗ БУРЯТКИ ЖИГМЫТ АНАЕВОЙ О ПРЕБЫВАНИИ М. А. и Н. А. БЕСТУЖЕВЫХ НА ПОСЕЛЕНИИ

От Торсон, когда уехала Катерина Петровна [Торсон], я перешла к Бестужевым. В это время я уже была замужем. Николай Александрович и Михаил Александрович, с женой Марией Николаевной¹, жили вместе. К ним приезжали сестры — Елена, Ольга и Мария Александровны, жили долго, но потом уехали.

Хозяйство было большое. Держали лошадей, коров, свиней, птицу (кур, уток, индеек), разводили мериносовых овец — до 1000 голов. Летом шерсть мыли на реке, сушили и куда-то отправляли. Хозяйством заведовал эконоом Тимофей Иванович. Он был и за повара, а жена его за повариху. Потом оба уехали в Россию.

При доме был большой огород и сад. В парниках выращивались арбузы и дыни. Деревца в сад привозили из лесу, но они плохо росли, хотя и поливали их.

Были мастерские — слесарная, столярная, две кузницы. В них работали русские, буряты и один еврей. Мастерскими заведовал Михаил Александрович. До него не было «сидеек». «Сидейку» придумал Михаил Александрович. И с того времени «сидейки» стали заводить буряты и русские.

Николай Александрович выполнял тонкую работу: делал часы, золотые вещи. (...) Н. А. обучал детей грамоте. У него учился Батушка Отхонов (один сын у отца), потом крестился и жил у Старцева.

Николай Александрович иногда наблюдал звезды в подзорную трубу. Труба устанавливалась на высоком месте у реки. (...)

В доме была большая библиотека. Стояло фортепиано. Иногда играл на нем Михаил Александрович. Николай Александрович не играл.

Бестужевы были очень гостеприимны. Гости бывали очень часто. «Ни на час без гостей, ни днем, ни ночью». Гости жилали дня три-четыре, а то и неделю. «Обеды, ужины, чай все время».

В старом городе (Селенгинске) стояли войска. Начальники и лекарь Петр Андреевич (Кельберг) бывали у Бестужевых каждый день. Сами Бестужевы редко ездили в старый город. Часто приезжал из Гусиноозерского дацана² хамбо (глава ламайского духовенства). <...>

Летом Бестужевы ездили в Зуй, где у них были покосы. Там держали пчел, но вскоре отправили их куда-то. Пчелы в Зуе не прижились. Мы, молоденькие, боялись их, когда они прилетали сюда. Было немного своего меду. Бестужевы ездили и на Гусиное озеро в гости в дацан и купаться. И здесь, в Нижней деревне, была у них купальня. Николай Александрович ездил на охоту.

Под вечер любили прогуливаться — по деревне и по окрестностям. «Пойдут гулять — берут с собой сахару, конфет и раздают бурятским ребятишкам. Ребятишки постоянно караулили их. Бестужевы были очень добродетельны. И кормильцы же они были: кто бы ни пришел, накормят, оденут. Бедных одевали с ног до головы. Это были боги, а не люди».

У них была домашняя аптечка. Кто бы ни захворал — бурят или русский — все обращались к Михаилу Александровичу, и он давал лекарства у себя дома и в улус³. Если надо было, давал в улус стаканы и серебряные ложки для приема лекарств.

Николай Александрович перед смертью хворал недолго и умер «в теплое время года» (в мае 1855 г.).

Михаил Александрович был женат на дочери казака Селиванова. Брат ее был казачьим офицером. Мария Николаевна была чахоточная, постоянно кашляла, сильно исхудала. Лечилась дома у лекаря Петра Андреевича (Кельберга). Лекарь бывал каждый день. <...>

После смерти Марии Николаевны⁴ Михаил Александрович «всему попустился, ни во что ни вникал», хозяйство вели Игумнов (казачий офицер), Лушниковы, Кельберг. Михаил Александрович здесь схоронил сына и дочь. Уехал с [другим] сыном⁵. Перед отъездом Михаил Александрович свое имущество разыграл в лотерею. Уезжая, М. А. сильно плакал. «Живите, не забывайте», — говорил он на прощанье. М. А. из России писал письма к Кельбергу.

I. ДЕКАБРИСТЫ И ИХ ЭПОХА

А. И. ГЕРЦЕН. О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ

Данное произведение А. И. Герцена было опубликовано в 1851 г. за рубежом на французском и немецком языках. В 1861 г. в Москве появилось его нелегальное литографированное издание на русском языке. Впервые легально на русском языке в России оно было издано в 1907 г., затем вошло в Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке (т. VI. Пг., 1919). Здесь в сокращении воспроизводится четвертая глава работы А. И. Герцена, посвященная событиям 1812—1825 гг. Текст дается по изданию: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1956. Т. VII. С. 193—201.

¹ Герцен имеет в виду следующие события: сражение 20 ноября (2 декабря) 1805 г. при Аустерлице, завершившееся победой Наполеона I над войсками австро-русской коалиции; сражение между русскими и французскими войсками при Прейсш-Эйлау (в Пруссии) 27 января (8 февраля) 1807 г. и заключенный в г. Тильзите русско-французский договор 25 июня (7 июля) 1807 г. о наступательном и оборонительном союзе, на который Россия была вынуждена пойти после проигранного сражения при Фридланде.

² Платон (П. Е. Левшин) (1737—1822) — московский митрополит.

³ ... закончиться лишь на острове св. Елены. — Имеется в виду ссылка Наполеона на остров св. Елены.

⁴ Клеменс Меттерних (1773—1859). — министр иностранных дел и канцлер, глава австрийского правительства; один из вдохновителей и организаторов возникшего в 1815 г. «Священного союза» европейских монархов.

⁵ ... высмеивал ультрамонархические проекты Бурбонов ... — Бурбоны — французская королевская династия, правившая с конца XVI в. до 1830 г. Герцен подразумевает здесь притязания французского короля Людовика XVIII (правившего в 1814—1824 гг.) на полное восстановление дореволюционных порядков во Франции. Александр I, понимая нереальность и социальную опасность подобных притязаний, не поддержал в этом Людовика XVIII.

⁶ ... разыгрывал роль конституционного короля Польши. — 15 (27) ноября 1815 г. Александр I подписал так называемый Конституционный акт Польши. Образовывалось Царство Польское (иначе оно называлось Королевство Польское), которое объявлялось соединенным с Россией личной унией (российский император являлся и королем польским), утверждалась общность внешней политики; в случае войны русские и польские вооруженные силы обязывались действовать совместно. Законодательную власть король (царь) делил с выборным сеймом, состоявшим из двух палат — Сената и Посольской избы. Царство (Королевство) Польское имело свое войско, монетную систему; польский язык объявлялся официальным в королевстве. Конституция объявляла свободу печати и вероисповеданий. Однако на практике конституция 1815 г. систематически нарушалась Александром I, а после подавления восстания 1830—1831 гг. Николай I аннулировал ее.

⁷ ... проект военных поселений.— Еще в 1809 г. Александр I поручил А. А. Аракчееву составить проект устройства военных поселений в России. Согласно этому проекту, утвержденному царем 9 ноября 1810 г., часть казенных крестьян изымалась из гражданского ведомства (Министерства финансов) и вместе с их землями передавалась в ведение Военного министерства. Первое военное поселение было создано в 1810—1811 гг. в Могилевской губернии, где был поселен Елецкий пехотный полк. В связи с начавшейся войной 1812 г. Елецкий полк был отправлен в поход и введение военных поселений было приостановлено.

Военные поселения стали вновь создаваться с 1816 г. В 1817 г. военные поселения были учреждены в Новгородской, Могилевской, Витебской, Слободско-Украинской (позже называвшейся Харьковской), Екатеринославской и Херсонской губерниях. Введение военных поселений встретило упорное сопротивление крестьян и казаков: в 1817 г. вспыхнули волнения государственных крестьян в Новгородской губернии, в 1817—1818 гг.— восстание военных поселян на р. Буге, в 1819 г.— восстание в Чугуеве.

⁸ ... вознесенной над народом милостью государей.— Герцен имеет в виду предоставление дворянского достоинства «за выслугу» выходцам из недворянских сословий согласно петровской «Табели о рангах» 1722 г. Таковых в составе российского дворянства к 1825 г. числилось 53%.

⁹ Николай Семенович *Мордвинов* (1754—1845) — граф, председатель Департамента государственной экономии в Государственном совете, видный экономист и политический деятель. Был известен своими либеральными взглядами и независимыми, смелыми суждениями. Декабристы намеряли ввести его в состав предполагаемого «Временного революционного правления». Назначенный в 1826 г. в состав Верховного уголовного суда над декабристами, Мордвинов был единственным его членом, выступившим против применения к ним смертной казни.

¹⁰ *Историк-абсолютист Карамзин ...* — Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) — русский писатель и историк. В своей «Записке о древней и новой России» и в «Истории государства Российского» доказывал необходимость и благотворность для России самодержавной власти.

¹¹ ... *Сперанский, составитель Свода законов Николая I ...* — Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839) — видный государственный деятель России. Известен своим проектом «Введения к уложению государственных законов» (1809). С именем Сперанского связаны учреждение Государственного совета (1810), преобразование министерств (1811) и издание ряда законодательных актов, вызвавших недовольство дворянства. В 1812 г. Сперанский был обвинен в «измене» и сослан под надзор полиции сначала в Нижний Новгород, затем в Пермь. В 1816 г. он был назначен пензенским губернатором, а в 1819 г.— сибирским генерал-губернатором. В 1821 г. Сперанский был возвращен в Петербург и назначен членом Государственного совета и управляющим Комиссией составления законов. Сперанский был связан со многими декабристами. Члены Северного общества надеялись включить Сперанского (как и Мордвинова) в состав Временного революционного правительства. С 1826 г. Сперанский практически руководил кодификацией законов, которой занималось II отделение с. е. и. в. канцелярии во главе с проф. М. А. Балугьянским. Под руководством Сперанского были составлены первое «Полное собрание законов Российской империи» (т. 1—45, Спб., 1830) и упоминаемый здесь Герценом «Свод законов» (т. 1—15, Спб., 1832).

¹² *Вначале общество приняло название Союза благоденствия.*— Первая тайная декабристская организация возникла в феврале 1816 г. в Петербурге и носила название «Союз спасения» или «Союз истинных и верных сынов отечества». Союз благоденствия возник в январе 1818 г. в Москве и был второй декабристской организацией.

¹³ 14 (26) сентября 1815 г. русским царем Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III в Париже была подписана Декларация, в которой говорилось, что подписавшие ее монархи, связанные «священными узами действительного и неразрывного братства», обязываются друг другу «во всяком случае и во всяком месте подавать пособие, поддержку и помощь». Так был создан реакционный «Священный союз», направленный против народов, ставящий своей задачей борьбу

с революционным и национально-освободительным движением в Европе за сохранение «легитимных» (абсолютистских) режимов. Декларация призвала присоединиться к «Священному союзу» остальные монархии Европы. В том же 1815 г. к нему присоединилась Франция, а затем и другие европейские монархии (кроме Англии, которая, формально не входя в этот союз, поддерживала его акции). «Священный союз» санкционировал подавление революций в Неаполе и Пьемонте в 1821 г. и в Испании в 1823 г. В дальнейшем углубление противоречий между европейскими державами привело к началу 1830-х годов к фактическому распаду «Священного союза».

¹⁴ *Грютли* — луг в швейцарском кантоне Ури, где в 1307 г. состоялось заключение союза кантонов Ури, Швица и Унтервальдена.

¹⁵ *Тугендбунд* (Союз добродетели) — тайная организация прусского либерального дворянства, буржуазной интеллигенции и чиновничества, возникшая 16 апреля 1808 г. с ведома прусского короля в Кенигсберге. Это была скорее не политическая, а нравственно-филантропическая организация, которая стремилась к патриотическому воспитанию народа после разгрома Наполеоном Пруссии в 1806 г. Под давлением Наполеона Тугендбунд в 1810 г. был распущен. Устав Тугендбунда и его деятельность привлекали внимание декабристов в период существования ранних декабристских обществ.

¹⁶ *Оппозиция... была консервативной.* — Герцен скорее всего имеет в виду противодействие консервативных кругов России преобразованиям Петра I.

¹⁷ ... в царствование Екатерины II ... подобно графу Панину ... — Никита Иванович Панин (1718—1783) — граф, президент Коллегии иностранных дел, воспитатель Павла I. Герцен имеет в виду составленный в 1763 г. Паниным проект «Об управлении императорского Совета и о разделении Сената на департаменты». Панин намеревался ввести дворянское аристократическое представительство, направленное на ограничение произвола самодержавной власти и влияния фаворитизма. Предлагаемый по проекту Панина Совет из шести или восьми представителей сановной аристократии должен был носить совещательный характер. Представленный Паниным по проекту доклад был подписан Екатериной II, однако вскоре она, вняв мнению сановников, что проект ведет «к умалению самодержавной власти», надорвала свою подпись на докладе, и проект остался неосуществленным.

¹⁸ ... *Пестель посетил Северное общество* ... — Имеется в виду приезд П. И. Пестеля весной 1824 г. в Петербург, где состоялись его совещания с руководством Северного общества. В результате этих так называемых «петербургских совещаний» была достигнута договоренность об объединении Северного и Южного обществ в 1826 г. на основе единой политической программы, а также был принят план вооруженного восстания, намеченного на лето 1826 г., во время предстоявшего царского смотра войск.

¹⁹ *Грахх Бабеф* (Франсуа Ноэль) (1760—1797) — французский коммунист-утопист, руководитель движения «Во имя равенства». В 1796 г. основал тайную повстанческую организацию с целью поднять народ на вооруженное выступление против Директории. Казнен Директорией в 1797 г.

²⁰ Клод Анри де Рувруа *Сен-Симон* (1760—1825) — граф, известный французский мыслитель, социалист-утопист. Взгляды и деятельность Сен-Симона оказали значительное влияние на передовую общественную мысль и распространение социалистических идей во многих европейских странах.

²¹ Франсуа Мари Шарль *Фурье* (1772—1837) — известный французский социалист-утопист. Проповедовал создание «фаланстеров» (трудовых объединений) в промышленности и сельском хозяйстве на основе коллективного труда и равного распределения материальных благ. Свой план новой организации общества Фурье изложил в «Трактате о домоводческо-земледельческой ассоциации» (т. 1—2, 1822). Учение Фурье оказало большое влияние на социальную и философскую мысль Европы и Америки.

²² ... *опытами Оуэна* ... — Роберт Оуэн (1771—1858) — английский социалист-утопист. Под «опытами» имеется в виду создание Оуэном фаланстера на прядильной фабрике в Нью-Ланарке (Шотландия), управляющим которой он был с 1800 г.

²³ *Бенжамен Анри Констан де Ребек* (1767—1830) — французский просветитель, писатель-романтик, публицист.

²⁴ Поль-Луи Курье де Маре (1772—1825) — французский писатель и публицист, филолог-эллинист и переводчик древнегреческих авторов; был убежденным противником реставрации власти Бурбонов во Франции после 1814 г., за что подвергался преследованиям.

²⁵ Вряд ли можно принять тезис Герцена о «социализме» Пестеля. Этот тезис впоследствии развивал историк В. И. Семевский, приводя в качестве аргумента пестелевский план частичной национализации земли (создание общественного земельного фонда для «производства необходимого продукта»).

²⁶ ... увлечь за собой раскольников ...— У нас нет никаких данных о том, что Пестель ставил такую задачу.

²⁷ ... в своем официальном донесении ...— Имеется в виду «Донесение Следственной комиссии» по делу декабристов, представленное Николаю I 30 мая 1826 г. Позднее «Донесение» неоднократно публиковалось в официальных изданиях в России, было переведено на французский и немецкий языки с целью ознакомить общественное мнение Европы с официальной оценкой заговора декабристов.

ИЗ «ЗАПИСОК» А. И. КОШЕЛЕВА

Александр Иванович Кошелев (1806—1883) — известный славянофил, общественный деятель, публицист, помещик-предприниматель. В молодости был близок к некоторым декабристам. Его воспоминания о декабристах воспроизводятся по изданию: Записки Александра Ивановича Кошелева (1812—1883). Берлин, 1884. С. 13—18.

¹ Алексей Андреевич Аракчеев (1769—1834) — военный министр и председатель военного департамента Государственного совета, начальник военных поселений, всесильный временщик при Александре I.

² Литературное собрание в доме М. М. Нарышкина (ныне — Гоголевский бульвар, д. 10), на котором присутствовал А. И. Кошелев, состоялось в декабре 1824 г., когда в Москву приезжал К. Ф. Рылеев, чтобы оживить деятельность московских декабристов и хлопотать об издании своих произведений.

³ Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) — русский философ-идеалист, литературный критик и публицист, известный славянофил, издатель журнала «Европеец» (1832).

⁴ Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827) — русский поэт-романтик; был близок к А. С. Пушкину и декабристам.

⁵ Николай Матвеевич Рожалин (1805—1834) — писатель и переводчик древнегреческих авторов и современных европейских писателей. Автор перевода «Страданий молодого Вертера» В. И. Гете (ч. 1—2. Спб., 1828—1829).

⁶ Пьер Ройе-Колар (1763—1845) — французский философ и политический деятель. В эпоху Реставрации (1814—1830) и позднее, в период Июльской монархии, возглавлял в палате депутатов партию «доктринеров», стремившихся примирить принципы конституционного порядка с монархической властью.

⁷ Николай Иванович Трубецкой (1796—1874) — князь, впоследствии сенатор, член Государственного совета, обер-гофмейстер.

⁸ Петр Андреевич Толстой (1769—1847) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, в 1825 г. — командующий 5-го армейского корпуса в Москве.

⁹ Алексей Федорович Малиновский (1762—1840) — начальник Московского архива иностранных дел.

¹⁰ Фабян Вильгельмович Остен-Сакен (1752—1837) — князь, фельдмаршал, главнокомандующий 1-й армии.

Петр Христианович Витгенштейн (1768—1843) — князь, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий 2-й армии.

¹¹ Алексей Петрович Ермолов (1772—1861) — генерал от артиллерии. С 1812 г. начальник всей артиллерии действующей армии. С 1816 г. командующий Отдельным Кавказским корпусом. Николай I подозревал Ермолова в связях с декабристами; последние действительно намечали ввести Ермолова в состав Временного революционного правительства. В 1827 г. Ермолов был уволен в отставку.

¹² Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775—1854) — немецкий философ-идеалист.

¹³ ... кажется, до апреля ...— Верховный уголовный суд над декабристами был учрежден манифестом 1 июня 1826 г.

¹⁴ ... и меня.— Имеются в виду члены литературно-философского кружка «Общество любомудрия» (1823—1825): В. Ф. Одоевский (глава кружка), поэт Д. В. Веневитинов, Н. М. Рожалин, В. П. Титов, С. П. Шевырев (впоследствии профессор русской словесности в Московском университете), И. В. Киреевский.

¹⁵ Официальное известие о казни декабристов было опубликовано в «Северной пчеле» 15 июля 1826 г.

¹⁶ Коронация Николая I состоялась 22 августа 1826 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. И. ГРЕЧА О ДЕКАБРИСТАХ

Николай Иванович Греч (1787—1867) — журналист, писатель и издатель. С 1812 по 1820 г.— редактор журнала «Сын Отечества», в котором сотрудничали и будущие декабристы. Был связан со многими декабристами, в молодости исповедовал либерально-оппозиционные взгляды. Впоследствии известен как реакционный издатель (совместно с Ф. В. Булгаринным) офицоза «Северная пчела». Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин — два сямские близнеца, по выражению Герцена. В VII кн. «Полярной звезды» за 1862 г. А. И. Герценом была опубликована часть мемуаров Н. И. Греча о декабристах под названием «Записки одного недекабриста». В настоящем издании эта часть записок Греча воспроизводится (с сокращениями) по кн.: Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1930. С. 428—521.

¹ Иван Борисович Пестель (1765—1843) — в 1806—1819 гг. сибирский генерал-губернатор, прославившийся жестокостью и злоупотреблениями. В 1819 г. был смещен со своего поста в результате ревизии Сибири М. М. Сперанским. Греч прав, называя И. Б. Пестеля человеком «умным, хорошо образованным», но «жестоким и неумолимым»; однако нельзя согласиться с его оценкой И. Б. Пестеля как «честного человека».

² ... подвиги Клейва, Гастина ...— Роберт Клейв (1725—1774) и Уоррен Гастингс (1737—1828), находившиеся в 50—70-е годы XVIII в. на службе Ост-Индской компании в Бенгалии, прославились жестоким обращением с местным населением.

³ Владимир Иванович Пестель (1798—1865) — младший брат П. И. Пестеля; в молодости принадлежал к Союзу благоденствия, но активного участия в нем не принимал. Николай I решил не привлекать его к следствию. Позднее В. И. Пестель — генерал-майор, херсонский и таврический губернатор, сенатор.

⁴ Владимир Федорович Адлерберг (1790—1884) — граф, в 1826 г. был прикомандирован к Следственному комитету по делу декабристов. Впоследствии Адлерберг — генерал-адъютант, начальник Департамента почт (1842—1856), министр императорского двора (1856—1870), сенатор.

⁵ Речь идет о служебных поездках П. И. Пестеля 26 февраля — 8 марта, 28 марта — 14 апреля и 18 мая — начало июня 1821 г. на турецкую границу в Бессарабию для выяснения обстановки в этом районе в связи с начавшимся восстанием греков против османского ига. Итогом этих поездок Пестеля были три обстоятельных донесения, направленных начальнику штаба 2-й армии П. Д. Киселеву и предназначенных для Александра I. В этих донесениях Пестель стремился внушить военным и дипломатическим чинам, а также и самому Александру I мысль о необходимости вооруженного вмешательства России в события на Балканах с целью поддержки греков. Этот вопрос подробно исследован Б. Е. Сыроечковским в специальной статье «Балканская проблема в политических планах декабристов» (см.: Сыроечковский Б. Е. Из истории движения декабристов. М., 1969).

⁶ Российско-Американская компания — русская купеческая торговая компания, учрежденная в 1799 г. из частных купеческих компаний в Северной Америке (на Аляске и Алеутских островах). Получила монопольное право заниматься

на этой территории промыслами, организовывать экспедиции и вести торговлю с другими странами. После продажи Россией в 1867 г. Аляски была ликвидирована (в 1868 г.).

⁷ Фаддей Венедиктович *Булгарин* (1789—1859) — реакционный журналист и писатель николаевской эпохи, автор псевдоисторических романов и повестей, осведомитель III отделения. Вместе с Н. И. Гречем издавал официозную газету «Северная пчела». До 1825 г. был связан со многими декабристами, сотрудничал в «Полярной звезде» К. Ф. Рыльева.

⁸ *Иван Матвеевич Муравьев-Апостол* (1762—1851) — отец декабристов М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов, писатель и дипломат. Посол в Гамбурге (1796—1799), вице-президент Иностранной коллегии (1800—1802), посол в Мадриде (1802—1805), в отставке с 1805 г.

⁹ ... *оказавших неповиновение.* — Речь идет о возмущении солдат гвардейского Семеновского полка в октябре 1820 г. против арачьевских порядков, насаждаемых командиром полка Е. Ф. Шварцем. С. И. Муравьев-Апостол в чине капитана командовал в то время 3-й фузilierной ротой этого полка.

¹⁰ *Алексей Николаевич Оленин* (1763—1843) — тайный советник, статс-секретарь Департамента законов Государственного совета, исполнял обязанности государственного секретаря. Директор Публичной библиотеки.

¹¹ *Жорж Жак Дантон* (1759—1794) — деятель Великой французской революции; один из вождей якобинцев. В 1793 г. создал группу («дантонисты»), поддерживавшую жирондистов, которые выступали против дальнейшего развития революции. Казнен по приговору революционного трибунала.

¹² *Августин Августинович Бетанкур* (1754—1824) — генерал-лейтенант.

¹³ ... *повесть «Амалат Бек»*... — Повесть «Аммалат-бек» была написана А. А. Бестужевым в 1831 г.; опубликована в № 1—4 «Московского телеграфа» за 1832 г. за подписью «Александр Марлинский, Дагестан, 1831».

¹⁴ Речь идет о моменте выхода из казарм солдат лейб-гвардии Московского полка на Сенатскую площадь. Этому стремились помешать полковой командир полковник Б. А. Фредерикс, командир 1-й гвардейской бригады генерал В. Н. Шеншин и полковник Московского полка П. С. Хвоцинский. Щепин-Ростовский нанес им и унтер-офицеру, препятствовавшему выносу полкового знамени, ряд сабельных ударов.

¹⁵ ... *при взятии англичанами 14 августа 1808 года корабля «Всеволод»* ... — В то время по Тильзитскому договору 1807 г. Россия состояла в наступательном и оборонительном союзе с Наполеоном и должна была присоединиться к «континентальной блокаде» Англии, следовательно, оказывалась во враждебных отношениях с Англией. Событие, о котором идет здесь речь, произошло во время конвоя русских судов с провиантом из Свеаборга до Роченсальма.

¹⁶ Имеется в виду рассказ Н. А. Бестужева «Известие о разбившемся российском бриге Фальке в Финском заливе у Толбухина маяка, 1818 года, октября 20 дня», напечатанный в «Сыне Отечества» (ч. 49, № 44 за 1818 г., с. 282—288) за подписью «...й...ъ».

¹⁷ ... *Стафировее* ... — У Греча ошибка. Речь идет о директоре службы маяков Финского залива генерал-майоре Леонтии Васильевиче Стафарьеве.

¹⁸ ... *сообщников Риго* ... — Речь идет о событиях испанской революции (1820—1823), во главе которой стоял Рафаэль Риго-и-Нуньес (1785—1823).

¹⁹ Существует множество версий о попытках погеха и обстоятельствах поимки Н. А. Бестужева, а также и о первом допросе его Николаем I в Зимнем дворце. Большинство их относится к числу легенд. Не является исключением и рассказ Н. И. Греча.

Николаю I имя Н. А. Бестужева как активного участника восстания на Сенатской площади стало известно уже вечером 14 декабря. Николай I немедленно отдал приказ о его аресте, но вскоре стало известно о бегстве Бестужева. Последовал приказ о принятии мер к розыску. Утром 15 декабря этот приказ был доставлен командиру Кронштадтского порта адмиралу Ф. И. Моллеру, который энергично взялся за розыски Н. А. Бестужева, увенчавшиеся успехом. Как доносил Моллер Николаю I, по получении приказа «отчас взяты были меры к отысканию Бестужева как в городе, так и в окрестностях, и наконец отыскан он штата кронштадтской полиции брандмейстером титулярным советником Говоровым на Кронштадтской косе в селении [Косном], в доме унтер-офицера

Белюсова, к которому пришел он, Бестужев, переодетый в тулуп». (ЦГАОР СССР, ф. 48, д. 30, л. 38).

²⁰ «Московские мартинисты», которые подверглись преследованиям в 90-х годах XVIII в.: Ф. В. Кречетов, П. А. Словцов, А. И. Клушин, В. В. Пассек, Н. И. Новиков и др.

²¹ ...*правителем дел у знаменитого барона Штейна*... — Генрих Фридрих Штейн (1757—1831) — прусский политический деятель. В 1807—1808 гг. провел в Пруссии ряд реформ, среди них — освобождение крестьян от крепостной зависимости (1807), но с сохранением некоторых феодальных повинностей. В 1813 г. Н. И. Тургенев был назначен русским комиссаром Центрального административного совета союзных правительств (России, Пруссии и Австрии), во главе которого стоял Штейн.

Центральный административный совет (Centralverwaltungsrat) занимался административным устройством упраздненного в 1813 г. Рейнского союза немецких государств.

²² Книга Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов», в которой развивались идеи английского экономиста Адама Смита, была опубликована в 1818 г.

²³ ...*словах, произнесенных им будто бы в 1825 году*... — Греч, возможно, имеет в виду произнесенные Н. И. Тургеневым слова «Президент без дальних толков», однако они прозвучали не в 1825 г., а в январе 1820 г. на совещании руководства Союза благоденствия, состоявшемся на квартире Федора Глинки. Здесь единогласно было принято решение бороться за установление в России республиканской формы правления. Сказанные Тургеневым слова свидетельствовали о его категорической поддержке данного решения.

²⁴ ...*знаменитая ревизия России*. — В тексте, скорее всего, ошибка. Речь идет о ревизии М. М. Сперанским сибирской администрации в 1819 г. Ревизия вскрыла невиданное казнокрадство и вопиющий произвол чиновников всех рангов. Вместе с иркутским губернатором Н. И. Трескиным и томским Д. В. Илличевским были преданы суду сотни чиновников.

²⁵ «Устав о ссыльных» был составлен Г. С. Батеньковым в 1820 г. по поручению М. М. Сперанского. Положения этого «Устава» были использованы Сперанским во время административной реформы 1822 г. в Сибири.

²⁶ П. В. Прокофьев — директор Российской-Американской компании в годы, когда ее делопроизводителем служил К. Ф. Рылеев.

²⁷ Алексей Федорович Орлов (1786—1861) — с 1825 г. граф, с 1856 г. князь, генерал-адъютант, старший брат декабриста М. Ф. Орлова, фаворит Николая I, которому оказал важную поддержку в подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 г., будучи в то время командиром Конногвардейского полка, в 1844—1856 гг. шеф жандармов и начальник III отделения.

²⁸ Михаил Яковлевич фон-Фок (1773—1832) в 1826—1831 гг. заведовал канцелярией III отделения, был ближайшим помощником начальника III отделения и шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. Известный своим педантизмом, фон Фок никак не отличался «человеколюбием».

²⁹ Петр Андреевич Клейнмихель (1793—1862) — при Александре I начальник штаба военных поселений; фаворит Николая I; в 1842—1855 гг. главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями. Известен жестокостью и казнокрадством.

³⁰ Федор Павлович Вронченко (1780—1852) — министр финансов (1844—1852). Современники отзываются о нем как о личности бездарной и низких моральных качеств.

³¹ Иван Никитич Скобелев (1778—1849) — генерал от инфантерии, комендант Петропавловской крепости (1839—1849).

³² ...*не мог добиться определения куда-либо*. — Штейнгель был уволен с должности правителя канцелярии А. П. Тормасова в январе 1819 г. по проискам московского обер-полицеймейстера А. С. Шульгина. Александр Петрович Тормасов (1752—1819) — генерал от кавалерии, генерал-губернатор Москвы в 1814—1819 гг.

³³ Карл Иванович Бистром (1770—1838) — генерал-лейтенант, командир л.-гв. Егерского полка, впоследствии командир Гвардейского корпуса.

Некролог «Николай Иванович Тургенев» был написан И. С. Тургеневым 17 ноября ст. ст. 1871 г. в Париже и опубликован в «Вестнике Европы» (1871, № 12). В настоящем томе текст некролога И. С. Тургенева воспроизводится по изданию: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. В 30-ти т. М., 1983. Т. 11. С. 175—183 (в сокращении).

¹ Александр Иванович Тургенев (1784—1845) — общественный деятель, археолог и литератор; друг А. С. Пушкина.

Сергей Иванович Тургенев (1792—1827) — дипломат.

² Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) — русский поэт.

³ Август Людвиг Шлёцер (1735—1809) — немецкий историк, профессор Геттингенского университета.

Арнольд Герман Геерен (1760—1842) — профессор истории Геттингенского университета. Христиан Готтлиб Геде (1774—1812) — правовед.

⁴ Вильгельм Гумбольдт (1767—1835) — известный немецкий ученый, филолог и философ, государственный деятель Пруссии, дипломат.

⁵ Цитата из Евангелия от Луки (гл. 2, стих 29). Согласно евангельскому преданию, старцу Симеону было предсказано, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа. Придя в храм в тот момент, когда младенца Христа принесли для совершения определенных обрядов над ним, Симеон взял его на руки и сказал: «Ныне отпускаеши раба твоего владыко...» Аллегорический смысл евангельского предания в данном контексте означает отпуск крепостных крестьян на свободу.

⁶ Иоанн Антонович Каподистрия (1776—1831) — граф, русский министр иностранных дел (1816—1822); президент Греции (1827—1831).

⁷ Мишель де Монтень (1533—1592) — французский философ-гуманист; проповедовал ценность человеческой личности.

⁸ ...посвятил свой последний труд... — Речь идет о брошюре Н. И. Тургенева «О нравственном отношении России и Европы» (Лейпциг, 1869).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Н. СВЕРБЕЕВА О Н. И. ТУРГЕНЕВЕ

Дмитрий Николаевич Свербеев (1799—1874) — чиновник по ведомству Министерства иностранных дел, общественный деятель, член славянофильского кружка 40-х годов. Воспоминания его о Н. И. Тургеневе здесь воспроизводятся в сокращении по изданию: Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826). М., 1899. Т. 1. С. 475—495.

¹ ...до Июльской революции... Имеется в виду революция 15 (27) июля 1830 г. во Франции, свергнувшая с престола Карла X Бурбона.

26 июля (7 августа) 1830 г. королем Франции был «избран» ставленник крупной буржуазии Луи Филипп герцог Орлеанский, представитель младшей линии Бурбонов. Вступление на французский престол Луи Филиппа, «короля баррикад», получившего власть не «по божьему соизволению», явилось сильным ударом по монархическим, «легитимным», принципам «Священного союза» и вызвало недовольство русского императора Николая I, о чем он недвусмысленно намекал в своем официальном письме к Луи Филиппу. Мемуарист имеет в виду именно это письмо.

² Александр Федорович Лабзин (1766—1825) — вице-президент Академии художеств (1818—1823). В 1823 г., когда на заседании Академии было предложено избрать в почетные академики графов Гурьева, Кочубея и Аракчеева на том основании, что они «близки к государю», Лабзин в шутку предложил избрать в почетные академики лейб-кучера Александра I Илью, который «еще ближе к государю и даже сидит впереди его». За эту выходку Лабзин был сослан в г. Сенгилей Симбирской губернии под строгий надзор полиции, где и умер в 1825 г. «Мистиком» Лабзин (как его трактует Свербеев) не был.

Александр Николаевич Голицын (1773—1844) — князь, обер-прокурор Синода, министр духовных дел и народного просвещения в 1816—1824 гг., известен как «гаситель просвещения».

Варвара-Юлия *Крюденер* (1764—1825) — баронесса; Екатерина Васильевна *Татарина* (1783—1856) — основательница «Духовного союза» (религиозной секты); в 1837 г. сослана в кашинский Сретенский женский монастырь.

Александр Семенович *Шишков* (1754—1841) — адмирал, писатель и общественный деятель; в 1813—1841 гг. президент Российской академии, в 1824—1828 гг. министр народного просвещения и главноуправляющий делами иностранных вероисповеданий. Известен своими консервативными взглядами.

Фотий, до монашества Петр Никитич Спасский (1792—1838) — архимандрит, с 1822 г. настоятель Юрьевского монастыря, был близок к Аракчееву.

³ ...издан был им вскоре по кончине брата *Александра*. — Книга Н. И. Тургенева «Россия и русские» вышла на французском языке в трех томах в 1847 г. в Париже, Гааге и Брюсселе. В 1847 г. был опубликован ее немецкий перевод. Русский перевод был издан в двух томах в 1915 г.

⁴ ...мирный конгресс в Париж... — Парижский конгресс (1856) подвел итоги Крымской войны.

⁵ ...рескриптов генерал-адъютанту *Назимову*... — Речь идет о рескрипте Александра II от 20 ноября 1857 г. генерал-губернатору литовских губерний (Виленской, Ковенской и Гродненской) В. И. Назимову об учреждении в каждой из трех губерний комитетов и общей для всех этих губерний комиссии для подготовки местных проектов «улучшения быта помещичьих крестьян». В конце 1857 — начале 1858 г. аналогичные рескрипты были даны и начальникам великорусских губерний, чем было положено начало подготовки крестьянской реформы 1861 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Н. СВЕРБЕЕВА О С. М. СЕМЕНОВЕ

Степан Михайлович Семенов (1789—1852) — титулярный советник, кандидат «этико-политических наук», экспедитор гражданской части московского военного генерал-губернатора. В 1819 г. вступил в члены Союза благоденствия и был его секретарем, член Северного общества. «За упорство в заpiresательстве при допросах» был закован в «ручные и ножные железа» с содержанием на хлебе и воде. В середине апреля 1826 г. («во уважение оказанной им откровенности в показаниях») кандалы были с него сняты. Следствие не могло собрать веских улик против Семенова, достаточных для предания его суду. Николай I приказал, продержав Семенова в крепости еще четыре месяца, отправить на службу в Сибирь и ежемесячно доносить о его поведении. С. М. Семенов служил столоначальником в Омске, Усть-Каменогорске, Туринске, с 1841 г. в должности советника губернского правления. Умер в Тобольске.

Текст воспоминаний воспроизводится по изданию: Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826). М., 1899. Т. I. С. 105—108, 274—278.

¹ Бенедикт *Спиноза* (1632—1677) — нидерландский философ-материалист и атеист. Последователь Гоббса; стремился в своих трудах создать целостную картину природы.

Томас *Гоббс* (1588—1679) — английский философ-материалист. Его основные сочинения — «Основы философии», «О теле», «О человеке», «О гражданине». Оказал значительное влияние на развитие европейской философской мысли XVIII в.

² Николай Николаевич *Сандунов* (Зандукели) (1769—1832) — ординарный профессор Московского университета, декан факультета этико-политических наук, руководитель кафедры гражданского и уголовного права, автор трудов и учебников по юриспруденции.

³ ...до порабощения его *Юлием Кесарем* и *Августом*. — Речь идет о римском диктаторе Юлии Цезаре (100 или 102 до н. э. — 44 до н. э.) и первом римском императоре Октавиане Августе (63 до н. э. — 14 н. э.; император — 27 до н. э. — 14 н. э.). Правление Цезаря и Августа знаменовало конец Римской республики.

⁴ ...наш *вольнолюбивый диспут*... — Диспут, о котором пишет Д. Н. Свербеев, состоялся в университете 3 апреля 1815 г. Связан он с защитой диссертации не Бекетова, а М. Я. Малова, впоследствии профессора Московского университета, известного своим невежеством и высокомерием (см. о «маловой истории» у А. И. Герцена в «Былом и думах», т. 1, гл. VI).

⁵ *Сергей Павлович Потемкин* (1794—?) — первый муж сестры С. П. Трубецкого, во втором замужестве Почадской.

Воспоминания неизвестного автора о М. С. Луине здесь воспроизводятся по их публикации в газете А. И. Герцена и Н. П. Огарева «Колокол» (лист 36 от 15 февраля 1859 г., с. 293—294). Возможным автором этих воспоминаний, как полагает Н. Я. Эйдельман, был племянник М. С. Лунина С. Ф. Уваров (см.: Эйдельман и Н. Я. М. С. Луин и А. И. Герцен // Герцен — мыслитель, писатель, борец. М., 1985. С. 107).

¹ ...как это с ним случалось. — Имеется в виду смотр русских войск близ Вертю, в Шампани (в 120 км. от Парижа), который состоялся в присутствии Александра I, австрийского императора Франца I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III 29 августа (10 сентября) 1815 г., а не в 1814 г., как ошибочно указывает мемуарист.

² ...дело тем покончилось. — И. Ульянов, со слов Бердяева, служившего в то время ординарцем у Константина, указывает, что инцидент произошел в начале 1813 г. при переходе русских войск через государственную границу. В рассказе указан не Конногвардейский, а Кавалергардский полк, в котором служил Луин. Поводом к коллективной отставке, как сообщает Ульянов, послужило оскорбление Константином полковника, который, вследствие ранения нарушив форму, находился в строю в шапке. Когда о коллективной отставке было доложено Константину, тот назначил смотр полку и принес извинения в своей «горячности», прибавив, что если кто остался «недоволен», то «готов дать личное удовлетворение». Обиженный полковник и офицеры заявили, что они этим удовлетворены и оставляют свое намерение об отставке. В это время вышел вперед офицер лет 19—20 и сказал: «Ваше высочество изволили сейчас предложить личное удовлетворение. Позвольте мне воспользоваться такой высокой честью». — «Ну, ты, брат, для этого слишком молод!» — ответил с улыбкой великий князь Луинну (это был он). (Окунь С. Б. Декабрист М. С. Луин. Л., 1985. С. 15). Факт этого эпизода подтверждают в своих воспоминаниях А. Е. Розен (см.: Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 91—92), перенося место действия в Петербург, и Д. И. Завалишин (см.: Завалишин Д. И. Декабрист М. С. Луин // Исторический вестник. 1880. № 1. С. 141).

³ Луин был уволен в отставку 6 октября 1815 г., подав рапорт «об отпуске по болезни» (в связи с ранением на дуэли). 10 сентября 1816 г. Луин уехал в Париж со своим другом Ипполитом Оже. В начале 1817 г., получив известие о смерти своего отца, вернулся в Россию и снова поступил на службу (ротмистром польского уланского полка). 22 января 1822 г. Луин был переведен в л.-гв. Гродненский гусарский полк, а 26 марта 1824 г. поступил адъютантом к цесаревичу Константину Павловичу — наместнику царя в Варшаве.

⁴ Луин был назван в числе деятельных членов тайного общества 23 декабря 1825 г. С. П. Трубецким. В тот же день Николай I писал Константину, что «Луин определенно принадлежит к шайке», требуя его выдачи. «Что касается меня, — писал Николай, — то в этом я вижу разгадку его поступления на службу к вам и всего усердия, которое он выказывал; ясно, что ему было поручено создать себе там положение» (Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 168). Константин доказывал невиновность Лунина. Более трех месяцев длилась переписка Николая с Константином о Луине. Луин был арестован в Варшаве 9 апреля, доставлен в Петербург 15 апреля 1826 г.

⁵ Александр Иванович Чернышев (1785—1857) — генерал-адъютант, член Следственной комиссии по делу декабристов.

⁶ Речь идет о «Полном собрании законов Российской империи», изданном в 1830—1833 гг. Это собрание, включавшее законы от «Уложения» царя Алексея Михайловича 1649 г. до начала царствования Николая I, состояло из 48 томов. В 1835 г. на основе этого собрания был издан «Свод законов Российской империи» в 15 т.

...французский уютный Кодекс... — Имеется в виду «Гражданский кодекс», изданный Наполеоном I.

⁷ ...в Англии или в Нью-Йорке. — Здесь имеется в виду статья-памфлет Лунина «Общественное движение в России в нынешнее царствование», написанная им в 1840 г. Статья не была «напечатана в Англии или в Нью-Йорке», как

ошибочно считает мемуарист. Впервые она была опубликована в кн.: Декабрист М. С. Лунин. Общественное движение в России. Письма из Сибири. М.; Л. 1926. С. 13—29.

⁸ Екатерина Сергеевна *Уварова* (1791—1868).

⁹ Лунин был арестован в с. Урик (где он находился на поселении по отбытии срока каторжных работ) в ночь на 27 марта 1841 г. вследствие доноса на него иркутского чиновника Успенского, доставившего генерал-губернатору Восточной Сибири В. Я. Руперту сочинение Лунина «Взгляд на русское тайное общество с 1816 по 1826 год». Рукопись с донесением была представлена в III отделение. Было отдано распоряжение отправить Лунина в Нерчинск, «подвергнув строгому заключению». 27 марта 1841 г. Лунин дал письменные показания в Иркутске и в тот же день отправлен в тюремный замок Акатуя, входившего в состав Нерчинского горнозаводского округа.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИППОЛИТА ОЖЕ О М. С. ЛУНИНЕ

Ипполит-Никола-Жюст Оже (1797—?) — французский писатель-романист, драматург, переводчик русских исторических романов. Его основные труды — «Психология театра» (т. 1—3, Париж, 1839—1840) и «Рассуждение о республике Сен-Марен» (Париж, 1827); известны его пьесы «Больше страха, чем беды» (1833) и «Преданность» (1834). И. Оже неоднократно бывал в России. Последняя его поездка в Россию относится к 1844 г. Первая встреча Оже с Луниным состоялась, вероятно, в 1813 г. (во всяком случае не позднее 1814 г.). В 1816—1817 гг. они вместе жили в Париже, о чем подробно пишет Оже в своих мемуарах. Свои мемуары Оже писал в конце 70-х годов, будучи уже в преклонных летах. Выдержки из мемуаров И. Оже здесь воспроизводятся по изданию: Русский архив. 1877. № 2. С. 260—271; № 4. С. 519—525, 534—541; № 5. С. 55—56. Издатель «Русского архива» П. И. Бартенев указывает, что мемуары И. Оже печатались «с неизданного французского подлинника».

¹ Мемуарные источники глухо свидетельствуют о дуэли Лунина («с каким-то поляком»), которая окончилась опасным ранением Лунина.

² Александр Христофорович *Бенкендорф* (1783—1844) — русский государственный деятель, генерал от кавалерии. С 1826 г. — шеф жандармов и начальник III отделения.

³ Пьер *Корнель* (1606—1684) — французский драматург. *Мольер* (настоящее имя — Жан Батист Поклен, 1622—1673) — французский комедиограф.

⁴ Франсуа Рене *Шатобриан* (1768—1848) — французский писатель-романик.

⁵ Филипп Филиппович *Вигель* (1786—1856) — чиновник Министерства иностранных дел, впоследствии директор Департамента иностранных исповеданий, автор мемуарных «Записок», опубликованных в 1864—1865, 1891—1893 и в 1928 гг. Богатые по содержанию, «Записки» Вигеля дают яркую характеристику эпохи и лиц конца XVIII — начала XIX в., хотя, надо отметить, автор придерживается консервативных взглядов.

⁶ Себастьян *Вобан* (1633—1707) — маршал Франции, инженер-фортификатор, реформатор фортификационного искусства; построил более 300 крепостей; в ряде случаев руководил осадой крепостей. По планам Вобана строились военные крепости в других европейских государствах.

⁷ *Христианштадт* — ныне столица Норвегии Осло.

⁸ Константин Николаевич *Батюшков* (1787—1855) — русский поэт.

⁹ Жан Пьер *Гара* (1764—1823) — французский певец и композитор.

¹⁰ Кристоф Виллибанд *Глюк* (1714—1787) — известный немецкий композитор.

¹¹ Пьетро-Джакомо *Мартелли* (1665—1727) — итальянский поэт и драматург.

¹² *Матвей Юрьевич Виельгорский* (1794—1866) — музыкант-виртуоз.

¹³ Жан Жак *Руссо* (1712—1778) — выдающийся французский философ и писатель; просветитель. Здесь имеются в виду его «опыты в композиции» (1737—1738) — сочинение песен и оперных арий.

¹⁴ Шарль *Брифо* (1781—1857) — французский поэт, писатель-драматург, автор пьес «Жан Грей», «Карл Наваррский» и др.; в 1826—1830 гг. — президент французской Академии наук.

¹⁵ Филипп Жозеф Бенжамен Бюше (1796—1865) — французский публицист и общественный деятель. В 1821 г. основал тайное общество «Французские карбонарии» с целью свержения Бурбонов. Во время Июльской революции 1830 г. учредил «Общество друзей народа»; затем организует и редактирует «Журнал моральных и политических наук» (1831—1848). Автор многочисленных социально-политических трактатов и исторических трудов.

¹⁶ Карл Август Поццо-ди-Борго (1764—1842) — граф, русский дипломат.

¹⁷ Огюстен Тьерри (1795—1856) — французский историк, основатель «романтического направления» в историографии. Наиболее известна его работа «Опыт истории происхождения и успехов третьего сословия» (1853). В 1816—1817 гг., о которых идет речь в воспоминаниях И. Оже, О. Тьерри был секретарем Сен-Симона и занимался политической публицистикой.

¹⁸ Огюст Конт (1798—1857) — французский социолог и философ, основатель позитивизма — направления в буржуазной философии, которое сводит задачи науки к так называемому «позитивному знанию», т. е. к описанию фактов и явлений.

¹⁹ ...знаменитого автора «Мемуаров»... — Имеется в виду герцог Луи де Рувруа Сен-Симон (1675—1755) — автор мемуаров (изданных в 24 томах), в которых подробно описана придворная жизнь Франции конца XVII — начала XVIII в.

Д. А. КРОПОТОВ. НЕСКОЛЬКО СВЕДЕНИЙ О РЫЛЕЕВЕ

Дмитрий Андреевич Кропотов (?—1875) — генерал-майор, военный писатель, преподаватель 1-го кадетского корпуса. Его записки содержат сведения, собранные от лиц, близко знавших К. Ф. Рылеева. Записки воспроизводятся в сокращении по их публикации в «Русском вестнике» (1863. Т. 80. № 3. С. 229—245).

¹ Отец Рылеева... — подполковник Федор Андреевич Рылеев (ум. в 1814 г. в Киеве).

² К. Ф. Рылеев родился 18 сентября 1795 г.

³ Настасье Матвеевне... — Анастасия Матвеевна Рылеева, урожденная Эссен (1758—1824).

⁴ Наталья Михайловна Рылеева, урожденная Тевяшева (1802—1853) — жена К. Ф. Рылеева. Упоминаемое здесь с. Батово Петербургской губернии было куплено в 1800 г. матерью К. Ф. Рылеева.

⁵ Рылеев был зачислен в «подготовительный класс» 1-го кадетского корпуса в Петербурге 12 января 1801 г.

⁶ Моисей Гордеевич Плисов (1783—1853) — профессор политической экономии и юриспруденции Петербургского университета (1820—1821); в результате гонений на передовую профессуру в 1821 г. вынужден был покинуть университет. С 1822 г. занимал различные посты в государственном аппарате, занимался вопросами финансов и права.

⁷ Павел Михайлович Строев (1796—1876) — известный историк и археограф, академик (с 1849 г.), член Археографической экспедиции; с его именем связано выявление и издание многих древнерусских летописей, до 3 тыс. актов XIV—XVIII вв. и других источников по истории России.

⁸ Речь идет об «Обществе любителей российской словесности», основанном 17 января 1816 г. литератором Андреем Афанасьевичем Никитиным. С 1819 г. начал выходить его журнал «Соревнователь просвещения и благотворения». Рылеев был избран сотрудником Общества 25 апреля 1821 г.

⁹ Брак Рылеева с Тевяшевой был заключен 22 января 1819 г., а не в 1820 г.

¹⁰ Анна Федоровна Рылеева (ум. в 1858 г.) — сестра К. Ф. Рылеева. После смерти отца Рылеев взял на себя все заботы о сестре. После казни брата А. Ф. Рылеева осталась без средств и жила в крайней нищете. О ней см. воспоминания декабриста Н. Р. Цебрикова (Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 227).

¹¹ Дуэль К. П. Чернова с В. Д. Новосильцовым описана в воспоминаниях декабриста Е. П. Оболенского (Мемуары декабристов. Северное общество. С. 83—85). Похороны Чернова состоялись 27 сентября 1825 г. в Петербурге и вылились

в настоящую общественную демонстрацию против всеилия аристократии. Демонстрация была организована К. Ф. Рылеевым и его друзьями. За гробом Чернова шли тысячи людей. 10 тыс. руб. было собрано на памятник Чернову. Возмущение передовых людей против аристократии выразил Рылеев в стихотворении «На смерть Чернова», которое потом служило агитационным произведением декабристов.

¹² В тот вечер на квартире Рылеева состоялось последнее совещание членов Северного общества. На нем присутствовали, кроме Рылеева, П. Г. Каховский, Н. Н. Оржицкий, В. И. Штейнгель и др. Здесь, как указывает М. В. Нечкина, декабристы договаривались, как вести себя на допросах. Рылеев поручил Н. Оржицкому тотчас же отправиться во 2-ю армию и известить Южное общество об «измене» Трубецкого и Якубовича.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О К. Ф. РЫЛЕЕВЕ ЕГО СОСЛУЖИВЦА ПО ПОЛКУ А. И. КОСОВСКОГО (1814—1818 гг.)

Автор воспоминаний — офицер конно-артиллерийской роты, в которой в 1814—1818 гг. служил К. Ф. Рылеев, написал свои воспоминания в 1849 г. Здесь они воспроизводятся в сокращении по изданию: Литературное наследство. М., 1954. Т. 59. Декабристы-литераторы. Ч. I. С. 240—249.

¹ Гавриил Романович *Державин* (1743—1816) — русский поэт, представитель классицизма.

Иван Иванович *Дмитриев* (1760—1837) — русский поэт, представитель сентиментализма.

² ...*в авангард генер[ала] Чернышева...* — В период наполеоновских Ста дней (20 марта — 22 июня 1815 г.) русские войска вновь вступили во Францию, но участия в военных действиях не принимали. Артиллерийская рота Рылеева вступила во Францию 12 апреля, а не 18 марта, как ошибочно указывает мемуарист.

³ Здесь в оригинале зачеркнуты слова: «Сделал сравнение по многим частям, причем не пожалел даже высказать много правды».

⁴ Указ «О уничтожении мasonicких лож и всяких тайных обществ» был издан 1 августа 1822 г. В нем строжайше предписывалось: «Все тайные общества, под какими бы названиями они ни существовали, как то: масонских лож или другими, закрыть и учреждения их впредь не дозволить». Все лица, находившиеся на государственной или военной службе, должны были дать подписки о непринадлежности к тайным обществам (ПСЗ. Т. XXXVIII. С. 579).

⁵ ...*вас миновали две пули и спаслись от потопления в реке...* — Имеются в виду участие Рылеева в двух дуэлях, кончившихся для него благополучно, и падение за борт лодки при переправе через Дон в 1817 г.

⁶ Федор Петрович *Миллер* — один из близких друзей К. Ф. Рылеева. После казни Рылеева оказывал поддержку его семье.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОФЕССОРА А. В. НИКИТЕНКО О К. Ф. РЫЛЕЕВЕ

Александр Васильевич Никитенко (1805—1877) — профессор Петербургского университета, цензор, редактор журнала «Современник», академик. Был крепостным графа Д. Н. Шереметева. Находясь в должности секретаря у своего владельца, Никитенко мечтал поступить в университет, но по существующим законам крепостные в университеты не допускались, а Шереметев отказывался дать ему вольную. Обращение Никитенко к влиятельным лицам за содействием не увенчалось успехом. Никитенко обратился к К. Ф. Рылееву, который энергично взялся за дело. Ему в этом содействовали Е. П. Оболенский и А. М. Муравьев. Никитенко получил вольную и в 1825 г. поступил в Петербургский университет. Широко известны ценные дневниковые и мемуарные записки А. В. Никитенко «Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетелем в жизни был». Записки и Дневник (1804—1877 гг.). Дополнением к ним служат мемуарные записки А. В. Никитенко, опубликованные в «Русской старине» (1888, № 12), содержавшие воспоминания о К. Ф. Рылееве. Текст воспоминаний о Рылееве здесь воспроизводится по этому изданию (в сокращении).

¹ Евгений Абрамович *Баратынский* (1800—1844) — известный русский поэт, друг А. С. Пушкина и К. Ф. Рылеева.

РАССКАЗЫ О РЫЛЕЕВЕ РАССЫЛЬНОГО «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Воспоминания рассыльного «Полярной звезды» Агапа Ивановича (фамилия его неизвестна) были записаны в 1869 г. издателем «Русской старины» М. И. Семевским со слов рассказчика. Автор рассказа — крепостной крестьянин Псковской губернии, отпущенный барином «на оброк» и служивший по найму у Рылеева. Текст рассказа воспроизводится в сокращении по изданию: Литературное наследство. М., 1954. Т. 59. Декабристы-литераторы. Ч. I. С. 253—255.

¹ *Женатых людей он отпускал по паспортам.* — Речь идет о крестьянах небольшого имения, доставшегося Рылееву от Малютинной.

² Николай Иванович *Уткин* (1780—1863) — художник, член Академии художеств.

³ *...в коллегии...* — Имеется в виду Российско-Американская компания.

⁴ Иван Васильевич *Слётин* (1789—1836) — петербургский книгоиздатель.

⁵ Орест Михайлович *Сомов* (1793—1833) — писатель, активный сотрудник многих периодических изданий, столоначальник Российско-Американской компании; привлекался к следствию по делу декабристов, хотя членом тайного общества не состоял; был освобожден с «оправдательным аттестатом».

⁶ Яков Иванович *Ростовцев* (1803—1860) — подпоручик л.-гв. Егерского полка (в 1825 г.); с 1835 г. начальник штаба военно-учебных заведений, член Государственного совета (с 1855 г.), член Секретного (потом Главного) комитета по крестьянскому делу (1857—1860), председатель Редакционных комиссий (1859—1860), видный деятель крестьянской реформы 1861 г. Член Северного общества декабристов (вступил в 1825 г.).

⁷ Егор Васильевич *Аладыин* (179?—1860) — литератор, издатель «Невского альманаха» (1825—1833).

⁸ *...Александр и Петр Одоевские...* Здесь ошибка рассказчика. Речь идет о А. И. Одоевском и Е. П. Оболенском.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. А. МАРКЕВИЧА О В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРЕ

Николай Андреевич Маркевич (1804—1860) — известный историк Украины, фольклорист, поэт, музыкант и издатель, друг А. С. Пушкина. В молодости писал стихи, печатавшиеся в «Невском зрителе», «Новостях литературы», «Московском телеграфе». Получил широкую известность благодаря изданию «Истории Малороссии» (т. 1—5. Спб., 1842—1843), а также «Сборника украинских песен» (1840). Его воспоминания о преподавании в пансионе при Петербургском университете (автор описывает события 1817—1820 гг.) написаны в 50-х годах. Извлечения из его воспоминаний здесь воспроизводятся по изданию: Литературное наследство. М., 1954. Т. 59. Декабристы-литераторы. Ч. I. С. 507—510.

¹ Антон Антонович *Дельвиг* (1798—1831) — русский поэт, друг Пушкина.

² Педагогический институт в Петербурге был основан в 1804 г.; преобразован в Петербургский университет в 1819 г.

³ *«И кюхельбекерно, и тошно»* — строка из дружеской эпиграммы Пушкина «За ужином обелая я» (1818).

⁴ *...«Грамматику» Жуковского, напечатанную в числе 10 экземпляров.* — В. А. Жуковский, обучая жену вел. кн. Николая Павловича Александру Федоровну русскому языку, специально для нее составил «Грамматику русского языка». Отпечатанная в 1817 г. небольшим тиражом, «Грамматика» Жуковского считалась ценной библиографической редкостью.

⁵ Александр Иванович *Галич* (1783—1848) — профессор философии, преподаватель Царскосельского лицея и Петербургского педагогического института, автор первого в России философского справочника «Лексикон философских предметов».

⁶ *Милонова сатиры...* — Имеются в виду «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения» (Спб., 1819) русского поэта Михаила Васильевича Милонова (1792—1821).

⁷ *...проза Муравьева и Тургенева...* — Имеются в виду сочинения М. Н. Муравьева (отца декабристов Никиты и Александра Муравьева) «Похвальное слово Ломоносову», «Учение истории», «Обитель предместья и Эмилевы письма» и другие, опубликованные в «Полном собрании сочинений М. Н. Муравьева» в 3-х ч. (Спб., 1819—1820) и И. П. Тургенева «О любви к отечеству», опубл. в альманахе «Утренняя заря» (кн. 3, 1805); «Обращение Дикого» (там же, кн. 4, 1806) и «Фенелон» (там же, кн. 5, 1807).

⁸ *Кирша Данилов* (Кирилл Данилов) — предполагаемый составитель свода русских былин, изданных в 1804 г. в Москве под названием «Первые русские стихотворения».

⁹ Антиох Дмитриевич *Кантемир* (1708—1744) — поэт-сатирик и переводчик античных авторов.

¹⁰ Павел Александрович *Катенин* (1792—1853) — полковник л.-гв. Преображенского полка. В 1820 г. вышел в отставку. Член Союза спасения и один из организаторов декабристского «Военного общества» (1817). К следствию по делу декабристов не привлекался. В 1833—1838 гг. служил в действующей армии на Кавказе; уволен в чине генерал-майора. Известен как поэт, критик, драматург; с 1838 г. — член Российской академии.

¹¹ Федор Николаевич *Глинка* (1786—1880) — активный участник Союза спасения и Союза благоденствия, поэт. Как «отставший» после 1821 г. от тайного общества не привлекался к судебной ответственности. По распоряжению Николая I Глинка был сослан в Петрозаводск под строгий полицейский надзор.

¹² Павел Иванович *Нащокин* (1800—1854) — друг Пушкина.

¹³ Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856) — позднее автор «Философических писем»; за публикацию первого «письма» в 1836 г. в журнале «Телескоп» подвергся репрессиям. Был членом Союза благоденствия, вышел из него в 1821 г.

¹⁴ *Левик* — Лев Сергеевич Пушкин (1805—1852).

А. О. КОРНИЛОВИЧ, ИЗДАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СБОРНИКА
«РУССКАЯ СТАРИНА» В 1824 И 1825 гг.
(РАССКАЗ ГЕНЕРАЛА ШУМКОВА)

Данные о мемуаристе отсутствуют. Рассказ Шумкова был передан издателю «Русской старины» М. И. Семевскому А. А. Карасевым (историком Дона) и опубликован в 1878 г. Рассказ здесь воспроизводится по изданию: Русская старина. 1878. № 10. С. 319—320.

¹ Училище колонновожатых было создано в 1810 г. в Москве по инициативе и на средства генерал-майора Николая Николаевича Муравьева (1768—1840) — отца декабристов А. Н. и М. Н. Муравьевых. Училище колонновожатых послужило основой для создания в 1832 г. императорской военной академии Генерального штаба. В 1816—1823 гг. из «муравьевской школы колонновожатых» вышло 24 будущих декабриста. А. О. Корнилович был принят в Училище колонновожатых в августе 1815 г. и через год выпущен из него прапорщиком по квартирмейстерской части.

² 14 февраля 1828 г. последовало распоряжение доставить Корниловича в Петербург «для истребования у него объяснений насчет некоторых его сношений, сделавшихся известными уже после высылки его в Сибирь». Поводом к этому послужил донос Ф. В. Булгарина в III отделение. Булгарин, коснувшись деятельности австрийского посла Л. Лебцельтерна и его секретаря Гумлаэра, указал на их близкие отношения с Корниловичем. Расследование не подтвердило доноса. В Петропавловской крепости Корнилович составил многочисленные записки по экономическим, торговым и административным вопросам (к сожалению, не сохранившиеся). В ноябре 1832 г. отправлен рядовым на Кавказ.

³ Василий Дмитриевич *Сухоруков* (1795—1841) — поручик л.-гв. Казачьего полка, историк Дона. В 1824 г. вместе с А. О. Корниловичем издавал альманах «Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественной истории»,

в котором опубликовал «Общежитие донских казаков в XVII—XVIII вв.». Привлекался к следствию по делу декабристов. В 1827 г. был отправлен в действующую армию на Кавказ. В 1830 г. вновь был арестован за «вольные разговоры» и отправлен в Финляндию, оттуда в 1831 г. — на Дон, а в 1834 г. — снова на Кавказ. С 1839 г. Сухоруков находился в отставке. Наиболее значительны его исторические труды: «Историческое описание Земли Войска Донского» (Новочеркасск, 1867, 1871, т. 1—2) и «Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 1822—1832 гг.» (Новочеркасск, 1891).

ЗАМЕТКИ НЕИЗВЕСТНОГО О ДЕКАБРИСТАХ (ВОСПОМИНАНИЯ О БРАТЬЯХ БЕСТУЖЕВЫХ)

Выдержки из мемуарных «заметок» неизвестного автора здесь воспроизводятся по изданию: Шукинский сборник. М., 1905. Вып. 4. С. 176—181.

¹ Василий Михайлович *Самойлов* (1782—1839) — известный оперный певец, родоначальник актерской семьи Самойловых.

² Имеются в виду сочинения Н. А. Бестужева «Об удовольствиях на море» («Полярная звезда» на 1824 г.), «Записки о Голландии 1815 года» — в «Соревнователе просвещения и благотворения» (ч. 15, 1821). «Опыт истории Российского флота» (там же, ч. 20, 1822) и другие, впоследствии изданные отдельным сборником «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева» (СПб., 1860).

³ *Мария Федоровна* (1759—1828) — жена Павла I.

⁴ Иоганн-Фридрих *Эрдман* (1778—1846) — немецкий врач-терапевт, с 1810 г. занимал кафедру терапии в Казанском, а с 1817 г. в Дерптском университетах.

⁵ ...*графа Паскевича-Эриванского полк...* — Иван Федорович *Паскевич* (1782—1856). — граф Эриванский (с 1828 г.), князь Варшавский (с 1831 г.), фельдмаршал; был близок к Николаю I. Наместник и главнокомандующий на Кавказе и наместник Царства Польского. В 1826—1828 гг. командовал русскими войсками в войне с Персией. Полк, куда был переведен А. Бестужев, носил имя фельдмаршала Паскевича.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. И. ШТУКЕНБЕРГА

Антон Иванович Штукенберг (1816—1887) — инженер путей сообщения, профессор архитектуры. Автор работ по мостостроению и железнодорожному строительству. Во время своей службы в Сибири в 30—50-е годы XIX в. встречался со многими ссыльными декабристами (в Иркутске, Селенгинске, Петровском заводе и Верхнеудинске). Дата написания им мемуаров — 1861 г. Здесь воспроизводятся выдержки из мемуаров А. И. Штукенберга по их публикации в книге: Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 362—370.

¹ Жан-Батист *Изабе* (1767—1855) — французский живописец-портретист, ученик Л. Давида, придворный живописец Наполеона I.

² Иван Сергеевич *Персин* — хирург, врач пограничного управления Иркутской области; был близок к декабристам.

³ Александр Иванович *Орлов* — медик при Кяхтинской таможне.

⁴ ...*сочинений барона Корфа...* — Имеется в виду книга М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», изданная в 1857 г. Публикация этой книги, чернившей декабристов, вызвала протест А. И. Герцена, который назвал ее «подлым произведением придворного внуха».

⁵ А. И. Якубович был сослан по распоряжению Александра I в 1818 г. в действующую армию на Кавказ за участие в качестве секунданта в дуэли Завалдовского с Шереметевым.

⁶ Рассказ Якубовича, приведенный здесь, имеет откровенно легендарный характер. Дуэль Якубовича с Грибоедовым произошла в 1818 г., когда Грибоедов еще не был женат (его женитьба на Н. А. Чавчавадзе состоялась в 1828 г., когда Якубович уже находился в Сибири).

Вячеслав Евгеньевич Якушкин (1856—1912) — внук декабриста И. Д. Якушкина, историк. Его статья «Матвей Иванович Муравьев-Апостол» написана на основе рассказов товарищей декабриста, а также и личных встреч и бесед с самим М. И. Муравьевым-Апостолом. В данном издании статья В. Е. Якушкина воспроизводится по ее публикации в «Русской старине» (1886, № 7, с. 152—170).

¹ Имеется в виду комедия И. М. Муравьева-Апостола «Ошибки, или Утро вечера мудренее», поставленная в 1793 г. в Эрмитаже и обратившая на себя внимание Екатерины II. Автор был назначен воспитателем Александра и Константина Павловичей.

² ...до 1805 года, когда при перемене нашей политики, при сближении с Наполеоном... — Здесь у В. Е. Якушкина — неточность. «Сближение» Александра I с Наполеоном имело место после заключения в 1807 г. Тильзитского мира, трактата о наступательном и оборонительном союзе между Россией и Францией.

³ Речь идет о Григории Александровиче Строганове (1769—1857), члене Государственного совета. В. Е. Якушкин ошибочно называет его Ивановичем.

⁴ ...после голландской экспедиции... — Имеется в виду совместная англо-русская военная экспедиция в Голландию в 1799 г. Поводом к ней явилась оккупация Голландии французскими войсками.

⁵ Шарль Франсуа Дюмуре (1739—1823) — генерал революционной Франции, под командованием которого французские войска одержали крупные победы над интервентами при Вальми и Жемаппе в 1792 г. В 1793 г. Дюмуре изменил революции и перешел на сторону австрийцев.

⁶ В воспоминаниях самого М. И. Муравьева-Апостола эта фраза звучит так: «Je déteste, monsieur, un homme qui est traître envers son roi et sa patrie». (Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С. 166).

⁷ В Париже братья М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы учились до 1808 г. в частном пансионе Гикса.

⁸ ...Германия была тогда во власти французов, которые вели борьбу с немецкими партизанами... — Речь идет о завоевании в 1806 г. Наполеоном немецких государств и отдельных случаях восстаний против французской оккупации. Среди них известны: крестьянское восстание в Тироле под руководством Андрея Гофера, казенного француза в 1810 г., выступления в 1809 г. в северо-германских государствах отрядов под руководством немецких офицеров Катта, Шилля и Дербурга, кончившиеся неудачей.

⁹ ...знак отличия военного ордена. — Официальное название — «Знак отличия Военного ордена Георгия». Учрежден в 1807 г. для награждения за «мужество и храбрость» солдат и унтер-офицеров и представлял собой серебряный крест на георгиевской ленте.

¹⁰ ...известно «семеновской историей» в 1820 году... — Имеется в виду волнение в октябре 1820 г. солдат лейб-гвардии Семеновского полка.

¹¹ Здесь приведены слова из воспоминаний декабриста И. Д. Якушкина.

¹² ...устав Тугендбунда послужил образцом для второго устава — Союза благоденствия... — Тугендбунд (Союз добродетели) — возникшая в апреле 1808 г. в Кенигсберге тайная организация либерального дворянства, чиновничества и буржуазной интеллигенции Пруссии. Была распущена в 1810 г. Устав Тугендбунда и его просветительская деятельность привлекли внимание декабристов, которые использовали его опыт для составления устава Союза благоденствия — «Зеленой книги».

¹³ Рескрипт Александра I фельдмаршалу Н. И. Салтыкову в связи с вторжением французских войск в Россию 12(24) июня 1812 г. оканчивался словами: «... я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».

¹⁴ Яков Алексеевич Потемкин (1781—1831) — генерал-адъютант, генерал-лейтенант; командир л.-гв. Семеновского полка; в апреле 1820 г. назначен начальником 4-й пехотной дивизии.

Григорий Ефимович *Шварц* (?—1867) — командовал Семеновским полком после Потемкина (апрель—октябрь 1820 г.).

¹⁵ ...его возмутительное обращение с солдатами. — Речь идет о статье М. И. Богдановича «Беспорядки в Семеновском полку в 1820 г.» (Вестник Европы, 1870, № 11) и книге П. И. Дирина «История лейб-гвардии Семеновского полка» (СПб., 1883).

¹⁶ Это письмо найдено вместе с бумагами у М. И. Муравьева-Апостола при аресте и содержится в его следственном деле (ВД. Т. IX. С. 207—210, французский оригинал. С. 210—212 — русский перевод). Однако не это письмо явилось «смягчающим вину обстоятельством», как полагает В. Е. Якушкин. «Ослаблением силы вины» М. И. Муравьева-Апостола, как значится в Докладе Разрядной комиссии Верховного уголовного суда, было: «В декабре 1825 года отклонял Бестужева-Рюмина от намерения отправиться в С.-Петербург для изведения царствующего государя императора, удержал Шепилова (Шепило — В. Ф.) от нанесения подполковнику Гебелю смертельного удара, признался во всем скоро и чистосердечно, изъявлял необыкновенные знаки раскаяния, хотя и после уже признания» (ВД. Т. XVII. С. 113).

¹⁷ Речь идет об открытой И. Д. Якушкиным школе в г. Ялutorовске в 1842 г.

¹⁸ Здесь издатель «Русской старины» М. И. Семевский сделал следующее примечание: «Летом 1860 г. мы еще застали Матвея Ивановича в г. Твери и провели у него, посетив этот город, целый вечер. Это был добрый, весьма словоохотливый и в высшей степени интересный старик. Особенно замечательно было его отношение к сотоварищам его по сибирской ссылке. Память их он чтит необыкновенно: стены его кабинета были покрыты множеством портретов его союзников. В 1881 г., в бытность в Москве, мы опять посетили Матвея Ивановича и нашли в нем старца, сильно уже ослабшего, но только физически».

¹⁹ «Правила» 1872 г. о печати предоставляли министру внутренних дел право запрещать розничную продажу газет, передавать дела о закрытии «неблагонадежных» органов печати не в суд, а в Комитет министров, что усиливало административный произвол и являлось отступлением от «Временных правил о печати», изданных в 1865 г.

²⁰ Николай Николаевич *Муравьев (Карский)* (1794—1866) — генерал от инфантерии. В Крымскую войну — наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказского корпуса; руководил взятием Карса (1855). Часть воспоминаний Н. Н. Муравьева-Карского, в которых говорится о войне 1812 г., была опубликована в «Русском архиве», № 10 за 1885 г. Текст «поправки» см.: Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С. 178.

Петр Иванович *Бартенев* (1829—1912) — издатель «Русского архива».

²¹ Храм Христа Спасителя был воздвигнут в Москве как памятник победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Храм был построен по проекту архитектора К. А. Тона. Его проект был утвержден в 1832 г., закладка храма состоялась в 1839 г., воздвигнут он был к 1859 г.; более 20 лет продолжалась его внутренняя отделка. Храм был освящен в 1883 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. В. КАПНИСТ-СКАЛОН О ДЕКАБРИСТАХ

Софья Васильевна Капнист (по мужу Скалон) (1797—?) — дочь писателя В. В. Капниста (1758—1823) и племянница Г. Р. Державина; близко знала братьев Муравьевых-Апостолов, М. С. Лунина, Н. И. Лорера и других декабристов. Записки ее написаны предположительно в 1858—1859 гг. Здесь воспроизводятся в сокращении по изданию: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931. Т. I. С. 337—338, 349—351, 356—359, 366—374, 390—399.

¹ В 1800 г. умер бездетным двоюродный брат Ивана Матвеевича Муравьева Михаил Данилович Апостол. Он оставил И. М. Муравьеву имение Хомузец в Миргородском уезде Полтавской губернии и взял с него клятву присоединить к своей фамилии Муравьев фамилию Апостол. На имение Хомузец претендовали другие наследники М. Д. Апостола.

Экономический дом — контора помещичьего имения (экономи).

² ...с прекрасной его дочерью... — Речь идет об Анне Ивановне (1797—?); в замужестве Хрущева.

³ ...после второй женитьбы своей... — Иван Матвеевич Муравьев-Апостол первым браком был женат на дочери сербского генерала Черноевича Анне Семеновне (1770—1810). Три его сына от первого брака, Матвей, Сергей и Ипполит, стали декабристами. Вторично И. М. Муравьев-Апостол женился в 1812 г. — на Прасковье Васильевне Грушецкой (1780—?).

⁴ Джон Филд (Филд) (1782—1837). — ирландский пианист, композитор и педагог. С 1802 г. жил в России, выезжая с концертами в Западную Европу.

⁵ Алексей Васильевич Капнист (1796—1867) — подполковник Воронежского пехотного полка, адъютант генерала Н. Н. Раевского. Член Союза благоденствия, однако активного участия в тайном обществе не принимал. 14 января 1826 г. был арестован в Киеве и находился под следствием до середины апреля. Высочайше было повелено: «освободить, вменяя арест в наказание».

⁶ Петр Николаевич Капнист (1796—1862?) — впоследствии полковник Кавалергардского полка.

⁷ Ипполит Иванович Муравьев-Апостол (1806—1826) — прапорщик квартирмейстерской части; 13 декабря 1825 г. выехал из Петербурга к назначенному ему месту службы в Тульчин, а не в Бобруйск, как указывает С. В. Капнист-Скалон; находясь в Петербурге, он, конечно, ничего не мог знать «об участии» своего брата Сергея Ивановича.

⁸ ...он женился на дочери Муравьева-Апостола. — Речь идет о Елене Ивановне.

⁹ Дмитрий Прокофьевич Троцинский (1749—1829) — статс-секретарь, член Государственного совета, министр юстиции (1814—1817).

¹⁰ Афанасий Иванович Красовский — генерал-майор, начальник штаба 4-го пехотного корпуса, стоявшего на Украине.

¹¹ Кандидатами в будущее Временное революционное правительство декабристы намерали М. М. Сперанского, Н. С. Мордвинова, А. П. Ермолова, П. Д. Киселева.

¹² А. В. Капнист впервые назван как член тайного общества в доносе А. И. Майбороды (ВД. Т. IV. С. 40). Спрошенные по этому поводу П. И. Пестель и С. И. Муравьев-Апостол отрицали принадлежность А. В. Капниста к тайному обществу (ВД. Т. IV. С. 431, 453). В материалах следственного дела М. И. Муравьева-Апостола (ВД, т. IX) имя А. В. Капниста не упоминается.

¹³ Из сыновей генерала Н. Н. Раевского к следствию привлекался только Александр Николаевич Раевский (1795—1868) — отставной полковник. Он подозревался в принадлежности к тайному обществу, но на следствии это подозрение не подтвердилось. 17 января 1826 г. Николай I приказал освободить его с выдачей «оправдательного аттестата». Через четыре дня А. Н. Раевскому было пожаловано звание камергера.

¹⁴ 12 июля 1826 г. Екатерина Ивановна Бибикина, узнав о смертном приговоре брату С. И. Муравьеву-Апостолу, отправилась в Царское Село и через И. И. Дибича подала Николаю I просьбу о свидании с братом. В прошении она молила выдать ей «его смертные останки». Характерен ответ Николая I: «Я не могу отказать ей в свидании с братом, выдать же ей его тело невозможно». Свидание состоялось на квартире коменданта Петропавловской крепости А. Я. Сукина и в его присутствии. Потрясающая сцена этого свидания описана в мемуарах Н. И. Лорера. Е. И. Бибикина упала без чувств, увидя изможденного и обросшего брата в кандалах. Сергей Иванович был спокоен, сдержан, поражен твердостью и присутствием духа, просил сестру позаботиться о старшем брате Матвее Ивановиче (см.: Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 119).

¹⁵ Лорер отправлен в Читу 28 февраля 1827 г. с Шимковым, Аврамовым и Бобирищевым-Пушкиным. В Читу прибыл в апреле 1827 г.

¹⁶ В августе 1830 г. в Петровский завод из Читы было переведено не 120, а 64 декабриста.

¹⁷ См. коммент. 9 к воспоминаниям неизвестного автора о М. С. Луние.

¹⁸ Александра Григорьевна Муравьева скончалась на Петровском заводе 22 ноября 1832 г.

¹⁹ Станислав Романович Лепарский (1754—1837) — генерал-лейтенант, комендант Нерчинских рудников и Петровского завода. Большинство декабристов

характеризует его как честного и гуманного человека. Отрицательно о нем отзывается Д. И. Завалишин.

²⁰ Александра Осиповна *Смирнова-Россет* (1810—1882) — фрейлина, писательница; известен был ее литературный салон.

²¹ Из Кургана в 1837 г. на Кавказ были отправлены Лорер, Нарышкин, Назимов, Розен и Лихарев.

²² *На Кавказе начальники любили Лорера...* — Н. И. Лорер был назначен 21 июня 1837 г. в Тенгинский пехотный полк под начальство полковника Г. Х. Засса, который покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Е. И. ЯКУШКИНА О СВОЕЙ СЕМЬЕ

Евгений Иванович Якушкин (1826—1905) — младший сын И. Д. Якушкина, подполковник Межевого корпуса, впоследствии известный юрист и этнограф, корреспондент А. И. Герцена; многие его материалы о декабристах были напечатаны в «Полярной звезде», «Колоколе» и отдельными изданиями. Здесь записки Е. И. Якушкина воспроизводятся в сокращении по изданию: *Летописи Государственного литературного музея. Декабристы*. М., 1938. Кн. 3. С. 478—482.

¹ Е. И. Якушкин родился 22 января 1826 г., а его отец был арестован 9 января 1826 г.

² *Старушка бабушка...* — Надежда Николаевна Шереметева (1775—1850), урожденная Тютчева, теща И. Д. Якушкина.

³ *Алексей Васильевич Шереметев* (1800—1857) — поручик, адъютант командира 5-го пехотного корпуса, расквартированного в 1825 г. в окрестностях Москвы, генерала графа П. А. Толстого.

⁴ *Светлое воскресенье* — пасха.

⁵ *Киреевские* — Иван Васильевич (1806—1856) и Петр Васильевич (1808—1856) — представители славянофильства. И. В. Киреевский известен как религиозный философ, литературный критик и публицист, П. В. Киреевский — археолог, фольклорист, собиратель народных песен, былин и исторических сказаний.

⁶ *Аксаковы* — семья русских славянофилов: Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писатель; его сыновья — Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, историк, лингвист и поэт, Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, общественный деятель, редактор славянофильских изданий «День», «Молва», «Москва», «Русь», «Русская беседа».

⁷ *Мой дядя...* — Алексей Васильевич Шереметев.

⁸ Петр Иванович *Колошин* (1794—1849) — подполковник, помощник директора училища колонновожатых в Москве. Член Союза спасения и Союза благоденствия. К следствию не привлекался, но состоял под полицейским надзором. С 1832 г. вице-директор комиссариатского департамента, с 1841 г. член совета министра государственных имуществ.

⁹ Речь идет о неудавшейся попытке членов Московского отделения Северного общества поднять восстание в середине декабря 1825 г.

ВОСПОМИНАНИЯ Е. И. ЯКУШКИНА ОБ И. И. ПУШКИНЕ

Здесь воспроизводятся две записки мемуарного характера Е. И. Якушкина о И. И. Пушкине — одна по изданию: *Пушкин И. И. Записки о Пушкине*. Письма (М., 1956, с. 379—382), и другая — по изданию: *Пушкин И. И. Записки о Пушкине* (СПб., 1907, с. 83—96). Е. И. Якушкин использовал личные беседы с И. И. Пушкиным, а также и его записки о Пушкине.

¹ Имеется в виду первая биография А. С. Пушкина, составленная издателем пушкинских сочинений П. В. Анненковым, — «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» (СПб., 1855).

² Имеются в виду Петр Михайлович *Волконский* (1776—1852) — генерал-фельдмаршал, министр двора (1826—1852); Павел Дмитриевич *Киселев* (1788—1872) — начальник штаба 2-й армии, министр государственных имуществ (1837—1856).

³ Речь шла о Крымской войне 1853—1856 гг. Неудачи в этой войне вследствие отсталости крепостной России, бездарности командования, рутини и казнокрадства вызвали возмущение различных общественных кругов России, но вместе с тем и вселяли надежду на коренные перемены.

⁴ Алексей Кириллович *Разумовский* (1748—1822) — попечитель Московского университета (с 1807 г.); министр народного просвещения (1810—1816).

⁵ Имеется в виду преддекабристская организация «Священная артель» (1814—1817), основанная А. Н. и М. Н. Муравьевыми и И. Г. Бурцовым. В нее входили Павел Колошин, Вильгельм Кюхельбекер, Степан Семенов, Антон Дельвиг; с «артелью» был связан молодой А. С. Пушкин (см.: Нечкина М. В. Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814—1817 гг. (Материалы к предыстории декабризма и изучению формирования молодого Пушкина) // Декабристы и их время. М.; Л., 1951. С. 155—188).

⁶ И. И. Пущин был принят И. Г. Бурцовым в Союз спасения в 1817 г.

⁷ В мемуарной и исследовательской литературе приводятся различные объяснения того, почему А. С. Пушкин не был принят в члены тайного общества декабристов. «Первая моя мысль была открыться Пушкину, — вспоминает И. И. Пущин, — он всегда согласно со мной мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня» (Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1979. С. 63). Однако, как далее пишет Пущин, мысль о принятии Пушкина в тайное общество не покидала его: «Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело, принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало почти то же, что меня пугало; образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия» (там же, с. 67). Эти колебания (желание иметь Пушкина в числе членов тайного общества и вместе с тем опасение, что «пылкость» и неосторожность Пушкина могут повредить ему и всему делу), а также боязнь за будущее гениального поэта характерны были и для других членов декабристской организации. М. С. Волконский писал впоследствии биографу Пушкина Л. Н. Майкову, что его отцу (С. Г. Волконскому) было поручено принять Пушкина в тайное общество. С. Г. Волконский, однако, не решился выполнить это поручение. «Как мне решиться было на это, — говорил он сыну, — когда ему могла угрожать плаха» (Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 162). Необходимо принять во внимание и тот факт, что Пушкин находился под бдительным надзором. Мы знаем (из свидетельства И. И. Пущина и других декабристов), что сам Пушкин неоднократно предпринимал попытки вступить в тайное общество декабристов («самое сильное нападение Пушкина» на Пущина «по поводу общества» было сделано во время литературного собрания у Н. И. Тургенева в Петербурге; подобное же «нападение» со стороны Пушкина на членов тайного общества было в имени В. Л. Давыдова в Каменке).

⁸ Иван Никитич *Инзов* (1768—1845) — генерал от инфантерии, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор.

⁹ Николай Борисович *Юсупов* (?—1831) — член Государственного совета.

¹⁰ Дмитрий Владимирович *Голицын* (1771—1844) — московский военный генерал-губернатор.

¹¹ Василий Петрович *Зубков* (1799—1862) — титулярный советник, член Московской палаты гражданского суда. Подозревался в принадлежности к декабристской организации и привлекался к следствию. Освобожден с «оправдательным

аттестатом». Впоследствии директор Демидовского лицея в Ярославле; в 1845—1855 гг. — обер-прокурор московских департаментов Сената.

¹² Александр Александрович *Алябьев* (1787—1851) — известный композитор. В 1825 г. был арестован по обвинению в убийстве одного купца, в 1828 г. сослан в Тобольск, затем в Минеральные воды и Оренбург. В середине 30-х годов возвращен в Москву. Приговор Алябьеву был судебной ошибкой.

¹³ Василий Львович *Пушкин* (1770—1830) — русский поэт.

¹⁴ ...и ничего не могут выплыть... — Член Кишиневской организации декабристов, адъютант генерала М. Ф. Орлова, Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872) в феврале 1822 г. был арестован за антиправительственную пропаганду среди солдат и заключен в Тираспольскую крепость. На следствии В. Ф. Раевский держался мужественно: несколько военно-судных комиссий не могли от него получить никаких сведений о нем и его товарищах. В 1826 г., во время следствия по делу декабристов, выявилось участие В. Ф. Раевского в тайном обществе. Николай I распорядился, не предавая Раевского суду, отправить его в сибирскую ссылку.

¹⁵ Александр Михайлович *Горчаков* (1798—1883) — лицейский друг Пушкина и Пущина. С 1817 г. — на дипломатической службе; министр иностранных дел (1856—1882), канцлер (с 1867 г.).

¹⁶ Петр Андреевич *Вяземский* (1792—1878) — поэт и публицист, литературный критик, близкий к Пушкину и декабристам; друг И. И. Пущина.

¹⁷ 22 августа 1826 г. был издан коронационный манифест, несколько сокращавший сроки каторжных работ и ссылки осужденным декабристам. Указ Верховному уголовному суду, заменивший Пущину смертную казнь пожизненной каторгой, о чем говорит Е. И. Якушкин, был дан 10 июля 1826 г.

¹⁸ Егор Антонович *Энгельгардт* (1775—1862) — директор Царскосельского лицея (1816—1822); был в дружеских отношениях с И. И. Пущиным. Сохранились его письма к сыну Пущину.

¹⁹ ...наше 19 октября... — лицейская годовщина.

²⁰ ...на наших звездносоцев... — Речь идет о лицейских товарищах, занявших впоследствии высокие посты, получивших чины и ордена.

²¹ Карл *Данзас* (1801—1870) — лицейский друг Пущина и Пушкина; секунд-дант Пушкина во время его дуэли с Дантесом.

²² Иван Васильевич *Малиновский* (1796—1873) — лицейский товарищ Пущина и Пушкина.

А. БИБИКОВА. ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

А. Библикова — правнучка декабриста Н. М. Муравьева. Ее рассказ, составленный по семейным преданиям, воспроизводится в сокращении по публикации: Исторический вестник. 1916. № 11. С. 404—426.

¹ Софья Никитична *Библикова* («Нонушка») (1826—1892) — дочь декабриста Н. М. Муравьева; замужем за И. М. Библиковым.

² Н. М. Муравьев именовал свой конституционный проект так: «Предположение для начертания устава положительного образования, когда е. и. в. благоугодно будет с помощью всевышнего учредить Славяно-Росскую империю». В декабристской мемуаристике и исследовательской литературе этот проект именуется как «Конституция Н. Муравьева».

³ Михаил Никитич *Муравьев* (1757—1807) — писатель и общественный деятель. С 1785 г. был преподавателем Александра и Константина Павловичей по словесности, истории и нравственной философии. На основе читанного им курса «Наставления в российском языке, в нравственности и словесности» издал в 1796 книгу «Опыт истории, письмен и нравочения» (в 1810 г. вышло ее второе издание). М. Н. Муравьев известен как автор «Эклоги», «Басен в стихах», «Похвального слова Ломоносову». Полное собрание его произведений в стихах и прозе издавалось в 1819, 1820, 1847 и 1857 гг. М. Н. Муравьев был назначен сенатором, а в 1803 г. — попечителем Московского университета.

⁴ Форт «Слава» находился в Финском заливе близ Роченсальма.

⁵ *Княжна Тараканова* — неизвестная авантюристка, объявившая себя в 1772 г. в Париже дочерью императрицы Елизаветы Петровны; претендовала на русский престол. В 1775 г. обманом была захвачена А. Г. Орловым в г. Ливорно, доставлена в Петербург и заключена в Петропавловскую крепость, где в том же году умерла (по официальной версии) от туберкулеза. Однако широкое распространение получила неофициальная версия, согласно которой «княжна Тараканова» погибла во время наводнения в Петербурге в 1777 г. (что и послужило сюжетом известной картины К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова»). Настоящая дочь Елизаветы Петровны и А. Г. Разумовского родилась в 1744 г. Под именем Августы Тимофеевны была отправлена Елизаветой Петровной за границу; по приказу Екатерины II в 1785 г. привезена в Россию и заключена в Ивановский монастырь в Москве, где умерла в 1810 г.

⁶ ...*ученая экспедиция, отыскивавшая магнитный полюс.* — Речь идет об экспедиции лейтенанта норвежского флота Дуэ в Восточную Сибирь в 1829 г. В Вилюйске Дуэ встречался с находившимся там в ссылке М. И. Муравьевым-Апостолом, который пишет об этом в своих мемуарах (Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С. 209, 211).

⁷ М. И. Муравьев-Апостол женился в 1832 г. на дочери священника Марии Константиновне Константиновой (1810—1883).

⁸ Имеется в виду коронационный манифест Александра II от 26 августа 1856 г., возвращавший из ссылки декабристов.

⁹ Арсений Андреевич *Закревский* (1783—1865) — в 1848—1859 гг. московский генерал-губернатор.

¹⁰ Мемуаристка неточно передает действительно имевший место случай в Петровском заводе. Он произошел в тот момент, когда А. Г. Муравьева пришла на свидание с мужем в каземат в сопровождении поручика Дубинина. Муравьева нездоровилась, она прилегла на постель мужа и сказала ему несколько французских слов. Офицер, будучи пьяным, с грубостью схватил ее за руку и потребовал говорить по-русски. Муравьева в испуге выбежала из каземата и забилась в истерике. Ее брат З. Г. Чернышев и другие находившиеся поблизости его товарищи, услышав шум, схватили Дубинина за руки. Дубинин в припадке бешенства закричал часовым, чтобы они примкнули штыки и шли к нему на помощь. З. Чернышев и его товарищи закричали, чтобы солдаты не трогались с места, ибо офицер пьян «и сам не знает, что приказывает им». Солдаты послушались их. Явился плац-майор и сменил Дубинина с дежурства. Дело, которое могло квалифицироваться как «бунт», удалось замять (см. об этом в воспоминаниях Н. В. Басаргина: Мемуары декабристов. Южное общество. С. 75—76).

¹¹ *Тацит* (58—117) — римский историк.

¹² Александр Самойлович *Фигнер* (1787—1813) — полковник, герой Отечественной войны 1812 года; командовал партизанским отрядом в период изгнания наполеоновской армии из России.

¹³ Сергей Григорьевич *Строганов* (1794—1882) — генерал-адъютант, генерал-губернатор Восточной Сибири.

¹⁴ Дмитрий Григорьевич *Левицкий* (1735—1822), Василий Андреевич *Тропинин* (1776—1857), Петр Федорович *Соколов* (1791—1848) — известные русские художники-портретисты.

З. И. ЛЕБЦЕЛЬТЕРН. ЕКАТЕРИНА ТРУБЕЦКАЯ.

Зинаида Ивановна Лебцельтерн (1805—?), урожденная Лаваль, жена австрийского посланника при русском дворе Людвига Лебцельтерна, сестра Е. И. Трубецкой. Ее мемуарные записки о своей сестре и ее муже С. П. Трубецком воспроизводятся в сокращении по публикации в журнале «Звезда» (1975, № 12, с. 181—193).

¹ ...*мать...* — Александра Григорьевна Лаваль, урожденная Козицкая, теща С. П. Трубецкого.

² Это был В. К. Кюхельбекер. Его пистолет дал осечку.

³ Карл Васильевич *Нессельроде* (1780—1862) — граф, управляющий Коллегией (позже Министерством) иностранных дел, канцлер.

⁴ *Александр Николаевич Голицын* (1773—1844) — князь, обер-прокурор Синода, министр народного просвещения (1816—1824). «Порядочность» Голицына, о которой пишет З. И. Лебцельтерн, более чем сомнительна. А. И. Голицын снискал себе славу рыного обскуранта и «гасителя просвещения», был членом Верховного уголовного суда над декабристами и требовал применения смертной казни к большинству подсудимых.

⁵ Уже в начале следствия по делу декабристов Следственный комитет занялся сверхсекретным расследованием о том, «не имели ли влияния на действия и планы злоумышленников державы иностранные?» Здесь имелось в виду выявить и влияние Австрии («по тесным связям одного из главных мятежников князя Трубецкого с бывшим посланником австрийским графом Лебцельтерном»). Однако, как говорилось в «Секретном приложении ко всеподданнейшему докладу» Следственной комиссии от 30 мая 1826 г., «по точнейшим исследованиям оказывается, что нет основательных причин питать сии подозрения» (ВД. Т. XVII. С. 65).

⁶ Здесь имеется в виду борьба Австрии с освободительным движением и вольномыслием, что было важнейшим принципом курса внутренней и внешней австрийской политики.

⁷ Поведение С. П. Трубецкого в день восстания неоднократно описывалось в исследовательской литературе. Назначенный «диктатором» (руководителем) восстания, Трубецкой, как известно, не явился на Сенатскую площадь, и восставшие остались без руководителя. Декабристы расценивали такое поведение Трубецкого как измену. Дело не в «трусости» Трубецкого, бесстрашно стоявшего под неприятельскими ядрами и пулями во многих сражениях, но, как верно отметил Д. И. Завалишин, декабристы не могли отличить «храбрость политическую от храбрости военной». Уже накануне восстания у Трубецкого возникли колебания и сомнения в успехе предпринимаемого дела. Эти колебания усилились в день 14 декабря, и, когда Трубецкой увидел, сколь незначительны силы восставших, он не решился возглавить восстание. На следствии он объяснил свое поведение стремлением «избежать кровопролития».

⁸ Иван Онуфриевич *Сухозанет* (1788—1861) — генерал-майор; в 1825 г. начальник артиллерии 1-го гвардейского корпуса.

⁹ Имеется в виду «Донесение Следственной комиссии» от 30 мая 1826 г.

¹⁰ Предписание о выезде из России Лебцельтерну было передано через датского посла (см.: Татищев С. С. Воцарение императора Николая // Русский вестник. 1893. № 3. С. 91).

¹¹ Палачами, производившими казнь декабристов, были запленных дел мастера с.-петербургской городской тюрьмы С. Карелин и Козлов.

¹² Сорвались К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский и С. И. Муравьев-Апостол.

¹³ Руководил казнью петербургский военный генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов.

¹⁴ Речь идет о Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском (1809—1881), в 1847—1861 гг. генерал-губернаторе Восточной Сибири, покровительствующем ссыльным декабристам.

МЕМУАРЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ОППОЗИЦИИ В РОССИИ (ИЗ ДНЕВНИКА С. Ф. УВАРОВА)

Автор дневника Сергей Федорович Уваров (1820—1896) — племянник М. С. Лунина (сын его сестры Е. С. Уваровой), историк. Отрывки из дневника С. Ф. Уварова здесь воспроизводятся по изданию: Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. 1975. Вып. 36. С. 142—149.

¹ Речь идет о событиях во время смотра русских войск в 1815 г. в Верту под Парижем. Об этом см. публикуемые в данном издании «Воспоминания о Луине» неизвестного мемуариста и соответствующий комментарий.

² ...покойный Сергей Михайлович... — отец М. С. Лунина.

³ Жан Лаффит (1767—1844) — французский финансист.

⁴ Возможность бежать представлялась Н. В. Басаргину, о чем он пишет в своих мемуарах (Мемуары декабристов. Южное общество. С. 36—37), И. И. Пушину (см. публикуемые здесь воспоминания о нем Е. И. Якушкина) и М. А. Фонвизину (см. публикуемые здесь воспоминания о нем М. Д. Францевой).

⁵ ...никогда не пожелала увидеть молодую француженку.— С. Ф. Уваров допускает неточность. Как видно из «Воспоминаний Полины Анненковой», она неоднократно, в 1826—1827 гг., перед своим отъездом в Сибирь, бывала в доме А. И. Анненковой — матери декабриста.

⁶ Адам Мицкевич (1798—1855) — известный польский поэт и деятель польского национально-освободительного движения.

⁷ ...Бурцову (кавказскому герою)... — Декабристу Ивану Григорьевичу Бурцову (1794—1829) Николай I первоначально определил наказание «посадить на шесть месяцев в крепость и сопроводить на службу к старшему». Но вместо назначенного срока Бурцов отбыл три месяца крепостного заключения; 19 июня 1826 г. он был освобожден и отправлен на службу в Колыванский полк. 29 января 1827 г. Бурцов был переведен на Кавказ, где сделал блестящую военную карьеру, дослужившись до чина генерал-майора. 19 июля 1829 г. в бою под Байбуртом Бурцов был смертельно ранен и вскоре скончался.

⁸ Речь идет о духовнике декабристов в Петропавловской крепости протоиерее Казанского собора Петре Николаевиче Мысловском (1777—1843) — умно проповеднике, которому удалось снискать доверие многих декабристов. Некоторые из них (например, И. Д. Якушкин) впоследствии поддерживали с ним переписку. Отрицательно относились к Мысловскому, видя в нем правительственного шпиона, Н. В. Басаргин и Д. И. Завалишин.

⁹ Имеется множество версий о словах, будто бы сказанных сорвавшимися с виселицы декабристами. Об их соответствии действительным фактам см. вступительную статью.

¹⁰ Александр Иванович Чернышев.

¹¹ Дедом З. Г. Чернышева был екатерининский фельдмаршал З. Г. Чернышев. Декабрист З. Г. Чернышев считался единственным наследником обширного имения Чернышевых. Член Следственного комитета А. И. Чернышев набивался в «родственники» к подследственному. Н. И. Лорер рассказывает, как А. И. Чернышев, увидев З. Г. Чернышева в Следственном комитете, воскликнул: «Comment, cousin vous êtes coupable aussi?» («Как, кузен, вы тоже виновны?») «Coupable, peut-être, mais cousin — jamais!» («Виновен, может быть, но кузен — никогда!») — остроумно парировал З. Г. Чернышев. (Лорер Н. И. Записки декабриста. С. 105).

¹² Михаил Иванович Пушин (1800—1864) — капитан л.-гв. конно-пионерного эскадрона, младший брат декабриста И. И. Пушина. За то, что «знал о приговоре к мятежу, но не донес», Верховным уголовным судом приговорен «к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. Д. ФРАНЦЕВОЙ О М. А. ФОНВИЗИНЕ

Мария Дмитриевна Францева (1835—1917) — дочь тобольского губернского прокурора Д. Францева, в молодости жила в семье Фонвизинных (в Тобольске и в Москве). Текст мемуаров о М. А. Фонвизине воспроизводится в сокращении по публикации в журнале «Исторический вестник» (1917, № 3, с. 696—698).

¹ Денис Иванович Фонвизин (1745—1792) — известный русский писатель-драматург и просветитель. Его комедии «Бригадир» и «Недоросль» содержат острую сатиру на помещичий быт России конца XVIII в.

² Никола Шарль Удино (1767—1847) — маршал Франции, командовал корпусом в армии Наполеона во время его нашествия на Россию в 1812 г. В 1814 г. после низложения Наполеона перешел на службу к Бурбонам и с 1815 г. был командующим парижской национальной гвардии.

³ ...белое знамя... — Имеется в виду знамя французских Бурбонов.

⁴ Данные факты не подтверждаются документальными свидетельствами.

⁵ Михаил Семенович *Воронцов* (1782—1856) — князь, генерал-фельдмаршал; в 1815—1818 гг. командир русского оккупационного корпуса во Франции, впоследствии новороссийский генерал-губернатор, наместник на Кавказе и командующий Отдельным кавказским корпусом.

⁶ Иван Иванович *Дибич* (1785—1831) — барон; с 1823 г. начальник Главного штаба, с 1829 г. генерал-фельдмаршал.

А. И. ИВАНОВ. ОДИН ИЗ ДЕКАБРИСТОВ. ГАВРИИЛ СТЕПАНОВИЧ БАТЕНЬКОВ (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОГО СИБИРЯКА)

Воспоминания жителя Томска А. И. Иванова о Батенькове были опубликованы в журнале «Книжки недели» (1898, № 11, с. 5—12); по этой публикации они и воспроизводятся в сокращении в настоящем издании.

¹ ...*Ольгу Петровну Лучшеву*. — См. коммент. 4 к воспоминаниям А. И. Лучшева «Декабрист Г. С. Батеньков» (раздел IV).

² В формулярном списке Батенькова записано: «30 того же генваря при местечке Манмирале прикрывал отступление корпуса, получил штыками десять ран, взят был в плен и находился в оном до 10 февраля» (ВД. Т. XIV. С. 33).

³ ...*о назначении Сперанского*... — Речь идет о ревизии М. М. Сперанским сибирской администрации, происходившей в 1819 г. Ревизия вскрыла невиданное казнокрадство, вопиющий произвол чиновников всех рангов. В том же году Сперанский был назначен генерал-губернатором Сибири.

⁴ Батеньков состоял членом двух масонских лож — «Восточного светила» (в Томске) и «Избранного Михаила» (в Петербурге). В Северное общество декабристов был принят в 1825 г.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУЛАТОВ (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕГО СВОДНОГО БРАТА А. М. БУЛАТОВА)

Воспоминания о А. М. Булатове его сводного брата (тоже Александра Михайловича) здесь воспроизводятся в сокращении по публикации, осуществленной А. А. Титовым в «Русской старине» (1887, № 1, с. 205—219).

¹ Отец А. М. Булатова Михаил Леонтьевич — заслуженный генерал, участник войн с Наполеоном, русско-шведской войны 1808—1809 гг. (был в шведском плену); участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии в 1813—1814 гг. В 1825 г. умер, находясь на службе в Сибири.

² Имеется в виду Александр Павлович *Башуцкий* (1803—1876) — подпоручик Измайловского полка, сын петербургского коменданта П. Я. Башуцкого.

³ Имеется в виду совещание на квартире Рылеева 13 декабря (у мемуариста ошибочно — 12), когда был выработан окончательный план восстания. А. М. Булатову назначалась роль помощника «диктатора» восстания С. П. Трубецкого.

⁴ А. Е. Розен передает следующие слова, сказанные Булатовым Николаю I на допросе: «Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от вашего величества с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас; но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало» (Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 135).

⁵ Александр Яковлевич *Сукин* (1765—1837) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, комендант Петропавловской крепости.

⁶ Николай Александрович *Исленьев* (1785—1851) — генерал-майор, командир л.-гв. Преображенского полка.

⁷ И. Д. Якушкин пишет в своих воспоминаниях о Булатове: «Перед смертью ему было дозволено свидание с двумя малолетними дочерьми, страстно им любимыми. Дочери не узнали его и ужасали от него с ужасом» (Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 69).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОФЕССОРА А. В. НИКИТЕНКО О ДЕКАБРИСТЕ В. С. НОРОВЕ

О А. В. Никитенко см. выше в комментариях к его воспоминаниям о К. Ф. Рылееве. Воспоминания А. В. Никитенко здесь воспроизводятся по публикации в журнале «Былое» (1925, № 2 (30), с. 87—88).

¹ *Авраам Сергеевич Норов* (1795—1862) — министр народного просвещения (1854—1858).

² См.: Норов В. С. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульмского боя (изд. без указания фамилии автора; СПб., 1834).

³ В. С. Норов вступил в тайное общество Союз благоденствия в 1818 г. Был после его роспуска активным членом Южного общества, участвовал в разработке так называемого «Бобруйского заговора» — плана революционного переворота путем захвата Александра I в 1823 г. в Бобруйске во время царского смотра войск. По настоянию Пестеля план не был приведен в исполнение. Участие в этом заговоре явилось главным обвинительным пунктом против В. С. Норова, который Верховным уголовным судом был отнесен ко второму разряду и приговорен к бессрочной каторге, замененной на 15-летнюю, и последующей бессрочной ссылке в Сибири. В приговоре о «силе вины» В. С. Норова значится: «Участвовал согласием в умысле на лишение в Бобруйске свободы блаженной памяти императора и принадлежал к тайному обществу со знанием цели» (ВД. Т. XVII. С. 230).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАПИСКА О СОЮЗЕ БЛАГОДЕНСТВИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ А. Х. БЕНКЕНДОРФОМ АЛЕКСАНДРУ I В МАЕ 1821 г.

Данная записка была составлена (по-видимому, в феврале — марте 1821 г.) библиотекарем гвардейского штаба М. К. Грибовским. Грибовский был завербован П. М. Волконским (начальником штаба гвардии) в октябре 1820 г. Это не был «рядовой» полицейский агент: на него были возложены организация и руководство тайной слезкой в гвардии. Грибовский входил в руководящий орган Союза благоденствия — Коренной совет, следовательно, располагал ценными для властей сведениями. Свой донос он подал через А. Х. Бенкендорфа, состоявшего в то время в должности начальника штаба гвардейского корпуса, поэтому донос получил название «Записка А. Х. Бенкендорфа». Александр I получил этот донос в конце мая 1821 г., по своему возвращении из-за границы. Текст доноса впервые опубликован (с некоторыми неточностями) в «Русском архиве» (1875, кн. 3, с. 423—430), затем Н. К. Шильдером в его книге «Император Александр Первый. Его жизнь и царствование» (М., 1898, т. IV, с. 204—215). Здесь текст записки приводится по более точной ее публикации в кн.: Декабристы. Отрывки из источников. М.; Л., 1926. С. 109—116.

¹ *Зеленая книга* — так назывался устав второй декабристской организации — Союза благоденствия (1818—1821 гг.). В сохранившейся первой части устава были изложены организационные и тактические принципы тайной организации — построение и управление в тайной организации, пути и средства формирования передового «общественного мнения» в стране, благоприятного в перспективе революционному перевороту. Несохранившаяся вторая часть устава содержала «сокровенную цель» общества. Как видно из показаний декабристов, во второй части «Зеленой книги» говорилось об уничтожении крепостного права, введении демократических свобод, ограничении монарха конституцией, введении представительного правления.

² «Общество Зеленой лампы» — полуполюгальная, «побочная» управа Союза благоденствия, основанная в 1819 г. Никитой Всеволожским, на квартире которого в Петербурге и происходили ее собрания. Известен поименно 21 «лампист», в том числе 11 человек принадлежали к тайной декабристской организации — Союзу благоденствия. В числе «лампистов» были А. С. Пушкин и его брат Л. С. Пушкин,

Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг, П. П. Каверин, М. Н. Загоскин. Это «литературное содружество», как установили исследователи, несомненно носило политический характер и действовало в духе устава Союза благоденствия (см.: Модзалевский Б. Л. К истории «Зеленой лампы» // Декабристы и их время. М., 1928. Т. 1. С. 11—61; Шеголев П. Е. «Зеленая лампа» // Шеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931; Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 239—247).

³ Самая большая надежда возлагалась на находящихся во Флоренции и на графа Воронцова, на которого действовали Тургеневы. — Возможно, здесь имеется в виду надежда на поддержку итальянских карбонарских сект и на бессарабского генерал-губернатора С. М. Воронцова, с которым были связаны братья А. И., Н. И. и С. И. Тургеневы.

⁴ ...при происшествиях в Испании и Неаполе... — Имеются в виду революции, вспыхнувшие в январе 1820 г. в Испании и в июле того же года в Неаполитанском королевстве.

⁵ Речь идет о фельдмаршале П. Х. Витгенштейне — командующем 2-й армии.

⁶ ...два Фонвизина... — Братья Иван и Михаил Александровичи Фонвизины — активные члены Союза спасения и Союза благоденствия.

⁷ Лев Александрович Перовский (1792—1856) — впоследствии министр внутренних дел.

⁸ Иван Павлович Шипов (1793—1845) — полковник л.-гв. Преображенского полка; член Союза спасения и Союза благоденствия.

⁹ Михаил Николаевич Новиков (1777—1822) — дворянский племянник известного просветителя Н. И. Новикова; автор первой республиканской (не сохранившейся) декабристской конституции. Принял в тайное общество П. И. Пестеля и Ф. Н. Глинку.

¹⁰ Александр Федорович Бригген (1792—1859) — отставной полковник; два Колошина — Петр Иванович (1794—1849) — преподаватель муравьевского училища колонновожатых; Павел Иванович (1799—1854) — титулярный советник, служащий московского губернского правления; Алексей Алексеевич Оленин (1798—1854) — штабс-капитан гвардейского Генерального штаба; Гермоген Иванович Копылов — полковник, командир конной батареи; Николай Иванович Кутузов (ум. в 1849 г.) — штабс-капитан; Иван Николаевич Горсткий (1798—1861?) — титулярный советник; Михаил Михайлович Нарышкин (1796—1863) — полковник Тарутинского пехотного полка; Михаил Матвеевич Корсаков (1800—1872) — поручик л.-гв. Гренадерского полка.

¹¹ Алексей Васильевич Шереметев — поручик лейб-гвардии Конной артиллерии (о нем см. в воспоминаниях В. Е. Якушкина и комментариях к ним).

Андрей Сергеевич Кушелев (Кушелев-Безбородко) (1800—1861) — поручик лейб-гвардии Московского полка; к декабристской организации не принадлежал, но следствие собирало о нем сведения; 22 мая 1826 г. повелено «оставить его в полку».

¹² Александр Петрович Куницын (1783—1840) — профессор Царскосельского лицея и Петербургского университета. Проповедовал идеи «естественного права» и введение конституции. В журнале «Сын Отечества» (1818, ч. 45, № 18) опубликовал статью «О конституции». Изданная им книга «Право естественное» (СПб., 1818—1819, ч. 1—2) была изъята. В 1821 г. вместе с другими прогрессивными профессорами Петербургского университета (А. И. Галичем, К. А. Арсеньевым, К. К. Германом, Э. В. Раупахом) подвергся репрессиям.

¹³ В. К. Кюхельбекер отправился за границу в качестве секретаря Л. А. Нарышкина (обер-камергера двора). В 1821 г. В. К. Кюхельбекер находился в Париже. В июне 1821 г. им была прочитана лекция в парижском либеральном обществе «Атенеи», которым руководил Бенжамен Констан. В лекции Кюхельбекер рассказал о ходе русской истории, об основных направлениях в русской литературе и о свойствах русского языка в сравнении его с французским (Литературное наследство. М., 1954. Т. 59. С. 374—380).

¹⁴ Адам Вейсгаупт (1748—1830) — последователь философии Ж.-Ж. Руссо, основатель Ордена иллюминатов (в 1776 г.) — тайной организации, ставящей своей целью практическую реализацию идеалов Просвещения. Орден иллюминатов рассматривал освобождение человечества как следствие «морального» (нравственного) «преобразования» людей и не ставил своей задачей завоевание

политической власти. Для целей конспирации использовали масонский ритуал. (О Вейсгаупте и его Ордене иллюминатов см.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований... М., 1975. С. 263—270.)

¹⁵ ...*Долгорукий и Бииков, основавшие особое общество на Охте*. — В материалах следствия никаких данных об «Обществе на Охте» не имеется.

¹⁶ Николай Иванович *Комаров* (1795—1853) — подполковник квартирмейстерской части при Главном штабе 2-й армии. Привлекался к следствию по делу декабристов не как обвиняемый, а как «свидетель». В 1826 г. назначен архангельским вице-губернатором, в 1838—1840 гг. симбирский губернатор. В 1840 г. ушел в отставку; застрелился при неизвестных обстоятельствах.

¹⁷ Имеется в виду Дмитрий Васильевич *Васильчиков* (ум. в 1859 г.) — генерал от кавалерии.

¹⁸ Имеется в виду Илларион Васильевич *Васильчиков* (1774—1847) — с 1831 г. граф, с 1839 — князь, генерал от кавалерии.

¹⁹ Библейское общество было основано в Англии в 1804 г., в России его отделение возникло в 1812 г. В 1816 г. во главе его стал министр духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицын. В 1824 г. Библейское общество было закрыто по настоянию архимандрита Фотия, ибо задевало прерогативы православной церкви. М. Ф. Орлов стремился использовать Библейское общество для пропаганды просветительских идей Союза благоденствия. Здесь имеется в виду произнесенная на одном из заседаний отделения Библейского общества речь Орлова, выдержанная в этом духе.

²⁰ Имеется в виду Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825) — граф, генерал от инфантерии; командовал корпусом в войне с Турцией (1806—1812). В Отечественную войну 1812 г. командовал авангардом при преследовании наполеоновской армии. С 1818 г. — военный губернатор Петербурга.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ, КОИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ИЛИ МНИМОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДСТВЕННОЮ КОМИССИЕЮ

По завершении следствия и суда над декабристами правителю дел Следственной комиссии А. Д. Боровкову по повелению Николая I было поручено составить краткий свод данных о всех тайных декабристских организациях, как выявленных следствием, так и не выявленных («мнимых»), но упомянутых на следствии. Составленный Боровковым свод был в мае 1827 г. представлен председателем Следственной комиссии А. И. Татищевым Николаю I. Здесь этот документ публикуется впервые с его архивного подлинника, хранящегося в ЦГАОР СССР (ф. 48, д. 332в, л. 1—20).

¹ «*Военное общество*» — полулегальная, «промежуточная» (между Союзом спасения и Союзом благоденствия) декабристская организация; возникла после роспуска Союза спасения осенью 1817 г. в Москве по инициативе А. Н. Муравьева, поэтому оно называлось также на следствии как «Общество Александра Муравьева». Оно состояло из двух «управ» (отделений), во главе которых находились А. Н. Муравьев и П. А. Катенин. Общество просуществовало около трех месяцев и прекратило свое существование к концу 1817 г. Часть его членов вошла в состав созданной в январе 1818 г. новой декабристской организации — Союз благоденствия.

² «*Общество русских рыцарей*» (или «Орден русских рыцарей») — преддекабристская организация, основанная в 1814 г. М. А. Дмитриевым-Мамоновым и М. Ф. Орловым. Дмитриевым-Мамоновым был составлен проект конституционного характера «Пункты преподаваемого во внутреннем Ордене учения», который предусматривал «упразднение рабства в России» (крепостного права), «ограничение самодержавия» конституцией, создание представительного органа из 1000 человек. В 1817 г. «Орден русских рыцарей» слился с Союзом спасения.

³ Речь идет о Московском съезде представителей управ Союза благоденствия, принявших решение о формальном роспуске этой организации с тем, чтобы освободиться от «колеблющихся» и «ненадежных» членов и создать новую, более законспирированную организацию. Мотивами принятия такого решения, помимо

возникших разногласий внутри Союза благоденствия, были и поступившие доносы на него правительству. «С самого начала съезда, — вспоминает С. Г. Волконский, — было получено из Петербурга от тамошней Думы сообщение, что правительство следит за действиями тайного общества и что будет осторожнее прекратить гласное существование общества и положить закрытие оною, а членам поодиночке действовать по цели оною. Главное побудительное основание к этому обстоятельству было сообщение Федора Глинки, который, быв адъютантом у Милорадовича, имел положительные сведения о возбужденном надзоре правительства» (Записки Сергея Григорьевича Волконского. Спб., 1902. С. 414). О том же свидетельствует и М. А. Фонвизин (см.: Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 187).

⁴ Александр Андреевич *Токарев* (?—1821) — коллежский ассессор, в 1820—1821 гг. орловский губернский прокурор; член Союза благоденствия.

⁵ Василий Лукич *Лукашевич* (1783—1866) — маршал (предводитель дворянства) Переяславского уезда, член масонской ложи «Соединенные славяне» в Киеве (1821). 25 декабря 1825 г. по доносу А. И. Майбороды Следственный комитет начал расследование о «Малороссийском обществе». В январе 1826 г. Следственный комитет допросил по поводу этого общества П. И. Пестеля, С. И. Муравьева-Апостола и других членов Южного общества. Они не могли дать каких-либо определенных сведений. 3 февраля был доставлен в Петербург и допрошен названный Майбородой как руководитель «Малороссийского общества» В. Л. Лукашевич, который категорически отрицал существование такового. Он признал лишь, что был членом масонской ложи в Полтаве. 18 февраля были допрошены подозреваемые в принадлежности к «Малороссийскому обществу» Д. И. Алексеев и С. М. Кочубей, которые также показали, что были лишь членами масонской ложи в Полтаве. Все трое были освобождены и отданы под надзор полиции. «Малороссийское общество» было признано следствием «мнимым».

⁶ Имеется в виду Петр Иванович Борисов.

⁷ Имеются в виду: штабс-капитан Черниговского полка В. Н. Соловьев и поручики того же полка А. Д. Кузьмин, И. И. Сухинов и М. А. Щепилло (Щипилла).

⁸ Речь идет о попытке создания Д. И. Завалишиным так называемого «Вселенского Ордена Восстановления истины». В основе его — концепция мирного прогресса и просветительские иллюзии о просвещенном монархе. Д. И. Завалишин написал устав «Ордена восстановления» и даже принял в создаваемое им общество несколько членов (русских и иностранцев). Осенью 1822 г. Завалишин направил из Лондона, где он остановился с русской морской экспедицией, письмо Александру I с просьбой призвать его к себе, вследствие чего по возвращении в Россию был доставлен 3 ноября 1824 г. в Петербург. По рассмотрению доставленной им записки об Ордене А. С. Шишков 3 декабря 1824 г. объявил Завалишину, что Александр I признает эту идею «неудобоисполнительною». Знакомство в январе 1825 г. с Рылевым породило у Завалишина мысль о превращении «Ордена восстановления» в революционную организацию, но эта мысль не была принята Рылевым. Об «Ордене восстановления» см.: Завалишин Д. И. Вселенский орден восстановления и мои отношения к Северному тайному обществу // Русская старина. 1882. № 1; Шатрова Г. П. Декабрист Д. И. Завалишин. Красноярск, 1984. С. 28—73.

⁹ Д. И. Завалишин, стремясь уменьшить свою вину, мистифицировал следствие, заявляя, что он уже в 1825 г. задумал донести на тайное общество правительству. Однако доставленные в Следственный комитет письма Завалишина от 20 июля и 21 августа 1825 г. к Александру I не содержат такового доноса (ВД. Т. III. С. 250—252). Это и было зафиксировано следствием.

¹⁰ Последними исследованиями доказывается факт существования такой организации (см.: Шешин А. Б. Декабристское общество в Гвардейском морском экипаже // Исторические записки. 1975. Т. 96. С. 107—127).

¹¹ В период существования Варшавского герцогства (1808—1813) и Королевства Польского (1815—1831) в Польше действовал ряд тайных политических организаций, выросших на базе масонства. Они объединяли мещанство, чиновничество, военных, мелкую шляхту, и прогрессивно настроенных магнатов. В 1819 г. возникло «Национальное масонство» во главе с Валерианом Лукасинским (1786—1868). В мае 1821 г. на его основе было организовано Польское Патриотическое общество, которое поставило своей целью свержение царизма в Польше, установление республиканского строя и отмену барщины для крестьян. Основатель

его» В. Лукасинский тогда же попытался связаться с русскими тайными обществами, но вскоре был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость. После его ареста руководство обществом перешло к умеренным элементам, и оно главной своей целью поставило восстановление независимости Польши.

Первые контакты Польского Патриотического общества с декабристами имели место в январе 1822 г. в Киеве во время съезда руководства Южного общества. Затем встречи и переговоры происходили в Киеве, Вильне, Луцке, Тульчине. Со стороны Южного общества переговоры вел М. П. Бестужев-Рюмин по инструкциям П. И. Пестеля. В 1825 г. был заключен между обоими обществами предварительный договор о взаимных действиях в предстоящем восстании.

¹² ...помещены в алфавит... — По окончании следствия и суда над декабристами делопроизводитель Следственной комиссии А. Д. Боровков по приказу Николая I составил «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17 декабря 1825 года Следственной комиссиею». В «Алфавит» были включены 545 лиц, не только представшие перед следствием, но и упомянутые в показаниях.

¹³ Впервые о «Кавказском обществе» упомянул в своих показаниях следствию 22 декабря 1825 г. предатель А. И. Майборода; при этом он ссылаясь на П. И. Пестеля. 23 декабря об этом обществе сообщил в своих показаниях С. П. Трубецкой. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Пестель дважды посылал на Кавказ членов Южного общества — в первый раз В. П. Ивашева (в 1823 г.) и во второй — С. Г. Волконского (в 1824 г.), чтобы установить связь с этим обществом. Наиболее ценные сведения дала поездка С. Г. Волконского, которому удалось войти в контакт с принадлежавшим к «Кавказскому обществу» А. И. Якубовичем (тот на следствии категорически отрицал существование этого общества, заявляя, что он вводил в заблуждение Волконского). Показания С. Г. Волконского позволяют с большой долей вероятности предположить, что «Кавказское общество» действительно существовало. Но расследование этого вопроса на заключительном этапе было прекращено по указанию Николая I из-за более чем возможной причастности к нему А. П. Ермолова. Как пишет М. В. Нечкина, специально исследовавшая этот «ермоловский вопрос», «Николай I счел опасным вести следствие о Ермолве в обычном порядке и повел дознание особым, секретным путем. У него в руках было более чем достаточно данных для ареста и допроса Ермолова. Но Ермолов был слишком крупной военной и политической фигурой, обладавшей реальной военной силой. Николай I разработал в дальнейшем план дискредитации Ермолова по военной линии, снятия его с постов и отставки» (Нечкина М. В. Следственное дело А. С. Грибоедова. М., 1982. С. 58—59). «Кавказское общество» было признано «мнимым». (См. о расследовании этого вопроса: Федоров В. А. Следствие о Кавказском тайном обществе // Литературная Грузия. 1985. № 4, С. 189—199.)

¹⁴ «Практический союз» — созданное по инициативе И. И. Пущина в январе 1825 г. в составе Московской управы общество, ставящее своей целью «личное освобождение» (членами общества) дворовых людей. Как показывал сам Пущин, «обязанность каждого члена состояла в том, чтобы непременно не иметь при своей услуге крепостных людей, если он вправе их освободить, если же он еще не управляет своим имением, то при вступлении в управление оно через пять лет должен выполнить обязанность свою» (ВД. Т. II. С. 213). В «Практический союз» входили члены Московской управы Северного общества (И. И. Пущин, М. М. Нарышкин, С. М. и А. М. Семеновы, С. Кашкин, Н. А. Тучков, И. Н. Горсткин) и не входившие в управу В. П. Зубков, П. Д. Черкасский, Б. К. Данзас, А. П. Бакунин, В. П. Пальчиков. Конкретных данных о деятельности «Практического союза» в материалах следствия и в мемуарной литературе не имеется.

II. ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА

П. А. КАРАТЫГИН. ИЗ «ЗАПИСОК»

Автор «Записок» Петр Андреевич Каратыгин (1805—1879) — актер Александринского театра в Петербурге, драматург (автор многих водевилей) и педагог.

Текст «Записок», в котором речь идет о восстании 14 декабря 1825 г., воспроизводится здесь в сокращении по изданию: Записки П. А. Каратыгина. Спб., 1880. С. 140—144.

¹ Александр Александрович *Шаховской* (1777—1846) — князь, русский писатель-драматург, руководитель петербургской драматической труппы и театрального училища, член Театрального комитета при Дирекции императорских театров, член Российской академии.

² *Любили мы с братом...* — Имеется в виду Василий Андреевич Каратыгин (1802—1853) — актер петербургского Александринского театра.

³ *Демосфен* (384—322 гг. до н. э.) — выдающийся афинский оратор и политический деятель.

⁴ *Аполлон Александрович Майков* (1761—1838) — директор Александринского театра и гофмейстер императорского двора.

⁵ Екатерина Александровна *Телешова* (1804—1857) — известная артистка балета, исполнительница главных партий в Александринском театре.

⁶ Иван Иванович *Сосницкий* (1794—1872) — комедийный актер Александринского театра.

⁷ ...о князе *Одоевском*. — Имеется в виду А. И. Одоевский.

⁸ *Фридрих Шиллер* (1759—1805) — выдающийся немецкий поэт и драматург. Известны его драмы: «Разбойники» (1780), «Коварство и любовь» (1784), «Дон Карлос» (1787), «Мария Стюарт» (1800), «Вильгельм Телль» (1804).

⁹ Андрей Андреевич *Жандр* — надворный советник, правитель канцелярии Военно-счетной экспедиции; драматург и переводчик. Арестован 16 декабря 1825 г.; освобожден за недостатком улик с «оправдательным аттестатом» 31 декабря 1825 г.

¹⁰ После разгрома восстания А. И. Одоевский действительно сначала укрылся у А. А. Жандра на Мойке. Жандр не только не выдал его явившимся сыщикам, но даже дал ему гражданскую одежду и 70 рублей денег. По-видимому, Одоевский намеревался бежать. «Я пошел в Екатерингоф, — показывал он Следственному комитету, — где купил себе тулуп и шапку, и пошел к Красному Селу». Затем он раздумал и, вернувшись в Петербург, явился к своему дяде сенатору Д. С. Ланскому (ВД. Т. II. С. 244). Как свидетельствуют мемуаристы, когда Одоевский явился к Ланскому, тот притворно обещал его спрятать, а сам немедленно дал знать полиции. Прибыл полицеймейстер В. С. Шульгин, которому и был выдан Одоевский (Из воспоминаний петербургского старожила // Исторический вестник. 1904. № 2).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КНЯЗЯ А. М. ГОРЧАКОВА

Об А. М. Горчакове см. в комментариях к воспоминаниям Е. И. Якушкина об И. И. Пущине.

Текст воспоминаний А. М. Горчакова о 14 декабря 1825 г. здесь воспроизводится в сокращении по изданию: Русская старина. 1883. № 10. С. 164—167.

¹ *Дмитрий Владимирович Голицын* (1771—1844) — князь, генерал от кавалерии, московский военный генерал-губернатор.

² *Алексей Алексеевич Бобринский* (1800—1868) — граф, впоследствии гофмейстер императорского двора.

³ А. М. Горчаков с 1817 г. находился на дипломатической службе в Лондоне.

⁴ Здесь неточно переданы сказанные накануне восстания А. И. Одоевским слова: «О нас в истории страницы напишут».

Я. И. РОСТОВЦЕВ. ОТРЫВОК ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ 1825 И 1826 ГОДОВ

Яков Иванович Ростовцев (1803—1860) — в 1825 г. подпоручик лейб-гвардии Егерского полка. 12 декабря 1825 г. сделал донос Николаю Павловичу о готовящемся восстании в день его вступления на престол. О своем доносе Ростовцев в тот же день сообщил членам тайного общества. Об этом доносе и рассказывает Ростовцев в своих воспоминаниях (составленных им, судя по всему, в конце

50-х годов). Текст воспоминаний воспроизводится в сокращении по изданию: Русский архив. 1873. Кн. 1. Стлб. 449—485.

¹ *Выезды Оболенского...* — Ростовцев имеет в виду многочисленные совещания членов тайного общества, в которых принимал участие Е. П. Оболенский.

² Андрей (не Александр, как в тексте) Петрович Сапожников (1795—1855) — живописец-любитель; служил по инженерной части.

³ Константин Маркович *Ивелич* (1798—1837) — поручик л.-гв. Саперного батальона, старший адъютант командира 2-й гвардейской дивизии — великого князя Николая Павловича.

⁴ *...отвергшему корону...* — Ростовцев имеет в виду присягу Николая цесаревичу Константину Павловичу, что означало «отказ» принять корону, предназначенную Николаю по завещанию Александра I.

⁵ См. публикацию текста записки-доноса Ростовцева в книге: Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Спб., 1903. Т. 1. С. 256—258. В этой публикации, как и в воспоминаниях Ростовцева, опущена следующая важная фраза: «Государственный совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас; военные поселения и Отдельный Кавказский корпус решительно будут против» (ЦГАОР СССР, ф. 48, д. 3, л. 2 — подлинник доноса Я. И. Ростовцева).

⁶ *...ехать с Карлом Ивановичем к присяге...* — Имеется в виду Карл Иванович Бистром (1770—1838) — генерал-лейтенант; Я. И. Ростовцев, как и Е. П. Оболенский, был его адъютантом.

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА О 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. (ВОСПОМИНАНИЯ А. П. БУТЕНЕВА)

Аполлинарий Петрович Бутенев (1787—1866) — дипломат, член Государственного совета. Текст его воспоминаний о 14 декабря 1825 г. воспроизводится в сокращении по публикации С. В. Житомирской: Исторический архив. М., 1951. Т. VII. С. 20—38.

¹ *...со знаком на груди...* — Имеется в виду знак военного ордена.

² *...посвятил свою поездку в Ревель...* — Имеется в виду книга А. А. Бестужева «Поездка в Ревель», опубликованная в 1821 г., в которой автор возносит похвалы Л. В. Спафарьеву.

³ А. А. Бестужев поступил в л.-гв. Драгунский полк в 1816 г., произведен в поручики этого полка в марте 1820 г., в январе 1825 г. — в штабс-капитаны. Одновременно (с 1822 г.) состоял адъютантом А. Вюртембергского.

⁴ Федор Гаврилович *Вишневский* (1798—1863) — лейтенант Гвардейского экипажа, участник восстания 14 декабря. Приговором суда разжалован в солдаты.

⁵ А. П. Бутенев ошибается: ни один из солдат Финляндского полка, занимавшего нейтральную позицию, не присоединился к восставшим на Сенатской площади. Автор приуменьшает число восставших солдат и матросов, их в действительности собралось свыше 3 тыс. человек.

⁶ *...вознамерившихся действовать сначала в другом месте...* — Речь идет о роте лейб-гренадер, предводительствуемой поручиком Н. А. Пановым, который сначала хотел овладеть Зимним дворцом, но, войдя во двор дворца и увидя батальон охранявших его саперов, повернул обратно и направился на Сенатскую площадь.

⁷ Александр Львович *Воинов* (1770—1832) — генерал-лейтенант, в 1825 г. командующий гвардейским корпусом.

⁸ Степан Степанович *Стрекалов* (1782—1856) — генерал-майор; состоял в свите Николая I; Николай Фаддеевич *Воропанов* (?—1829) — генерал-майор, командир л.-гв. Финляндского полка.

⁹ Павел Петрович *Мартынов* (1782—1838) — генерал-майор, командир 3-й гвардейской пехотной бригады.

¹⁰ *Времена Гермогенов, Никонов невозвратны!* — Гермоген (1530—1612) — патриарх всея Руси (1606—1612). В декабре 1610 г. разослал грамоты по русским городам с призывом к восстанию против польских интервентов. Никон (Никита Минов) (1605—1681) — патриарх всея Руси (1652—1658), провел церковную реформу в 1654 г. Из-за разногласий с царем Алексеем Михайловичем был лишен патриаршего престола, а в 1667 г. сослан в Кирилло-Ферапонтов монастырь.

¹¹ Николай Александрович *Исленьев* (1785—1851) — генерал-майор, командир л.-гв. Преображенского полка; Сергей Павлович *Шипов* (1785—1851) — генерал-майор, командир л.-гв. Семеновского полка и одновременно командир 2-й гвардейской пехотной бригады.

¹² В действительности дело обстояло иначе. См. далее воспоминания А. П. Башуцкого, который сообщает, что тщетно пытался призвать кого-либо на помощь к упавшему губернатору.

¹³ Дмитрий Иванович *Лобанов-Ростовский* (1758—1838) — генерал-прокурор, министр юстиции.

¹⁴ Михаила Павловича, пытавшегося «уговоривать» матросов, предложил В. К. Кюхельбекеру «ссадить» из пистолета И. И. Пущин, но пистолет дал осечку. Вокруг этого эпизода сложилась легенда, ставшая официальной версией, о «спасении» Михаила тремя матросами (Сафоном Дорофеевым, Матвеем Федоровым и Алексеем Куроптевым), которые будто бы выбили пистолет из рук Кюхельбекера. Эта официальная версия разоблачена А. Е. Пресняковым и М. В. Нечкиной (см.: Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года М., 1926. С. 126—127; Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. С. 275).

¹⁵ Переговоры Михаила Павловича с восставшими не имели ни малейшего успеха. «Солдаты, подстрекаемые нами, заглушали слова великого князя Михаила Павловича», — показывал на следствии А. А. Бестужев.

¹⁶ Михаил Федорович *Чихачев* (1786—?) — обер-полицеймейстер Петербурга.

¹⁷ Мемуарист допускает здесь неточность. Начальник Главного штаба Иван Иванович Дибич в это время находился еще в Таганроге.

Константин Маркович Ивелич служил старшим адъютантом при Николае Павловиче, а не при генерале К. И. Бистроме.

ИЗ РАССКАЗА И. Я. ТЕЛЕШЕВА О 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Иван Яковлевич Телешев — чиновник Департамента разных податей и сборов Министерства финансов. Его рассказ здесь воспроизводится по публикации Б. Е. Сыроечковского (Красный архив. 1925. № 6 (13). С. 285—288).

¹ Об отношении Н. М. Карамзина к событиям 14 декабря 1825 г. см. в публикуемом здесь его письме к И. И. Дмитриеву.

РАССКАЗ Н. С. ГОЛИЦЫНА О ДНЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Николай Сергеевич Голицын (1809—1892) — в 1825 г. прапорщик Генерального штаба, позже профессор военной истории и статистики, директор Училища правоведения. Его рассказ воспроизводится по публикации: Записки князя Н. С. Голицына // Русская старина. 1880. № 11. С. 603—612.

¹ *Фас каре* — одна из сторон боевого построения войск четырехугольником (каре).

² *Иподьякон* — младший дьякон при архиерее, служба.

³ Осип Осипович *Вельо* (Велио) (1795—1857) — полковник Конногвардейского полка.

⁴ Илья Модестович *Бакунин* (1800—1841) — поручик л.-гв. 1-й артиллерийской бригады; командовал 1-й артиллерийской легкой ротой во время расстрела восставших 14 декабря 1825 г.

⁵ М. А. Милорадович умер в 3 часа утра 15 декабря в казармах Конногвардейского полка.

⁶ Степан Федорович *Апраксин* (1792—1862) — полковник Кавалергардского полка, позднее — генерал-лейтенант.

РАССКАЗ АКТЕРА БОРЕЦКОГО О ДНЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Иван Петрович Пустошкин (по сцене Борецкий) (1795—1842) — актер Александринского театра. У него после разгрома восстания нашел убежище

Е. П. Оболенский. 15 декабря Борецкого арестовали по подозрению в принадлежности к тайному обществу, но в тот же день после первого допроса он был освобожден. Рассказ Борецкого адресован М. А. Бестужеву и воспроизводится здесь в передаче последнего по изданию: Воспоминания Бестужевых. Пг., 1917. С. 127—130.

¹ Имеется в виду Н. К. Стюрлер, смертельно раненный в день восстания 14 декабря.

ИЗ ЗАПИСОК НИКОЛАЯ I О ВСТУПЛЕНИИ ЕГО НА ПРЕСТОЛ

Мемуары Николая I были написаны им в 1831—1848 гг. Частично опубликованы Н. К. Шильдером в его книге «Император Николай Первый...» (т. I, с. 122—123, 148—150, 155) и П. Е. Щеголевым в журнале «Былое» (1907, № 10). Полный текст той части воспоминаний, где говорится о вступлении Николая I на престол и восстании 14 декабря 1825 г., опубликован по оригиналу Б. Е. Сыроечковским в сборнике «Междоусарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи» (М.; Л., 1926. С. 9—36). Здесь воспроизводится часть этих записок (с. 21—35).

¹ ...*Александра Николаевича*... — Имеется в виду сын-наследник, будущий Александр II.

² Еще летом 1819 г. Александр I предупредил брата Николая и его жену о том, что они «призываются в будущем к императорскому сану». При этом он ссылаясь на «упадок» своих сил, который может побудить его отказаться от престола, и «семейные обстоятельства», которые лишают возможности его и следующего по старшинству брата — Константина — обеспечить продолжение династии по прямой линии. У Николая уже был сын, родившийся 17 апреля 1818 г. — будущий Александр II. Что же касается «воцарения» самого Константина, то в мае 1820 г. он получил от Александра I разрешение вступить вmorganaticкий брак с польской дворянкой Иоанной Грудзинской (получившей титул княгини Лович), но при этом Александр потребовал от брата отказа от своих прав на российский престол. 14 января 1822 г. Константин составил письмо, проредактированное самим Александром I. В нем Константин «просил» Александра передать свое право на наследование престола тому, кому оно «принадлежит после него». Свое «согласие» Александр сформулировал также в форме письма к Константину от 2 февраля того же года. 16 августа 1823 г. по поручению Александра I московским епархиальным архиереем Филаретом был составлен манифест о передаче прав на престол Николаю. Манифест с письмами Константина и Александра в запечатанном пакете был передан Филарету для хранения в Успенском соборе Московского Кремля. Затем, по совету Филарета, Александр I приказал снять копии со всех трех документов. Копии, заверенные Александром I, были запечатаны в другие три пакета и сданы на хранение в Синод, Сенат и Государственный совет. В случае смерти Александра I надлежало в экстренных заседаниях Синода, Сената и Государственного совета вскрыть пакеты «прежде всякого другого действия», что и было исполнено 27 ноября 1825 г., когда в Петербурге было получено известие о смерти императора Александра I. Основываясь на этом завещании-манифесте Александра I, Николай доказывал свои права на престол. Петербургский генерал-губернатор Милорадович резонно заявил, что если бы Александр I действительно думал оставить Николая своим наследником, то при своей жизни опубликовал бы соответствующий манифест, а не опубликованный — не имеет юридической силы, к тому же и нарушает изданный 5 апреля 1797 г. Павлом I закон о престолонаследии. Гвардия может воспринять попытку Николая вступить на престол как узурпацию власти. При сложившихся обстоятельствах Николай вынужден был присягнуть Константину и привести к присяге гвардию, двор, Сенат, Синод, Государственный совет. Для воцарения Николая теперь необходимо было официальное отречение Константина, находившегося тогда в Варшаве. Константин получил известие о смерти Александра I 25 ноября, собрал своих приближенных и сообщил, что отрекается от престола в пользу Николая согласно обещанию, данному покойному брату. Однако официального своего отречения от престола Константин не объявлял. Так создалась обстановка междоусарствия, длившаяся до 14 декабря 1825 г. 12 декабря Николай из поступивших к нему доносов узнал о заговоре декабристов и решил немедленно, не ожидая

официального отречения Константина от престола, объявить себя императором. 13 декабря был составлен и манифест о восшествии Николая на престол. Назначен был день присяги новому царю — 14 декабря.

³ Александр Иванович *Нейдгардт* (1784—1845) — генерал-майор, в 1825 г. был начальником главного штаба Гвардейского корпуса.

⁴ ...*Шеншин* и *Фредерикс тяжело ранены*... — Речь идет о тяжелых ранах саблей, которые нанес штабс-капитан л.-гв. Московского полка Д. А. Шепин-Ростовский командиру 1-й гвардейской пехотной бригады В. Н. Шеншину и командиру Московского полка генерал-майору П. А. Фредериксу, пытавшимся воспрепятствовать выходу Московского полка на Сенатскую площадь.

⁵ Василий Алексеевич *Перовский* (1794—1857) — полковник л.-гв. Измайловского полка; в 1825 г. — адъютант Николая Павловича. Владимир Федорович *Адлерберг* (1791—1884).

⁶ Александр Александрович *Кавелин* (1793—1850) — полковник л.-гв. Измайловского полка, адъютант Николая Павловича.

⁷ *Рейткнехт* — нижний чин, назначенный за уходом офицерских лошадей.

⁸ *Илларион Михайлович Бибиков* (1792—1860 или 1861) — флигель-адъютант, полковник л.-гв. Гусарского полка, директор канцелярии начальника Главного штаба, впоследствии генерал-лейтенант.

⁹ Василий Васильевич *Левашев* (Левашев) (1783—1848) — генерал-адъютант, член Следственного комитета по делу декабристов.

¹⁰ Василий Васильевич *Долгоруков* (1786—1858) — князь, обер-шталмейстер императорского двора.

¹¹ Сергей Павлович *Шунов* — впоследствии генерал-майор; командир л.-гв. Семеновского полка; временно (в 1825 г.) командовал 2-й гвардейской пехотной бригадой.

¹² Карл Федорович *Толь* (1777—1849) — граф, генерал-адъютант, начальник штаба 1-й армии; снимал первоначальные допросы с арестованных декабристов 14—17 декабря 1825 г.

¹³ Андрей Михайлович *Голицын* (1792—1863) — флигель-адъютант, полковник гвардейского главного штаба, обер-квартирмейстер гвардейского корпуса, впоследствии смоленский губернатор.

¹⁴ Из числа офицеров Кавалергардского полка предстали перед следствием члены тайного декабристского общества: П. Н. Свистунов, И. А. Анненков, А. М. Муравьев, В. П. Ивашев, З. Г. Чернышев, А. А. Крюков, Д. А. Арцыбашев, А. Л. Кологривов, А. Н. Вяземский, Н. А. Васильчиков, А. С. Горожанский, Н. Н. Деллерадович, П. П. Свиньин.

¹⁵ Павел Иванович *Сумароков* (?—1846) — сенатор, писатель, член Российской академии.

¹⁶ Е. П. Оболенский — член декабристской организации, активный участник восстания 14 декабря 1825 г., сначала служил в гвардейской артиллерии, откуда в 1817 г. был переведен в Павловский полк, а в 1824 г. — в л.-гв. Финляндский; Павловский и Финляндский полки входили в состав 2-й гвардейской дивизии, которой с марта 1825 г. командовал Николай Павлович. Смелое и независимое поведение Оболенского уже тогда вызывало недовольство будущего монарха.

¹⁷ А. А. Бестужев, как его старший брат Н. А. Бестужев, сначала намеревался бежать. Однако возникшая первоначально мысль укрыться у брата Николая на Толбухинском маяке была оставлена. Позднее А. Бестужев объяснял свои тогдашние соображения: «...брат сам заговорщик и, верно, арестован уже, да и море замерзло... Оставалось одно средство — предаться лично воле государя» (Невелев Г. А. Неопубликованные воспоминания об А. А. Бестужеве-Марлинском // Вопросы литературы. 1976. № 2. С. 214). Таким образом, «явка с повинной» А. А. Бестужева к Николаю I — не акт «раскаяния», а вынужденная необходимость.

¹⁸ Это лицемерное заявление Николая I опровергается многочисленными мемуарными свидетельствами декабристов, которых он лично допрашивал. Так, М. А. Фонвизин вспоминал: «Государь России, забывая свое достоинство, позволял ругаться над людьми беззащитными, которые были в полной его власти, и угрожал им жестокими карами» (Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 194—195). «Если вы не хотите, чтобы с вами обращались как со свиньей, то вы должны во всем признаться», — кричал царь на И. Д. Якушкина. Когда Якушкин сослался на данное товарищам «честное слово» никого не выдавать, царь

завопил: «Что мне с вашим мерзким честным словом, заковать его так, чтобы пошевельться не мог» (Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 78). Н. И. Лореру царь показывал жестом, «проводя рукой по своей шее», какая смерть его ожидает (см.: Лорер Н. И. Записки декабриста. С. 93).

¹⁹ Протоколы допросов не дают возможности установить, сколько арестованных допросил лично сам Николай I. Из декабристских мемуаров узнаем, что многое из устных допросов вообще не фиксировалось в этих протоколах.

²⁰ Сохранилось около 150 таких записок Николая I к коменданту Петропавловской крепости А. Я. Сукину с формулировками: «содержать хорошо», «содержать строго», «содержать наистрожайше», «содержать строго, но хорошо» и т. д. Подлинники этих записок и снятые с них А. Я. Сукиным копии хранятся в ЦГАОР СССР, ф. 48, д. 465 и 466. Опубликовано П. Е. Щеголевым в его книге «Декабристы» (М.; Л. 1926. С. 267—273).

²¹ Речь здесь и ниже идет о С. И. Муравьеве-Апостоле, который в «Записках» ошибочно назван «Никитой Муравьевым».

²² Об этом Каховский писал Николаю I в письме из крепости 24 февраля 1826 г. (см.: Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего переустройства. Спб., 1906. С. 3—18).

²³ Ход переговоров и заключение в 1814 г. в Париже мира изложены М. Ф. Орловым в его статье «Капитуляция Парижа», опубликованной в альманахе «Утренняя заря» (1843).

²⁴ М. Ф. Орлов был женат на дочери героя Отечественной войны 1812 г. Н. Н. Раевского Екатерине Николаевне (1797—1885); брак был заключен в 1821 г.; Е. Н. Раевская — сестра М. Н. Волконской, жены декабриста С. Г. Волконского.

²⁵ Имеется в виду литературный кружок «Арзамас» (1815—1818) в Петербурге. В числе членов кружка были А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. Ф. Орлов, носивший прозвище «Рейн», и др.

ИЗ «ЗАПИСОК ГРАФА Е. Ф. КОМАРОВСКОГО» О ВОССТАНИИ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Евграф Федотович Комаровский (1769—1863) — граф, генерал-лейтенант, сенатор; командир корпуса внутренней стражи, член Верховного уголовного суда над декабристами. Текст его воспоминаний о событиях 14 декабря 1825 г. здесь воспроизводится в сокращении по изданию: Записки графа Е. Ф. Комаровского. Спб., 1914. С. 237—246.

¹ Евграф Александрович Головин (1782—1858) — генерал-майор; в 1825 г. командовал 4-й гвардейской пехотной бригадой.

² Андрей Евгеньевич Розен (1799—1884) — поручик л.-гв. Финляндского полка, член Северного общества. Еще при выходе полка из казарм сагитировал солдат «не идти против бунтовщиков».

³ Во время преследования восставших было захвачено 709 человек: 370 солдат Московского, 277 — Гренадерского полков и 62 матроса Гвардейского экипажа. Остальные вернулись в казармы добровольно. Захваченных «в плен» солдат и матросов первоначально подвергли допросам в Зимнем дворце, затем отправили в казематы Петропавловской крепости. В начале января 1826 г. их разместили в финляндских крепостях.

⁴ Николая I очень беспокоили новгородские военные поселения, находившиеся всего в ста верстах от столицы. Примечательно, что о ненадежности военных поселений писал в своем докладе и Я. И. Ростовцев. Декабристы, как известно, рассчитывали в случае неудачи «ретироваться на поселения» и сделать их опорным пунктом сопротивления. Вспыхнувшее летом 1831 г. восстание в новгородских военных поселениях подтвердило опасения Николая.

МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА (ИЗ РАССКАЗА ДЬЯКОНА ПРОХОРА ИВАНОВА)

Рассказ дьякона Прохора Иванова, сопровождавшего митрополита Серафима для уговоров восставших на Сенатскую площадь, записан А. А. Алфеевым. Текст

рассказа здесь воспроизводится по его публикации в «Историческом вестнике» (1905, № 1, с. 167—170).

¹ *Серафим* (Стефан Васильевич Глаголевский, 1757—1843) — митрополит петербургский, новгородский, эстляндский и финляндский, архимандрит Александровской лавры; в 1826 г. входил в состав Верховного уголовного суда над декабристами.

² *Евгений* (в миру Ефимий Болховитинов, 1767—1837) — киевский митрополит, архимандрит Киево-Печерской лавры.

³ ...*священные слова, сего же дня им произнесенные*... — Имеются в виду слова присяги на верность Николаю I.

⁴ *Полица* — пола церковного облачения.

В. Р. КАУЛЬБАРС. КОННАЯ ГВАРДИЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА. ИЗ ДНЕВНИКА СТАРОГО КОННОГВАРДЕЙЦА

Василий (Герман) Романович Каульбарс (1798—1888) — в 1825 г. штабс-ротмистр конно-пионерного эскадрона. Здесь воспроизводится сокращенный текст его дневниковой записи с некоторыми позднейшими примечаниями самого автора по изданию: Каульбарс В. Р. Конная гвардия 14 декабря 1825 года. Из дневника старого конногвардейца. Спб., 1880. С. 7—17.

¹ ...*наш генерал*... — А. Ф. Орлов, командовавший Конногвардейским полком.

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА. РАССКАЗ НАЧАЛЬНИКА АРТИЛЛЕРИИ СУХОЗАНЕТА

Иван Онуфриевич Сухозанет (1788—1861) — генерал-майор, начальник гвардейской конной артиллерии. Сокращенный текст его воспоминаний здесь воспроизводится по их публикации в «Русской старине» (1873, № 3, с. 362—370).

¹ Авим Васильевич *Нестеровский* (1780—1830) — полковник, командир л.-гв. 1-й артиллерийской бригады.

² ...*известные официальные приложения*... — К манифесту Николая I от 12 декабря о восшествии его на престол были приложены: официальное отречение Константина Павловича от своих прав на российский престол, подписанное 14 января 1822 г.; рескрипт Александра I от 2 февраля того же года о «согласии» на отречение Константина, манифест Александра I от 16 августа 1823 г. о передаче прав на престол Николаю Павловичу, письма Константина Павловича императрице Марии Федоровне и Николаю Павловичу от 3 декабря 1825 г. о своем отказе принять престол.

³ Карл Густавович *Гербель* (1788—1852) — полковник, командир л.-гв. конной артиллерии; Василий Васильевич *Григорьев* (1796—1839) — капитан гвардейской конной артиллерии; Григорий Григорьевич *Кушелев* (1802—1855) — штабс-капитан гвардейской конной артиллерии.

⁴ Алексей Николаевич *Поталов* (1780—1847) — генерал-майор, дежурный генерал Главного штаба; член Следственного комитета по делу декабристов.

⁵ Алексей Илларионович *Философов* (1799—1855) — поручик л.-гв. 1-й артиллерийской бригады.

⁶ *Это бунтующие гренадеры*... — Сухозанет описывает эпизод подхода лейб-гренадерского полка на Сенатскую площадь.

⁷ Алексей Федорович *Арбузов* (1792—1861) — полковник, командир л.-гв. Павловского полка.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАТС-СЕКРЕТАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА В. Р. МАРЧЕНКО О СОБЫТИЯХ ДНЯ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Текст воспоминаний Василия Романовича Марченко (1782—1841), статс-секретаря Департамента государственной экономии Государственного совета,

воспроизводится в сокращении по изданию: Русская старина. 1895. № 5. С. 309—314.

¹ 12 декабря 1825 г. для составления манифеста по указанию Николая был приглашен Н. М. Карамзин. Текст манифеста, написанный Карамзиным, не удовлетворил Николая: в проекте неумеренно расхваливалось минувшее царствование, а на новое царствование налагались «излишние обязательства». «Бумага» Карамзина была передана Сперанскому с поручением ее переделать, «выпустив все, что выразило бы характер и намерения нового царствования». Эта работа была выполнена Сперанским 13 декабря, манифест был подписан в тот же день Николаем, но помечен задним числом — 12 декабря.

² Петр Петрович *Свиньин* (1784—1841).

³ Осип (Юлиан) Викентьевич *Горский* (Грабя-Горский) (1766—1849) — отставной статский советник, бывший полковник артиллерии. Участник восстания 14 декабря 1825 г. Был предан Верховному уголовному суду, но не отнесен ни к какому разряду ввиду следствия о нем в Сенате по делу о злоупотреблениях в Кавказской казенной палате (где после отставки служил Горский). 5 марта 1827 г. Горский по распоряжению Николая I был сослан в Березов под надзор полиции.

⁴ Согласно разработанному декабристами 13 декабря плану предполагалось занять Петропавловскую крепость.

⁵ Петр Васильевич *Лопухин* (1758—1827) — председатель Государственного совета; председатель Верховного уголовного суда над декабристами.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРИНЦА ЕВГЕНИЯ ВЮРТЕМБЕРГСКОГО О ДНЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Евгений Вюртембергский (Виртембергский) (1787—1857) — племянник императрицы Марии Федоровны. В 1800 г. был выписан в Россию Павлом I, который намеревался выдать за него Екатерину Павловну и провозгласить наследником российского престола, устранив своих сыновей. После убийства Павла в 1801 г. Е. Вюртембергский был выслан из России, но в 1807 г. принят на русскую службу. В 1821 г. Е. Вюртембергский вновь вынужден был покинуть Россию из-за холодных отношений с Александром I. Вернулся в Россию в конце 1825 г. В 1861—1862 гг. в Берлине были опубликованы 4 тома воспоминаний Е. Вюртембергского. Текст его воспоминаний о 1825 г. был опубликован в русском переводе в «Русском архиве» (1878, № 1, с. 330—352). По этой публикации он воспроизведен в сборнике «Междоусобице 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи» (М.; Л., 1926, с. 104—121). В нашем томе дается по этому изданию в сокращении.

¹ О числе жертв 14 декабря 1825 г. в мемуарах и исследовательской литературе приводятся противоречивые данные. Официальные данные говорят о 80 жертвах (Былое. 1907. Кн. 3. С. 192—199 — список жертв). Сенатор П. Г. Дивов насчитывает до 200 жертв (Русская старина. 1897. № 3. С. 465). Л. П. Бутенев говорит о 300 убитых (Исторический архив. 1951. Т. 7. С. 45). В 1970 г. в журнале «История СССР» (№ 6, с. 114—115) П. Я. Канном была опубликована справка чиновника Министерства юстиции по статистическому отделению С. Н. Корсакова. В ней указывается, что в день 14 декабря 1825 г. «убито народа: генералов — 1, штаб-офицеров — 1, обер-офицеров разных полков — 17, нижних чинов лейб-гвардии Московского полка — 93, Гренадерского — 69, [морского] экипажа гвардии — 103, конного — 17, во фраках и шинелях — 39, женска пола — 9, малолетних — 19, черни — 903. Итого 1271 человек». Эти данные вошли и в позднейшую исследовательскую литературу (см.: Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. С. 320). Однако эти данные следует признать сильно преувеличенными. Мы не знаем (и вряд ли когда узнаем) число жертв среди гражданского населения. Что же касается военных, то здесь имеются точные данные, основанные на рапортах командиров частей, где понемногу указаны убитые, смертельно раненные, легко раненные и без вести пропавшие. По этим данным, с обеих сторон убитых (включая сюда и смертельно раненных и пропавших без вести) насчитывалось 52 человека, раненных —

76 человек (Габаев Г. С. Гвардия в декабрьские дни 1825 г. // Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 200).

² Александр Андреевич *Шторх* (1804—1870) — подпоручик л.-гв. Гренадерского полка. Участник восстания 14 декабря 1825 г. Арестован 15 декабря 1825 г. Содержался в Петропавловской крепости до 7 июля 1826 г. По приказу Николая I переведен в Вильмандstrandский полк с установлением над ним надзора. Его отец Генрих (Александр) Карлович Шторх (1765—1835) преподавал политическую экономию Николаю I, когда тот был великим князем.

³ 10 января 1826 г. А. М. Булатов с разбитой в припадке нервного потрясения головой был доставлен в военно-сухопутный госпиталь, где умер в ночь с 18 на 19 января 1826 г. (ВД. Т. XVIII. С. 353).

М. М. ПОПОВ. КОНЕЦ И ПОСЛЕДСТВИЯ БУНТА 14 ДЕКАБРЯ 1825 г.

Михаил Максимович Попов (1800—1871) — в 1820-х гг. учитель в Пензенской гимназии (среди его учеников был В. Г. Белинский); в 30-х гг. служил в III отделении, где заведовал делами о ссыльных декабристах. Его статья-воспоминание «Конец и последствия бунта 14 декабря 1825 г.» впервые была опубликована в журнале «Былое» (1907, № 3, с. 192—195), затем в сборнике «О минувшем» (Спб., 1909, с. 110—112) и в сборнике «Декабристы. Отрывки из источников» (М.; Л., 1926, с. 353—354). Здесь воспоминания воспроизводятся в сокращении по этому последнему изданию.

¹ Александр Сергеевич *Шульгин* (?—1841) — генерал-майор, обер-полицеймейстер Петербурга; производил в декабре 1825 — январе 1826 г. аресты декабристов; уволен 30 января 1826 г. и заменен Чихачевым.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АДЪЮТАНТА М. А. МИЛОРАДОВИЧА А. П. БАШУЦКОГО

Александр Павлович Башуцкий (1803—1876) — подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка, адъютант петербургского военного генерал-губернатора М. А. Милорадовича, сын петербургского коменданта П. Я. Башуцкого. Запись воспоминаний А. П. Башуцкого относится к 1849 г. Воспоминания, под названием «Убийство графа Милорадовича (рассказ его адъютанта)», опубликованы в «Историческом вестнике» (1908, № 1). По этой публикации (с. 135—156) здесь воспроизводятся извлечения из воспоминаний А. П. Башуцкого.

¹ *Фогель* — заведующий секретной частью канцелярии М. А. Милорадовича.

² Сенат, Синод и Государственный совет присягнули в ночь с 13 на 14 декабря, присяга в войсках происходила ранним утром 14 декабря. Здесь речь идет о присяге других высших чинов и о назначенном в связи с этим съезде в Зимнем дворце высших сановников.

³ Имеется в виду известная балерина того времени Е. А. Телешова (Телешева).

⁴ Квартира Башуцких находилась на первом этаже Зимнего дворца окнами на Дворцовую площадь и Миллионную улицу.

⁵ Имеется в виду А. И. Одоевский, в то время корнет л.-гв. Конного полка.

⁶ *Лука* — изгиб седла; *трэнзель* — металлическая часть удила.

ИЗ ДНЕВНИКА ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

Александра Федоровна (1798—1860) — жена Николая I. Дневниковые записи ею велели на французском языке. Текст дневника, посвященный событиям 14 декабря 1825 года, опубликован в переводе на русский язык Б. Е. Сыроечковским в книге «Междоусарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи» (М.; Л., 1926, с. 87—91). Здесь запись за 15 декабря 1825 г. воспроизводится по этому изданию (в сокращении).

¹ Речь идет о декабристе А. И. Одоевском, который в тот день командовал караулом конногвардейцев в Зимнем дворце.

² Это был Алексей Владимирович Чевкин (1803—1887) — поручик л.-гв. Конного полка, адъютант князя А. Д. Хованского.

³ Александр Андреевич *Фредерикс* (1788—1849) — полковник; исполнял должность коменданта главной квартиры Александра I в Таганроге.

⁴ Имеется в виду Алексей Павлович Ушаков — адъютант вел. кн. Михаила Павловича.

⁵ *Саша* — сын Николая I; будущий император Александр II.

⁶ Речь идет о Елене Павловне (1806—1873) — жене вел. кн. Михаила Павловича.

ПИСЬМО Н. М. КАРАМЗИНА К И. И. ДМИТРИЕВУ

Письмо известного писателя и историка Николая Михайловича Карамзина от 19 декабря 1825 г. к другу — поэту-сентименталисту Ивану Ивановичу Дмитриеву (1760—1837), жившему в то время в Москве, воспроизводится здесь по изданию: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866. С. 411—412.

¹ Имеется в виду литературный альманах, издаваемый А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым.

² Алексей Борисович *Куракин* (1759—1829) — князь, министр внутренних дел, член Государственного совета; заместитель председателя Верховного уголовного суда над декабристами.

³ Николай Евгеньевич *Кашкин* — сенатор.

⁴ Имеется в виду декабрист Евгений Петрович Оболенский. Видимо, Карамзин здесь его спутал с младшим братом — поручиком Константином Петровичем Оболенским, также подвергшимся аресту, но затем в результате следствия по делу декабристов освобожденным от наказания.

⁵ Мать декабристов Никиты и Александра Михайловичей Муравьевых.

⁶ Имеется в виду манифест о восшествии Николая I на престол.

⁷ ...равно как и второй о кове злодейском. — Имеется в виду официальное сообщение о событиях 14 декабря, опубликованное на следующий день (15 декабря).

⁸ *Петр Андреевич* Вяземский (1792—1878) — русский поэт и литературный критик.

И. РУЛИКОВСКИЙ. ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Иосиф-Казимир-Игнатий Руликовский (1780—1860) — помещик Васильковского уезда Киевской губернии. Его имение (Большая и Малая Мотовиловки, Еленовка, Парадов, Руликов, Большая и Малая Салтановки) находилось в районе восстания Черниговского полка. Воспоминания И. Руликовского здесь воспроизводятся в сокращении по русскому переводу (с польского) В. М. Базилевича, опубликованному в книге «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов» (М., 1933, т. 2, с. 373—403, 418—419).

¹ Черниговский полк был основан Петром I в 1700 г. и получил свое название по месту его расквартирования в 1708 г. в Черниговской провинции. Полк принимал участие практически во всех войнах России XVIII—XIX вв.

² *Гамков* — полковник, командир Черниговского полка в 1820—1824 гг.

³ *Густав Иванович Гебель* (1780(?)—1856) — командир Черниговского полка. Во время событий конца декабря 1825 — начала января 1826 г. он был еще в чине подполковника; чин полковника ему был присвоен 9 января 1826 г.

⁴ Ошибка мемуариста: в Трилесах находилась 5-я мушкетерская рота Черниговского полка, которой командовал поручик А. Д. Кузьмин, а не батальонная квартира С. И. Муравьева-Апостола.

⁵ ...сын дипломата, посла в Константинополе, Мадриде, Лондоне... — И. М. Муравьев-Апостол при Павле I был назначен послом в Гамбург, а при Александре I, в 1802 г., — послом в Мадрид; в 1805 г. впал в немилость и был уволен в отставку. Послом в Константинополе и Лондоне И. М. Муравьев-Апостол не был.

⁶ Милиция на Киевщине была сформирована в 1805 г. во время начавшейся войны с Францией. В 1807 г. в связи с заключением Тильзитского мира была распущена.

⁷ Речь идет о волнении солдат л.-гв. Семеновского полка 16—18 октября 1820 г. Это событие произошло не во время Венского конгресса, как ошибочно указывает мемуарист, а во время конгресса Священного союза в Троппау.

⁸ Ошибка мемуариста: М. П. Бестужев-Рюмин был поручиком Полтавского полка.

⁹ П. И. Пестель был арестован 13 декабря 1825 г. в Линцах (мемуарист ошибочно именует их Ильинцами), В. К. Тизенгаузен арестован в ночь с 4 на 5 января 1826 г. в Бобруйске (а не в Ржищеве).

¹⁰ Мемуарист ошибается. С. И. Муравьев-Апостол не мог «уведомить о подятии восстания» командира 8-й пехотной дивизии генерал-майора А. П. Засса, который не принадлежал к тайному обществу. Двоюродный брат С. И. Муравьева-Апостола Артамон Захарович Муравьев, член Южного общества, был не «генералом», а полковником, и командовал он не «кавалерийской дивизией», а Ахтырским гусарским полком.

27 декабря С. И. Муравьев-Апостол вместе с братом Матвеем прибыли в местечко Любар, где стоял Ахтырский гусарский полк. Сергей Муравьев предложил Артамону Муравьеву немедленно собрать Ахтырский полк и идти в Троянов, где стоял Александрыйский гусарский полк под командованием Александра Захаровича Муравьева; последний хотя и не был членом тайного общества, но Сергей Муравьев и Михаил Бестужев-Рюмин надеялись на его содействие. Артамон Муравьев отказался немедленно выступить, но обещал присоединиться к Сергею Муравьеву и Михаилу Бестужеву, как только они поднимут восстание.

¹¹ ...застал в своей квартире отставного полковника Муравьева, своего родного старшего брата, и подпоручика Бестужева... — Здесь ошибка мемуариста: С. И. Муравьев-Апостол с братом Матвеем, а также с М. П. Бестужевым-Рюминым вместе прибыли в полдень 28 декабря в Трилесь. Братья Муравьевы-Апостолы остались в Трилесах, а Бестужев-Рюмин позднее по их поручению отправился в части 8-й пехотной дивизии и 8-й артиллерийской бригады для организации там восстания с целью оказать поддержку восставшему Черниговскому полку.

¹² Густав Филиппович Олизар (1798—1868) — маршал (предводитель дворянства) Киевской губернии. Привлекался к следствию по делу декабристов, но был освобожден от наказания.

¹³ Фурман — владелец (или возчик) фуры (фургона).

¹⁴ В ночь на 29 декабря А. Д. Кузьмин получил записку от С. И. Муравьева-Апостола, где тот сообщал о своем аресте и просил прийти к нему на помощь. Находившиеся здесь другие члены Общества соединенных славян М. А. Щепило, И. И. Сухинов и В. Н. Соловьев приняли решение немедленно освободить С. И. Муравьева-Апостола. Полагая, что полковник Гебель поедет с арестантом в Васильков, куда вели две дороги, они разделились: Кузьмин и Щепило поехали более короткой проселочной дорогой, а Соловьев и Сухинов — большой. Первыми приехали в Трилесь Кузьмин и Щепило, вскоре за ними на рассвете 29 декабря прибыли Сухинов и Соловьев. Освобождение ими братьев Муравьевых-Апостолов из-под ареста и явилось началом восстания Черниговского полка.

¹⁵ Бискупские владения — церковные владения (католические церкви).

¹⁶ О восстании 14 декабря и его разгроме С. И. Муравьев-Апостол и его брат Матвей узнали от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, 24 декабря.

¹⁷ Белоцерковские поместья принадлежали графине А. В. Браницкой.

¹⁸ Ипполит Муравьев направлялся в Тульчин, а не в Кишинев.

¹⁹ Даниил Федорович Кейзер (Кайзер) — священник Черниговского полка. За свой поступок, описанный здесь мемуаристом, по приказу Николая I Синодом лишен духовного звания, а Могилевская судная комиссия приговорила его «обратиться на службу вечно рядовым». Николай I изменил наказание на бессрочные крепостные работы. Ввиду тяжелого состояния здоровья Кейзер был изъавлен от крепостных

работ и заключен в монастырь Смоленской губернии. Освобожден в 1858 г. Дальнейшая его судьба неизвестна.

²⁰ *...гражданского губернатора...* — Имеется в виду Иван Гаврилович Ковалев, являвшийся в 1825—1826 гг. киевским гражданским губернатором, позже (1834—1835) — тобольский губернатор.

²¹ *Посессор* — арендатор казенного имения.

²² Имеется в виду И. И. Сухинов.

²³ С. Муравьев рассчитывал на поддержку 17-го егерского полка, стоявшего в Белой Церкви. Но посланный на разведку в Белую Церковь Александр Вадковский был задержан по пути жандармами, а ненадежный 17-й егерский полк спешно переведен в Сквиру. Вместо него в Белую Церковь из Богуслава был переведен 18-й егерский полк.

²⁴ *...корпусный генерал...* — Имеется в виду командир 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Логгин Осипович Рот (1780—1857).

²⁵ Федор Клементьевич *Гейсмар* (1783—1848) — генерал-майор, командир 2-й бригады 3-й гусарской дивизии; возглавлял отряд правительственных войск, посланный на усмирение восстания Черниговского полка.

²⁶ Как доносил 6 января 1826 г. васильковский исправник В. В. Кузьмин, С. Муравьев-Апостол сжег большое количество бумаг в печке дома управляющего местной экономией (в Ковалевке) графини Браницкой.

²⁷ *Гребля* — плотина (укр.).

²⁸ В официальном списке убитых Черниговского полка значатся: два офицера (Кузьмин и Щепилло) и 6 рядовых (Ю. Мин, Ю. Юрьев, И. Акусов, С. Иванов, Н. Епифанов и Е. Михайлов) (ВД. Т. VI. С. 103).

²⁹ После разгрома восстания Сухинов укрылся в погребе одного из крестьян в ближайшей деревне. Крестьянин накормил его, дал ему свою одежду, после чего Сухинов добрался до с. Каменки — имения В. Л. Давыдова. Там радушно был встречен управляющим, который помог ему деньгами, но советовал ему не оставаться в имении, ибо уже было разослано объявление о поимке Сухинова с описанием его примет. Сухинов добрался до уездного г. Александрии, где служил его брат. Там Сухинов пробыл несколько дней, изготовил себе фальшивый паспорт на имя отставного офицера и направился в Кишинев в надежде пробраться в Валахию. Но в самый последний момент он не решился на побег, «не желая оставить Россию и бедствующих товарищей». Он решил не укрываться от поисков и фактически сдался властям. 15 февраля 1826 г. Сухинов был арестован в Кишиневе, судим в Могилеве и по этапу отправлен на каторгу в Сибирь. (См.: Горбачевский И. И. Записки, письма. М., 1963. С. 94—99; Оксман Ю. Г. Поимка поручика И. И. Сухинова // Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925. С. 53—74.)

³⁰ *...были арестованы жандармами...* — 25 декабря 1825 г. Николай I отдал приказ арестовать полковников И. С. Повало-Швейковского, А. З. Муравьева и В. К. Тизенгаузена. А. З. Муравьев был арестован 31 декабря, а Повало-Швейковский и Тизенгаузен чуть позднее.

³¹ Вновь сформированный Черниговский полк был расквартирован в г. Остроге Вольнской губернии.

³² В г. Васильков были доставлены участники восстания В. Н. Соловьев, И. И. Сухинов и А. Е. Мозалевский, которые были приговорены к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Упоминаемый здесь А. П. Мещерский, прапорщик Черниговского полка, на полгода был заключен в крепость.

³³ Телесному наказанию подверглись только солдаты (но не офицеры — участники восстания). Дело о восставших солдатах Черниговского полка разбиралось особой комиссией военного суда в Белой Церкви. 3 человека приговорены к 12 тыс. шпицрутен, 103 человека — к 1—6 тыс. шпицрутен, 15 солдат получили по 200 «лозанов» (ударов розгами) и сосланы на Кавказ. Кроме того, в той же Белоцерковской военно-судной комиссии были приговорены к жестокому телесным наказаниям (прогнаны сквозь строй от одного до 12 раз через 1000 человек) 177 солдат из других полков, «вовлеченных в заговор». Среди них 110 солдат бывшего Семеновского полка, сосланных за волнение 1820 г., 14 армейских солдат, избитых в связи с «семеновцами», и 53 солдата, связанных с членами Общества соединенных славян (Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 2. С. 413—414).

РАССКАЗ ПОДПОЛКОВНИКА БЕЛОРУССКОГО ГУСАРСКОГО ПОЛКА И. И. ЛЕВЕНШТЕРНА О ПОДАВЛЕНИИ ВОССТАНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА 3 ЯНВАРЯ 1826 г.

Подполковник Белорусского принца Оранского гусарского полка И. И. Левенштерн принимал непосредственное участие в подавлении восстания Черниговского полка. Его рассказ об этом изложен в откровенном и доверительном письме к своему другу [Карлу]. Письмо написано по горячим следам событий. Сам И. И. Левенштерн подозревался в причастности к тайному обществу декабристов, и о нем следствие собирало сведения. Рассказ И. И. Левенштерна здесь воспроизводится в сокращении по изданию: Освободительное движение в России. Саратов, 1977. Вып. 6. С. 122—124 (текст подготовлен И. В. Порохом и Л. А. Сокольским, перевод с немецкого Л. А. Сокольского).

¹ ...*ежедневно отдаются под стражу*... — Массовые аресты на юге происходили в конце декабря 1825 г. — начале января 1826 г.; за это время там было взято свыше 100 членов тайного общества.

² Щепило был убит картечью наповал.

³ Речь идет о наградном оружии, полученном Гейсмаром за отличие в сражении с французскими войсками при Веймаре в 1813 г.

⁴ ...*брата во фраке*... — Имеется в виду М. И. Муравьев-Апостол.

⁵ После разгрома Черниговского полка 3 января 1826 г. были взяты под арест его офицеры: С. И. Муравьев-Апостол, А. Д. Кузьмин, В. Н. Соловьев, А. А. Быстрицкий, А. Е. Мозалевский, К. К. Маевский, А. С. Войнилович, В. Н. Петин, В. О. Синивский.

III. АРЕСТ. СЛЕДСТВИЕ. СУД. КАЗНЬ

АРЕСТ ДЕКАБРИСТОВ (ИЗ ДНЕВНИКА ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТА Н. Д. ДУРНОВО)

Николай Дмитриевич Дурново (1792—1828) — флигель-адъютант, полковник гвардейского генерального штаба. На него был возложен арест декабристов в Петербурге. Его дневниковые записи, повествующие о первоначальных арестах декабристов, воспроизводятся здесь в сокращении по изданию: Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Декабристы. М., 1939. Вып. 3. С. 15—18.

¹ *Двое братьев Бестужевых пришли и сдались сами*. — Добровольно явился под арест А. А. Бестужев.

² *Все Бестужевы в наших руках*. — К 16 декабря были взяты под арест братья Александр, Михаил, Николай и Петр Александровичи Бестужевы — активные участники восстания 14 декабря.

³ Петр Петрович *Коновницын* (1802—1830) — подпоручик гвардейского генерального штаба. Член Северного общества и участник восстания 14 декабря. Верховным уголовным судом был приговорен к лишению чинов и дворянства и ссылке в Сибирь. Указом 22 августа 1826 г. переведен в полевые полки Кавказского корпуса рядовым «до выслуги».

⁴ ...*офицеров-конногвардейцев*... — Ошибка мемуариста. Имеются в виду офицеры Кавалергардского полка.

⁵ Александр Семенович *Горожанский* (1802—1846) — поручик Кавалергардского полка. Наказан без суда 4-летним заключением в крепости; затем был переведен в Оренбургский гарнизон, откуда «за нераскаяние» сослан в Соловки, где психически заболел. Действительно добровольно явился под арест и в тот же день был допрошен В. В. Левашевым. На этом допросе Горожанский назвал 22 члена тайного общества (ВД. Т. XVIII. С. 254).

⁶ Имеется в виду Николай Иванович *Депрерадович* (1767—1843) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант; Дурново говорит о выдаче этим генералом следствию своего сына Николая, корнета Кавалергардского полка (1802—1884).

⁷ Он был выдан князем *Вяземским*... — Николай Васильевич Шереметев (1804—1849) — подпоручик Преображенского полка, член Северного общества, был назван следствию Александром Николаевичем Вяземским (?—1860), корнетом Кавалергардского полка.

⁸ Александр Лукич *Кологривов* (1793—1884) — полковник Кавалергардского полка, член Северного общества.

⁹ Павел Петрович *Лопухин* (1788—1873) — генерал-майор, командир бригады 1-й уланской дивизии. К следствию по делу декабристов не привлекался.

ИЗ РАССКАЗОВ Е. А. БЕСТУЖЕВОЙ О БРАТЬЯХ-ДЕКАБРИСТАХ БЕСТУЖЕВЫХ

Запись рассказов сестры декабристов Елены Александровны Бестужевой (1792—1874) была сделана издателем журнала «Русская старина» М. И. Семевским в 60-х годах. Сокращенный текст этой записи, где говорится об арестах братьев Бестужевых, здесь воспроизводится по изданию: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 402—410.

¹ Ошибка мемуаристики: добровольно под арест явился А. А. Бестужев.

² Имеется в виду речь Александра I на открытии польского сейма в Варшаве 15 марта 1818 г.

³ Н. А. Бестужев иронизирует по поводу суровых приговоров, вынесенных ему и его братьям (от 20-летней каторги до смертной казни, замененной пожизненной каторгой).

⁴ Легенда о секретном арестанте королевской крови, носившем «железную маску», широко была распространена в XVII—XIX вв. во Франции. Сюжет о «железной маске» впоследствии использовал в своих романах Александр Дюма.

⁵ Иван Иванович *Свиязев* (1797—1874) — архитектор, профессор Горного корпуса.

⁶ А. А. Бестужев был убит в схватке с черкесами при высадке десанта у мыса Адлер 7 июня 1837 г. Он был ранен сначала пулей в грудь. Солдаты подхватили его, но налетели черкесы и исполосовали его шашками. Труп его не могли опознать при размене телами на следующий день.

⁷ Август Августович *Бетанкур* (1758—1824) — французский архитектор; на русской службе с 1808 г.; с 1819 г. — директор Главного управления путей сообщения. Матильда Бетанкур — жена А. А. Бетанкура.

⁸ Александр Филиппович *Смирдин* (1795—1857) — русский издатель и книгопродавец.

⁹ В 1839 г. был издан первый том альманаха «Сто русских литераторов», с портретом А. А. Бестужева. Разразившийся скандал повлек увольнение в отставку управляющего канцелярией III отделения А. П. Мордвинова, допустившего к публикации портрет «государственного преступника». Из 2006 экземпляров, проданных Смирдиным, в III отделение было доставлено 437 и еще 900 изъято у сестры Бестужева.

Николай Алексеевич *Полевой* (1796—1846) — русский писатель, журналист историк; издатель журнала «Московский телеграф».

Павел Петрович *Свиньин* (1787—1839) — русский писатель, художник, историк, географ.

Рафаил Михайлович *Зотов* (1795—1871) — переводчик, публицист, автор исторических романов.

Денис Васильевич *Давыдов* (1784—1839) — поэт; герой Отечественной войны 1812 года.

¹⁰ Речь идет об обороне Севастополя в период Крымской войны.

¹¹ Е. А. Бестужева приехала в Селенгинск к находившимся там на поселении братьям М. А. и Н. А. Бестужевым в 1847 г. с сестрами-близнецами Марией и Ольгой.

¹² Имеется в виду статья Н. А. Бестужева «Гусиное озеро», опубликованная в «Вестнике Естественных Наук», изд. Моск. об-ва испытателей природы (1851, № 1—7, 21, 24—28 и 30). В ней были изложены результаты собственных наблюдений Н. А. Бестужева о гидрологии, флоре и фауне этого забайкальского озера.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРАВИТЕЛЯ ДЕЛ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ А. Д. БОРОВКОВА

Александр Дмитриевич Боровков (1788—1856) — в 1825 г. коллежский советник (позже статский советник), чиновник особых поручений при военном министре А. И. Татищеве. 17 декабря 1825 г. был назначен правителем дел Следственного комитета по делу декабристов. Воспоминания А. Д. Боровкова здесь воспроизводятся с сокращениями по изданию: Александр Дмитриевич Боровков и его автобиографические записки // Русская старина. 1898. № 11. С. 332—336, 342—353, 361—362.

¹ Речь идет о присяге цесаревичу Константину как императору после получения известия о смерти Александра I.

² Александр Дмитриевич *Сабуров* (1799—1838).

³ В донесении И. И. Дибича от 4 декабря 1825 г., которое Николай получил утром 12 декабря, в приложении был дан список 46 членов тайных обществ. Из «петербургских заговорщиков» в списке значились: Н. М. Муравьев, Е. П. Оболенский, профессор М. А. Балугьянский (который на самом деле не был членом тайного общества).

⁴ В действительности Николай уже 12 декабря отдал приказ об аресте некоторых из заговорщиков и в первую очередь Н. М. Муравьева, находившегося вне Петербурга.

⁵ Отослав донесения о раскрытом заговоре Константину Павловичу в Варшаву и Николаю Павловичу в Петербург, И. И. Дибич отправил в Тульчин для ареста Пестеля и других руководителей Южного общества генерала А. И. Чернышева. Здесь речь идет о донесении А. И. Чернышева от 9 декабря 1825 г. Николаю Павловичу о мерах, принимаемых для ареста руководителей Южного общества.

⁶ *Генерал-фельдцейхмейстер* — начальник артиллерии; в этой должности состоял великий князь Михаил Павлович.

⁷ Полковник Василий Федорович Адлерберг, флигель-адъютант Николая I, и титулярный советник Александр Иванович Карасевский были назначены «помощниками правителя дел Следственного комитета» А. Д. Боровкова. В обязанности Адлерберга входило представление Николаю I ежедневных «докладных записок» о занятиях Комитета, а Карасевский руководил перепиской Комитета и вел его хозяйственные дела.

⁸ Всего было арестовано 316 человек, 64 из них оказались непричастными к декабристским тайным обществам и были отпущены с «оправдательными аттестатами». 42 бывших члена Союза благоденствия, отставших после 1821 г. от общества, были «оставлены без внимания». О многих следствие собирало сведения, не подвергая их арестам.

⁹ 6 февраля 1826 г. А. Д. Боровкову было поручено подготовить «краткий очерк» итогов занятий Следственного комитета по расследованию заговора декабристов. К середине февраля «Очерк» на пяти листах был представлен Боровковым в Следственный комитет. В «Очерке» сжато излагались открытые Следственным комитетом данные о деятельности тайных обществ; значительная часть «Очерка» была посвящена изложению разработки декабристами планов восстания и царевубийства. В заключение говорилось: «Комитет, по приведении к окончанию допросов и пояснений, о всем открывшемся подробно донесет вашему императорскому величеству» (ЦГАОР СССР, ф. 1068, д. 741, л. 1—5).

¹⁰ Речь идет о так называемом «московском заговоре» декабристов осенью 1817 г., когда среди членов Союза спасения возник план царевубийства. Поводом к возникновению «заговора» было присланное от С. П. Трубецкого из Петербурга к членам тайного общества письмо, в котором говорилось, что Александр I якобы намеревается восстановить Польшу под своим владычеством в границах 1772 года и отторгнуть от России Правобережную Украину и Белоруссию, которые декабристы

считали исконно русскими землями. Далее в письме сообщалось о намерении Александра I освободить крестьян в присоединенных к Польше землях, а для предупреждения волнений крестьян в других губерниях России создать кордон из военных поселений. Как вспоминает И. Д. Якушкин, у декабристов как раз в это время сильное возмущение против царя вызвала весть о жестокой расправе над новгородскими крестьянами, сопротивлявшимися введению военных поселений. Предложение убить Александра I сделал Н. Муравьев, его поддержал Ф. П. Шаховской. И. Д. Якушкин сам вызвался совершить этот акт. Разгорелись жаркие споры сторонников и противников царубийства. Выяснилась недостаточность сил тайного общества для государственного переворота, если бы царубийство и удалось осуществить. В это время в Москву из Петербурга прибыл и сам С. П. Трубецкой, который заявил, что сообщаемые им в письме слухи оказались ложными. План царубийства был оставлен.

¹¹ Накануне восстания 14 декабря 1825 г. был подготовлен «Манифест к русскому народу», в котором провозглашались: «уничтожение бывшего правления» (т. е. свержение абсолютизма), учреждение Временного революционного правительства на 3 месяца, освобождение крестьян, уничтожение рекрутчины, военных поселений, равенство всех перед законом и прочие демократические свободы. Предполагалось через 3 месяца после восстания собрать от каждой губернии по два представителя «от всех сословий» на Верховный собор (Учредительное собрание), который должен был утвердить «на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное законоположение» (ВД. Т. I. С. 107—108).

¹² Дмитрий Николаевич *Блудов* (1785—1864) — действительный статский советник. В феврале 1826 г., по рекомендации Н. М. Карамзина, был «прикомандирован» к Следственному комитету «для составления журнальной статьи» о ходе следствия по делу декабристов. Однако в начале марта 1826 г. Блудову было поручено подготовить текст «Донесения Следственного комитета» о результатах расследования заговора декабристов. Текст «Донесения» Блудов подготовил 2 мая 1826 г.; 4 мая текст был заслушан и обсужден на заседании Комитета и 10 мая представлен Николаю I. Он в принципе одобрил этот текст, но потребовал внести некоторые изменения. 15 мая через А. Х. Бенкендорфа он передал распоряжение об изъятии из «Донесения» и перенесении в особое «секретное приложение» к нему основных программных требований декабристов: об отмене крепостного права и наделении крестьян землей, уменьшении срока службы солдатам, о «намерении возмутить военных поселян». Новый вариант «Донесения» был заслушан и подписан на заседании Следственного комитета 28 мая, а 30 мая со всеми приложениями представлен Николаю I.

¹³ Дмитрий Осипович *Баранов* (1773—1835) — член Верховного уголовного суда над декабристами.

¹⁴ Дело, о котором здесь идет речь, решалось на заседании Непременного совета 31 марта 1802 г. Рассматривалась тяжба между Салтыковым и Кутайсовым из-за земель и рыбных ловель в устье р. Эмбы. В свое время император Павел I распорядился передать принадлежавшие Салтыкову угодья в этой местности своему фавориту шталмейстеру графу И. И. Кутайсову. Н. С. Мордвинов на этом заседании выступил со своим «мнением», осуждающим самодержавный произвол. Текст «мнения» Мордвинова широко распространялся в то время в списках. См. публикацию его А. И. Герценом в «Историческом сборнике Русской вольной типографии» (сб. 2-й, 1861, с. 159—166).

¹⁵ «Донесение Следственной комиссии» от 30 мая 1826 г. не было помещено в «Полном собрании законов Российской империи», поскольку оно не являлось актом законодательного характера. А. Д. Боровков спутал здесь «Донесение» с «Докладом Верховного уголовного суда», действительно помещенным в это собрание законов (ПСЗ, собр. 2-е, т. I, № 464). Опубликованное в 1826 г. «Донесение Следственной комиссии» вскоре было изъято из обращения.

¹⁶ Различным наказаниям без суда по личному распоряжению Николая I подверглось более 120 декабристов: они были заключены в крепости на сроки от полугода до четырех лет, разжалованы в солдаты, высланы, отданы под надзор полиции. Кроме того, нужно учитывать, что действовали провинциальные (Могилевская, Белостокская, Варшавская) и полковые военно-судные комиссии, перед которыми предстали более 50 лиц — участников восстания Черниговского полка, тайного общества «Военных друзей», Польского патриотического общества.

¹⁷ В конце июля 1826 г. в Москве Николаю I был подан донос о связях декабристов с баварским обществом иллюминатов. В качестве «посредника» между ними был назван профессор Э. Раупах, высланный в 1822 г. из России «за вредное либеральное влияние». В доносе указывалось, что Никита Муравьев брал «уроки прагматической истории» у Раупаха и мог быть связующим звеном между декабристами и иллюминатами. Решено было добиться признания Н. Муравьева, обещав ему «полное прощение». 13 августа 1826 г. каземат Петропавловской крепости, где еще находился в ожидании отправки в Сибирь Н. Муравьев, посетил председатель Следственной комиссии А. И. Татищев. 27 августа Татищев докладывал Николаю I: «Источив всевозможные средства растрогать сердце Муравьева, возбудить его к чистосердечию и, так сказать, проникнуть в его душу, я не мог не убедиться в том, что он не принадлежит к иллюминатам». Н. Муравьев клятвенно заверял, что если бы таковые связи и были, то он ничего «не утаил бы от правительства» на следствии. При этом он указал на В. Л. Давыдова, который якобы принял в тайное общество князя Г. Е. Броглио, принадлежавшего, по слухам, к иллюминатам. 19 сентября в Иркутск из Благодатских рудников был привезен скованный В. Л. Давыдов. Ему тоже обещали «прощение и возвращение в недра его сегоущего семейства». В своем показании Давыдов заверял следователей, что ни о каком Броглио «не слышал», а об иллюминатах «знает только по книгам». Таким образом, следствие не смогло выявить «заграничные связи» декабристов, которых, по всей видимости, в данном случае и не существовало. (См.: Чернов С. Н. Поиски сношений декабристов с Западом // Из эпохи борьбы с царизмом. Сб. 5-й. Киев, 1926. С. 112—123; ЦГВИА СССР, ф. 36, оп. 4/847, св. 23, д. 384 «О преступнике Никите Муравьеве и о бывшем в России иллюминате профессоре Раупахе».)

¹⁸ Речь идет о «Своде показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии в России», составленном А. Д. Боровковым по письмам названных в тексте Г. С. Батенькова, В. И. Штейнгеля, А. А. Бестужева и Г. А. Перетца. «Свод» неоднократно публиковался в различных изданиях. Текст «Свода» включен Боровковым и в его автобиографические записки.

¹⁹ Виктор Павлович *Кочубей* (1768—1834) — один из «молодых друзей» Александра I, член его «Негласного комитета» (1801—1803); с 1831 г. князь, председатель Государственного совета.

²⁰ «Алфавит членам злоумышленного общества» — «черный список» декабристов и подозреваемых; был составлен в двух экземплярах: один 24 мая 1827 г. представлен Николаю I, другой — 21 июня 1827 г. — шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Е. АННЕНКОВОЙ О СВИДАНИИ С И. А. АННЕНКОВЫМ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Прасковья Егоровна Анненкова, урожденная Полина Гебль (1800—1876) — жена И. А. Анненкова. Еще будучи невестой его, добровольно отправилась за ним в Сибирь. Текст воспоминаний ее о свидании с И. А. Анненковым здесь воспроизводится по изданию: Воспоминания Полины Анненковой. Красноярск, 1977. С. 99—120.

ИЗ «ЗАПИСОК ГРАФА Е. Ф. КОМАРОВСКОГО» О ВЕРХОВНОМ УГОЛОВНОМ СУДЕ НАД ДЕКАБРИСТАМИ.

Текст «Записок» Е. Ф. Комаровского (о мемуаристе см. в комментариях к его воспоминаниям о 14 декабря 1825 г.) здесь воспроизводится по изданию: Записки гр. Е. Ф. Комаровского. Спб., 1914. С. 253—256.

¹ Верховный уголовный суд состоял из 72 человек: 36 — от Сената, 18 — от Государственного совета, 3 — от Синода и 15 «особо назначенных чиновников» из военных и гражданских лиц. (Список членов Верховного уголовного суда см.: ВД. Т. XVII. С. 259—260.)

² Речь идет о работе так называемой «Ревизионной комиссии» Верховного уголовного суда, выделенной в количестве 9 человек из состава суда для «ревизии»,

т. е. засвидетельствования подсудимыми «подлинности» их показаний с удостоверением последнего собственноручными подписями. Вызываемым в Комиссию подсудимым «предлагались» три вопроса: 1) его ли рукой написаны показания? 2) добровольно ли подписаны? 3) были ли ему даны очные ставки? Наспех показывали ему его следственное дело и требовали дать заранее составленный стандартный текст подписки: «Ответы на допросы Комиссии, мне в присутствии показанные, за моей подписью и составлены добровольно, равно утверждаю, что мне были даны очные ставки и оные подписаны мною собственноручно». К этому и сводилось все «судоворение», т. е. судебное следствие (в остальном суд велся заочно). Ревизионная комиссия заседала 8—9 июня 1826 г., «допросив» таким образом 120 подсудимых (ВД. Т. XVII. С. 84—90). «Дополнительные показания» в Ревизионной комиссии дали В. К. Кюхельбекер, Г. С. Батеньков, Н. С. Бобришев-Пушкин, Н. Н. Оржицкий, Б. А. Бодиско, Н. В. Басаргин, но эти показания судом не были приняты во внимание.

³ Вся практическую работу Верховного уголовного суда выполняли избранные из его состава комиссии — «Ревизионная» (о ней см. коммент. 2) и «Разрядная», работавшая 10—27 июня, которую Комаровский именует «комитетом» и в состав которой он был избран. Сам Верховный уголовный суд собирался: 3—7 июня для заслушивания Манифеста об учреждении суда над декабристами, «Донесения Следственной комиссии» и «записки о силе вины» каждого подсудимого; 28—30 июня и 2—5 июля — для вынесения приговоров подсудимым, 7—8 июля — для утверждения «Доклада» Николаю I, 11 июля — для рассмотрения царской конфирмации и вынесения окончательного приговора 5 «внезарядникам» и 12 июля — для объявления приговора.

⁴ Д. Н. Блудов не был производителем дел Следственной комиссии.

⁵ По существующим нашим узаконениям все они подвергались смертной казни... — Член Верховного уголовного суда Н. С. Мордвинов направил в суд специальную записку, в которой, ссылаясь на указы Елизаветы Петровны 1753—1754 гг., отменявшие смертную казнь в России, и на подтверждавшие их «Наказ» Екатерины II 1767 г. и указ Павла I 1799 г., выступил против применения смертной казни к подсудимым декабристам. М. М. Сперанский, напротив, обосновывал правомерность вынесения смертных приговоров тем, что данные указы не распространялись на два первых пункта государственных преступлений — «цареубийство» и «мятеж воинский» (как раз именно к этим двум «пунктам» и сводилось все обвинение декабристов), а также ссылаясь на имевшие место «прецеденты» применения смертной казни после издания указов 1753—1754 гг.: казнь Мировича в 1764 г., участников «чумного бунта» в Москве в 1771 г., Е. Пугачева и его «сообщников» в 1775 г.

⁶ Первоначально предполагалось разделить подсудимых по степени их виновности на 17 разрядов, затем по предложению М. М. Сперанского было установлено 11 разрядов и выделена «внезарядная» группа (П. И. Пестель, К. Ф. Рылев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский).

⁷ 5 июля 1826 г. Верховный уголовный суд утвердил «решительный протокол» (приговор) подсудимым и избрал комиссию для составления доклада суда императору в составе Н. М. Бороздина, М. М. Сперанского и А. В. Казадаева. Доклад был готов 7 июля, обсужден на заседании суда 8 июля, и было принято решение представить его на конфирмацию (утверждение) императора 10 июля.

⁸ «Послабления» заключались в том, что первому разряду (31 подсудимый) вместо «смертной казни отсечением головы» назначалась пожизненная каторга, остальным несколько сокращался срок каторжных работ. Что касается «внезарядной» группы, то Николай I предоставил решить ее судьбу самому суду. Лицемерно устранив от утверждения смертных приговоров, Николай I вместе с тем прозрачно намекал суду, какую смертную казнь необходимо назначить. 10 июля Дибич писал председателю суда Лопухину: «На случай сомнения о виде казни, какая сим преступникам судом определена быть может, государь император повелеть соизволил предварить Верховный суд, что его величество никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную» (ВД. Т. XVII. С. 246). Суд понял намек и на заседании 11 июля вынес решение «сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить» (ВД. Т. XVII. С. 247).

12 июля Николай I писал Михаилу Павловичу: «Осуждены на смерть не мной, а по воле Верховного суда, которому я предоставил их участь» (Междуцарствие 1825 года... С. 207).

⁹ Объявление приговоров Верховного уголовного суда происходило с 12 до 3 часов дня 12 июля в комендантском доме Петропавловской крепости.

ИЗ ДНЕВНИКА ЧЛЕНА ВЕРХОВНОГО УГОЛОВНОГО СУДА СЕНАТОРА П. Г. ДИВОВА

Извлечения из дневника чиновника Министерства иностранных дел, сенатора Павла Гавриловича Дивова (1765—1841), дяди декабриста В. А. Дивова, здесь воспроизводятся по публикации: Русская старина. 1897. № 3. С. 482—485.

¹ По указу Сенату от 1 июня 1826 г. в состав Верховного уголовного суда над декабристами назначено 72 человека. На первом заседании суда 3 июня 1826 г. по разным причинам отсутствовало 6 его членов.

² Имеются в виду подписанные 1 июня 1826 г. Николаем I манифест об учреждении Верховного уголовного суда и указ Сенату о составе суда.

³ Речь идет о «Донесении Следственной комиссии» по делу декабристов от 30 мая 1826 г. императору.

⁴ Здесь имеются в виду составленные еще заранее по приказу Николая I делопроизводителем Следственной комиссии А. Д. Боровковым «записки о силе вины» каждого декабриста.

⁵ Речь идет об избрании на пятом заседании Верховного уголовного суда так называемой «Ревизионной комиссии», в задачу которой входила «ревизия» (удостоверение) показаний подсудимых.

⁶ «Комитетом» Дивов именует Ревизионную комиссию.

⁷ Речь идет об избрании Разрядной комиссии («Комиссии для установления разрядов разных степеней виновности государственных злоумышленников») под председательством П. А. Толстого; фактически всей работой комиссии руководил М. М. Сперанский. Как и Ревизионная комиссия, Разрядная избиралась всем составом суда путем баллотировочных листов.

⁸ Имеется в виду протокол об утверждении «донесения» Верховному уголовному суду Ревизионной комиссии о результатах проведенной «ревизии» дел подсудимых 8—9 июня 1826 г.

⁹ Во время занятий Разрядной комиссии Верховный уголовный суд собирался 21 июня для слушания представленных в суд дополнительных показаний М. П. Бестужева-Рюмина.

¹⁰ На заседании 27 июня был утвержден «план заседаний» суда на завершающем этапе его работы.

¹¹ На заседании 28 июня был утвержден доклад Разрядной комиссии, принято распределение подсудимых по степени их виновности на 11 разрядов и выделение «внеразрядной» группы, в которую были включены П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский. Первоначально суд определил меру наказания каждому разряду, а затем и в отдельности каждому подсудимому.

¹² Вопрос, что считать «большинством голосов» при голосовании — абсолютное ли число голосов (составляющее более половины присутствующих членов суда) или «большинство одного мнения противу других», — обсуждался 30 июня. Было принято второе предложение. Это означало, что при 72 членах суда приговор мог быть вынесен «большинством» в 30, 20 и менее голосов «одного мнения», если остальные голоса разбивались по другим «мнениям».

¹³ Имеется в виду Александра Федоровна, жена Николая I. Утренние и вечерние заседания суда имели место 29 и 30 июня, но они не были зафиксированы в дневнике П. Г. Дивова, хотя он, как видно из протоколов заседаний, присутствовал на каждом из них.

¹⁴ Суд приговорил: 5 человек — к смертной казни «четвертованием», 31 — к смертной казни «отсечением головы», 17 — к «политической смерти» («т. е. положить голову на плаху, а потом сослать вечно в каторжную работу»), 2 — к «вечной каторге», 16 — к 15-летней каторге с последующим пожизненным поселением

в Сибири, 5 — к 10-летней каторге и пожизненному поселению, 2 — к 6-летней каторге и пожизненному поселению, 15 — к 4 годам каторги и пожизненному поселению, 15 — «к лишению чинов, дворянства и к ссылке на поселение», 3 — к лишению чинов и дворянства и ссылке в Сибирь, 1 (М. И. Пущин) — к лишению чинов и дворянства и разжалованию в рядовые и 8 — к «лишению только чинов и разжалованию в рядовые с выслугою». Один из подсудимых (О. В. Горский), о котором решение суда состоялось особо (11-го июля), был по личному указанию Николая I сослан на поселение в Сибирь.

¹⁵ Официально оно называлось «Всепопданнейшим докладом Верховного уголовного суда». Доклад был представлен на конфирмацию Николаю I 8 июля (ср. в тексте — 9 июля) 1826 г. и представлял собой текст приговора суда, вынесенного декабристам.

¹⁶ Имеется в виду указ — конфирмация Николаем I от 10 июля 1826 г. приговора декабристам.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Н. МЫСЛОВСКОГО

Петр Николаевич Мысловский (1777—1846) — протоиерей Казанского собора, духовник декабристов в Петропавловской крепости. Его воспоминания о П. И. Пестеле в крепости воспроизводятся в сокращении по изданию: Из записной книжки протоиерея П. Н. Мысловского // Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. М., 1905. Вып. 4. С. 29—40.

¹ По свидетельству Е. И. Якушкина (слышавшего об этом от ссыльных декабристов в Ялуторовске), Пестель на обвинение его в царевубийстве заявил следователям: «Я еще не убил ни одного царя, а между моими судьями есть царевубийцы». Это был явный намек на члена Следственного комитета П. В. Голиничева-Кутузова, участника убийства Павла I в 1801 г. (Декабристы на поселении. М., 1957. С. 57).

² Фридрих-Тимофей *Рейнбот* (1781—1837).

КАЗНЬ ДЕКАБРИСТОВ. РАССКАЗЫ СОВРЕМЕННИКОВ

Здесь воспроизводятся опубликованные в «Русском архиве» (1881, № 2, с. 341—346) Н. Рамазановым записи рассказов трех очевидцев казни декабристов: немецкого историка Иоганна Генриха Шницлера, литератора Николая Васильевича Путяты и начальника кронверка Петропавловской крепости Василия Ивановича Беркофа.

¹ Антон Антонович *Дельви́г* (1798—1831).

² Огюст Фредерик Луи Виес де *Мармон* (1774—1852) — маршал Франции (с 1809 г.), участник наполеоновских войн. После падения Наполеона служил Бурбонам.

КАЗНЬ 14 ИЮЛЯ 1825 ГОДА (СО СЛОВ ПРИСУТСТВОВАВШЕГО ПО СЛУЖБЕ ПРИ КАЗНИ)

Автор рассказа неизвестен. Рассказ воспроизводится по изданию: Полярная звезда. 1861. Кн. 6. С. 72—75.

¹ Ошибка мемуариста — казнь состоялась на рассвете 13 июля 1826 г.

РАССКАЗ ПОМОЩНИКА ПОЛИЦЕЙСКОГО НАДЗИРАТЕЛЯ О КАЗНИ ДЕКАБРИСТОВ

Фамилия помощника полицейского надзирателя не установлена. Рассказ его с некорректными сокращениями воспроизводится по книге: Общественные движения в России в первую половину XIX века. Спб., 1905. С. 462—466.

¹ Имеется в виду Борис Яковлевич *Княжнин* (1777—1854) — обер-полицей-мастер в Петербурге в 1826 г.

IV. ДЕКАБРИСТЫ НА КАТОРГЕ, В ССЫЛКЕ И ПОСЛЕ АМНИСТИИ

ИЗ «ЗАПИСОК» М. Н. ВОЛКОНСКОЙ

Мария Николаевна Волконская, урожденная Раевская (1805—1863) — жена декабриста С. Г. Волконского. Добровольно последовала за мужем в сибирскую ссылку. Свои «Записки» адресовала старшему сыну Михаилу Сергеевичу. Сын впервые опубликовал их во французском оригинале, а в русском переводе — в 1904 г. под названием «Записки княгини М. Н. Волконской». Воспоминания М. Н. Волконской неоднократно переиздавались. Извлечения из «Записок» здесь воспроизводятся по их последнему изданию: Записки М. Н. Волконской. М., 1977. С. 21—40, 49—55, 58—71.

¹ ...*брат*... — Александр Николаевич Раевский.

² Николай Николаевич Раевский.

³ Имеется в виду Николай Волконский, родившийся 2 января 1826 г.

⁴ ...*письмо его величества*. — 15 декабря 1826 г. М. Н. Волконская обратилась к Николаю I с прошением разрешить ей следовать за мужем в сибирскую ссылку. В ответном письме от 21 декабря того же года Николай I, давая такое же разрешение Волконской, отговаривал ее от этого шага, предупреждая о тех опасностях, которые ее могут встретить за Байкалом.

⁵ Здесь имеется в виду эпизод боя 23 июля 1812 г. при д. Дашковке, где корпусу Н. Н. Раевского пришлось в течение 10 часов сдерживать натиск войск дивизии маршала Даву, чтобы прикрыть переход 2-й армии через Днепр у Быхова.

⁶ *Петр Михайлович Волконский* (1776—1852) — князь, генерал-фельдмаршал, министр императорского двора.

⁷ *Зинаида Александровна Волконская*, урожденная Белосельская-Белозерская (1792—1878) — писательница. В ее доме на Тверской с 1824 г. собирались видные представители литературного мира и искусства Москвы: в числе их А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, Адам Мицкевич. «Прощальный вечер» М. Н. Волконской, направляющейся к мужу в Сибирь, состоялся здесь 27 декабря 1826 г.

⁸ Евгений Онегин. Гл. I, стр. XXXIII.

⁹ *Александра Григорьевна Муравьева*, урожденная гр. Чернышева (1804—1832) — жена декабриста Н. М. Муравьева.

¹⁰ ...*по паспорту ходила*... — Т.е. была отпущена своим помещиком по паспорту на оброк.

¹¹ ...*сестра Орлова*... — Речь идет о Екатерине Николаевне Орловой, урожденной Раевской.

¹² *Каташа* — Екатерина Ивановна Трубецкая.

¹³ Иван Богданович *Цейдлер* (1780—1853) — иркутский гражданский губернатор (1821—1835).

¹⁴ Александр Николаевич *Муравьев* (1792—1863) — отставной полковник, член Союза благоденствия, был сослан в Сибирь без лишения чина.

¹⁵ ...*вторую подписку*... — Текст ее см. в публикуемых в данном издании воспоминаниях П. Е. Анненковой.

¹⁶ Тимофей Васильевич *Бурнашев* — начальник Нерчинских рудников; известен суровым обращением с декабристами и их женами.

¹⁷ Василий Львович *Давыдов* (1792—1855) — отставной полковник, член Южного общества.

¹⁸ *Понтоны* — так называли разоруженные военные суда, служившие плавучими тюрьмами в Англии и во Франции.

¹⁹ Елизавета Петровна *Нарышкина*, урожд. Коновницына (1801—1867) — жена М. М. Нарышкина. Александра Васильевна *Ентальцева* (Янтальцова), урожд. Лисовская (ум. в 1859 г.) — жена А. В. Ентальцева.

²⁰ Луций Домиций Агеобарб *Нерон* (37—68) — римский император (54—68).

²¹ Наталья Дмитриевна *Фонвизина*, урожд. Алухтина (1805—1869) — жена М. А. Фонвизина.

²² Фердинанд Богданович *Вольф* (ум. в 1854) — член Южного общества.

²³ И. И. Сухинов ранее служил в Черниговском полку, но еще перед восстанием этого полка, как указывает И. В. Порох, «в интересах [тайного] общества был переведен в Александрийский гусарский полк» (Порох И. В. Восстание Черниговского полка // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 162).

²⁴ М. Н. Волконская неточно описывает попытку И. И. Сухинова в мае 1828 г. поднять восстание сырьнокаторжных в Зерентуйском руднике Нерчинского горного округа, где в то время отбывали каторжные работы и некоторые из декабристов. Сухинов и другие участники заговора (находившиеся на каторге другие декабристы в заговоре не участвовали) намеревались бежать с каторги к китайской границе, но были выданы провокатором (См.: Нечкина М. В. Заговор в Зерентуйском руднике // О нас в истории страницы напишут. Иркутск, 1982).

²⁵ Строительство тюрьмы для декабристов при Петровском чугуноплавильном заводе (в 630 верстах к западу от Читы) было начато в 1828 г. К лету 1830 г. она еще не была окончена, как поступило распоряжение об отправке декабристов из Читы. 69 человек двумя партиями совершили переход из Читы в Петровск за 46 дней.

²⁶ Александра Васильевна *Розен*, урожденная Малиновская (1797—1883) — жена декабриста А. Е. Розена.

²⁷ Мария Казимировна *Юшневская*, урожденная Кругликова (1790—1863) — жена декабриста А. П. Юшневого.

²⁸ Имеется в виду революция 26—28 июля 1830 г. во Франции, свергнувшая династию Бурбонов.

²⁹ Камилла Петровна *Ивашева*, урожденная Ле Дантю (1803—1839) — жена В. П. Ивашева.

³⁰ Василий Петрович Ивашев умер в 1840 г.

³¹ А. И. Одоевский умер в 1839 г. от малярии во время очередной военной экспедиции против горцев.

³² Имеется в виду Иосиф Викторович *Поджио* (1792—1848) — отставной штабс-капитан, член Южного общества; осужден на 15 лет каторжных работ; по царской конфирмации срок каторги был сокращен до 12 лет. Тесть И. В. Поджио сенатор Н. Бороздин после вынесения приговора обратился к царю с просьбой заключить зятя на время каторги в крепость и место заключения держать в строгом секрете, так как жена И. В. Поджио настоятельно хотела последовать за ним в Сибирь, чему ее отец решительно противился. По распоряжению Николая I И. В. Поджио с октября 1827 по июль 1834 г. содержался в Свеаборгской и Шлиссельбургской крепостях. В 1834 г., когда жену И. В. Поджио убедили, что ее муж якобы уже умер, и она вторично вышла замуж, И. В. Поджио был отправлен в ссылку в д. Усть-Куда в семи верстах от села Урик.

³³ О причинах вторичного ареста и преследования М. С. Лунина см. коммент. 9 к мемуарам неизвестного автора «Из воспоминаний о Лунине» (раздел I).

³⁴ Арсений Андреевич *Закревский* (1783—1865) в 1823—1831 гг. был финляндским генерал-губернатором.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Е. АННЕНКОВОЙ

Текст воспоминаний П. Е. Анненковой о пребывании в Сибири здесь воспроизводится в сокращении по изданию: Воспоминания Полины Анненковой, с приложением воспоминаний ее дочери О. И. Ивановой и материалов из архива Анненковых. Красноярск, 1977. С. 148—162, 175—180.

¹ *Наквасины* — семья богатых сибирских купцов; помогали ссыльным декабристам.

² Александр Степанович *Лавинский* (1776—1844) — генерал-губернатор Восточной Сибири (1822—1833).

³ Василий Иванович *Розенберг* — плац-адъютант, затем плац-майор в Чите и на Петровском заводе, в отсутствие С. Р. Лепарского замещал его по должности. Относился к декабристам благожелательно.

⁴ С. П. Трубецкой и С. Г. Волконский были отправлены в Сибирь со второй партией осужденных 23 июля 1826 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О. И. ИВАНОВОЙ О СВОЕМ ОТЦЕ И. А. АННЕНКОВЕ

Ольга Ивановна Иванова, урожденная Анненкова (1830—1891) — старшая дочь декабриста И. А. Анненкова. В 1852 г. вышла замуж за Константина Ивановича Иванова, адъютанта омского генерал-губернатора. Ее воспоминания об отце здесь воспроизводятся в сокращении по изданию: Воспоминания Полины Анненковой, с приложением воспоминаний ее дочери О. И. Ивановой и материалов из архива Анненковых. С. 193—224.

¹ *...брата...* — Имеется в виду Владимир Иванович Анненков (1831—189?).

² Ф. Б. Вольф умер в 1854 г.

³ Здесь некоторая неточность мемуаристки: А. Г. Муравьева умерла 23 ноября 1832 г., А. С. Пестов умер 25 декабря 1833 г.

⁴ *...в Восточную Сибирь...* — Ошибка мемуаристки. Анненковы были переведены из Бельска в г. Туринск, находившийся в Западной Сибири (ныне Туринск находится в пределах Свердловской обл.). Распоряжение о переводе Анненковых последовало 5 октября 1837 г.

⁵ *...вследствие вновь последовавших распоряжений со стороны правительства.* — В 1845 г. Комитет министров принял новое положение о декабристах-поселенцах — «Об отлучке их из мест жительства», которое существенно ограничивало возможность передвижения ссыльных декабристов. Поселенным в городе дозволялись отлучки не более чем на 30 верст, а из селения — на 15, по выдаваемым на это билетам на срок не более трех суток. На больший срок отлучки необходимо было разрешение III отделения. (см.: Кодан С. В. Сибирская ссылка декабристов. Историко-юридическое исследование. Иркутск, 1983. С. 206).

⁶ *...превратно истолкованный старшиною...* — В сельской местности, где на поселении находились ссыльные декабристы, обязанности полицейского надзора за ними были возложены на волостных старшин.

М. В. БРЫЗГАЛОВА. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ АННЕНКОВ

Мария Владимировна Брызгалова (1873—?) — внучка И. А. Анненкова. Ее воспоминания, составленные по семейным преданиям, здесь воспроизводятся по изданию: Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926. С. 183—187.

¹ И. А. Анненков после амнистии и возвращения на родину служил в должности чиновника особых поручений при нижегородском губернаторе (1856—1857), а с 1861 г. и до самой смерти в 1878 г. избирался предводителем дворянства Нижегородского уезда.

² *Выросши в семье, которая благодаря французской революции потеряла свое состояние...* — П. Е. Анненкова (П. Гебль) родилась и воспитывалась в аристократической роялистской семье в Лотарингии. Во время революции 1789 г. семья потеряла родовое владение и замок Шампинь. Правда, впоследствии отец П. Гебль был наполеоновским генералом; убит в Испании в 1809 г.

³ *Николай Николаевич Анненков* (1800—1865) — двоюродный брат И. А. Анненкова, генерал-адъютант, позднее киевский генерал-губернатор.

⁴ *...своим двум сыновьям...* — Речь идет о Владимире и Иване Ивановичах Анненковых.

Н. А. БЕЛОГОЛОВЫЙ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СИБИРЯКА
О ДЕКАБРИСТАХ

Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895) — врач, писатель-демократ и общественный деятель, друг Н. А. Некрасова, был близок А. И. Герцену и М. Е. Салтыкову-Щедрину, сотрудник народнической газеты «Общее дело» (1877—1890), издававшейся в Швейцарии. Выдержки из его очерка «Воспоминания сибиряка о декабристах» воспроизводятся здесь по изданию: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897.

¹ Ревизия сенатора И. Н. Толстого Восточной Сибири проводилась в 1843—1845 гг. Члены комиссии интересовались пограничной охраной Забайкалья, археологией и этнографией края, проверяли состояние тюрем, госпиталей и места работы ссыльнокаторжных. В частности, в марте 1845 г. комиссия посетила Акатуй, где находился в ссылке М. С. Лунин.

² М. К. Юшневская после смерти мужа в 1844 г. находилась в Сибири еще 10 лет. Вернулась на родину накануне объявления амнистии декабристам. Умерла в Киеве в 1863 г. в возрасте 73 лет.

³ *Сан Миньято аль Монте* — собор во Флоренции, воздвигнутый в XI—XIII вв. в честь армянского царевича Миньято, который, согласно преданию, мученически погиб за христианскую веру в III в.

⁴ Арман Эмманюэль дю Плесси *Ришелье* (1766—1822) — герцог; эмигрировал в Россию во время Французской революции. В 1805—1814 гг. генерал-губернатор Новороссийского края, в 1814 г. вернулся во Францию.

Александр Федорович *Ланжерон* (1763—1831) — граф, херсонский военный губернатор и одесский градоначальник (1815—1822).

Осип Михайлович *Де Рибас* (Дерибас) (1749—1800) — адмирал на русской службе; выходец из Испании. Руководил строительством города и порта Одессы.

⁵ Вильгельм Яковлевич *Руперт* (1787—1849) — иркутский и енисейский генерал-губернатор.

⁶ Иосиф Викторович Поджио умер в 1848 г.

⁷ Александр Николаевич *Сутгоф* был отправлен из сибирской ссылки рядовым на Кавказ в 1837 г.

⁸ Здесь ошибка Белоголового: Лунин, как известно, умер в Акатуе в декабре 1845 г., а не «через несколько месяцев» после вторичного ареста в 1841 г.

⁹ Александр Михайлович Муравьев женился на Жозефине Адамовне Бракман (1814—?).

¹⁰ Ошибка: доктор Вольф умер в 1854 г.

¹¹ *Смоленщина* — село близ Иркутска.

¹² Высокий нравственный и гражданский подвиг жен декабристов, отправившихся за своими мужьями в добровольную ссылку в Сибирь, уже получил тогда яркое художественное изображение в поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины».

¹³ Андрей Васильевич *Пятницкий* — иркутский гражданский губернатор в 1839—1848 гг.

¹⁴ Н. Н. Муравьев-Амурский.

¹⁵ О деле А. В. Поджио со своими племянниками Александром и Львом Иосифовичами Поджио (сыновьями И. В. Поджио) А. И. Герцен писал в «Колоколе» (лист 103, 15 июля 1861, с. 868): «Известный декабрист Александр Викторович Поджио, по возвращении из Сибири, нашел свое имя в руках родных племянников Александра и Льва Осиповичей, весьма богатых помещиков. Они не возвратили старцу его имения, стоящего более 35 000 рублей, и он, обремененный семьей, остался без средств. Если племянники не опровергнут этого, то имя их не должно забыться в наших летописях». В 135 листе «Колокола» от 1 июня 1862 г., с. 1124, появилось следующее сообщение: «С истинным удовольствием спешим уведомить наших читателей, что старший племянник Поджио, Александр Осипович, честно и добросовестно рассчитался с дядей». Трудно судить, явился ли поступок А. О. Поджио, о котором пишет Белоголовый, следствием той огласки, какую получило дело в «Колоколе», или же до Герцена первоначально дошли неточные сведения.

¹⁶ Имеются в виду статьи Д. И. Завалишина: «Амур», «Дела Муравьева и его клевретов в Восточной Сибири», «По поводу статей об Амуре», печатавшиеся в «Морском сборнике» в 1858—1860 гг. Эти и другие статьи с нападками на

сибирскую администрацию действительно явились причиной высылки Завалишина из Сибири в Европейскую Россию в 1863 г. Завалишин поселился в Москве, где и умер в 1892 г.

П. И. ПЕРШИН (КАРАКСАРСКИЙ). ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕКАБРИСТАХ

Петр Иванович Першин (1835—1912) — уроженец забайкальского села Караксары (отсюда псевдоним Караксарский), в 1849 г. окончил Нерчинское уездное училище, с 1857 г. начал службу в кяхтинских купеческих конторах, сотрудничал в газете «Кяхтинский листок» и в других сибирских изданиях, дружил со многими декабристами. Выдержки из его воспоминаний о декабристах здесь приводятся по их публикации: Исторический вестник. 1908. № 11. С. 537—659.

¹ Дмитрий Дмитриевич *Старцев* — кяхтинский купец.

² Исторический вестник. 1906. № 1. С. 265.

³ Джузеппе *Гарibaldi* (1807—1882) — народный герой Италии, революционер-демократ; один из руководителей национально-освободительного движения в Италии; в 1860 г. возглавил поход революционной «Тысячи», освободившей юг Италии, что обеспечило победу итальянского движения и объединение Италии в 1862 г.

⁴ Джузеппе *Мадзини* (Маццини) (1805—1872) — основатель организации «Молодая Италия», борющейся за освобождение страны от австрийского ига; участник революции 1848—1849 гг., сподвижник Гарibaldi, друг А. И. Герцена.

Лайош *Кошут* (1802—1894) — главный организатор борьбы Венгрии за независимость в революции 1848—1849 гг.; возглавлял в годы революции «Комитет защиты родины». После поражения революции эмигрировал.

⁵ На самом деле весьма немногие декабристы были крупными и даже средними помещиками. Крупными помещиками были члены Северного общества Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев, М. С. Лунин, С. П. Трубецкой, П. Н. Свистунов, М. А. Фонвизин, И. А. Анненков. Члены же Южного и особенно Общества соединенных славян были преимущественно мелкопоместными и даже беспоместными дворянами. Добавим, что у большинства декабристов в эпоху деятельности тайных обществ именьями владели их родители: сами они числились «наследниками» этих имений и не имели права ими распоряжаться.

⁶ *Сележане* — т. е. жители Селенгинска, среди которых были поселены ссыльные декабристы.

⁷ Известно определение В. И. Ленина: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 261). Однако неверно утверждение Караксарского, что декабристы «не имели под собой почвы», а «масса» встретила их «враждебно». Здесь мемуарист находится в плену представлений современной ему дворянской и либерально-буржуазной историографии о «беспочвенности», «наносности» движения декабристов. Отношение народных масс к декабристам было неоднозначным. Достаточно вспомнить поведение «черни» в день восстания 14 декабря в Петербурге, явно сочувствовавшей восставшим и изъявлявшей свою готовность к ним примкнуть. Аналогичным было поведение крепостных крестьян в районе движения восставшего Черниговского полка. Однако, конечно, основная масса темного, забитого крепостного крестьянства не понимала и не могла понять смысла дела декабристов.

⁸ *Филипповки* — по православному календарю время поста, который начинался со дня св. Филиппа, 14 ноября, и продолжался до рождества Христова 25 декабря (ст.ст.). Перед филипповками обычно играли осенние свадьбы.

⁹ ...*увекочил их память, издав альбом.* — Имеется в виду издание М. М. Зензинова: Декабристы. 86 портретов. М., 1906.

¹⁰ «*Сидейки*», или «*бестужевки*» — легкие двухколесные повозки; изобретены не Николаем, как указывает мемуарист, а Михаилом Бестужевым. М. А. Бестужев создал и мастерскую по производству этих экипажей, в которой работали русские и буряты.

¹¹ Амнистия декабристам была объявлена коронационным манифестом Александра II 26 августа 1856 г.

¹² Александр Ильич и Оскар Ильич *Квисты* — сыновья сестры И. И. Горбачевского Анны Ивановны (1791—1879), в замужестве за директором канцелярии главнокомандующего 1-й армией И. И. Квистом (1788—1853).

¹³ *Чикойская тайга* — так называлась местность по забайкальской реке Чикой.

¹⁴ Речь идет об изданиях «Русской вольной типографии» А. И. Герцена за границей.

¹⁵ М. К. Кюхельбекер был женат на Анне Степановне Токаревой. Их дочери: Юлия (р. 1840), Александра (р. 1845), Екатерина (р. 1846), Анна (р. 1852) и Анастасия (р. 1857).

¹⁶ Имеется в виду иркутский воспитательный дом.

¹⁷ Брак М. К. Кюхельбекера с А. С. Токаревой был заключен в 1834 г. Местное духовенство подало донос высшему епархиальному начальству о том, что А. С. Токарева приходилась кумой М. К. Кюхельбекеру (по канонам православной церкви жениться на куме категорически воспрещалось — такой брак рассматривался как «кровосмешение»). Решением Синода брак был расторгнут, но М. К. Кюхельбекер не подчинился этому решению.

О. Н. БАЛАКШИНА. ЗАПИСЬ ЕЕ ВОСПОМИНАНИЙ О ДЕКАБРИСТАХ В СИБИРИ

Ольга Николаевна Балакшина (1838—1925) — дочь купца Николая Яковлевича Балакшина, управляющего, а затем компаньона золотопромышленника и откупщика Н. Ф. Мясникова. Училась в основанной И. Д. Якушкиным в Ялуторовске женской школе, затем была преподавателем в этой школе. Семья Балакшиных находилась в дружеских отношениях с декабристами.

Воспоминания О. Н. Балакшиной записаны в 1924 г. ее родственником — студентом Томского технологического института Б. С. Балакшиным. Впервые воспоминания О. Н. Балакшиной были опубликованы в журнале «Сибирские огни» (1924, № 3, с. 178—181), затем в издании: *Декабристы в Сибири*. Дум высокое стремленье. Иркутск, 1975. С. 263—267. Здесь воспроизводятся в сокращении с последнего издания.

¹ Об А. П. Созонович см. в комментариях к ее воспоминаниям.

² И. Д. Якушкин сначала служил в л.-гв. Семеновском полку, откуда был переведен в 37-й егерский полк. В 1818 г. вышел в отставку в чине штабс-капитана.

³ Жена И. Д. Якушкина Анастасия Васильевна, урожденная Шереметева, неоднократно ходатайствовала о разрешении ей отправиться в сибирскую ссылку к мужу, но под различными предлогами получала отказ.

⁴ Сыновья И. Д. Якушкина Евгений и Вячеслав приезжали к отцу в Ялуторовск в 1853—1854 гг.

⁵ *Метод обучения в школе был английский — Ланкастера...* — Ланкастерская система взаимного обучения, когда старшие учащиеся под наблюдением учителей обучают младших чтению, письму и счету, возникла в Англии в XVIII в. В России она впервые была применена в армии. Широко использовалась декабристами (например, М. Ф. Орловым и В. Ф. Раевским в 1818—1822 гг.).

⁶ Имеется в виду А. М. Муравьев.

⁷ К М. И. Муравьеву-Апостолу никто не приезжал.

⁸ Н. В. Басаргин был женат третьим браком на Ольге Ивановне (по первому мужу Медведевой), урожденной Менделеевой, сестре Д. И. Менделеева.

⁹ Здесь в воспоминаниях ошибка: Н. В. Басаргин умер в Москве в 1861 г.

¹⁰ Е. П. Оболенский женился на вольноотпущенной крестьянке, записанной в мещанское сословие, Варваре Семеновне Барановой (1821—1894).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. Д. ФРАНЦЕВОЙ

Мария Дмитриевна Францева (1835—1917) — дочь чиновника Д. И. Францева, служившего в Сибири в 1836—1854 гг. и дружившего со многими ссыльными декабристами, особенно с семьей Фонвизиных. М. Д. Францева воспитывалась

в семье Фонвизиных. Ее воспоминания о ссыльных декабристах публиковались в «Историческом вестнике», 1888, № 5—7, и позднее там же (1917, № 3). Здесь часть ее воспоминаний воспроизводится по изданию: Исторический вестник. 1917. № 3. С. 694—715.

¹ В 1832 г. семья Фонвизиных получила разрешение на выезд из Петровского завода на поселение, но выезд задержался из-за ожидавшихся родов Н. Д. Фонвизинной. Выехали они из Петровского завода только весной 1834 г. Местом поселения был назначен небольшой городок Енисейск, где Фонвизины познакомились с семьей Францевых. Летом 1835 г., после многих хлопот, Фонвизинным было разрешено переселиться в Красноярск, а в конце лета 1838 г. им удалось добиться перевода на жительство в Тобольск, где они находились до 1853 г., когда им было разрешено вернуться в Европейскую Россию.

² Речь идет об Иване Борисовиче Аврамове (1801—1840).

³ Павел (а не «Петр», как ошибочно значится в тексте) Дмитриевич *Горчаков* (1789—1868) — князь, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Западной Сибири (1836—1851).

⁴ Имеется в виду Иван Александрович Фонвизин (1790—1853) — отставной полковник, член Союза благоденствия. Как «отставший» от тайного общества после 1821 г. к следствию не привлекался.

⁵ Дмитрий Михайлович Фонвизин (1824—1850).

⁶ Михаил Михайлович Фонвизин (1826—1851).

⁷ Богдан и Иван.

⁸ *Степан Яковлевич Знаменский* (1806—1877) — тобольский протоиерей, друг декабристов И. Д. Якушкина и М. А. Фонвизина.

⁹ Имеются в виду воспитанницы Фонвизиных — Прасковья Свешникова и Антониды Дмитриева.

¹⁰ Ошибка мемуаристки: Жозефина Адамовна Бракман.

¹¹ У А. М. Муравьева было 6 детей: Никита и Лидия (умершие в младенчестве) и жившие ко времени написания воспоминаний М. Д. Францовой Михаил, Екатерина, Елена и Александр.

¹² Марининская женская школа в Тобольске была открыта в 1854 г.

¹³ *Виктор Антонович Арцимович* (1820—1893) — тобольский (1854—1858) и калужский (1858—1862) губернатор; был в близких отношениях со многими декабристами, в особенности дружил с П. Н. Свистуновым.

¹⁴ П. Н. Свистунов переехал в Москву из Калуги летом 1862 г.

¹⁵ *Бюльбери* — легкая длинная повозка.

¹⁶ Имеется в виду муравьевская школа колонновожатых в Москве, в которой обучались многие декабристы.

¹⁷ Поименованные здесь декабристы были (кроме Бриггена) в 1837 г. по специальному повелению Николая I отправлены рядовыми на Кавказ.

¹⁸ *...подземную церковь...* — Имеется в виду церковь архангела Михаила, сооруженная в XVII в. на территории нижегородского кремля.

¹⁹ В. К. Тизенгаузен вернулся на родину (в Нарву) в 1853 г., в возрасте 70 лет.

²⁰ Петр Иванович *Коновницын* (1764—1822) — граф, генерал от инфантерии, начальник арьергарда 2-й Западной армии в 1812 г.; военный министр (1815—1819).

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ. ДЕКАБРИСТЫ В ЯЛУТОРОВСКЕ (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННОКА)

Сергей Семенов — почтовый чиновник в г. Ялуторовске. В публикации его воспоминаний в книге «Декабристы в Сибири. Дум высокое стремление» (Иркутск, 1975) эти мемуары ошибочно приписывают декабристу С. М. Семенову, который отбывал ссылку не в Ялуторовске, а в Тобольске. Воспоминания С. Семенова в настоящем издании приводятся по их публикации в «Сибирском архиве» (1913, № 6/8, с. 276—284).

¹ Официальный манифест о смерти Николая I был обнародован 19 февраля 1855 г.

² Сыновья В. К. Тизенгаузена — Михаил (1823—1869) и Александр (1825—1876) — приезжали к отцу в Ялуторовск в 1851 г. и находились там до марта 1852 г.

³ А. В. Ентальцев скончался в Ялуторовске в 1845 г. А. В. Ентальцева вернулась из Сибири в 1856 г. Умерла в Москве.

А. П. СОЗОНОВИЧ. ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ К. М. ГОЛОДНИКОВА «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ В ЯЛУТОРОВСКЕ И КУРГАНЕ»

Августа Павловна Созонович (1833—?) — дочь офицера уланского полка Бургского военного поселения П. Г. Созоновича, сосланного в Сибирь в 1823 г. за «оскорбление действием» (пощечина) своего полкового командира. В 1837 г. А. П. Созонович была отдана на воспитание в семью М. И. Муравьева-Апостола. Воспоминания А. П. Созонович представляют собой критические заметки на опубликованную в 1888 г. статью К. М. Голодникова о декабристах в Ялуторовске и Кургане, содержащую много неточностей. Воспоминания А. П. Созонович были опубликованы в книгах: Декабристы. Материалы для характеристики. М., 1907. С. 117—171; Декабристы в Сибири. Дум высокое стремление. Иркутск, 1975. С. 268—285. Здесь извлечения из ее воспоминаний приводятся по книге: Декабристы. Материалы для характеристики. М., 1907.

¹ Неточность мемуаристики: вел. кн. Александр Николаевич проезжал через Тобольск, Тюмень и Ялуторовск в 1836 г.

² Имеется в виду Михаил Николаевич *Муравьев* (1796—1866) — в 50-е годы министр государственных имуществ.

³ Николай Николаевич Муравьев-Амурский.

⁴ Михаил Илларионович *Бибиков* (1818—1881) — сын сестры М. И. Муравьева-Апостола, Екатерины Ивановны Бибиковой.

М. С. ЗНАМЕНСКИЙ. ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН

Михаил Степанович Знаменский (1833—1892) — сын протоиерея С. Я. Знаменского, художник и общественный деятель, исследователь археологических памятников Сибири, воспитаник декабристов. Очерк о И. Д. Якушкине впервые им опубликован в журнале «Восточное обозрение» (1886). Новый вариант воспоминаний М. С. Знаменского под названием «Детство среди декабристов», куда вошел и очерк об И. Д. Якушкине, был опубликован по рукописи в журнале «Сибирские огни» (1946, № 2, с. 101—111); впоследствии переиздан в книге: Декабристы в Сибири. Дум высокое стремление. Иркутск, 1975. С. 246—262. Здесь воспроизводится в сокращении по этому последнему изданию.

¹ ...с новым протоиереем... — Имеется в виду С. Я. Знаменский.

² Ошибка мемуариста: теща И. Д. Якушкина — Надежда Николаевна Шереметева, урожденная Тютчева (1775—1850).

³ Жена Якушкина, Анастасия Васильевна, умерла 20 февраля 1846 г.

И. В. ЕФИМОВ. ИЗ «ЗАМЕТОК НА ВОСПОМИНАНИЯ Л. Ф. ЛЬВОВА»

Иван Владимирович Ефимов (1820—1903) — управляющий Александровским винокурным заводом, родственник декабриста В. Ф. Раевского; встречался со многими ссыльными декабристами в Сибири. Его воспоминания о декабристах, живших на поселении в Восточной Сибири, явились в плане критического выступления на опубликованную в «Русском архиве» (1885, № 4) статью аристократа Л. Ф. Львова, неуважительно отзывавшегося о декабристах. «Заметки» И. В. Ефимова были впервые опубликованы в «Русском архиве» (1885, № 12, с. 553—564). Напечатаны они в книге: Декабристы в Сибири. Дум высокое стремление. Иркутск, 1975. С. 175—184. Здесь воспроизводятся в сокращении по этому последнему изданию.

¹ Имеется в виду некоторое сокращение сроков каторги для декабристов: в 1828, в 1832, в 1835 гг.

² А. Н. Андреев в 1831 г. по состоянию здоровья переводился из Олекминска Якутской области в г. Верхнеудинск.

³ Александр Лукич Кучевский (1787—1871) — майор Астраханского гарнизонного полка. В 1822 г. был осужден на каторгу за организацию в Астрахани антиправительственного кружка (в литературе кружок получил название «Астраханского общества»).

А. Л. Кучевский составил «Проект государственного устройства» России, в котором предусматривались: ликвидация самодержавия, отмена крепостного права, установление республики. В тайном обществе Кучевского насчитывалось 9 человек, из них — 4 дворяне. Общество просуществовало несколько месяцев и было выдано властям провокатором.

⁴ Василий Павлович Колесников (1803—?) — член Оренбургского тайного общества. Выдан правительству младшим братом декабриста Д. И. Завалишина Ипполитом в 1827 г. Известны воспоминания В. П. Колесникова, записанные декабристом В. И. Штейнгелем, — «Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату» (изданы П. Е. Щеголевым; Спб., 1914). Об Оренбургском тайном обществе см.: Федосов И. А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. М., 1958. С. 52—59.

⁵ Хрисанф Михайлович Дружинин (1808—1862) — портупей-прапорщик Оренбургского гарнизонного полка. Дмитрий Петрович Таптыков (1799—1862?) — прапорщик Оренбургского гарнизонного полка. Оба были осуждены в 1827 г. по делу об Оренбургском тайном обществе. Каторгу отбывали вместе с декабристами на Петровском заводе.

⁶ Беляев А. П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном. Спб., 1882. С. 216.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОКРУЖНОГО НАЧАЛЬНИКА г. МИНУСИНСКА А. К. КУЗЬМИНА «МИНУСИНСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ»

Александр Кузьмич Кузьмин (1796—1861?) — минусинский окружной начальник (1827—1836), был знаком с находившимися на поселении в Минусинске декабристами: С. Г. Краснокутским, П. И. Фаленбергом, С. И. Кривцовым, братьями А. П. и П. П. Беляевыми. Мемуары А. К. Кузьмина были написаны в начале 1840-х годов. Здесь воспоминания его приводятся по изданию: Декабристы. Сборник материалов. Л., 1926. С. 36—42.

¹ Виктор Павлович Кочубей (1768—1834) — граф, впоследствии князь, министр внутренних дел и председатель Государственного совета.

² Неточность мемуариста. Краснокутский первоначально был поселен в Верхоянске Якутской области; затем в 1827 г. переведен в Минусинск Енисейской области, а в 1831 г. ему было разрешено для лечения ревматизма отправиться в Красноярск. В 1838 г. Краснокутский был переведен в Тобольск, где умер в 1840 г.

³ Имеется в виду Сергей Иванович Кривцов (1802—1865) — член Северного общества декабристов.

⁴ Александр Петрович Степанов (1781—1837) — в 1822—1831 гг. енисейский гражданский губернатор; в 1836—1837 гг. саратовский губернатор.

⁵ Куверт — пакет.

⁶ ...сметливые вязниковцы... — Имеются в виду мелочные торговцы-коробейники из Вязниковского уезда Владимирской губернии.

⁷ Декабристы Александр и Петр Петровичи Беляевы, приговоренные Верховным уголовным судом к каторжным работам и последующему пожизненному поселению в Сибири, в декабре 1839 г. по ходатайству В. В. Долгорукова были переведены рядовыми в действующую армию на Кавказ.

⁸ Имеется в виду Александр Николаевич Раевский, привлекавшийся к следствию по делу декабристов, но освобожденный из-за отсутствия «улик».

⁹ Здесь речь идет об уже упоминавшейся в этой книге битве русского арьергарда, которым командовал генерал Н. Н. Раевский, с французами 23 июля 1812 г. при д. Дашковке. Н. Н. Раевский выступил вперед вместе со своими сыновьями, Александром и Николаем.

¹⁰ Сын фельдмаршала П. Х. Витгенштейна Лев Петрович Витгенштейн, ротмистр Кавалергардского полка, член Союза благоденствия, был арестован, но после первого допроса освобожден с «оправдательным аттестатом».

¹¹ ...*Суворова внуки...* — По делу декабристов к следствию был привлечен Александр Аркадьевич Суворов (1804—1882) — в 1825 г. эстандарт-юнкер л.-гв. Конного полка (впоследствии генерал от инфантерии и в 1861—1866 гг. петербургский военный генерал-губернатор).

¹² По другой версии, Николай I якобы сказал А. А. Суворову: «Внук Суворова не может быть изменником, я не хочу тебя слушать — ступай!» (Русский архив. 1897. № 5. С. 141).

¹³ В мемуарной литературе широко распространена версия о «самооговоре» П. И. Фаленберга во время следствия. Вероятно, основным источником этой версии были воспоминания и рассказы самого Фаленберга. Однако документы следственного дела Фаленберга заставляют усомниться в ней. Фаленберг, сознавшись в своем показании от 30 января 1826 г., что он при принятии его А. П. Барятинским в тайное общество дал согласие «посягнуть на жизнь блаженной памяти государя императора», в дальнейших своих показаниях не отрицал этого факта. Сначала отрицал этот факт сам Барятинский, но на очной ставке 13 апреля с Фаленбергом он вынужден был сознаться, что «показание полковника Фаленберга справедливо» (ВД. Т. X. С. 288—289; Т. XI. С. 386—387). Скорее всего, Фаленберг не возводил на себя напраслины, а решил с самого начала откровенно сознаться в том, что действительно имело место, полагая, что «откровенным признанием» добьется «снисхождение» следователей, в чем он глубоко ошибся.

А. И. ЛУЧШЕВ. ДЕКАБРИСТ Г. С. БАТЕНЬКОВ

Александр Иванович Лучшев — чиновник томского губернского правления, друг Г. С. Батенькова. В доме брата А. И. Лучшева Н. И. Лучшева Батеньков прожил весь срок своей сибирской ссылки. Записки А. И. Лучшева были вызваны появлением в «Русском архиве» (1881. № 3. С. 436—442) статьи неизвестного автора «Рассказы о Батенькове», содержащей много вымысла. Свою статью-опровержение А. И. Лучшев опубликовал в «Русском архиве» за 1886 г. (№ 6, с. 269—280). По этой публикации воспоминания А. И. Лучшева и воспроизводятся с некоторыми сокращениями в нашем издании.

¹ ...*безрукого генерала Скобелева...* — Имеется в виду комендант Петропавловской крепости, генерал от инфантерии Иван Никитич Скобелев.

² Валериан Александрович Бекман (1802—1870).

³ *Обе столицы мне негостеприимны...* — МанIFEST 26 августа 1856 г., возвращавший декабристов из сибирской ссылки, запрещал им проживание в «обеих столицах» (в Москве и Петербурге), кроме того, декабристы продолжали находиться под негласным полицейским надзором.

⁴ Ольга Павловна Лучшева (1820—1905) — жена Еленета Ивановича Лучшева (1820—1850?) — брата мемуариста. После смерти Е. И. Лучшева Батеньков взял его вдову Ольгу Павловну с ее сыновьями, Константином и Анатолием, на свое попечение. В 1857 г. О. П. Лучшева вместе со своими сыновьями переехала в Калугу к Батенькову. В 1860 г. вышла замуж за председателя Калужской палаты гражданского суда А. П. Цурикова. В 1863 г. (перед смертью) Батеньков завещал ей и Н. И. Лучшеву все свое состояние.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Б. В. СТРУВЕ О ЕГО ВСТРЕЧАХ С ДЕКАБРИСТАМИ В СИБИРИ

Бернгард Васильевич Струве (1828—1890) — сын астронома В. Я. Струве и отец известного «легального марксиста» П. Б. Струве; чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском (в 1848—1854 гг.). В 1888 г. в «Русском вестнике» опубликовал серию очерков под названием «Воспоминания о Сибири».

В 1889 г. очерки вышли отдельной книгой. В очерках содержатся и воспоминания Струве о декабристах (под названием «Декабристы и их семейства»). Выдержки из этих воспоминаний опубликованы в книге: Декабристы в Сибири. Дум высокое

стремление. Иркутск, 1975. С. 185—189. С этой публикации текст воспроизводится в настоящем издании.

¹ Имеется в виду изданное 12 января 1846 г. «Положение об акцизно-откупной комиссионерстве для продажи с 1847 по 1851 год казенного вина и других питей в Великороссийских губерниях и Кавказской области» (ПСЗ, собр. 2-е, т. XX, № 19614, с. 33—130), подробно регламентировавшее порядок сбыта и обложения спиртных напитков в 28 великороссийских губерниях и в Кавказском наместничестве.

² Имеется в виду деятельность Н. Н. Муравьева-Амурского по освоению Приамурья и Приморья.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. А. ОБРУЧЕВА ОБ И. И. ГОРБАЧЕВСКОМ НА ПОСЕЛЕНИИ

Владимир Александрович Обручев (1836—1912) — известный публицист, революционер-демократ, участник революционного движения 60-х годов. В 1862 г. за распространение воззвания «Великорусс» осужден на три года каторжных работ с последующим поселением в Сибири. Каторгу отбывал на Александровском винокуренном и на Петровском чугунолитейном заводах, где сблизился с оставшимся здесь после амнистии декабристом И. И. Горбачевским. Воспоминания его «Из пережитого» были опубликованы в «Вестнике Европы» (1907, № 5—6). Некоторые из них, относящиеся к декабристам, были изданы в книге: *Декабристы в Сибири. Дум высокое стремление*. Иркутск, 1975. С. 204—212. По этому изданию текст воспоминаний В. А. Обручева о встречах с декабристом И. И. Горбачевским воспроизводится в настоящем томе.

¹ Описываемый В. А. Обручевым дом Горбачевского существует и поныне.

² И. И. Горбачевский, чтобы свести концы с концами, брал казенные подряды на поставку древесного угля на Петровский завод. Однако дела завода шли все хуже и хуже; более дешевая продукция уральских горных заводов вытесняла на рынке изделия Петровского завода. В связи с этим резко сократились и заказы Горбачевскому. В годы крайней нужды Горбачевскому оказывали материальную поддержку его друзья — купец Б. В. Белозеров и золотопромышленник И. Ф. Буттоц.

³ Речь идет об историческом романе французского писателя Альфонса Ламартина (1790—1869) «История жирондистов» (1847).

⁴ ...о *недавней Муравьевской эпохе*. — Имеются в виду годы генерал-губернаторства (1847—1861) в Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского.

⁵ Имеется в виду издание М. М. Зензинова «Декабристы. 86 портретов» (М., 1906). Издание представляло собой собрание гравюр с оригиналов Н. А. Бестужева. Каждому портрету сопутствовала краткая биографическая справка о декабристе.

⁶ Имеется в виду Оскар Ильич Квист (1821—1890) — племянник И. И. Горбачевского. В 1863 г. он выхлопотал своему дяде право жить в Петербурге, обещая ему полное материальное содержание. Горбачевский отклонил это предложение и остался навсегда в Сибири.

С. В. МАКСИМОВ. ДМИТРИЙ ИРИНАРХОВИЧ ЗАВАЛИШИН (ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Сергей Васильевич Максимов (1831—1902) — известный писатель-народник, этнограф и публицист, автор многих книг о народном быте. Известна его книга «Сибирь и каторга» (1871), в третьей части которой он дал описание жизни декабристов на каторге и в ссылке. С. В. Максимов познакомился с Д. И. Завалишиным в Чите в 1860 г. Воспоминания Максимова о Завалишине здесь воспроизводятся в сокращении по изданию: *Собрание сочинений С. В. Максимова*. Спб., 1896. Т. 4. С. 249—258.

¹ Острог Чита получил статус города в 1851 г.

² Фелицата Осиповна Смолянинова, урожденная Власова.

³ Имеется в виду Пико делла Мирандола (1464—1494) — итальянский ученый-гуманист эпохи Возрождения.

⁴ Первый брак Д. И. Завалишина был заключен в 1840 г. с Аполлинарней Семеновной, урожденной Смоляниновой (умерла в 1845 г.). Вторично Завалишин женился в Москве в 1871 г., в возрасте 67 лет, на дочери титулярного советника Зинаиде Павловне Сергеевой. У них родились четыре дочери — Мария (1872—1919), Вера (1873—1924), Зинаида (1876—1956) и Екатерина (1882—1919) и два сына — Иринарх (1874—1875) и Дмитрий (1884—1885).

⁵ Орест Адамович *Кипренский* (1782—1836) — известный художник-портретист. ⁶ Это особенно ярко выразилось в мемуарных произведениях Завалишина, в которых он преувеличивает свои заслуги в декабристском движении и подчеркивает ошибки и негативные стороны своих товарищей. Все это вызвало протесты декабристов («Отповедь» П. Н. Свистунова и «Воспоминания по поводу статей Д. И. Завалишина» А. Ф. Фролова // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1933. Т. 2).

⁷ *Скопы* — молочные продукты (сливки, сметана, творог).

⁸ *Московский комитет грамотности* (1845—1894) — ученое общество, существовавшее при Московском обществе сельского хозяйства; ставило своей задачей распространение грамотности в народе, издание книг для народа, устройство библиотек и читален.

⁹ Имеется в виду здание Манежа (ныне Центральный выставочный зал).

¹⁰ Михаил Никифорович *Катков* (1818—1887) — профессор Московского университета в 40-х гг., историк права; с середины 50-х годов занимался издательско-публицистической деятельностью, издавал «Русский вестник» и газету «Московские ведомости»; поначалу разделял либерально-оппозиционные взгляды, позже стал видным идеологом реакции.

¹¹ Эта статья называлась «Некоторые заметки на повествование о тайных обществах в России, о лицах, участвовавших в них, и о событиях 14 декабря 1825 г.». Она была написана в связи с публикацией воспоминаний Н. И. Греча «Из записок», в которых речь шла о декабристах, в «Русском вестнике» (1868, № 6) и изданными в 1870 г. за границей «Записками декабриста» А. Е. Розена. Названная статья не была опубликована.

¹² Речь идет о брошюрах Д. И. Завалишина «История изобретения и распространения швейной машины» (М., 1867), «Обозрение действий разных обществ попечения о раненых и больных войнах» (М., 1867), «Исправительные заведения для малолетних преступников и порочных детей» (М., 1868).

¹³ Имеются в виду «пушкинские празднества» в 1880 г.

РАССКАЗ БУРЯТКИ ЖИГМЫТ АНАЕВОЙ О ПРЕБЫВАНИИ М. А. И Н. А. БЕСТУЖЕВЫХ НА ПОСЕЛЕНИИ

Бурятка Жигмыт Анаева служила няней в семьях декабристов Торсона и Бестужевых. Ее рассказ записан В. В. Поповым в начале 1920-х годов и опубликован в книге: Декабристы в Бурятии. Верхнеудинск, 1927. С. 100—101. В нашем издании приводится по этой публикации.

¹ *Мария Николаевна*, урожденная Селиванова.

² *Дацан* — буддийский монастырь.

³ *Улус* — здесь селение, в котором жили буряты.

⁴ М. Н. Бестужева умерла в 1867 г.

⁵ М. А. Бестужев схоронил дочь Елену (1854—1867) и сына Николая (1856—1864); выехал в 1867 г. в Россию с младшим сыном Александром (1863—1876).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- Абрамов (Аврамов) И. Б. 383
Август, римский император 56
Адамович, офицер 284
Адлерберг В. Ф. 37, 199, 227, 229, 261, 295
Азаревичевы 201
Аксаков К. С. 132
Аладьин Е. В. 89
Александр I 28—30, 33, 36, 37, 48, 49, 58, 59, 101, 102, 106, 109, 119, 142, 146, 153, 167, 172, 181, 195, 200, 201, 204, 233, 254, 267, 289, 302, 322, 362
Александр II 36, 104, 112, 142, 151, 226, 269, 270, 353, 407, 409
Александра Федоровна, императрица 41, 90, 205, 267, 270
Алябьев А. А. 139
Анаева Жигмыт 433
Ангальт, граф 74
Андреев А. Н. 416
Анненков В. И. 352
Анненков И. А. 287, 303, 304, 330, 336—340, 351, 352, 381, 384, 388, 416
Анненков Н. Н. 353
Анненков П. В. 139
Анненкова П. Е. (Полина Гебль) 303, 330, 333, 335, 352, 364
Аносов П. П. 424
Апостол М. Д. 101
Апраксин С. Ф. 223
Апрелев, полковник 251
Апухтина М. П. 396
Аракчеев А. А. 32, 37, 45, 46, 85, 108, 168, 184, 205, 206, 256, 271
Арбузов А. П. 195, 196
Аргамачевы 169
Архаров Н. П. 177
Арцимович В. А. 389
Арцыбашев Д. А. 287
Асосков, офицер 79
Асташины, золотопромышленники 424
Бабеф Г. 31
Бакунин И. М. 223, 232, 252, 256
Балакшина О. Н. 478, 380
Балакшины 380—383
Балашов (Балашев) В. В. 307
Баранов Д. О. 299, 305, 307
Баратынский Е. А. 89
Бартнев П. И. 113
Барятинский А. П. 89—91
Басаргин Н. В. 111, 378, 379, 382, 384, 404, 407
Бахметьев (Бахметев) А. Н. 223, 263, 264
Башмаков Ф. Н. 384
Башуцкий А. П. 174, 176, 260
Башуцкий П. Я. 122, 178, 221, 224, 227, 255, 288, 315
Безобразов, петербургский домовладелец 76, 77
Бекетов, кандидат этико-политического отделения университета 56
Бекман В. А. 424
Белозеров Б. В. 427
Белосельская, княгиня 233
Беляев А. П. 418
Беляевы 196, 420, 421
Бенкендорф А. Х. 61, 92, 163, 181, 229, 232, 233, 240, 242, 261, 266, 289, 295, 332
Берг Н. В. 382
Беркопф В. И. 312, 313
Берстель А. К. 302
Бестужев А. А. 40, 42, 88, 89, 93—96, 177, 210, 211, 222, 233, 235, 270, 289—292, 302, 373, 415, 416, 430
Бестужев А. Ф. 40
Бестужев М. А. 89, 95, 289—291, 372—376, 428, 433, 434
Бестужев Н. А. 41—44, 89, 93, 95—98, 149, 174, 195, 210, 211, 215, 289—292, 333, 358, 368, 375, 376, 431—434

* Именной указатель составлен В. А. Федоровым.

- Бестужев Петр А. 95, 96
 Бестужев Павел А. 376
 Бестужева Анна 291
 Бестужева Е. А. 289, 292, 373
 Бестужева М. Н. 434
 Бестужев-Рюмин М. П. 36, 120, 159, 194, 197, 274, 275, 278, 279, 285
 Бетанкур А. А. 40, 292
 Бетанкур М. (Матильда) 292
 Бетховен Л. ван 69
 Бесчасный (Бечастнов, Бечаснов) В. А. 347, 364, 370, 416
 Бибииков И. М. 144, 151, 228
 Бибииков М. И. 144, 151
 Бибиикова А. 141
 Бибиикова Е. И. 108, 111, 125, 144
 Бибиикова (Муравьева) С. Н. («Но-нушка»), 141, 144, 148, 150, 152
 Бистром К. И. 47, 207, 209, 216, 249, 258
 Блом, граф 157
 Блудов Д. Н. 299, 300, 305
 Бобринский А. А. 205
 Бобылина (Армакова) П. Н. (Поли-на) 169—171
 Богданов А. И. 318
 Богданович М. И. 108
 Богуславский П. В. 175
 Бодиско Б. А. 302
 Болгарский В. И. 307
 Борецкий (Пустошкин) И. П. 224, 290
 Борисов А. И. 193, 356, 416
 Борисов П. И. 193, 194, 298, 356, 357, 416
 Борисовы 320, 328, 355
 Боровков А. Д. 293, 295
 Бороздин А. М. 362, 363
 Бороздин Н. М. 307, 308
 Бракман Ж. А. (Жозефина) 387
 Брант, жена чиновника Бухтарминской таможни 403
 Бреверн А. 214
 Бригген А. Ф. 184, 186, 392
 Брифо Ш. 69
 Бронников, ялуторовский житель 384
 Брут 287
 Брызгалова В. М. 351
 Булатов А. М. (декабрист) 172, 173, 175, 176, 210, 258
 Булатов А. М. (сводный брат декабриста А. М. Булатова) 172, 176, 177
 Булатов М. М. 172, 173, 176
 Булатова (Мельникова) Е. И. 173
 Булгари Я. Н. 39, 41, 302
 Бурбоны 29
 Бурнашев Т. В. 324, 325, 327, 342
 Бурцов И. Г. 164, 184, 186
 Бутенев А. П. 210
 Буттоц И. Ф. 377
 Бутурлин, генерал 186
 Быстрицкий А. А. 285
 Бюше Ф. Ж. Б. 71
 Вадковский Ф. Ф. 346, 358, 364, 416
 Варгин, рижский садовод 387
 Васильчиков Д. В. 185
 Васильчиков И. В. 17, 184, 216, 232, 240, 242, 258, 305, 307
 Веденяпин А. В. 416
 Вейсгаупт А. 185
 Велью (Велью) О. О. 222, 231, 248
 Веневитинов Д. В. 33, 343
 Виарис, маркиз 49, 52
 Виарис (Тургенева) К. А. 9
 Вигель Ф. Ф. 64, 65
 Виельгорские 68
 Вильк, майор 283
 Винчетти, офицер 284
 Виртембергский (Вюртембергский) А. Ф. 40, 89, 94, 210, 216, 239, 256, 259, 288
 Витгенштейн П. Х. 34, 44, 421
 Вишневицкий Ф. С. 211
 Вобан Себастьян де Претр 64
 Воинов А. Л. 211—213, 216, 225, 228, 240, 246
 Волконская З. А. 320, 323
 Волконская М. Н. 147, 160, 321, 340, 342, 344, 365—369, 417
 Волконская Н. С. 368
 Волконский М. С. 368
 Волконский Н. С. 330
 Волконский П. М. 140, 320
 Волконский С. Г. 30, 152, 196—198, 302, 321, 323, 325, 330, 349, 362, 364, 367—369, 416, 417, 425
 Вольф Ф. Б. 321, 333, 345—348, 358, 364, 384, 388, 416
 Воронцов С. Г. 240
 Воронцов С. М. 167, 183
 Воропанов Н. Ф. 212
 Воше, секретарь Трубецких 160
 Врангель Е. П. 121
 Всеволожский Н. В. 198, 199
 Вяземский П. А. 140, 271
 Гаврилов, книгопродавец 89
 Галич А. И. 90
 Галямин В. Е. 77
 Гамков, командир Черниговского полка 272, 273
 Гара Ж. П. 68
 Гастингс У. 36
 Гарибальди Дж. 372
 Гебель Г. И. 272—275, 282, 283
 Гедс Х. Г. 48
 Геерен А. Г. 48
 Гейсмар Ф. К. 280, 281, 284, 285
 Гербель К. Г. 249, 250
 Герней, архитектор 313, 315
 Герцен А. И. 28, 372, 373
 Глинка Ф. Н. 57, 90, 184, 186, 190, 192, 297
 Глюк Х. В. 68

- Гоббс Т. 55
 Голлидей, петербургский домовладелец 204
 Голицын А. М. 228
 Голицын А. Н. 52, 53, 139, 156, 233, 234, 237, 295
 Голицын А. С. 220
 Голицын В. М. 92, 214
 Голицын Д. В. 138, 204
 Голицын Н. С. 220
 Голицына Е. М. 401
 Головин Е. А. 232, 238
 Головин Е. С. 41
 Головкин Ю. А. 307
 Голодников К. М. 408
 Горбачевский И. И. 370, 376, 377, 426—428
 Горожанский А. С. 287
 Гороховы, сибирские купцы 424
 Горский (Грабя-Горский) О. В. 255, 257
 Горсткин И. Н. 184
 Грановский Т. Н. 412
 Греч Н. И. 36, 291, 311
 Грибоедов А. С. 39, 40, 99, 100, 203
 Громницкий П. Ф. 349, 416
 Грушецкая (Муравьева-Апостол) П. В. 143
 Гумбольдт В. 49
 Гэль С. 69, 72
- Давыдов В. Л. 320, 327, 328, 425
 Давыдов Д. В. 292
 Давыдова А. И. 340, 344
 Данзас К. К. 141
 Данилов Кирилл (Кириша) 90
 Дантон Ж. Ж. 40
 Дельвиг А. А. 89—91, 140, 311
 Демидов Н. И. 288, 289
 Демосфен, древнегреческий оратор 200
 Деперадович Н. И. 287
 Державин Г. Р. 79, 90
 Державина Д. А. 115, 116
 Де Рибас (Дерибас) О. М. 361
 Дерпату, художник 88
 Дершай, полицеймейстер 290, 315
 Дибич И. И. 167, 216, 268, 270, 288, 293, 294, 296
 Дивов В. А. 309
 Дивов П. Г. 306
 Дивовы 196
 Дирин П. И. 108
 Дмитриев И. И. 79, 270
 Дмитриев-Мамонов М. А. 184, 189
 Долгорукий И. А. 184, 185, 190, 227
 Долгоруков (Долгорукий) В. И. 229
 Дорофеев, солдат 215
 Дубинский, полицеймейстер 318
 Дурново Н. Д. 227, 286
 Дьякова А. Н. 115
- Евгений, митрополит 242, 243
 Егоров, домовладелец 87
 Елагин А. А. 425
 Елагины 403
 Екагерина II 30, 82, 101, 112, 142, 165, 183
 Елена Павловна, вел. княгиня 269
 Ентальцев А. В. 111, 379, 382, 384, 404, 407—410
 Ентальцева (Янтальцева) А. В. 328, 329, 331, 340, 344, 365, 409, 410
 Ермолов А. П. 34, 39, 99, 152, 167, 394
 Ефимов И. В. 415
- Жандр А. А. 203, 204
 Жеребцов, офицер 240
 Жуков И. П. 238
 Жуковский В. А. 48, 52, 67, 90, 132, 142
 Журавлев И. Ф. 305
- Завадовский А. В. 39
 Завалишин Д. И. 195, 196, 370, 427—433
 Загорецкий Н. А. 416
 Занкин, книгопродавец 89, 416
 Закревский А. А. 145, 334, 384
 Зальц В. И. 175
 Запольский П. И. 428
 Зеңзинов М. М. 427
 Знаменский М. С. 412
 Знаменский Н. С. 387
 Знаменский П. Я. 405
 Знаменский С. Я. 387
 Зотов Р. М. 292
- Иванов А., рассыльный «Полярной звезды» 87
 Иванов А. И. 167
 Иванов Павел 242
 Иванов Прохор 242
 Иванова О. И. 342
 Ивашев В. П. 44, 45, 344
 Ивашева (Ле Дантю) К. П. 333, 344, 345, 365
 Ивелич К. М. 207, 216
 Игнатъев Н. А. 229, 245
 Игумнов, казачий офицер 434
 Изабе Ж. Б. 97, 151
 Илличевский Д. В. 169
 Ильины, сибирские купцы 379
 Инзов И. Н. 138
 Исленьев Н. А. 177, 213, 227, 229
- Кавелин А. А. 227, 261
 Казадаев А. В. 308
 Кант И. 57
 Кантемир А. Д. 90
 Капнист А. В. 116, 120, 121, 124
 Капнист Е. И. 120, 121, 125
 Капнист И. В. 122
 Капнист П. Н. 117
 Капнист-Скалон С. В. 114, 121

- Каподистрия И. А. 50
 Карамзин Н. М. 29, 65, 67, 90, 142, 219, 253, 270, 271
 Каратыгин П. А. 200
 Карелин, полицейский 318
 Карл Великий 73
 Катенин П. А. 90
 Катков М. Н. 431
 Каульбарс В. Р. 244
 Каховский П. Г. 36, 177, 214, 224, 236, 244, 246, 258, 302, 306, 308, 310, 312, 314—316, 318, 320
 Качалова А. А. 48
 Кашкин Н. Е. 271
 Квист А. И. 376, 377, 427
 Квисты 376
 Кейзер Д. Ф. 276
 Кельберг П. А. 434
 Кипренский О. А. 430
 Киреевский И. В. 33—35, 132
 Киселев П. Д. 136, 299
 Клейв Р. 36
 Клейнмихель П. А. 46, 47
 Клингер, генерал-майор 74
 Ковалев И. Г. 281
 Кожевников Н. П. 174
 Козлов, капитан 277, 278
 Кокошкина В. Д. 177, 179
 Колесников В. П. 416
 Кологривов А. Л. 288
 Колокольцева см. Муравьева Е. Ф.
 Колумб Христофор 61, 64
 Комаров Н. И. 184, 185
 Комаровский Е. Ф. 238, 305, 307
 Коновницын П. П. 287
 Коновницына Е. П. 162, 396
 Констан Б. 31, 33
 Константин Павлович, вел. князь 33, 40, 58, 126, 142, 153, 154, 162, 163, 200, 201, 206—208, 210, 217, 224—232, 238—248, 257, 258, 263, 265, 268, 269, 293, 294, 298, 299, 302
 Конт О. 72
 Копылов Г. И. 184
 Корнель П. 62
 Корнилович А. О. 57, 91, 92, 287
 Корсаков М. М. 184
 Корф М. А. 99
 Косовский А. И. 79
 Кочубей В. П. 302, 416, 418
 Кошелев А. И. 32
 Кошут Л. 372
 Краснокутский С. Г. 185, 349, 383, 384, 416, 418, 419
 Кривцов С. И. 419—421
 Крок А. 37
 Кропотов Д. А. 74
 Крылов И. А. 347
 Крюденер В. Н. 52
 Кузнецов, купец 147
 Кузьмин А. Д. 276, 278, 282, 285
 Кузьмин А. К. 418
 Кулеваев М. С. 175
 Кулешова, помещица 353
 Куракин А. Б. 271
 Куроптев А. М. 215
 Курута Д. Д. 163
 Кутайсов А. И. 300, 305, 307
 Кушелев Г. Г. 249
 Кушников С. С. 305, 307
 Кюхельбекер А. С. (жена М. К. Кюхельбекера) 378
 Кюхельбекер В. К. 89—91, 184, 205, 215, 231, 378, 407, 433
 Кюхельбекер М. К. 90, 377, 378
 Лабзин А. Ф. 52
 Лаваль, граф 233, 234, 247, 253, 271, 286, 329, 342
 Лавинский А. С. 335, 365
 Лавров И. П. 307
 Лазарев, лейтенант гусарского полка 284
 Ламберт К. О. 307
 Ланжерон А. Ф. 361
 Ланской Д. С. 287
 Ларионов, сибирский купец 379
 Ларионова Ф. Р. 380
 Лафит Ж. 162
 Лебцельтерн З. И. 153
 Лебцельтерн Л. 153—157, 159, 234, 258
 Левашев (Левашов) В. В. 229—231, 235—238, 258, 286, 295, 304
 Левенштейн, князь 288
 Левенштерн И. И. 283
 Левицкий Д. Г. 151
 Лепарский С. Р. 127, 148, 162, 328, 336, 337—343, 375, 386, 419
 Ливен К. А. 307
 Ливен, графиня 268
 Лихарев В. Н. 392
 Лобанов-Ростовский Д. И. 256
 Лондырь, рейткнехт 228
 Лопухин П. В. 256, 271, 305
 Лопухин П. П. 288
 Лорер Д. И. 131
 Лорер Н. И. 116, 119, 125—131, 392, 402
 Луи-Филипп, французский король 52
 Лукашевич В. Л. 192, 298
 Лукин И. А. 415, 416
 Лунин М. С. 58—73, 115, 116, 127, 162, 163, 297, 334, 341, 349, 358, 364, 368, 416
 Лучшев А. И. 422
 Лучшев Н. И. 423
 Лучшева О. П. 168, 171, 425
 Львов Л. Ф. 415
 Люблинский Ю. К. 194
 Людовик XVIII 167
 Мадзини Дж. 372
 Майков А. А. 201, 254

- Максимов С. В. 428
 Малиновский А. Ф. 34, 36, 141
 Малютин М. Н. 88
 Мамоновы 166
 Мандрыка, исправник 350
 Мария Федоровна, императрица 37, 94,
 172, 210, 253, 270
 Маркевич Н. А. 89
 Мармон О. Ф. 311
 Мартынов П. П. 212, 230
 Марченко В. Р. 253
 Мельников И. А. 172, 178
 Менгес 120
 Менделеев Д. И. 382
 Меттерних К. Л. 29, 32, 159
 Мещерский А. П. 283
 Микулин, полковник 227
 Миллер Ф. И. 85
 Милонов М. В. 90
 Милорадович М. А. 46, 48, 57, 154,
 201—203, 213, 214, 220, 221, 223—228,
 238, 244, 245, 250, 254, 256, 258, 260—
 270, 286, 312, 316, 406
 Минин Кузьма 34
 Митьков М. Ф. 383
 Мицкевич А. 164
 Михаил Павлович, вел. князь 41, 138,
 154, 173, 177, 203, 215, 225, 226,
 229—234, 239, 240, 243, 250, 252, 254,
 267—269, 292
 Мозгалеvский Н. О. 331
 Мольер Ж. Б. 62
 Монтень М. 50
 Мордвинов Н. С. 29, 44, 75, 83, 85,
 234, 299, 300
 Муравьев А. З. 146, 236, 320, 328, 347,
 355, 416
 Муравьев А. М. 115, 116, 127, 137, 142,
 143, 146, 147, 149, 188, 287, 297, 302,
 330, 340, 348, 349, 364, 381, 384, 387,
 388, 416
 Муравьев А. Н. 111, 114, 146, 164, 183,
 184, 187—190, 324
 Муравьев М. Н. 142, 143, 411
 Муравьев Н. М. 30, 115, 116, 127, 137,
 142, 143, 147, 149, 151, 165, 183, 187—
 192, 236, 288, 297, 298, 302, 329, 333,
 334, 348, 349, 358, 364, 368, 416
 Муравьев Н. Н. (Амурский) 161, 171,
 369, 370, 390, 411, 425
 Муравьев Н. Н. (Карский) 113, 143,
 151, 403
 Муравьев-Апостол И. И. 90, 120, 144,
 146, 278, 281, 284
 Муравьев-Апостол И. М. 101, 102
 Муравьев-Апостол М. И. 39, 100—120,
 123, 125, 143—145, 151, 188, 192, 197,
 236, 297, 302, 378, 379, 382, 403—
 405, 407, 411, 412
 Муравьев-Апостол С. И. 36, 39, 102, 103,
 105—120, 122—125, 143, 144, 146,
 157, 159, 165, 188, 194, 197, 273—279,
 284—286, 289, 297, 302, 306, 308,
 311—316, 318, 320, 331, 361, 404
 Муравьева А. Г. 146—149, 322, 324, 328,
 329, 332, 336, 340, 344—348, 364
 Муравьева Е. Ф. (Колокольцева) 116,
 143, 146, 147, 150, 271, 348, 388
 Муравьева-Апостол А. (Амалия) К.
 (Марья Константиновна) 379
 Муравьева-Апостол (Черноевич) А. С.
 101—103
 Муханов Н. А. 311, 346, 416
 Мысловский П. Н. 176—178, 308, 316,
 318
 Мясников Ф. Б. 379

 Назимов В. И. 54
 Назимов М. А. 392, 416
 Наквасины, сибирские купцы 335
 Наполеон I 48, 62, 73, 102, 103, 107,
 118, 145, 166, 309, 339
 Нарышкин А. Л. 205
 Нарышкин М. М. 30, 33, 35, 126—130,
 162—164, 184, 392, 396, 397, 400—402
 Нарышкина В. А. 401
 Нарышкина Е. П. 328, 329, 332, 333,
 339, 340, 344, 365, 397, 401
 Нарышкины 389
 Нашокин П. И. 90
 Нейдгардт А. И. 226, 248, 249, 251, 262
 Неклюдов М. С. 311
 Нессельроде К. В. 155, 156, 234
 Нестеровский А. В. 248, 250
 Нерон, римский император 329
 Нефедьева А. И. 53, 54
 Низас А. К. 68
 Никитенко А. В. 81, 179
 Николаев, унтер-офицер 279
 Николай I 29—36, 40, 43, 52, 53, 101,
 112, 124, 127, 141, 151, 153, 154, 156,
 164, 165, 170, 200, 201, 205—207,
 210—212, 216, 217, 220, 224, 238—240,
 244—246, 248, 253, 257, 267—271,
 293, 298, 311, 341, 342, 346, 353, 364,
 392, 394, 401, 415
 Никольский, студент 57
 Новиков М. Н. 184, 192, 298
 Новиков Н. И. 43
 Новосильцов А. П. 77, 78
 Новосильцова (Орлова) Е. П. 77
 Норов А. С. 34, 179
 Норов В. С. 34, 35, 179, 180
 Носова М. К. 111

 Оболенский Е. П. 33, 47, 111, 152, 192,
 206, 207, 209, 214, 231, 235, 249, 258,
 271, 307, 320, 325, 328, 378, 379, 404,
 406, 407
 Обручев В. А. 426
 Огинский (Огиньский) М. 80

- Одоевский А. И. 30, 35, 89, 203, 204,
 246, 263, 284, 333, 417, 418
 Одобеско, офицер гусарского полка 284
 Ожаровский А. П. 144
 Оже И. 60
 Оленин А. И. 39, 184
 Олизар Г. 275
 Орлов А. И. 97
 Орлов А. Ф. 46, 54, 60, 215, 223, 228,
 232, 244, 247, 254, 256, 263, 264, 266,
 295, 392
 Орлов М. Ф. 30, 184, 186, 189, 236—
 238, 288, 295
 Орлова (Раевская) Е. Н. 323
 Остен-Сакен Ф. В. 34
 Оухонов Б. 433
 Оуэн Р. 31
- Павел I** 36, 101, 102, 112, 273, 300
 Панин Н. И. 30
 Панов Н. А. 174, 177, 251, 255, 347,
 364, 416
 Паскевич И. Ф. 94, 206
 Перетц Г. А. 302
 Перовский В. А. 227, 228
 Перовский Л. А. 184
 Персин И. С. 97
 Першин (Караксарский) А. П. 372
 Пестель В. И. 37
 Пестель И. Б. 36, 37, 168
 Пестель П. И. 30—32, 36—38, 45, 119,
 126, 159, 184, 190, 192, 193, 197, 236,
 274, 297, 298, 302, 306, 316, 318, 320,
 361, 421
 Пестов А. С. 348
 Пильман, поручик Павловского полка
 317
 Пистолькорс В. В. 249
 Платон, митрополит (Л. Е. Левшин) 28
 Плутарх, древнегреческий философ и
 историк 365
 Повало-Швейковский И. С. 274, 282
 Поджио А. В. 152, 359—363, 370, 371,
 416
 Поджио В. (Витторио) 361
 Поджио И. В. (О. В.) 324, 360, 362,
 366, 370, 371, 416
 Подушкин Е. М. 315
 Пожарский Дмитрий, князь 34
 Поздеев, поручик гусарского полка 166
 Полевой Н. А. 292
 Полторацкий К. М. 162, 166
 Полуянов 169
 Попов М. А. 259
 Попов, полицейский 318
 Поповы, сибирские купцы 425
 Посников, полковник полиции 313, 315
 Потапов А. Н. 249, 250, 261, 295
 Потемкин С. П. 57, 58
 Потемкин Я. А. 108
 Потемкина Е. 152, 158, 159
- Поццо ди Борго К. А. 72
 Почадская Е. П. 57
 Почадский Н. П. 57
 Почадский С. П. 57
 Прих звский, член Союза благоден-
 ствия 184
 Пугачев Е. И. 83
 Пукалова 37
 Пушкин А. С. 31, 67, 89—91, 135—141,
 169, 322, 353, 404
 Пушкин А. (Алексей), капитан Преоб-
 раженского полка 175
 Пушкин В. Л. 139
 Пушкин Л. С. 91
 Пушкин С. Л. 91
 Пушкина Е. Г. 52
 Пущин И. И. 33, 43, 90, 135, 137—139,
 141, 164, 165, 198, 204—206, 329, 353,
 379, 382, 384, 399, 400, 404, 406,
 407, 415, 417
 Пущин М. И. 165, 205, 206
 Пущин С. И. 164, 165
 Пушина Е. Ф. 394
 Пятницкий А. В. 368
- Раевский А. Н.** 139, 421
Раевский Н. Н. 120, 122, 124, 237, 362,
 421
 Разумовская, графиня 52
 Разумовский А. К. 140
 Рад, член Союза благоденствия 184
 Рейнбот Ф. Т. 38, 309
 Ремезов, адъютант И. О. Сухозанета
 249
 Релешка, офицер 240
 Регин Н. П. 108, 109, 117, 118, 120,
 122, 144, 416
 Риго-и-Нуньес Р. 42
 Ришелье А. Э. 361
 Роже Л. 68
 Роже, баронесса 72
 Розен (Малиновская) А. В. 332, 333,
 344, 421
 Розен А. Е. 148, 152, 176, 239, 246,
 392
 Розенберг В. И. 340
 Ройе-Колар П. 33
 Ростовцев Я. И. 208
 Ростовцева А. И. 46
 Рот Л. О. 284, 289
 Рочфорт, колонновожатый 220, 223
 Руликовский И. 271
 Руперт В. Я. 363, 368
 Руссо Ж. Ж. 69, 142
 Рылеев К. Ф. 31, 33, 36—40, 43—47,
 76—88, 93, 138, 140, 159, 206, 234,
 258, 270, 296, 306—308, 311—320, 433
 Рылеева А. М. 78
 Рылеева А. Ф. 77
 Рылеева (Тевяшева) Н. М. 74, 76, 78,
 82

- Сабуров А. Д. 293
 Самойлов В. М. 93
 Сандунов (Зандукели) Н. Н. 56
 Сапожников А. П. 207
 Свербеев Д. Н. 51, 55
 Свечина С. Ф. 52
 Свиный П. А. 254
 Свиный П. П. 292
 Свистунов П. Н. 152, 330, 340, 346, 347, 349, 384, 388, 390, 394, 403
 Свистунов, фельдфебель 374
 Свиязев И. Н. 291
 Селиванов, казак 434
 Семенов С. (Степан) М. 55—58, 137, 184, 185, 192, 384
 Семенов С. (Сергей) 403
 Сен-Симон К. А. 72, 73
 Сенявин Д. Н. 87
 Серафим, петербургский митрополит 158, 205, 212, 213, 217, 222—232, 238, 242, 248, 249, 252, 257, 258
 Сесенин В. И. 410
 Сипягин Н. М. 172
 Скобелев И. Н. 47, 423
 Скотт В. 52
 Сленин И. В. 89
 Смирдин А. Ф. 282
 Смирнова-Россет А. О. 129
 Смольянинов, полковник 428
 Соболевский, студент 34
 Созонович А. П. 114, 379, 407, 408
 Соколов П. Ф. 151
 Соловьев В. Н. 283, 285
 Соловьев Я. И. 134, 135
 Соловьева Н. М. 89
 Сомов О. М. 89
 Сосницкий И. И. 202
 Сперанский М. М. 29, 45, 46, 49, 75, 169, 170, 271, 299, 305, 308
 Спиноза Б. 55
 Старцев Д. Д. 372, 373, 433
 Статковский, полковник 252
 Стафарьев (Спафарьев, Стафирьев) Л. В. 41, 42, 211
 Степанов А. П. 419
 Стрекалов С. С. 212, 226, 227, 242
 Строганов С. Г. 151
 Строганова, графиня 220
 Строев П. М. 75
 Струве Б. В. 425
 Стюрлер Н. К. 242, 246, 258
 Суворов А. В. 291, 421
 Сукин А. Я. 176, 178, 236, 241, 288, 306
 Сумароков П. И. 234
 Сутгоф А. Н. 152, 174, 364
 Сухинов И. И. 279, 283, 285, 331
 Сухозанет И. О. 158, 226, 232, 248, 249, 252, 257
 Татпыков Д. П. 416
 Татаринова Е. В. 52
 Татищев А. И. 199, 293, 294, 301
 Тацит, римский историк 151
 Тевяшев М. Г. 76, 82
 Телешов И. Я. 216
 Телешова Е. А. 201, 261
 Тизенгаузен В. К. 111, 274, 282, 379, 384, 396, 403, 406, 407
 Титов П. В. 35
 Токарев А. А. 192
 Толстой Л. Н. 105, 106
 Толстой М. Н. 250, 253
 Толстой Н. Н. 357, 359, 411
 Толстой П. А. 33, 133, 305
 Толстой Ф. П. 297
 Толь К. Ф. 233—235, 239, 247, 286
 Тормасов А. П. 47
 Торсон К. А. 333
 Траскин А. С. 261
 Трескин Н. И. 169
 Тропинин В. А. 151
 Трощинский Д. П. 119
 Трубецкая Е. И. 147, 153, 157, 323, 324, 327, 331, 341—344, 352, 365, 366
 Трубецкие 156, 346, 382
 Трубецкой Н. И. 33
 Трубецкой С. П. 57, 114, 152, 153, 157, 177, 184, 187, 188, 190, 206, 227, 234, 253, 258, 271, 286, 296, 297, 302, 307, 320, 324, 325, 328, 364—366, 370, 416, 417
 Трухин С. С. 272, 273, 276, 277
 Тургенев А. И. 43, 48, 50—53, 58, 139
 Тургенев И. П. 43, 47, 48, 90, 142
 Тургенев И. С. 47
 Тургенев Н. И. 43, 44, 47—54, 58, 184—186, 188, 191, 192, 297, 425
 Тургенев С. И. 43, 48, 49, 52
 Тургеневы 183
 Уваров С. Ф. 65, 67, 162
 Уварова Е. С. 60, 63, 71
 Удино Н. Ш. 166
 Ульферт, капитан Черниговского полка 277
 Утин, купец 146
 Уткин Н. И. 88
 Ушаков А. П. 268
 Фаленберг П. И. 421, 422
 Федоров А. 215
 Фигнер А. С. 151
 Филатов, почтмейстер 404, 406
 Филимонов, помещик 87
 Философов А. И. 250, 251
 Фильд Дж. 115, 134
 Фок М. А. фон 46
 Фонвизин Д. И. 166
 Фонвизин И. А. 166, 391—398
 Фонвизин М. А. 30, 39, 166, 167, 184, 185, 338, 386, 392—395, 413
 Фонвизин М. М. 391

- Фонвизин С. П. 395
Фонвизина А. П. 395
Фонвизина (Апухтина) Н. Д. 141, 329,
332, 333, 339, 344, 365, 381—387, 391,
395—401, 403, 413, 428
Фотий, архимандрит 52
Фохт И. Ф. 392, 409
Францева М. Д. 166, 382
Фредерикс А. И. 268
Фредерикс Б. А. 226, 245, 257, 262
Фролов А. Ф. 328
- Хавский, член Союза благоденствия
185
Хрущева А. И. 119
- Цебриков Н. Р. 402
Цезарь Гай Юлий 56, 258
Цейдлер И. Б. 323, 335, 365
Цишевский, арендатор имения 278
- Чаадаев П. Я. 90, 184
Челишевы 175
Чернов К. П. 77, 78, 88
Чернова Е. В. 77
Черногорский, князь 114
Чернышев А. И. 59, 79, 165, 295, 296,
320
Чернышев З. Г. 30, 146, 165, 416
Чернышевы 152
Чижов Н. А. 416
Чингисхан 379
Чихачев М. В. 215, 216, 242, 256, 314,
317, 318
- Шатобриан Ф. Р. 62, 69
Шаховской А. А. 200
Шаховской Ф. П. 57
Шварц Е. Ф. 108
Шевырев С. П. 35
Шеллинг Ф. В. 34
Шеншин В. Н. 226, 245, 257, 262, 268
Шереметев А. В. 39, 132, 184
Шереметев Н. В. 287
- Шереметева Н. А. 132
Шиллер Ф. 202
Шипов И. П. 184, 297
Шипов С. П. 213, 320
Шишков А. С. 52
Шлёцер А. Л. 48
Шнитцлер И. С. 310, 311
Штейн Г. Ф. 48, 49
Штейн, офицер 284
Штейнгель В. И. 39, 47, 302, 384, 417
Шторх А. А. 258
Штукенберг А. И. 96
Шульгин А. С. 259, 260, 263
Шумков, генерал 91
- Щепило (Щепила) М. А. 275, 278—
282, 285
Щепин-Ростовский Д. А. 40, 174, 210,
233, 257, 268
- Энгель (Энгель) Ф. И. 305, 307
Энгельгардт Е. А. 141
Энгельгардт, офицер 284
Энгельке, жена тобольского губернато-
ра К. Ф. Энгельке 389
Эрдман И. Ф. 94
Эристов (Эристави), князь 400
Эссен А. А. 246, 248
- Юсупов Н. Б. 138
Юшневская М. К. 332, 344, 359, 361,
365, 366
Юшневские 355
Юшневский А. П. 30, 184, 192, 354—
359, 368, 416
- Языков А. 57
Языкова Е. П. 44
Якубович А. И. 39, 40, 96, 99, 100,
198, 200, 202, 210, 212—214, 218, 221,
259, 287, 296, 320, 356, 416
Якушкин В. Е. 100, 411, 415
Якушкин Е. И. 131, 135, 411
Якушкин И. Д. 111, 149, 152, 176, 178,
188, 302, 378—385, 404—415

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (В. А. Федоров)	5
---------------------------------------	---

I. ДЕКАБРИСТЫ И ИХ ЭПОХА

А. И. Герцен. О развитии революционных идей в России	28
Из «Записок» А. И. Кошелева	32
Из воспоминаний Н. И. Греча о декабристах	36
И. С. Тургенев. Николай Иванович Тургенев	47
Из воспоминаний Д. Н. Свербеева о Н. И. Тургеневе	51
Из воспоминаний Д. Н. Свербеева о С. М. Семенове	55
Из воспоминаний о Лунине	58
Из воспоминаний Ипполита Оже о М. С. Лунине	60
Д. А. Кропотков. Несколько сведений о Рылееве	74
Из воспоминаний о К. Ф. Рылееве его сослуживца по полку А. И. Косовского (1814—1818 гг.)	79
Из воспоминаний профессора А. В. Никитенко о К. Ф. Рылееве	86
Рассказы о Рылееве рассыльного «Полярной звезды» (записи М. И. Семевского в 1869 г.)	87
Из воспоминаний Н. А. Маркевича о В. К. Кюхельбекере	89
А. О. Корнилович, издатель исторического сборника «Русская старина» в 1824 и 1825 гг. (рассказ генерала Шумкова)	91
Заметки неизвестного о декабристах (воспоминания о братьях Бестужевых)	93
Из воспоминаний А. И. Штукемберга	96
В. Е. Якушкин. Матвей Иванович Муравьев-Апостол	100
Из воспоминаний С. В. Капнист-Скалон о декабристах	114
Из воспоминаний Е. И. Якушкина о своей семье	131
Воспоминания Е. И. Якушкина об И. И. Пущине	135
А. Бибикова. Из семейной хроники	141
З. И. Лебцельтерн. Екатерина Трубецкая	153
Мемуары для истории оппозиции в России (из дневника С. Ф. Уварова)	162
Из воспоминаний М. Д. Францевой о М. А. Фонвизине	166
А. И. Иванов. Один из декабристов. Гавриил Степанович Батеньков (из воспоминаний старого сибиряка)	167
Александр Михайлович Булатов (из воспоминаний его сводного брата А. М. Булатова)	172
Из воспоминаний профессора А. В. Никитенко о декабристе В. С. Норове	179

Приложения

Записка о Союзе благоденствия, представленная А. Х. Бенкендорфом Александру I в мае 1821 г.	181
---	-----

II. ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА

П. А. Каратыгин. Из «Записок» 200
 Из воспоминаний князя А. М. Горчакова 204
Я. И. Ростовцев. Отрывок из моей жизни 1825 и 1826 годов 206
 Рассказ очевидца о 14 декабря 1825 г. (воспоминания Л. П. Бутенева) 210
 Из рассказа И. Я. Телешева о 14 декабря 1825 г. 216
 Рассказ Н. С. Голицына о дне 14 декабря 1825 г. 220
 Рассказ актера Борецкого о дне 14 декабря 1825 г. 224
 Из записок Николая I о вступлении его на престол 225
 Из «Записок графа Е. Ф. Комаровского» о восстании 14 декабря 1825 г. 238
 Митрополит Серафим на Сенатской площади 14 декабря 1825 года (из рассказа дьякона Прохора Иванова) 242
В. Р. Каульбарс. Конная гвардия 14 декабря 1825 года. Из дневника старого конногвардейца 244
 14 декабря 1825 года. Рассказ начальника артиллерии Сухозанета 248
 Из воспоминаний статс-секретаря Государственного совета В. Р. Марченко о событиях дня 14 декабря 1825 г. 253
 Из воспоминаний принца Евгения Вюртембергского о дне 14 декабря 1825 г. 256
М. М. Попов. Конец и последствия бунта 14 декабря 1825 г. 259
 Из воспоминаний адъютанта М. А. Милорадовича А. П. Башуцкого 260
 Из дневника императрицы Александры Федоровны 267
 Письмо Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву 270
И. Руликовский. Восстание Черниговского полка (из воспоминаний) 271
 Рассказ подполковника Белорусского гусарского полка И. И. Левенштерна о подавлении восстания Черниговского полка 3 января 1826 г. 283

III. АРЕСТ. СЛЕДСТВИЕ. СУД. КАЗНЬ

Арест декабристов (из дневника флигель-адъютанта Н. Д. Дурново) 286
 Из рассказов Е. А. Бестужевой о братьях-декабристах Бестужевых 289
 Из воспоминаний правителя дел Следственной комиссии А. Д. Боровкова 293
 Из воспоминаний П. Е. Анненковой о свидании с И. А. Анненковым в Петропавловской крепости 303
 Из «Записок графа Е. Ф. Комаровского» о Верховном уголовном суде над декабристами 305
 Из дневника члена Верховного уголовного суда сенатора П. Г. Дивова 306
 Из воспоминаний П. Н. Мысловского 308
 Казнь декабристов. Рассказы современников 310
 Казнь 14 июля 1825 года (со слов присутствовавшего по службе при казни) 313
 Рассказ помощника полицейского надзирателя о казни декабристов 315

IV. ДЕКАБРИСТЫ НА КАТОРГЕ, В ССЫЛКЕ И ПОСЛЕ АМНИСТИИ

Из «Записок» М. Н. Волконской 320
 Из воспоминаний П. Е. Анненковой 335
 Из воспоминаний О. И. Ивановой о своем отце И. А. Анненкове 342
М. В. Брызгалова. Иван Александрович Анненков 351
Н. А. Белоголовый. Из воспоминаний сибиряка о декабристах 354
П. И. Першин (Караксарский). Воспоминания о декабристах 372
О. Н. Балакшина. Запись ее воспоминаний о декабристах в Сибири 378
 Из воспоминаний М. Д. Францевой 382
Сергей Семенов. Декабристы в Ялуторовске (из воспоминаний современника) 403
А. П. Созонович. Заметки по поводу статьи К. М. Голодниковца «Государственные и политические преступники в Ялуторовске и Кургане» 408
М. С. Знаменский. Иван Дмитриевич Якушкин 412

<i>И. В. Ефимов.</i> Из «Заметок на воспоминания Л. Ф. Львова»	415
Из воспоминаний окружного начальника г. Минусинска А. К. Кузьмина «Минусинские ссыльные»	418
<i>А. И. Лучшев.</i> Декабрист Г. С. Батеньков	422
Из воспоминаний Б. В. Струве о его встречах с декабристами в Сибири	425
Из воспоминаний В. А. Обручева об И. И. Горбачевском на поселении	426
<i>С. В. Максимов.</i> Дмитрий Иринархович Завалишин (из литературных воспоминаний)	428
Рассказ бурятки Жигмыт Анаевой о пребывании М. А. и Н. А. Бестужевых на поселении	433
Комментарии	435
Именной указатель	498

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

ДЕКАБРИСТЫ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ

Под редакцией В. А. Федорова

Зав. редакцией *Н. М. Сидорова*
Редактор *М. И. Шлаин*
Художник *И. С. Клейнард*
Переплет художника *Ю. А. Боярского*
Художественный редактор *Л. В. Мухина*
Технические редакторы *К. С. Чистякова, Г. Д. Колоскова*
Корректоры *Л. А. Айдарбекова, Т. С. Милякова, Л. А. Кузнецова*

ИБ № 2516

Сдано в набор 27.03.87. Подписано в печать 15.10.87. Л—63388.
Формат 60×90 1/16. Бумага офс. № 2. Гарнитура литературная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 32,0. Уч.-изд. л. 38,88. Ти-
раж 125 000 экз. (1-й завод 1—45 000 экз.). Заказ № 72189
Изд. № 4559. Цена 3 р. 60 к.

Ордена «Знак Почета» издательство Московского
университета. 103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.
Отпечатано с диапозитивов 12 ЦТ МО
в полиграфкомбинате Государственного
комитета Молдавской ССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
277004, Кишинев, ул. Берзарина, 35.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ВЫПУСТИТ
В 1989 году
КНИГУ**

ОЧЕРКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII ВЕКА.
Часть 4 / Под ред. академика Б. А. Рыбакова.—
35 л.: ил. — (В пер.)

Настоящий том завершает издание «Очерков русской культуры XVIII в.» (Ч. 1—1985 г., Ч. 2—1986 г., Ч. 3—1988 г.). В нем рассматриваются различные сферы художественной культуры XVIII века — архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство; содержатся интересные характеристики творчества выдающихся художников, архитекторов, граверов. Отдельные очерки посвящены духовной культуре крестьянства, культуре дворянской усадьбы и русского города: показаны место и роль традиций в крестьянской культуре, народные представления о мире, природе и религии, быт, занятия и развлечения разных слоев горожан.

Издание иллюстрировано, снабжено именным и географическим указателями.

Для историков, филологов, искусствоведов и читателей, интересующихся историей и культурой нашей страны.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предварительные заказы на книги Издательства Московского университета вы можете оформить в местных книжных магазинах или магазинах — опорных пунктах Издательства по адресам:

117296, Москва, Ломоносовский просп., 18, магазин № 110 «Университетская книжная лавка» (для москвичей);

252001, Киев, Крещатик, 44, магазин № 12 «Книги»;

630090, Новосибирск, ул. Ильича, 6, магазин № 2;

117168, Москва, ул. Кржижановского, 14 магазин № 93 «Книга — почтой».

Заказы оформляются на специальных почтовых открытках. Не забывайте, пожалуйста, указывать издательство и номер позиции по темплану.